

КВОННЕТУТ



КВОННЕТУТ

"Бойня номер пять,
или Крестовый поход детей."

"Колыбель для кошки."

"Дай вам бог здоровья, мис-
тер Розуотер, или Не мечите
бисера перед свиньями!"

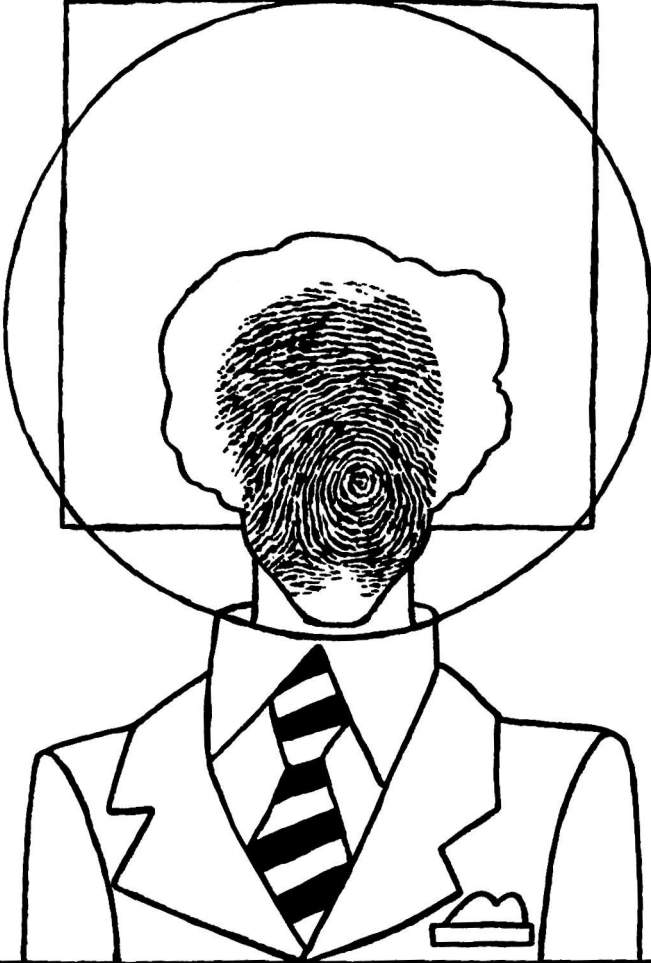
Рассказы.

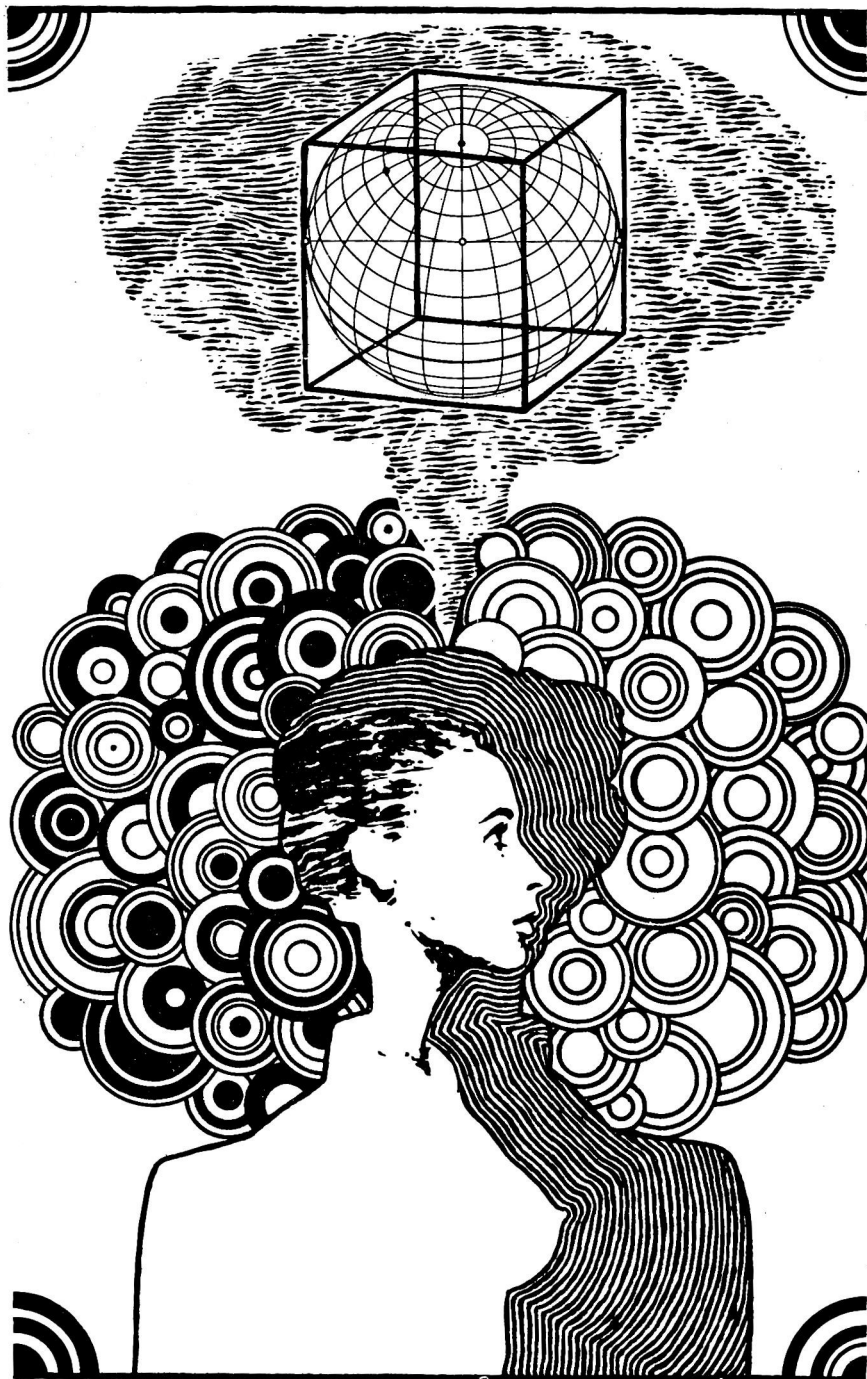




Курм

ВОИНИХУТ





Курт

ВОШНЕТУТ

"Бойня номер пять, или
Крестовый поход детей!"

"Колыбель для кошки!"

"Дай вам бог здоровья,
мистер Розуотер, или
Не мечите бисера перед
свиньями." Рассказы.



84.7США
В73

Перевод с английского
Вступительная статья *Р. Райт-Ковалевой*

Художник *В. Змеев*.

70304—2
В—————80—81 4703000000
М756(12)—81

© Перевод рассказов, отмеченных знаком *
Вступительная статья. Оформление. Из-
дательство «Литература артистикэ», 1981

КАНАРЕЙКА В ШАХТЕ,
ИЛИ МОЙ ДРУГ КУРТ ВОННЕГУТ

Один американский студент возвращался в университет после каникул в родном городке. Раннее утро. Пустой вокзал. Скучно. Наконец открывают книжный киоск.

«Полистал книжки,— рассказывал он мне потом,— дрянь, дешевка. Но одна понравилась: на обложке смешная картинка — две руки, на пальцах переплетена веревочка. И название занятное: «Колыбель для кошки» — мы в детстве тоже так играли. Купил, стал читать — не оторваться, чуть поезд не пропустил. Тогда я собирался стать ученым, и оказалось, что в этой забавной и грустной книжке говорится о серьезных вещах, и главное — об ответственности ученых перед человечеством, об опасности изобретений и открытий, попадающих в руки безумцев или бесчеловечных убийц, и о том, что — главное и неглавное в отношениях между людьми.

В университете книга пошла по рукам: раньше никто не знал этого писателя. Стали искать его произведения, прочли все, что могли. И тут вышел новый роман — «Бойня № 5, или Крестовый поход детей». Лучшей книги я давно не читал...»

Этот молодой американец, теперь — профессор Ноквилского университета, Дон Фини,— стал горячим пропагандистом произведений Курта Воннегута. Посылая мне его книги, он писал, что до выхода «Колыбели для кошки» и «Бойни № 5» Воннегут был почти никому не известен: его романы считались «научной фантастикой», выходили в бумажных обложках, в дешевых изданиях, и ни денег, ни славы автору не приносили.

Изданная у нас в «Библиотеке фантастики» «Утопия-14» тоже прошла незамеченной.

Но когда вышли на русском «Колыбель для кошки» и «Бойня № 5», советский читатель полюбил Курта Воннегута не меньше, чем его соотечественники.

Перевод обоих этих романов был одним из самых памятных событий в моей долгой литературной жизни.

Отношения переводчика с переводимым автором — штука сложная, я бы даже сказала, интимная, душевная. Если это классик — уходишь в глубь веков, стараешься проникнуть в ту эпоху, восстановить реалии, традиции, нравы давно ушедшего прошлого. Но если автор — твой современник, живет сегодня где-то рядом, хотя и на другой стороне Земли (а как часто мы забываем, что Земля круглая!), то возникает — д о л ж н а возникнуть! — живая связь, личная приязнь, когда,

как говорит мой любимый герой из повести Сэлинджера, «прочтешь его книгу — и хочется позвонить ему по телефону».

Мне очень хотелось позвонить Курту Воннегуту по телефону, но первым позвонил он сам: он читал лекции в английских университетах, я работала в парижском Музее Человека, собирая материал для книги об одной из первых групп Сопротивления. Голос по телефону был удивительно мягкий, даже робкий, и только к концу разговора, условившись встретиться в Париже, мы оба рассмеялись, когда он сказал: «Вы меня сразу узнаете — я длинный-предлинный, и волосы длинные, и усы...»

Суббота. Холл одного из небольших отелей Парижа. И навстречу мне из глубокого кресла подымается огромного роста, очень элегантный человек с курчавой шапкой волос и совершенно детскими, широко раскрытыми глазами.

Эта встреча стала началом многолетней дружбы. Воннегут присылает мне все свои книги — часто еще до выхода, в верстке, и много пишет о себе, своих планах, своей работе.

Как-то он сказал, что писатель на этой планете — как канарейка в шахте: в старину шахтеры, проверяя, нет ли в забое опасных газов, брали с собой эту птичку — она особенно чувствительна к малейшим изменениям в атмосфере, незаметным для людей.

«Писатель — сверхчувствительная клетка в общественном организме, — говорит Воннегут. — И эта «клетка» первой должна реагировать на те отравляющие вещества, которые вредят или могут повредить человечеству».

«И еще одно: людей часто гнетет одиночество, чувство оторванности от других, от жизни. Нет, как прежде, большой родни, добрых соседей, друзей детства. И писатель может стать «связным», он может объединить вокруг себя тех, кто думает, как он, верит в то, во что он верит... И не отнимайте у меня веру в счастье человечества: я не мог бы выйти из частых своих пессимистических настроений — а для них так много причин! — если бы у меня не было этой «робкой, солнечной мечты!» — этой моей утопии...»

Жизнь у Курта Воннегута была совсем не легкой, и сохранить такой оптимизм было не так-то просто. Он говорит, что на его поколение «черной тенью легла Великая Депрессия — та волна банкротств, разорений, страха и уныния, которая подкосила наших родителей в начале 30-х годов».

В маленьком городе Индианаполисе, где первыми архитекторами стали дед и отец Курта, это было особенно заметно: все знали друг друга, и каждый видел, как складывается судьба соседа, как рушатся все планы, все мечты... «Мой отец мечтал выстроить огромный дом, где бы жили все дети, рождались внуки и правнуки. И ничего из этого не вышло... Поэтому он всегда был грустный, подавленный, и мать у меня тоже была вечно чем-то озабочена, всегда предсказывала всякие беды... Кроме того, она страшно злоупотребляла снотворными, и это окончилось трагически: однажды ее так и не смогли разбудить...»

Курт — младший в семье; его старший брат Бернард — известный физик. «Его специальность — что-то сложное, связанное с облаками, — рассказывал Курт. — Недавно брат очень огорчился, узнав, что этими искусственными облаками во время войны во Вьетнаме вытравляли урожаи на полях. А кто не приходил в ужас, когда «науку» обрушили на Хиросиму?».

Отец хотел сделать и младшего сына ученым, и Курт поступил в университет, переходил с факультета на факультет, но не успел доучиться: для Америки тоже началась война с Гитлером, и Курт ушел добровольцем — сначала в военную школу, а потом за океан, на фронт, в пехоту.

Но воевать Курту почти не пришлось: он попал в плен после того, как его часть разбили в Арденнах, и он, беспомощный, голодный, много дней бродил один по лесу... В плену он пробыл недолго, но навеки запомнил эти месяцы: пленных американцев отправили работать на витаминный завод в Дрездене, жили они на складах бывшей бойни и в феврале 1945 года пережили чудовищную бомбежку Дрездена — об этом и рассказано в романе «Бойня № 5».

После войны Курт вернулся в университет, поступил на антропологический факультет, но так и не сдал последних экзаменов: он женился, родились ребята, пришлось пойти на службу и писать для заработка. И только недавно, когда Воннегута уже все знали как писателя, университет преподнес ему диплом. «Так что я окончил университет в нежном возрасте сорока восьми лет», — писал Курт.

Диплом лег на полку — ученым Курт не стал. Да, собственно говоря, он и в университете больше сотрудничал в студенческой газете, чем слушал лекции. Он был бессменным редактором этой газеты, автором всех передовиц и многих статей.

После женитьбы, поступив на службу в компанию «Дженерал электрик», он уже копил материал для рассказов и первого романа. Кстати, о своих ранних рассказах писатель говорит с некоторым пренебрежением, а между тем, он и в них тот же Воннегут — добрый, человечный, остроумный. И в самой короткой, казалось бы, «проходной» повестушке, люди у него живые, диалог великолепно лаконичен, словом, он и тут — продолжатель Марка Твена и Свифта, как говорят о нем критики.

Сам он удивлялся, когда его книги начали расходиться все больше и больше. Он стал кумиром молодежи — особенно тех, кто не хотел жить скучной, рутинной, мещанской жизнью «среднего американца».

Ближе всего Курт Воннегут столкнулся с молодежью в университете штата Айова, где он два года вел занятия в «творческой мастерской».

Там его любят и помнят до сих пор. И хотя Воннегут всегда утверждает, что он — самоучка, что у него «нет никаких теорий насчет литературы, — кроме той, что писатель должен служить человечеству!» — он, как говорят, помог очень многим найти себя, а другим — понять, что писателей из них не выйдет... Он считает, что умение писать — такой же врожденный талант, как умение петь или сочинять

музыку: если он у тебя есть — его можно развить, укрепить, нет — значит все, что напишешь, будет не настоящей литературой, а подделкой...

Очевидно, многие слушатели Воннегута, даже те, кто писать не смог, научились хотя бы читать и любить хорошие книги, а ведь это тоже не так легко дается...

И, несомненно, есть молодые люди, круто повернувшие свою жизнь после встречи с самим Воннегутом или с его книгами.

Рассказывают, что первая фраза, написанная Воннегутом на доске в творческой мастерской университета в Айове, была такая: «ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ПИШЕТЕ ДЛЯ НЕЗНАКОМЦЕВ».

«Мы не любим жизнь, — как-то сказал он, — мы не любим друг друга, мы мало знаем друг друга, никого не жалеем, мы даже не умеем найти слова, понятные «чужому».

И он учил и учит, как стать понятным «другому» — этому незнакомому человеку.

Мне редко встречался человек, который так умел бы слушать других и так хорошо умел бы молчать, как Курт Воннегут. Только в предисловиях к своим книгам он с удивительной доверчивостью и простотой рассказывает о себе.

Вот что он пишет в предисловии к книге «Завтрак для чемпионов»:

«Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию, и мне кажется, что я поднялся на гребень крыши и теперь должен его перейти... Думается мне, что я пытаюсь выкинуть из головы всю ту рухлядь, которая в ней за это время накопилась... Хочется, чтобы голова стала пустой и ясной, как в тот день, пятьдесят лет назад, когда я повялся на этой сильно поврежденной планете...»

«Другие люди набили мне голову всякой всячиной, и одно никак не вяжется с другим, многое и бесполезно и безобразно, разные понятия противоречат не только друг другу, но и всей той жизни, которая идет вне меня, вне моей головы».

«Нет у меня культуры, нет человеческой гармонии в моих мыслях. А я не могу больше жить без культуры...»

«Значит, эта книга будет похожа на дорожку, усыпанную всяким хламом, мусором, который я бросаю через плечо, путешествуя на «машине времени» — назад, до дня своего рождения — 11 ноября 1922 года...»

«Одиннадцатое ноября... В 1918 году именно в этот день — одиннадцатый день одиннадцатого месяца — настала минута — одиннадцатая минута одиннадцатого часа, — которая для людей всех национальностей, сражавшихся в первой мировой войне, была объявлена м и н у т о й м о л ч а н и я». Миллионы миллионов перестали убивать друг друга. Этот день назвали ДНЕМ ПЕРЕМИРИЯ.

«День перемирия» потом переименовали в «День ветеранов». День перемирия для меня — священный день, а День ветеранов — нет. Поэтому я выкину из головы День ветеранов и оставлю День перемирия. Не хочу выбрасывать то, что священно...

«Что же еще свято?

«Ромео и Джульетта», например. И вся музыка...»

Мне кажется, что трудно найти более точное и краткое определение настоящих ценностей, чем это сделал Воннегут в одном из своих предисловий...

В конце 1976 года вышел новый роман Воннегута «Балаган, или Конец одиночеству». Вот что писал о нем один из лучших наших американистов, литературный критик Алексей Зверев:

«Это очень грустная книга, в ней описано физическое умирание планеты, так и не сумевшей обуздать манию технократической рационализации, которая поставила мир перед фактом неостановимой катастрофы. Из всех фантазий Воннегута «Балаган» — самая горькая, самая жестокая.

И все-таки даже в ней нет беспросветного пессимизма и однозначно негативного восприятия перспектив «прогресса». Такая позиция всегда оставалась чужеродной художественному мышлению Воннегута. В каждой его книге есть и «другая возможность». Нереализованная возможность подлинно человеческого мира, в фундаменте которого лежит старый, но не стареющий гуманистический идеал.

Найдется эта, если вспомнить Толстого, «зеленая палочка» и в «Балагане». Герой книги придумал всемирную конституцию, в которой принцип общественной иерархии заменен принципом большой человеческой семьи. Каждый при рождении получает дополнительное имя — название камня, цветка, птицы — и становится братом всех людей с тем же именем, какое бы положение в обществе они не занимали и каких бы взглядов ни придерживались. И тогда каждый может сказать: «Конец одиночеству!»

Какая простая и до чего же неосуществимая идея! Конечно, и Воннегуту ясна ее наивность. Но самая мысль, что человечество как единая семья (не как толпа одиноких) способно противостоять столь сильным в современном мире тенденциям самоизоляции и саморазрушения, — мысль высокая, принадлежащая искусству истинного гуманизма».

Книга эта сейчас у меня в работе. И снова Воннегут, в предисловии к ней, разговаривает с читателем доверительно и просто, как со старым другом, — о себе, о своей семье, о том, как он воспринимает жизнь. Вот это предисловие, с некоторыми сокращениями:

«Вероятно, мне никогда не написать более автобиографическую книгу, чем эта повесть. Я назвал ее «Балаган», потому что ее поэтический жанр — комедия положений, как балаганные кинобуффонады минувших лет, особенно комедии с участием Лоурела и Харди, которые я просто обожал в детстве.

Прелесть героев этих фильмов — Лоурела и Харди заключалась в том, что они оба умели выпутываться из любых испытаний. Они всегда честно тягались с Судьбой, и потому были удивительно милыми и невероятно смешными.

Любовь в этих фильмах почти не играла роли. Правда, там были всякие сюжетные повороты, например, свадьбы, но это дело другое. Это было просто еще одно испытание, из которого надо было выпутаться как можно лучше, как можно смешнее.

Так что не о любви речь. И, может быть, потому, что в детстве, во время Великой депрессии, я упивался этими кинокомедиями, я теперь могу рассуждать о жизни, вовсе не упоминая о любви.

По-моему, это не самое важное.

Что же тогда важно?

Честно тягаться с Судьбой.

В любви у меня есть некоторый опыт, по крайней мере я так думаю, хотя те чувства, которые мне были больше всего по душе, я назвал бы просто «хорошее отношение». Я к кому-нибудь хорошо относился, иногда недолго, а иногда и очень-очень долго, и тот человек тоже ко мне относился хорошо.

Любовь тут могла быть и ни при чем.

Кстати, никак не могу разобраться, одинаковое ли это чувство — моя любовь к людям и моя любовь к собакам...

Любовь приходит сама. По-моему, глупо искать ее. И мне иногда кажется, что любовь даже может стать отравой...

Хотелось бы, чтобы люди, которым как будто положено любить друг друга, говорили бы во время ссор: «Прошу тебя, люби меня поменьше, но относись ко мне получше».

Дольше всех в жизни, безусловно, ко мне хорошо относился мой старший брат, мой единственный брат Бернард. Он по-прежнему занимается изучением атмосферных явлений. Вдовец, растит совершенно самостоятельно двух маленьких сыновей. Воспитывает их прекрасно. Кроме того, у него есть еще три взрослых сына.

От рождения природа наделила нас совершенно разными интеллектами. Бернард никогда бы не мог стать писателем. Я никогда не мог бы стать ученым. И так как наши разные интеллекты нас кормят, то мы привыкли считать их какими-то хитрыми машинками, существующими отдельно от нашего самосознания, нашего внутреннего «я». По складу своего характера мы с братом любим те же шутки, тот же юмор — например, Марка Твена и старые кинокомедии.

Одно время Бернард работал в исследовательской лаборатории компании «Дженерал электрик» в Шенектеди, штат Нью-Йорк. Там он и открыл, что йодистое серебро может вызвать снег или дождь из некоторых облаков. В его лаборатории царил такой чудовищный хаос, что неосторожного посетителя там подстерегали тысячи смертей.

Инспектор техники безопасности при «Дженерал электрик» чуть в обморок не хлопнулся, увидев эти джунгли, где было полным полно скрытых ловушек и смертоносных капканов. Он стал ругательски ругать моего брата. Брат постучал себя пальцем по лбу и сказал: «По-вашему, в моей лаборатории хаос? Вы посмотрели бы что делается вот тут!»

Раз я сказал брату, что только возьмусь мастерить что-нибудь по дому, как обнаруживаю: все инструменты уже куда-то запропастились, и работу никак не кончить.

— Везет тебе, — ответил он. — А я всегда теряю именно то, над чем работаю.

Однако благодаря тем интеллектам, какими наделила нас природа от рождения (хотя в них и царит такой хаос), мы с Бернардом принадлежим к огромным искусственным семьям, так что у нас есть родственники во всем мире.

Бернард — брат всех ученых. Я — брат всех писателей на свете. Нам это очень занято и утешительно. И очень приятно.

Тут нам повезло, потому что каждому человеку нужна большая родня, чтобы можно было давать людям и получать от них не обязательно любовь, а просто, если понадобится, обыкновенную доброту.

В детстве, когда мы росли в Индианаполисе, штат Индиана, нам казалось, что у нас всегда будет большая семья, много настоящих близких родичей. Ведь наши деды и родители выросли там — с кучей братьев, сестер, кузенов, тетушек и дядюшек. Да, и все эти родственники были люди культурные, добрые, удачливые и так красиво говорили по-английски и по-немецки. Мой прадед был выходцем из маленького немецкого городка, возле которого протекает речушка Вонне — отсюда и наша странная фамилия.

В молодости мои родичи могли шататься по белу свету, и часто с ними случались удивительные приключения. Но раньше или позже их начинали звать домой, в Индианаполис, — пора было вернуться, остепениться. Они безоговорочно подчинялись, потому что дома их ждала большая родня.

Им, конечно, доставалось в наследство много хорошего — солидные профессии, комфортабельные дома, преданные слуги, всё растущие груды столового серебра, посуды, хрусталя, устойчивая деловая репутация, дачи на озере Максинкукки: там, на восточном берегу, мое семейство когда-то владело целым дачным поселком.

Но вся радость семейной жизни была, по-моему, вконец разрушена неприязнью ко всему германскому во время первой мировой войны. Детей в нашей семье перестали обучать немецкому языку, немецкой музыке и литературе. Моего брата и меня с сестрой воспитывали так, будто Германия была нам такой же чужой страной, как, скажем, Парагвай.

Нас лишили связи с Европой, хотя мы учили о ней в школе. За очень короткое время мы растеряли тысячелетнюю европейскую культуру, а во время депрессии — десятки тысяч американских долларов.

Поэтому после Великой депрессии и второй мировой войны брату с сестрой и мне было легко покинуть Индианаполис. И никто из оставшихся там родных не мог придумать, зачем нам возвращаться домой. Мы уже не принадлежали ни к какому определенному клану. Мы стали просто запчастями американской машины. Да и сам Индианаполис, где когда-то были и свой местный английский говор, свои шутки, предания, свои поэты, свои злодеи и герои, свои картинные галереи для местных художников, теперь стал тоже стандартной деталью всей американской машины. Он стал просто каким-то городом, где обитали автомобили, играл симфонический оркестр и так далее. Да, еще там был ипподром.

Конечно, мы с братом еще ездим туда на похороны. В прошлом июле мы ездили хоронить дядю Алекса — младшего брата нашего покойного отца, чуть ли не последнего из нашей старосветской родни. Бога он не боялся, и был истинным американским патриотом, с душой европейца.

Узнав о смерти дяди, я позвонил брату в Олбэни. Брату было почти шестьдесят лет. Мне исполнилось пятьдесят два года. И хотя мы оба были уже далеко не желторотыми птенцами, но Бернард все еще играл роль старшего брата. Он заказал нам билеты на самолет, машину в индианаполисском аэропорту и двойной номер в гостинице «Ремада».

И вот мы с братом пристегнули ремни в самолете. Я сел возле прохода, а Бернард у окна, потому что он занимался исследованием атмосферы и видел в облаках гораздо больше, чем я. Мы с ним оба высокие — шесть футов с лишним. У обоих еще сохранилась густая темно-каштановая шевелюра. У обоих усы — точь-в-точь как у нашего покойного отца. Вид у нас вполне безобидный — этакие старые сим-патяги.

Между нами оказалось пустое кресло — сюжет для сказки с привидениями. В кресле могла бы сидеть Алиса — наша средняя сестра. Но она не летела с нами на похороны своего любимого дяди Алекса, потому что умерла среди чужих людей в больнице от рака, на сорок втором году жизни.

— «Мыльная опера!» — сказала она нам с братом, понимая, что скоро умрет и четверо ее сынишек останутся без матери. — Какой балаган!

В последние дни врачи и сестры разрешили ей курить и пить сколько угодно и есть все, что захочется. Мы с братом пришли к ней. Она кашляла. Она смеялась. Она острела, только я эти остроты забыл. Потом она отправила нас прочь.

— Только не оборачивайтесь, — сказала она.

И мы не обернулись.

Умерла она к вечеру, после захода солнца.

Ее смерть ничем не выделялась бы из статистической таблицы прочих смертей, если бы не одна деталь. Муж Алисы, Джеймс Кармолт Адамс, абсолютно здоровый человек, редактор специального коммерческого журнала, погиб за два дня до ее смерти. Поезд, на котором он возвращался домой, сверзился в пролет разведенного моста (первый случай за всю историю американских путей сообщения).

Подумать только! А ведь это правда...

Мы с Бернардом скрыли от Алисы, что случилось с ее мужем. Но она все равно об этом узнала. Одна амбулаторная больная дала ей номер «Нью-Йорк таймс». На первой странице сообщалось, что весь поезд пошел ко дну. И, разумеется, там был полный список погибших...

Мы с братом позаботились о ее детях. Трое старших мальчиков — им было от восьми до четырнадцати лет — устроили совещание, на которое взрослых не допустили. Потом они вышли к нам и сказали, что у них только два неперемных условия: чтобы все трое не разлучались и чтобы с ними остались их две собаки. Четвертый в совещании не участвовал: ему недавно исполнился год. Малыша усыновил брат его отца.

С этого дня трех старших воспитывали мы с женой — вместе с тремя нашими детьми — на мысе Код.

Кстати, дети моей сестры теперь откровенно говорят о том, как им бывало страшно оттого, что они совершенно не могли вспомнить ни мать, ни отца, ну просто никак.

Старший недавно сказал мне, постукивая себя по лбу:

— Тут должен был храниться целый музей — а его нет.

Думается мне, что «музеи» исчезают из памяти детей сами по себе, автоматически, именно в минуты предельного ужаса, чтобы горе не поселилось навеки в воспоминаниях ребят.

Но для меня лично так, сразу, забыть мою сестру было бы настоящей катастрофой.

И хотя я ей этого никогда не говорил, но именно она была тем человеком, для которого я всегда писал.

В ней крылась тайна всех моих художественных достижений, всей моей писательской техники. Все, что было создано цельного, гармоничного, создал человек, художник, думая об одном-единственном читателе.

И поэтому я особенно чувствовал пустое место в самолете между мной и братом...

Пока мы с братом ждали, когда наш самолет подыметя в воздух, он преподнес мне остроу Марка Твена — про оперу, которую тот слушал в Италии. Твен сказал, что таких воплей он не слышал «с тех пор, как горел сиротский приют».

Мы посмеялись. Брат вежливо спросил, как идет моя работа. Мне кажется, что он ее уважает, но она его несколько озадачивает.

Я сказал, что мне дико надоело писать и что одна писательница будто бы говорила: «Писатель — это человек, который ненавидит писанину». И еще я ему рассказал, что мне ответил мой литературный агент, когда я ему пожаловался, какая у меня противная профессия. Вот что он написал: «Милый Курт, я никогда в жизни не видел, чтобы кузнец был влюблен в свою наковальню».

Мы опять посмеялись, но, по-моему, эта острота до брата не дошла. Его-то жизнь была сплошным медовым месяцем с его «наковальней...»

— Вы бывали в Париже? — спросили мы Курта в тот первый день, когда Натали — моя молодая приятельница, преподававшая английский в одном из колледжей, — вела свою маленькую машину по Елисейским полям.

— М-ммм... — сказал Курт, — надо сознаться, что хотя я тут был, но мало что видел. Настал конец войны, нас отправили из Дрездена во Францию, оттуда — домой. Тогда нам было не до туризма...

— Ну, теперь смотрите! — сказала Натали.

И Город-Светоч поплыл перед нами...

К вечеру мы поехали в Версаль. Парк опустел, дворец уже закрыли. Мы стояли на берегу канала, солнце с той же пышностью, что и двести лет назад заливало золотом осенние аллеи; старые статуи на глазах

успокаивались и засыпали над своим отражением в зеркальной воде. И в этой магии, в этой музыке тишины Воннегут медленно сказал: «Только подумать — мне через две недели будет пятьдесят лет, а я никогда не увидел бы все это, если бы не вы... Я думал: Версаль, туристы, экскурсии...»

— Пусть это будет вам подарком ко дню рождения — парк, тишина, осень в Версале...— сказала я.

В английском ресторане, у самого парка, мы были единственными посетителями, и с нами обращались как с заезжими миллионерами: вся бутафория «сладкой жизни» — розы в хрустале, свечи в старинных медных канделябрах, роскошный метрдотель, изысканная еда. До позднего вечера мы говорили, расспрашивали друг друга о многом, смеялись, спорили...

«Мне не надо Вам говорить, что иногда два дня в жизни значат больше, чем год...— писал Курт уже в Москву.— Я до сих пор умиляюсь и радуюсь вашему подарку — помните, вы подарили мне весь Версаль?».

Все последующие годы — до новой встречи в Москве — я читала много статей о Воннегута. Вот что он рассказывал недавно одному журналисту.

«Каждую книгу я пишу годами — мне все кажется, что я ее не напишу... И вообще я не знаю, что от меня останется и как обо мне будут вспоминать мои дети,— говорил Курт.— Одного я не хочу оставить им в наследство — я не хочу, чтобы они жили в том мраке, в той подавленности, в которой жили мои родители. Мое поколение выросло в атмосфере войн, разрушений, убийств и самоубийств. Нам надо вырваться из этого наваждения — избавиться от человеконенавистничества, жадности, зависти, вражды... И еще я хочу, чтобы мои дети, вспоминая обо мне, не говорили: «Да, наш отец здорово умел шутить, но он был очень грустный человек...»

* * *

С той парижской встречи прошло много лет. Курт дважды приезжал к нам в гости: сначала в 1974 году в Москву, потом в 1977 осенью в Ленинград, где мы уговорились встретиться, после его поездки по Скандинавии.

В Москве, как всегда, была очень напряженная программа: много встреч, много поездок по городу, театры, визиты в редакцию «Иностранной литературы» и в Библиотеку иностранной литературы, где Воннегут встречался с нашими литературоведами и переводчиками.

А в Ленинград он приехал неофициально, как турист, по пути в Италию из Стокгольма,— и там снова была великолепная золотая осень, спокойные поездки по «Любимому Городу», по его окрестностям, и встречи, как он сказал, «с нашими общими читателями»...

И снова ко дню рождения Курт получил в подарок не «чужой» Версаль, а наш собственный Павловск...

«Все-таки Ленинград — лучший город в мире»,— писал он мне из Флоренции.

Он и в Ленинграде говорил, что понял там Гоголя и Достоевского лучше, чем прежде, и что «Мертвые души» в театре имени Пушкина — незабываемый спектакль...

К сожалению, он не видел с в о й спектакль, поставленный в Москве, в Театре Советской Армии, в январе 1976 года. Спектакль назывался «Странствия Библи Пилигрима» по роману «Бойня № 5». К премьере Воннегут прислал нам телеграмму — она была напечатана в английской газете «Москау Ньюз» по-английски, а в «Известиях» по-русски:

«Никогда я не был так счастлив и горд. Поставьте кресло в кулисах для моей души — мое тело вынуждено остаться дома. Красная Армия спасла мне жизнь в 1945 году* и теперь подарила мне театр. Если бы я мог — вступил бы в ее ряды. Вся моя любовь вам, мои сестры и братья по искусству». И подпись: «Курт Воннегут, бывший рядовой американской пехоты, личный номер 12102964».

Обычно в предисловии полагается рассказать не только биографию писателя, и сделать разбор его творчества, с точки зрения стиля, художественных приемов, — словом, «проанатомировать» его романы и рассказы. В некоторых предисловиях даже пересказываются сюжеты этих произведений, и читателю предлагается подробный их анализ, характеристика героев и так далее...

Мне хотелось бы воздержаться от этого и ничего заранее не навязывать нашему умному и внимательному читателю. Можно только еще раз дать слово А. Звереву, чтобы все-таки подсказать, с каким сложным и необычным литературным явлением встречаешься, читая Воннегута:

«Художественный мир Воннегута непривычен. В него надо вникать неспешно и вдумчиво, чтобы понять своеобразие его законов. Его проза производит впечатление фрагментарности. Отношения между героями возникают и обрываются как будто совершенно немотивированно. Связи между бытовым и гротескно-фантастическим планами рассказа кажутся случайными, а финалы рассказываемых историй — неожиданными...

Пожалуй, о прозе Воннегута всего точнее будет сказать, что она многомерна. Суть дела в особой способности художника — передавать тончайшую взаимосвязь тех драматически и комически окрашенных импульсов, которыми насыщена ткань бытия...

Это редкая и специфическая способность. В Воннегута она развита необычайно. Именно поэтому его романы не укладываются в нормативные жанровые определения. Не сатира, но и не психологическая проза. Не фантастика, но и не интеллектуальный роман и уж тем более — не «реализм обывденного». Во всяком случае, не то, не другое и не третье в чистом виде. Для прозы Воннегута характерны смещения пропорций и постоянная перестановка акцентов, помогающая запечатлеть мир в его движении, сложности, конфликтности...

Почти во всех романах изложена сущность художественного мировосприятия Воннегута, оставшегося в целом неизменным вплоть до

* Советская армия освободила американцев из лагеря около Дрездена (прим. переводчика).

самого последнего времени. Таящаяся в этой философии опасность возведения понятий добра и зла в некие абсолютные и абстрактные категории — очевидна. Все зависело от художественного чутья писателя, анализирующего в такой системе понятий факты реальной американской действительности; были победы, были и срывы. Но задачей для Воннегута всегда оставалось достичь «динамического напряжения», иначе говоря, сочетать гуманность и правду. Умную гуманность, не подкрашивающую истину во избежание безотрадных выводов. И полную правду, быть может, очень горькую, но не подавляющую убеждения, что в мире неизменно сохраняются человечность и добро... Но когда биологическая катастрофа из отдаленной угрозы превращается в реальность самого близкого будущего, тогда надо что-то делать, и делать спешно. И этот сигнал предупреждения звучит, пожалуй, всего настойчивее в романах Воннегута.

Все дело в готовности противодействовать реальнейшим опасностям, которые возникли перед человечеством в последней трети XX века и ныне уже достаточно широко поняты. В умении им противодействовать. В понимании путей истинной, а не мнимой борьбы за обитаемый и гуманный мир.

Поэтому и все книги Воннегута воспринимаются не только как сигнал тревоги за будущее планеты, но и как выражение веры в человеческий разум и человеческое сердце...»*

Остается только добавить, что в своих последних письмах Воннегут много пишет о себе, о своих детях:

«Недавно все мои шесть детей, со своими мужьями, женами, друзьями и подругами собрались у нас, в Нью-Йорке... Младшей дочке — 24, старшему сыну — 36 лет. Они все любят Джилл (вторую жену Воннегута, с которой он уже прожил десять лет) и рады, что она так прочно вошла в нашу семью... Я счастливый человек, во многих отношениях. Все мои дети — такие интересные, живые люди. Старший — фермер и краснодеревщик, второй — пилот гражданской авиации, третий — комментатор телевидения, две мои прелестные дочери — художницы, а отец двух моих внуков — Марк — врач и автор большой книги...

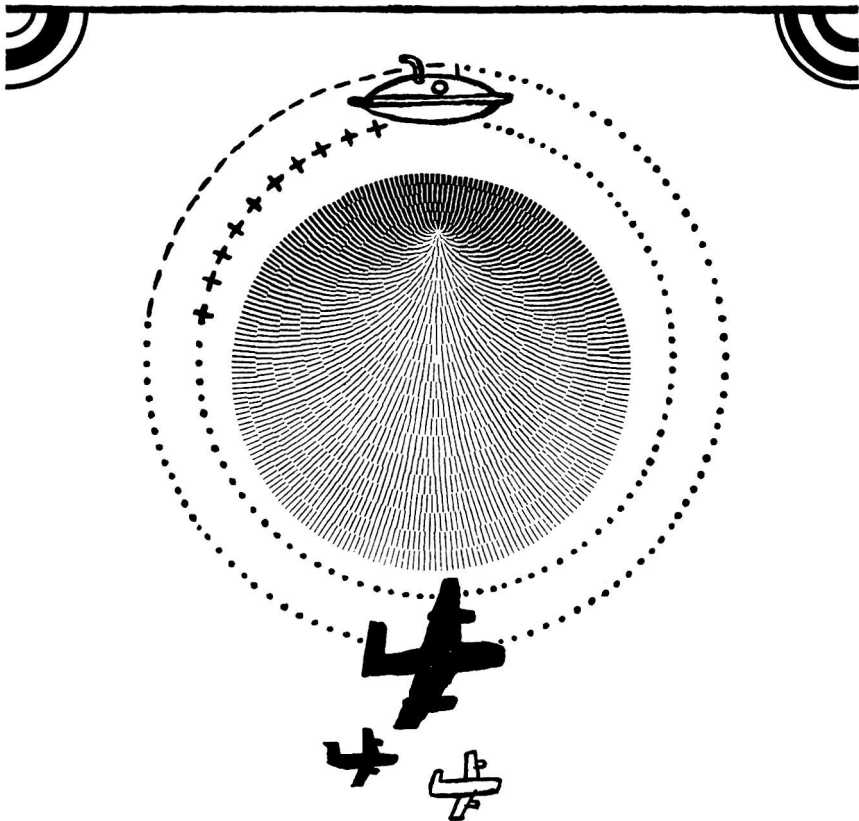
Все мы работаем. Джилл стала одним из самых знаменитых фотографов и автором популярнейших детских книг...

Что касается меня, то я этим летом займусь журналистской работой. Меня пригласили комментировать по радио в июле и августе ход предвыборной компании... Понятия не имею — что я буду говорить...»

Прощаясь с читателем, прошу только об одном: постарайтесь полюбить Курта Воннегута, как его уже любят тысячи людей во всех странах мира, в том числе — и у нас.

Р. Райт-Ковалева

*А. Зверев. Предисловие к кн. К. Воннегут. Бойня номер пять или Крестовый поход детей и др. романы. М., «Художественная литература», 1978.



Бойня номер пять,
или Крестовый поход детей
(пляска со смертью
по долгу службы)

Автор -
Курт Воннегут,
американец немецкого
происхождения
(четвертое поколение),

который
сейчас живет
в прекрасных условиях
на мысе Код
(и слишком много курит).
Очень давно он
был американским пехотинцем
и, попав в плен,
(нестроевой службы)
стал свидетелем
немецкого бомбардировки
города Дрездена
("Флоренции на Эльбе")
и может об этом рассказать,
потому что выжил.
Этот роман
отчасти написан
в слегка телеграфически-
шизофреническом стиле,
как пишут
на планете Тральфамадор,
откуда появляются
летающие блюдца.

Мир

Печатается по изданию:
Бойня номер пять, или Крестовый поход детей, и другие романы.
М., Художественная литература, 1978.

Ревут быки, теленок мычит.
Разбудили Христа-младенца,
Но он молчит.

1

Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда. Одного моего знакомого и в самом деле расстреляли в Дрездене за то, что он взял чужой чайник. Другой знакомый и в самом деле грозился, что перебьет всех своих личных врагов после войны при помощи наемных убийц. И так далее. Имена я все изменил.

Я действительно ездил в Дрезден на Гутгенгеймовскую стипендию (благослови их Бог) в 1967 году. Город очень напоминал Дайтон, в штате Огайо, только больше площадей и скверов, чем в Дайтоне. Наверно, там, на земле, тонны искрошенных в труху человеческих костей.

Ездил я туда со старым однополчанином, Бернардом В. О'Хэйром, и мы подружались с таксистом, который возил нас на бойню номер пять, куда нас, военнопленных, запирали на ночь. Звали таксиста Герхард Мюллер. Он нам рассказал, что побывал в плену у американцев. Мы его спросили, как живется при коммунистах, и он сказал, что сначала было плохо, потому что всем приходилось страшно много работать и не хватало ни еды, ни одежды, ни жилья. А теперь стало много лучше. У него уютная квартирка, дочь учится, получает отличное образование. Мать его сгорела во время бомбежки Дрездена. Такие дела.

Он послал О'Хэйру открытку к рождеству, и в ней было написано так:

«Желаю Вам и Вашей семье, а также Вашему другу веселого рождества и счастливого нового года и надеюсь, что мы снова встретимся в мирном и свободном мире, в моем такси, если захочет случай».

Мне очень нравится фраза «если захочет случай».

Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта трехклятая книжонка — сколько денег, времени, волнений. Когда я вернулся домой после второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная.

Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден,

во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями.

И я думаю: до чего бесполезны все мои воспоминания о Дрездене и все же до чего соблазнительно было писать о Дрездене. И у меня в голове вертится старая озорная песенка:

Какой-то ученый доцент
Сердился на свой инструмент:
«Мне здоровье сорвал,
Капитал промотал,
А работать не хочешь, нахал!»

И вспоминаю я еще одну песенку:

Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин,
В лесу я работаю тут.
Кого ни встречаю,
Я всем отвечаю,
Кто спросит:
«А как вас зовут?»
Зовусь я Йон Йонсен,
Мой дом — штат Висконсин...

И так далее, до бесконечности.

Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал: что главная моя работа — книга о Дрездене.

Так я ответил и Гаррисону Старру, кинорежиссеру, а он поднял брови и спросил:

— Книга антивоенная?

— Да,— сказал я,— похоже на то.

— А знаете, что я говорю людям, когда слышу, что они пишут антивоенные книжки?

— Не знаю. Что же вы им говорите, Гаррисон Старр?

— Я им говорю: а почему бы вам вместо этого не написать антиледниковую книжку?

Конечно, он хотел сказать, что войны всегда будут и что остановить их так же не легко, как остановить ледники. Я тоже так думаю.

И если бы войны даже не надвигались на нас, как ледники, все равно осталась бы обыкновенная старушка-смерть.

Когда я был помоложе и работал над своей пресловутой дрезденской книгой, я запросил старого своего однополчанина Бернарда В. О'Хэйра, можно ли мне приехать к нему. Он был окружным прокурором в Пенсильвании. Я был писателем на мысе Код. На войне мы были рядовыми разведчиками в пехоте.

Никогда мы не надеялись на хорошие заработки после войны, но оба устроились неплохо.

Я поручил Центральной телефонной компании отыскать его. Они здорово это умеют. Иногда по ночам у меня бывают такие припадки, с алкоголем и телефонными звонками. Я напиваюсь, и жена уходит в другую комнату, потому что от меня несет горчичным газом и розами. А я, очень серьезно и элегантно, звоню по телефону и прошу телефонистку соединить меня с кем-нибудь из друзей, кого я давно потерял из виду.

Так я отыскал и О'Хэйра. Он низенький, а я высокий. На войне нас звали Пат и Паташон. Нас вместе взяли в плен. Я сказал ему по телефону, кто я такой. Он сразу поверил. Он не спал. Он читал. Все остальные в доме спали.

— Слушай,— сказал я.— Я пишу книжку про Дрезден. Ты бы помог мне кое-что вспомнить. Нельзя ли мне приехать к тебе, повидаться, мы бы выпили, поговорили, вспомнили прошлое.

Энтузиазма он не проявил. Сказал, что помнит очень мало. Но все же сказал: приезжай.

— Знаешь, я думаю, что развязкой в книге должен быть расстрел этого несчастного Эдгара Дарби,— сказал я.— Подумай, какая ирония. Целый город горит, тысячи людей гибнут. А потом этого самого солдата-американца арестовывают среди развалин немцы за то, что он взял чайник. И судят по всей форме и расстреливают.

— Гм-мм,— сказал О'Хэйр.

— Ты согласен, что это должно стать развязкой?

— Ничего я в этом не понимаю,— сказал он,— это твоя специальность, а не моя.

Как специалист по развязкам, завязкам, характеристикам, изумительным диалогам, напряженнейшим сценам и столкновениям, я много раз набрасывал план книги о Дрездене. Лучший план, или, во всяком случае, самый красивый план, я набросал на куске обоев.

Я взял цветные карандаши у дочки и каждому герою придал свой цвет. На одном конце куска обоев было начало, на другом—конец, а в середине была середина книги. Красная линия встречалась с синей, а потом — с желтой, и желтая линия обрывалась, потому что герой, изображенный желтой линией, умирал. И так далее. Разрушение Дрездена изображалось вертикальным столбцом оранжевых крестиков, и все линии, оставшиеся в живых, проходили через этот переплет и выходили с другого конца.

Конец, где все линии обрывались, был в свекловичном поле на Эльбе, за городом Галле. Лил дождь. Война в Европе окончилась несколько недель назад. Нас построили в шеренги, и русские солдаты охраняли нас: англичан, американцев, голландцев, бельгийцев, французов, новозеландцев, австралийцев — тысячи бывших военнопленных.

А на другом конце поля стояли тысячи русских, и поляков, и югославов, и так далее, и их охраняли американские солдаты. И там, под дождем, шел обмен — одного на одного. О'Хэйр и я залезли в американский грузовик с другими солдатами. У О'Хэйра сувениров не было. А почти у всех других были. У меня была — и до сих пор есть — парадная сабля немецкого летчика. Отчаянный америкашка, которого я назвал в этой книжке Поль Лаззаро, вез около квартиры алмазов, изумрудов, рубинов и всякого такого. Он их снимал с мертвецов в подвалах Дрездена. Такие дела.

Дурак англичанин, потерявший где-то все зубы, вез свой сувенир в парусиновом мешке. Мешок лежал на моих ногах. Англичанин то и дело заглядывал в мешок, и вращал глазами, и крутил шей, стараясь привлечь жадные взоры окружающих. И все время стучал меня мешком по ногам.

Я думал, это случайно. Но я ошибался. Ему ужасно хотелось кому-нибудь показать, что у него в мешке, и он решил довериться мне. Он перехватил мой взгляд, подмигнул и открыл мешок. Там была гипсовая модель Эйфелевой башни. Она вся была вызолочена. В нее были вделаны часы.

— Видал красоту? — сказал он.

И нас отправили на самолетах в летний лагерь во Франции, где нас поили молочными коктейлями с шоколадом и кормили всякими деликатесами, пока мы не покрылись молодым жирком. Потом нас отправили домой, и я женился на хорошенькой девушке, тоже покрытой молодым жирком.

И мы завели ребят.

А теперь все они выросли, и я стал старым пердуном с привычными воспоминаниями, привычными сигаретами. Зовусь я Йон Йонсен, мой дом — штат Висконсин. В лесу я работаю тут.

Иногда поздно ночью, когда жена уходит спать, я пытаюсь позвонить по телефону старым своим приятельницам.

— Прошу вас, барышня, не можете ли вы дать мне номер телефона миссис такой-то, кажется, она живет там-то.

— Простите, сэр. Такой абонент у нас не значится.

— Спасибо, барышня. Большое вам спасибо.

И я выпускаю нашего пса погулять, и я впускаю его обратно, и мы с ним говорим по душам. Я ему показываю, как я его люблю, а он мне показывает, как он любит меня. Ему не противен запах горчичного газа и роз.

— Хороший ты малый, Сэнди, — говорю я ему. — Чувствуешь? Ты молодчага, Сэнди.

Иногда я включаю радио и слушаю беседу из Бостона или Нью-Йорка. Не выношу музыкальных записей, когда выпью как следует.

Рано или поздно я ложусь спать, и жена спрашивает меня, который час. Ей всегда надо знать время. Иногда я не знаю, который час, и говорю:

— Кто его знает...

Иногда я раздумываю о своем образовании. После второй мировой войны я некоторое время учился в Чикагском университете. Я был студентом факультета антропологии. В то время нас учили, что абсолютно никакой разницы между людьми нет. Может быть, там до сих пор этому учат.

И еще нас учили, что нет людей смешных, или противных, или злых. Незадолго перед смертью мой отец мне сказал:

— Знаешь, у тебя ни в одном рассказе нет злодеев.

Я ему сказал, что этому, как и многому другому, меня учили в университете после войны.

Пока я учился на антрополога, я работал полицейским репортером в знаменитом Бюро городских происшествий в Чикаго за двадцать восемь долларов в неделю. Как-то меня перекинули из ночной смены в дневную, так что я работал шестнадцать часов подряд. Нас финансировали все городские газеты и АП и ЮП¹, и все такое. И мы давали сведения о процессах, о происшествиях, о полицейских участках, о пожарах, о службе спасения на озере Мичиган, и все такое. Мы были связаны со всеми финансировавшими нас учреждениями путем пневматических труб, проложенных под улицами Чикаго.

Репортеры передавали по телефону сведения журналистам, а те, слушая в наушники, отпечатывали отчеты о происшествиях на восковках, размножали на ротаторе, вкладывали оттиски в медные с бархатной прокладкой патроны, и пневматические трубы глотали эти патроны. Самыми прожженными репортерами и журналистами были женщины, занявшие места мужчин, ушедших на войну.

И первое же происшествие, о котором я дал отчет, мне пришлось продиктовать по телефону одной из этих чертовых девок. Дело шло о молодом ветеране войны, которого устроили лифтером на лифт устаревшего образца в одной из контор. Двери лифта на первом этаже были сделаны в виде чугунной кружевной решетки. Чугунный плющ вился и переплетался. Там была и чугунная ветка с двумя целующимися голубками.

Ветеран собирался спустить свой лифт в подвал, и он закрыл двери и стал спускаться, но его обручальное кольцо зацепилось за одно из украшений. И его подняло на воздух, и пол лифта ушел у него из-под ног, а потолок лифта раздавил его. Такие дела.

Я все это передал по телефону, и женщина, которая должна была написать все это, спросила меня:

— А жена его что сказала?

— Она еще ничего не знает,— сказал я.— Это только что случилось.

¹ АП — Ассошиэйтед Пресс; ЮП — Юнайтед Пресс.

— Позвоните ей и возьмите у нее интервью.

— Что-о-о?

— Скажите, что вы капитан Финн из полицейского управления. Скажите, что у вас есть печальная новость. И расскажите ей все, и выслушайте, что она скажет.

Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать. Что у них ребенок. Ну, и вообще...

Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня (просто из бабьего любопытства), как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило.

Я ей рассказал.

— А вам было неприятно? — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера».

— Что вы, Нэнси, — сказал я. — На войне я видал кой-чего и похуже.

Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке не многие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. О дрезденской бомбежке мало что просочилось в печать.

Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета — мы встретились на коктейле — о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого Комитета по изучению социальной мысли. И он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое.

Я мог только повторять одно и то же:

— Знаю. Знаю. Знаю.

Конечно, вторая мировая война всех очень ожесточила. А я стал заведующим отделом «внешних связей» при компании «Дженерал электрик», в Шенектеди, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании, в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеди, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая.

Часто он издевательски спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина. Как будто я сделал что-то скверное.

Мы с женой давно спустили наш молодой жирок. Пошли наши тощие годы. И дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные и ненавидящие войну

больше всех — это те, кто сражался по-настоящему.

Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден: кто приказал бомбить город, сколько было послано самолетов, зачем нужен был налет и что этим выиграли. Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны.

Я прочел письмо вслух своей жене и сказал:

— Господи ты боже мой, совершенно секретны — да от кого же?

Тогда мы стали считать себя членами Мировой Федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверно, телефончики. Мы ужасно много звоним по телефону — во всяком случае я, особенно по ночам.

Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружкой-однополчанином Бернардом В. О'Хэйром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964-м или около того — в общем, в последний год Международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен... Какой-то ученый доцент...

Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Код. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки.

Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавера. Много чего надо было посмотреть, и я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда — пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки.

— Пора ехать, девочки, — говорил я. И мы уезжали.

И солнце зашло, и мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О'Хэйра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.

Я познакомился с его милейшей женой, Мэри, которой я посвящаю эту книгу. Еще я посвящаю эту книгу Герхарду Мюллеру, дрезденскому таксисту. Мэри О'Хэйр — медицинская сестра, чудесное занятие для женщины.

Мэри полюбовалась двумя девчушками, которых я привез, познакомила их со своими детьми и всех отправила наверх — играть и смотреть телевизор. И только когда все дети ушли, я почувствовал: то ли я не нравлюсь Мэри, то ли ей что-то в этом вечере не нравится. Она держалась вежливо, но холодно.

— Славный у вас дом, уютный,— сказал я, и это была правда.

— Я вам отвела место, где вы сможете поговорить, там вам никто не помешает,— сказала она.

— Отлично,— сказал я и представил себе два глубоких кожаных кресла у камина в кабинете с деревянными панелями, где два старых солдата смогут выпить и поговорить. Но она привела нас на кухню. Она поставила два жестких деревянных стула у кухонного стола с белой фаянсовой крышкой. Свет двухсотсвечевой лампы над головой, отражаясь в этой крышке, дико резал глаза. Мэри приготовила нам операционную. Она поставила на стол один-единственный стакан для меня. Она объяснила, что ее муж после войны не переносит спиртных напитков.

Мы сели за стол. О'Хэйр был смущен, но объяснять мне, в чем дело, он не стал. Я не мог себе представить, чем я мог так рассердить Мэри. Я был человек семейный. Женат был только раз. И алкоголиком не был. И ничего плохого ее мужу во время войны не сделал.

Она налила себе кока-колы и с грохотом высыпала лед из морозилки над раковиной нержавеющей стали. Потом она ушла в другую половину дома. Но и там она не сидела спокойно. Она металась по всему дому, хлопала дверьми, даже двигала мебель, чтобы на чем-то сорвать злость.

Я спросил О'Хэйра, что я такого сделал или сказал, чем я ее обидел.

— Ничего, ничего,— сказал он.— Не беспокойся. Ты тут ни при чем.

Это было очень мило с его стороны. Но он врал. Я тут был очень при чем.

Мы попытались не обращать внимания на Мэри и вспомнить войну. Я отпил немножко из бутылки, которую принес. И мы посмеивались, улыбались, как будто нам что-то припомнилось, но ни он, ни я ничего стоящего вспомнить не могли. О'Хэйр вдруг вспомнил одного малого, который напал на винный склад в Дрездене до бомбежки и нам пришлось отвозить его домой на тачке. Из этого книжку не сделаешь. Я вспомнил двух русских солдат. Они везли полную телегу будильников. Они были веселы и довольны. Они курили огромные самокрутки, свернутые из газеты.

Вот примерно все, что мы вспомнили, а Мэри все еще шумела. Потом она пришла на кухню налить себе кока-колы. Она выхватила еще одну морозилку из холодильника и грохнула лед в раковину, хотя льда было предостаточно.

Потом повернулась ко мне, чтобы я видел, как она сердится и что сердится она на меня. Очевидно, она все время разговаривала сама с собой, и фраза, которую она сказала, прозвучала как отрывок длинного разговора.

— Да вы же были тогда совсем *детьми!* — сказала она.

— Что? — переспросил я.

— Вы были на войне просто детьми, как наши ребята наверху.

Я кивнул головой — ее правда. Мы были на войне *девами* *неразумными*, едва расставшимися с детством.

— Но вы же так не напишете, верно? — сказала она. Это был не вопрос — это было обвинение.

— Я... я сам не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю, — сказала она. — Вы притворитесь, что вы были вовсе не детьми, а настоящими мужчинами, и вас в кино будут играть всякие Фрэнки Синатры и Джоны Уэйны или еще какие-нибудь знаменитости, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой. И драться будут дети, вон как те наши дети наверху.

И тут я все понял. Вот отчего она так рассердилась. Она не хотела, чтобы на войне убивали ее детей, чьих угодно детей. И она думала, что книжки и кино тоже подстрекают к войнам.

И тут я поднял правую руку и дал ей торжественное обещание.

— Мэри, — сказал я, — боюсь, что эту свою книгу я никогда не кончу. Я уже написал тысяч пять страниц и все выбросил. Но если я когда-нибудь эту книгу кончу, то даю вам честное слово, что никакой роли ни для Фрэнка Синатры, ни для Джона Уэйна в ней не будет. И знаете что, — добавил я, — я назову книгу «Крестовый поход детей».

После этого она стала моим другом.

Мы с О'Хэйром бросили вспоминать, перешли в гостиную и заговорили про всякое другое. Нам захотелось подробнее узнать о настоящем крестовом походе детей, и О'Хэйр достал книжку из своей библиотеки под названием «Удивительные заблуждения народов и безумства толпы», написанную Чарльзом Макэй, доктором философических наук, и изданную в Лондоне в 1841 году.

Макэй был неважного мнения обо всех крестовых походах. Крестовый поход детей казался ему только немного мрачнее, чем десять крестовых походов взрослых. О'Хэйр прочел вслух этот прекрасный отрывок:

Историки сообщают нам, что крестоносцы были людьми дикими и невежественными, что вело их неприкрытое ханжество и что путь их был залит слезами и кровью. Но романисты, с другой стороны, приписывают им благочестие и героизм и в самых пламенных красках рисуют их добродетели, их великодушные, вечную славу, каковую они заслужили, возданную им по заслугам, и неизмеримые благодеяния, оказанные ими делу христианства.

А дальше О'Хэйр прочел вот что:

Но каковы же были истинные результаты всех этих битв? Европа растратила миллионы своих сокровищ и пролила кровь двух миллионов своих сынов, а за это кучка грачливых рыцарей овладела Палестиной лет на сто.

Макэй рассказывает нам, что крестовый поход детей начался в 1213 году, когда у двух монахов зародилась мысль собрать армии детей во Франции и Германии и продать их в рабство на севере Африки. Тридцать тысяч детей вызвалось отправиться, как они думали, в Палестину.

Должно быть, это были дети без призора, без дела, какими кишат большие города, — пишет Макэй, — дети, выпестованные пороками и дерзостью и готовые на все.

Папа Иннокентий Третий тоже считал, что дети отправляются в Палестину, и пришел в восторг. «Дети бдят, пока мы дремлем!» — воскликнул он.

Большая часть детей была отправлена на кораблях из Марселя, и примерно половина погибла при кораблекрушениях. Остальных высадили в Северной Африке, где их продали в рабство.

По какому-то недоразумению часть детей сочла местом отправки Геную, где их не подстерегали корабли рабовладельцев. Их приютили, накормили, расспросили добрые люди и, дав им немножко денег и много советов, отправили восвояси.

В эту ночь меня уложили спать в одной из детских. О'Хэйр положил мне на ночной столик книжку. Называлась она «Дрезден. История, театры и галерея», автор Мэри Энделл. Книга вышла в 1908 году, и предисловие начиналось так:

Надеюсь, что эта небольшая книга принесет пользу. В ней сделана попытка дать читающей английской публике обзор Дрездена с птичьего полета, объяснить, как город обрел свой архитектурный облик, как он развивался в музыкальном отношении благодаря гению нескольких человек, а также обратить взор читателя на те бессмертные явления в искусстве, которые привлекают к Дрезденской галерее внимание тех, кто ищет неизгладимых впечатлений.

Я еще немножко почитал историю города:

В 1760 году Дрезден был осажден пруссаками. Пятнадцатого июля началась канонада. Картинную галерею охватил огонь. Многие картины были перенесены в Кенигсштейн, но некоторые сильно пострадали от осколков снарядов — особенно «Крещение Христа» кисти Франсиа. Вслед за тем величественная башня Крестовой церкви, с которой день и ночь следили за передвижением противника, была охвачена пламенем. В противовес печальной судьбе Крестовой церкви церковь Пресвятой Девы осталась нетронутой, и от каменного ее купола прусские снаряды отлетали, как дождевые капли. Наконец Фридриху при-

шлось снять осаду, так как он узнал о падении Глаца, средоточия его недавних завоеваний. «Нам должно отступить в Силезию, дабы не потерять все», — сказал он.

Разрушения в Дрездене были неисчислимы. Когда Гете, юным студентом, посетил город, он все еще застал унылые руины: «С купола церкви Пресвятой Девы я увидел сии горькие останки, рассеянные среди превосходной планировки города; и тут церковный служака стал похваляться перего мной искусством зодчего, который в предвидении столь нежеланных случайностей укрепил церковь и купол ее против снарядного огня. Добрый служитель указал мне затем на руины, видневшиеся повсюду, и сказал раздумчиво и кратко: «Дело рук врага».

На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Дела-вар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на Международную выставку в Нью-Йорке, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании «Дженерал моторз».

А я спросил себя о настоящем: какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется?

В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене.

А где-то там милейший человек по имени Симор Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал:

— Ладно, первой из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден.

Друзья Симора Лоуренса зовут его «Сэм», и теперь я говорю Сэму:

— Сэм, вот она, эта книга.

Книга такая короткая, такая путаная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать, и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина, да и вправду все затихает, кроме птиц.

А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне: «Пьюти-фьют?»

* * *

Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участия в бойнях и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения.

И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы.

Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом О'Хэйром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидел настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русское барокко», другая «Целоваться воспрещается» и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» и так далее.

Да,— и так далее.

Самолет «Люфтганзы» должен был вылететь из Филадельфии через Бостон, во Франкфурт. О'Хэйр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне, и — в путь! Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. И я стал непассажиrom в бостонском тумане, и «Люфтганза» посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку.

Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала — и проходил год, и потом она прыгала снова.

Я ничего не мог поделаться. Как землянин, я должен был верить часам — и календарям тоже.

У меня были с собой две книжки, я их собирался читать в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рётке «Слова на ветер», и вот что я там нашел:

Проснусь — и медлю отойти от сна.
Ищу судьбу везде, где страха нет.
Учусь идти, куда мой путь ведет.

Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. Искусство невозможно без пляски со смертью,— писал он.

«Истина в смерти,— писал он.— Я старательно боролся со смертью, пока мог... я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе... украшал лентами... щекотал ее...»

Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их... не давайте им двигаться... Скорей заморозьте их... навеки... Пусть так и стоят...»

Я поискал в Библии, на столике в мотеле, описание какого-нибудь огромного разрушения.

Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор.

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба.

И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли.

Такие дела.

В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше. И конечно, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески.

И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная.

А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб. Начинается она так:

«Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени».

А кончается так:

«Пьюти-фьют?»

2

Послушайте:

Билли Пилигрим отключился от времени.

Билли лег спать пожилым вдовцом, а проснулся в день свадьбы. Он вошел в дверь в 1955 году, а вышел из другой двери в 1941-м. Потом вернулся через ту же дверь и очутился в 1963 году. Он говорит, что много раз видел и свое рождение, и свою смерть и то и дело попадал в разные другие события своей жизни между рождением и смертью.

Так говорил Билли.

Его перебрасывает во времени рывками, и он не властен над тем, куда сейчас попадает, да и не всегда это приятно. Он постоянно нервничает, как актер перед выступлением, потому что не знает, какую часть своей жизни ему сейчас придется сыграть.

Билли родился в 1922 году в Илиуме, штат Нью-Йорк, в семье парикмахера. Он был странноватым мальчиком и стал странноватым юнцом — высоким и слабым, похожим на бутылку из-под кока-колы. Он окончил илиумскую гимназию в первой десятке своего класса и проучился один семестр на вечерних курсах оптометристов, в том же Илиуме, перед тем как его призвали на военную службу: шла вторая мировая война. Во время этой войны отец его погиб на охоте. Такие дела.

Билли воевал в пехоте в Европе и попал в плен к немцам. После демобилизации в 1945 году Билли снова поступил на оптометрические курсы. В последнем семестре он обручился с дочкой основателя и владельца курсов, а потом заболел легким нервным расстройством.

Его поместили в военный госпиталь близ Лейк-Пласид, лечили электрошоком и вскоре выписали. Он женился на своей нареченной, окончил курсы, и тесть устроил его у себя в деле. Илиум — особенно выгодное место для оптиков, потому что там расположена Всеобщая сталелитейная компания. Каждый служащий компании обязан иметь пару защитных очков и надевать их на производстве. В Илиуме на компанию служило шестьдесят восемь тысяч человек. Значит, нужно было изготовить массу линз и массу оправ.

Оправы — самое денежное дело.

Билли разбогател. У него было двое детей — Барбара и Роберт. Со временем Барбара вышла замуж, тоже за оптика, и Билли принял его в дело. Сын Билли, Роберт, плохо учился, но потом он поступил в знаменитую воинскую часть «зеленые береты». Он выправился, стал красивым юношей и сражался во Вьетнаме.

В начале 1968 года группа оптометристов, где был и Билли, наняла специальный самолет — они летели из Илиума на международный оптометрический съезд в Монреале. Самолет разбился над горами Шугарбуш в Вермонте. Все погибли, кроме Билли. Такие дела.

Пока Билли приходил в себя в одной из вермонтских больниц, его жена скончалась от случайного отравления окисью углерода. Такие дела.

После катастрофы Билли вернулся в Илиум и вначале был очень спокоен. Через всю макушку у него шел чудовищный шрам. Практикой он больше не занимался. За ним ухаживала экономка. Дочка приезжала к нему почти каждый день.

И вдруг без всякого предупреждения Билли поехал в Нью-Йорк и выступил по вечерней программе, обычно передававшей всякие беседы. Он рассказал, как он запутался во времени. Он также сказал, что в 1967 году его похитило летающее блюдце. Блюдце это, сказал он, прилетело с планеты Тральфамадор. И его отвезли на Тральфамадор и там показывали в голом виде посетителям зоопарка. Там его спарили с бывшей кинозвездой, тоже с Земли, по имени Монтана Уайлдбек.

Какие-то бессонные граждане в Илиуме услышали Билли по радио, и один из них позвонил его дочери Барбаре. Барбара расстроилась. Они с мужем поехали в Нью-Йорк и привезли Билли домой. Билли мягко, но упорно настаивал, что говорил по радио чистую правду. Он сказал, что его похитили тральфамадорцы в день дочкиной свадьбы. Никто его не хватился, объяснил он, потому что тральфамадорцы провели его по такому витку времени, что он мог годами пребывать на Тральфамадоре, а на Земле отсутствовать одну микросекунду.

Прошел еще месяц, без всяких инцидентов, а потом Билли написал письмо в «Новости Илиума», и газета опубликовала это письмо. В нем описывались существа с Тральфамадора.

В письме говорилось, что они двух футов ростом, зеленые и напоминают по форме «прокачку» — ту штуку, которой водопроводчики прокачивают трубы. Присосок у них касается почвы, а чрезвычайно гибкие стержни обычно смотрят вверх. Каждый стержень кончается маленькой ручкой с зеленым глазом на ладони. Существа настроены вполне дружелюбно и умеют видеть все в четырех измерениях. Они жалеют землян, оттого что те могут видеть только в трех измерениях. Они могут рассказать землянам чудеснейшие вещи, особенно про время. Билли обещал рассказать в своем следующем письме о многих чудеснейших вещах, которым его научили тральфамадорцы.

Когда появилось первое письмо, Билли уже работал над вторым. Второе письмо начиналось так:

«Самое важное, что я узнал на Тральфамадоре, это то, что когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфамадорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь Скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны, и могут рассматривать тот момент, который их сейчас интересует. Только у нас, на Земле, существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно.

Когда тральфамадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь,

когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфамадорцы говорят о покойниках: «Такие дела».

И так далее.

Билли сочинял письмо в подвальном помещении своего пустого дома, где был свален всякий хлам. У экономки был выходной день. В подвале стояла старая пишущая машинка. Она весила больше, чем котел отопления. Билли не мог ее перенести в другое место, оттого и писал в захламленном подвале, а не у себя в комнате.

Котел отопления испортился. Мышь прогрызла изоляцию на проводе термостата. Температура в доме упала до пятидесяти по Фаренгейту, но Билли ничего не замечал. И одет он был не слишком тепло. Он сидел босой, все еще в пижаме и халате, хотя дело шло к вечеру. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью.

Но сердце у Билли горело радостью. Оно горело оттого, что Билли верил и надеялся принести многим людям утешение, открыв им правду о времени. У входной двери без конца заливался звонок. Пришла его дочь Барбара. В конце концов она отперла двери своим ключом и прошла у него над головой, крича: «Папа, папочка, где ты?» — и так далее.

Билли не откликнулся и она впала в совершенную истерику, решив, что сейчас найдет его труп. И наконец заглянула в самое неожиданное место — в подвальную кладовку.

— Почему ты не отвечал, когда я звала? — спросила Барбара, стоя в дверях подвала. В руке она сжимала номер газеты, где Билли описывал своих знакомцев с Тральфамадора.

— А я тебя не слышал, — сказал Билли.

Партии в этом оркестре на данный момент были распределены так: Барбаре было всего двадцать один год, но она считала своего отца престарелым — хотя ему-то было всего сорок шесть, — престарелым, потому что ему повредило мозги во время самолетной катастрофы. И еще она считала себя главой семьи, потому что ей пришлось хлопотать на похоронах матери, а потом нанимать экономку для Билли, и все такое. А кроме того, Барбаре с мужем приходилось распорядиться денежными делами Билли, и притом довольно значительными суммами, так как Билли с некоторых пор совершенно наплевательски относился к деньгам. И из-за всей этой ответственности в такой юном возрасте она стала довольно противной особой. А между тем Билли старался сохранить свое достоинство, доказать Барбаре и всем остальным, что он вовсе не постарел и, напротив, посвятил себя гораздо более важному делу, чем прежняя его работа.

Он считал, что сейчас он прописывает душам землян коррек-

тирующие очки — ни более ни менее. Билли считал, что на Земле столько несчастных заблудших душ, потому что они не могут видеть все так же ясно, как его маленькие друзья-тральфамадорцы.

— Не лги мне, отец,— сказала Барбара.— Я отлично знаю, что ты слышал, как я тебя звала.

Она была довольно хорошенькая, только ноги у нее были, как ножки у старинного рояля. Она стала ругательски ругать Билли за письмо в газету. Она сказала, что он выставляет на посмешище себя и всех, кто с ним связан.

— Ах, отец, отец, отец,— сказала Барбара,— ну что нам с тобой делать? Хочешь заставить нас отправить тебя туда, где твоя мама?

Дело в том, что мать Билли еще была жива. Она лежала без движения в пансионе для престарелых, в так называемом Сосновом Бору, на окраине Илиума.

— Да что тебя так рассердило в моем письме? — спросил Билли.

— Но это сплошной бред! Там все неправда.

— Нет, все правда.— Билли не сердился, как сердилась она. Он никогда ни на кого не сердился. Удивительный у него был характер.

— Нет такой планеты Тральфамадор!

— То есть ты хочешь сказать, что ее не видно с земли,— сказал Билли.— А с Тральфамадора Земли не видать, понимаешь? Обе планеты очень малы. И расстояние между ними огромное.

— Откуда ты взял такое дурацкое название — Тральфамадор?

— Так ее называют существа, живущие там.

— О господи! — сказала Барбара и повернулась к нему спиной. В справедливой досаде она похлопывала ладонью: — Разрешить задать тебе простой вопрос?

— Конечно, пожалуйста.

— Почему ты никогда обо всем этом не говорил до катастрофы с самолетом?

— Считал, что время еще не пришло.

Ну и так далее. Билли говорит, что впервые заплутался во времени в 1944 году, задолго до полета на Тральфамадор. Тральфамадорцы тут были ни при чем. Они просто помогли ему понять то, что происходило на самом деле.

Билли заблудился во времени, когда еще шла вторая мировая война. На войне Билли служил помощником капеллана. Обычно в американской армии помощник капеллана — фигура комическая. Не был исключением и Билли. Он никак не мог ни повредить врагам, ни помочь друзьям. Фактически друзей у него не было. Он был служкой при священнике, ни повышений, ни наград не ждал, оружия не носил и смиренно верил в Иисуса кротчайшего, а большинство американских солдат считали это юродством.

Во время маневров в Южной Каролине Билли играл знакомые с детства гимны на маленьком черном органе, покрытом непромокаемым чехлом. На органе было тридцать девять клавишей и две педали — *vox humana* и *vox celesta*¹. Кроме того, Билли был поручен портативный алтарь, что-то вроде складной папки с выдвигаемыми ножками. Папка была оклеена внутри алым плюшем, а на этом жарком плюше лежал алюминиевый крест и Библия.

И алтарь и орган были сделаны на фабрике пылесосов, в Нью-Джерси, о чем свидетельствовала марка фирмы.

Однажды во время маневров в Каролине Билли играл гимн «Твердыня веры наш господь» — музыка Иоганна Себастьяна Баха, слова Мартина Лютера. Это было утром в воскресенье, и Билли со своим капелланом собрали человек пятьдесят солдат на каролинском холме. Вдруг появился наблюдатель. На маневрах было полным-полно наблюдателей, людей, которые сообщали, кто победил и кто проиграл в условных боях, кто живой, а кто мертвый.

Наблюдатель принес смешную весть. Оказывается, молящихся условно засек с воздуха условный неприятель. И все они были условно убиты. Условные трупы захохотали и с удовольствием как следует позавтракали.

Вспоминая этот случай много позднее, Билли был поражен, насколько эта история была в тральфамадорском духе — быть убитым и в то же время завтракать.

К концу маневров Билли получил внеочередной отпуск, потому что его отца нечаянно подстрелил товарищ, с которым они охотились на оленей. Такие дела.

Когда Билли вернулся из отпуска, его ждал приказ — отправиться за море. Его затребовал штаб одного из пехотных полков, сражавшихся в Люксембурге. Помощник полкового капеллана был там убит в бою. Такие дела.

Полк, куда явился Билли, в это время изничтожался немцами в знаменитом сражении в Арденнах. Билли даже не встретился с капелланом, к которому был назначен помощником, ему даже не успели выдать ни стального шлема, ни сапог. Было это в декабре 1944 года, во время последнего мощного наступления германской армии.

Билли спасся, но, совершенно обалделый, побрел куда-то, далеко за новые позиции немцев. Три других спутника, не таких обалделых, как Билли, позволили ему брести за ними. Двое из них были разведчиками, третий — стрелок противотанкового полка. Ни продовольствия, ни карты у них не было. Избегая немцев, они все глубже уходили в предательскую сельскую тишину. Они ели снег.

¹ Голос человеческий и глас небесный (лат.).

Шли они гуськом. Первыми шли разведчики, ловкие, складные, спокойные. У них были винтовки. За ними шел стрелок, неуклюжий и туповатый малый, держа наготове против немцев в одной руке автоматический кольт, а в другой — охотничий нож.

Последним брел Билли с пустыми руками, уныло ожидая смерти. Билли выглядел нелепо: высокий, шесть футов три дюйма, грудь и плечи — как большой коробок спичек. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, сугубо гражданские открытые туфли, купленные для похорон отца. Один каблук отвалился, и Билли шел, прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. От невольного прищипывания болели все суставы.

На нем была тонкая форменная куртка, рубаха и брюки из кусачей шерсти, а под ними — длинные кальсоны, мокрые от пота. Из всех он один был с бородой. Борода была растрепанная, щетинистая, и некоторые щетинки были совсем седые. Он начинал лысеть. От ветра, холода и быстрой ходьбы лицо у него побагровело.

Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на невымытого фламинго.

Так они бродили два дня, а на третий день кто-то выстрелил по их четверке — они как раз переходили узкую мощеную дорожку. Один выстрел предназначался разведчикам. Второй — стрелку, которого звали Роланд Вири.

А третья пуля полетела в невымытого фламинго, и он застыл на месте посреди дороги, когда смертельная пчела прожужжала мимо его уха. Билли вежливо остановился — надо же дать снайперу еще одну возможность. У него были путаные представления о правилах ведения войны, и ему казалось, что снайперу надо дать попробовать еще разок.

Вторая пуля чуть не задела коленную чашечку Билли и, судя по звуку, пролетела в каком-нибудь дюйме.

Роланд Вири и оба разведчика уже благополучно спрятались в канаве, и Вири зарычал на Билли: «Уйди с дороги, мать твою трам-тарарам». Тогда, в 1944 году, этот глагол редко употреблялся вслух. Билли очень удивился, а так как он сам еще никогда никого не «трам-тарарам», эти слова прозвучали очень свежо и возымели действие. Он очнулся и убежал с дороги.

«Опять спас тебе жизнь, дурак такой-растакой», — сказал Вири, когда Билли спрыгнул в канаву. Он сто раз на дню спасал Билли жизнь: ругал его на чем свет стоит, бил, толкал, чтобы тот не останавливался. Это была необходимая жестокость, потому что Билли ничего не желал делать для своего спасения. Билли хотелось все бросить. Он замерз, оголодал, растерялся, ничего не умел. Он еле отличал сон от бдения, а на третий день уже не чувствовал никакой разницы — шел он или стоял на месте. Он хотел одного — чтобы его оставили в покое. «Идите без меня, ребята», — повторял он без конца.

Вири тоже был новичком на войне. Его тоже прислали взамен другого. Он попал в орудейный расчет и помог выпустить один свирепый снаряд — из пятидесятимиллиметровой противотанковой пушки. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого Вседержителя. Снаряд сожрал снег и траву, словно пламя огнемета в тридцать футов длиной. Пламя оставило на земле черную стрелу, точно указавшую немцам, где стояла пушка. В цель снаряд не попал.

А целью был танк «тигр». Словно пригнувшись, он поворачивал свой восьмидесятимиллиметровый хобот, пока не увидел стрелу на земле. Танк выстрелил. Выстрел убил весь орудейный расчет, кроме Вири. Такие дела.

Роланду Вири было всего восемнадцать лет, и за его спиной лежало несчастливое детство, проведенное главным образом в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В Питтсбурге его не любили. Не любили его за то, что он был глупый, жирный и подлый и от него пахло копченым салом, сколько он ни мылся. Его вечно отшивали ребята, не желавшие с ним водиться.

Вири терпеть не мог, когда его отшивали. Его отошьют — а он найдет мальчишку, которого ребята не любят еще больше, чем его, и начинает притворяться, что хорошо к нему относится. Сначала дружит с ним, а потом найдет какой-нибудь предлог и избьет до полусмерти.

И так всегда. Отношения с ребятами у него шли как по плану — гнусные, полуэротические, кровожадные. Вири рассказывал им про коллекцию своего отца — тот собирал ружья, сабли, орудия пыток, кандалы, наручники, и всякое такое. Отец Вири был водопроводчиком, действительно коллекционировал такие штуки, и его коллекция была застрахована на четыре тысячи долларов. И он был не одинок. Он был членом большого клуба, куда входили любители таких коллекций.

Отец Вири однажды подарил его мамаше вместо пресс-папье настоящие испанские тиски для пальцев, в полной исправности. Другой раз он ей подарил настольную лампу, а подставка, в фут высотой, изображала знаменитую «железную деву» из Нюрнберга. Подлинная «железная дева» была средневековым орудием пытки, что-то вроде котла, снаружи похожего на женщину, а внутри усаженного шипами... Спереди женщина раскрывалась двумя дверцами на шарнирах. Замысел был такой: засадить туда преступника и медленно закрывать дверцы. Внутри были два специальных шипа на том месте, куда приходились глаза жертвы. На дне был сток, чтобы выпускать кровь.

Вот такие дела.

Вири рассказывал Билли Пилигриму про «железную деву», про сток на дне и зачем его там устроили. Он рассказал Билли про пули «дум-дум». Он рассказал ему про пистолет системы Дер-

рингера, который можно было носить в жилетном кармане, а дырку в человеке он делал такой величины, что «летучая мышь» могла пролететь и крылышек не запачкать».

Вири с презрением предложил побиться с Билли об заклад, что тот даже не знает, что значит «сток для крови». Билли предположил, что это дырка на дне «железной девы», но он не угадал. Стоком для крови, объяснил Вири, назывался неглубокий желобок на лезвии сабли или штыка.

Вири рассказывал Билли про всякие затейливые пытки — он про них и читал, и в кино насмотрелся, и по радио наслушался — и про всякие другие затейливые пытки, которые он сам изобрел. Он спросил Билли, какая, по его мнению, самая ужасная пытка. У Билли никакого своего мнения на этот счет не было. Оказывается, верный ответ был такой: «Надо связать человека и положить в муравейник в пустыне, понял? Положить лицом кверху, и весь пах вымазать медом, а веки срезать, чтоб смотрел прямо на солнце, пока не сдохнет».

Такие дела.

Теперь, лежа в канаве рядом с разведчиками и с Билли, Роланд Вири заставил Билли как следует разглядеть свой охотничий нож. Нож был не казенный. Роланду подарил нож его отец. У ножа было трехгранное лезвие длиной в десять дюймов. Ручка у него была в виде медного кастета из ряда колец, в которые Вилли просовывал свои жирные пальцы. И кольца были не простые. На них топорщились шипы.

Вири прикладывал шипы к лицу Билли и с осторожной свирепостью поглаживал его щеку:

— Хочешь — ударю, хочешь? М-mmm? Мmmm-mmm?

— Нет, не хочу, — сказал Билли.

— А знаешь, почему лезвие трехгранное?

— Нет, не знаю.

— От него рана не закрывается.

— А-аа.

— От него дырка в человеке треугольная. Обыкновенным ножом ткнешь в человека — получается разрез. Понял? А разрез сразу закрывается. Понял?

— Понял.

— Фиг ты понял. И чему вас только учат в колледжах в ваших!

— Я там недолго пробыл, — сказал Билли. И он не соврал. Он пробыл в колледже всего полгода, да и колледж-то был ненастоящий. Это были вечерние курсы оптометристов.

— Липовый твой колледж, — ядовито сказал Вири.

Билли пожал плечами.

— В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь, — сказал Вири. — Сам увидишь.

На это Билли ничего не ответил: там, в канаве, ему было до разговоров. Но он чувствовал смутное искушение — сказать, что и ему было кое-что известно про кровь и все такое. В конце

концов Билли не зря с самого детства изо дня в день утром и вечером смотрел на жуткие муки и страшные пытки. В Илиуме, в его детской комнатке, висело ужасающее распятие. Военный хирург одобрил бы клиническую точность, с которой художник изобразил все раны Христа — рану от копья, раны от тернового венца, рваные раны от железных гвоздей. В детской у Билли Христос умирал в страшных муках. Его было ужасно жалко.

Такие дела.

Билли не был католиком, хотя и вырос под жутким распятием. Отец его никакой религии не исповедовал. Мать была вторым органистом в нескольких церквях города. Она брала Билли с собой в церкви, где ей приходилось заменять органиста, и научила его немножко играть. Она говорила, что примкнет к церкви, когда решит, которая из них самая правильная.

Но решить она так и не решила. Однако ей очень хотелось иметь распятие. И она купила распятие в Санта Фе, в лавочке сувениров, когда их небольшое семейство съездило на Запад, во время Великой депрессии. Как многие американцы, она пыталась украсить свою жизнь вещами, которые продавались в лавочках сувениров.

И распятие повесили на стенку в детской Билли Пилигрима.

Оба разведчика, поглаживая полированные приклады винтовок, прошептали, что пора бы выбраться из канавы. Прошло уже десять минут, но никто не подошел посмотреть — подстрелили их или нет, никто их не прикончил. Как видно, одинокий стрелок был где-то далеко.

Все четверо выползли из канавы, не навлекая на себя огня. Они доползли до леса — на четвереньках, как и полагалось таким большим невезучим млекопитающим. Там они встали на ноги и пошли быстрым шагом. Лес был старый, темный. Сосны были посажены рядами. Кустарник там не рос. Нетронутый снег в четыре дюйма толщиной укрывал землю. Американцам приходилось оставлять следы на снегу, отчетливые, как диаграмма в учебнике бальных танцев, — шаг, скольжение, стоп, шаг, скольжение, стоп.

— Закрой пасть и молчи! — предупредил Роланд Вири Билли Пилигрима, когда они шли. Вири был похож на китайского болванчика, готового к бою. Он и был низенький и круглый, как шар.

На нем было все когда-либо выданное обмундирование, все вещи, присланные в посылках из дому: шлем, шерстяной подшлемник, вязаный колпак, шарф, перчатки, нижняя рубашка бумажная, нижняя рубашка шерстяная, верхняя шерстяная рубаха, свитер, гимнастерка, куртка, шинель, кальсоны бумаж-

ные, кальсоны шерстяные, брюки шерстяные, носки бумажные, носки шерстяные, солдатские башмаки, противогаз, котелок, ложка с вилкой, перевязочный пакет, нож, одеяло, плащ-палатка, макинтош, Библия в пулезаститном переплете, брошюра под названием «Изучай врага!», еще брошюра «За что мы сражаемся» и еще разговорник с немецким текстом в английской фонетике, чтобы Вири мог задавать немцам вопросы, как-то: «Где находится ваш штаб?», или «Сколько у вас гаубиц?», или сказать: «Сдавайтесь! Ваше положение безвыходно», и так далее.

Кроме того, у Вири была деревянная подставка, чтобы легче было вылезти из стрелковой ячейки. У него был профилактический пакет с двумя очень крепкими кондомами «исключительно для предупреждения заражения». У него был свисток, но он его никому не собирался показывать, пока не станет капралом. У него была порнографическая открытка, где женщина пыталась заниматься любовью с шотландским пони. Вири несколько раз заставлял Билли Пилигрима любоваться этой открыткой.

Женщина и пони позировали перед бархатным занавесом, украшенным помпончиками. По бокам возвышались дорические колонны. Перед одной из колонн стояла пальма в горшке. Открытка, принадлежавшая Вири, была копией самой первой в мире порнографической фотографии. Само слово «фотография» впервые услышали в 1839 году — в этом году Луи Ж.-М. Дагерр доложил Французской академии, что изображение, попавшее на пластинку, покрытую тонким слоем йодистого серебра, может быть проявлено при воздействии ртутных паров.

В 1841 году, всего лишь два года спустя, Андре Лефевр, ассистент Дагерра, был арестован в Тюильрийском саду за то, что пытался продать какому-то джентльмену фотографию женщины с пони. Кстати, впоследствии и Вири купил свою открытку там же — в Тюильрийском саду. Лефевр пытался доказать, что эта фотография — настоящее искусство и что он хотел оживить греческую мифологию. Он говорил, что колонны и пальма в горшке для этого и поставлены.

Когда его спросили, какой именно миф он хотел изобразить, Лефевр сказал, что существуют тысячи мифов, где женщина — смертная, а пони — один из богов.

Его приговорили к шести месяцам тюрьмы. Там он умер от воспаления легких. Такие дела.

Билли и разведчики были очень худые. На Роланде Вири было много лишнего жира. Он пылал, как печка, под всеми своими шерстями и одежками.

В нем было столько энергии, что он без конца бегал от Билли к разведчикам, передавая знаками какие-то приказания, которых никто не посылал и никто не желал выполнять. Кроме того, он вообразил, что, проявляя настолько больше активности, чем остальные, он уже стал их вожакom.

Он был так закутан и так потел, что всякое чувство опасности у него исчезло. Внешний мир он мог видеть только ограниченно, в щелку между краем шлема и вязаным домашним шарфом, который закрывал его мальчишескую физиономию от переносицы до подбородка. Ему было так уютно, что он уже представлял себе, что благополучно вернулся домой, выжив в боях, и рассказывает родителям и сестре правдивую историю войны — хотя на самом деле правдивая история войны еще продолжалась.

У Вири сложилась такая версия правдивой истории войны: немцы начали страшную атаку. Вири и его ребята из противотанковой части сражались, как львы, и все, кроме Вири, были убиты. Такие дела. А потом Вири встретился с двумя разведчиками, и они страшно подружились и решили пробиться к своим. Они решили идти без остановки. Будь они прокляты, если сдадутся. Они пожали друг другу руки. Они решили называться «три мушкетера».

Но тут к ним попросился этот несчастный студентиска, такой слабак, что для него в армии не нашлось дела. У него ни винтовки, ни ножа не было. У него даже шлема не было, даже фуражки. Он и идти прямо не мог, шкандыбал вверх-вниз, вверх-вниз, чуть с ума их не свел, мог запросто выдать их позицию. Жалкий малый. «Три мушкетера» его и толкали, и тащили, и вели, пока не дошли до своей части. Так про себя сочинял Вири. Спасли ему шкуру, этому студентиске несчастному.

А на самом деле Вири замедлил шаги — надо было посмотреть, что там случилось с Билли. Он сказал разведчикам:

— Посмотрите, надо пойти за этим чертовым идиотом.

Он пролез под низкой веткой. Она звонко стукнула его по шлему. Вири ничего не услышал. Где-то залаяла собака. Вири и этого не слышал. В мыслях у него разворачивался рассказ о войне. Офицер поздравлял «трех мушкетеров», обещая представить их к бронзовой звезде.

«Могу я быть вам полезным, ребята?» — спрашивал офицер.

«Да, сэр, — отвечал один из разведчиков. — Мы хотим быть вместе до конца войны, сэр. Можете вы сделать так, чтобы никто не разлучал «трех мушкетеров»?»

Билли Пилигрим остановился в лесу. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. Голова у него откинулась, ноздри затрепетали. Он походил на поэта в Парфеноне.

Тут Билли впервые отключился от времени. Его сознание величественно проплыло по всей дуге его жизни в смерть, где светился фиолетовый свет. Там не было никого и ничего. Только фиолетовый свет — и гул.

А потом Билли снова вернулся назад, пока не дошел до утробной жизни, где был алый свет и плеск. И потом вернулся в жизнь и остановился. Он был маленький мальчик и стоял под душем со своим волосатым отцом в илиумском клубе ХАМЛ¹.

¹ ХАМЛ — христианская ассоциация молодых людей.

Рядом был плавательный бассейн. Оттуда несло хлором, слышался скрип досок на вышке.

Маленький Билли ужасно боялся: отец сказал, что будет учить его плавать методом: «Плыви или тони!» Отец собирался бросить его в воду на глубоком месте — придется Билли плыть, черт возьми!

Это походило на казнь. Билли весь онемел, пока отец нес его на руках из душа в бассейн. Он закрыл глаза. Когда он их открыл, он лежал на дне бассейна и вокруг звенела чудесная музыка. Он потерял сознание, но музыка не умолкала. Он смутно почувствовал, что его спасают. Билли очень огорчился.

Потом он пропутешествовал в 1965 год. Ему шел сорок второй год, и он навещал свою престарелую мать в Сосновом Бору — пансионе для стариков, куда он ее устроил всего месяц назад. Она заболела воспалением легких, и думали, что ей не выжить. Но она прожила еще много лет.

Голос у нее почти пропал, так что Билли приходилось прикладывать ухо почти к самым ее губам, сухим, как бумага. Очевидно, ей хотелось сказать что-то очень важное.

— Как...— начала она и остановилась. Она слишком устала. Видно, она понадеялась, что договаривать не надо: Билли сам закончит фразу за нее.

Но Билли понятия не имел, что она хочет сказать.

— Что «как», мама? — подсказал он ей.

Она глотнула воздух, слезы покатались по лицу. Но тут она собрала все силы своего разрушенного тела, от пальцев на руках до самых пяток. И наконец у нее хватило сил прошептать всю фразу:

— Как это я так *состарилась?*

Престарелая мать Билли забылась сном, и его проводила из комнаты хорошенькая сиделка. Когда Билли вышел в коридор, на носилках провезли тело старика, прикрытое простыней. Старик когда-то был знаменитым бегуном. Такие дела. Кстати, все это было перед тем, как Билли разбил голову при катастрофе самолета — перед тем, как он красноречиво заговорил о летающих блюдах и путешествии во времени.

Билли сидел в приемной. Тогда он еще не овдовел. Под тугими подушками кресла он нащупал что-то твердое. Он потянул за уголок и вытащил книжку. Она называлась: «Казнь рядового Словика», автор Уильям Бредфорд Гюн. Это был правдивый рассказ о расстреле американского солдата, рядового Эдди Д. Словика, № 36896415, единственного солдата со времен Гражданской войны, расстрелянного самими американцами за трусость. Такие дела.

Билли прочитал изложенное в книге мнение видного юриста, члена суда, по поводу дела Словика. В конце говорилось так:

Он бросил прямой вызов государственной власти, и все будущие дисциплины зависят от решительного ответа на этот вызов. Если за дезертирство полагается смертная казнь, то в данном случае ее применить необходимо, и не как меру наказания, не как воздаяние, но исключительно как способ поддержать дисциплину, которая является единственным условием успехов армии в борьбе с врагом. В данном случае никаких просьб о помиловании не поступало, да это и не рекомендуется.

Такие дела.

Билли мигнул в 1965 году, перелетел во времени обратно, в 1958 год. Он был на банкете в честь команды Молодежной лиги, в которой играл его сын, Роберт. Тренер, закоренелый холостяк, говорил речь. Он просто задыхался от волнения.

— Клянусь богом,— говорил он,— я считал бы честью подавать воду этим ребятам.

Билли мигнул в 1958 году, перелетел во времени в 1961-й. Был канун Нового года, и Билли безобразно напился на вечеринке, где все были оптиками либо женами оптиков.

Обычно Билли пил мало — после войны у него болел желудок, — но тут он здорово нализался и сейчас изменял своей жене, Валенсии, в первый и последний раз в жизни. Он как-то уговорил одну даму спуститься с ним в прачечную и сесть на сушилку, которая гудела.

Дама тоже была очень пьяна и помогала Билли снять с нее резиновый пояс.

— А что вы мне хотели сказать? — спросила она.

— Все в порядке,— сказал Билли. Он честно думал, что все в порядке. Имени дамы он вспомнить не мог.

— Почему вас называют Билли, а не Вильям?

— Деловые соображения,— сказал Билли.

И это была правда. Тесть Билли, владелец илиумских оптометрических курсов, взявший Билли к себе в дело, был гением в своей области. Он сказал: пусть Билли позволяет людям называть себя просто Билли — так они лучше его запомнят. И в этом будет что-то особенное, потому что других взрослых Билли вокруг не было. А кроме того, люди сразу станут считать его своим другом.

Тогда же на вечеринке разразился ужасающий скандал, люди возмущались Билли и его дамой, и Билли как-то очутился в своей машине, ища, где же руль.

Сейчас это было важнее всего — найти руль. Сначала Билли махал руками, как мельница, надеясь случайно на него наткнуться. Когда это не удалось, он стал искать руль методически, постепенно, так что руль от него никак не мог спрятаться. Он крепко прижался к левой дверце и обшарил каждый квадратный дюйм перед собой. Когда руль не обнаружился, Билли продвигался

нулся вперед на шесть дюймов и снова стал нашаривать руль. Как ни странно, он ткнулся носом в правую дверцу, не найдя руля. Он решил, что кто-то его украл. Это его рассердило, но он тут же свалился и уснул.

Оказывается, он сидел на заднем сиденье машины, а потому и не мог найти руль.

Тут кто-то сильно потряс Билли, и он проснулся. Билли все еще был пьян и все еще злился из-за украденного руля. Но тут он снова оказался во второй мировой войне, в тылу у немцев. Тряс его Роланд Вири. Вири сгреб Билли за грудки. Он стукнул его об дерево, потом дернул назад и толкнул туда, куда надо было идти.

Билли остановился, потряс головой.

— Идите сами! — сказал он.

— Что?

— Идите без меня, ребята. Я в порядке.

— Ты что?

— Все в порядке...

— У, черт тебя раздери, — сказал Вири сквозь пять слоев мокрого шарфа, присланного из дому. Билли никогда не видел лица Роланда Вири. Он пытался вообразить, какой он, но ему представлялось что-то вроде жабы в аквариуме.

С четверть мили Роланд толкал и тащил Билли вперед. Разведчики ждали под берегом замерзшей речки. Они слышали собачий лай. Они слышали, как перекликались человеческие голоса, перекликались, как охотники, уже учувявшие, где дичь.

Берег речки был достаточно высок, и разведчиков за ним не было видно. Билли нелепо скатился с берега. После него сполз Вири, звеня и звякая, пыхтя и потея.

— Вот он, ребята, — сказал Вири. — Жить ему неохота, да мы его заставим. А когда спасется, так поймет, клянусь богом, что жизнь ему спасли «три мушкетера».

Разведчики впервые услышали, что Вири зовет их про себя «тремя мушкетерами».

Билли Пилигрим шел по замерзшему руслу речки, и ему казалось, что его тело медленно испаряется. Только бы его оставили в покое хоть на минуту, думал он, никому не пришлось бы с ним возиться. Он весь превратился бы в пар и медленно всплыл бы к верхушкам деревьев.

Где-то снова залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал, как удары огромного медного гонга, и страшно испугал Билли.

Восемнадцатилетний Роланд Вири протиснулся между двумя разведчиками.

— Ну, что теперь предпримут «три мушкетера»?

У Билли Пилигрима начались приятнейшие галлюцинации. Ему казалось, что на нем были толстые белые шерстяные носки

и он легко скользил по паркету бального зала. Тысячи зрителей аплодировали ему. Это не было путешествием во времени. Ничего похожего никогда не было, никогда быть не могло. Это был бред умирающего мальчишки, в чьи башмаки набился снег.

Один из разведчиков, опустив голову, длинно сплюнул. Другой тоже. Они увидели, как мало значил для снега и для истории такой плевков. Оба разведчика были маленькие, складные. Они уже много раз побывали в тылу у немцев — жили, как лесные звери, от минуты к минуте, в спасительном страхе, мысля не головным, а спинным мозгом.

Они рывком высвободились из ласкового объятия Вири. Они сказали Вири, что ему бы, да и Билли Пилигриму тоже, лучше всего поискать — кому сдать. Ждать их разведчики не желали.

И они бросили Вири и Билли в русле речки.

Билли Пилигрим все еще скользил в своих белых шерстяных носках, выкидывая разные трюки — любой человек сказал бы, что такая акробатика немислима, но он кружился, тормозил на пяточке и так далее. Восторженные крики продолжались, но вдруг все изменилось: вместо галлюцинаций Билли опять стал путешествовать во времени.

Билли уже не скользил, а стоял на эстраде в китайском ресторанчике в Илиуме, штат Нью-Йорк, в осенний день 1957 года. Его стоя приветствовали члены Клуба львов. Он только что был избран председателем этого клуба, и ему нужно было сказать речь. Он до смерти перепугался, решив, что произошла жуткая ошибка. Все эти зажиточные, солидные люди сейчас обнаружат, что выбрали такого жалкого заморыша. Они услышат его высокий, срывающийся, как когда-то на войне, голос. Он глотнул воздух, чувствуя, что вместо голосовых связок у него внутри свистулька, вырезанная из вербы. И что еще хуже — сказать ему было нечего. Люди затихли. Все покраснелись, заулыбались.

Билли открыл рот — и прозвучал глубокий, звучный голос. Трудно было найти инструмент великолепнее. Голос Билли звучал насмешливо, и весь зал покатывался со смеху. Он становился серьезным, снова острил, и закончил смиренной благодарностью. Объяснялось это чудо тем, что Билли брал уроки ораторского искусства.

А потом он снова очутился в русле замерзшей речки. Роланд Вири бил его смертным боем.

Трагический гнев обуревал Роланда Вири. Снова с ним не захотели водиться. Он сунул пистолет в кобуру. Он воткнул нож в ножны. Весь нож целиком — и трехгранное лезвие, и желобок для стока крови. И, встряхнув Билли так, что у него кости за-

гремели, он стукнул его об землю у берега.

Вири орал и стонал сквозь слои шарфа — подарка из дому. Он что-то невнятно ворчал про жертвы, принесенные им ради Билли. Он разглагольствовал о том, какие богобоязненные, какие мужественные люди все «три мушкетера», в самых ярких красках описывал их добродетели, их великодушие, бессмертную славу, добытую ими для себя, и бесценную службу, какую они сослужили делу христианства.

Вири считал, что эта доблестная боевая единица распалась исключительно по вине Билли и Билли за это расплатится сполна. Вири двинул его кулаком в челюсть и сбил с ног на заснеженный лед речки. Билли упал на четвереньки, и Вири ударил его ногой в ребра, перекатил его на бок. Билли весь сжался в комок.

— Тебя к армии и *подпускать* нельзя! — сказал Вири.

У Билли невольно вырвались судорожные звуки, похожие на смех.

— Ты еще смеешься, а? — крикнул Вири. Он обошел Билли со спины. Куртка, верхняя и нижняя рубашки задралась на спине у Билли почти до плеч, спина оголилась. В трех дюймах от солдатских сапог Роланда Вири жалобно торчали Биллины позвонки.

Вири отвел правый сапог, нацелился на позвоночник, на трубку, где проходило столько нужных для Билли проводов. Вири собрался сломать эту трубку.

Но тут Вири увидал, что у него есть зрители. Пять немецких солдат с овчаркой на поводке остановились на берегу речки и глазели вниз. В голубых глазах солдат стояло мутное, совсем гражданское любопытство: почему это один американец пытается убить другого американца вдали от их родины и почему жертва смеется?

3

Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название, причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание».

Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это игра. Звали ее Принцесса.

Двое немцев были совсем мальчишки. Двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта.

Командовал ими капрал средних лет — красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен четыре раза — и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдать. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела.

Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот: однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву».

Билли Пилигрим никогда не слышал про этот анекдот. Но лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидел Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил.

Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, пятнадцатилетнего мальчугана.

Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева.

Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его — нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша.

Вдали прозвучали три спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тылу. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из «трех мушкетеров».

Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири небось хотелось пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали.

— Хороша у тебя игрушка! — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. — Что скажешь? Ничего штучка, а?

Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири. Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию.

Не пробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата, над сердцем. У нее стальной переплет.

В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку — женщину с пони.

— Повезло коняге, а? — сказал он. — М-mmm? Тебе бы на его место, а? — он передал картинку другому старику: — Военный трофей! Твой будет, твой, счастливчик ты этакий!

Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они, и Билли и Вири, оказались без походной обуви, а идти им пришлось милоу за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал — вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири.

— Извини, — говорил тогда Билли, или же: — Прошу прощения.

Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек двадцать американцев, они сидели на полу, прислонясь к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать — то есть ни о чем.

Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана — тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку.

Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли, в Илиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки.

Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно. Но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог.

— Доктор, — осторожно окликнула его пациентка.

— М-mmm? — сказал он.

— Вы вдруг замолчали.

— Простите.

— Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились.

— М-мм.

— Вы увидели что-нибудь страшное?

— Страшное?

— Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?

— Нет-нет, — сказал Билли, которому ужасно хотелось

спать.— Глаза у вас отличные. Нужны только очки для чтения

И он велел ей пройти в другой кабинет, в конце коридора там был большой выбор оправ.

Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там, на дворе. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага.

Прямо под окном стоял собственный «кадиллак» Билли «Эльдорадо Купэ дэ Виль». Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озэйбл»,— гласила одна. «Поддержите свою полицию»,— взывала другая. Там была и третья, на ней стояло: «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Бэрча. На регистрационном номере стояла дата: 1967 год. Значит, Билли было сорок четыре года. И он спросил себя: «Куда же ушли все эти годы?»

Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер «Оптометрического обозрения». Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. «События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов, по крайней мере, лет на пятьдесят!— читал Билли.— С таким предупреждением Жан Тириарт, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания Европейского сообщества оптометристов. Надо выбирать, сказал он, либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике».

Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес.

Вдруг взвизгнула сирена, напугав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала третьей мировой войны. Но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли.

Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить,— пора было двигаться дальше.

Американцы вместе с Билли шли шутовским парадом по дороге.

Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты, с «лейкой». Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой.

Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например, сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен.

Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Монны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой «кадиллак» в 1967 году.

Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в Клуб львов. Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напомнил Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы — там прошли танки и бронетранспортеры национальной гвардии.

«Брат по крови» — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки.

Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул. И Билли сделал самое простое: он поехал дальше.

Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума, Дом искусств, бассейн «Мирный» и кварталы дорогих жилых домов.

Билли Пилигрим не возражал.

Председательствовал на собрании Клуба львов бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама, пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума.

Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама, не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при

бомбежке. Он просто завтракал в Клубе львов, где когда-то был председателем.

На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая ему была поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддерживала.

Звучала молитва так:

Господи, дай мне душевный покой,
чтобы принимать
то, чего я не могу изменить,
мужество —
изменять то, что могу,
и мудрость —
всегда отличать
одно от другого.

К тому, что Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее.

А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын — сержант «зеленых беретов» во Вьетнаме.

Майор сказал Билли, что «зеленые береты» делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном.

— Да, да, конечно, — сказал Билли. — Конечно!

Билли отправился домой — прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания: вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил.

В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат, как Крез, хотя раньше считал, что этого ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще пять оптиков, и зарабатывал он больше шестидесяти тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала пятая часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе № 54 и половинная доля в каждом из трех киосков, продававших «холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого.

Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город — выбрать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке,

оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было.

Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его.

Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, и на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор — он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора.

Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил шторы, задернул портьеры и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил «волшебные пальцы», и они стали его укачивать, пока он плакал.

Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь — вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал, он непрестанно гримасничал, будто подражал каким-то знаменитым киноактерам.

Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей.

Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели две назад в Клубе львов от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию.

Билли еще раз выглянул на улицу, увидел новый шикарный «бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на калек и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался как оглашенный.

Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.

С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки све-

тились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво.

Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая — вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири.

— Прошу прощения,— сказал он.

У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровавый пудинг.

На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге и наконец слились в один поток на шоссе, в долине. По долине, как Миссисипи, потекла река униженных американцев. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали.

Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля.

Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях.

Один солдат, весь в черном, пьяный вдребезину, устроил себе «отдых героя», развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевков шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом.

Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался — видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просинойю. Такие дела.

Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шляха.

Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал:

— Не толкайся! Не толкайся!

Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии.

На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась.

Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу переключился на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.

Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию.

Лучи прожекторов метались, как безумные.

Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двустороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли.

Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли:

— Из моих ребят?

Этот человек потерял свой полк — около четырех тысяч пятисот человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный.

— Из какой части? — спросил полковник. Потом стал кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вошенная бумага.

Билли не мог вспомнить номер своей части.

— Из пятьдесят четвертого?

— Пятьдесят четвертого чего? — спросил Билли.

Наступило молчание.

— Пехотного полка, — сказал наконец полковник.

— А-аа, — сказал Билли.

Снова наступило молчание, и полковник стал умирать, умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту:

— Это я, ребята! Бешеный Боб!

Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — «Бешеный Боб».

Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири, но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог.

Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам, и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с пятьдесят четвертым. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе — в Коди, штат Вайоминг. И зажарит им целого быка.

И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи.

— Храни вас бог, ребятки! — сказал полковник, и слова от-

дались эхом в мозгу у Билли. А потом полковник сказал: — Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите Бешеного Боба.

Я был при этом. И мой дружок Бернард В. О'Хэйр тоже.

Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попал в другой вагон, хотя и в тот же поезд.

По углам вагона, под самой крышей, виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и, когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом, его глаза оказались на уровне отдушины и он мог видеть второй состав, ярдах в десяти от них.

Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звания, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался.

Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет сорока.

— Я и не так голодал, — сказал бродяга Билли. — И бывал кой-где похуже. Не так уж тут плохо.

Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала.

— Йа-йа, — сказал один, задумчиво кивая головой. — Йа, йа-аа...

Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим как зачарованный уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней — кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем — бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы. И еще там было четыре миски с супом.

На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери.

Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем: vedi, mol, себя хорошо.

Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось шесть живых полковников и один мертвый.

Немцы вынесли покойника. Это был Бешеный Боб. Такие дела.

Ночью паровозы стали переключаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок — он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных.

Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря. А в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены, нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения. И все же пленных везли и везли.

Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще двое суток.

— Бывает и хуже, — сказал бродяга на второй день. — Бывает куда хуже.

Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустели, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг другу: «Здрасьте!»

Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра, а оттуда выходили экскременты, моча и ругань.

Человеческие существа облегчались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушин, а те их выливали. Билли стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились.

Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю, — она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике.

А потом поезд двинулся на восток.

Где-то на земле было рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул и поплыл во времени в 1967 год — в ту ночь, когда его похитило летающее блюдо с Тральфамадора.

В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было сорок четыре года. Свадьбу отпраздновали днем, в саду у Билли, под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые.

Билли примостился, как ложка, около своей жены Валенсии на большой двуспальной кровати. Их укачивали «волшебные пальцы». Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург — один из компаньонов Билли — совладельцев гостиницы «Отдых».

Светила полная луна.

Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просинью.

Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдо. Коридор был исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока не выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие. Страх приказывал ему: остановись! Бесстрашие говорило: иди! Он остановился.

Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены в кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат «принцесса», он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли. И вдруг он зазвонил.

Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах — горчичный газ и розы. Оказалось — ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутылка лимонада. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ.

Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просинью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе — все, что осталось от пира под тентом. Кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка.

Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула. Шампанское выдохлось. Такие дела.

Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюда. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, просмотрел последний военный

фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем.

Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися об землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям.

Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом пламя съеживалось, собиралось, собиралось в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу, у немцев, были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков. Но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители и снова всех починили, все стало как новенькое.

Когда бомбы вернулись на базу, стальные цилиндры из гнезд вынимались и отправлялись обратно, в Америку, где заводы работали днем и ночью, разбирая эти цилиндры, превращая их опасную начинку в безобидные минералы. Трогательно было смотреть, сколько женщин участвовало в этой работе. Минералы переправлялись геологам в отдаленные районы. Их делом было снова зарыть в землю и спрятать их как можно хитрее, чтобы они больше никогда и никого не увечили.

Американские летчики выскальзывали из своего обмундирования, снова становились школьниками. «А Гитлер, наверно, стал младенцем», — подумал Билли. Но этого в фильме не было. Билли экстрополировал события назад. «Все превратились в младенцев, и все человечество, без исключения, приложило все биологические усилия, чтобы произвести на свет два совершенства — двух людей, должно быть, Адама и Еву», — думал Билли.

Билли просмотрел военный фильм задом наперед, потом опять с начала до конца, а потом было уже пора идти во двор встречать летающее блюдце. И он вышел, топча иссиня-белыми ногами мокрую, как салат, зелень лужайки. Он остановился, отпил из бутылки глоток выдохшегося шампанского. Вкус был как у микстуры. Он не подымал глаз к небу, хотя знал, что с Тральфамадора уже прилетело блюдце. Скоро он его все равно увидит, и снаружи и внутри, скоро он увидит, откуда оно пришло, скоро, очень скоро.

Над головой послышался звук — словно певуче ухнула сова. Но это вовсе не был певучий крик совы — это летело блюдце с Тральфамадора, летело и во времени и в пространстве, так что Билли Пилигриму показалось, что оно сразу появилось ниоткуда. Где-то залаяла большая собака.

Блюдце было сто футов в диаметре, с иллюминаторами на борту. Из иллюминаторов шел пульсирующий алый свет. Послышался звук, похожий на поцелуй, — это открылся герметический люк в дне блюдца. Оттуда зазмеилась лесенка, вся в разноцветных лампочках, как карусель.

Лучевое ружье, наставленное на Билли из иллюминатора, парализовало его волю. Он чувствовал, что необходимо схватиться за нижнюю ступеньку гибкой лестницы. Так он и сделал. Ступенька была наэлектризована, поэтому ладони Билли крепко пристали к ней. Его втащили в люк. Механизм закрыл крышку люка. Только тут лестница, навитая на колесо внутри люка, отпустила его. Только тут мозг Билли опять заработал.

Внутри люка были два глазка — и оттуда смотрели чьи-то желтые глаза. На стене висел репродуктор. У тральфамадорцев голосовых связок не было. Они общались между собой телепатически. С Билли они разговаривали при помощи компьютера и какого-то электрического прибора, который умел произносить все землянские слова.

— Приветствуем вас на борту, мистер Пилигрим, — произнес голос из громкоговорителя. — Есть вопросы?

Билли облизнул губы, подумал и наконец спросил:

— Почему именно я?

— Это очень земной вопрос, мистер Пилигрим. Почему *вы*? А почему *мы*? Почему вообще всё? Просто потому, что этот миг таков. Видели ли вы когда-нибудь насекомое, застывшее в янтаре?

— Да.

Кстати, у Билли в приемной было пресс-папье — кусок полированного янтаря с застывшими в нем тремя божьими коровками.

— Вот видите, мистер Пилигрим, сейчас и мы застыли в янтаре этого мига, никаких «почему» тут нет.

В атмосферу, окружавшую Билли, ввели снотворное, и Билли заснул. Его перенесли в кабину, где прикрепили ремнями к желтой кушетке, украденной со склада Сирса и Роубека. Багажник летающего блюдца был битком набит краденными вещами для мебелировки искусственного жилья Билли в тральфамадорском зоопарке.

От страшного ускорения полета блюдца при выходе из земной

атмосферы сонное тело Билли скрутилось, лицо исказилось гримасой, и он выпал из времени и снова вернулся на войну.

Когда он пришел в сознание, он был уже не на летающем блюдце. Он снова очутился в теплушке и ехал по Германии.

В теплушке одни вставали с пола, другие ложились. Билли тоже собрался лечь. Славно было бы поспать. В вагоне было темным-темно, снаружи — та же темнота. Вагон, казалось, шел со скоростью не более двух миль в час. Ни разу поезд не ускори́л ход. Много времени проходило между одним стыком рельса и другим. Раздавался стук, потом проходил год, и раздавался следующий стук.

Поезд часто останавливался, пропуская действительно важные составы, и те с ревом пролетали мимо. И еще поезд останавливался в тупиках, у тюрем, отцепляя там по несколько вагонов. Он полз по Германии, становясь все короче и короче.

И Билли опустился на пол осторожно — ох, до чего осторожно! — держась за поперечину на углу стенки, чтобы стать почти что невесомым для тех, кто уже лежал на полу. Он знал, что прежде чем улечься на пол, ему надо по возможности стать бесплотным духом. Он позабыл, зачем это нужно, но ему тут же напомнили.

— Пилигрим, — сказал голос того человека, к которому он хотел было пристроиться, — это ты?

Билли ничего не ответил, очень вежливо улегся и закрыл глаза.

— А, черт тебя дери, — сказал человек. — Ты это или не ты? — Он сел и грубо обшарил Билли руками. — Ты, конечно. Убирайся отсюда ко всем чертям!

Билли тоже сел, он чуть не плакал, бедняга.

— Убирайся! Я спать хочу!

— Заткнись, — сказал кто-то.

— Заткну́сь, когда Пилигрим уберется.

И Билли опять встал, вцепился в поперечину.

— А где же мне спать? — спросил он тихо.

— Только не рядом со мной.

— И не со мной, сукин ты сын, — сказал второй голос. — Ты со сна орешь и брыкаешься.

— Правда?

— Правда, черт подери. И стонешь.

— Правда?

— Не лезь сюда, Пилигрим, слышишь?

И тут весь вагон хором стал нещадно поносить Билли. Почти каждый вспоминал всякие мучения, которые ему пришлось терпеть от Билли Пилигрима, когда тот спал рядом. Почти каждый говорил Билли Пилигриму: не лезь сюда, иди ко всем чертям.

И Билли Пилигриму приходилось спать стоя или совсем не спать. И еду перестали передавать через отдушины, а дни и ночи становились все холоднее и холоднее.

На восьмой день сорокалетний бродяга сказал Билли:

— Ничего, бывает хуже. А я везде приспособлюсь.

— Правда? — спросил Билли.

На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последним его словом было:

— Да разве это плохо? Бывает куда хуже.

Что-то было роковое в его смерти на девятый день. И в соседнем вагоне на девятый день появился покойник. Умер Роланд Вири — от гангрены в искалеченных ногах. Такие дела.

Вири бредил не переставая и в бреду все повторял про «трех мушкетеров», говорил, что умрет, давал множество поручений для своей семьи в Питтсбурге. Но больше всего он хотел, чтобы за него отомстили, и без конца повторял имя своего убийцы. Весь вагон отлично запомнил это имя.

— Кто меня убил? — спрашивал Вири.

И все знали ответ. А ответ был: «Билли Пилигрим».

Слушайте: на десятую ночь из дверей вагона, где ехал Билли, вытащили засов и двери отворились. Билли боком примостился на поперечнике, словно распяв сам себя, и держался за край отдушины рукой цвета слоновой кости с просинью. Билли закашлялся, когда отворились двери, а когда он кашлял, он испражнялся жидкой кашицей. Это подтверждало третий закон движения материи, согласно теории сэра Исаака Ньютона. Закон гласит, что каждому действию соответствует противодействие, равное по силе и противоположное по направлению.

Этот закон применяется в ракетостроении.

Поезд прибыл в тупик около бараков, служивших ранее лагерем уничтожения русских военнопленных.

Охрана совиными глазами разглядывала внутренность вагона Билли и успокаивающе похмыкивала. До сих пор им никогда не приходилось иметь дел с американцами, но общую характеристику такого груза они, конечно, поняли. Они знали, что содержимое вагона, в сущности, представляет собой вещество в жидком состоянии и что это вещество можно выманить из вагона путем применения света и ободряющих звуков. Стояла темная ночь.

Единственный свет шел снаружи от одинокой лампочки, подвешенной на высоком столбе, где-то вдали. Вокруг все было тихо, если не считать голосов охраны, ворковавшей, как голуби. И жидкое вещество стало вытекать. Комки образовывались в дверях, шлепались на землю.

Билли показался в дверях предпоследним. Последним был бродяга. Но он вытечь уже не мог. Он перестал быть жидким веществом. Он стал камнем. Такие дела.

Билли не желал падать из вагона на землю. Он искренне был уверен, что разобьется, как стекло. И охрана, ласково воркуя, помогла ему слезть. Они спустили его лицом к поезду. А поезд теперь стал совсем жалкий.

Он состоял из паровоза, тендера и трех небольших теплушек. Последнюю теплушку — земной рай на колесах — занимала охрана. И снова в этом раю на колесах был накрыт стол. Обед был подан.

У основания столба, на котором висела электрическая лампочка, стояло что-то вроде трех стогов сена. Американцев угловорами и шутками заставили подойти к этим стогам, которые оказались вовсе не стогами. Это были груды шинелей, снятых с пленных, которые уже умерли. Такие дела.

Охрана твердо решила, что каждый американец без верхней одежды непременно должен взять себе какую-нибудь шинель. И шинели обледенели и смерзлись настолько, что охране пришлось орудовать штыками вместо ломов, и, подцепив торчащий воротник, рукав или полу, они отдирали какую-нибудь из вещей и отдавали ее кому попало. Шинели стояли колом, жесткие и холодные.

Пальто, которое получил Билли, и без того совсем короткое, так съезжилось и обледенело, что походило на огромную черную треуголку. Оно все было в клейких пятнах цвета ржавчины или кислого клубничного варенья. К пальто примерзло что-то вроде дохлого мохнатого зверька. На самом же деле это был меховой воротничок.

Билли уныло покосился на шинели своих товарищей. На всех этих шинелях болтались либо медные пуговицы, либо галуны, выпушки или номера, нашивки или орлы, полумесяцы или звезды. Это были солдатские шинели. Один только Билли получил пальтецо с мертвого гражданского лица. Такие дела.

Охрана понукала Билли, чтобы он и все остальные отошли от своего унылого поезда и прошли к баракам для пленных. Но ничего хорошего там их не ждало — ни тепла, ни признаков жизни, одни только длинные низкие тесные бараки, бесконечные ряды неосвещенных барачков.

Где-то залаяла собака. От эха в зимней тишине лай собаки звучал как удары огромного медного гонга.

Билли и всех остальных заманивали из одних ворот в другие, и Билли впервые увидал русского солдата. Тот стоял один, в темноте — куль лохмотьев с круглым плоским лицом, светившимся, как циферблат на часах.

Билли прошел в каком-нибудь ярде от русского. Их разделяла колючая проволока. Русский ничего не сказал, не помахал рукой. Но заглянул прямо в душу Билли, ласково, с надеждой, словно Билли мог бы сообщить ему какую-то радостную весть, — и хоть он, быть может, эту весть сразу и в толк не возьмет, но все равно, хорошая весть — всегда радость.

Билли совсем осовел, идя через одни ворота за другими, и пришел в себя, только очутившись в здании, похожем, как ему показалось, на что-то тральфамадорское. Оно было ярко освещено и выложено белым кафелем. Однако здание было земное. Это была дезинфекционная камера, через которую пропускались все пленные.

Билли послушно снял с себя одежду. Кстати, и на Тральфамадоре ему тоже прежде всего приказали раздеться.

Немец указательным и большим пальцем стиснул правую руку Билли у бицепса и спросил своего товарища, какая же это страна посылает таких слабаков на фронт. Потом они посмотрели на тела других американцев и потыкали пальцем в тех, кто был ничуть не лучше Билли.

Но одно из самых крепких тел принадлежало немолодому американцу, учителю гимназии из Индианаполиса. Звали его Эдгар Дарби. Он прибыл не в том вагоне, где находился Билли. Он прибыл в том вагоне, где находился Роланд Вири. Когда тот умирал, Дарби держал на коленях его голову. Такие дела. Дарби было сорок четыре года. Он был в таком возрасте, что у него уже был взрослый сын в морсокой пехоте, на тихоокеанском театре войны.

Дарби использовал свои связи, чтобы по протекции попасть в армию, несмотря на свой возраст. В Индианаполисе он преподавал предмет под названием «Современные проблемы западной цивилизации». Кроме того, он был тренером теннисной команды и очень заботился о своем теле.

Сын Дарби вернулся с войны живым и здоровым. А Дарби не вернулся. Его прекрасное тело изрешетили пули: он был расстрелян в Дрездене через шестьдесят восемь дней. Такие дела.

Тело Билли было еще не самым жутким среди американских тел. Самое жуткое тело было у поездного вора из города Цицери, штат Иллинойс. Звали вора Поль Лаззаро. Он был крошечного роста, и у него не только все кости и все зубы были порченые — у него и кожа была страшная. Лаззаро был весь испещрен рубцами величиной с полпенни. Он страдал ужасающим фрункулезом.

Лаззаро тоже прибыл в вагоне, где лежал Роланд Вири, и он дал Вири честное слово, что как-нибудь да расплатится с Билли Пилигримом за смерть Вири. Сейчас он оглядывался, соображая, какое из этих голых тел и есть Билли.

Голые американцы встали под души у выложенной белым кафелем стены. Кранов для регулировки не было. Они могли только дожидаться — что будет. Их детородные органы сморщились, истощились. В тот вечер продолжение рода человеческо-го никак не стояло на повестке дня.

Невидимая рука повернула где-то главный кран. Из душей

брызнул кипящий дождь. Дождь походил на огонь паяльной лампы — он не согревал.

Он щекотал и колот кожу Билли, но никак не мог растопить лед в его насквозь промерзшем длинном костяке.

В то же время одежда американцев дезинфицировалась ядовитыми газами. Вши, и бактерии, и блохи дошли миллионами. Такие дела.

А Билли пролетел во времени обратно в детство. Он был младенцем, и его только что выкупала мама. Теперь мама завернула его в простынку и унесла в розовую комнату, полную солнца. Она развернула его на мохнатой простынке, напудрила между ножками, поиграла с ним, похлопала его по мягкому животику. Ее ладонь легко шлепала по мягкому животику.

Билли пускал пузыри и агукал.

А потом Билли снова стал оптиком средних лет — сейчас он играл в гольф в жаркое воскресное утро. Билли уже перестал ходить в церковь.

Он играл в гольф с тремя другими оптометристами. Билли вышел на поле, настала его очередь бить.

Надо было послать мяч на восемь футов, и Билли сыграл удачно. Он наклонился, чтобы взять мяч из лунки, а солнце зашло за облако. У Билли закружилась голова. Когда он очнулся, он уже был не на лугу. Он был привязан к желтой кушетке в белой камере на борту летающего блюда, которое направлялось в Тральфамадор.

— Где я? — спросил Билли.

— Застыли в другом куске янтаря, мистер Пилигрим. Мы там, где и должны сейчас быть — в трехстах миллионах миль от Земли, и направляемся по тому витку времени, который приведет нас на Тральфамадор, но не через века, а через несколько часов.

— Но как — как я попал сюда?

— Это мог бы вам объяснить только другой житель Земли. Земляне — любители все объяснять, они объясняют, почему данное событие сложилось так, а не иначе, они даже рассказывают, как можно было бы отратить или вызвать какое-нибудь событие. Но я — тральфамадорец и вижу время, как вы видите сразу единую горную цепь Скалистых гор. Время есть все время... Оно неизменно. Его нельзя ни объяснить, ни предугадать. Оно просто есть. Рассмотрите его миг за мигом — и вы поймете, что мы просто насекомые в янтаре.

— По вашим словам выходит, что вы не верите в свободу воли, — сказал Билли Пилигрим.

— Если бы я не потратил столько времени на изучение землян, — сказал тральфамадорец, — я бы понятия не имел, что значит «свобода воли». Я посетил тридцать одну обитаемую планету во Вселенной, и я изучил доклады еще о сотне планет. И только на Земле говорят о «свободе воли».

Билли Пилигрим говорит, что для существ с планеты Тральфамадор Вселенная вовсе не похожа на множество сверкающих точек. Эти существа могут видеть, где каждая звезда была и куда она идет, так что для них небо наполнено редкими светящимися макаронинами. И люди для тральфамадорцев вовсе не двуногие существа. Им люди представляются большими тысяче-ножками, «и детские ножки у них на одном конце, а ноги стариков — на другом». Так объясняет Билли Пилигрим.

По дороге на Тральфамадор Билли попросил дать ему что-нибудь почитать. У его похитителей было пять миллионов земных книг в виде микрофильмов, но в кабине Билли их нельзя было проецировать. У них была одна-единственная английская книга, которую они везли в тральфамадорский музей. Это была «Долина кукол» Жаклины Сюзанн.

Билли прочел эту книгу и решил, что местами она довольно интересна. Герои книги, конечно, переживали удачи и неудачи: то удачи, а то неудачи. Но Билли надоело без конца читать про все эти удачи и неудачи. Он попросил, пожалуйста, нельзя ли достать ему еще какую-нибудь книжку.

— У нас только тральфамадорские романы, но я боюсь, что вы их не поймете, — сказал динамик на стенке.

— Дайте мне хотя бы взглянуть на них.

Ему подали несколько штук. Они были совсем маленькие, понадобилось бы штук двенадцать, чтобы вышла книга толщиной с «Долину кукол» со всеми ее удачами и неудачами: то — удачами, а то — неудачами.

Разумеется, Билли не умел читать по-тральфамадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны — небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков — телеграммы.

— Точно, — сказал голос.

— Значит, это действительно телеграммы?

— У нас на Тральфамадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы: каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение — описание какого-нибудь положения или события. Мы, тральфамадорцы, никогда не читаем их все сразу, подряд. Между этими сообщениями нет особой связи, кроме того, что автор тщательно отобрал их так, что в совокупности они дают общую картину жизни, прекрасной, неожиданной, глубокой. Там нет ни начала, ни конца, ни напряженности сюжета, ни морали, ни причин, ни следствий. Мы любим в наших книгах главным образом глубину многих чудесных моментов, увиденных сразу, в одно и то же время.

В следующий миг летающее блюдо сделало виток во времени, и Билли был отброшен назад, в детство. Ему было двенадцать лет, и он стоял, трясясь от страха, рядом с отцом и матерью на самом краю Большого каньона — на выступе Брайт Эйнджел. Маленькое человеческое семейство глядело вниз, на дно каньона в милю глубиной.

— М-да-аа,— сказал отец Билли и мужественно метнул в пропасть камешек носком ботинка.— Вот оно как...

Они приехали на это знаменитое место в своей машине. По дороге у них было семь проколов.

— Да, стоило ехать! — восхищенно сказала мать Билли.— И еще как стоило, боже мой!

Билли с ненавистью смотрел на каньон. Он был уверен, что сейчас упадет туда. Мать слегка задела его, и он намочил штаны.

Другие туристы тоже смотрели вниз, в пропасть, а лесник стоял тут же, отвечая на вопросы. Француз, приехавший специально из Франции, спросил, много ли людей кончают тут с собой, прыгая вниз?

— Да, сэр,— ответил лесник,— человека три в год.

Такие дела.

Тут Билли совершил совсем коротенький виток во времени, этаким прыжочек в десять дней, так что ему все еще было двенадцать лет и он все еще путешествовал со своими родителями по Западу. Сейчас они стояли в Карлсбадской пещере, и Билли молил бога вывести его отсюда, пока не обвалился потолок.

Лесник объяснил, что пещеры открыл один ковбой, который увидел, как огромная стая летучих мышей вылетела из ямы в земле. Потом лесник сказал, что сейчас потушит весь свет и что, наверное, многие из туристов впервые в жизни окажутся в абсолютной темноте.

И свет потух. Билли даже не понимал, жив он или умер. И вдруг какой-то призрак поплыл в воздухе слева от него. На призраке стояли цифры. Это отец Билли достал из кармана свои часы. У часов был светящийся циферблат.

Из полной тьмы Билли попал в полный свет, снова оказался на войне, снова очутился в дезинфекционной камере. Душ кончился. Невидимая рука закрыла воду.

Когда Билли получил обратно свою одежду, она не стала чище, но все мелкие насекомые, жившие там, умерли. Такие дела. А его новое пальто оттаяло и обмякло. Оно было слишком мало для Билли. На пальто был меховой воротничок и красная шелковая подкладка, и сшито оно было, очевидно, на какого-то импресарио ростом не больше мартышки шарманщика. Все оно было изрешечено пулями.

Билли Пилигрим оделся. Он надел и тесное пальтишко. Оно сразу лопнуло на спине, а рукава сразу оторвались у проймы. И пальто превратилось в жилетку с меховым воротничком. По идее, оно должно было расширяться у талии, но оно расширялось у Билли под мышками. Никогда еще за всю вторую мировую войну немцы не видали такого немыслимо смешного зрелища. И они хохотали, хохотали, хохотали вовсю.

Немцы велели всем построиться по пяти в ряд во главе с Билли. И снова всех повели через множество ворот. Навстречу попало еще несколько голодных русских с лицами, похожими на светящиеся циферблаты. Американцы немного ожили. Возня с горячей водой их подбодрила. Они подошли к бараку, где одноногий и одноглазый капрал записал фамилии и номера всех пленных в большую толстую красную конторскую книгу. Теперь все они были законно признаны живыми. До того, как их имена и номера попали в эту книгу, они считались пропавшими без вести, а может, и убитыми.

Такие дела.

Пока американцы ждали разрешения двинуться дальше, в самом последнем ряду вспыхнула ссора. Один из американцев пробормотал что-то такое, что не понравилось охраннику: охранник понимал по-английски и, выхватив американца из строя, сбил его с ног.

Американец удивился. Он встал, шатаясь, плюя кровью. Ему выбили два зуба. Он никого не хотел обидеть своими словами и даже не представлял себе, что охранник его услышит и поймет.

— За что меня? — спросил он охранника.

Охранник втолкнул его в строй.

— Са што тепя? — спросил он по-английски. — Са што тепя? А са што всех труких?

После того, как имя Билли записали в толстый гроссбух лагеря военнопленных, ему выдали номер и железную бирку, на которой был выбит этот номер. Пленный поляк отштамповал эти бирки. Потом он умер. Такие дела.

Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посредине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой.

Когда беднягу Эдгара Дарби, учителя гимназии, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела.

Записанных и пронумерованных американцев снова провели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы.

Рядом с Билли шел маленький Поль Лаззаро, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лаззаро не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв.

За Лаззаро шел несчастный обреченный старый Эдгар Дарби, и американские и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты. А теперь он шел в темень, где-то у чехословацкой границы.

— Стой! — скомандовал охранник.

Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы и оттуда летели снопы искр.

Один из охранников постучал в двери.

Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью ста восьмидесяти шести тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли пятьдесят немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса»: «Ура! Ура! Явились все друзья!»

Эти пятьдесят голосистых певунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. Четыре года с лишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали. Даже воробьи в лагерь не залетали.

Все англичане были офицеры. Каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут — незаблемый островок в мире умирающих русских.

Они могли вести какие угодно подкопы. Все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие, голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать — как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере служил барак на шесть коек в самом английском блоке.

Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер.

Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири и делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски.

Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббеджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду.

Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо пятидесяти по пятьсот посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось три тонны сахара, тонна кофе, тысяча сто фунтов шоколада, семьсот фунтов табаку, тысяча семьсот фунтов чаю, две тонны муки, тонна мясных консервов, тысяча сто фунтов масла в консервах, тысяча шестьсот фунтов сыру в консервах, восемьсот фунтов молока в порошке и две тонны апельсинового джема.

Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплюснутыми жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы.

Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам четыре барака, хотя все они могли поместиться в одном. А в обмен на кофе, или шоколад, или табак немцы давали им краску, и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует.

Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу, как добрые дяди-волшебники, и стали мести, мыть, варить, печь, делать тьюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом.

И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье — для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта.

Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их «янки», говорили «молодцы ребята», обещали, что «Джерри скоро будет драпать».

Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой «Джерри».

Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некото-

рые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли.

На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока.

На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка.

Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло и свечи были похожи — какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства.

Такие дела.

Банкетный зал был ярко освещен этими свечами. На столах — груды еще теплого белого хлеба, куски масла, банки варенья. На тарелках — ломти консервированного мяса. Суп, яичница и горячий пирог с повидлом ждали своей очереди.

А в дальнем конце барака Билли увидал розовые арки, с которых спускались небесно-голубые портьеры, и огромные настенные часы, и два золотых трона, и ведро, и половую тряпку. В этих декорациях англичане собирались разыгрывать гвоздь вечера — музыкальную комедию «Золушка» собственного сочинения, на тему одной из самых любимых сказок.

Билли Пилигрим вдруг загорелся — он слишком близко стоял у раскаленной печки. Горела пола его пальтишка. Огонь тлел спокойно, терпеливо, как трут.

А Билли думал: нет ли тут телефона? Хотел позвонить своей маме и сообщить ей, что он жив и здоров.

Стояла тишина: англичане с удивлением смотрели на зловонные существа, которых они, весело пританцовывая, втащили в барак. Один англичанин увидел, что Билли горит.

— Да ты горишь, приятель, — сказал он и, оттянув Билли от печки, стал сбивать огонь руками.

И когда Билли ничего не сказал, англичанин спросил его:

— Вы можете говорить? Вы меня слышите? Билли кивнул.

Англичанин потрогал его, пощупал и жалобно сказал:

— Бог мой, да что же они с вами сделали? Это же не человек — это же сломанная игрушка!

— А вы и вправду американец? — спросил англичанин, помолчав.

- Да,— сказал Билли.
- А ваше звание?
- Рядовой.
- Где же ваши сапоги, приятель?
- Не помню.
- А пальто для смеху, что ли?
- Сэр?
- Где вы его выкопали?

Билли сначала подумал, потом сказал:

- Выдали мне.
- Джерри вам его выдал?
- Кто?
- Ну, немцы. Выдали вам эту штуку?
- Да.

Билли надоели расспросы. Он от них устал.

— О-о, янк, янк, янк! — сказал англичанин. — Да это же оскорбление.

— Сэр?

— Они нарочно старались вас унижить. Нельзя допускать, чтобы Джерри позволял себе такие выходки.

Но тут Билли Пилигрим потерял сознание.

Билли пришел в себя на стуле, перед сценой. Как-то его накормили, и теперь он смотрел «Золушку». Очевидно, какой-то частью своего сознания Билли восхищался спектаклем. Он громко хохотал.

Женские роли, разумеется, играли мужчины. Часы только что пробили полночь, и Золушка в отчаянии пела басом:

Бьют часы, ядрена мать,
Надо с бала мне бежать!

Этот куплетик показался Билли таким смешным, что он уже не просто хохотал — он визжал от смеха. Он визжал, пока его не вынесли из барака в другой барак, госпитальный. Госпиталь был на шесть коек. Других больных там не было.

Билли уложили, привязали к постели и сделали ему укол морфия. Другой американец вызвался посидеть около него. Добровольной сиделкой был Эдгар Дарби, школьный учитель, которого потом расстреляли в Дрездене. Такие дела.

Дарби сидел на трехногой табуретке. Ему дали почитать книжку. Это был роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». Когда-то Дарби уже читал эту книгу. Теперь он ее перечитывал, пока Билли погружался в морфийный рай.

От морфия Билли видел сон: жирафов в саду. Жирафы шли по усыпанной гравием дорожке, останавливаясь, чтобы пожевать сладкие груши, росшие на ветках деревьев. Билли тоже был жирафом. Он жевал грушу. Груша была твердая. Она не подда-

валась его скрежещущим челюстям. Но вдруг раскололась, обильно истекая соком.

Жирафы признали Билли за своего, за безобидное существо, такое же странное, как они сами. Они окружили его со всех сторон, ласкались к нему. Их длинные подвижные верхние губы вытягивались в трубочку. Они целовали Билли мягкими губами. Это были самочки жирафов — цвета топленых сливок и лимона. У них были рожки, похожие на дверные ручки. Рожки были совсем как бархатные.

Почему?

Ночь спустилась на сад с жирафами. Билли уже спал без снов, а потом стал путешествовать во времени. Он проснулся, укрытый с головой одеялом, в палате для тихих психических больных в военном госпитале близ Лейк-Пласид, в штате Нью-Йорк. Была весна 1948 года. Война окончилась три года назад.

Билли высунул голову из-под одеяла. Окна в палате были открыты. Птицы щебетали за окном. «Пьюти-фьют?» — спросила одна из них у Билли. Солнце стояло высоко. В палате было еще двадцать девять больных, но все они гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Они могли свободно уходить и приходить, даже если захотят, уйти совсем домой, — да и Билли Пилигрим тоже. Пришли они сюда добровольно, напуганные внешним миром.

Билли поступил в госпиталь в середине последнего семестра на илиумских курсах оптометрии. Никто и не подозревал, что он свихнулся. Все считали, что он чудесно выглядит и чудесно ведет себя. А он попал в госпиталь. И доктора согласились. Он действительно свихнулся.

Но доктора считали, что война тут ни при чем. Они считали, что Билли расклеился, потому что его отец когда-то бросил его в бассейн ХАМЛ, на глубоком месте, а потом привел его к пропасти у Большого каньона.

Рядом с Билли лежал бывший капитан пехоты по имени Элиот Розуотер. Он лечился от затяжного запоя.

Именно Розуотер пристрастил Билли к научной фантастике, и особенно к сочинениям некоего Килгора Траута. Под кроватью у Розуотера скопилось невероятное количество дешевых изданий научной фантастики. Он привез их в госпиталь в дорожном чемодане. От любимых, истрепанных книг шел запах по всей палате — как от фланелевой пижамы, ношенной больше месяца, или от тушеного кролика.

Килгор Траут стал любимым современным писателем Билли, а научная фантастика — единственным жанром литературы, какой он мог читать.

Розуотер был вдвое умней Билли, но оба они одинаково переживали одинаковый кризис в жизни. Обоим жизнь казалась

бессмысленной, отчасти из-за того, что им пришлось пережить на войне. Например, Розуотер нечаянно пристрелил четырнадцатилетнего парнишку-пожарника, приняв его за немецкого солдата. А Билли видел величайшую бойню в истории Европы — бомбежку города Дрездена. Такие дела.

И теперь они оба пытались преобразовать и себя, и свой мир. И научная фантастика была им большим подспорьем.

Розуотер однажды сказал Билли интересную вещь про книгу, не относящуюся к научной фантастике. Он сказал, что абсолютно все, что надо знать о жизни, есть в книге «Братья Карамазовы» писателя Достоевского.

— Но теперь и этого мало,— сказал Розуотер.

В другой раз Билли услышал, как Розуотер говорил психиатру:

— По-моему, вам, господа, придется насочинять тьму-тьмущую всякой потрясающей *новой* брехни, иначе людям станет совсем неохота жить.

На столике у Билли лежал целый натюрморт: две пилюли, пепельница с тремя окурками в губной помаде — один из них еще тлел — и стакан с минеральной водой. Вода уже выдохлась. Пузырьки еще пытались вырваться из этой мертвой воды. Некоторые пузырьки прилипли к стенкам — у них не хватало сил подняться кверху.

Сигареты оставила мать Билли, курившая беспрестанно. Она пошла в дамскую уборную, неподалеку от палаты, где лежали девушки из вспомогательных служб армии и флота США, которые малость рехнулись. Каждую минуту мать могла вернуться.

И Билли снова укрылся с головой. Он всегда прятался под одеяло, когда мать приходила навещать его в палате для нервнобольных, а когда она уходила, ему становилось гораздо хуже. И вовсе не потому, что она была какая-нибудь уродина, или от нее плохо пахло, или характер у нее был скверный. Нет, она была совершенно стандартная, милая, темноволосая белая женщина с высшим образованием.

Она просто расстраивала Билли, потому что она — его мать. При ней он чувствовал себя неблагоприятным, растерянным и беспомощным, потому что она потратила столько сил, чтобы дать ему жизнь, помочь ему в жизни, а Билли эта жизнь вовсе не по душе.

Билли слышал, как Розуотер вошел и лег. Об этом громко рассказали пружины на кровати Розуотера. Розуотер был круп-

ный человек, но какой-то не очень сильный, как будто его слепили наспех из пластилина.

И тут вернулась из дамской уборной мать Билли и уселась на стул между постелями Розуотера и Билли. Розуотер поздоровался с ней ласковым звучным голосом, спросил, как она поживает. Казалось, он весь просиял, услышав, что она поживает хорошо. В виде опыта он старался проявлять самое горячее сочувствие ко всем, кого встречал. Он думал, что от этого жить на свете станет хоть немножко приятнее. Он называл мать Билли «дорогая». В виде опыта он всех называл «дорогими».

— Наступит день,— сказала она Розуотеру,— когда я войду сюда, а Билли снимет одеяло с головы и скажет — знаете что?

— Что же он скажет, дорогая?

— Он скажет: «Здравствуй, мамочка»,— и улыбнется. И еще скажет: «Ух, как хорошо, что ты пришла, мамочка. Как же ты живешь?»

— Да, могло бы так быть и сегодня.

— Каждый вечер молюсь за него.

— Как это *прекрасно!*

— Люди, наверно, удивились бы, если б им сказать: как много хорошего случается на свете благодаря молитве.

— Ваша правда, дорогая, ваша правда.

— А ваша матушка часто вас навещает?

— Моя мать умерла,— сказал Розуотер.

Такие дела.

— О, простите!

— По крайней мере она прожила всю жизнь очень счастливо.

— Да, это, конечно, утешение.

— Да.

— Отец у Билли тоже умер,— сказала мать Билли.

Такие дела.

— Мальчику отец *необходим*.

И так без конца шел разговор между наивной женщиной, слепо верящей в силу молитвы, и огромным опустошенным человеком, который на все отзывался, как ласковое эхо.

— Он был первым учеником, когда это с ним случилось,— сказала мать Билли.

— Может быть, он переутомился,— сказал Розуотер.

В руках у него была книга, и ему очень хотелось читать, но из вежливости он не мог одновременно и читать и разговаривать с матерью Билли, хотя отвечать ей впопад было легко. Книга называлась «Маньяки четвертого измерения» Килгора Траута. Книга описывала психически больных людей, которые не поддавались лечению, потому что причины заболеваний лежали в четвертом измерении и ни один трехмерный врач-землянин не мог определить эти причины и даже вообразить их не мог.

Розуотеру очень понравилось одно высказывание Траута: что и вампиры, и оборотни, и ангелы, и домовые действительно существуют, но существуют они в четвертом измерении. К четвертому измерению, как утверждал Траут, принадлежит и Уильям Блейк, любимый поэт Розуотера. И рай и ад — тоже.

— Он обручен с очень-очень богатой девушкой,— сказала мать Билли.

— Это хорошо,— сказал Розуотер.— Деньги иногда могут очень украсить жизнь человека.

— Конечно, могут.

— Да, вот именно, могут.

— Не очень-то весело зажимать в кулаке каждый грош, прямо до судороги.

— Да, всегда хочется жить посвободней.

— Отец девушки — владелец оптометрических курсов, где учится Билли, еще у него шесть врачебных кабинетов в нашем районе. И собственный самолет, и дача на острове.

— Очень красивое озеро.

Билли уснул под одеялом. Проснулся он снова в госпитальном бараке, привязанный к больничной койке. Он приоткрыл один глаз и увидел, что бедный старый Эдгар Дарби читает при свече «Алый знак долбести».

Билли прикрыл глаз и увидел в памяти будущего, как бедный старый Эдгар Дарби стоит перед немецким карательным взводом на развалинах Дрездена. В отряде, расстрелявшем Эдгара Дарби, было всего четыре человека. Билли как-то слышал, что обычно одному из взвода дают винтовку с холостым патроном. Но Билли сомневался, что в таком маленьком отряде, да еще в такой долгой войне, кому-то выдадут холостой патрон.

Тут в барак, где лежал Билли, зашел его проведать командир англичан. Он был полковником пехоты и попал в плен еще при Дюнкерке. Это он сделал Билли укол морфия. Настоящего врача в их бараках не было, так что всех лечил этот полковник.

— Ну, как ваш пациент? — спросил он Эдгара Дарби.

— Лежит как мертвый.

— Но на самом деле он не умер?

— Нет.

— Как приятно — ничего не чувствовать и все же считаться живым.

Дарби спохватился и с унылым видом встал «смирно».

— Нет, нет, прошу вас — вольно! Тут на каждого офицера приходится всего двое рядовых, а рядовые при этом все больны, так что, по-моему, мы вполне можем обойтись без обычных церемоний между офицерами и солдатами.

Но Дарби остался стоять.

— Вы с виду старше остальных,— заметил офицер.

Дарби сказал, что американцы уже побрились и только у

Билли и Дарби остались бороды. И он еще сказал:

— Знаете, нам тут приходилось воображать — какая там идет война, и мы считали, что в этой войне сражаются немолодые люди вроде нас с вами. Мы забыли, что войну ведут младенцы. Когда я увидел эти свежевыбритые физиономии, я был потрясен. «Бог ты мой! — подумал я. — Да это же крестовый поход детей!»

Полковник спросил беднягу Дарби, как он попал в плен, и Дарби рассказал, как он сидел в зарослях с сотней других перепуганных насмерть солдат. Бой шел уже пятый день. Эту сотню загнали в заросли танки.

Дарби описывал ту невыносимую атмосферу, которую искусственно создают одни земляне, когда они не хотят оставить других землян жить на земле. Снаряды со страшным грохотом рвались в верхушках деревьев, рассказывал Дарби, из них сыпались ножи, иглы и бритвы. Маленькие кусочки свинца в медной оболочке шныряли пониже взрывающихся снарядов со скоростью быстрее скорости звука.

И многие люди были ранены или убиты. Такие дела.

Потом обстрел артиллерии прекратился, и скрытый немец с мегафоном велел американцам сложить оружие и выйти из лесу, положив руки на голову, иначе обстрел начнется снова и не прекратится, пока их всех не убьют.

И американцы сложили оружие и вышли из лесу, положив руки на голову, потому что им хотелось жить, если была хоть малейшая возможность.

Билли снова пропутешествовал во времени обратно в госпиталь ветеранов войны. Снаружи все было тихо. Он по-прежнему был с головой укрыт одеялом.

— Моя мать ушла? — спросил Билли.

— Да.

Билли выглянул из-под одеяла. У постели на стуле посетитель теперь сидела его невеста. Ее звали Валенсия Мербл. Валенсия была дочерью владельца илиумских оптометрических курсов. Она была очень богата. Она была огромная, как дом, потому что без конца что-то ела. Она и сейчас ела. И ела она шоколадку «Три мушкетера». На ней были выпуклые очки в пестрой оправе, и вся оправка была усыпана фальшивыми бриллиантиками. К блеску этих камешков примешивался блеск настоящего бриллианта в обручальном кольце. Бриллиант был застрахован в тысячу восемьсот долларов. Билли нашел этот бриллиант в Германии. Это был военный трофей.

Билли вовсе не хотел жениться на некрасивой Валенсии. Их обручение было симптомом его заболевания. Он понял, что сходит с ума, когда услышал, как он сам делает ей предложение, просит ее принять бриллиантовое кольцо и стать спутницей его жизни.

Билли поздоровался с невестой, и она спросила, не хочет ли он конфетку, и он сказал:

— Нет, спасибо.

Она спросила его, как он себя чувствует, и он сказал:

— Спасибо. Гораздо лучше.

Она сказала, что все слушатели оптометрических курсов огорчены его болезнью и надеются, что он вскоре выздоровеет, и Билли сказал:

— Увидишь их, передай им привет.

Она обещала передать им привет.

Она спросила, не может ли она принести ему что-нибудь с воли, и он сказал:

— Нет, у меня есть все, что мне нужно.

— А книжки? — сказала Валенсия.

— У меня тут рядом одна из самых больших частных библиотек в мире, — сказал Билли, намекая на собрание научной фантастики под кроватью Элиота Розуотера.

Розуотер читал, лежа на соседней кровати, и Билли втянул его в разговор, спросив, что он читает.

Розуотер ответил сразу. Он сказал, что читает «Космическое евангелие» Килгора Траута. Это была повесть про пришельца из космоса, кстати, очень похожего на тральфамадорца. Этот пришелец из космоса серьезно изучал христианство, чтобы узнать, почему христиане легко становятся жестокими. Он решил, что виной всему неточность евангельских повествований. Он предполагал, что замысел Евангелия был именно в том, чтобы, кроме всего прочего, учить людей быть милосердными даже по отношению к ничтожнейшим из ничтожных.

Но на самом деле Евангелие учило вот чему: прежде чем кого-то убить, проверь как следует, нет ли у него влиятельной родни? Такие дела.

Загвоздка во всех рассказах о Христе, говорит пришелец из космоса, в том, что Христос, с виду такой незаметный, на самом деле был Сыном Самого Могуущественного Существа во Вселенной. Читатели это понимали так, что, дойдя до описания распятия, они, естественно, думали... Тут Розуотер снова прочел несколько слов вслух:

— *О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо.*

А эта мысль рождала следующую: значит, есть те, кого *надо* линчевать. Кто же они? Люди, у которых нет влиятельной родни.

Пришелец из космоса подарил землянам новое Евангелие. В нем Христос действительно был никем и страшно раздражал людей с более влиятельной родней, чем у него. Но он, конечно, и тут говорил все те же чудесные и загадочные слова, какие приводились в прежних евангелиях.

Тогда люди устроили себе развлечение и распяли его на кресте, а крест вкопали в землю. Никаких откликов это дело не вызывает, думали эти линчеватели. То же самое думал и читатель нового Евангелия, потому что ему все время вдалбливали, что Христос был без роду без племени.

И вдруг, прежде чем сирота скончался, разверзлись небеса, загредел гром, засверкала молния. Глас божий раскатился над землей. И бог сказал, что нарекает сироту своим сыном и на веки веков наделяет его всей властью и могуществом сына творца Вселенной. И господь изрек: отныне он покарает страшной карой каждого, кто будет мучить любого бродягу без роду и племени!

Невеста Билли доела шоколадку «Три мушкетера» и теперь жевала конфету «Млечный Путь».

— К черту книжки,— сказал Розуотер, швырнув эту книгу под кровать.

— А книжка, кажется, интересная,— сказала Валенсия.

— О, черт, если бы только этот Килгор Траут умел писать!— воскликнул Элиот Розуотер. Розуотер считал, что непопулярность Килгора Траута была вполне заслуженной. Прозу он писал прескверную. Только мысли были хорошие.

— По-моему, он никогда и не выезжал из Америки,— добавил Розуотер.— Пишет, черт его возьми, про землян вообще, а они у него все — американцы. А фактически чистокровных американцев на земле почти что нет.

— А где он живет? — спросила Валенсия.

— Никто не знает, — ответил Розуотер. — И вообще, насколько я могу судить, я — единственный человек, который о нем слышал. Ни одно издательство не выпускает две его книги подряд. Каждый раз, как я ему пишу на адрес издательства, письмо возвращается, потому что издатель прогорел.

И чтобы переменить тему разговора, он похвалил обручальное кольцо Валенсии.

— Благодарю вас, — сказала она и протянула кольцо Розуотеру, чтобы он как следует рассмотрел камень. — Билли привез его с войны.

— И в войне есть свои приятности, — сказал Розуотер. — Каждый привозит с нее хоть какой-то пустячок.

Кстати, о месте жительства Килгора Траута: на самом деле он жил в Илиуме, родном городе Билли, без друзей, презираемый всеми. Впоследствии Билли с ним познакомился.

- Билли...— сказала Валенсия Мербл.
— М-мм?
— Давай посоветуемся, какое столовое серебро нам выбрать?
— Пожалуйста.
— Я остановилась на двух образцах: либо «датский король», либо «шток-роза».
— «Шток-роза»,— сказал Билли.
— Собственно говоря, спешить не стоит,— сказала она.— Понимаешь, что бы мы ни выбрали, нам всю жизнь с этим жить. Билли еще раз посмотрел картинки.
— Ну, «датский король»,— сказал он наконец.
— «Лунный свет» тоже очень мило.
— Мило,— согласился Билли.

И Билли пропутешествовал во времени на Тральфамадор. Ему было сорок четыре года, и он был выставлен напоказ под прозрачным куполом. Он полулежал на кушетке, служившей ему люлькой при полете в космос. Он был голый. Тральфамадорцев интересовало его тело — все, целиком. Тысячи жителей Тральфамадора стояли вокруг купола, подняв ладоши, чтобы их глазки видели Билли. Билли уже пробыл на Тральфамадоре шесть земных месяцев. Он привык к толпе.

О том, чтобы убежать, и речи не было. Атмосфера вне купола была чистойшей синильной кислотой, а Земля находилась на расстоянии 446 120 000 000 000 000 миль.

Билли был выставлен в зоопарке, в искусственном земном жилище. Большая часть мебели была украдена со складов Сирса и Роубека в Айове. Там был цветной телевизор и диван-кровать. У кушетки стояли столики с лампами и пепельницами. Там был и стенной бар, и к нему две табуретки. И маленький бильярд. Везде, кроме кухни, ванной и железной крышки над люком в центре комнаты, пол был устлан золотистым ковром. На низеньком столике перед диваном веером лежали журналы.

Был и стереофонический проигрыватель. Проигрыватель работал. А телевизор — нет. На экране была прикреплена картинка — один ковбой убивает другого. Такие дела.

Стен у купола не было, и спрятаться было некуда. Умывальные и туалетные принадлежности светло-зеленого цвета стояли прямо на виду. Билли встал со своей кушетки, пошел в туалет и помочился. Толпа пришла в дикий восторг.

Билли вычистил зубы на Тральфамадоре, вставил зубной протез и пошел на свою кухню. Плита на баллонном газе, холодильник и мойка для посуды тоже были бледно-зеленого цвета. На дверцах холодильника была нарисована картинка. Это так и полагалось. На картинке была изображена парочка из веселых девяностых годов, на двойном велосипеде.

Билли поглядел на картинку, попытался что-нибудь придумать об этой парочке. Но мысли не приходили. Об этих двух людях думать было *абсолютно нечего*.

Билли позавтракал всякими консервами. Он вымыл чашку, и тарелку, и ножик, и вилку, и ложку, и кастрюльку и убрал их в шкаф. Потом он стал делать гимнастику, как его учили в армии,— прыжки, наклоны, приседания и повороты. Большинство тральфамадорцев не знало, что у Билли некрасивое лицо и некрасивое тело. Они считали его великолепным экземпляром. Это очень благотворно влияло на Билли, и впервые в жизни он радовался своему телу.

После гимнастики он принял душ, подстриг ногти на ногах. Он побрился и побрызгал дезодорантом под мышками, в то время как экскурсовод зоопарка, стоя извне на высокой эстраде, объяснял, что Билли делает и зачем. Экскурсовод читал лекцию телепатически, он просто стоял и посылал мысленные волны в публику. На эстраде около него стоял маленький передатчик с клавишами, по которому он передавал Билли вопросы из публики.

Прозвучал первый вопрос — его передал репродуктор на телевизоре:

— Вам тут хорошо?

— Не хуже, чем на Земле,— сказал Билли Пилигрим, и это была правда.

Жители Тральфамадора были пятиполые, и каждый пол вносил свою лепту в создание новой особи. Для Билли они все выглядели одинаково, потому что каждый пол отличался от другого только в четвертом измерении.

Одной из самых взрывчатых идей, преподнесенных Билли тральфамадорцами, было их открытие, касающееся вопросов пола на Земле. Они сказали, что команды их летающих блюдеч обнаруживают не меньше семи различных полов на Земле, и все они были необходимы для продолжения человеческого рода. И опять-таки Билли представить себе не мог, что же это еще за пять из семи половых групп и какое отношение они имеют к деторождению, тем более что действовали они только в четвертом измерении.

Тральфамадорцы старались подсказать Билли, как ему представить себе секс в невидимом для него измерении. Они сказали, что ни один земной житель не может родиться, если не будет гомосексуалистов. А без лесбиянок дети вполне могли появляться на свет. Без женщин старше шестидесяти пяти лет дети рожаться не могли. А без мужчин того же возраста могли. Не могло быть новых детей без тех младенцев, которые прожили после рождения час или меньше. И так далее.

Для Билли все это было сплошным бредом.

Но многое, что говорил Билли, было бредом для тральфамадорцев. Они не могли понять, как он воспринимает время. Билли бросил всякие попытки объяснить им это.

Пришлось экскурсоводу зоопарка своими силами взяться за объяснение.

И экскурсовод предложил слушателям вообразить, что они глядят через пустыню на горную цепь в озаренный солнцем ясный день. Они могут посмотреть на вершину горы, на птицу или на облако, на скалу перед ними или даже на дно пропасти позади себя. Но среди них находился несчастный этот землянин, и голова его заключена в стальной шар, который он не может снять. И в этом шаре есть один-единственный глазок, через который он может глядеть, да еще к этому глазку приварена шестифутовая трубка.

И это было только предварительное метафорическое описание всех бед Билли. Будто бы он был еще привязан к стальной решетке, привинченной к платформе на рельсах, и никак не мог повернуть голову или сдвинуть трубку. Дальний конец трубки лежал на треноге, тоже привинченной к платформе. Билли только мог видеть крошечный просвет в конце трубки. Он не знал, что привязан к платформе, и даже не понимал, в каком странном положении он находится.

А платформа то ползла очень медленно, то неслась по рельсам, подымаясь в гору, катилась вниз, заворачивала, ехала напрямик. И только про то, что бедный Билли видел сквозь дырочку в трубке, он и мог говорить: «Это жизнь».

Билли ожидал, что тральфамадорцы будут удивляться и возмущаться войнами и другими способами убийства на Земле. Он ожидал, что они будут бояться, как бы земляне с их жестокостью и мощным вооружением не разрушили часть, а может быть, и всю ни в чем не повинную Вселенную. Эти мысли ему подсказала научная фантастика.

Но никаких разговоров о войне не было, пока Билли сам об этом не заговорил. Кто-то из толпы зрителей в зоопарке спросил Билли через экскурсовода, что самое ценное узнал он на Тральфамадоре. И Билли ответил:

— Узнал, что жители целой планеты могут жить в мире. Как вам известно, я — с той планеты, где с незапамятных времен идет бессмысленная бойня. Я сам видел тела школьников, сожженных заживо в водонапорной башне моими же соотечественниками, которые в то время гордились своей борьбой с воплощением зла. — И это была чистая правда. Билли видел сожженные тела в Дрездене. — И я по вечерам проходил по тюрьме со свечой, сделанной из жира человеческих существ, убитых отцами и братьями тех сожженных заживо школьников. Наверно, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян! И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться

ся. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу нас всех. Как планета может жить в мире?

Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфамадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста: видно, он опять наговорил глупостей.

— Вы... Вы не можете мне объяснить,— упавшим голосом спросил Билли,— что я такого глупого сказал?

— А мы ведь знаем, как погибнет Вселенная,— сказал экскурсовод,— и Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет.

— А как — а как же погибнет Вселенная? — спросил Билли.

— Мы ее взорвем, испытывая новое горючее для наших летающих блюд. Летчик-испытатель на Тральфамадоре нажмет кнопку — и вся Вселенная исчезнет. Такие дела.

— Но если вам это заранее известно,— сказал Билли,— то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?

— Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента.

— Но тогда...— Билли замялся,— значит, тогда глупо думать, что можно предупредить войны на Земле?

— Конечно.

— Но у вас-то на планете мир?

— Сегодня — да. А в другое время у нас идут войны страшнее всего, что вы видели, о чем читали. И сделать мы тут ничего не можем, так что мы просто на них не смотрим. Мы не обращаем на них внимания. Мы их игнорируем. Мы проводим вечность, созерцая только приятное — вот как сегодня, в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно?

— Да.

— Вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались. Не обращать внимание на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах.

— Гм,— сказал Билли.

Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту — это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя. Он совсем выздоровел. И он окончил илиумские оптометрические курсы — третьим из сорока семи учащихся своего выпуска.

И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном

домика, стоящем на Кейп-Анн, в Массачусетсе, у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим — впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых «зеленых беретов».

Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой Первой, а Билли как будто был Христофором Колумбом.

Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы только что отдали семя Валенсии, внося свою лепту в создание «зеленого берета». Правда, по тральфамадорским понятиям, у «зеленого берета» в общем и целом было семь родителей.

Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он был богатый человек. Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый «бьюик», сплошь электрифицированную квартиру и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером.

Как сказала его мать: «Пилигримы пошли в гору».

Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В доме новобрачных одна стена была особенно романтичной — целиком застекленная, она выходила на балкон над маслянистой водой залива.

Зеленая с оранжевым баржа, чернея в темноте, ворча и скрипя, прошла под их балконом, всего футах в тридцати от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым, звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла.

— Спасибо,— сказала наконец Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком.

— На здоровье.

— Мне так хорошо.

— Очень рад.

И тут она заплакала.

— Что с тобой?

— Я так счастлива.

— Прекрасно.

— Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится.

— Гм-мм,— сказал Билли Пилигрим.

— Буду ради тебя худеть,— сказала она.

— Что?

— Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой — для тебя.

— А ты мне и так нравишься.

— Правда?

— Правда,— сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной.

Громадная моторная яхта под названием «*Шехерезага*» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели.

Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Род-Айленд, а в его молодую жену, урожденную Синтию Лэндри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайаннисе, штат Массачусетс.

Получилось некоторое совпадение: Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертрамом Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США.

* * *

Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала спрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная глупая привычка жительницы Земли — ассоциировать секс и страсть с войной.

— Ты когда-нибудь вспоминаешь о войне? — спросила она, кладя руку на бедро Билли.

— Иногда,— сказал Билли Пилигрим.

— А я иногда смотрю на тебя,— сказала Валенсия,— и у меня странное чувство, как будто у тебя много-много тайн.

— Вообще нет,— сказал Билли. Он, конечно, соврал. Он никому не рассказывал о путешествии во времени, о Тральфамadore и так далее.

— Нет, у тебя, наверно, есть тайны про войну. А может быть, и не тайны, а просто то, о чем тебе не хочется говорить.

— Нет.

— Я горжусь, что ты был солдатом. Ты это знаешь?

— Прекрасно.

— Плохо там было?

— Всякое бывало.— У Билли мелькнула дикая мысль: как это верно! Хороша была бы эпитафия для Билли Пилигрима. И для меня тоже.



— А ты расскажешь о войне, если я тебя попрошу? — сказала Валенсия. В крохотной ячейке ее огромного тела уже собирался материал для создания «зеленого берета».

— Будет похоже на сон,— сказал Билли.— А чужие сны обычно слушать не очень интересно.

— Я слышал, как ты рассказывал папе, как немцы кого-то расстреляли,— сказал Валенсия. Он говорила о расстреле бедного старого Эдгара Дарби.

— Угу.

— И тебе пришлось его хоронить?

— Да.

— А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли?

— Да.

— А он что-нибудь сказал?

— Нет.

— Он боялся?

— Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели.

— А они прилепили к нему мишень?

— Да, кусок бумаги,— сказал Билли. Он встал с постели, сказал «извини, пожалуйста» и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую

стенку и понял, что пропутешествовал обратно, в 1944 год, и снова очутился в лагерном лазарете.

Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал с койки, шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную.

Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли ободдел от морфия и путешествий во времени. Он помочился у колючей проволоки и она впиалась в него десятками колючек. Билли попытался выпутаться, но колючки не отпускали его. По-дурацки приплясывая, Билли без толку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны.

Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой оно страны. Но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом.

А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски: — Счастливо!

Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю. Потом застегнулся как попало и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти?

Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал: какая трагедия заставляет столько людей так громко стонать где-то на дворе?

Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекадины с двенадцатью ведрами под ней. С трех сторон перекадина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет.

Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая — та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к «Золушке». Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем, и он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слышал.

Вот что было написано на объявлении:

ПРОСЬБА
СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ
И НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ СЕБЯ БЕСПОРЯДКА

Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты.

Один из американцев поближе к Билли простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал:

— Ох, и они выходят, и они.

«Они» были его мозги.

Это был я. Лично я. Автор этой книги.

Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.

— Застегнитесь как следует,— сказал один из них, когда Билли проходил мимо.

И Билли застегнул брюки. Он случайно нашел вход в больничный барак. Войдя в дверь, он снова очутился в свадебном путешествии и возвращался из ванной комнаты в постель к своей жене.

— Мне без тебя скучно,— сказала Валенсия.

— А мне без тебя,— сказал Билли.

Билли и Валенсия уснули, примостившись друг к другу, как ложки, и Билли пропутешествовал во времени назад, в 1944 год, в ту поездку, когда он уехал с маневров в Южной Каролине на похороны отца в Илиум. Он еще не участвовал в войне в Европе. Это было еще в те времена, когда ходили паровозы.

Билли приходилось много раз пересаживаться с поезда на поезд. Шли поезда ужасно медленно. В вагонах воняло угольным дымом, и пайковым табаком, и газами людей, сидевших на военных пайках. Металлические диваны были обиты колючей материей, и Билли никак не мог выспаться. Перед самым Илиумом, когда ехать оставалось часа три, он вдруг крепко заснул, раскинув ноги, у входа в вагон-ресторан.

Проводник разбудил его, когда поезд пришел в Илиум. Билл вышел, пошатываясь под тяжестью вещевого мешка, и очутился на платформе рядом с проводником, стараясь стряхнуть сон.

— Что, выспался? — спросил проводник.

— Да,— сказал Билли.

— Ну, братец,— сказал проводник,— видно было, что тебе снилось...

В три часа ночи в больничный барак, где лежал Билли, двое дюжих англичан внесли нового пациента. Он был крошечного роста.

Это был Поль Лаззаро, прыщавый вор из города Цицерио, штат Иллинойс. Его поймали, когда он воровал сигареты из-под подушки у одного англичанина. Англичанин со сна сломал Лаззаро правую руку и едва не вышиб из него дух.

Этот самый англичанин и помогал нести его. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперетте он играл Голубую Фею — крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лаззаро с одного конца, а другой закрывал двери.

— Весу в нем, как в цыпленке,— сказал он.

Англичанин, державший Лаззаро за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия.

«Голубая Фея» был ужасно смущен, хотя и очень зол.

— Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче,— сказал он.

— Угу.

«Голубая Фея» не стал скрывать свое отвращение к американцам.

— Слабые, вонючие, себя жалеют — ну просто сопливое, грязное, гнусное ворье,— сказал он.— Куда хуже этих русских, черт подери.

— Да, погань порядочная,— согласился полковник.

Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что, если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще.

Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше двух-трех дней им не придется терпеть такое неудобство и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмбл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник.

Такие дела.

Пока английский полковник вправлял руку Лаззаро и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмбла. Когда-то Кэмбл

был довольно преуспевающим драматургом. Начинаясь монография так:

Америка — богатейшая страна мира, но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, «бедность не позор, но большое свинство». Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка, в сущности, нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом: «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони, его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы.

Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела.

Американцы, как и все люди во всех странах, — говорилось дальше в монографии, — верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно во время Наполеона.

Много нового гала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным.

Говард У. Кэмбл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во второй мировой войне:

Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем,

что касалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и погибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в прогизенфицированном, но неглаженном виде какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трупп.

И когда одетый с иголки офицер обращается к выряженному таким образом чучелу, он отчитывает его, как и полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях. Это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами, и только сами, виноваты в своей нищете.

Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь: не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок, и думать, что лучше бы ему умереть.

Кэмбл рассказывал о поведении американских солдат в немецком плену. Везде американцев считали самыми большими нытиками, самыми недружелюбными, самыми грязными из всех военнопленных, писал Кэмбл. Они презирали любого из своей среды, кого бы ни назначили старшим, отказывались подчиняться ему, по той причине, что он ничуть не лучше их и пусть не задается.

Ну и так далее. Билли Пилигрим уснул и проснулся вдовцом в своем опустевшем доме в Илиуме. Его дочь Барбара попрекала его за то, что он писал нелепые письма в газеты.

— Ты слышал, что я сказала? — спросила Барбара. Был опять 1968 год.

— Конечно.— Но он дремал.

— Если ты будешь вести себя, как ребенок, нам и обращаться с тобой придется, как с маленьким.

— Нет, дальше все будет по-другому.

— Посмотрим, что будет дальше.— Толстая Барбара обхватила себя руками.— Тут страшный холод. Тепло идет?

— Тепло?

— Ну, отопление, эта штука в подвале, та, что гонит теплый воздух сюда в батареи. По-моему, она не работает.

— Все возможно.

— Разве тебе не холодно?

— Как-то не заметил.

— О боже, ты и вправду ребенок. Оставить тебя одного, так ты замерзнешь насмерть, умрешь с голоду.— И так далее. Из любви к нему она с удовольствием подрывала его чувство собственного достоинства.

Барбара позвала истопника и уложила Билли в постель, взяв с него слово, что он пролежит под электрическим одеялом, пока не пустят отопление. Она включила грелку в одеяле на самую высокую температуру, и постель Билли вскоре нагрелась так, что хоть пеки в ней хлеб.

Когда Барбара ушла, хлопнув дверью, Билли пропутешествовал во времени назад, в тральфамадорский зоопарк. Ему только что доставили с Земли самочку. Это была Монтана Уайлдбек, кинозвезда.

Монтану усыпили. Тральфамадорцы в противогазах внесли ее, положили на желтую кушетку Билли и вышли через люк. Огромная толпа зрителей пришла в восторг. Никогда еще в зоопарке не бывало столько посетителей. Вся планета желала посмотреть, как будут спариваться земляне.

На Монтане ничего не было, и на Билли, конечно, тоже. Кстати, он был мужчина что надо. Никогда не знаешь, кто чего стоит.

Наконец ее веки затрепетали. Ресницы у нее были длинные, как хлысты.

— Где я? — спросила она.

— Все в порядке, — ласково сказал Билли. — Пожалуйста, не пугайтесь.

Пока Монтану везли с Земли, она была без сознания. Тральфамадорцы с ней не разговаривали и ей не показывались. Последнее, что она помнила, был бассейн в Палм-Спрингс, в Калифорнии, где она загорала. Монтане было всего двадцать лет. На шее у нее висело серебряное сердечко на цепочке, оно спускалось между грудями.

Тут она повернула голову и увидела мириады тральфамадорцев вокруг их купола. Они приветствовали ее, быстро открывая и закрывая свои зеленые ручки.

И Монтана завизжала. Она визжала не умолкая.

Все зеленые ручки сразу закрылись, потому что очень неприятно было видеть страх Монтаны. Главный хранитель зоопарка велел крановщику, стоявшему наготове, опустить темно-синий полог на купол, симулируя земную ночь внутри. Настоящая ночь спускалась на зоопарк только на один земной час из шестидесяти двух.

Билли зажег торшер. Единственный источник света резко очертил детали тела Монтаны. Оно напоминало Билли фантастическую архитектуру барокко, которую он видел в Дрездене до бомбежки.

Со временем Монтана полюбила Билли, доверилась ему. Он ее не трогал, пока она сама не дала ему понять, что она этого хочет.

Пробыв на Тральфамадоре по земным понятиям неделю, она робко спросила Билли, не хочет ли он обнять ее, что он и сделал. Это было упоительно.

И снова Билли пропутешествовал во времени из той дивной постели в 1968 год. Он лежал в своей постели в Илиуме, и электрическое одеяло грело изо всех сил. Он был весь в поту и смутно помнил, что дочь уложила его в постель и велела не вставать, пока не исправят отопление.

Кто-то постучал в дверь его спальни.

— Да? — сказал Билли.

— Я истопник.

— Да?

— Работает отлично. Тепло пошло хорошо.

— Прекрасно.

— Мышь прогрызла изоляцию провода в термостате.

— Да ну? Вот чертовщина!

Билли блаженно потянулся. От постели шел спертый запах, как из подвала с шампиньонами. Ему приснилась ночь с Монтаной Уайлдбек.

Утром, после соблазнительного сна, Билли решил вернуться в свою приемную в центре города. Его ассистенты неплохо поработали и без него. Они удивились, когда он приехал. Его дочь сказала им, что Билли вряд ли вернется к практике.

Но Билли решительно вошел в свой кабинет и велел позвать очередного пациента. К нему впустили двенадцатилетнего мальчика с матерью-вдовой. Они недавно приехали в город, никого тут не знали. Билли распросил про их жизнь, узнал что отец мальчика был убит во Вьетнаме в знаменитом пятидневном сражении на высоте 875 при Дакто. Такие дела.

Пока Билли проверял зрение мальчика, он мимоходом рассказал ему про свои приключения на Тральфамадоре и уверил осиротевшего мальчика, что отец его живет в какие-то моменты, и мальчик тогда его видит.

— Разве это не утешительно? — спросил его Билли.

А в это время мать мальчика вышла в приемную и сказала секретарше, что Билли явно сошел с ума. За Билли приехали и отвезли его домой. И дочь снова спросила его:

— Папа, папа, папа, ну что же нам с тобой делать?

Послушайте.

Билли Пилигрим говорит, что он попал в немецкий город Дрезден на следующий день после того, как ему сделали укол морфия в британском бараке, стоявшем посреди лагеря уничтожения для русских военнопленных. В тот январский день Билли проснулся на рассвете. В маленьком больничном бараке не было окон, а зловещие свечи потухли. Свет шел только сквозь мелкие дырочки в стенах и сквозь мутный прямоугольник неплотно прилаженной двери. Маленький Поль Лаззаро со сломанной рукой храпел на одной койке. Эдгар Дарби, школьный учитель, которого впоследствии расстреляли, храпел на другой.

Билли сел на койку. Он не знал, какой сейчас год, на какой он планете. Но как бы ни называлась планета, на ней было холодно. Однако Билли проснулся не от холода. Его била дрожь и мучил зуд от какого-то животного магнетизма. От этого болели все мускулы, как после тяжелой муштры.

Животный магнетизм исходил от чего-то за спиной Билли. Если бы Билли попросился угадать, что там такое, он сказал бы, что там, на стенке за его спиной, огромная летучая мышь-вампир.

Билли отодвинулся в дальний угол койки, прежде чем обернуться и взглянуть, что там такое. Он боялся, что животное упадет ему на лицо и, чего доброго, выцарапает глаза или откусит его длинный нос. И он обернулся. Источник магнетизма и вправду был похож на летучую мышь. Но это было пальто покойного импресарио, с меховым воротником. Оно висело на гвоздике.

Билли осторожно пододвинулся к пальто, поглядывая на него через плечо, чувствуя, как магнетизм усиливается. Потом он обернулся и, стоя на коленях на койке, осмелился пощупать и потрогать пальто. Билли искал источник радиации.

Он нашел два небольших источника, два твердых комка, зашитых в подкладку. Один был похож на горошину. Другой по форме напоминал крошечную подкову. Через радиацию, исходящую от этих комков, Билли получил указание. Ему сказали, чтобы он не старался узнать, что это за комки. Ему посоветовали удовлетворяться сознанием, что комки могут делать для него чудеса, если он не станет допытываться, из чего они состоят. Билли охотно принял эти указания. Он был благодарен. Он был рад.

Билли задремал и снова проснулся на койке в больничном бараке. Солнце стояло высоко. За окном слышались звуки, напоминающие о Голгофе,— сильные люди копали ямы для столбов в твердой, как камень, земле. Это англичане строили себе новый нужник. Они уступили старый нужник американцам вместе со своим театром — тем баракком, где устраивали праздничную встречу.

Шесть англичан прошествовали через больничный барак, неся бильярдный стол, на который были навалены тюфяки. Тюфяки переносили в помещение около больничной палаты. Сзади шел англичанин, который сам тащил свой тюфяк и нес еще мишень для стрельбы.

Это был тот, кто играл роль Золушкиной крестной — Голубой Феи, тот, кто избил маленького Поля Лаззаро. Он остановился у койки Лаззаро и спросил, как тот себя чувствует.

Лаззаро сказал, что после войны он его убьет.

— Да ну?

— Большую ошибку допустили, — сказал Лаззаро. — Кто меня тронул, уж лучше бы сразу убил, не то я его убью.

«Голубая Фея» знал толк в убийствах. Он сдержанно улыбнулся Лаззаро.

— Но я еще успею тебя убить, — сказал он, — если ты мне докажешь, что так будет правильнее.

— Иди ты знаешь куда!

— Напрасно думаешь, что я и там не побывал! — сказал «Голубая Фея».

«Голубая Фея» ушел, снисходительно улыбаясь. Когда он вышел, Лаззаро пообещал Билли и бедному старому Эдгару Дарби, что он за себя отомстит, а месть сладка.

— Сладше ничего на свете нет, — сказал Лаззаро. — Пусть только кто попробует меня уесть, уж я его заставлю поплакать! Пожалеют, мать их, а я только захохочу во всю глотку! Мне плевать, юбка на нем или штаны. Меня самому президенту США не уесть, я и ему башку сверну. Вы бы посмотрели, чего я сделал с тем псом.

— С каким псом? — спросил Билли.

— Укусил меня, сукин сын. Достал я тогда кусок бифштекса, достал пружину от часов. Разрезал я эту пружину на кусочки, а кусочки заточил на концах. Острые стали, как бритвы. Засунул я их в бифштекс — в самую середину. И пошел туда, где этот пес сидел на цепи. Он опять на меня — укусить хочет. А я ему говорю: «Брось, песик, давай дружить. Зачем нам ссориться! Я на тебя не сержусь!» Он и поверил.

— Поверил?

— Да, я ему бифштекс бросил. Он его одним глотком слопал. А я постоял, подождал минут десять. — Глазки Лаззаро заморгали. — У него сразу кровь из пасти пошла. Как завоет, так по земле и покатился, будто его ножи сверху режут, а не изнутри. Кусать сам себя начал, будто все кишки хотел выкусить. А я хохочу, я ему говорю: «Правильно, правильно, песик, вырви из себя кишки. Это я там у тебя в нутре сижу, с ножичками, понял?»

Такие дела.

— Спросят вас, что самое приятное на свете, — сказал Лаззаро, — вы так и говорите: месть.

Кстати, когда Дрезден впоследствии разбомбили, Лаззаро совсем не радовался. Он сказал, что с немцами ему делить нечего. И еще сказал, что любит расправляться с каждым врагом поодиночке. И еще он гордился, что никогда не задел случайного зрителя. «Никогда Лаззаро не тронет человека, ежели тот его не обидел».

Тут вмешался бедный старый Эдгар Дарби, школьный учитель. Он спросил Лаззаро, не собирается ли он и англичанину, «Голубой Фее», скормить бифштекс с пружинами?

— Дерьма,— сказал Лаззаро.

— А он роста немалого,— сказал Дарби, который и сам был немалого роста.

— Рост тут ни при чем,— сказал Лаззаро.

— Пристрелишь его, что ли?

— Его за меня пристрелят,— сказал Лаззаро.— Вернется он домой с войны. Герой будет, как же. Дамочки на него вешаться станут. Устроится, заживет. И вдруг в один прекрасный день — стучат! Открывает он дверь — а там стоит незнакомый человек. И спрашивает его: «Вы тот самый?» — «Да, скажет, я тот самый». А незнакомый человек ему скажет: «Меня прислал Поль Лаззаро». И вытащит револьвер и прямо ему в пах выстрелит. И даст ему минутку подумать: кто такой Лаззаро и как теперь жить калекой. А потом добьет его одним выстрелом прямо в живот. Такие дела.

Лаззаро сказал еще, что он на кого угодно может напустить убийцу за тысячу долларов плюс дорожные расходы. У него уже в голове целый список составлен.

Дарби спросил его, кто же там, в этом списке, и Лаззаро сказал:

— Главное, смотри, чтобы ты, гад, не попал. Ты меня не задевай, вот и все.— И помолчав, Лаззаро добавил: — И дружков моих не трогай.

— А у тебя есть дружки? — поинтересовался Дарби.

— Тут, на войне? — сказал Лаззаро.— Да, был у меня и на войне друг. Был, да помер.

Такие дела.

— Это плохо.

Лаззаро сверкнул глазами:

— Да. Он мне был другом в теплушке. Звали его Роланд Вири.— Тут он ткнул в Билли здоровой рукой: — А помер он из-за дурака этого, мать его. Я ему пообещал, что я и этого дурака после войны прикончу.

Лаззаро отмахнулся от Билли: никаких слов не надо.

— Забудь про это, малый,— сказал он.— Живи, радуйся, пока живешь. Ничего с тобой не случится лет пять, десять, а то и

пятнадцать, двадцать. Только я тебя предупреждаю: услышишь звонок — пошли кого другого открывать.

Билли Пилигрим всегда говорит, что именно так он и умрет. Как путешественник во времени, он много раз видал свою собственную смерть и записал на магнитофон, как это будет. По его словам, магнитофонная лента заперта вместе с его завещанием и многими ценностями в его сейфе, в Илиумском торгово-промышленном банке:

*Я, Билли Пилигрим, умираю, умер и всегда буду умирать
13 февраля 1976 года.*

В момент своей смерти, говорит Билли Пилигрим, он будет находиться в Чикаго и читать в огромной аудитории лекцию о летающих блюдцах и об истинной природе времени. Он будет по-прежнему жить в Илиуме; чтобы добраться до Чикаго, ему придется пересечь три международных границы. Соединенные Штаты к этому времени перестроятся по образцу балканских государств: их разделят на двадцать малых наций, чтобы они больше никогда не стали угрозой миру. Чикаго будет разрушен водородной бомбой рассерженных китайцев. Такие дела. Потом его отстроят заново.

Билли выступает перед полным залом, на бывшей бейсбольной площадке, накрытой прозрачным куполом. Местный флаг развевается за его спиной. На зеленом флаге красуется породистый бык. Билли предсказывает, что ровно через час он умрет. Он сам над собой смеется и подзадоривает публику — пусть смеются вместе с ним.

— Мне давным-давно пора умереть,— говорит он.— Много лет назад,— говорит Билли,— один человек пообещал меня убить. Теперь он совсем старик, живет где-то поблизости. Он читал рекламу обо всех моих выступлениях в вашем прекрасном городе. Он сумасшедший. Сегодня он выполнит свою угрозу.

Толпа в зале шумно протестует.

Билли Пилигрим с укором говорит:

— Если вы будете протестовать, если вы считаете смерть страшной, значит, вы не поняли ни слова из того, что я вам говорил.— И Билли кончает лекцию, как он кончает все свои выступления: «Прощайте — здравствуйте, прощайте — здравствуйте!»

Он сходит с трибуны, и его окружает полиция. Она охраняет его от слишком восторженных поклонников. Никто не угрожал его жизни с самого 1945 года. Полицейские предлагают сопровождать его повсюду. Они любезно готовы всю ночь стоять у его постели, держа револьверы наготове.

— Нет, нет,— безмятежно говорит Билли.— Вам пора по до-

мам, к женам и деткам, а мне пора ненадолго умереть, а потом снова ожить.

В этот миг высокий лоб Билли уже попал в прицельное поле меж волосками мощного лазерного ружья. Ружье нацелено на него из темной ложи прессы. Миг — и Билли Пилигрим мертв. Такие дела.

И Билли переживает временную смерть. Это просто фиолетовый свет и легкий звон. Больше там ничего и никого нет. Даже самого Билли Пилигрима там нет.

А потом он снова возвращается в жизнь, далеко назад, в тот час, когда Лаззаро погрозился убить его, — в 1945 год. Ему приказали встать с койки и одеться, так как он уже выздоровел. И он, и Лаззаро, и бедный старый Эдгар Дарби должны вернуться в театр к своим землякам. Там они должны выбрать себе старшего — тайным голосованием.

Билли, Лаззаро и бедный старый Эдгар Дарби прошли через двор блока к театральному бараку. Билли нес свое пальтецо, как дамскую муфту. Он обернул им руки. Он был центральной шутовской фигурой в процессии, неумышленно пародирующей знаменитую картину «Герои 76-го года».

Эдгар Дарби мысленно писал домой письма, сообщая своей жене, что он жив и здоров, и пусть она не волнуется, война почти что кончилась, и скоро он вернется домой.

Лаззаро бормотал себе под нос, как он после войны будет подсылать убийц к разным людям и каких женщин он заставит спать с ним, захотят они или нет. Если бы он был собакой и бегал по городу, полицейский пристрелил бы его и послал его голову на анализ в лабораторию проверить — бешеный он или нет. Такие дела.

Когда они подходили к театру, они увидели, как один англичанин каблуком сапога рыл канавку в земле. Он проводил границу между американской и английской секцией блока. И Билли, и Лаззаро, и Дарби могли не спрашивать, что значит эта канавка. Этот символ был им знаком с детства.

Пол театрального барака был устлан телами американцев, примостившихся друг к другу, как ложки в ящике. Большинство американцев спали или лежали в забытьи. Сухая судорога сводила их кишки.

— Закрой двери, мать твою... — сказал кто-то. — В сарае ты родился, что ли?

Билли закрыл двери, вынул руку из муфты, потрогал печку.

Печка была холодная как лед. На сцене все еще стояли декорации к «Золушке». Лазоревые портьеры спускались с ярко-розовых арок. Золотые троны стояли под макетом часов, и стрелки показывали двенадцать. Золушкины туфельки — на самом деле это были сапоги летчика, выкрашенные серебряной краской, — валялись под золотым тронem.

Когда англичане раздавали тчофьяки и одеяла, Билли, и бедный старый Эдгар Дарби, и Лаззаро лежали в больничном бараке, так что им ничего не досталось. Пришлось что-то придумывать. Единственным свободным местом оказалась сцена, и они забрались туда, сорвали лазоревые портьеры и устроили себе гнезда.

Свернувшись в своем лазоревом гнезде, Билли вдруг увидел серебряные Золушкины сапоги под тронem. И тут он вспомнил, что его обувь разлезлась, что сапоги ему *необходимы*. Ужасно не хотелось вылезать из гнезда, но он заставил себя через силу. Он подполз на четвереньках к сапогам и примерил их.

Сапоги были в самый раз. Билли Пилигрим стал Золушкой, а Золушка стала Билли Пилигримом.

Потом главный англичанин прочел лекцию о соблюдении личной гигиены, после чего были устроены свободные выборы. Половина американцев их проспала. Англичанин поднялся на сцену, постучал по спинке трона хлыстиком:

— Господа, господа, господа, прошу внимания! — И так далее.

В лекции по гигиене англичанин сказал о том, как выжить:

— Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете.— Он еще сказал, что видел, как люди умирали: — Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Конечно, можно только сказать одно в их защиту: уйти из жизни таким способом очень легко и безболезненно.

Такие дела.

Англичанин еще сказал, что, попав в плен, он дал себе такое обещание: чистить зубы дважды в день, бриться ежедневно, мыть лицо и руки перед едой и после уборной, раз в день чистить сапоги, по крайней мере полчаса делать утром зарядку, а потом идти в уборную, часто смотреться в зеркало, беспристрастно оценивая свой внешний вид, особенно манеру держаться.

Билли Пилигрим все это слушал, свернувшись в своем гнезде. Он смотрел не на лицо англичанина, а на его сапоги.

— *Я завидую вам, господа,* — сказал англичанин.

Кто-то засмеялся. Билли не понял, что тут смешного.

— Вы, господа, сегодня же уедете в Дрезден, прекрасный го-

род, как мне говорили. Вы не будете сидеть взаперти, как мы. Вы попадете в самую гущу жизни, да и еда там, наверно, будет вкуснее, чем тут. Разрешите мне небольшое чисто личное отступление: уже пять лет, как я не видел ни дерева, ни цветка, ни женщины, ни ребенка, не видел ни кошки, ни собаки, ни места, где развлекаются, ни человека, занятого любой полезной работой. Кстати, бомбежки вам бояться нечего. Дрезден — открытый город. Он не защищен, в нем нет военной промышленности и сколько-нибудь значительной концентрации войск противника.

Тогда же бедного старого Эдгара Дарби выбрали старшим. Англичанин просил назвать кандидатуры, но все молчали. Тогда он сам выдвинул кандидатуру Дарби и произнес хвалебную речь о его зрелости, его долгом опыте работы с людьми. Больше никаких кандидатур не было, и список кандидатов был закрыт.

— Единогласно?

Послышались два-три голоса:

— Да-а...

И бедный старый Дарби произнес речь. Он поблагодарил англичанина за добрые советы, обещал следовать им неукоснительно. Он сказал, что и другие американцы, несомненно, присоединятся к нему. Он еще сказал, что теперь главная его задача — добиться, чтобы все они, как один, черт возьми, благополучно добрались домой.

— Попробуй уконтрапуй бублик на лету,— пробормотал Лаззаро в своем лазоревом гнезде,— а заодно и луну в небе.

* * *

Ко всеобщему удивлению, температура на завтра поднялась. Днем стояла теплынь. Немцы привезли суп и хлеб на двух каталках — их тянули русские. Англичане прислали настоящий кофе, и сахар, и апельсиновый джем, и сигареты, и сигары, а двери театра были распахнуты настежь, чтобы с улицы шло тепло.

Американцы уже чувствовали себя гораздо лучше. Их желудки хорошо переваривали еду. Вскоре настал час отправки в Дрезден. Американцы в полном параде вышли из британского блока. Билли Пилигрим снова возглавлял шествие. Теперь на нем были серебряные сапоги, и муфта, и кусок лазоревой портьеры, в которую он завернулся, как в тогу. Билли все еще не сбрил бороду. Не побрился и бедный старый Эдгар Дарби, который вышагивал рядом с Билли. Дарби медленно сочинял письма домой, беззвучно шевеля губами:

«Дорогая Маргарет, сегодня отправляемся в Дрезден. Не волнуйся. Бомбить его никогда не будут. Дрезден — открытый город. Сегодня днем у нас были выборы, и угадай, кого...»

И так далее.

Они снова подошли к лагерной узкоколейке. Приехали они в двух вагонах. Теперь они отправлялись куда комфортабельнее, в четырех. На путях они снова увидели мертвого бродягу. Его труп заледенел в кустах у рельсов. Он скорчился в позе эмбриона, пытаясь и в смерти примоститься около других, как ложка. Но других около него не было. Он уместился среди угольной пыли, в морозном воздухе. Кто-то снял с него сапоги. Его босые ноги были цвета слоновой кости с просинью. Но это было в порядке вещей, раз он умер. Такие дела.

Поездка в Дрезден была сплошным развлечением. Она продолжалась всего часа два. В сморщенных желудках было полно пищи. Лучи солнца и мягкий ветерок проникали через отдушины. Англичане дали им с собой много курева.

Американцы прибыли в Дрезден в пять часов пополудни. Двери теплушек открылись, и перед американцами возник прекраснейший город — такого они еще не видели никогда в жизни. Он вырисовывался в небе причудливыми мягкими контурами, сказочный неправдоподобный город. Билли Пилигрим вспомнил картинку в воскресной школе — «Царствие небесное».

Кто-то сзади него сказал: «Страна Оз»¹. Это был я. Лично я. До тех пор я видел один-единственный город — Индианаполис, штат Индиана.

Все остальные большие города в Германии были страшно разбомблены и сожжены. В Дрездене даже ни одно стекло не треснуло. Каждый день адским воем выли сирены, люди уходили в подвалы и там слушали радио. Но самолеты всегда направлялись в другие места — Лейпциг, Хемниц, Плауэн и всякие другие пункты. Такие дела.

Паровое отопление в Дрездене еще весело посвистывало. Звякали трамваи. Свет зажигался и когда щелкали выключатели. Работали рестораны и театры. Зоопарк был открыт. Город в основном производил лекарства, консервы и сигареты.

В это время люди шли домой с работы. Они устали.

Восемь дрезденцев перешли через стальную лапшу рельсов к вагонам. На них было новое обмундирование. Только накануне они приняли присягу. Это были мальчишки, и пожилые люди, и два инвалида, жутко израненные в России. Им было предписано охранять сто американских военнопленных, назначенных

¹ «Мудрец из страны Оз» — известная детская сказка о волшебной стране американского писателя Лимана Фрэнка Баума.

на работу. В отряде были дедушка и внук. Дедушка раньше был архитектором.

Все восемь, сердито хмурясь, подошли к теплушкам, где находились их подопечные. Они знали, какой у них самих нелепый и нездоровый вид. Один из них ковылял на протезе и нес в руках не только винтовку, но и палку. Однако им предписывалось добиться полного повиновения и уважительности от высоких нахальных разбойников — американцев, убийц, только что явившихся с фронта.

И тут они увидели бородатого Билли Пилигрима в лазоревой тоге и серебряных сапогах, с руками в муфте. С виду ему было лет шестьдесят. Рядом с Билли стоял маленький Поль Лаззаро, кипя от бешенства. Рядом с Лаззаро стоял бедный старый учитель Эдгар Дарби, весь исполненный унылого патриотизма, немолодой усталости и воображаемой мудрости. Ну, и так далее.

Восемь нелепейших дрезденцев наконец удостоверились, что эти сто нелепейших существ и есть те самые американские солдаты, недавно взятые в плен на фронте. Дрезденцы стали улыбаться, а потом расхохотались. Их страх испарился. Бояться было некого. Перед ними были такие же искалеченные людишки, такие же дураки, как они сами. Это было похоже на оперетку.

И опереточное шествие вышло из ворот железнодорожной станции на улицы Дрездена. Билли Пилигрим был главной опереточной примадонной. Он возглавлял парад. Тысячи людей шли по тротуарам домой с работы. Лица у них были водяночные, распухшие, — в течение двух лет люди ели почти что одну картошку. Они шли, не ожидая никаких радостей, кроме мягкой погоды. И вдруг — такое развлечение.

Билли не замечал, что на него смотрят во все глаза, забавляясь его видом. Он был восхищен архитектурой города. Веселые амурчики обвивали гирляндами окна. Лукавые фавны и нагие нимфы глазели с разукрашенных карнизов. Каменные мартышки резвились меж свитков, раковин и стеблей бамбука.

Уже помня будущее, Билли знал, что город будет разбит вдребезги и сожжен примерно дней через тридцать. Знал он и то, что большинство смотревших на него людей скоро погибнет. Такие дела.

И Билли на ходу стискивал руки в муфте. Кончиками пальцев он старался нащупать в теплой темноте муфты твердые комки, зашитые в подкладку пальто маленького импресарио. Пальцы пробрались за подкладку. Они ощупали комки, один походил на горошину, другой — на маленькую подкову. Тут парадное шествие остановилось. Семафор загорелся красным светом.

На углу, в первом ряду пешеходов, стоял хирург, который весь день оперировал больных. Он был в гражданском, но ще-

голял военной выправкой. Он участвовал в двух мировых войнах. Вид Билли чрезвычайно оскорбил его чувства, особенно когда охрана сказала ему, что Билли — американец. Хирургу казалось, что Билли — отвратительный кривляка, что он нарочно постарался вырядиться таким шутком.

Хирург говорил по-английски и сказал Билли:

— Очевидно, война вам кажется забавной шуткой?

Билли посмотрел на него с недоумением. Он совсем потерял всякое понятие о том, где он и как он сюда попал. Ему и в голову не приходило, что люди могут подумать, будто он кривляется. Конечно же, его так вырядила Судьба. Судьба и слабое желание выжить.

— Вы хотите нас *рассмешить*? — спросил хирург.

Хирурга надо было как-то убагатворить. Билли растерялся. Билли хотел проявить дружелюбие, чем-нибудь помочь, но у него не было никаких возможностей. Он держал в руке те два предмета, которые он выудил из подкладки. Он решил показать их хирургу.

— Вы, очевидно, полагаете, что нам понравится такое *издевательство*? — сказал хирург. — Неужели вы гордитесь, что представляете Америку таким образом?

Билли вынул руку из муфты и сунул ладонь под нос хирургу. На ладони лежал бриллиант в два карата и половинка искусственной челюсти. Это непристойная штучка была сделана из серебра, с перламутром и с оранжевой пластмассой. Билли улыбался.

Шествие, хромя, спотыкаясь и сбивая шаг, подошло к воротам дрезденской бойни. Пленных ввели во двор. Бойня уже давно не работала. Весь скот в Германии давно уже был убит, съеден и испражнен человеческими существами, по большей части в военной форме. Такие дела.

Американцев повели в пятое здание за воротами. Это был одноэтажный цементный сарай, с раздвижными дверями в передней и задней стене. Он был построен для свиней, предназначенных на убой. Теперь он должен был стать жильем для сотни американских военнопленных. Там стояли койки, две пузатые печки и умывальник с краном. Сзади был пристроен нужник — дощатый заборчик, за ним ведра.

На двери здания стояла огромная цифра. Это был номер пять. Прежде чем впустить американцев внутрь, единственный охранник, говоривший по-английски, велел им запомнить простой адрес в случае, если они заблудятся в огромном городе. Их адрес был такой: «Шлахтхоффюнф». Шлахтхоф — значило «бойня». «Фюнф» была попросту добрая старая пятерка.

Двадцать пять лет спустя Билли Пилигрим сел в Илиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел: зачем зря валять дурака? Самолет вез Билли с двадцатью восемью другими оптометристами на конференцию в Монреаль.

Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Мербл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни.

Лайонел Мербл был машиной. Конечно, тральфамадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами.

На аэродроме машина по имени Валенсия Мербл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком.

Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей — тоже оптометристов. Они называли себя «чэпы», что означало «четыреглазые подонки».

Когда самолет уже был в воздухе, машина — тесть Билли, попросила квартет спеть его любимую песенку. Они знали, чего он просит, и спели ему такие куплеты:

Снова я сижу в тюрьме,
Снова по уши в дерьме,
И болят, болят различные места.

Я кляню свою судьбу,
Ох, увидеть бы в гробу
Эту стерву, что кусалась неспроста.

И тесть Билли гоготал, как сумасшедший, и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку. И квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков:

Вместе в шахте, Майк и я,
Закадычные друзья,
Уголек загребай,
Раз в неделю погулай!

Кстати, о поляках: дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром, и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела.

Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с «тремя мушкетерами». Роланд Вири тряс его, стучал его головой о дерево.

— Идите без меня, ребята,— говорил Билли Пилигрим.

Квартет на самолете пел: «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш, в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела.

Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы — инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей, для смеху наряженных неграми.

Билли был ранен в голову, но сознания не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними.

Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес: «Шлахтхофф-фюнф».

Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножья тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь, в ярких эластичных костюмах, в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап второй мировой войны. Но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично.

Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и три часа оперировал Билли. После операции Билли два дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени.

Правдивым событием был и первый вечер на территории боев. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню, за ужином для всех. Их охранял шестнадцатилетний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела.

Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем, у праздных боев. Город был в затемнении — вдруг начнется налет, — в Дрездене Билли не увидел самой радостной на свете картины — как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки.

А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба.

Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли, даже мог бы сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось.

Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось тридцать с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами.

Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони. А в дверях как вкопанные остановились Глюк, и Дарби, и Билли Пилигрим — мальчишка-солдат, и бедный старый школьный учитель, и шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее и стали еще прекрасней.

Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было.

Когда эти три дурака наконец нашли кухню — раньше там готовили еду для рабочих бойни, — все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела. Такие дела. На ней уже было и пальто и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком на обитой жестью буфетной стойке.

Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груды черного хлеба.

Она спросила Глюка: не слишком ли он молод для армии? Он согласился: да.

Она спросила Эдгара Дарби: не слишком ли он стар для армии? Он сказал: да.

Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал: не знаю. Просто стараюсь согреться.

— Все настоящие солдаты погибли,— сказала она. И это была правда. Такие дела.

Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину — себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам.

У сиропа был вкус жидкого меда с можжевельным дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа. А другие американцы ели.

Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду — за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением.

На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со стынувшим сиропом. Видеть Билли мог только один человек — бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, покрутил, так что вышла липкая тянучка. И сунул ложку в рот.

И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности.

В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу.

Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко. Он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби. И вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.

8

За два дня до разрушения Дрездена американцев посетил чрезвычайно интересный гость. Это был Говард У. Кэмбл, американец, ставший нацистом. Этот самый Кэмбл был автором монографии о недостойном поведении американских военнопленных. Научными исследованиями в этой области он теперь больше не занимался. Он пришел на бойни вербовать американцев

в немецкую воинскую часть под названием «Свободный американский корпус». Кэмбл сам изобрел этот корпус и сам собирался им командовать, а сражаться они должны были только на русском фронте.

Внешность у Кэмбла была самая заурядная, но на нем была чрезвычайно экстравагантная форма, придуманная им самим. На нем была широкополая ковбойская шляпа белого цвета и черные ковбойские сапоги со свастиками и звездами. Он был туго затянут в синий облегающий костюм с желтыми лампасами от подмышек до щиколоток. Нашивки изображали профиль Авраама Линкольна на бледно-зеленом поле. Наручная повязка была ярко-красного цвета, с синей свастикой в белом круге.

И сейчас, в цементном загоне для свиней, он объяснял значение этой наручной повязки.

Билли Пилигрима мучила изжога, потому что весь день на работе он ложками ел паточный сироп. От изжоги на глаза выступали слезы, так что дрожащие линзы соленой влаги совершенно искажали образ Кэмбла.

— Синий цвет — это небо Америки, — объяснял Кэмбл, — белый — это цвет белой расы, которая покорила наш континент, осушила болота, вырубил леса и построила мосты и дороги. А красный цвет — это кровь американских патриотов, так щедро пролитая в минувшие года.

Сон сморил слушателей Кэмбла. Они крепко поработали на сиропном заводе и прошли длинной дорогой по холоду к себе, на бойню. Все очень отощали, глаза у них ввалились. Кожа потрескалась, воспалилась. Воспалились и губы, горло, желудки. В паточном сиропе, который они ели ложками весь день, все-таки не хватало ни витаминов, ни минеральных солей, необходимых каждому жителю Земли.

Кэмбл стал предлагать американцам всякую еду — бифштексы с картофельным пюре, с подливкой, мясные пироги, — все будет, как только они согласятся вступить в «Свободный американский корпус»:

— А как только разобьем русских, вас репатрируют через Швейцарию.

Все молчали.

— Все равно, раньше или позже вам придется драться с коммунистами, — сказал Кэмбл. — Так не лучше ли сейчас разделаться с ними сразу?

И вдруг выяснилось, что Кэмблу эти слова даром не пройдут. Бедный старый Дарби, школьный учитель, обреченный на смерть, с трудом поднялся на ноги — и тут настала лучшая минута его жизни. В нашем рассказе почти нет героев и всяких драматических ситуаций, потому что большинство персонажей этой книги — люди слабые, беспомощные перед мощными

силами, которые играют человеком. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце концов разочаровываются в героизме. Но в ту минуту старый Дарби стал героем.

Он стоял, как боксер, оглушенный ударами. Он наклонил голову. Он выставил кулаки в ожидании сигнала к бою. Потом поднял голову и назвал Кэмбла гадюкой. Тут же поправился: гадюки, сказал он, никак не могли не родиться гадюками, а Кэмбл, который мог не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки, или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.

Кэмбл только усмехнулся.

И Дарби взволнованно заговорил об американской конституции, обеспечивающей свободу, и справедливость, и всеческие возможности, и честную игру для всех. Он сказал, что нет человека, который с радостью не отдал бы жизнь за эти идеалы.

Он говорил о братстве американского и русского народов, о том, как эти две страны изничтожат нацистскую чуму, которая грозит заразительность весь мир.

И тут жалобно завывали дрезденские сирены.

Американцы вместе со своей охраной и с Кэмблом ушли в убежище — в гулкий подвал, вырубленный прямо в скале, под бойнями. Туда вела железная лесенка с железными дверями наверху и внизу.

Внизу, в подвале, на крюках еще висело несколько туш быков, овец, свиней и лошадей. Такие дела. На пустых крюках можно было бы развесить еще тысячи туш. Холод там был естественный. Никаких холодильных установок не требовалось. Горели свечи. Подвал был выбелен и пахнул карболкой. Вдоль стен стояли скамьи. Американцы подошли к скамьям и, прежде чем сесть, смахнули осыпавшуюся известку.

Говард У. Кэмбл остался стоять, как и охрана. Он разговаривал с охранниками на превосходном немецком языке. В свое время он написал множество популярных пьес и поэм по-немецки и женился на знаменитой немецкой актрисе Хельге Норт. Она была убита в гастрольном турне — развлекала немецкие войска в Крыму. Такие дела.

В ту ночь все обошлось. Только на следующую ночь примерно сто тридцать тысяч жителей Дрездена должны были погибнуть. Такие дела. Билли дремал в подвале бойни. Он снова во всех подробностях переживал спор с дочерью, с которого мы начали этот рассказ.

«Отец, — говорила она, — что нам с тобой делать?» — И так далее. — «Знаешь, кого я убила бы своими руками?» — спросила она. «Кого же ты убила бы?» — спросил Билли. «Этого Килгора Траута».

Килгор Траут был и остался автором научно-фантастических

романов, и, конечно, Билли не только прочитал множество книг Траута, но и стал его другом, насколько можно было стать другом Траута, человека очень угрюмого.

Траут снимал подвал в Илиуме, милях в двух от красивого белого домика Билли. Сам Траут понятия не имел, сколько книг он написал — наверное, штук семьдесят пять. Денег ни одна из них ему не принесла. И теперь Килгор Траут кое-как перебивался, занимаясь распространением «Илиумского вестника», и ведал оравой мальчишек-газетчиков: он их и запугивал, и надувал, и подлизывался к этим ребятишкам.

Впервые Билли встретился с ним в 1964 году. Билли ехал в своем «кадиллаке» по переулку Илиума и увидел, что там не проехать из-за толпы мальчишек с велосипедами. Перед мальчишками разглагольствовал человек с окладистой бородой. Он и робел перед ними, и поругивал их, и, как видно, справлялся со своей работой великолепно. Тогда Трауту было шестьдесят два года.

Он говорил ребятам, что — тут шли нецензурные слова — нечего просиживать штаны зря, надо каждому подписчику в задницу ткнуть и воскресное приложение. Он говорил: кто за два месяца продаст больше всего этих дерьмовых приложений, тому на целую неделю дадут бесплатную путевку вместе с родителями к черту на рога, на самый Мартас-Виньярд.

И так далее.

Один из газетчиков был девчонкой. Она была в полном восторге от нецензурных эпитетов.

Безумная физиономия Траута показалась Билли ужасно знакомой — он видал ее на обложках стольких книжек... Но увидев это лицо случайно, в переулке родного города, Билли никак не мог догадаться, почему это лицо ему так знакомо. Билли подумал: а может быть, этот разглагольствующий псих встречался ему когда-то в Дрездене. Траут, несомненно, был очень похож на тех военнопленных.

Тут девчонка-газетчик подняла руку.

— Мистер Траут,— сказала она,— а если я выиграю, можно мне взять с собой сестренку?

— Черта с два,— сказал Траут.— Думаешь, деньги растут на деревьях?

Кстати, Траут написал книгу про денежное дерево. Вместо листьев на дереве росли двадцатидолларовые бумажки, вместо цветов — акции, вместо фруктов — бриллианты. Дерево привлекало людей, они убивали друг дружку, бегая вокруг ствола и отлично удобряли землю своими трупами.

Такие дела.

Билли Пилигрим остановил машину в переулке и стал ждать конца собрания. Наконец все разошлись, но остался один мальчишка, с которым Трауту надо было договориться. Мальчишка решил бросить работу — и трудно, и времени отнимает много, и платят мало. Траут забеспокоился: если мальчишка и впрямь уйдет, придется самому разносить газеты в этом районе, пока не найдется другой мальчик.

— Ты кто такой? — спросил Траут презрительно. — Тоже мне, чудо без кишок.

Кстати, так называлась одна книжка Траута: «Чудо без кишок». В ней описывался робот, у которого скверно пахло изо рта, а когда он от этого излечился, его все полюбили. Но самое замечательное в этой книге, написанной в 1932 году, было то, что в ней предсказывалось употребление сгущенного же-леобразного газа для сжигания человеческих существ.

Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле.

Ведущий робот Траута выгядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали. А потом он от этого излечился, и человечество радостно приняло его в свои ряды.

Траут никак не мог уговорить мальчишку-газетчика, который хотел бросить работу. Он ему твердил про миллионеров, начавших с продажи газет, и мальчишка ответил:

— Начать-то они начали, да, наверно, через неделю бросили: больно уж вшивая работка!

И мальчишка кинул к ногам Траута сумку с газетами и с адресами своих подписчиков. Трауту надо было разнести эти газеты. Машины у него не было. У него даже велосипеда не было, и он смертельно боялся собак.

Где-то лаял огромный пес.

Траут мрачно вскинул сумку на плечо, и тут к нему подошел Билли:

— Мистер Траут?

— Да?

— Вы... Вы — Килгор Траут?

— Да. — Траут решил, что Билли пришел жаловаться на плохую доставку газет. Он никогда не думал о себе как о писателе по той простой причине, что никто на свете не давал повода для этого.

— Вы... Вы — тот писатель?

— Кто?

Билли был уверен, что ошибся.

— Есть такой писатель — Килгор Траут.

— Такой писатель? — Лицо у Траута было растерянное, глупое.

— Вы никогда о нем не слышали?

Траут покачал головой:

— Никто никогда о нем не слышал.

Билли помог Трауту развезти газеты, объехал с ним всех подписчиков в своем «кадиллаке». Все делал Билли — находил дом, проверял адрес. Траут совершенно обалдел. Никогда в жизни он не встречал поклонника, а Билли был таким горячим его поклонником.

Траут рассказал ему, что никогда не видел своих книг в продаже, не читал рецензий, не видал рекламы.

— А ведь все эти годы я открывал окно и объяснялся миру в любви.

— Но вы, наверно, получали письма? — сказал Билли. — Сколько раз я сам хотел вам написать.

Траут поднял палец:

— Одно!

— Наверное, очень восторженное?

— Нет, очень сумасшедшее. Там говорилось, что я должен стать Президентом земного шара.

Оказалось, что автором письма был Элиот Розуотер, приятель Билли по военному госпиталю около Лейк-Пласид. Билли рассказал Трауту про Розуотера.

— Бог мой, а я решил, что ему лет четырнадцать, — сказал Траут.

— Нет, он взрослый, был капитаном на войне.

— А пишет, как четырнадцатилетний, — сказал Килгор Траут.

Через два дня Билли пригласил Траута в гости. Он праздновал восемнадцатилетие со дня своей свадьбы. И сейчас веселье было в самом разгаре.

В столовой у Билли Траут поглощал один сэндвич за другим. Дожевывая икру и сыр, он разговаривал с женой одного из оптометристов. Все гости, кроме Траута, были так или иначе связаны с оптометрией. И только он один не носил очков. Он пользовался большим успехом, Всем льстило, что среди гостей — настоящий писатель, хотя книг его никто не читал.

Траут разговаривал с Мэгги Уайт, которая бросила место помощницы зубного врача, чтобы создать домашнее гнездышко оптометристу. Она была очень хорошенькая. Последняя книга, которую она прочла, называлась «Айвенго».

Билли стоял неподалеку, слушая их разговор. Он нащупывал пакетик в кармане. Это был подарок, приготовленный им для жены, — белая атласная коробочка, в ней — кольцо с сапфиром. Кольцо стоило восемьсот долларов.

Трауту страшно льстило восхищение глупой и безграмотной Мэгги, оно опьяняло его, как марихуана. Он отвечал ей громко, весело, нахально.

— Боюсь, что я читаю куда меньше, чем надо, — сказала Мэгги.

— Все мы чего-нибудь боимся, — ответил Траут. — Я, например, боюсь рака, крыс и доберман-пинчеров.

— Мне очень неловко, что я не знаю, но все-таки скажите, какая ваша самая знаменитая книжка?

— Роман про похороны знаменитого французского шеф-повара, — ответил Траут.

— Как интересно!

— Его хоронили все самые знаменитые шеф-повары мира. Похороны вышли прекрасные, — сочинял Траут на ходу. — И прежде чем закрыть крышку гроба, траурный кортеж посыпал дорогого покойника укропом и перчиком. Такие дела.

— А это действительно было? — спросила Мэгги Уайт. Женщина она была глупая, но от нее шел неотразимый соблазн — делать с ней детей. Стоило любому мужчине взглянуть на нее — и ему немедленно хотелось начинить ее кучей младенцев. Но пока что у нее не было ни одного ребенка. Контролировать рождаемость она умела.

— Ну, конечно, было, — уверял ее Траут. — Если бы я писал про то, чего не было, и продавал такие книжки, меня посадили бы в тюрьму. Это же *мошенничество*.

Мэгги ему поверила.

— Вот уж никак не думала, — сказала она.

— А вы подумайте!

— И с рекламой тоже так. В рекламах надо писать правду, не то будут неприятности.

— Точно. Тот же параграф закона.

— Скажите, а вы когда-нибудь опишете в книжке нас всех?

— Все, что со мной бывает, я описываю в книжках.

— Значит, надо быть поосторожнее, когда с вами разговариваешь.

— Совершенно верно. А кроме того, не я один вас слышу. Бог тоже слушает нас. И в Судный день он вам напомнит все, что вы говорили, и все, что вы делали. И если окажется, что слова и дела были плохие, так вам тоже будет плохо, потому что вы будете гореть на вечном огне. А гореть очень больно, и конца этому нет.

Бедная Мэгги стала серого цвета. Она и этому поверила и просто окаменела.

Килгор Траут громко захохотал. Икринка вылетела у него изо рта и прилипла к декольте Мэгги.

Тут один из оптометристов попросил внимания. Он предложил выпить за здоровье Билли и Валенсии, в честь годовщины их свадьбы. Как и полагалось, квартет оптометристов, «чэпы», пел, пока все пили, а Билли с Валенсией, сияя, обняли друг друга. Глаза у всех заблестели. Квартет пел старую песню «Мои дружки».

«Где вы, где вы, старые грузья,— пелось в песне,— за встречу с вами все отгал бы я»,— и так далее. А под конец там пелось: «Прощайте навек, дорогие грузья, прощай навеки, подруга моя»,— и так далее.

Неожиданно Билли очень расстроился от песни, от всего. Никаких старых друзей у него никогда не было, никаких девушек в прошлом он не знал, и все равно ему стало тоскливо, когда квартет медленно и мучительно тянул аккорды — сначала нарочито-унылые, кислые, потом все кислее, все тягучее, а потом сразу вместо кислоты — сладкий до удушья аккорд, и снова — несколько аккордов, кислых до оскомины. И на душу и на тело Билли чрезвычайно сильно действовали эти изменчивые аккорды. Во рту появился вкус кислого лимонада, лицо нелепо перекопилось, словно его и на самом деле пытали на так называемой дыбе.

Вид у него был настолько нехороший, что многие это заметили и заботливо окружили его, когда квартет допел песню. Они решили, что у Билли сердечный припадок, и он подтвердил эту догадку, тяжело опустившись в кресло.

Все умолкли.

— Боже мой! — ахнула Валенсия, наклоняясь над ним. — Билли, тебе плохо?

— Нет.

— Ты ужасно выглядишь.

— Ничего, ничего, я вполне здоров. — Так оно и было, только он не мог понять, почему на него так странно подействовала песня. Много лет он считал, что понимает себя до конца. И вдруг оказалось, что где-то внутри в нем таится что-то таинственное, непонятное, и он не мог представить себе, что это такое.

Гости оставили Билли в покое, увидев, что бледность у него прошла, что он улыбается. Около него осталась Валенсия, а потом подошел стоящий поблизости Килгор Траут и пристально, с любопытством посмотрел на него.

— У тебя был такой вид, как будто ты увидел привидение, — сказала Валенсия.

— Нет, — сказал Билли. Он ничего не видел, кроме лиц музыкантов, четырех обыкновенных людей с коровьими глазами, в бездумной тоске извлекающих то кислые, то сладкие звуки.

— Можно высказать предположение? — спросил Килгор Траут. — Вы заглянули в окно времени.

— Куда, куда? — спросила Валенсия.

— Он вдруг увидел не то будущее, не то прошлое. Верно я говорю?

— Нет, — сказал Билли Пилигрим. Он встал, сунул руку в карман, нашел футляр с кольцом. Он вынул футляр и рассеянно подал его Валенсии. Он собирался вручить ей кольцо, когда окончится пенье и все будут на них смотреть. А теперь на них смотрел один Килгор Траут.

— Это мне? — сказала Валенсия.

— Да.

— Ах, боже мой! — сказала она. И еще громче: — Ах, боже мой! — так что слышали все гости.

Они окружили ее, и она открыла футляр и чуть не взвизгнула, увидев кольцо с сияющим сапфиром.

— О, боже! — повторила она. И крепко поцеловала Билли. — Спасибо тебе, спасибо! Большое спасибо! — сказала она.

Все заговорили, вспомнили, сколько драгоценностей Билли подарил Валенсии за эти годы.

— Ну, знаете, — сказала Мэгги Уайт, — у нее есть огромный бриллиант, только в кино такие и увидишь. — Она говорила о бриллианте, который Билли привез с войны.

Игрушку в виде челюсти, найденную в подкладке пальто убитого импресарио, Билли спрятал в ящик, в коробку с запонками. У Билли была изумительная коллекция запонок. Обычно родные на каждый день рождения дарили ему запонки. И сейчас на нем были подарочные запонки. Они стоили больше ста долларов. Сделаны они были из старинных римских монет. В спальне у него были запонки в виде колесиков рулетки, которые и в самом деле крутились. А в другой паре — на одной запонке был настоящий термометр, а на другой — настоящий компас...

Билли обходил гостей, и вид у него был совершенно нормальный. Килгор Траут шел за ним как тень — ему очень хотелось узнать, что померещилось или увиделось Билли. В своих романах Траут почти всегда писал про пертурбации во времени, про сверхчувственное восприятие и другие необычайные вещи. Траут очень верил во все это и жадно искал подтверждения.

— Вам не приходилось класть на пол большое зеркало, а потом пускать на него собаку? — спросил Траут у Билли.

— Нет.

— Собака посмотрит вниз и вдруг увидит, что под ней ничего нет. Ей покажется, что она висит в воздухе. И как отскочит назад — чуть ли не на милю!

— Неужели?

— Вот и у вас был такой вид, будто вы повисли в воздухе.

Квартет любителей снова запел. И снова их пение расстроило Билли. Его переживания были определенно связаны с видом четырех музыкантов, а вовсе не с их пением. Но от этой песни у Билли опять защемило внутри:

Хлопок десять центов,
мясо — сорок шесть,
человеку бедному
нечего есть.
Просишь солнца с неба,
а с неба хлещет дождь,
от такой погоды
и впрямь с ума сойдешь.
Выстроил хороший
новый амбар,
выкрасил славно,
да съел его пожар.
Хлопок десять центов,
а чем платить налог?
Спину сломаешь,
собьешься с ног...

Билли убежал на верхний этаж своего красивого белого дома.

Килгор Траут хотел было пойти за ним наверх, но Билли сказал: не надо. Билли пошел в ванную. Там было темно. Билли крепко запер дверь, света он не стал зажигать, но сразу понял, что он тут не один. Там сидел его сын.

— Папа? — спросил сын в темноте. Роберту, будущему «зеленому берегу», было тогда семнадцать лет. Билли его любил, но знал его довольно плохо. Билли смутно подозревал, что и знать про Роберта особенно нечего.

Билли включил свет. Роберт сидел на унитазе, спустив пижамные штаны. Через плечо, на ленте, у него висела электрическая гитара. Он ее купил в этот день. Играть он еще не умел, впрочем, он так никогда играть и не научился. Гитара была перламутрово-розового цвета.

— Привет, сынок, — сказал Билли Пилигрим.

Билли прошел к себе в спальню, хотя ему надо было бы занимать гостей внизу. Он лег на кровать, включил «волшеб-

ные пальцы». Матрас стал вибрировать и спугнул из-под кровати собаку. Это был Спот. Славный старый Спот тогда еще был жив. Спот пошел и лег в углу.

Билли сосредоточенно думал, почему этот квартет так на него подействовал, и наконец установил, какие ассоциации с очень давним событием вызвали у него эти песни. Ему не понадобилось путешествовать во времени, чтобы восстановить пережитое. Он смутно вспомнил вот что.

Он был внизу, в холодном подвале, в ту ночь, когда разбомбили Дрезден. Наверху слышались звуки, похожие на топот великанов. Это взрывались многотонные бомбы. Великаны топали и топали. Подвал был надежным убежищем. Только изредка с потолка осыпалась известка. Внизу не было никого, кроме американцев, четырех человек из охраны и нескольких туш. Остальные четыре охранника, еще до налета, разошлись по домам, в семейный уют. Сейчас их убивали с их семьями.

Такие дела.

Девочки, те, кого Билли видел голенькими, тоже все были убиты в менее глубоко убежище, в другом конце боен.

Такие дела.

Один из охранников то и дело поднимался по лестнице — посмотреть, что там делалось снаружи, потом спускался и перешептывался с другими охранниками. Наверху бушевал огненный ураган. Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть.

До полудня следующего дня выходить из убежища было опасно. Когда американцы и их охрана вышли наружу, небо было сплошь закрыто черным дымом. Сердитое солнце казалось шляпкой гвоздя. Дрезден был похож на Луну — одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть.

Такие дела.

Охранники инстинктивно встали в ряд, глаза у них бегали, они пытались мимикой выразить свои чувства, без слов, их губы беззвучно шевелились. Они были похожи на немой фильм про тот квартет певцов.

— Прощайте навек, дорогие друзья, — словно пели они, — прощай навеки, подруга моя, храни вас бог...

— Расскажи мне что-нибудь, — как-то попросила Билли Монтана Уайлдбек в тральфамадорском зоопарке. Они лежали рядом в постели. Никто их не видел. Ночной полог закрывал купол. Монтана была на седьмом месяце, большая, розовая, и время от времени лениво присила Билли что-нибудь для нее сделать. Она не могла послать Билли за мороженым или за клубникой,

потому что атмосфера за куполом была насыщена синильной кислотой, а самое расстояние до мороженого и клубники равнялось миллионам световых лет.

Правда, она могла послать его достать что-нибудь из холодильника, украшенного веселой парочкой на велосипеде, или попросить, как сейчас:

— Расскажи мне что-нибудь, Билли, миленький.

— Дрезден был разрушен в ночь на тринадцатое февраля 1945 года,— начал свой рассказ Билли Пилигрим.— На следующий день мы вышли из нашего убежища.— Он рассказал Монтане про четырех охранников и как они, обалдевшие, расстроенные, стали похожи на квартет музыкантов. Он рассказал ей о разрушении боен, где были снесены все ограды, сорваны крыши, выбиты окна,— он рассказал ей, как везде валялось что-то, похожее на короткие бревна. Это были люди, попавшие в огненный ураган. Такие дела.

Билли рассказал ей, что случилось со зданиями, которые возвышались, словно утесы, вокруг боен. Они рухнули. Все деревянные части сгорели, и камни обрушились, сшиблись и наконец застыли живописной грядой.

— Совсем как на Луне,— сказал Билли Пилигрим.

Охрана велела американцам построиться по четыре, что они и выполнили. Их повели к хлеву для свиней, где они жили. Стены хлева были еще целы, но крышу сорвало, стекла выбило, и ничего, кроме пепла и кусков расплавленного стекла, внутри не осталось. Все поняли, что ни пищи, ни воды там не было и что тем, кто выжил, если они хотят выжить и дальше, надо пробираться через гряду за грядой по лунной поверхности.

Так они и сделали.

Гряды и груды только издали казались ровными. Те, кому пришлось их преодолевать, увидели, что они коварны и колючи. Горячие на ощупь, часто неустойчивые, эти груды стремились рассыпаться и лечь плотнее и ниже, стоило только тронуть какой-нибудь опорный камень. Экспедиция пробиралась по лунной поверхности молча. О чем тут было говорить? Ясно было только одно: предполагалось, что все население города, без всякого исключения, должно быть уничтожено, и каждый, кто осмелился остаться в живых, портил дело. Людям оставаться на Луне не полагалось.

И американские истребители вынырнули из дыма посмотреть — не движется ли что-нибудь вниз. Они увидели Билли и его спутников. Самолет полил их из пулемета, но пули пролетели мимо. Тут самолеты увидели, что по берегу реки тоже движутся какие-то люди. Они и их полили из пулеметов. В некоторых они попали. Такие дела.

Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война.

Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, не тронутой взрывами и пожарами. К ночи американцы со своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи. Внизу топились три печки. Там, в ожидании гостей, стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели.

Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали, ждали, не придет ли кто к ним.

Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капали воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и сто американских военнопленных.

Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли.

— Да.

— А еще кто-нибудь придет?

И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа.

Слепой хозяин сказал, что американцы могут расположиться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац-кофеом и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать.

— Доброй ночи, американцы! — сказал он по-немецки. — Спице спокойно.

9

Билли Пилигрим потерял свою жену Валенсию так.

Он лежал без сознания в вермонтском госпитале после того, как самолет разбился в горах Шугарбуш, а Валенсия, услышав о катастрофе, выехала из Илиума в госпиталь на их «кадиллаке». Валенсия была в истерике, потому что ей откровенно сказали, что Билли может умереть, а если и выживет, то превратится в растение.

Валенсия боготворила Билли. Она так рыдала и охала, правя машиной, что пропустила нужный поворот в шоссе. Она резко затормозила, и сзади в нее врезался «мерседес». Никто, слава богу, не пострадал, потому что на тех, кто вел машину, были пристегнуты ремни. Слава богу, слава богу. У «мерседеса» была разбита только одна фара. Но задняя часть кузова «кадиллака» стала голубой мечтой ремонтника. Задние крылья были

смяты. Разломанный багажник был разинут, как рот деревенского дурачка, который признается, что он ни в чем ни черта не понимает. Бампер задрался кверху, словно салютуя прохожим. «Голосуйте за Ригана!» — гласила нашлапка на бампере. Заднее стекло было нарезано трещинами. Система выхлопа валялась на земле.

Водитель «мерседеса» подошел к Валенсии — справиться, все ли в порядке... Она что-то залопотала в истерике — про Билли, про катастрофу, — и вдруг тронула машину и поехала, оставив всю систему выхлопа на земле.

Когда она подкатила к госпиталю, люди выскочили посмотреть, что там за шум. «Кадиллак», потерявший оба глушителя, ревел, как тяжелый бомбардировщик, приземляющийся на честном слове и на одном крыле. Валенсия выключила мотор и упала грудью на руль, и гудок стал выть без остановки. Доктор с сестрой выбежали взглянуть, что случилось. Бедная Валенсия была без сознания, отравленная выхлопными газами. Она вся стала небесно-голубого цвета.

Час спустя она скончалась. Такие дела.

Билли ничего об этом не знал. Он спал, видел сны, путешествовал во времени и так далее. Больница была так переполнена, что отдельной палаты ему не дали. С ним лежал профессор истории Гарвардского университета по имени Бертрам Копленд Рэмфорд. Рэмфорду смотреть на Билли не приходилось, потому что вокруг Биллиной койки стояла белая полотняная ширма на резиновых колесиках. Но Рэмфорд от времени до времени слышал, как Билли разговаривает сам с собой.

У Рэмфорда нога была на вытяжке. Он сломал ее, катаясь на лыжах. Было ему уже семьдесят лет, но душой и телом он был вдвое моложе. Ногу он сломал, проводя медовый месяц со своей пятой женой. Ее звали Лили. Лили было двадцать три года.

Примерно в тот час, когда умерла бедная Валенсия, Лили пришла в палату к Рэмфорду и Билли с грудой книг. Рэмфорд специально послал ее за этими книгами в Бостон. Он работал над однотомной историей военно-воздушных сил США во второй мировой войне. Лили принесла книги про бомбежки и воздушные бои, происходившие, когда ее еще и на свете не было.

— Идите без меня, ребята, — бредил Билли, когда в палату вошла красотка Лили. Она была о-го-го какая, когда Рэмфорд ее увидал и решил сделать своей собственностью. Из школы ее выгнали. Интеллект у нее был ниже среднего.

— Я его боюсь! — шепнула она мужу про Билли Пилигрима.

— А мне он надоед до чертиков, — басом сказал Рэмфорд. —

Только и знает, что спросонья сдаваться, поднимать руки вверх, извиняться перед всеми и просить, чтобы его не трогали.— Сам Рэмфорд был бригадный генерал в отставке, числился в резерве военно-воздушных сил и еще был профессором, автором двадцати шести книг, мультимиллионером с самого рождения и одним из лучших яхтсменов в мире. Самой популярной его книгой было исследование о сексе и усиленных занятиях спортом для мужчин старше шестидесяти пяти лет. Сейчас он процитировал Теодора Рузвельта, на которого был очень похож: — «Я мог бы вырезать из банана человека получше».

Среди других книг Рэмфорд велел Лили достать в Бостоне копию речи президента Гарри Трумэна, в которой он объявлял всему миру, что на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Лили привезла ксерокопию, и Рэмфорд спросил ее, читала ли она эту речь.

— Нет.— Читала она очень плохо, и это была одна из причин, почему ее выставили из школы.

Рэмфорд приказал ей сестре и прочитать про себя заявление Трумэна. Он не знал, что она неважно читает. И вообще он знал про нее очень мало, главным образом она была еще одним явным доказательством для всего света, что он — супермен.

Лили села и сделала вид, что читает трумэнзовское заявление, звучавшее так:

Шестнадцать часов тому назад американский самолет сбросил бомбу на Хиросиму, важную военную базу японской армии. Бомба превышала мощностью двадцать тысяч тонн Т. Н. Т., она в две тысячи раз превышала взрывную силу британской бомбы «большой шлем» — самой мощной бомбы в военной истории.

Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор. Они получили стократное возмездие. И это еще не конец. Эта бомба вошла в наш арсенал как новое решающее средство для усиления растущей разрушительной мощи наших военных сил. Бомбы этого типа уже находятся в производстве, и еще более мощные бомбы уже в проекте.

Это атомная бомба. Для ее создания мы покорили мощные силы природы. Источник, которым питается солнечная энергия, был направлен против тех, кто развязал войну на Дальнем Востоке.

До 1939 года ученые уже признавали теоретическую возможность высвободить атомную энергию. Но практически никто этого сделать не мог. Однако в 1942 году мы узнали, что Германия лихорадочно работает в поисках способа овладеть энергией атома и прибавить ее к той военной машине, при помощи которой немцы стремились поработить весь мир. Но они просчи-

тались. Мы можем возблагодарить провидение за то, что немцы поздно пустили в ход «ФАУ-1» и «ФАУ-2», притом в весьма ограниченных количествах, и что они не овладели атомной бомбой.

Битва лабораторий была для всех нас сопряжена с таким же смертельным риском, как и битва в воздухе, на суше и на море, но мы победили в битве лабораторий, как победили и во всех других битвах.

Теперь мы готовы окончательно и без промедления уничтожить любую промышленность Японии, в любом их городе на поверхности земли,— говорил далее Гарри Трумэн.— Мы разрушили их доки, их заводы, их пути сообщения. Пусть никто не заблуждается: мы полностью разрушим военную мощь Японии. И чтобы уберечь...

Ну, и так далее.

Одна из книжек, привезенных Лили для Рэмфорда, называлась «Разрушение Дрездена», автором был англичанин по имени Дэвид Эрвинг. Выпустило книгу американское издательство Холт, Райнгарт и Уинстон в 1964 году. Рэмфорду нужны были отрывки из двух предисловий, написанных его друзьями — Айрой Икером, генерал-лейтенантом военно-воздушного флота США в отставке, и маршалом британских военно-воздушных сил сэром Робертом Сондби, кавалером многих военных орденов и медалей.

Затрудняюсь понять англичан или американцев, рыдающих над убитыми из гражданского населения и не проливших ни слезинки над нашими доблестными воинами, погибшими в боях с жестоким врагом,— писал между прочим друг Рэмфорда генерал Икер.— Мне думается, что неплохо было бы мистеру Эрвингу, нарисовавшему страшную картину гибели гражданского населения в Дрездене, припомнить, что «ФАУ-1» и «ФАУ-2» в это время падали на Англию, без разбору убивая граждан — мужчин, женщин, детей, для чего эти снаряды и были предназначены. Неплохо было бы ему вспомнить и о Бухенвальде и о Ковентри.

Предисловие Икера кончалось так:

Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще больше сожалею, что более пяти миллионов жизней было отдано англо-американскими вооруженными силами в упорной борьбе за полное уничтожение фашизма.

Такие дела.

Среди прочих высказываний маршала военно-воздушных сил Сондби было следующее:

Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения. Это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости, хотя вполне вероятно, что они были слишком далеки от суровой реальности военных действий, чтобы полностью уяснить себе чудовищную разрушительную силу воздушных бомбардировок весны 1945 года.

Защитники ядерного разрушения, очевидно, полагают, что, достигни они своей цели, война станет пристойной и терпимой. Хорошо бы им прочесть эту книгу и подумать о судьбе Дрездена, где при воздушном налете с дозволенным оружием погибло сто тридцать пять тысяч человек. В ночь на 9 марта 1945 года при налете на Токио тяжелых американских бомбардировщиков, сбросивших зажигательные и фугасные бомбы, погибло восемьдесят три тысячи семьсот девяносто три человека. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, убила семьдесят одну тысячу триста семьдесят девять человек.

Такие дела.

— Приедете в Коди, штат Вайоминг, сразу спросите Бешеного Боба,— сказал Билли Пилигрим за полотняной ширмой.

Лиля Рэмфорд передернулась и продолжала делать вид, что читает опус Гарри Трумэна.

К вечеру в госпиталь пришла дочка Билли, Барбара. Она наелась успокоительных таблеток, и глаза у нее совсем остекленели, как глаза бедного старого Эдгара Дарби перед тем, как его расстреляли в Дрездене. Доктора скормили ей эти таблетки, чтобы она продолжала функционировать, хотя мать у нее умерла, а отец разбился.

Такие дела.

С ней вошли доктор и сестра. Ее брат Роберт вылетел домой с театра военных действий во Вьетнаме.

— Папочка...— позвала она нерешительно.— Папочка...

Но Билли ушел на десять лет назад — в 1958 год. Он проверял зрение слабоумного молодого монголоида, чтобы прописать ему очки. Мать слабоумного стояла тут же, выполняя роль переводчика.

— Сколько точек вы видите? — спрашивал Билли Пилигрим.

И тут же Билли пропутешествовал во времени еще дальше: ему было шестнадцать лет, и он ждал в приемной врача. У него нарывал большой палец. Кроме него, приема ожидал еще один больной, старый-престарый человек. Старика мучили газы. Он громко пукал, потом икал.

— Извините,— сказал он Билли. И снова икнул.— О господи!— сказал он.— Я знал, что старость скверная штука.— Он покачал головой.— Но что будет так скверно, я не знал.

Билли Пилигрим открыл глаза в палате вермонтской больницы, не понимая, где он находится. У постели сидел его сын, Роберт. На Роберте была форма знаменитых «зеленых беретов». Роберт был коротко острижен, волосы — соломенная щетина. Роберт был чистенький, аккуратный. На груди красовались ордена — Алое Сердце, Серебряная Звездочка и Бронзовая Звезда с двумя лучами.

И это был тот мальчик, которого выгнали из школы, который пил без просыпу в шестнадцать лет, шаялся с подозрительной бандой, был арестован за то, что однажды свалил сотни памятников на католическом кладбище. А теперь он выправился. Он отлично держался, сапоги у него были начищены до блеска брюки отглажены, и он был начальником целой группы людей.

— Папа?

Но Билли снова закрыл глаза.

Билли не пришлось поехать на похороны жены — он еще был слишком болен. Но он был в сознании, когда его жену опустили в землю, в Илиуме. Однако даже придя в сознание, Билли почти ничего не говорил ни о смерти Валенси, ни о возвращении Роберта с войны, вообще ни о чем, так что считалось, что он превратился во что-то вроде растения. Шел даже разговор о том, чтобы ему впоследствии сделать операцию и тем самым улучшить кровообращение в мозгу.

А на самом деле безучастность Билли было просто ширмой. За этой безучастностью скрывалась кипучая, неустанная деятельность мозга. И в этом мозгу рождались письма и лекции о летающих блюдцах, о незначительности смерти и об истинной природе времени.

Профессор Рэмфорд говорил вслух ужасные вещи про Билли в уверенности, что у Билли мозг вообще не работает.

— Почему они не дадут ему умереть спокойно? — спросил он у Лили.

— Не знаю,— сказала она.

— Ведь он уже не человек. А доктора существуют для людей. Надо бы его передать ветеринару или садовнику. Они бы знали, что с ним делать. Посмотри на него! По их медицин-

ским понятиям — это жизнь. Но ведь жизнь прекрасна, верно?

— Не знаю,— сказала Лили.

Как-то Рэмфорд заговорил с Лили про бомбежку Дрездена, и Билли все слышал.

У Рэмфорда с Дрезденом возникли некоторые сложности. Его одготомник по истории военно-воздушных сил был задуман как сокращенный литературный пересказ двадцатисемитомной официальной истории военно-воздушных сил во второй мировой войне. Но дело было в том, что во всех двадцати семи томах о налете на Дрезден почти ничего не говорилось, хотя эта операция и прошла с потрясающим успехом. Но размер этого успеха в течение многих лет после войны держали в тайне — в тайне от американского народа. Разумеется, это не было тайной для немцев или для русских, занявших Дрезден после войны.

— Американцы в конце концов услышали о Дрездене,— сказал Рэмфорд через двадцать три года после налета.— Теперь многие знают, насколько этот налет был хуже Хиросимы. Так что придется и мне упомянуть об этом в своей книге. В официальной истории военно-воздушных сил это будет впервое.

— А почему этот налет так долго держали в тайне? — спросила Лили.

— Из страха, что во многих чувствительных сердцах может возникнуть сомнение, что эта операция была такой уж блестящей победой.

И тут Билли Пилигрим заговорил вполне разумно.

— Я там был,— сказал он.

Рэмфорду было трудно отнестись к словам Билли всерьез, потому что Рэмфорд уже давно воспринимал его как нечто отталкивающее, нечеловеческое и считал, что лучше бы ему умереть. И теперь, когда Билли вдруг заговорил совершенно отчетливо, слух Рэмфорда воспринял его слова как иностранную речь, которую не стоит изучать.

— Что он сказал? — спросил Рэмфорд.

Лили взялась за роль переводчика.

— Сказал, что он там был,— объяснила она.

— Где это там?

— Не знаю,— сказала Лили.— Где вы были? — спросила она у Билли.

— В Дрездене,— сказал Билли.

— В Дрездене,— сказала Лили Рэмфорду.

— Да он просто, как эхо, повторяет наши слова,— сказал Рэмфорд.

— Правда? — сказала Лили.

— У него эхололия.

— Правда!

Эхолалией называется такое психическое заболевание, когда люди неукоснительно повторяют каждое слово, услышанное от здоровых людей. Но никакой эхолалией Билли не болел. Просто Рэмфорд выдумал это для самоуспокоения. По военной привычке Рэмфорд считал, что каждый неугодный ему человек, чья смерть, из практических соображений, казалась ему весьма желательной, непременно страдает какой-нибудь скверной болезнью.

Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что у Билли эхолалия. И врачам и сестрам он повторял: у него началась эхолалия. Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука.

— Сейчас не отзываешься, — раздраженно говорил Рэмфорд, — а как только вы уйдете, он опять примется за свое.

Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что, так или иначе, слабые люди заслуживают смерти. А медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать чем только можно и что никто умирать не должен.

Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди: он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду:

— Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену. Рэмфорд нетерпеливо крикнул.

— Честное слово, — сказал Билли Пилигрим. — Вы мне верите?

— Разве непременно надо об этом говорить сейчас? — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил.

— Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтобы вы знали: я там был.

В тот вечер о Дрездене больше не говорили, и Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день через два дня после окончания второй мировой войны в Европе. Билли с пятью другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб фургоне — они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей, в дрезденском пригороде. И теперь, под цоканье копыт, они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности, среди развалин. Они ехали на бойню — искать военные трофеи. Билли вспо-

минал, как ранним утром в Илиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника.

Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив. Ему было тепло. В фургоне была еда, и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей.

Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов.

Но русские не пришли даже через два дня после окончания войны... В развалинах стояла тишина. По дороге к бояням Билли увидал только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути.

Когда фургон остановился у боен, Билли остался в нем протреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфамадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он наверно выбрал бы тот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне.

Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился: одному богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности — бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.

За поясом у Билли торчал огромный кавалерийский пистолет — реликвия первой мировой войны. В рукоять пистолета было вделано кольцо. Он заряжался пулями величиной с лесной орех. Билли нашел пистолет в ночном столике пустого дома. Это была одна из примет конца войны — любой человек, без исключения, которому хотелось иметь оружие, мог его раздобыть. Оружие валялось повсюду. Для Билли нашлась и сабля. Это была парадная сабля летчика. На рукоятки красовался орел с широко разинутым клювом. Орел держал в когтях свастику и смотрел вниз. Кто-то вонзил саблю в телеграфный столб, где ее и увидал Билли. Он вытащил саблю из столба, проезжая мимо на фургоне.

Внезапно его сон был нарушен: он услышал голоса — женский и мужской, они жалостливо говорили что-то по-немецки.

Эти люди явно над чем-то сокрушались. Прежде чем Билли открыл глаза, он подумал, что такими жалостливыми голосами, наверно, переговаривались друзья Иисуса, снимая его изуродованное тело с креста. Такие дела.

Билли открыл глаза. Пожилая чета ворковала над лошадьми. Эти люди заметили то, чего не замечали американцы, — что губы у лошадей кровоточили, израненные удилами, что копыта у них были разбиты, так что каждый шаг был пыткой, что лошади обезумели от жажды. Американцы обращались с этим видом транспорта, словно он был не более чувствителен, чем шестицилиндровый «шевроле».

Оба жалельщика лошадей прошли вдоль фургона и, увидев Билли, со снисходительным упреком поглядели на него — на Билли Пилигрима, такого длинного, такого нелепого в своей лазоревой тоге и серебряных сапогах. Они его не боялись. Они ничего не боялись. Оба — и муж и жена — были врачами, акушерами. Они принимали роды, пока не сторели все больницы. Теперь они отдыхали у того места, где раньше был их дом.

Женщина была красивая, нежная, вся прозрачная от питания одной картошкой. На мужчине был деловой костюм, галстук и все прочее. От картошки он совсем отощал. Он был такой же длинный, как Билли, в выпуклых очках со стальной оправой. Эта пара, вечно возившаяся с новорожденными, сама свой род не продлила, хотя у них были все возможности. Интересный комментарий к вопросу о продлении рода человеческого вообще.

Они оба говорили на девяти языках. Сначала они попытались заговорить с Билли по-польски, потому что он был одет таким шутком, а несчастные поляки были невольным предметом шуток во второй мировой войне.

Билли спросил по-английски, чего им надо, и они сразу стали бранить его по-английски за состояние лошадей. Они заставили Билли сойти с фургона и взглянуть на лошадей. Когда Билли увидал, в каком состоянии его транспорт, он расплакался. До сих пор за всю войну он ни разу не плакал.

Потом, уже став пожилым оптометристом, Билли иногда плакал втихомолку наедине с собой, но никогда не рыдал в голос.

Вот почему эпиграфом этой книги выбрано четверостишие из знаменитого рождественского гимна. Билли и видел часто много такого, над чем стоило поплакать, но плакал он очень редко и хотя бы в этом отношении походил на Христа из гимна:

Ревут быки, теленок мычит.

Разбудили Христа-младенца,

Но он молчит.

Билли снова пропутешествовал во времени в вермонтский госпиталь. Завтрак был съеден, посуда убрана, и профессор Рэмфорд поневоле заинтересовался Билли как человеческим существом. Рэмфорд ворчливо расспросил Билли, уверился, что Билли на самом деле был в Дрездене. Он спросил, как там было, и Билли рассказал ему про лошадей и про чету врачей, отдылавших на Луне.

Конец у этого рассказа был такой: Билли с докторами распрягли лошадей, но лошади не тронулись с места. У них слишком болели ноги. И тут подъехали на мотоциклах русские и задержали всех, кроме лошадей.

Через два дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Луcreция А. Мотт». Луcreция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела.

— Но это *надо* было сделать,— сказал Рэмфорд: речь шла о разрушении Дрездена.

— Знаю,— сказал Билли.

— Это война.

— Знаю. Я не жалею.

— Наверно, там был суший ад.

— Да.

— Пожалейте тех, кто *вынужден* был это сделать.

— Жалею.

— Наверно, у вас там, внизу, было смешанное чувство?

— Ничего,— сказал Билли,— вообще *всё* ничего не значит, и все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфамadore.

Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила «волшебные пальцы». При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому. Он был под наблюдением.

Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка вышла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать о том, чему он выучился на Тральфамadore.

В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле Ройалтон, на Сорок четвертой улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфамадорским понятиям Натан по-прежнему был где-то жив и будет жив всегда.

Номер был небольшой, просто обставленный, помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над Сорок четвертой улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз, на спящих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные.

Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Анн тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери.

Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, по которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около восьми часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийства.

Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной лавочки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство, и содомию, и убийства, а рядом — путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи Свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажой и засиженные мухами, лежали четыре романа приятеля Билли — Килгора Траута.

Между тем за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела.

Билли зашел в книжную лавку.

В лавке висело объявление: несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещается. Там можно было посмотреть в глазок фильм — молодых мужчин и женщин без одежды. За минуту брали четверть доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей. Их можно было унести домой. Фотографии были очень тральфамадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время, и они не менялись. И через двадцать лет эти барышни останутся молодыми, и все еще будут улыбаться, или пылать страстью, или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы. Так они и будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид, и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.

Но та часть лавки не соблазняла Билли Пилигрима. Он был в восторге, что увидал в витрине романы Килгора Траута. Их

названия он прочел впервые. Он открыл одну из книг. Ничего предосудительного в этом не было. Многие покупатели хватали и листали книжки. Роман Траута назывался «*Большая доска*». Билли прочел несколько абзацев и понял, что когда-то, много лет назад, уже читал эту книгу в военном госпитале. Там описывалось, как двух землян — мужчину и женщину — похитили неземные существа. Эту пару выставили в зоопарке на планете по имени Циркон-212.

У этих выдуманных героев романа на одной стене их обителища в зоопарке висела большая доска, якобы показывающая биржевые цены и стоимость акций, а у другой стены стоял телефон и телеграфный аппарат, якобы соединенный с маклерами на Земле. Существа с планеты Циркон-212 сообщили своим пленникам, что для них на Земле вложен в акции миллион долларов, а теперь дело их, пленников, управлять этим вкладом так, чтобы, вернувшись на Землю, они стали сказочно богатыми.

Разумеется, и телефон, и большая доска, и телеграфный аппарат были бутафорией. Вся эта механика просто служила возбудителем для землян, чтобы те вытворяли всякие штуки перед зрителями зоопарка — вскакивали, метались, кричали «ура», хихикали или хмурились, рвали на себе волосы, пугались до колик или блаженствовали, как дитя на руках у матери.

Земляне отлично записывали курс акций. И это тоже было специально подстроено. Примешали сюда и религию. По телеграфу сообщили, что президент Соединенных Штатов объявил национальную неделю молитвы. Перед этим у землян выдалась на бирже скверная неделя. Они потеряли целое состояние на оливковом масле. И они пустили в ход молитвы.

И помогло. Цены на оливковое масло сразу подскочили.

В другом романе Килгора Траута, который Билли снял с витрины, рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидал Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничьему делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили скотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли.

Такие дела.

В книжной лавке хозяйничало пять человек, похожих, как пять близнецов, маленьких, лысых, жующих потухшие мокрые сигары. Они никогда не улыбались. У каждого из них был свой высокий табурет. Они зарабатывали тем, что держали публичный дом из целлулоида и фотобумаги. Сами они никакого возбуждения от этих экспонатов не испытывали. И Билли Пилигрим тоже. А другие испытывали. Смешная это была лавка — все про любовь да про младенцев.

Эти приказчики иногда говорили кому-нибудь — покупайте или уходите, нечего все лапать да лапать, глазеть да глазеть. Были и такие покупатели, которые глазели не на товары, а друг на дружку.

Один из приказчиков подошел к Билли и сказал, что настоящий товар в задней комнате, а что книжки, которые Билли взял читать, лежат на витрине только для отвода глаз.

— Это не то, что вам надо, черт возьми, — сказал он Билли. — То, что надо, там, дальше.

И Билли прошел немного дальше, в глубь лавки, но не до той комнаты, куда пускали только взрослых. Он прошел вглубь из вежливости, по рассеянности, захватив с собой книжку Траута — ту, где рассказывалось о Христе.

Изобретатель машины времени пропутешествовал в библейские времена специально, чтобы дознаться об одной вещи: действительно ли Христос умер на кресте или его живым сняли с креста и он продолжал жить. Герой книги захватил с собой стетоскоп.

Билли пролистал книгу до того места, когда герой смешался с группой людей, снимавших Христа с креста. Путешественник во времени первым поднялся на лестницу — он был одет как тогда одевались все, и он прильнул к груди Христа, чтобы никто никогда не увидал его стетоскоп, и стал выслушивать его.

В исхудалой груди все молчало. Сын божий был совершенно мертв.

Такие дела.

Путешественнику во времени — его звали Лэнс Корвин — удалось измерить рост Христа, но не удалось его взвесить. Христос был ростом в пять футов и три с половиной дюйма.

К Билли подошел другой приказчик и спросил, покупает он эту книгу или нет. Билли сказал, да, пожалуйста. Билли стоял спиной к полке с дешевыми книжонками про всякие сексуальные извращения, от древнего Египта до наших дней, и приказчик решил, что Билли читает одну из них. Он очень удивился, увидав, что именно читает Билли.

— Фу ты черт, да где вы ее откопали? — ну и так далее, а потом стал рассказывать другим приказчикам про психопата, который захотел купить старье с витрины. Но другие приказ-

чки уже знали про Билли. Они тоже наблюдали за ним.

Около кассы, где Билли ожидал сдачи, стояла корзина со старыми мало пристойными журнальчиками. Билли мельком взглянул на один из этих журналов и увидел вопрос на обложке: «Куда девалась Монтана Уайлдбек?»

И Билли прочел эту статью. Он-то хорошо знал, где находится Монтана. Она была далеко, на Тральфамадоре, и нянчила их младенца, но журнал, который назывался «Киски-полуночицы», уверял, что она одетая камнем лежит на глубине ста восьмидесяти футов в соленых водах залива Педро.

Такие дела.

Билли разбирал смех. Журнал, который печатался для возбуждения мужчин, поместил эту статью специально для того, чтобы можно было опубликовать кадры из игривых фильмов, в которых Монтана снималась еще девчонкой. Билли не стал смотреть на эти картинки. Грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно.

Приказчики снова предложили Билли пройти в заднюю комнату, и на этот раз он согласился. Занюханный морячок отшатнулся от глазка, за которым все еще шел фильм. Билли заглянул в глазок — а там одна, в постели, лежала Монтана Уайлдбек и чистила банан. Щелкнул выключатель. Билли не хотел смотреть, что будет дальше, а тут к нему пристал приказчик, уговаривая его взглянуть на самые что ни на есть секретные картинки — их особо прятали для любителей и знатоков.

Билли заинтересовался, что они могли там прятать такое уж особенное. Приказчик захихикал и показал ему картинку. Это была старинная фотография — женщина с шотландским пони. Они пытались заниматься любовью меж двух дорических колонн, на фоне бархатных драпировок, обшитых помпончиками.

В тот вечер Билли не попал на телевидение в Нью-Йорке, но ему удалось выступить по радио. Совсем рядом с отелем, где остановился Билли, была радиостудия. Билли увидел табличку на дверях и решил войти. Он поднялся в студию на скоростном лифте, а там, у входа, уже ждали какие-то люди. Это были литературные критики, и они решили, что Билли тоже критик. Они пришли участвовать в дискуссии — жив роман или же он умер. Такие дела.

Вместе с другими Билли уселся за стол мореного дуба, и перед ним поставили отдельный микрофон. Ведущий программу спросил, как его фамилия и от какой он газеты. Билли сказал: от «Илиумского вестника».

Он был взволнован и счастлив. «Попадете в город Коди, спросите там Бешеного Боба!» — сказал он себе.

В самом начале программы Билли поднял руку, но ему пока что не дали слова. Выступали другие. Один критик сказал, что сейчас, когда вирджинец, через сто лет после битвы при Аппоматоксе, снова написал «Хижину дяди Тома», пришло самое время похоронить роман. Другой сказал, что теперешний читатель уже не умеет читать как следует, так, чтобы у него в голове из печатных строчек складывались волнующие картины, и потому писателям приходится поступать, как Норман Мэйлер, то есть публично делать то, что он описывает. Ведущий спросил участников беседы, какова, по их мнению, задача романа в современном обществе, и один критик сказал: «Дать цветочные пятна на чисто выбеленных стенах комнат». Другой сказал: «Художественно описывать взрыв». Третий сказал: «Научить жен мелких чиновников, как следовать моде и как вести себя во французских ресторанах».

Потом дали слово Билли. И тут он своим хорошо поставленным голосом рассказал и про летающие блюда, и про Монтану — словом, про все.

Его деликатно вывели из студии во время перерыва, когда шла реклама. Он вернулся в свой номер, опустил четверть доллара в электрические «волшебные пальцы», подключенные к его кровати, и уснул. И пропутешествовал во времени на Тральфамадор.

— Опять летал во времени? — спросила его Монтана. У них под куполом стоял искусственный вечер. Монтана кормила грудью их младенца.

— М-мм? — спросил Билли.

— Ты опять летал во времени. По тебе сразу всегда видно.

— Угу.

— А куда ты теперь летал? Только не на войну. Это тоже сразу видно.

— В Нью-Йорк.

— А-а, Большое Яблоко!

— А?

— Так когда-то называли Нью-Йорк.

— Ммм-мм...

— Видел там какие-нибудь пьесы или фильмы?

— Нет. Походил по Таймс-сквер, купил книжку Килгора Траута.

— Тоже мне счастливчик! — Монтана никак не разделяла его восхищения Килгором Траутом.

Билли мимоходом сказал, что видел кусочек скабрезного фильма, где она снималась. Она ответила тоже мимоходом. Ответ был тральфамадорский — никакой вины она не чувствовала.

— Ну и что? — сказала она. — А я слыхала, каким шутком ты был на войне. И еще слышала, как расстреляли школьного учителя. Тоже сплошное неприличие, такой расстрел. — Она приложила младенца к другой груди, потому что структура

этого мгновения была такова, что она *должна* была так сделать.

Наступила тишина.

— Опять они возятся с часами,— сказала Монтана, вставая, чтобы уложить ребенка в колыбель. Она хотела сказать, что сторожа зоопарка пускают часы под куполом то быстрее, то медленнее, то снова быстрее и смотрят в глазок, как себя поведет маленькая семья землян.

На шее у Монтаны висела серебряная цепочка. С цепочки на грудь спускался медальон, в нем была фотография ее матери-алкоголички — грубая фактура — сажа и мел. Фото могло изображать кого угодно. Сверху на медальоне были выгравированы слова:



Роберт Кеннеди, чья дача стоит в восьми милях от дома, где я живу круглый год, был ранен два дня назад. Вчера вечером он умер. Такие дела.

Мартина Лютера Кинга застрелили месяц назад. Он тоже умер. Такие дела.

И ежедневно правительство США дает мне отчет, сколько трупов создано при помощи военной науки во Вьетнаме. Такие дела.

Мой отец умер несколько лет назад естественной смертью. Такие дела. Он был чудесный человек. И помешан на оружии. Он оставил мне свои ружья. Они ржавеют.

На Тральфамадоре, говорит Билли Пилигрим, не очень интересуются Христом. Из земных образов тральфамадорцев больше всего привлекает Чарльз Дарвин, который учил, что тот, кто умирает, должен умирать, что трупы идут на пользу. Такие дела.

Та же мысль лежит в основе романа «Большая доска Килгора Траута. Существа с летающих блюд, похитившие героя книги, расспрашивают его о Дарвине. Они также расспрашивают его о гольфе.

Если то, что Билли узнал от тральфамадорцев,— истинная правда, то есть что все мы будем жить вечно, какими бы мертвыми мы иногда ни казались, меня это не очень-то радует. И все же, если мне суждено провести вечность, переходя от одного момента к другому, я благодарен судьбе, что хороших минут было так много.

В последнее время одним из самых приятных событий была моя поездка в Дрезден с О'Хэйром, старым приятелем еще с войны.

В Берлине мы сели на самолет венгерской авиакомпании. У пилота были усы в стрелку. Он был похож на Адольфа Менжу¹. Пока заправляли самолет, он курил гаванскую сигару. Когда мы взлетали, никто не попросил нас пристегнуть ремни.

Когда мы поднялись в воздух, молодой стюард подал нам ржаной хлеб, салами, масло, сыр и белое вино. Раскладной столик на моем месте никак не открывался. Стюард пошел в служебное отделение за отверткой и вернулся с консервным ножом. Этим ножом он открыл столик.

Кроме нас было еще шесть пассажиров. Они говорили на многих языках. Им было очень весело. Под нами лежала Восточная Германия, там было светло. Я представил себе, как на эти огни, на эти села, города и жилища бросают бомбы.

¹ Адольф Менжу (1890—1963) — американский киноактер.

Ни я, ни О'Хэйр никогда не думали разбогатеть — и, однако, мы стали очень состоятельными.

— Попадете в город Коди, в Вайоминге,— лениво сказал я ему,— спросите Бешеного Боба.

У О'Хэйра с собой был маленький блокнот, и там в конце были даны цены почтовых отправлений, длина авиалиний, высота знаменитых гор и другие ценные сведения о нашем мире. Он искал данные о численности населения в Дрездене, но в блокноте этого не было, зато он там нашел и дал мне прочесть вот что:

В среднем на свете ежедневно рождается триста двадцать четыре тысячи младенцев. В то же время около десяти тысяч человек ежедневно умирают от голода или недоедания. Такие дела. В результате чистый прирост населения во всем мире ежедневно равняется сто девяносто одной тысяче человек. Бюро учета народонаселения предсказывает, что до двухтысячного года население земли увеличится вдвое и достигнет до семи миллиардов человек.

— И наверно, все они хотят жить достойно,— сказал я.

— Наверно,— сказал О'Хэйр.

Тем временем Билли Пилигрим снова пропутешествовал в Дрезден, но не в настоящее время. Он вернулся в 1945 год, в третий день после разрушения Дрездена. Билли вместе со всеми остальными вели к развалинам под караулом. И я был там. И О'Хэйр там был. Двое суток мы провели в сарае на постоялом дворе у слепого хозяина. Там нас нашло начальство. Нам дали задание. Велено было собрать вилы, лопаты, ломы и тачки у соседей. С этим нехитрым оборудованием мы должны были отправиться в определенное место, в развалины, и там приступить к работе.

На главных магистралях, ведущих в город, стояли заграждения. Немецкому населению запрещалось идти дальше. Им не разрешалось производить раскопки на Луне.

А военнопленных из многих стран собрали в то утро в определенном месте, в Дрездене. Было решено отсюда начать раскопки. И раскопки начались.

Билли оказался в паре с другим копачом — маори, взятom в плен при Тобруке. Маори был шоколадного цвета. На лбу и щеках у него были вытатуированы спиральные узоры. Билли и маори раскапывали бездушный и косный щебень Луны. Все осыпалось, то и дело происходили мелкие обвалы.

Копали сразу во многих местах. Никто не знал, что там окажется. Часто они ни до чего не докапывались — упирались в

мостовую или в огромные глыбы, которые нельзя было сдвинуть. Никакой техники не было. Даже лошади, мулы или быки не могли пройти по лунной поверхности.

Потом Билли с маори и с теми, кто помогал им копать яму, наткнулись на дощатый настил, подпертый камнями, вклинившись друг в друга так, что образовался купол. Они сделали дырку в настиле. Под ним было темно и пусто.

Немецкий солдат с фонарем спустился в темноту и долго не выходил. Когда он наконец вернулся, он сказал старшему, стоявшему у края ямы, что там, внизу, десятки трупов. Они сидели на скамьях. Повреждений видно не было.

Такие дела.

Старший сказал, что надо расширить проход в настиле и спустить вниз лестницу, чтобы можно было вынести тела. Так была заложена первая шахта по добыче трупов в Дрездене.

Постепенно такие шахты стали насчитываться сотнями. Сначала трупы не пахли, и шахты походили на музеи восковых фигур. Но потом трупы стали гнить, расплзаться, и вонь походила на запах роз и горчичного газа.

Маори, с которым работал Билли, надорвался и умер. После того, как он, по приказу, спустился работать в этот смрад, его так выворачивало, что он надорвал себе кишки.

Такие дела.

Пришлось ввести новую технику. Трупы больше не стали подымать на поверхность, солдаты сжигали их огнеметами на месте. Стоя над убежищами, солдаты просто пускали туда струю огня.

Где-то поблизости бедного старого учителя Эдгара Дарби поймали с чайником, который он нес из катакомб. Его арестовали за мародерство. Его судили и расстреляли.

Такие дела.

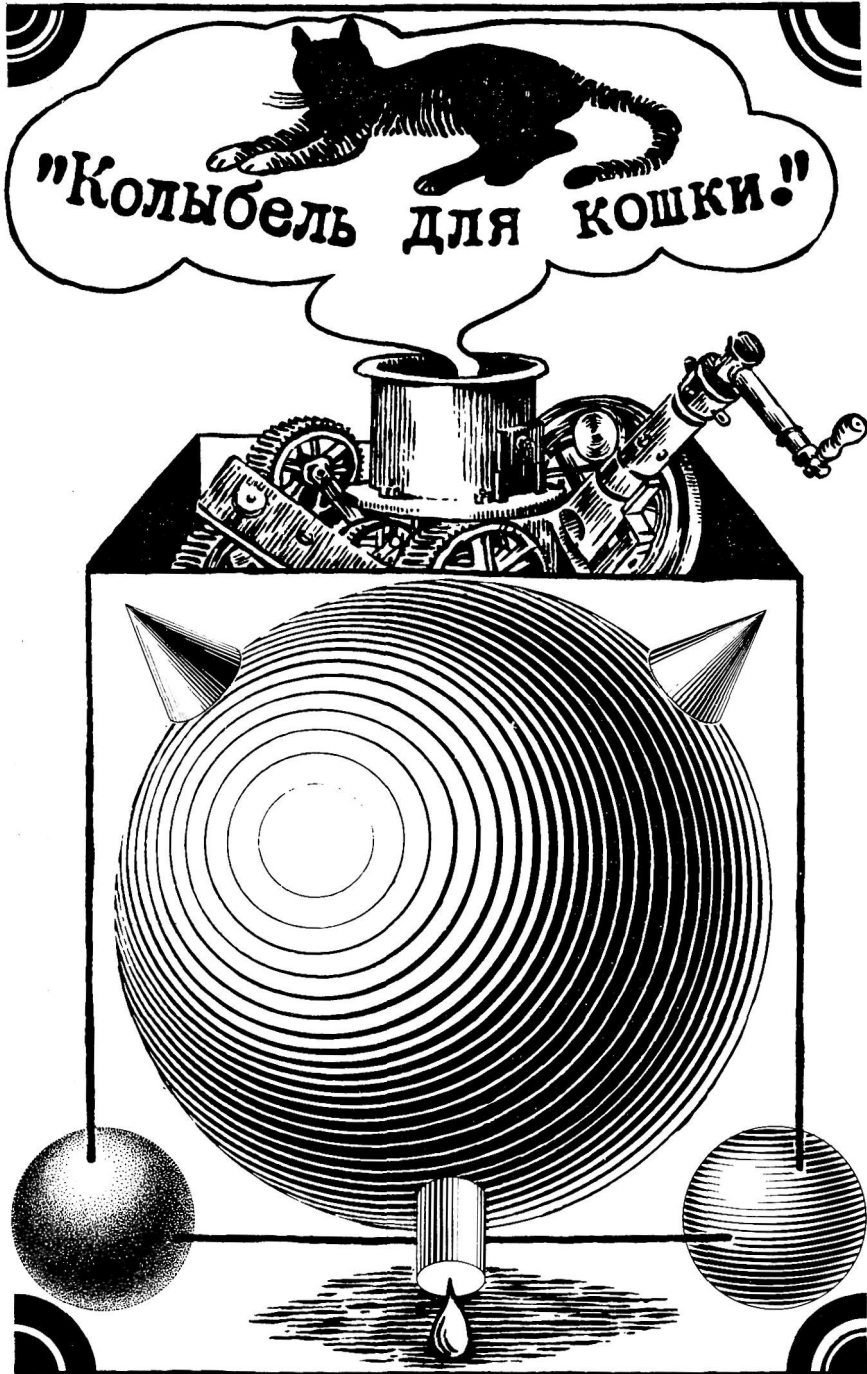
А где-то была весна. Добыча трупов прекратилась. Солдаты ушли на русский фронт. В окрестностях женщины и дети рыли окопы. Билли и всех его дружков держали взаперти в сарае, на окраине. Однажды утром они проснулись и увидели, что двери не заперты. Вторая мировая война в Европе окончилась.

Билли со всеми вместе вышел на тенистую улочку. Деревья распускались. Ни пешеходов, ни транспорта вокруг не было. Только один фургон, запряженный парой лошадей, проезжал мимо. Фургон был зеленый и похож на гроб.

Разговаривали птицы.

Одна птичка спросила Билли Пилигрима:

«Пьюти-фьют?»



"Колыбель для кошки!"

Печатается по изданию:
Бойня номер пять, или Крестовый поход детей, и другие романы.
М., Художественная литература, 1978.

Кеннету Литтауэру,
человеку смелому
и благородному

Нет в этой книге правды, но
«эта неправда — фóма, и от нее
ты станешь добрым и храбрым,
здоровым, счастливым».

«Книга Боконона» 1:5
«Безобидная ложь — фoма»

I. ДЕНЬ, КОГДА НАСТАЛ КОНЕЦ СВЕТА

Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном.

Иона-Джон — будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой, и не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило¹ — в определенные места, в определенное время — кто или что — не знаю. Возникал повод, представлялись средства передвижения — и самые обычные, и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона.

Послушайте.

Когда я был моложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад...

Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги, под названием *День, когда настал конец света*.

Книга была задумана документальная.

Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии.

Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином.

Теперь я — боконист.

Я бы и тогда стал боконистом, если бы кто-нибудь преподавал мне кисло-сладкую ложь Боконона. Но о боконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море, — республику Сан-Лоренцо.

Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу *карасс* — и в мой личный *карасс* меня привел мой так называемый *канкан* — и этим *канканом* была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать *День, когда настал конец света*.

¹ По библейскому преданию, Иона был занесен в чрево кита.

2. ХОРОШО, ХОРОШО, ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО

«Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин,— пишет Боконон,— этот человек скорее всего член вашего *карасса*».

И в другом месте, в *Книгах Боконона*, сказано: «Человек создал шахматную доску, бог создал *карасс*». Этим он хочет сказать, что для *карасса* не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.

Он лишен определенной формы, как амеба.

Пятьдесят третья калипсо, написанное для нас Бокононом, поется так:

И пьянчужки в парке,
Лорды и кухарки,
Джефферсоновский шофер,
И китайский зубодер,
Дети, женщины, мужчины —
Винтики одной машины.
Все живем мы на Земле,
Варимся в одном котле.
Хорошо, хорошо,
Это очень хорошо.

3. ГЛУПОСТЬ

Боконон нигде не предостерегает нас против людей, пытающихся обнаружить границы своего *карасса*, и разгадать промысел божий. Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно.

В автобиографической части *Книг Боконона* он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять:

«Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и бога, и пути господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее.

И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала: «Извините, я в чертежах не разбираюсь».

— Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут богу,— сказал я,— и если бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь — он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы поймете.

Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев

простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит.

Она была глупа, и я глупец, и всякий, кто думает, что ему понятны дела рук господних, тоже глуп». (Так пишет Боконон.)

4. ПОПЫТКА ПОИСКАТЬ ПУТИ

Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего *карасса* и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все, скопом, натворили.

Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боконизма. Однако я, как боконист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в *Книгах Боконона* читается так:

«Все истины, которые я хочу вам изложить,— гнусная ложь».

Я же как боконист предупреждаю:

Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку.

Да будет так.

А теперь — о моем *карассе*.

В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хонникера, одного из так называемых «отцов» атомной бомбы. Сам доктор Хонникер, безусловно, был членом моего *карасса*, хотя он умер, прежде чем мой *синуусики*, то есть вьюнки моей жизни переплелись с жизнями его детей.

Первый из его наследников, кого коснулись усики моих *синуусиков*, был Ньютон Хонникер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта-Ипсилон», что Ньютон Хонникер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хонникера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл.

И я написал Ньюту следующее письмо:

«Дорогой мистер Хонникер. (Может быть, следует написать: «Дорогой мой собрат Хонникер»?)

Я, член корпорации Корнелла «Дельта-Ипсилон», сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть, в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму.

Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба.

К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас

есть, мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой.

Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания «младенца», если разрешите так вас назвать, органически войдут в книгу.

О стиле и форме не беспокойтесь. Предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний.

Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение.

С братским приветом —...»

5. ПИСЬМО ОТ СТУДЕНТА-МЕДИКА

Вот что ответил Ньют:

«Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросили бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо было бы обратиться к моим брату и сестре — они много старше меня. Мою сестру зовут миссис Гаррисон С. Коннерс, 4918 Норс Меридиен-стрит, Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Возможно, что его и нет в живых.

Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других.

Помню, как я играл на ковре в гостиной, около кабинета отца. На нем была пижама и купальный халат. Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома, когда хотел.

Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут Манхеттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил ездить, была наша дача на мысе Код. Там, на мысе Код он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверно, и это известно.

Во всяком случае, в тот день, когда бросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговари-

вая: «Бип-бип-трррр-трррр...» Наверно, я и в день, когда сбросили бомбу, гудел: «Тррр», а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой.

Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи — один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в двухтысячном году, он так и назывался: *Анно Домини, 2000*. Там описывалось, как психопаты-ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом, за десять секунд до взрыва, появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернесс, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать.

Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат, Фрэнк, пристроил ее у себя в комнате в «стенном сейфе», как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, вообще гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился.

Я уверен, что отец так и не прочел эту книжку. По-моему, он и вообще за всю свою жизнь, с самого детства, не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы, но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением.

Из всей той рукописи ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка.

Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот вся она целиком: «Леди и джентльмены! Я стою тут, перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас».

Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется «колыбель для кошки». Не знаю, где отец научился играть с веревочкой. Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был порт-

ным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки.

До того, как отец сплел «кошкину колыбель», я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманые. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анджела, была заметка из журнала «Тайм». Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил: «Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры».

Должно быть, он сам удивился, когда сплел на пальцах из веревочки «кошкину колыбель», а может быть, это напомнило ему детство. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал: он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал.

А тут он опустился на колени около меня, на ковер, и оскалил зубы, и завертел у меня перед глазами переплет из веревочки. «Видал? Видал? Видал? — спросил он. — Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котенок? Мяу! Мяу!»

Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне. Уши и ноздри заросли волосом. От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в жизни не видал. Мне и теперь он часто снится.

И вдруг он зашел: «Спи, котенок, усни, угомон тебя возьми. Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет...»

Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому.

Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит».

6. ВОЙНА ЖУКОВ

Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он писал:

«Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я — личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили... Я был медиком-первокурсником. Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы препаршивый.

Кончу это письмо, и, наверно, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девчонки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в «Три-Дельта».

Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анджела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день,

когда не захотел полюбоваться «кошкиной колыбелью», не захотел посидеть на ковре и послушать, как поет отец. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить.

Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала «Сатердей ивнинг пост». Мать приготовила прекрасный завтрак... А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай.

Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка.

Фрэнку было тогда двенадцать лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корневищ. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку сиропа с хересом. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться.

Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых: жука-носорога с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда трясешь банку. Фрэнк как раз этим и занимался, он все тряс и тряс эту банку.

Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: «Вот ты где!» Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал: «Экспериментирую».

Анджеле тогда было двадцать два года. С шестнадцати лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анджела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анджела до тех пор крутила ручку, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? «Интересно, про черепах». Анджела его спросила: «А что

тебе интересно про черепахах?» — и он сказал: «Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?»

Между прочим, Андже́ла — никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов несколько сотрудников из группы «Манхэттенский проект» явились к нам домой посоветоваться с Анджелией, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепахах. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепахах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, уже имело отношение к атомной бомбе.

Когда Андже́ла вытащи́ла меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. «Как ты смеешь так говорить про отца? — сказала она. — Он — великий человек, таких еще на свете не было! Он сегодня войну выиграл! Понял или нет? Он выиграл войну!» И она опять шлепнула меня.

Я не сержусь на Анджелиу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете.

Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и толкнул ее в живот. Ей было ужасно больно. Она упала и покати́лась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца.

«Да он не придет!» — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Андже́ла и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности.

Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда бросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытания бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной-единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала грех». И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что такое грех?»

Всего лучшего!

Ньютон Хонникер».

7. ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ХОННИКЕРЫ

Ньютон сделал к письму три приписки:

«Р. S. Не могу подписаться «с братским приветом», потому что мне нельзя называться вашим собратом — у меня не то положение: меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишили.

Р. P. S. Вы называете наше семейство «прославленным» (и мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего четыре фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что «прославленное» не совсем то слово, какое вам нужно. Пожалуй, «нашумевшее» ближе к правде.

Р. P. P. S. На другой день: перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее доказательство».

8. РОМАН НЬЮТА И ЗИКИ

Ньют не написал, кто его нареченная. Но недели через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зика — просто Зика. Фамилии у нее, как видно, не было.

Зика была лилипуткой, балериной иностранного ансамбля. Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Корнеллский университет. А потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях «Краса Америки».

В газетах эта история появилась, когда крошка Зика исчезла вместе с крошкой Ньютом.

Но через неделю после этого крошка Зика объявилась в своем посольстве. Она сказала, что все американцы — материалисты. Она заявила, что хочет домой.

Ньют нашел прибежище в доме сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью: «Это дела личные... — сказал он. — Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зики...»

Один предприимчивый американский репортер, расспрашивая о Зике кое-кого из балетных, узнал неприятный факт: Зике было вовсе не двадцать три года, как она говорила.

Ей было сорок два — и Ньютону она годилась в матери.

9. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ВУЛКАНАМИ

Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла.

Примерно через год, за два дня до рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хонникер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела.

Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного.

Живых Хонникеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпрысков.

Я стоворился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом Всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего карасса, но он меня сразу невзлюбил.

«Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Боколон, но это предупреждение забывается слишком легко.

— Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хонникер? — сказал я доктору Бриду по телефону.

— Только на бумаге, — сказал он.

— Не понимаю, — сказал я.

— Если бы я действительно был заведующим при Феликсе, — сказал он, — то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять им не мог.

10. ТАЙНЫЙ АГЕНТ ИКС-9

Доктор Брид обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен.

Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле «Эль Прадо» — средоточии всей ночной жизни в Илиуме. В баре отеля «Мыс Код» собирались все проститутки.

Случилось так («должно было случиться», — сказал бы Боколон), что гуляющая девица и бармен, обслуживающий меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклином Хонникером — мучителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хонникеров.

Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт-Саида. Я сказал, что мне это неинтересно, и у нее хватило

остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличили свое равнодушие, хотя и не слишком.

Но до того, как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор — мы поговорили о Фрэнке Хонникере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзе Бриде, поговорили о Всеобщей сталелитейной компании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о коммерческих делах. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о людях набожных, но извращенных. Мы поговорили об очень многом.

И мы напились.

Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классных значков. Каждый класс, объяснил он, должен был выбрать свой цвет для значка и с гордостью носить эти цвета до окончания.

— Какие же цвета вы выбрали? — спросил я.

— Оранжевый и черный.

— Красивые цвета.

— По-моему, тоже.

— А Фрэнклин Хонникер тоже участвовал в этой комиссии?

— Нигде он не участвовал, — с презрением сказала Сандра. — Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в карты, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девочками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент Икс-9.

— Икс-9?

— Ну, сами понимаете — он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя.

— А может быть, у него и взаправду была очень сложная тайная жизнь?

— Не-ет...

— Не-ет! — насмешливо протянул бармен. — Обыкновенный мальчишка, из тех, что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимаются черт-те чем...

11. ПРОТЕИН

— Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью.

— Вы о ком? — спросил я.

— О докторе Хонникере — об их отце.

- Что же он сказал?
- Он не пришел.
- Значит, вы так и остались без приветственной речи?
- Нет, речь была. Прибежал доктор Брид, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту, и чего-то там наговорил.
- Что же он сказал?
- Говорил: надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру,— сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно.— Он говорил: беда в том, что весь мир...— тут она остановилась, подумала,— беда в том, что весь мир,— запинаясь продолжала она,— что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было бы тех бедствий, какие есть сейчас.
- Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни,— вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился: — Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?
- Не помню,— пробормотал я.
- А я читала,— сказала Сандра,— позавчера, что ли.
- Ну и в чем же тайна жизни? — спросил я.
- Забыла,— сказала Сандра.
- Протеин,— заявил бармен,— чего-то они там нашли в этом самом протеине.
- Ага,— сказала Сандра,— верно.

12. ПРЕДЕЛ НАСЛАЖДЕНИЯ

В это время в баре «Мыс Код», при отеле «Эль Прадо», к нам присоединился бармен постарше. Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели. Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину.

— Тогда бар назывался не «Мыс Код»,— сказал он,— не было этих сетей и ракушек, всей этой холеры. И назывался он «Вигвам навахо». На всех стенах индейские одеяла повешены, коровьи черепа. А на столиках — тамтамы, махонькие такие. Хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени навахо. Говорит, племя навахо в вигвамах не живет. «Вот холера,— говорю,— как нехорошо вышло». А раньше этот бар назывался «Помпея», всюду обломков полно, гипсовых, всяких. Да только как его ни зови, электропроводку, холеру, так и не сменили. И народ, холера, такой же остался, и город, холера, все тот же. А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру, бомбу эту, зашел сюда один

шкет, стал кланчить — дай ему выпить. Хотел, чтоб я ему напечал коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. «Пей,— говорю,— сукин ты сын, чтоб не жаловался, будто я для тебя ничего не сделал». А потом пришел второй, говорит — ухожу из лаборатории, и еще говорит — над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политикам разводить эту холеру войну. Фамилия ему была Брид. Спрашиваю — не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории. А как же, говорит. Я, говорит, сын этого самого босса, холера его задави.

13. ТРАМПЛИН

О господи, до чего безобразный город этот Илиум!

«О господи! — говорит Боконон,— до чего безобразный город, любой город на свете!»

Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в «линкольне» с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мучило, я еще не совсем проспался после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы давно заброшенной узкоколейки то и дело цеплялись за колеса машины.

Доктор Брид, розовощекий старик, был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел с Сандрой.

Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти.

Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю.

Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был уверен, что доктор Брид был влюблен в жену Феликса Хонникера. Она сказала, что многие считали, будто Брид был отцом всех троих детей Хонникера.

— Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? — спросил меня доктор Брид.

— Нет, я тут впервые.

— Город тихий, семейный.

— Как?

— Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом.

— По-видимому, обстановка тут здоровая.

— Конечно. У нас и юношеской преступности очень мало.

— Прекрасно.

— У города Илиума интереснейшая история.

— Вот как? Интересно.

— Он был, так сказать, трамплином.

— Как?

— Для эмигрантов, уходящих на запад.

— А-а-а...

— Тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая эстакада. Кстати, там и преступников со всего штата вешали публично.

— Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас.

— Тут повесили одного малого в 1782 году, он убил двадцать шесть человек. Я часто думал — надо бы кому-нибудь написать про него книжку. Его звали Джордж Майор Мокли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай.

— О чем же он пел?

— Можете найти текст в Историческом обществе, если вам действительно интересно.

— Нет, я вообще спросил: о чем там говорилось?

— Что он ни в чем не раскаивается.

— Да, есть такие люди.

— Только подумать, — сказал доктор Брид, — что у него на совести было целых двадцать шесть человек!

— Уму непостижимо! — сказал я.

14. КОГДА В АВТОМОБИЛЯХ СТОЯЛИ ХРУСТАЛЬНЫЕ ВАЗОЧКИ

Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще трянуло. Блестящий «линкольн» доктора Брида опять зацепился за рельс.

Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во Всеобщую сталелитейную компанию, и она сказал — тридцать тысяч.

Полисмены в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора.

А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобилей. Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно, смена.

Доктор Брид рассказал мне, что когда доктор Хонникер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке илиумских машин.

— Полиция стала искать, что задерживает движение, — сказал доктор Брид, — и в самой гуще обнаружила машину Феликса, мотор жужжал, в пепельнице догорала сигара, в вазочках стояли свежие цветы.

— В каких вазочках?

— У него был небольшой «мормон», величиной с коляску, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки, куда

жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин.

— Как шхуна «*Мари-Селеста*»,— подсказал я.

— Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить ее себе, она ему больше не нужна.

— И они ее забрали?

— Нет. Они позвонили его жене, она пришла и увела машину.

— Кстати, как ее звали?

— Эмили.— Доктор Брид провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете:— Эмили.

— Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге?

— Нет, если вы только не станете писать, чем это кончилось.

— Чем кончилось?

— Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в катастрофу. Ей повредило тазовые кости.— Движение остановилось, доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль.— Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют

15. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Научно-исследовательская лаборатория Всеобщей сталелитейной компании находилась далеко от главного входа на илиумские заводы компании, примерно в квартале от служебной площадки для машин, где доктор Брид поставил свой «линкольн».

Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях.

— Семьсот человек,— сказал он,— но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я.

Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные оладьи, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Пефко. Мисс Пефко была недурненькая здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная.

Проникаясь, как и полагается на рождество, чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Пефко следовать за нами. Он представил мне ее как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват: «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению,— сказал он,— тот, что делает такие чудеса с пленкой».

— Что нового в химии поверхностного натяжения? — спросил я у мисс Пефко.

— А черт его знает! — сказала она. — Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует. — И она тут же извинилась, что сказала «черт».

— По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется, — сказал доктор Брид.

— Я? Вот уж нет! — Мисс Пефко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы ей такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных побрякушек, не находилось.

— Ну-с, — благожелательно пробасил доктор Брид. — Как же вам у нас нравится, ведь вы тут уже сколько? Почти год, да?

— Все вы, ученые, чересчур много думаете! — выпалила мисс Пефко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. — Да, все вы думаете слишком много!

Толстая унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Пефко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она тоже ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего человеческого рода.

По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же, на месте, сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет о чем-то думать.

— Вы должны понять, — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по-одному, а другие люди — по-другому.

— Ох-хх, — невыразительно вздохнула мисс Пефко. — Пишу под диктовку доктора Хорвата — и как будто все по-иностранному. Наверно, я ничего не поняла бы, даже если б кончила университет. А он, может, быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, как атомная бомба.

Бывало, приду домой из школы, — продолжала мисс Пефко, — мама спрашивает, что случилось за день, а я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу. — Тут мисс Пефко покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю...

— Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брид, — попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. — Он обернулся ко мне: — Доктор Хонникер любил говорить, что если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.

— Выходит, я глупей восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Пефко. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.

16. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСКИЙ САД

Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестнадцатизэтажном здании. Само здание было выстроено из красного кирпича. У входа мы миновали двух стражей, вооруженных до зубов.

Мисс Пефко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый к ее левой груди.

Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок «совершенно секретно» на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его августейшим покровительством и наблюдением.

Я улыбнулся одному из стражей. Он не ответил. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, совершенно ничего смешного.

Доктор Брид, мисс Пефко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории к лифтам.

— Попросите доктора Хорвата однажды объяснить вам хоть что-нибудь,— сказал доктор Брид мисс Пефко.— Вот увидите, как хорошо и ясно он на все вам ответит.

— Ему придется начинать с первого класса, а может быть, и с детского сада,— сказала мисс Пефко. — Я столько пропустила.

— Все мы много пропустили,— сказал доктор Брид.— Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.

Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, расставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки.

— Волшебство,— сказала мисс Пефко.

— Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово,— сказал доктор Брид.— Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза волшебству.

— Прямая что?

— Прямая противоположность.

— Только не для меня.

Доктор Брид слегка надулся.

— Что ж,— сказал он,— во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.

17. ДЕВИЧЬЕ БЮРО

Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной на своем бюро, подвешивая к люстре елочный бумажный фонарик гармошкой.

— Послушайте, Нозми,— воскликнул доктор Брид,— у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать с бюро.

Мисс Нозми Фауст была сухонькая веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь.

Она засмеялась:

— Я небьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня.

— И у них промашки бывали.

С фонарика свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст потянула за одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью.

— Держите,— сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду.— Тяните до конца и прикнопьте ее к доске объявлений.

Доктор Брид послушно все выполнил и отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте.

— «Мир на Земле!» — радостно прочел он вслух.

Мисс Фауст спустилась с бюро с другой лентой и развернула ее:

— «И в человецех благоволение!»

— Черт возьми! — засмеялся доктор Брид.— Они и рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный.

— И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро! — сказала мисс Фауст.— Вы мной гордитесь?

Доктор Брид постучал себя по лбу, огорченный своей забывчивостью:

— Ну слава богу! Совершенно вылетело из головы!

— Нельзя это забывать,— сказал мисс Фауст.— Это стало традицией: доктор Брид каждое рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада.— И она объяснила мне, что «девичьим бюро» у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории.— Девушки работают на каждого, у кого есть диктофон.

Весь год, объяснила она, девушки из машинного бюро слушают безликие голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курьерши. Только раз в году девушки покидают свой железобетонный монастырь и веселятся, а доктор Брид раздает им плитки шоколада.

— Они тоже служат науке,— подтвердил доктор Брид,— хотя, наверно, ни слова не понимают. Благослови их бог за это!

18. САМОЕ ЦЕННОЕ НА СВЕТЕ

Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью. Но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу, я также обнаружил, что мозговые центры, ведающие контактами с внешней средой, затуманены алкоголем и запахом паленой кошачьей шерсти. Какой бы вопрос я ни задавал, всегда выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками, соучастниками в подлейшем убийстве.

Сначала доктор Брид удивлялся, потом очень обиделся. Он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул:

— По-моему, вы не очень-то жалуете ученых.

— Я бы не сказал этого, сэр.

— Вы так ставите вопросы, словно хотите вынудить у меня признание, что все ученые — бессердечные, бессовестные, узколюбые тупицы, равнодушные ко всему остальному человечеству, а может быть, и вообще какие-то нелюди.

— Пожалуй, это слишком резко.

— По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки. Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хонникера, что для молодого писателя в наше время, в наш век, задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего, и вы сюда явились с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами. Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли?

— Ну, хотя бы от сына доктора Хонникера.

— От которого из сыновей?

— От Ньютона,— сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньютона, и я показал это письмо доктору Бриду — Кстати, он и вправду такой маленький?

— Не выше подставки для зонтов,— сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь.

— А двое других детей нормальные?

— Конечно! К сожалению, должен вас разочаровать, но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди.

Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хонникера:

— Цель моего приезда — как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хонникере. Письмо Ньютона — только начало поисков, я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите.

— Мне надоели люди, не понимающие, что такое ученый, что именно делает ученый.

— Постараюсь изжить это непонимание.

— Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования.

— Буду очень благодарен, если вы мне это объясните.

— Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет, или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивую краску для зданий — нет, упаси бог! Все у нас говорит о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается. Мы — одна из немногих компаний, которая действительно нанимает людей для чисто исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников-лаборантов в белых халатах, которые работают по всяким поваренным книжкам и выдумывают новый образец «дворника» для новейшей модели «олдсмобиля».

— А у вас?

— А у нас и еще в очень немногих местах людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели.

— Это большая щедрость со стороны вашей компании.

— Никакой щедрости тут нет. Новые знания — самое ценное на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся.

Будь я уже тогда последователем Боконона, я бы от этих слов просто взвыл.

19. КОНЕЦ ГРЯЗИ

— Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? — спросил я доктора Брида. — Никто даже не *предлагает* им работать над чем-то?

— Конечно, предложения поступают все время, но не в природе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно.

— А кто-нибудь когда-нибудь предлагал проект доктору Хонникеру?

— Конечно. Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником, который одним мановением палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие проекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих проектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они не срабатывают. Предполагается, что ученые калибра доктора Хонникера могут восполнить этот пробел. Помню, как незадолго до смерти Феликса его изволил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью.

— С грязью?!

— Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи,

и им это надоело,— сказал доктор Брид.— Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от грязи.

— Как же это он себе представлял?

— Чтобы грязи не было. Конец всякой грязи.

— Очевидно,— сказал я, пробуя теоретизировать,— это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химических или тяжелыми машинами...

— Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку. Им хотелось носить что-нибудь легонькое.

— Что же на это сказал доктор Хонникер?

— Как всегда, полушутя, а Феликс все говорил полушутя, он сказал, что можно было бы найти крохотное зернышко — даже микроскопическую кроху, — от которой бесконечные болота, трясины, лужи, хляби и зыби затвердевали бы, как этот стол.

Доктор Брид стукнул своим веснушчатым старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол был у него полуовальный, стальной, цвета морской волны:

— Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, потребное для этого, могло бы уместиться у одного моряка под ногтем мизинца.

— Но это невозможно.

— Это вы так думаете. И я бы так сказал, и любой другой тоже. А для Феликса, с его полушутливым подходом ко всему, это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда — и я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге,— он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые.

— Сейчас я чувствую себя Франсиной Пefко,— сказал я,— или сразу всеми барышнями из девичьего бюро. Даже доктор Хонникер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то уместяющееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол, вещество.

— Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять.

— И все-таки...

— Он мне все сумел объяснить,— сказал доктор Брид.— И я уверен, что смогу объяснить и вам. В чем задача? В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот, так?

— Так.

— Отлично,— сказал доктор Брид.— слушайте же внимательно. Начнем.

20. ЛЕД-ДЕВЯТЬ

— Различные жидкости,— начал доктор Брид,— кристаллизуются, то есть замораживаются, различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке.

Старый доктор, жестикулируя веснушчатými кулаками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины.

— Вот так и с атомами в кристаллах, и два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами.

Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы оксалата этиленовой кислоты.— Эти кристаллы,— сказал он,— применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали, по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились.

Как это вышло, осталось тайной. Теоретически «злодеем» была частица, которую доктор Брид назвал *зародыш*. Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот *зародыш*, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в спайки, то есть новому способу кристаллизации, замораживания.

— Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике,— сказал доктор Брид. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов отпределяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть *зародыш* того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так — до бесконечного количества ядер или апельсинов.

Теперь представьте себе,— с явным удовольствием продолжал доктор Брид,— что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и который кладут в коктейли,— мы можем назвать его «лед-один»,— представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в лед-один, потому что ее не коснулся *зародыш*, который бы направил ее, научил превращаться в *лед-два*, *лед-три*, *лед-четыре*... И предположим,— тут его старческий кулак снова стукнул по столу,— что существует такая форма — назовем ее *лед-девять* — кристалл, твердый, как этот стол.— с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов.

— Ну, хорошо, это я еще понимаю,— сказал я.

И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, внушительный шепот. В приемной собралось девичье бюро.

Девушки собирались петь.

И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористами: они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно.

Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровище — нежность и теплота девичьих голосов.

Девушки пели: «О светлый город Вифлеем». Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели: «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».

21. МОРСКАЯ ПЕХОТА НАСТУПАЕТ

Когда доктор Брид с помощью мисс Фауст раздал девушкам шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет.

Там он продолжал рассказ:

— Где мы остановились? А-а, да! — И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. — Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте, — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жиже, полной миазмов.

Он поднял палец и подмигнул мне:

— Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней — зародыш *льда-ге-вять*, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепления, соединения, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу?..

— Она замерзнет? — угадал я.

— А вся трясина вокруг лужи?

— Тоже замерзнет.

— А другие лужи в этом болоте?

— Тоже замерзнут.

— А вода и ручьи в замерзшем болоте?

— Тоже замерзнут.

— Вот именно — замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясины и пойдет в наступление!

22. МОЛОДЧИК ИЗ ЖЕЛТОЙ ПРЕССЫ

— А есть такое вещество? — спросил я.

— Да нет же, нет, нет, нет. — Доктор Брид опять потерял всякое терпение. — Я рассказал вам все это только, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то,

что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который пристал к нему насчет болот.

Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По непisanому закону никто не должен был садиться к его столу, чтобы не прерывать ход его мыслей. Но этот генерал ворвался, пододвинул себе стул и стал говорить про болота. И я вам только передал, что Феликс тут же, с ходу, ответил ему.

— Так, значит... значит, этого вещества на самом деле нет?

— Я же вам только что сказал — нет и нет! — вспыхнул доктор Брид. — Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов! Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем, что увлекает других людей.

— А я все думаю про то болото...

— А вы бросьте думать об этом! Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо.

— Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в *лег-девять*, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями?

— Они замерзнут. Но никакого *льга-девять* нет!

— А океаны, в которые впадают замерзшие реки?

— Ну и они, конечно, замерзнут! — рявкнул он. — Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про *лег-девять*? Опять повторяю — его не существует.

— А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи...

— Замерзнут, черт побери! — крикнул он. — Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из желтой прессы, — сказал он, величественно подымаясь со стула, — я бы не потратил на вас ни минуты.

— А дождь?

— Коснулся бы земли и превратился в твердые катшки, в *лег-девять*, — и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе! Прощайте!

23. ПОСЛЕДНЯЯ ПОРЦИЯ ПИРОЖКОВ

Но, по крайней мере, в одном доктор Брид ошибался: *лег-девять* существовал.

И *лег-девять* существовал на нашей Земле.

Лег-девять был последнее, что подарил людям Феликс Хонникер, перед тем как ему было воздано по заслугам.

Ни один человек не знал, что он делает. Никаких следов он не оставил.

Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хонникуру надо было только обра-

щаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю порцию пирожков.

Он сделал сосульку *льда-девать*! Голубовато-белого цвета. С температурой таяния сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту.

Феликс Хонникер положил сосульку в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман. И уехал к себе на дачу, на Мыс Код, с тремя детьми, собираясь встретить там рождество.

Анджеле было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, крошке Ньюту — восемнадцать лет.

Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про *лед-девать*.

Его дети разделили кусочек *льда-девать* между собой.

24. ЧТО ТАКОЕ ВАМПИТЕР

Тут мне придется объяснить, что Боконон называет *вампитером*.

Вампитер есть ось всякого *карасса*. Нет *карасса* без *вампитера*, учит нас Боконон, так же как нет колеса без оси.

Вампитером может служить что угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим *вампитером*, члены одного *карасса* вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена *карасса* вокруг их общего *вампитера* — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит петь нас Боконон:

Кружимся, кружимся — и все на месте:

Ноги из олова, крылья из жести.

Но *вампитеры* уходят и *вампитеры* приходят, учит нас Боконон.

И в каждую данную минуту у каждого *карасса* фактически есть два *вампитера*: один приобретает все большее значение, другой постепенно его теряет.

И я почти уверен, что пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, *вампитером* моего *карасса* набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый *лед-девать*.

В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хонникеры уже владели зародышами *льда-девать*, зародышами, зачатými их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы.

И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков *льда-девать* была основной задачей моего *карасса*.

25. САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ ДОКТОРА ХОННИКЕРА

Вот все, что я могу сказать о *вампитере* моего *карасса*.

После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании я попал в руки к мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хонникера.

По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хонникера.

Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно:

— Не думаю, что его можно было легко узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории,— сказала эта милая старушка.— И в жизни доктора Хонникера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое главное.

— А что же было самое главное? — спросил я.

— Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хонникера была истина.

— Но вы как будто не согласны с ним?

— Не знаю — согласна или не согласна я, мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека.

Мисс Фауст вполне созрела, чтобы понять учение Боконона.

26. ЧТО ЕСТЬ БОГ?

— Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хонникером? — спросил я мисс Фауст.

— Ну конечно! Я часто с ним говорила.

— А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?

— Да, однажды он сказал: он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю: «Бог есть любовь».

— А он что?

— Он сказал: «Что такое бог? Что такое любовь?»

— Гм...

— Но знаете, ведь бог действительно и есть любовь,— сказала мисс Фауст,— что бы там ни говорил доктор Хонникер.

27. ЛЮДИ С МАРСА

Комната, служившая лабораторией доктору Хонникуеру, помещалась на шестом, самом верхнем этаже здания.

Поперек двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната остается святилищем:

В ЭТОЙ КОМНАТЕ ДОКТОР ФЕЛИКС ХОННИКЕР, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ, ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖИЗНИ. ТАМ, ГДЕ БЫЛ ОН, ПРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ КРАЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОКА ЕЩЕ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались.

Я согласился.

— Тут все как при нем,— сказала она,— только на одном из столов валялись резиновые ленты.

— Резиновые ленты?

— Только не спрашивайте зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно.

Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом. Игрушечный гироскоп, закрученный веревкой и готовый завертеться. И волчок. И трубка для пуска мильных пузырей. И аквариум с каменным гротом и двумя черепахами.

— Он любил дешевые игрушечные лавки,— сказала мисс Фауст.

— Оно и видно.

— Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара.

— Grosh сбережешь — заработаешь грош.

Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками.

На бюро доктора Хонникера лежала груда нераспечатанной корреспонденции.

— По-моему, он никогда не отвечал на письма,— проговорила мисс Фауст.— Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда.

На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне изнанкой, и я попытался угадать, чей это портрет.

— Жена?

— Нет.

— Кто-нибудь из детей?

— Нет.

— Он сам?

— Нет.

Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хонникер. Но ее там не было.

— Это одно из его увлечений,— сказала мисс Фауст.

— Что именно?

— Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необычно.

— Понимаю.

— Человек он был необычный.

— Согласен.

— Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он, все поймут, что он понимал. От среднего современного человека он отличался, как житель Марса.

— А может быть, он и вправду был марсианин,— предположил я.

— Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.

28. МАЙОНЕЗ

Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала, что лишь бы не пришел пятый номер.

Не успел я ее спросить почему, как прибыл именно пятый номер.

Лифтером на нем служил престарелый маленький негр по имени Лаймен Эндлесс Ноулз. Ноулз был сумасшедший — это сразу бросалось в глаза, потому что стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал: «Да-с! Да-с!»

— Здорово, братья антропиды, лилейный носик и нос рулем! — приветствовал он мисс Фауст и меня. — Да-с! Да-с!

— Первый этаж, пожалуйста! — холодно бросила мисс Фауст.

Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.

— Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал. Я ему и говорю: кто же я тогда? Майонез? Да-с! Да-с! И пока он думал, что ответить, я его как стукну еще одним вопросом, а он как подскочит, башка у него как начнет работать! Да-с! Да-с!

— Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулз? — попросила мисс Фауст.

— Я его спрашиваю,— продолжал Ноулз,— тут у нас исследовательская лаборатория. Исследовать — значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли, вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целый домик с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тут чего потерял? Да-с! Да-с!

— Очень интересно! — вздохнула мисс Фауст. — А теперь можно нам спуститься?

— А мы только спускаться и можем! — крикнул мистер Ноулз. — Тут верх, понял? Попросите меня подняться, и я скажу — нет, даже для вас — не могу! Да-с! Да-с!

— Так давайте спустимся вниз! — сказала мисс Фауст.

— Погодите, сейчас. Этот джентльмен посетил доктора Хонникера?

— Да,— сказал я.— Вы его знали?

— Ближе нельзя,— сказал он.— И знаете, что я сказал, когда он умер?

— Нет.

— Я сказал: «Доктор Хонникер не умер».

— Ну?

— Он перешел в другое измерение. Да-с! Да-с!

Ноулз нажал кнопку, и мы поехали вниз.

— А детей Хонникера вы знали?

— Ребята — бешеные щенята! — сказал он.— Да-с! Да-с!

29. УШЛИ, НО НЕ ЗАБЫТЫ

Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси.

Сыпала снежная крупа, серая, въедливая. Я подумал, что могилка старика, засыпанная снежной крупой, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги *День, когда наступил конец света*.

Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хонникеров.

— Сразу увидите,— сказал он,— на них самый высокий памятник на всем кладбище.

Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса, двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь покрыт изморозью.

— О, черт! — сказал я, выходя из машины с фотокамерой.— Ничего не скажешь — подходящий памятник отцу атомной бомбы.— Меня разбирал смех.

Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести изморозь, чтобы видно было имя покойного.

Он так и сделал.

И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, богом клянись, стояло одно слово:

МАМА

30. ТЫ УСНУЛА

— Мама? — не веря глазам, спросил водитель.
Я еще больше соскреб изморозь, и открылся стишок:

Молю тебя, родная мать,
Нас беречь и охранять.

Анжела Хонникер

А под стишком стоял другой:

Не умерла — уснула ты,
Нам улыбнешься с высоты,
И нам не плакать, а смеяться,
Тебе в ответ лишь улыбаться.

Фрэнклин Хонникер

А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой ручки. Под отпечатком стояли слова:

Крошка Ньют

— Ну, ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину могилку? — Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там.

Могилу отца мы нашли рядом. Там, как я потом узнал, по его завещанию, был построен мраморный куб сорок на сорок сантиметров.

ОТЕЦ—

гласила надпись.

31. ЕЩЕ ОДИН БРИД

Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился — в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку.

Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие, впрочем, особого значения это не имело.

Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк, на этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей, через дорогу от кладбища.

Тогда я еще не был боконистом и потому с неохотой дал согласие.

Конечно, будучи боконистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно по чьей угодно просьбе. «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных богом», — учит нас Боконон.

Похоронное бюро называлось «Авраам Брид и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников — безымянных до поры до времени надгробий.

В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро: над мраморным ангелом висел венок из омелы. Подножие статуи завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.

— Сколько он стоит? — спросил я продавца.

— Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка, Авраам Брид, высек эту статую.

— Значит, ваше бюро тут давно?

— Очень давно.

— А вы тоже из семьи Бридов?

— Четвертое поколение в этом деле.

— Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории?

— Я его брат. — Он представился: — Марвин Брид.

— Как тесен мир, — заметил я.

— Особенно тут, на кладбище. — Марвин Брид был человек откормленный, вульгарный, хитроватый и сентиментальный.

32. ДЕНЬГИ-ДИНАМИТ

— Я только что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду. — Я — писатель. Я его расспрашивал про доктора Феликса Хонникера.

— Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата, про Хонникера.

— Это вы ему продали памятник для его жены?

— Не ему — детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хонникеровских ребят — девочка высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старших были с собой стишки, они хотели их высечь на камне. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь.

Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году.

— Наверно, памятник стоил огромных денег?

— Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги — дача на мысе Код и этот памятник.

— На динамитные деньги? — удивился я, подумав о взрывчатой злобе динамита и совершенном покое памятника и летней дачи.

— Что?

— Нобель ведь изобрел динамит.

— Да, всякое бывает...

Будь я тогда боконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: «Дела, дела, дела...»

Дела, дела, дела, шепчем мы, боконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни.

Но, будучи еще христианином, я мог только сказать: «Да, смешная штука жизнь».

— А иногда и вовсе не смешная, — сказал Марвин Брид.

33. НЕБЛАГОДАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хонникер, жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском.

— Знал ли я ее? — Голос у него стал мрачным. — Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец, Эйза, — он учился в Технологическом институте, — и я оплошал: познакомил его со своей любимой девушкой. — Марвин Брид щелкнул пальцами: — Он ее и отбил, вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку — а она была дорогая, семьдесят пять долларов, — прямо об медную шишку на кровати, пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку — в такой посылают розы дюжинами, положил туда разбитую скрипку и отослал ее с посылным.

— Она была хорошенькая?

— Хорошенькая? — повторил он. — Слушайте, мистер, когда я увижу на этом свете первого ангела, если только богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во

всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела.— Он сплюнул на пол.— А она возьми и выйди за этого голландца, сукиного сына этого! Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата — вот так! — Марвин Брид снова щелкнул пальцами.— Наверно, это предательство и неблагодарность и вообще отсталость и серость — называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хонникер, сукиным сыном. Знаю, все знаю — считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое, знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Христос, разве что не сын божий...

Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не стал, но я попросил его договорить.

— Как же так? — сказал он.— Как же так? — Он отошел к окну, выходящему на кладбищенские ворота.— Как же так? — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хонникеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке.

— Но как же так, — сказал он, — как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как вы можете называть добрым человека, который пальцем не пошевелинул, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения.— Он весь передернулся.— Иногда я думаю, уж не родился ли он покойником? Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.

34. ВИН-ДИТ

Именно в этой мастерской надгробий я испытал свой первый *вин-дит*. *Вин-дит* — слово боконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боконизму, к пониманию того, что господь бог все про тебя знает и что у него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя.

Мой *вин-дит* имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах.

Высказавши свое мнение о Феликсе Хонникере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота.

— Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым, — добавил он вдруг, — но черт меня раздери,

если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел. Музыка,— сказал он, помолчав.

— Простите?

— Вот почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных миров.— Он покачал головой.— Чушь!

Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хонникера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке.

— Да, Фрэнк,— сказал он.

— А что?

— В последний раз я его, чудака несчастного, видал, когда он, бедняга, выходил из кладбищенских ворот, похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показала. Новый такой «понтак» с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал.

— Я слышал — его полиция ищет.

— Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать — модели всякие. И на одной работе только и держался — у Джека, в лавке «Уголок любителя», он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в мастерской моделей в Сарасоте. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала «кадиллаки», грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдетиконом трубы на крейсер «Миссури».

— А вы не знаете, где теперь Ньют?

— Как будто у сестры, в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой лилипуткой и его выгнали с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девочке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет, она на нем играла в школьном оркестре «Сто бродячих музыкантов».

Когда она ушла из школы,— продолжал Брид,— ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей и пойти было некуда. И знаете, что она делала?

— Нет.

— Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по моему мнению, самое большое чудо нашего века—это то, что такая особа нашла себе мужа.

— Сколько хотите за этого ангела?— спросил водитель такси.

— Я же вам сказал— не продается.

— Наверно, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет?— сказал я.

— У меня племянник есть, он все умеет,— сказал Брид.— Сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит— хочу работать резчиком по камню.

— Он у вас работает?

— Нет, он скульптор в Риме.

— Если бы вам дать хорошую цену,— сказал водитель,— вы бы продали этот памятник?

— Возможно. Но цена-то ему немалая.

— А где тут надо высечь имя?— спросил водитель.

— Да тут имя уже есть, на подножии,— сказал Брид. Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножья статуи.

— Значит, заказ так и не востребовали?— спросил я.

— За него даже и не заплатили. Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме, умерла от оспы. Он и заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущества, что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела.

— Но так и не вернулся?— спросил я.

— Нет.— Марвин Брид отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия.— И фамилия какая-то чудная,— сказал он,— наверно, потомки этого иммигранта, если они у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверно, они давно стали Джонсами, Блеками или Томсонами.

— Ошибаетесь,— пробормотал я.

Мне показалось, что комната опрокинулась и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времени. И мне привиделось, в духе учения Боконона, единство всех странников мира: мужчин, женщин, детей,— единство во времени, в каждой его секунде.

— Ошибаетесь,— сказал я, когда исчезло видение.

— А вы знаете людей с такой фамилией?

— Да.

Эта фамилия была и моей фамилией.

35. «УГОЛОК ЛЮБИТЕЛЯ»

По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок Любителя», где раньше работал Фрэнклин Хонникер. Я велел водителю остановиться и подождать меня.

Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял.

— Какой он был, Фрэнклин Хонникер? — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете.— На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик.— Он снова закашлял.— Поглядите, и сами поймете.

И он повел меня в подвал при лавке. Там он и жил. Там стояла двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка.

Джек извинился за неубранную постель.

— От меня жена ушла вот уже с неделю.— Он закашлялся.— Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни.

И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил дальний конец подвала.

Мы подошли туда и увидели, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как многие города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света.

Все детали были так изумительно пропорциональны, так тонко выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жильё живых людей,— все эти холмы, озера, реки, леса, города — все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края.

И повсюду тонким узором вилась лапша железнодорожных путей.

— Взгляните на двери домиков,— с благоговением сказал Джек.

— Чисто сделано. Точно.

— У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучаться.

— Черт!

— Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хонникер.

Это он выстроил.— Джек задохнулся от кашля.

— Все сам?

— Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка — гений.

— Да, ничего не скажешь.

— Братишка у него был карлик, слышали?

— Слышал.

— Он снизу кое-что припаивал.

— Да, все как настоящее.

— Не так это легко, да и не за ночь все выстроили.

— Рим тоже не один день строился.

— У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?

— Да, мне так говорили.

— Тут был его настоящий дом. Он тут провел тыщу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас.

— Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу, столько тут всякого, если посмотреть поближе.

— Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сорвет какой-нибудь холмик — ну совсем как настоящий — для нас с вами. И правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в десять красивей, чем было.

— Такой талант не всякому дается.

— Правильно! — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся: он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз.— Слушайте,— сказал он,— ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на Американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие, покрупнее — вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку.

— По-моему, вы тоже здорово поддерживали его.

— Добро бы так, хотелось бы, чтоб так оно и было,— вздохнул Джек.— Но у меня средств не хватало. Я ему давал матерьялы, когда мог, но он почти все покупал сам на свои заработки, он работал там наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил — никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил.

— Побольше бы таких в нашей стране.

Джек пожал плечами.

— Что ж поделаешь... Наверно, бандиты там, во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится.

— Да, я тоже так думаю.

Джек вдруг не выдержал и заплакал.

— Наверно, они и представления не имели, сукины дети,— всхлипнул он,— кого они убивают.

36. МЯУ

Во время своей поездки в Илиум и за Илиум — она заняла примерно две недели, включая рождество, — я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Кребс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня на том основании, что с таким пессимистом, как я, оптимисту жить невозможно.

Кребс был бородатый малый, белобрысый иисусик с глазами спаниеля. Я с ним не был близко знаком. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно — бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь.

Когда я вернулся на свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием неостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Кребс выехал, но перед уходом он нагнал счет на триста долларов за междугородные переговоры, прожег в пяти местах мой диван, убил мою кошку и мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки.

На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок:

Кухня что надо,
Но душа не рада
Без
Му-со-ро-про-
вода.

И еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило: «Нет и нет, нет, нет, говорит цыпа-дрипа!»

А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло: «Мяу!»

Кребса я с тех пор не встречал. И все же я чувствую, что и он входил в мой карасс. А если так, то он служил *ранг-рангом*. А *ранг-ранг*, по учению Боконона, это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной *ранг-ранговой* жизни доводит этот образ мыслей до абсурда.

Быть может, я уже отчасти был склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете — бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал у меня нигилист Кребс, особенно то, что он сделал с моей чудной кошкой, всякий нигилизм мне опротивел.

Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И

миссия Кребса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Кребс, молодец.

37. НАШ СОВРЕМЕННОК — ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находится беглец от правосудия, создатель моделей, Великий Вседержитель и Вельзевул жуков в банке — словом, узнал, где найти Фрэнклина Хонникера.

Он был жив!

Узнал я это из специального приложения к «Нью-Йорк Санди Таймс». Это была платная реклама некоей банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающе-прекрасной девушки на свете.

За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы трех новых зданий.

«Республика Сан-Лоренцо процветает! — говорилось в тексте на обложке. — Здоровый, счастливый, прогрессивный, свобододлюбивый красавец-народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов».

Но читать весь проспект я не торопился. С меня было достаточно девушки на обложке — более чем достаточно, потому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светилась пониманием и мудростью.

Кожа у нее была шоколадная. Волосы — золотой лен.

Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо.

Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной мадонны-полукровки.

Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля «Папы» Монзано, — гориллы лет под восемьдесят.

Рядом с портретом «Папы» красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями. Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку. И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом.

Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хонникер, министр науки и прогресса республики Сан-Лоренцо.

Ему было двадцать шесть лет.

38. АКУЛЯ СТОЛИЦА МИРА

Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркскому «Санди Таймс», остров Сан-Лоренцо имел пятьдесят миль в длину и двадцать — в ширину. Население составляло четыреста пятьдесят тысяч душ, «беззаветно преданных идеалам Свободного мира».

Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккэйб — одиннадцать тысяч футов над уровнем моря. Столица острова — город Боливар — являлась «...сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия».

«А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул».

Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хонникер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный «Папой» Монзано.

«Папа» писал, что Фрэнк является архитектором, создавшим «Генеральный план Сан-Лоренцо», включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги — словом, все строительство. И хотя очерк краток и явно подредактирован, «Папа» пять раз назвал Фрэнка «кровь от крови» доктора Феликса Хонникера.

Эта фраза отдавала каким-то людоедством.

Видно, «Папа» хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна.

39. ФАТА-МОРГАНА

Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк, под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хонникер.

В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей семидесятифутовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.

«Роскошное прогулочное судно гибло и вместе с ним — моя бессмысленная жизнь, — говорилось в очерке. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые баракуды вспенивали волны».

Я поднял взор к творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вер-

шина над облаками. Может быть, это была Фата-Моргана, жестокий обман, мираж?»

Я тут же посмотрел в словаре «Фата-Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фэй, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась, тем, что появлялась в Мессинском проливе, между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, Фата-Моргана — глупый вымысел поэтов.

А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата-Моргана, а вершина горы Маккэйб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам всевышний направил его туда.

Фрэнк ступил на берег твердой пятой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок «*льга-девятъ*».

Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил «Папа» Монзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хонникера.

«Я подтвердил, что я — его сын, — говорилось в очерке. — И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты».

40. ОБИТЕЛЬ НАДЕЖДЫ И МИЛОСЕРДИЯ

Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Боколон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не «Папы» Монзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касле, американском сахарозаводчике-миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы.

Госпиталь Касла назывался «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев, на северном склоне горы Маккэйб.

Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет.

Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь.

Преыдущие, корыстные годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья.

Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына.

Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона» в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк Санди Таймс», «Каса Мона», новый отель, и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегам Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь.

Я представлял себе любовь с Моной Эймонс Монзано, и этот мираж, эта Фата-Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.

41. КАРАСС НА ДВОИХ

На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так — *должно было так случиться*, — что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена, Клэр. Оба они были седые, хрупкие и кроткие.

Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказывал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южно-Африканской Республике, Ливии и Пакистане.

Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятыми или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет *дюпрасс*, что значит *карасс* из двух человек.

«Настоящий *дюпрасс*, — учит нас Боконон, — никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза».

Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного *карасса*, из *карасса* Фрэнка, *карасса* Ньюта, *карасса* Анджелы, из *карасса* Лаймена Эндлесса Ноулза, из *карасса* Шермана Кребса. *Карасс* Минтонов был аккуратный *карассик*, созданный для двоих.

— Должно быть, вы очень довольны? — сказал я Минтону.

— Чем же я должен быть доволен?

— Довольны, что достигли ранга посла.

По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизили ко мне.

— Да, — вздохнул Минтон, — очень доволен. — Он бледно улыбнулся: — Я глубоко польщен.

И на каждую тему, которую я затрагиваю, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко.

Например:

— Вы, наверно, говорите на многих языках,— сказал я.

— О да, на шести или семи мы оба,— сказал Минтон.

— Вам, наверно, это очено приятно?

— Что именно?

— Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей.

— Очень приятно,— сказал Минтон бесцветным голосом.

— Очень приятно,— подтвердила его жена.

И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними, на ручке кресла.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я немного погодя,— вот вы так много путешествовали, как по-вашему: люди везде примерно одинаковы, по существу, или нет?

— Гм? — сказал Минтон.

— Считаете ли вы, что люди, по существу, везде одинаковы?

Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил:

— По существу, да, везде одинаковы.

— Угу,— сказал я.

Кстати, Боконон говорит, что люди одного *гюпрасса* всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду.

42. ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ АФГАНИСТАНА

В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзел.

Это были грузные люди лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие, гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго и что он ничего, кроме черной неблагодарности, от своих служащих не видел. Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо.

— А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо? — спросил я.

— До сих пор в глаза не видал, но все, что я о нем слышал, мне нравится,— сказал Лоу Кросби.— У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, каких еще свет не видал.

— Как?

— Да там, в Чикаго, черт их дерит, никто не занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное —

человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности, и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу.

— И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше?

— Не считаю, я знаю, будь я проклят. Народ там такой нищий, такой пуганый и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел.

Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.

— Господи боже,— сказала она,— да вы из хужеров?¹

Я подтвердил, что да.

— Я тоже из хужеров,— завопила она.— Нельзя стыдиться, что ты хужер!

— А я и не стыжусь,— сказал я,— и не знаю, кто это может стыдиться.

— Хужеры — молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют.

— Отрадно слышать.

— Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?

— Нет.

— Он тоже хужер. А военный, ну, как его там, в Токио...

— Атташе,— подсказал ее муж.

— И он — хужер,— сказала Хэзел.— И новый посол в Югославии...

— Также хужер?

— И не только он, но и голливудский сотрудник «Лайфа». И тот самый, в Чили...

— И он хужер?

— Куда ни глянь — всюду хужеры в почете,— сказала она.

— Автор «Бен-Гура» тоже был из хужеров.

— И Джеймс Уитком Райли.

— А вы тоже из Индианы? — спросил я ее мужа.

— Не-ее... Я из Штата прерий. «Земля Линкольна»², как говорится.

— Если уж на то пошло,— важно заявила Хэзел,— Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер.

— Правильно,— сказал я.

— Не знаю, что в них есть, в хужерах,— сказала Хэзел,— но что-то в них, безусловно, есть. Взятся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы.

¹ Хужеры — прозвище жителей Индианы.

² Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн.

— Тоже правда,— сказал я.

Она крепко вцепилась в мою руку:

— Нам, хужерам, надо держаться друг дружки.

— Верно.

— Ты зови меня «мамуля».

— Что-оо?

— Я, как встречу молодого хужера, сразу прошу его: «Зови меня мамуля».

— Угу...

— Ну, скажи же! — настаивала она.

— Мамуля.

Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хээл мамулей, механизм остановился, и теперь Хээл снова стала его накручивать для встречи со следующим хужером.

То, что Хээл как одержимая искала хужеров по всему свету,— классический пример ложного *карасса*, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал *гранфаллон*. Другие примеры *гранфаллона*— всякие партии и дочери американской революции, Всеобщая электрическая компания, и Международный Орден Холостяков— и любая нация, в любом месте, в любое время.

И Боконон приглашает нас спеть вместе с ним так:

Что такое гранфаллон? Хочешь ты узнать,
Надо с шарика тогда пленку ободрать!

43. ДЕМОНСТРАТОР

Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство — зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были на руку грубоватые, мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывал насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво.

Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора — это когда он касался вопроса, для чего, в сущности, люди живут на земле.

Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды.

— Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали,— сказал я.

— А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и я сразу узнаю, так это или не так. Если «Папа» Монзано у себя на острове даст честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть. И так оно и будет.

— А мне особенно нравится,— сказала Хээл,— что все они

говорят по-английски и все они христиане. Это настолько упрощает все.

— Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби.

— Нет.

— У них там вообще нет преступников. «Папа» Монзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю — и бумажник будет лежать на месте нетронутый.

— Ого.

— А знаете, как наказывают за кражу?

— Нет.

— Крюком, — сказал он. — Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все — крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену, за насилие, за непристойное поглядывание. Нарушишь закон — любовью ихний закон, — и тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете.

— А что это за крюк?

— Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный крюк вроде рыболовного и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости переступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой, — и все! Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дерит!

— Боже правый!

— Я же не говорю, что это хорошо, — сказал Кросби, — но нельзя сказать, что это плохо. Я и то иногда подумываю: а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних. Правда, для демократии такой крюк что-то чересчур... Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку преступников из тех, что крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее: «Мамочка, вот твой сынок!» Разика два проделать это, и замки на машинах отойдут в область предания, как подножки и откидные скамеечки.

— Мы эту штуку видали в музее восковых фигур в Лондоне, — сказала Хэзел.

— Какую штуку? — спросил я.

— Крюк. Внизу, в комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило.

— Гарри Трумэн там совсем не похож на Гарри Трумэна, — сказал Кросби.

— Простите, что вы сказали?

— В кабинете восковых фигур, — сказал Кросби, — фигура Трумэна совсем на него непохожа.

— А другие почти все похожи, — сказала Хэзел.

— А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее.

— По-моему, нет, просто какой-то человек.

— Просто демонстратор? — спросил я.

— Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом, отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление — детям смотреть воспрещается.

— И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели.

— Что им объявление, ребятам, — сказала Хээл. — Им начхать.

— А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я.

— Как? — сказала Хээл. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше.

— А что там было дальше?

— Железное кресло, где живьем зажарили человека, — сказал Кросби. — Его за то зажарили, что он убил сына.

— Но после того, как его зажарили, — беззаботно сказала Хээл, — выяснилось, что сына убил вовсе не он.

44. СОЧУВСТВУЮЩИЙ КОММУНИСТАМ

Когда я вернулся на свое место, около *гюпрасса* Клэр и Хорлика Минтон, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.

Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а может быть и кое-кто похуже, восстановили его на службе.

— Очень приятный бар там, в хвосте, — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним.

— Гм? — Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними.

— Славный там бар.

— Прекрасно. Очень рад.

Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил: — А кто он, в сущности, такой?

— Вы про кого?

— Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услышали ваш разговор. Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам.

— Он фабрикант велосипедов, Лоу Кросби, — сказал я и почувствовал, что краснею.

— Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем.

— Его выгнали из-за меня,— сказала его жена.— Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк Таймс» из Пакистана.

— О чем же вы писали?

— О многом,— сказала она,— потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть неамериканцем, да еще быть неамериканцем и гордиться этим.

— Понятно.

— Но там была одна фраза, которую они непрерывно повторяли во время проверки моей лояльности,— вздохнул Минтон.— «Американцы,— процитировал он из письма жены в «Нью-Йорк Таймс»,— без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять. Должно быть, корни этого явления надо искать далеко в прошлом».

45. ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ АМЕРИКАНЦЕВ

Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через двенадцать часов после появления письма в газете.

— Но что же такого страшного было в письме? — спросил я.

— Высшая форма измены,— сказал Минтон,— это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви.

— Кажется, американцев во многих местах и вправду не любят.

— Во многих местах разных людей не любят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как всяких людей, тоже могут ненавидеть и глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидели, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят.

— Что ж, я рад, что все кончилось хорошо.

— Хмм? — сказал Минтон.

— Ведь все в конце концов обошлось,— сказал я,— и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами.

Минтон с женой обменялись обычным своим *дюпрассовским* взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал:

— Да. Пойдем по радуге — найдем горшок с золотом.

46. КАК БОКОНОН УЧИТ ОБРАЩАТЬСЯ С КЕСАРЕМ

Я заговорил с Минтонами о правом положении Фрэнклина Хонникера: в конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве «Папы» Монзано, но и скрывался от правительства США.

— Все зачеркнуто,— сказал Минтон.— Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке.

— Он отказался от американского гражданства?

— Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Фрэнк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди Сэма.

— А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся?

Минтон взвесил в руке толстую рукопись, которую они читали с женой.

— Пока не знаю. По этой книге как будто нет.

— Что это за книга?

— Это единственный научный труд, написанный в Сан-Лоренцо.

— Почти научный,— сказала Клэр.

— Почти научный,— повторил Минтон.— Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров.— Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел.

Я открыл книгу на титульном листе и увидел, что называется она *САН-ЛОРЕНЦО. География. История. Народонаселение*. Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся.

Я раскрыл книгу наугад. И она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона,— о святом Бокононе.

На открывшейся странице была цитата из *Книг Боконона*. Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов: «Воздай Кесарю Кесарево».

По Боконону, эти слова звучали так:

«Не обращай внимания на Кесаря. Кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит вокруг»

47. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Я так увлекся книгой Филиппа Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спи-

ной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут.

Немного погодя я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка, женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут — оттуда и макушки видно не было.

Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или в спокойные минуты, а я был всерьез взволнован историей Боконона, которую он назвал *динамическое напряжение*, — тем, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом.

Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, высокомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Боконона, и я подумал, что знаю то, чего Боконон не знает: термин этот был давно опошлен Чарльзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру?»

Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Боконон точно знал, кто такой Чарльз Атлас. Боконон, оказывается, сам был приверженцем школы развития мускулатуры.

Чарльз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой.

Боконон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим.

И в книге Касла я прочел впервые стих, или калипсо, Боконона. Он звучал так:

«Папа» Монзано, он полон скверны,
Но без «Папиной» скверны я пропал бы, наверно,
Потому что теперь по сравнению с ним
Гадкий старый Боконон считается святым.

48. СОВСЕМ КАК СВЯТОЙ АВГУСТИН

Как я узнал из книги Касла, Боконон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго.

При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон.

Он был младшим из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Боконона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало Черной Бороде, Эдварду Тичу.

Семья Боконона вложила сокровище Черной бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу.

Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так:

Когда я молод был,
Я был совсем шальной,
Я пил и девушек любил,
Как Августин святой.
Но Августин лишь к старости
Причислен был к святым,
Так, значит, к старости могу
И я сравняться с ним.
И если мне в святые
Придется угодить,
Уж ты, мамаша, в обморок
Глади не упади!

49. РЫБКА, ВЫБРОШЕННАЯ ЗЛЫМ ПРИБОЕМ

К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бойда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шлюпке под названием «Туфелька» из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование.

Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук.

Его занятия были прерваны первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза награжден. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы.

И снова в одиночестве он поплыл в Тобаго на своей «Туфельке».

В восьмидесяти милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил английский эсминец «Ворон».

Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена.

«Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги. Наконец его прибило на острова Зеленого Мыса.

Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в западное полушарие.

Наконец он поступил матросом на рыболовецкое судно, кото-

рое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение у берегов Ньюпорта на Род-Айленде.

К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то, по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте — ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов.

За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Дж. П. Морган, генерал Дж. Першинг, Фрэнклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уоррен Гамалиель Гардинг и Гарри Гудини¹. За это время окончилась первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившая двадцать, — среди них и самого Джонсона.

Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд Четвертый, решил совершить путешествие на своей яхте «Шехерезада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился.

Много чудес видал Джонсон во время этого плавания.

Но «Шехерезада» налетела на рифы в тумане у входа в бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан: они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на казенный счет отправили домой, в Тобаго.

Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька-2».

И он плавал на ней, без цели, все ища бури, которая вынесла бы его туда, куда его безошибочно вела судьба.

В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой.

Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты, по имени Эрл Маккэйб. Маккэйб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами.

И они пустились в плавание в Майами.

Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккэйб в чем мать родила еле доплыли до берега. Сам Боконон описывает это приключение так:

Как рыбку, выбросил меня
На берег злой прибой,
Но вскоре я очнулся
И стал самим собой.

¹ Гудини — известный фокусник.

Он был восхищен этим тайным знамением — тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу,— пусть будет что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком, выплеснутым на берег соленой волной.

И для него наступило второе рождение:

Будьте как дети,
Нам Библия твердит.
И я душой ребенок,
Хотя и стар на вид.

А прозвание «Боконом» он получил очень просто. Так произносили его имя — Джонсон — на островном диалекте английского языка.

Что же касается этого диалекта...

Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал — легко понять, но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически.

Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан-лоренцскую версию детской песенки «Шалтай-Болтай».

По-настоящему это бессмертное произведение звучит так:

Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне,
И вся королевская конница,
И вся королевская рать
Не могли Шалтая, не могли Болтая собрать.

На сан-лоренцском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так:

Саратая-Боротая сидера на сатене,
Саратая-Боротая сварирася во сене,
И вся короревская конница,
И вся короревская рати
Не могори Саратая, не могори Боротая соборати.

Вскоре после того, как Джонсон стал Боконом, спасательную шляпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шляпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова.

«Есть легенда,— пишет Филипп Касл,— что золотая шляпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света».

50. СЛАВНЫЙ КАРЛИК

Чтение биографии Боконона прервала жена Лоу Кросби, Хэзел. Она остановилась в проходе около меня.

— Вы не поверите,— сказала она,— но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров.

— Вот так черт!

— Они не природные хужеры, но теперь они там живут. Они живут в Индианаполисе.

— Интересно!

— Хотите с ними познакомиться?

— А по-вашему, это необходимо?

Вопрос ее удивил:

— Но они же из хужеров, как и вы!

— А как их фамилии?

— Фамилия женщины — Коннерс, а его фамилия — Хонникер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик.— Она подмигнула мне: — Хитрая bestия этот малыш.

— А он уже зовет вас мамулей?

— Я чуть было не попросила его звать меня так. А потом раздумала — не знаю, может, это будет невежливо, он же карлик.

— Глупости!

51. О'КЭЙ, МАМУЛЯ!

И я пошел в хвост самолета — знакомиться с Анджелой Хонникер Коннерс и с Ньютоном Хонникером, членами нашего карасса.

Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше.

Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался Гулливером среди Бробдиньягов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен.

В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантною неприужденностью, будто бокал был сделан специально для него.

И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом *льда-девять*, как и у его некрасивой сестры, а под нами — вода, божье творение — все Карибское море.

Хэзел с удовольствием перезнакомила всех хужеров и, удовлетворенная, оставила нас в покое.

— Но помните,— сказала она, уходя,— теперь зовите меня мамуля.

— О'кэй, мамуля!

— О'кэй, мамуля! — повторил Ньютом. Голосок у него был

довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрился придать этому голоску вполне мужественное звучание.

Анджела упорно обращалась с Ньютом как с младенцем, и он ей милостиво прощал,— я никогда не мог себе представить, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.

И Ньют и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним, на пустовавшее третье кресло.

Анджела извинилась, что не ответила мне.

— Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же, день был как день — самый обыкновенный.

— А ваш брат написал мне отличное письмо.

Анджела удивилась:

— Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить? — Она обернулась к нему: — Душенька, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой.

— Нет, помню,— мягко возразил он.

— Жаль, что я не видела этого письма.— Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост.

— Душечка, ты должен был показать мне письмо,— упрекнула она брата.

— Прости,— сказал Ньют,— я как-то не подумал.

— Должна вам откровенно признаться,— сказала мне Анджела,— что доктор Брид не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы не намерены дать верный портрет нашего отца.

По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна.

Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и не надо писать.

— Но если вы когда-нибудь все же напишете эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда.

Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо.

— Фрэнк собирается жениться,— сказала Анджела.— Мы едем праздновать его обручение.

— Вот как? А кто же эта счастливая особа?

— Сейчас покажу,— сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из пластика. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анджела полистала фото-

графии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Код, доктора Феликса Хонникера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анджелы, и Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке.

И наконец она показала мне фото девушки, на которой соби-
рался жениться Фрэнк.

С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах.

На фотографии красовалась Мона Эймонс Монзано — жен-
щина, которую я любил.

52. СОВСЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Развернув свою пластикатную гармошку, Анджела не собира-
лась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой.

— Тут все, кого я люблю, — заявила она.

Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого
она поймала под плексиглас, поймала, как окаменелых жучков
в янтаре, все они были по большей части из нашего *карасса*.
Ни единого *гранфаллонца* среди них не было.

Многие фотографии изображали доктора Феликса Хонникера,
отца атомной бомбы, отца троих детей, отца *льда-девять*. Пред-
полагаемый производитель великанши и карлика был совсем
маленького роста.

Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше
всего понравилась та фотография, где он был весь закутан — в
зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке
с огромным помпоном на макушке.

Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Ан-
джела, сделана в Хайяниссе за три часа до смерти старика.

Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на
рождественского деда старике знаменитого ученого.

— Ваш отец умер в больнице?

— Нет! Что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом
плетеном кресле, на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять
по снегу у берега...

— Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют, — казалось, что
идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других
коттеджах никого не было...

— Один наш коттедж отапливался, — сказала Анджела.

— На мили вокруг — ни души, — задумчиво вспоминал
Ньют, — и нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная
черная охотничья собака, сеттер. Мы швыряли палки в океан,
а она их приносила.

— А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всег-
да устраивали елку.

— Ваш отец любил, когда зажигали елку?

— Он никогда нам не говорил.

— По-моему, любил,— сказала Анджела.— Просто он редко выражал свои чувства. Бывают такие люди.

— Бывают и другие,— сказал Ньют, пожав плечами.

— Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле,— сказала Анджела. Она покачала головой: — Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит. У него было бы другое лицо, если б он испытывал хоть малейшую боль.

Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же, в сочельник, она, Фрэнк и крошка Ньют разделяли между собой отцовский *лег-девять*.

53. ПРЕЗИДЕНТ ФАБРИ-ТЕКА

Анджела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца.

— Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить,— сказала Анджела. Она показала мне девочку-школьницу, шести футов ростом, в форме оркестрантки средней школы города Илиума, с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под мужскую шапочку. Лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой.

А потом Анджела — женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, показала мне фото своего мужа.

— Так вот он какой, Гаррисон С. Коннерс.— Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивой мужчина и явно сознавал это. Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал донжуана.

— Что... Чем он занимается? — спросил я.

— Он президент «Фабри-Тека».

— Электроника?

— Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная служба.

— Вооружение?

— Ну, во всяком случае, военные дела.

— Как вы с ним познакомились?

— Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал «Фабри-Тек».

— Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа?

— Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиум. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась...

Дальше Анджела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца:

— Мы были одни, я и маленький Ньют, в этом огромном старом доме. Фрэнк исчез, и привидения шумели и гремели в

десять раз громче, чем мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда тепло, заставлять его есть, платить по счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни живой души, кроме Ньюта.

И вдруг,— продолжала она,— раздался стук в двери, и появился Гаррисон Коннерс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах отца и вообще о старых временах...

Анджела с трудом сдерживала слезы.

— Через две недели мы поженились.

54. НАЦИСТЫ, МОНАРХИСТЫ, ПАРАШЮТИСТЫ И ДЕЗЕРТИРЫ

Я вернулся на свое место, чувствуя себя довольно погано оттого, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзано, и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла.

В именном указателе я посмотрел *Монзано*, *Мона Эймонс*, но там было сказано: см. *Эймонс Мона* — и увидел, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого «Папы» Монзано.

За Эймонс Моной шел Эймонс Нестор. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, финн по национальности, архитектор.

Нестора Эймонса во время второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом — немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами. Он был взят в плен четниками — сербскими партизанами-монархистами, а потом захвачен партизанами, нападшими на четников.

Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию.

Итальянцы заставляли его строить укрепления в Сицилии. Он украл рыбацью лодку и добрался до нейтральной Португалии.

Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл.

Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях».

Эймонс согласился. Он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет совершенство — свою дочь и умер.

55. НЕ ДЕЛАЙ УКАЗАТЕЛЯ К СОБСТВЕННОЙ КНИГЕ

Что касается жизни *Эймонс Моны*, то указатель создавал путаную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния.

«Эймонс Мона,— сообщал указатель,— удочерена Монзано для поднятия его престижа, 194—199, 216; детство при госпитале «Обитель Надежды и Милосердия», 63—81; детский роман с Ф. Каслом, 721; смерть отца, 89; смерть матери, 92; смущена доставшейся ей ролью национального символа любви, 80, 95, 166, 209, 247, 400—406, 566, 678; обручена с Филиппом Каслом, 193, врожденная наивность, 67—71, 80, 95, 166, 209, 274, 400—406, 566, 678; жизнь с Бокононом, 92—98, 196—197, стихи о, 2, 26, 114, 119, 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974; ее стихи, 89, 92, 193; убегает от Монзано, 197; возвращается к Монзано, 199; пытается изуродовать себя, чтобы не быть символом любви и красоты для островитян, 80, 95, 116, 209, 247, 400—406, 566, 678; учится у Боконона, 63—80; пишет письмо в Объединенные Нации, 200; виртуозка на ксилофоне, 71».

Я показал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе — увлекательная биография, биография девушки, против воли ставшей богиней любви. И неожиданно, как это случается в жизни, я получил разъяснение специалистки: оказалось, что Клэр Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность.

Она рассказала, что помогла мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много.

Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть любители берутся за составление указателей. Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла.

— Лестно для автора, оскорбительно для читателя,— сказала она.— Говоря точнее,— добавила она со снисходительной любезностью специалистки,— сплошное *самоутверждение* — без оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге.

— Неловко?

— Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором,— поучительно сказала она.— Просто бесстыдная откровенность, конечно, для *опытного* глаза.

— Она может определить характер по указателю! — сказал ее муж.

— Да ну? — сказал я.— Что же вы скажете о Филиппе Касле?

Она слегка улыбнулась:

- Неудобно рассказывать малознакомому человеку.
- О, простите!
- Он явно влюблен в эту Мону Эймонс Монзано.
- По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренцо.
- К отцу он испытывает смешанные чувства,— сказала она.
- Но это можно сказать о каждом человеке на земле,— слегка поддразнил ее я.
- Он чувствует себя в жизни очень неуверенно.
- А кто из смертных чувствует себя уверенно? — спросил я. Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно в духе Боконона.
- И он никогда на ней не женится.
- Почему же?
- Я все сказала, что можно,— ответила она.
- Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны,— сказал я.
- Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам,— заключила она.

Боконон учит нас, что *гюпрасс* помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. И еще, говорит нам Боконон, *гюпрасс* рождает в людях легкую самонадеянность. Минтоны и тут не были исключением.

Немного погодя Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которые его жена умеет выудить из каждого указателя.

— Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он.

— Нет, сэр, понятия не имею.

— Потому что он — гомосексуалист! — прошептал Минтон.— Она и это может узнать по указателю.

56. САМООКУПАЮЩЕЕСЯ БЕЛИЧЬЕ КОЛЕСО

Когда Лайонел Бойд Джонсон и капрал Эрл Маккэйб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренцо не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни назвать не умели. Напротив, Джонсон и Маккэйб владели бесценными сокровищами — грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире.

Как говорится в одном из калипсо:

Ох, какой несчастный
Тут живет народ!
Пива он не знает,
Песен не поет,
И куда ни сунься,
И куда ни кинь,
Все принадлежит католической церкви
Или компании «Касл и Сын».

По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания Касла действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.

«Сахарная компания Касла на Сан-Лоренцо никогда не получала ни гроша прибыли,— пишет молодой Касл.— Но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих».

На острове царил анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания Касла решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантаций сахарной компании Касла, белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из знатных туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытаться своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье колесо, утоляла кучка сладкоречивых попов.

«Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека»,— писал Касл.

57. СКВЕРНЫЙ СОН

Никакого чуда в том, что капрал Маккэйб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренцо — и никто им не мешал. Причина была проще простого: творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным.

Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом.

В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом Пятым и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечения и остратки и плыли дальше.

«В 1682 году, когда Франция заявила притязания на Сан-Лоренцо,— писал Касл,— испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязания на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязания на Сан-Лоренцо в 1704-м, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязания на Сан-Лоренцо в 1706-м, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренцо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали.

Императором стал Тум-бумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тум-бумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренцо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.

Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не мог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за недостаточное усердие».

Сахарная компания Касла появилась на Сан-Лоренцо в 1916 году, во время сахарного бума, вызванного первой мировой войной. Никакого правительства там вообще не было. Компания решила, что даже глинистые и песчаные пустоши при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал.

Когда Маккэйб и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло снялась с места, словно проснувшись после скверного сна.

58. ОСОБАЯ ТИРАНИЯ

«У новых завоевателей Сан-Лоренцо было, по крайней мере, одно совершенно новое качество,— писал молодой Касл,— Маккэйб и Джонсон мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию.

С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.

А Джонсон придумал новую религию».

Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:

Хотелось мне во все
Какой-то смысл вложить,
Чтоб нам не ведать страха
И тихо-мирно жить,

И я придумал ложь —
Лучше не найдешь! —
Что этот грустный край —
Су-ущий рай!

Во время чтения кто-то потянул меня за рукав.

Маленький Ньют Хонникер стоял в проходе рядом с моим креслом:

— Не хотите ли пройти в бар,— сказал он,— подыдем бокалы, а?

И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зику, свою приятельницу — лилипутку, маленькую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.

— Может быть, у меня никогда не будет свадьбы,— сказал он,— но медовый месяц у меня уже был.

Он описал мне эту идиллию: часами они с Зикой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.

И Зика танцевала для него.

— Только представьте себе, женщина танцует только для меня.

— Вижу, что вы ни о чем не жалеете.

— Она разбила мне сердце. Это было не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь.— И он галантно провозгласил тост: — За наших жен и любовниц! — воскликнул он.— Пусть никогда не встречаются!

59. ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ

Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах:

— Знаете, что такое писсанта?

— Слышал этот термин,— сказал я,— но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.

Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что может говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень прочувствованно и откровенно говорил о сестре Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.

— Я говорю не про такого малыша, вот как он.— И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок.— Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами. Видал я и маленьких людей — конечно, не таких малышек,— но довольно-таки маленьких, будь я нела-

ден,— и вы назвали бы их настоящими мужчинами.

— Благодарствую,— приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече.

Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.

— Вы говорили про писсантов,— напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.

— Правильно, черт побери! — Кросби расправил плечи.

— И вы нам не объяснили, что такое писсант,— сказал я.

— Писсант — это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Что бы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравится не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.

— Не очень привлекательный образ,— сказал я.

— Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта,— сказал Кросби мрачно.

— И вышла за него?

— Я его раздавил, как клопа.— Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта.— Лопни мои глаза! — сказал он.— Да ведь мы тоже учились в колледжах! — Он уставился на малыша Ньюта: — Ходил в колледж?

— Да, в Корнелл,— сказал Ньют.

— В Корнелл! — радостно заорал Кросби.— Господи, я тоже учился в Корнелле!

— И он тоже! — Ньют кивнул в мою сторону.

— Три корнельца на одном самолете! — крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один *гранфаллонский* фестиваль.

Когда мы немного поутикли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.

— Вожусь с красками.

— Дома красишь?

— Нет, пишу картины.

— Фу, черт!

— Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! — предупредила стюардесса.— Приближаемся к аэропорту «Монзано», город Боливар, Сан-Лоренцо.

— А-а, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта.— Погодите минутку, я вдруг вспомнил, что где-то слышал вашу фамилию.

— Мой отец был отцом атомной бомбы.— Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.

— Правда?

— Правда.

— Нет, мне кажется, что-то было другое,— сказал Кросби. Он напряженно вспоминал: — Что-то про танцовщицу.

— Пожалуй, надо пройти на место,— сказал Ньют, слегка насторожившись.

— Что-то про танцовщицу.— Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух: — Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.

— Пожалуйста, джентльмены,— сказала стюардесса,— пора занять места и пристегнуть ремни.

Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами:

— Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хонникер? — И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам.

— А может, я и ошибся, — сказал Кросби.

60. ОБЕЗДОЛЕННЫЙ НАРОД

С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающе и нелепо торчали с моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу.

На южной оконечности находился портовый город Боливар.

Это был единственный город.

Это была столица.

Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта «Монзано» спускались к берегу.

К северу от Болиvara круто вздымались горы, голубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.

Боливар раньше назывался по-разному: Каз-ма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория — словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Болиvara, великого идеалиста, героя Латинской Америки.

Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестинок, ящиков и глины, на останках триллионов счастливых нищих, останках, зарытых в кислой каше помоев, отбросов и слизи.

Таким же застал город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.

Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот город из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.

И никому не могло удаться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.

И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.

«В тот период, когда Джонсон и Маккэйб, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренцо, было объявлено,

что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях,— писал Филипп Касл.— В первый и последний раз, когда это попробовали сделать, каждая доля составляла около шести с лишним долларов».

61. КОНЕЦ КАПРАЛА

В помещении таможи аэропорта «Монзано» нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям «Папы» Монзано, каждый капрал равнялся пятидесяти американским центам.

Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было наляпано на стены как попало:

Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо,— гласило одно из объявлений,— умрет на крюке!

На другом плакате был изображен сам Боконон, тощий старичок-негр, с сигарой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом.

Под фотографией стояла подпись: *десять тысяч капралов награды доставившему его живым или мертвым.*

Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Боконону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за Бокононом отпечатки его пальцев и образец его почерка.

Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Боконон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности.

Он заявлял, что его призвание: «Быть живым».

Он заявлял, что его основная профессия: «Быть мертвым».

Наш народ — христиане! Всякая игра ногами будет наказана крюком! — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что боконисты выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос: каким образом Боконон, лучший друг капрала Маккэйба, оказался вне закона?

62. ПОЧЕМУ ХЭЗЕЛ НЕ ИСПУГАЛАСЬ

В Сан-Лоренцо нас сошло семь человек: Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей.

Оттуда мы увидели необычайно притихшую толпу.

Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа, цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные.

И ни одной пары ясных глаз.

У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовых часов.

Там было много собак, но ни одна ни лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание — и все.

Перед толпой стоял военный оркестр. Он не играл.

Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе.

Мне показалось, что вдали слышится барабанная дробь. Но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо.

— Как я рада, что мы в христианской стране, — прошептала мужу Хэзел Кросби, — не то я бы немножко испугалась.

За нашими спинами стоял ксилофон.

На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрустала.

Буквы составляли слово: «МОНА».

63. НАБОЖНЫЙ И ВОЛЬНЫЙ

С левой стороны нашей платформы были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами — военная помощь США республике Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен боа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали трезубые вилы.

Перед каждым самолетиком стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал.

Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины «Папы» Монзано — блестящего черного «кадиллака». Машина остановилась перед нами, подымая пыль.

Из машины вышел «Папа» Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хонникер.

«Папа» повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо. Мотив был взят у популярной

песни «Дом на ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бойд Джонсон, то есть Боконон. Вот эти слова:

Расскажите вы мне
О счастливой стране,
Где мужчины храбрее акул,
А женщины все
Сияют в красе,
И с дороги никто не свернул!
Сан, Сан-Лоренцо!
Приветствует добрых гостей!
Но земля задрожит,
Когда враг побежит
От набожных вольных людей!

64. МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

И снова толпа застыла в мертвом молчании.

«Папа» с Моной и с Фрэнком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда «Папа» ткнул пальцем в барабанщика.

На «Папе» поверх рубашки висела кобура. В ней был сверкающий кольт 45-го калибра. «Папа» был старый-престарый человек, как и многие члены моего карасса. Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но *жир* явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали.

Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хонникер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукый, узкоплечий, походил на ребенка, которому не дали вовремя лечь спать. На груди у него сверкала медаль.

Я с трудом мог сосредоточить внимание на «Папе» и Фрэнке — не потому, что их заслоняли, а потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга.

Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит творец ее душу, нежную, как топлёные сливки, был мир и радость во веки веков.

Эта девочка — а ей было всего лет восемнадцать — сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В *Книгах Боконона* упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Боконона о ней: «Мона проста, как все сущее».

Платье на ней было белое — греческая туника.

На маленьких смуглых ногах легкие сандалии.

Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос...

Бедрa как лира...

О господи...

Мир и радость во веки веков.

Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, «Папа» удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества.

На край трибуны выкатили ксилофон. И Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня». Сплошное тремоло звучало, замيرало и снова начинало звенеть.

Красота опьяняла толпу.

Но пора было «Папе» приветствовать нас.

65. УДАЧНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ САН-ЛОРЕНЦО

«Папа» был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккэйба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.

Все наши выступления передавались в толпу лаем огромных, словно на Страшном суде, рупоров.

Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клетком возвращались обратно.

— Привет вам,— сказал «Папа».— Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. Америку не понимают во многих странах, но только не у нас, господин посол.— И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла.

— Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент,— сказал Кросби.— Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно...

— Да?

— Я не посол,— сказал Кросби.— Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант.— Ему было неприятно назвать настоящего посла: — Вон тот человек и есть важная шишка.

— Ага! — «Папа» улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла.

Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль.

Фрэнк Хонникер неловко и неумело попытался поддержать его.

— Что с вами?

— Простите,— пробормотал наконец «Папа», пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и выпрямился совсем: — Прошу прощения.— Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Минтону Хорлику: — Вы тут среди друзей.

— Я в этом уверен,— мягко сказал Минтон.

— Среди христиан,— сказал «Папа».

— Очень рад.

— Среди антикоммунистов,— сказал «Папа».

— Очень рад.

— Здесь коммунистов нет,— сказал «Папа».— Они слишком боятся крюка.

— Так я и думал,— сказал Минтон.

— Вы прибыли сюда в очень удачное время,— сказал «Папа».— Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник — День Ста мучеников за Демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хонникера с Моной Эймонс Монзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо.

— Желаю вам большого счастья, мисс Монзано,— горячо сказал Минтон.— И поздравляю вас, генерал Хонникер.

Молодая пара поблагодарила его поклоном.

И тут Минтон заговорил о так называемых Ста мучениках за Демократию и сказал вопиющую ложь:

— Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во второй мировой войне. Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок — дар американского народа народу Сан-Лоренцо.

— Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов и щедрый американский народ за внимание,— сказал «Папа».— Вы окажете нам большую честь, если сами пустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения.

— Великая честь для меня,— сказал Минтон.

«Папа» пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием при церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню.

— Какие у них будут дети! — сказал «Папа», направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону.— Какая кровь! Какая красота! Тут его снова схватила боль.

Он снова закрыл глаза, скорчившись от муки.

Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.

В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе, к микрофону.

Он попытался что-то жестами показать толпе — и не смог.

Он попытался что-то сказать им — и не смог.

Наконец он выдавил из себя слова.

— Ступайте домой! — крикнул он, задыхаясь.— Ступайте домой!

Толпа разлетелась как сухие листья.

«Папа» обернулся к нам, нелепо корчась от боли...

И тут же упал.

Но он остался жив.

Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по нему изредка не пробегала судорожная дрожь.

Фрэнк громко крикнул, что «Папа» не умер, что он не может умереть. Он был в отчаянии.

— «Папа», не умирайте! Не надо!

Фрэнк расстегнул воротник «Папы», его куртку, стал растирать ему руки.

— Дайте ему воздуху! Воздуху «Папе»! — кричал он.

Летчики с истребителей побежали помочь нам. У одного из них хватило сообразительности побежать за «Скорой помощью» аэропорта.

Я взглянул на Мону, увидел, что она, по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Смерть, даже если случится при ней, ее не тревожила.

Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял потным блаженством, что я объяснил ее близостью.

«Папа» постепенно приходил в сознание. Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка:

— Вы... — начал он.

Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова.

Губы у него зашевелились, но мы ничего не услышали, кроме какого-то клокотания.

У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей — теперь, задним числом, видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется, один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему «Папе», чтобы усилить звук его голоса.

И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завывания. Потом прорезались слова:

— Вы, — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хонникер, вы — будущий президент Сан-Лоренцо. Наука... У вас в руках наука. Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил «Папа», — лед... — Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание.

Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось.

Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса, будто ему вручали медаль Конгресса за храбрость.

Я опустил глаза и увидел то, чего не надо было видеть.

Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голый. И этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь сапог ногу летчика.

Но на этот раз «Папа» не умер.

Его увезли из аэропорта в огромной красной карете.

Минтонов забрал в посольство американский лимузин.

Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо.

Чету Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренцском такси, похожем на катафалк «крайслере» с откидными сиденьями, образца 1939 года. На машине было написано: «Транспортное агентство Касл и К°». «Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью.

И чета Кросби, и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Боконон. Их шокировала мысль, что кто-то осмелился пойти против «Папы» Монзано.

А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие «Сто мучеников за Демократию».

Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренцкого диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так:

«Что за чертовщина и кто такой этот писсант Боконон?»

— Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес он это так:

«Осень прохой черовека».

— Коммунист? — спросил Кросби, выслушав мой перевод.

— Да, да!

— А у него есть последователи?

— Как, сэр?

— Кто-нибудь считает, что он прав?

— О нет, сэр, — почтительно сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет.

— Почему же его не поймали? — спросил Кросби.

— Такого трудно найти, — сказал шофер. — Он очень хитрый.

— Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы.

— Никто не прячет, никто не кормит. Все умные, никто не смеет.

— Вы уверены?

— Да, уверен! — сказал шофер. — Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит — сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?

Последнее слово он произносил так:

«Курюка».

68. «СИТО МУСЕНИКИ»

Я спросил шофера, кто такие «Сто мучеников за Демократию». Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался — бульвар имени Ста мучеников за Демократию.

Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Пирл-Харбор.

В Сан-Лоренцо было призвано сто человек — сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направлявшийся в США: там их должны были вооружить и обучить.

Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани.

— Эси рюди, сэр, — сказал шофер, — и быри сито мусеники за зимокарасию.

— Эти люди, сэр, — сказал он на своем диалекте, — и были «Сто мучеников за Демократию».

69. ОГРОМНАЯ МОЗАИКА

Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение быть первыми посетителями нового отеля. Мы первые заполнили книгу приезжих в «Каса Мона».

Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать.

— Распишитесь вы сперва, — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла.

Мозаика изображала Мону Эймонс Монзано. Портрет достигал в высоту футов двадцати. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк.

Он был белый человек.

Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шейкой Моны.

Кросби пошел фотографировать его; вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писсанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока: «Ему ни черта сказать невозможно, сразу все поворачивает наизнанку».

Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал:

— Я вам завидую.

— Так я и знал, — вздохнул он, — знал, что стоит мне только выждать, и непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил — надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник.

- Вы — американец?
- Имею счастье.— Он продолжал работать, а взглянуть на меня и посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно.— А вы тоже хотите меня сфотографировать?
- Вы не возражаете?
- Я думаю — значит существую, значит могу быть сфотографирован.
- К несчастью, у меня нет с собой аппарата.
- Так пойдите за ним, черт подери. Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?
- Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду.
- Забудете, когда помрете, и я тоже забуду. Когда умру, я все забуду и вам советую.
- Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?
- Я работаю еще как.
- Что?
- Я работаю еще как.— Он постучал себя по виску.— Все тут, в моей достойной зависти башке.
- Вы ее знаете?
- Имею счастье.
- Фрэнк Хонникер счастливец.
- Фрэнк Хонникер кусок дерьма.
- А вы человек откровенный.
- И к тому же богатый.
- Рад за вас.
- Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье.
- Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок.
- Какой?
- Хотел писать.
- Я тоже как-то написал книгу.
- Как она называлась?
- «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение».

70. ПИТОМЕЦ БОКОНОНА

- Значит, вы — Филипп Касл, сын Джулиана Касла,— сказал я художнику.
- Имею счастье.
- Я приехал повидать вашего отца.
- Вы продаете аспирин?
- Нет.
- Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть чудодейственные зелья? Папаша любит делать чудеса.
- Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.
- А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?

— Сдаюсь. Признаю себя виновным.

— Отцу нужна какая-нибудь книга — читать вслух людям, умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверно, ничего такого не написали.

— Пока нет.

— Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет.

— Может, мне удалось бы переписать двадцать третий псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я.

— Боконон уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял, что ни слова изменить нельзя.

— Вы и его знаете?

— Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. — Он с нежностью кивнул на свою мозаику: — Мона тоже его ученица.

— А он был хороший учитель?

— Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, — сказал Касл, — вы ведь об этом спрашиваете?

71. ИМЕЮ СЧАСТЬЕ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ

Тут подошел Лоу Кросби — еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта.

— Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем?

— Я считаю себя боконистом.

— Но это же против законов этой страны?

— Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя боконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал.

— А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься.

— Это по вас видно.

Кросби побагровел:

— Иди ты в задницу, Джек!

— Сам иди туда, Джаспер, — мягко сказал Касл, — и все ваши праздники вместе с рождеством и Днем благодарения туда же.

Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал:

— Я желаю заявить на этого человека, на этого писсанта, на этого так называемого художника. У вас тут страна хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там на стенке у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писсанта

та, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел.

Клерк позеленел:

— Сэр...

— Слушаю вас! — сказал Кросби, горя негодованием.

— Сэр, это же владелец отеля.

72. ПИССАНТНЫЙ ХИЛТОН

Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля «Каса Мона». Кросби обозвал его «писсантный Хилтон»¹ и потребовал приюта в американском посольстве.

И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат.

Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени Ста мучеников за Демократию, на аэропорт Монзано и боливарскую гавань. «Каса Мона» архитектурой походила на книжный шкаф — глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из сине-зеленого стекла. Город, с его нищетой и убожеством, не был виден: он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами «Каса Мона».

Моя комната была снабжена вентилятором. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я стал чихать.

На столике у кровати стояли свежие цветы, но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый новехонький поролоновый матрас. А в шкафу — ни одной вешалки, в уборной — ни клочка туалетной бумаги.

И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой и смутно доносились какие-то живые звуки.

Я подошел к этой двери и увидел большие апартаменты с полом, закрытым мешковиной. Комнату красили, но когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами.

Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг к другу.

И они прижимались друг к другу голыми пятками.

Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником.

Я откашлялся...

Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки — и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют.

¹ Хилтон — название роскошных отелей, распространенных во многих странах.

— Простите,— сказал я растерянно.

— Не говорите никому,— жалобно попросил один.— Прошу вас, никому не говорите.

— Про что?

— Про то, что видели.

— Я ничего не видал.

— Если скажете,— проговорил он, прижавшись щекой к полу, и умоляюще посмотрел на меня,— если скажете, мы умрем на ку-рю-ке...

— Послушайте, ребята,— сказал я,— то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но повторяю: я ничего не видел такого, о чем стоит рассказать. Прошу вас, встаньте!

Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что видел.

А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое боко-мару, или обмен познанием.

Мы, боконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками, конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, люди непременно почувствуют взаимную любовь.

Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо:

Пожмем друг другу пятки.
И будем всех любить,
Любить, как нашу Землю,
Где надо дружно жить.

73. ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ

Когда я вернулся к себе, в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писсант и владелец отеля, прилаживает роллик туалетной бумаги в моей ванной комнате.

— Большое вам спасибо,— сказал я.

— Не за что.

— Вот это действительно гостеприимный отель,— сказал я.— Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей?

— А где еще найдешь отель с одним постояльцем?

— У вас их было трое.

— Незабвенное время...

— Знаете, может быть, я лезу ни в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы?

Он недоуменно нахмурился:

— Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?

— Я знал некоторых людей в Школе обслуживания гости-

ниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому.

Он сокрушенно покачал головой:

— Знаю. Знаю.— Он вдруг хлопнул себя по бокам.— Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества.— Он покачал головой.— Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу — выбора не было.

— Кажется, вы выросли при отцовском госпитале?

— Верно. Мы с Моной оба выросли там.

— И вас никак не соблазнила мысль устроить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?

Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа.

— Он чудак, мой отец,— сказал он.— Наверно, он вам понравится.

— Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много.

— Давно, когда мне было лет пятнадцать,— заговорил Касл,— поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка «Папы» Монзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу.

Этим как будто и кончился его рассказ, но я неуверенно спросил:

— А потом?

— Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть бубонную чуму. У отца в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?

— Меня миновало такое несчастье.

— Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута.

— Охотно верю.

— После смерти труп чернеет — правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша Обитель Надежды и Милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов, почти никого спасти не удалось.

Жуткий рассказ Касла был прерван телефонным звонком.

— Фу, черт! — сказал Касл.— Я не знал, что телефоны уже включены.

Я поднял трубку:

— Алло?

Звонил генерал-майор Фрэнклин Хонникер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти:

— Слушайте! Немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно!

— Вы можете мне объяснить, в чем дело?

— Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне. Прошу вас!

— Хорошо.

— Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было...— И он повесил трубку.

— Что случилось?— спросил Филипп Касл.

— Понятия не имею. Фрэнк Хонникер хочет немедленно видеть меня.

— Не торопитесь. Отдохните. Он же идиот.

— Говорит, очень важное дело.

— Откуда он знает — что важное, что неважное? Я бы мог вырезать из банана человека умнее, чем он.

— Ладно, рассказывайте дальше.

— На чем я остановился?

— На бубонной чуме. Бульдозер заело от трупов.

— А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой — одни трупы.

И вдруг отец засмеялся,— продолжал Касл.— И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне?

— Нет.

— Сынок,— сказал мне мой отец,— когда-нибудь все это будет твоим.

74. КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ

Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо.

Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккэйб. Стало прохладнее. Поднялся туман.

Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Эймонс сам спроектировал этот дом.

Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, плывший над водой. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы переплета были закрыты по-разному — то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины.

Казалось, что дом выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя.

Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза.

Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня — сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке — полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать.

Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину. Анджела, сказал он, ушла поглядеть Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле.

Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины.

Сама картина была маленькая, черная, шершавая. Она состояла из сети царapiн на густой черной подмалевке. Царapiны сплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешены здесь на просушку в безлунной ночи?

Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку.

Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада.

Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Палила пушка на боливарской набережной, объяснил мне дворецкий Фрэнка. Она стреляла ежедневно в пять часов.

Маленький Ньют заворочался.

Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.

— Привет, — сказал он сонным голосом.

— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.

— А вы видите, что на ней?

— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.

— Это же кошкина колыбель.

— Ага, — сказал я, — здорово. Царapiны — это веревочка.

Правильно?

— Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку.

Даже эскимосам она известна.

— Да что вы!

— Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.

— Угу.

Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».

— Не удивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят...

— Ну и что?

— И никакой, к черту, кошки, никакой, к черту, колыбельки нет!

75. ПЕРЕДАЙТЕ ПРИВЕТ ДОКТОРУ ШВЕЙЦЕРУ

А тут пришла Анджела Хонникер Коннерс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя Обители Надежды и Милосердия в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват. Он был очень худ. Он, как я полагаю, был святой.

Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной. Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот.

— Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера? — сказал я ему.

— На расстоянии. — Он ослабилась, как убийца. — Никогда не встречал этого господина.

— Но он, безусловно, знает о вашей работе, как вы знаете о нем.

— То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?

— Нет.

— Собираетесь встретиться?

— Возможно, когда-нибудь и встречусь.

— Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой. — И он стал раскуривать длинную сигару.

Когда сигара хорошо раскурилась, он повел в мою сторону ее раскаленным кончиком.

— Можете ему сказать, что он не мой герой, — повторил он, — но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем.

— Думаю, что его это обрадует.

— А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело — мое и Христово.

76. ДЖУЛИАН КАСЛ СОГЛАШАЕТСЯ С НЬЮТОМ, ЧТО ВСЕ НА СВЕТЕ — БЕССМЫСЛИЦА

Джулиан Касл и Анджела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колючком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину.

— Что вы скажете? — спросил я.

— Да тут все черно. Это что же такое — ад?

— Это то, что вы видите, — сказал Ньют.

— Значит, ад, — рявкнул Касл.

— А мне только что объяснили, что это колыбель для кошки, — сказал я.

— Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл.

— Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет.

— Вы самоучка, а? — спросил Джулиан Касл у Ньюта.

— А разве мы все не самоучки? — спросил Ньют.

— Прекрасный ответ, — с уважением сказал Касл.

Я взялся объяснить скрытый смысл колыбели для кошки, так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку.

Касл серьезно наклонил голову:

— Значит, это картина о бессмысленности всего на свете? Совершенно согласен.

— Вы и вправду согласны? — спросил я. — Но вы только что говорили про Христа.

— Про кого?

— Про Иисуса Христа.

— А-а! — сказал Касл. — Про него! — Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное.

— Понятно. — Я понял, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отместить его сатанинские мысли и слова.

— Можете меня цитировать, — сказал он. — Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает. — Он наклонился и пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта: — Правильно?

Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает:

— Правильно.

И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке:

— Мусор, мусор, как и все на свете.

И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад. Маленький Ньют промолчал.

Первой заговорила Анджела:

— У тебя все лицо в краске, детка. Поди умойся.

77. АСПИРИН И БОКО-МАРУ

— Скажите мне, доктор,— спросил я Джулиана Касла,— как здоровье «Папы» Монзано?

— А я почему знаю?

— Но я думал, что вы его лечите.

— Мы с ним не разговариваем,— усмехнулся Касл.— Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я — американский гражданин.

— Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа...

— «Папе» не нравится, как мы обращаемся с пациентами вообще,— сказал Касл,— особенно, как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В Обители Надежды и Милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает, перед смертью по боконистскому ритуалу.

— А какой это ритуал?

— Очень простой. Умиравший начинает с повторения того, что читается. Попробуйте повторять за мной.

— Но я еще не так близок к смерти.

Он жутко подмигнул мне:

— Правильно делаете, что осторожничаете. Умиравший, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверно, мы вас до этого не допустили бы,— ведь пятками мы соприкасаться не станем.

— Пятками?

Он объяснил мне теорию Боконона насчет касания пятками.

— Теперь я понимаю, что я видел в отеле.— И я рассказал ему про двух маляров.

— А знаете, это действует,— сказал он.— Люди, которые продельвают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему свету.

— Гм-мм...

— *Бoko-мару*.

— Простите?

— Так называют эту ножную церемонию,— сказал Касл.— Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действуют.

— Наверно, нет.

— Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и *бoko-мару*.

— Я так понимаю,— сказал я,— что на острове еще мно-

жество боконистов, несмотря на закон, несмотря на «ку-рю-ку».

Он рассмеялся:

— Еще не разобрались?

— В чем это?

— Все до одного на Сан-Лоренцо истинные боконисты, несмотря на «ку-рю-ку».

78. В СТАЛЬНОМ КОЛЬЦЕ

— Когда Боконон и Маккэйб много лет назад завладели этой жалкой страной,— продолжал Джулиан Касл,— они выгнали всех попов. И Боконон, шутник и циник, изобрел новую религию.

— Слыхал,— сказал я.

— Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселять в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, прикрашивая ее все больше и больше.

— Как же случилось, что он оказался вне закона?

— Это он сам придумал. Он попросил Маккэйба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок.

И Касл прочел стишок, которого нет в *Книгах Боконона*:

С правительством простился я,
Сказав им откровенно,
Что вера — разновидность
Государственной измены.

— Боконон и крюк придумал как самое подходящее наказание за боконизм,— сказал Касл.— Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо.— Касл жутко скривился и подмигнул:— Тоже для остратки.

— И многие погибли на крюке?

— Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккэйб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боконистов, то есть всего народа.

А Боконон уютно скрывался в джунглях,— продолжал Касл,— и там писал, проповедовал целыми днями, и кормился всякими вкусностями, которые приносили его последователи.

Маккэйб собирал безработных, а безработными были почти все, и организовывал огромные облавы на Боконона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Боконон окружен сталь-

ным кольцом, и кольцо это безжалостно смыкается.

Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккэйбу, что Боконому удалось невозможное.

Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес!

79. ПОЧЕМУ МАККЭЙБ ОГРУБЕЛ ДУШОЙ

— Маккэйбу и Боконому не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой.

Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом: каждый играл свою роль в спектакле, — и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать.

— Значит, жизнь стала произведением искусства! — воскликнул я.

— Да. Но тут возникла одна помеха.

— Какая?

— Вся драма ожесточила души обоих главных актеров — Маккэйба и Боконона. В молодости они очень походили друг на друга, оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами.

Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Боконовой души и ангельская половина души Маккэйба сошлись и отпали. И оба, Маккэйб и Бококон, заплатили жестокой мучкой за счастье народа: Маккэйб познал муки тирана, Бококон — мучения святого. Оба, по существу, спятили с ума.

Касл согнул указательный палец левой руки крючком:

— Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на «кюрю-ку».

— Но Боконона так и не поймали? — спросил я.

— Нет, у Маккэйба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать, и сам он превратится в бессмыслицу. «Папа» Монзано тоже это понимает.

— Неужто люди до сих пор умирают на крюке?

— Это неизбежный исход.

— Нет, я спрашиваю, неужели «Папа» и в самом деле казнит людей таким способом?

— Он казнит кого-нибудь раз в два года, — так сказать, чтобы каша не остывала. — Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо: — Дела, дела, дела...

— Как?

— Так мы, боконисты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное.

— Как, и вы? — Я был потрясен. — Вы тоже боконист?
Он спокойно поднял на меня глаза.
— И вы тоже. Скоро вы это поймете.

80. ВОДОПАД В РЕШЕТЕ

Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. О Фрэнке не было ни слуху ни духу.

И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем.

После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца:

— Он отдал им так много, а они дали ему так мало.

Я стал добиваться — в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр.

— Всеобщая сталелитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, — сказала Анджела, — и такую же сумму платила за любой патент. — Она грустно покачала головой: — Сорок пять долларов, а только подумать, какие это были патенты!

— Угу, — сказал я. — Но я полагаю, он и жалованье получал.

— Самое большее, что он зарабатывал, это двадцать восемь тысяч долларов в год.

— Я бы сказал, не так уж плохо.

Она вся вспыхнула:

— А вы знаете, сколько получают кинозвезды?

— Иногда порядочно.

— А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец?

— Это, конечно, большая несправедливость.

— Мне осточертела несправедливость.

Голос у нее стал таким истерически крикливым, что я сразу переменял тему. Я спросил Джулиана Касла: как он думает, что случилось с картиной Ньюта, брошенной в водопад?

— Там, внизу, есть маленькая деревушка, — сказал мне Касл, — но не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился «Папа» Монзано. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада.

— Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке? — спросил я.

— Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили, — сказал Касл. — В сетке ничего не застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. Четыре квадратных фута про-

клеенного холста, четыре обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-разнищего человека.

— Просто визжать хочется,— сказала Анджела,— как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу,— а сколько он им давал!

Видно было, что сейчас она заплачет.

— Не плачь,— ласково попросил Ньют.

— Трудно удержаться,— сказала она.

— Пойди поиграй на кларнете,— настаивал Ньют.— Это тебе всегда помогает.

Мне показалось, что такой ответ довольно смешон. Но по реакции Анджелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу.

— В таком настроении,— сказала она мне и Каслу,— только это иногда и помогает.

Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана.

— Она правда замечательно играет,— пообещал нам Ньют.

— Очень хочется вас послушать,— сказал Касл.

— Хорошо,— сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь.— Хорошо, я вам сыграю.

Когда она вышла, Ньют извинился за нее;

— Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть.

— Она, должно быть, болела?— спросил я.

— Муж у нее скотина,— сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С. Коннерса, президента компании «Фабри-Тек».— Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой.

— А мне по ее словам показалось, что это очень счастливый брак,— сказал я.

Маленький Ньют расставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы:

— Кошку видали? Колыбельку видали?

81. БЕЛАЯ НЕВЕСТА ДЛЯ СЫНА ПРОВОДНИКА СПАЛЬНЫХ ВАГОНОВ

Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хонникер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит.

Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал той глубины, той силы, той почти невыносимой красоты этой патологии.

Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента.

Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид: когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку.

Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки.

Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, и играл Мид Люкс Льюис.

Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 г.— читал я.— Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. «Это,— вспоминает Льюис,— и было то, что надо». Вскоре,— читал я дальше,— Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно,— тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пультмановских вагонов,— читал я дальше,— то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под именем «Тук-тук-тук вагончики».

Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывает себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз «Дракон».

Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло — и тут вступила Анджела Хонникер.

Глаза у нее закрылись.

Я был потрясен.

Она играла блестяще.

Она импровизировала под музыку сына проводника; она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глоссандо вели из рая в ад через все, что лежит между ними.

Так играть могла только шизофреничка или одержимая.

Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древнеавилонски.

Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками:

— Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?

— А вы и не старайтесь,— сказал Касл.— Просто сделайте вид, что вы все понимаете.

— Это очень хороший совет.— Я сразу обмяк.

И Касл процитировал еще один стишок:

Тигру надо жрать,
Порхать — пичужкам всем,
А человеку — спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»
Но тиграм время спать,
Птенцам — лететь обратно,
А человеку — утверждать,
Что все ему понятно.

— Это откуда же? — спросил я.

— Откуда же, как не из *Книг Боконона*.

— Очень хотелось бы достать экземпляр.

— Их нигде не достать, — сказал Касл. — Книжки не печатались. Их переписывают от руки. И конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Боконон каждый день добавляет еще что-то.

Маленький Ньют фыркнул:

— Религия!

— Простите? — сказал Касл.

— Кошку видали? Колыбельку видали?

82. ЗА-МА-КИ-БО

Генерал-майор Фрэнклин Хонникер к ужину не явился.

Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я, и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели «Папы» и что «Папа» умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы мне не вернуться в отель, а потом, когда все кончится, мы с вами могли бы встретиться.

— Нет, нет, нет. Не уходите никуда. Надо, чтобы вы были там, где я сразу смогу вас поймать. — Видно было, что он ужасно боится выпустить меня из рук. И оттого, что мне было непонятно, почему он так интересуется мной, мне тоже стало жутковато.

— А вы не можете объяснить, зачем вам надо меня видеть? — спросил я.

— Только не по телефону.

— Это насчет вашего отца?

— Насчет вас.

— Насчет того, что я сделал?

— Насчет того, что вам надо сделать.

Я услышал, как где-то там, у Фрэнка, закудахтала курица. Услышал, как там открылись двери и откуда-то донеслась музыка — заиграли на ксилофоне. Опять играли «На склоне дня».

Потом двери закрылись, и музыки я больше не слышал.

— Я был бы очень благодарен, если бы вы мне хоть намекнули, чего вы от меня ждете,— надо же мне как-то подготовиться,— сказал я.

— *За-ма-ки-бо*.

— Что такое?

— Это боконистское слово.

— Никаких боконистских слов я не знаю.

— Джулиан Касл там?

— Да.

— Спросите его,— сказал Фрэнк.— Мне надо идти.— И он повесил трубку.

Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит *за-ма-ки-бо*.

— Хотите простой ответ или подробное разъяснение?

— Давайте начнем с простого.

— Судьба,— сказал он.— Неумолимый рок.

83. ДОКТОР ШЛИХТЕР ФОН КЕНИГСВАЛЬД ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТОЧКЕ РАВНОВЕСИЯ

— Рак,— сказал Джулиан Касл, когда я ему сообщил, что «Папа» умирает в мучениях.

— Рак чего?

— Чуть ли не всего. Вы сказали, что он упал в обморок на трибуне?

— Ну конечно,— сказала Анджела.

— Это от наркотиков,— заявил Касл.— Он сейчас дошел до той точки, когда наркотики и боли примерно уравниваются. Увеличить долю наркотиков — значит убить его.

— Наверно, я когда-нибудь покончу с собой,— пробормотал Ньют. Он сидел на чем-то вроде высокого складного кресла, которое он брал с собой в гости. Кресло было сделано из алюминиевых трубок и парусины.— Лучше, чем подкладывать словарь, атлас и телефонный справочник,— сказал Ньют, расставляя кресло.

— А капрал Маккэйб так и сделал,— сказал Касл.— Назначил своего дворецкого себе в преемники и застрелился.

— Тоже рак? — спросил я.

— Не уверен. Скорее всего нет. По-моему он просто извелся от бесчисленных злодеяний. Впрочем, все это было до меня.

— До чего веселый разговор! — сказала Анджела.

— Думаю, все согласятся, что время сейчас веселое,— сказал Касл.

— Знаете что,— сказал я ему,— по-моему, у вас есть больше оснований веселиться, чем у кого бы то ни было, вы столько добра делаете.

— Знаете, а у меня когда-то была своя яхта.

— При чем тут это?

— У владельца яхты тоже больше оснований веселиться, чем у многих других.

— Кто же лечит «Папу», если не вы? — спросил я.

— Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

— Немец?

— Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях. Шесть лет он был лагерным врачом в Освенциме.

— Испугает, что ли, свою вину в Обители Надежды и Милосердия?

— Да,— сказал Касл.— И делает большие успехи, спасает жизни направо и налево.

— Молодец.

— Да,— сказал Касл.— Если он будет продолжать такими темпами, то число спасенных им людей сравняется с числом убитых им же примерно к три тысячи десятому году.

Так в мой карасс вошел еще один человек, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

84. ЗАТЕМНЕНИЕ

Прошло три часа после ужина, а Фрэнк все еще не вернулся. Джулиан Касл попрощался с нами и ушел в Обитель Надежды и Милосердия.

Анджела, Ньют и я сидели на висячей террасе. Мягко светились внизу огни Боливара. Над административным зданием аэропорта «Монзано» высился огромный сияющий крест. Его медленно вращал какой-то механизм, распространяя электрифицированную благодать на все четыре стороны света.

На северной стороне острова находилось еще несколько ярко освещенных мест. Но горы заслоняли все, и только отсвет озарял небо. Я попросил Стэнли, дворецкого Фрэнка, объяснить мне, откуда идет это зарево.

Он назвал источник света, водя пальцем против часовой стрелки:

— Обитель Надежды и Милосердия в джунглях, дворец «Папы», и форт Иисус.

— Форт Иисус?

— Учебный лагерь для наших солдат.

— И его назвали в честь Иисуса Христа?

— Конечно. А что тут такого?

Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам.

Это подъезжал патруль.

Патруль состоял из пяти американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий.

Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин. Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вошел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит.

— Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо, — сказал офицер на местном диалекте.

— А его тут нет, — сообщил я ему.

— Ничего не знаю, — сказал он. — Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно.

Я сообщил об этом Анджеле и Ньюту.

— Как по-вашему, ему действительно грозит опасность? — спросила меня Анджела.

— Я здесь человек посторонний, — сказал я.

В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет.

85. СПЛОШНАЯ ФОМА

Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою *за-ма-ки-бо*.

Оттого у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни.

Мне снова вспомнился мраморный ангел в Илиуме.

И я стал прислушиваться к солдатам в саду, к их стуку, звяканью и бормотанью.

Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анджелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец. Но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе.

— Отец никогда о нем не вспоминал, — сказала Анджела.

— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют.

Как они мне рассказали, у старика еще была сестра. Ее звали Селия. Она выводила огромных шнауцеров на Шелтер-Айленде, в штате Нью-Йорк.

— До сих пор посылает нам открытки к рождеству, — сказала Анджела.

— С изображением огромного шнауцера, — сказал маленький Ньют.

— Правда, странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье? — заметила Анджела.

— Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дво-

рецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра *Книг Боконона*.

Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Потом проворчал, что *Книги Боконона* — гадость. Потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконона, надо повесить на крюке. А потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка.

Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню, на свою каменную лежанку с поролоновым матрасом.

Оглавления в книге не было, так что искать значение слова *за-ма-ки-бо* было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел.

Кое-что я все же узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с бокононовской космогонией, где *Борасизи* — Солнце обнимал *Пабу* — Луну в надежде, что *Пабу* родит ему огненного младенца.

Но бедная *Пабу* рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и *Борасизи* с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии.

А вскоре несчастную *Пабу* тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке — Земле. Земля была любимицей Луны — *Пабу*, потому что на Земле жили люди, они смотрели на *Пабу*, любовались ею, жалели ее.

Что же думал сам Боконон о своей космогонии?

— *Фóма!* Ложь, — писал он. — *Сплошная фóма!*

86. ДВА МАЛЕНЬКИХ ТЕРМОСА

Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверно, поспал — иначе как мог бы меня разбудить грохот и потоки света?

Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся в дом с безмозглым рвением пожарного-добровольца.

И тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постелей.

Мы с ходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный лязг и постепенно различая звук радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса; все это вернул к жизни включенный электрический ток.

Мы, все трое, достаточно проснулись, чтобы понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио.

И мы, все трое, рассмеялись.

И тут мы все наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми лучшими знатоками человеческих слабостей с самым большим чувством юмора.

Ньют опередил нас всех: он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и ручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил.

Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анджелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые, серые с красным термосики, чашки на три кофе.

Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках.

Но им не пришлось давать объяснения, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидел Фрэнка Хонникера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик.

От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил. Фрэнк пытался его наладить.

Рядом с ним стояла божественная Мона. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда.

— Слушайте, ну и новость я вам скажу! — закричал мне Фрэнк и пошел в дом, а мы — за ним.

Анджела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы.

А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хонникера, часть *вампитера* для моего карасса — кусочки *льда-девять*.

Фрэнк отвел меня в сторону:

— Вы совсем проснулись?

— Как будто и не спал.

— Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить.

— Я вас слушаю.

— Давайте отойдем, — Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. — Мы позовем тебя, когда понадобится.

Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней.

87. Я — СВОЙ В ДОСКУ

Фрэнк Хонникер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путано, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то, в армии, я слышал выражение: разговаривает, будто у него кишка бумажная. Вот так и разговаривал генерал-майор Хонникер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрывничал, разыгрывая тайного агента Икс-9.

Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы, вроде «вы же свой в

доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной».

И он отвел меня в свою, как он сказал, «берлогу», чтобы там «назвать кошку кошкой», а потом «пуститьсь по воле волн».

И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три бледных голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках.

Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору.

Но самое потрясающее в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесными тонами — глина, земля, уголь — первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не саблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них.

На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Монзано в раннем детстве.

— Значит, тут... тут и работал отец Моны? — спросил я.

— Да, конечно. Он тот самый финн, который построил Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

— Знаю.

— Но я привел вас сюда не для разговора о нем.

— Вы хотите поговорить о вашем отце?

— Нет, о вас. — Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб.

— Ну, выкладывайте все сразу.

— Да, вола вертеть нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы — свой в доску.

— Спасибо.

— По-моему, мы с вами поладим.

— Не сомневаюсь.

— У нас у обоих есть за что зацепиться.

Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого.

— Мы нужны друг другу. — И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи.

Я промолчал, хотя сделал дружественную мину.

— Вы меня поняли? — спросил Фрэнк.

— Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?

— Правильно! — Фрэнк захолопал в ладоши. — Вы — человек светский, привыкли выходить на публику, а я — техник, привык

работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.

— Почем вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились.

— По вашей одежде, по разговору.— Он снова положил мне руку на плечо.— Вы — свой в доску.

— Вы уже это говорили.

Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел от нее в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит.

— Как я понимаю, вы... вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо?

Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге:

— Правильно. Что вы скажете о ста тысячах долларов в год?

— Черт подери! — воскликнул я. — А что мне придется делать?

— Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце.

— Что же это за должность?

— Президент республики Сан-Лоренцо.

88. ПОЧЕМУ ФРЭНК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ

— Мне? Стать президентом? — ахнул я.

— А кому же еще?

— Чуть!

— Не отказывайтесь, сначала хорошенько подумайте! — Фрэнк смотрел на меня с тревогой.

— Нет! Нет!

— Вы же не успели подумать!

— Я успел понять, что это бред.

Фрэнк снова сцепил пальцы:

— Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал.

— Отлично. Значит, если в меня запульнут, вы тоже свое получите?

— Запульнут?

— Ну пристрелят. Убьют.

Фрэнк был огорошен:

— А кому понадобится вас убивать?

— Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо.

Фрэнк покачал головой:

— Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать президентом, — утешил он меня. — Это против их религии.

— И против вашей тоже? Я думал, что вы станете тут президентом.

— Я... — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный.

— Что вы? — спросил я.

Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру.

— Зрелость, как я понимаю,— начал он,— это способность осознавать предел своих возможностей.

Он был близок к бокононовскому определению зрелости. «Зрелость,— учит нас Боконон,— это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете».

— Я свою ограниченность понимаю,— сказал Фрэнк.— Мой отец страдал от того же.

— Вот как?

— Замыслов, и очень хороших, у меня много, как и у отца,— доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк,— но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею.

89. ПУФФ...

— Ну как, возьмете это место? — взволнованно спросил Фрэнк.

— Нет,— сказал я.

— А не знаете, кто бы за это взялся?

Фрэнк был классическим примером того, что Боконон зовет *пуфф*... А *пуфф* в бокононовском смысле означает судьбу тысячи людей, доверенную *гурре*. А *гурра* значит ребенок, заблудившийся во мгле.

Я расхохотался.

— Вам смешно?

— Не обращайтесь внимания, если я вдруг начинаю смеяться,— попросил я.— Это у меня такой бзик.

— Вы надо мной смеетесь?

Я потряс головой:

— Нет!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Надо мной вечно все смеялись.

— Наверно, вам просто казалось.

— Нет, мне вслед кричали всякие слова, а уж это мне не могло казаться.

— Иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла,— сказал я ему.— Впрочем, поручиться в этом я не мог бы.

— А знаете, что они мне кричали вслед?

— Нет.

— Они кричали: «Эй, Икс-9, ты куда идешь?»

— Ну, тут ничего плохого нет.

— Они меня так дразнили,— Фрэнк помрачнел при этом воспоминании: — «Тайный агент Икс-9».

Я не сказал ему, что уже слышал об этом.

— «Ты куда идешь, Икс-9?» — снова повторил Фрэнк.

Я представил себе этих задир, представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба. Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места во Всеобщей сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании.

А тут передо мной, честью клянусь, стоял тайный агент Икс-9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем... Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.

— Вы здорово удивились, скажи я им, куда я иду.

— Вы хотите сказать, что у вас было предчувствие, до чего вы дойдете? — Мой вопрос был бокононовским вопросом.

— Нет, я просто шел в «Уголок любителя» к Джеку, — сказал он, сведя мой вопрос на нет.

— И только-то?

— Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились — особенно девчонки — если бы знали, что там на самом деле происходит. Девчонки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.

— А что же там на самом деле происходило?

— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.

Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания:

— Слушайте. Будьте президентом Сан-Лоренцо. Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну, пожалуйста.

90. ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАГВОЗДКА

И ночной час, и пещера, и водопад — и мраморный ангел в Илиуме...

И 250 тысяч сигарет, и три тысячи литров спиртного, и две жены, и ни одной жены...

И нигде не ждет меня любовь...

И унылая жизнь чернильной крысы...

И Пабу — Луна, и Борасизи — Солнце, и их дети...

Все как будто стоворились создать единый космический рок — *вин-дит*, один мощный толчок к боконизму, к вере в то, что творец ведет мою жизнь и что он нашел для меня дело.

И я внутренне *саронгировал*, то есть поддался кажущимся требованиям моего *вин-дита*.

И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо.

Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений.

— Но, наверно, тут есть какая-то загвоздка, — настаивал я.

— Нет.

— А выборы будут?

— Никаких выборов никогда не было. Мы просто объявим, кто стал президентом.

- И никто возражать не станет?
- Никто ни на что не возражает. Им безразлично. Им все равно.
- Но должна же быть какая-то загвоздка.
- Да, что-то в этом роде есть,— сознался Фрэнк.
- Так я и знал!— Я уже отрекся от своего *вин-гита*.— Что именно? В чем загвоздка?
- Да нет, в сущности никакой загвоздки нет, если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово...
- Что было бы «очень здорово»?
- Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.
- И она пошла бы за меня?!?
- Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.
- Но почему она непременно скажет «да»?
- Потому что в *Книгах Боконона* предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо,— сказал Фрэнк.

91. МОНА

Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем. Сначала нам трудно было разговаривать. Я оробел.

Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона, «Перси ее как плоды граната», или как это там сказано, но на самом деле просто юная женская грудь.

Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ногтей и тоненьких золотых сандалий.

— Как, как вы себя чувствуете?— спросил я. Сердце мое бешено колотилось. В ушах стучала кровь.

— Ошибку сделать невозможно,— уверила она меня.

Я не знал, что боконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека. И я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.

— О господи, вы и не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал. Перед вами — чемпион мира по ошибкам,— лопотал я.— А вы знаете, что Фрэнк сейчас сказал мне?

— Про меня?

— Про все, но особенно про вас.

— Он сказал, что я буду вашей, если вы захотите?

— Да.

— Это правда.

— Я... Я... Я...

— Что?

— Не знаю, что сказать...

— *Боко-мару* поможет,— предложила она.

— Как?

— Снимайте башмаки! — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.

Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой.

И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии.

Я попытался развязать шнурки на ботинках. Хуже меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затащил еще крепче.

Я сломал ноготь об узел и в конце концов стянул башмак не развязывая.

Потом я сорвал с себя носки.

Мона уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза.

И я должен был совершить впервые... впервые, в первый раз... господи боже мой...

Боко-мару.

92. ПОЭТ ВОСПЕВАЕТ СВОЕ ПЕРВОЕ БОКО-МАРУ

Это сочинил не Боконон. Это сочинил я.

Светлый призрак,
Невидимый дух — чего?
Это я,
Душа моя.
Дух, томимый любовью...
Давно
Одиноким...
Так давно...
Встретишь ли душу другую,
Родную?
Долго вел я тебя,
Душа моя,
Ложным путем
К встрече
Двух душ.
И вот
Душа
Ушла
В пятки.

Теперь
Все в порядке.
Светлую душу другую
Нежно люблю,
Целую...
М-мм-мм-мммм-мм.

93. КАК Я ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ МОЮ МОНУ

- Теперь тебе легче говорить со мной? — спросила Мона.
— Будто мы с тобой тысячу лет знакомы, — сознался я. Мне хотелось плакать. — Люблю тебя, Мона!
— И я люблю тебя. — Она сказала эти слова совсем просто.
— Ну и дурак этот Фрэнк.
— Почему?
— Отказался от тебя.
— Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что «Папа» так захотел. Он любит другую.
— Кого?
— Одну женщину в Илиуме.
Этой счастливицей, наверно, была жена Джека, владельца «Уголка любителя».
— Он сам тебе сказал?
— Сказал сегодня, когда вернул мне слово, чтобы я вышла за тебя.
— Мона...
— Да?
— У тебя... у тебя есть еще кто-нибудь?
Мона очень удивилась:
— Да. Много, — сказала она наконец.
— Ты любишь многих?
— Я всех люблю.
— Как... Так же, как меня?
— Да. — Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.
Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.
— И ты, наверно... ты выполняешь... ты делаешь то, что мы сейчас делали... с теми... с другими?
— *Боко-мару?*
— *Боко-мару.*
— Конечно.
— С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, — заявил я.
Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распушенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.

— Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.

— Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.

Она испуганно уставилась на меня:

— Ты — *син-ват*.

— Что ты сказала?

— Ты — *син-ват!* — крикнула она. — Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо!

— Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно.

Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу.

Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было.

И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать.

Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать вертикальному *боко-мару* с летчиком в день моего приезда на трибуне.

— Больше ты с ним встречаться не должна, — сказал я ей. — Как его зовут?

— Я даже не знаю, — прошептала она. Она опустила глаза.

— А с молодым Филиппом Каслом?

— Ты про *боко-мару*?

— И про это и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?

— Да.

— Боконон учил вас обоих?

— Да. — При этом воспоминании она снова просветлела.

— И в те дни вы *боко-марничали* всюю?

— О да! — счастливым голосом сказала она.

— Больше ты с ним тоже не должна видаться. Тебе ясно?

— Нет.

— Нет?

— Я не выйду замуж за *син-вата*. — Она встала. — Прощай!

— Как это «прощай»? — Я был потрясен.

— Боконон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А твоя религия чему учит?

— У... У меня нет религии.

— А у меня есть!

Тут моя власть кончилась.

— Вижу, что есть, — сказал я.

— Прощай, человек без религии. — Она пошла к каменной лестнице.

— Мона!

Она остановилась.

— Что?

- Могу я принять твою веру, если захочу?
- Конечно.
- Я очень хочу.
- Прекрасно. Я тебя люблю.
- А я люблю тебя,— вздохнул я.

94. САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРА

Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире.

Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо.

«Папа» еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение «Папы». И когда взошло солнце — *Борасизи*, мы с Фрэнком поехали во дворец «Папы» на джипе, реквизированном у войска, охранявшего будущего президента.

Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее благословляя, и она уснула благословенным сном.

И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря.

В свете этой зари мне и явилось левиафаново величие самой высокой горы острова — горы Маккэйб.

Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным дикинским каменным столбом вместо вершины.

По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не чело-вечи ли руки воздвигли этот столб.

Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккэйб.

— А с виду туда не так уж трудно добраться,— добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем ступенька какой-нибудь судебной палаты. Да и сам каменный бугор, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами.

— Священная она, эта гора, что ли? — спросил я.

— Может, когда-нибудь и считалась священной. Но после Боконона — нет.

— Почему же никто на нее не восходил?

— Никому не хотелось.

— Может, я туда полезу.

— Валяйте. Никто вас не держит.

Мы ехали молча.

— Но что вообще священо для боконистов? — помолчав, спросил я.

— Во всяком случае, насколько я знаю, даже не бог.

— Значит, ничего?

— Только одно.

Я попробовал угадать:

— Океан? Солнце?

— Человек,— сказал Фрэнк.— Вот и все. Просто человек.

95. Я ВИЖУ КРЮК

Наконец мы подъехали к замку.

Он был приземистый, черный, страшный.

Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы.

Парапет северной стороны нависал над краем чудовищной пропасти в шестьсот футов глубиной, падавшей прямо в теплое море.

При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад: как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни?

И, подобно всем таким громадам, и эта скала сама отвечала на вопрос: слепой страх двигал этими гигантскими камнями.

Замок был выстроен по желанию Тум-бумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тум-бумва строил его по картинке из детской книжки.

Мрачноватая, наверно, была книжица.

Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов с перекладиной.

С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись.

«Этот крюк,— гласила надпись,— предназначен для Боконона лично».

Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль: если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву.

И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем и что мой чарод будет процветать.

Фата-моргана.

Мираж!

96. КОЛОКОЛЬЧИК, КНИГА И КУРИЦА В КАРТОНКЕ

Мы с Фрэнком не сразу попали к «Папе». Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать.

И мы с Фрэнком остались ждать в приемной «Папиных» покоев, большой комнате без окон. В ней было тридцать квад-

ратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор.

Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было.

Однако в стену были вделаны железные кольца, на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов в шесть друг от друга.

Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток.

Фрэнк сказал: да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок.

В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать «Папе» духовную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника.

Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смиренно, сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством.

Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Гумана¹, в честь органной трубы, которая угодила в его макушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен.

Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица и нож, насколько я знаю христианство, для меня в новинку.

— Колокольчик еще можно понять,— добавил я.

Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан «Университетом западного полушария по изучению Библии» в городке Литл-Рок в штате Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале «Попьюлер меканикс», рассказал он мне. Он еще добавил, что девиз университета стал и его девизом и что этим объясняется и курица и нож. А девиз звучал так: «Претвори религию в жизнь!»

Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм и протестантизм были запрещены вместе с боконизмом.

— И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое.

— Есери хоцу бити киристиани,— сказал он на ихнем диалекте,— пириходица пиридумари миного ново.

Тут из покоев «Папы» к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый.

— Можете зайти к «Папе»,— сказал он.

— Мы постараемся его не утомлять,— обещал Фрэнк.

— Если бы вы могли его прикончить,— сказал фон Кенигсвальд,— он, по-моему, был бы вам благодарен.

¹ Vox Humana — человеческий голос (лат.).

97. ВОНЮЧИЙ ЦЕРКОВНИК

«Папа» Монзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки — руль, уключины, канаты — словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконона «Туфелька».

Стены спальни были белые. Но «Папа» пылал таким мучительным жаром, что казалось, от его страданий стены накалились докрасна.

Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру.

На шею у «Папы» висел какой-то цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок *льда-девятка*.

«Папа» еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось.

Он лежал, мучительно запрокинув голову к носу шлюпки. Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером сна пыталась облегчить музыкой страдания «Папы».

— «Папа», — прошептал Фрэнк.

— Прощай! — прохрипел «Папа», выкатив незрячие глаза.

— Я привел друга.

— Прощай!

— Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.

— Лед! — простонал «Папа».

— Все просит льду, — сказал фон Кенигсвальд, — а принесут лед, он отказывается.

«Папа» завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею.

— Все равно, — начал он, — кто будет президентом...

Он не договорил.

Я договорил за него:

— ...Сан-Лоренцо.

— Сан-Лоренцо, — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку: — Желаю удачи! — прокаркал он.

— Благодарю вас, сэр!

— Не стойте! Боконон! Поймайте Боконона!

Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что, на радость людям, Боконона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать.

— Хорошо, — сказал я.

— Скажите ему...

Я наклонился поближе, чтобы услышать, что именно «Папа» хочет передать Боконону.

— Скажите: жалко, что я его не убил, — сказал «Папа». — Вы убейте его.

— Слушаюсь, сэр.

«Папа» настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно:

— Я вам *серьезно* говорю.

На это я ничего не ответил. Никого убивать мне не хотелось.

— Он учит людей лжи, лжи, лжи. Убейте его и научите людей правде.

— Слушаюсь, сэр.

— Вы с Хонникером обучите их наукам.

— Хорошо, сэр, непременно,— пообещал я.

— Наука — это колдовство, которое действует.

Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал:

— Последнее напутствие!

Фон Кенигсвальд позвал доктора Вокс Гумана. Доктор Гумана вынул наркотизированную курицу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его понимал.

«Папа» открыл один глаз.

— Не ты! — оскалился он на доктора.— Убирайся!

— Сэр? — переспросил доктор Гумана.

— Я исповедую боконистскую веру! — просипел «Папа». — Убирайся, вонючий церковник.

98. ПОСЛЕДНЕЕ НАПУТСТВИЕ

Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по бокононовскому ритуалу.

Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над «Папой». Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно — слишком близко был крюк и каменный мешок.

Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл.

— А вы тоже боконист? — спросил я.

— Я согласен с одной мыслью Боконона. Я согласен, что все религии, включая и боконизм,— сплошная ложь.

— Но вас, как ученого,— спросил я,— не смутит, что придется выполнять такой ритуал?

— Я — прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет.

И он залез в золотую шляпку к «Папе». Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку.

Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись «Папины» голые ступни. Доктор приложил свои ступни к «Папиным», приняв позу *бокo-мару*.

99. «БОСА СОСИДАРА ГИРИНУ»

«Пок состал клину»,— проворковал доктор фон Кенигсвальд.

— Бога сосидара гирину,— повторил «Папа» Монзано.

На самом деле они оба сказали, каждый по-своему: «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.

— Богу стало скучно,— сказал фон Кенигсвальд.

— Богу стало скучно.

— И бог сказал комку глины: «Сядь!»

— И бог сказал комку глины: «Сядь!»

— Взгляни, что я сотворил,— сказал бог,— взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— Взгляни, что я сотворил,— сказал бог,— взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— Счастливец я, счастливый комок.

— Счастливец я, счастливый комок.— По лицу «Папы» текли слезы.

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог!

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал бог.

— Чудная работа, бог!

— Чудная работа, бог,— повторил «Папа» от всего сердца.

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и по-давно!

— Никто, кроме тебя, не мог бы это сделать! А уж я и по-давно!

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— По сравнению с тобой я чувствую себя ничтожеством.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я хоть немного выхожу из ничтожества.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Плаготарю тебя са шесть!— воскликнул доктор фон Кенигсвальд.

— Благодарю тебя за сести!— просипел «Папа» Монзано.

На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь!»

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Я любил все, что я видел.

— Я любил все, что я видел.

— Доброй ночи!

— Доброй ночи!

— Теперь я попаду на небо!

— Теперь я попаду на небо!

— Жду не дождусь...

— Жду не дождусь...

— ...узнать точно, какой у меня *вампитер*...

— ...узнать точно, какой у меня *вампитер*...

— ...и кто был в моем *карассе*...

— ...и кто был в моем *карассе*...

— ...и сколько добра мой *карасс* сделал ради тебя.

— ...и сколько добра мой *карасс* сделал ради тебя.

— Аминь.

— Аминь.

100. И ФРЭНК ПОЛЕТЕЛ В КАМЕННЫЙ МЕШОК

Но «Папа» еще не умер и на небо попал не сразу.

Я спросил Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.

— Я, я думал, вы меня поддержите,— жалобно сказал я.

— Да, во всем, что касается *техники*.— Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы.

— Понимаю.

— Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично — это дело ваше.

Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически:

— Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокаторжественный день?

Ответ я получил чисто технический:

— Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.

— Прекрасно! Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа.

Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь:

— Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.

— Вот это-то мне и нужно — светлая жизнь.

— Рад стараться, сэр! — Фрэнк снова отдал честь.

— А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука?

Фрэнк снова ответил деревянным голосом:

— В час дня сегодня, сэр, все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти Ста мучеников за Демократию. Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок.

Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.

— Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка.

— Вы хозяин, сэр.

— Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. — И потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.

— Вы хозяин, сэр. — Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издаലെка, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подzemелье, а я вынужден оставаться наверху.

И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец: получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.

101. КАК И МОИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ, Я ОБЪЯВЛЯЮ БОКОНОНА ВНЕ ЗАКОНА

И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки — только стул и стол. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная.

В ней была надежда. В ней было смирение.

И я понял: невозможно обойтись без божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть.

Теперь я почувствовал, что надо верить, — и я поверил.

Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Боконона.

Теперь о Бокононе.

Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство

и, таким образом, устроить что-то вроде Золотого века для моего народа. И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крик у ворот дворца.

Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать,— а всего этого ни я, ни Боконон дать не могли.

Значит, добро и зло придется снова держать отдельно: зло— во дворце, добро — в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу.

В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать.

И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я взошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое теплое море.

102. ВРАГИ СВОБОДЫ

Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю сто девятнадцатое калипсо Боконона, где он просит нас спеть с ним вместе:

Где вы, где вы, старые дружки? —
Плакал грустный человек.
Я ему тихонько на ухо шепнул:
«Все они ушли навек!»

Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов, со своей Хэзел, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хонникер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С. Коннерс и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо.

Умерли, почти все они теперь умерли...

Как говорит нам Боконон, «слова прощания никогда не могут быть ошибкой».

На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами: жареные колибри в мундирчиках, сделанных из собственных бирюзовых перышек, лиловатые крабы— их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные акулы, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на несоленых кукурузных лепешках.

Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение.

Из напитков предлагалось два, оба без льда: пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне раннюю юность.

Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах.

— Ацетон, — сказал он.

— Ацетон?

— Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов.

Ром я пить не стал.

Посол Минтон, с видом дипломатическим и гурманским, неоднократно вздыхал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик — я никогда раньше такого не видал.

С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам.

Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело: взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал дуло, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы, они были установлены на плотках, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры.

В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо.

Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было нарисовано и сзади и спереди мишени.

Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал, что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня.

— А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты.

— О да. В молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть.

— Полагаю, что вы сделали правильный выбор.

— Я молился об указании свыше.

— И вы их получили.

Лоу Кросби передал бинокль жене.

— Вон там Гитлер, — восторженно захихикала Хээзел. — А вот старик Муссолини и какой-то косоглазый. А вон там император Вильгельм в каске! — ворковала Хээзел. — Ой, смотри, кто там! Вот уж кого не ожидала видеть. Ох и влепят ему! Ох и влепят ему, на всю жизнь запомнит! Нет, это они чудно придумали.

— Да, собрали фактически всех на свете, кто был врагом свободы! — объявил Лоу Кросби.

103. ВРАЧЕБНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАБАСТОВКИ ПИСАТЕЛЕЙ

Никто из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти «Папа». Фрэнк официально сообщил, что «Папа» спокойно отдыхает и что «Папа» шлет всем наилучшие пожелания.

Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начиналась с того, что послан Минтон пустит по волнам венки в честь Ста мучеников, затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов.

Он умолчал о том, что после его речи возьму слово я.

Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным *гранфаллонством*.

— Привет, мамуля! — сказал я Хэзел.

— О, да это же мой сыночек! — Хэзел заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим: — Этот юноша — из хужеров.

Оба Касла — и отец и сын — стояли в сторонке от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце «Папы», и теперь им было любопытно, зачем их пригласили.

Молодой Касл назвал меня хватом:

— Здорово, Хват! Что нового нахватили для литературы?

— Это я и вас могу спросить.

— Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня?

— Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция.

— Или профессора университетов.

— Или профессора университетов, — согласился я. И я покачал головой. — Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем — значит он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям.

— А мне все думается — вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилось ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения...

— А вы бы радовались, если бы люди перемерли как мухи? — спросил я.

— Нет, они бы скорее перемерли как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекушали собственные хвосты.

Я обратился к Каслу-старшему:

— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?

— Не от одного, так от другого, — сказал он. — Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы.

— И то и другое не очень-то приятно,— сказал я.

— Да,— сказал Касл-старший.— Нет уж, ради бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите!

104. СУЛЬФАТИАЗОЛ

Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо.

Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки— вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку «Папы», и к нашему с ней обручению,— я колеблюсь, и то возношу ее до небес, то совсем принижаяю.

Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность?

Или она бесчувственна, холодна, короче говоря, рыба кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и боко-мару?

Никогда мне не узнать истины.

Боконон учит нас:

Себе влюбленный лжет,
Не верь его слезам,
Правдивый без любви живет,
Как устрицы — глаза.

Значит, мне как будто дано правильное указание. Я должен вспоминать о моей Моне как о совершенстве.

— Скажите мне,— обратился я к Филиппу Каслу в День Ста мучеников за Демократию.— Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби?

— Он меня не узнал в костюме, при галстукe и в башмаках,— ответил младший Касл,— и мы очень мило поболтали о велосипедах. Может быть, мы с ним еще поговорим.

Я понял, что идея Кросби делать велосипеды для Сан-Лоренцо мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова, мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби и что он мог сделать.

— Как по-вашему, народ Сан-Лоренцо воспримет индустриализацию? — спросил я обоих Каслов — отца и сына.

— Народ Сан-Лоренцо,— ответил мне отец,— интересуется только тремя вещами: рыболовством, распутством и боконизмом.

— А вы думаете, что прогресс может их заинтересовать?

— Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увлекает только одно прогрессивное изобретение.

— А что именно?

— Электрогитара.

Я извинился и подошел к чете Кросби.

С ними стоял Фрэнк Хонникер и объяснял им, кто такой Боконон и против чего он выступает:

— Против науки.

— Как это человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби.

— Я бы уже давно умерла, если бы не пенициллин, — сказала Хээзел, — и моя мама тоже.

— Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я.

— Сто шесть. Чудо, правда?

— Конечно, — согласился я.

— И я давно была бы вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа, — сказала Хээзел. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства: — Котик, как называлось то лекарство, помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?

— Сульфатиазол.

И тут я сделал ошибку — взял с подноса, который проносили мимо, сэндвич с альбатросовым мясом.

105. БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ

И так случилось, «так должно было случиться», как сказал бы Боконон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок. Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней «Папы».

Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни «Папы». Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал:

— Что это такое? Что там у него висело на шее?

— Простите?

— Он проглотил эту штуку. То, что было в ладанке. «Папа» глотнул — и умер.

Я вспомнил ладанку, висевшую у «Папы» на шее, и сказал наугад:

— Цианистый калий?

— Цианистый калий? Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?

— В камень?

— В мрамор! В чугун! В жизни не видел такого трупного окоченения. Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен. Пойдите взгляните сами.

И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне «Папы».

На кровать, на золотую шлюпку, страшно было смотреть. Да, «Папа» скончался, но про него никак нельзя было сказать: «Упокоился с миром!»

Голова «Папы» была закинута назад до предела. Вся тяжесть

тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло.

То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндр с открытой пробкой. А указательный и большой палец другой руки, сложенные щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую толику какого-то порошка.

Доктор фон Кенигсвальд вынул уключину из гнезда на шкафуте золоченой шляпки. Он постучал по животу «Папы» стальной уключиной, и «Папа» действительно загудел, как бубен.

А губы и ноздри у «Папы» были покрыты иссиня-белой изморозью.

Теперь такие симптомы, видит бог, уже не новость. Но тогда их не знали. «Папа» Монзано был первым человеком, погибшим от *льда-девяты*.

Записываю этот факт, может, он и пригодится. «Записывайте все подряд»,— учит нас Боконон. Конечно, на самом деле он хочет объяснить, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно ожидать, что люди — и мужчины и женщины — избегают серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией.

Итак, повторяю: «Папа» Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от *льда-девяты*.

106. ЧТО ГОВОРЯТ БОКОНИСТЫ, КОНЧАЯ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ

Доктор фон Кенигсвальд, с огромной задолженностью по Освенциму, непокрытой еще его теперешними благодеяниями, был второй жертвой *льда-девяты*.

Он говорил о трупном окоченении — я первый затронул эту тему.

— Трупное окоченение в одну минуту не наступает, — объявил он. — Я лишь на секунду отвернулся от «Папы». Он бредил...

— Про что?

— Про боль, Мону, лед — про все такое. А потом сказал: «Сейчас разрушу весь мир».

— А что он этим хотел сказать?

— Так обычно говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством. — Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуя, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный.

Он опустил руки в воду.

— Какое вещество могло... — Но вопрос повис в воздухе.

Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним.

Только это была уже не вода, а полушарие из льда-девять. Фон Кенигсвальд кончиком языка коснулся таинственной иссиня-белой глыбы.

Иней расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся оземь.

Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу.

Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь.

Солдаты и слуги вбежали в спальню.

Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анджелу и Ньютона в спальню «Папы».

Наконец-то я увидел *лед-девять*!

107. СМОТРИТЕ И РАДУЙТЕСЬ!

Я впустил трех детей доктора Феликса Хонникера в спальню «Папы» Монзано.

Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое *лед-девять*. Я часто видел его во сне.

Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал «Папе» *лед-девять*. И казалось вполне вероятным, что, если Фрэнк мог раздавать *лед-девять*, значит, и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать.

И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про *лед-девять*.

Я хотел их пугнуть, сказав, что *лед-девять* — средство прикончить всякую жизнь на земле. Говорил я настолько убежденно, что им и в голову не пришло спросить, откуда я знаю про *лед-девять*.

— Смотрите и радуйтесь! — сказал я.

Но, как сказал Боконон, «бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы». На сцене в спальне «Папы» и декорации и бутафория были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично.

Но первая же реакция на мои слова одного из Хонникеров погубила все это великолепие.

Крошку Ньюта вдруг стошнило.

108. ФРЭНК ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

И нам всем тоже стало тошно.

Ньют отреагировал совершенно правильно.

— Вполне с вами согласен, — сказал я ему и зарычал на Анджелу и Фрэнка: — Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать?

— К-хх,— сказала Анджела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка.

— Ваши чувства совпадают? — спросил я Фрэнка.— Вам, генерал-майор, тоже хочется сделать «к-ххх»?

Фрэнк оскалил зубы, стиснув их изо всей силы, и дыхание у него вырвалось толчками, со свистом.

— Как та собака,— прошептал крошка Ньют, глядя на фон Кенигсвальда.

— Какая собака?

Ньют ответил шепотом, почти что не дыша. Но в комнате с каменными стенами была такая акустика, что все мы расслышали этот шепот, так ясно, как будто прозвонили хрустальные бубенцы.

— В сочельник, когда умер отец.

Ньют разговаривал сам с собой. И когда я попросил его рассказать, что случилось с собакой в ночь, когда умер их отец, он взглянул на меня, словно я влез в его сон. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею.

Зато его брат и сестра входили в этот кошмар, и с ними он заговорил как во сне:

— Ты ему дал эту вещь,— сказал он Фрэнку.— Так вот как ты стал важной шишкой,— с удивлением добавил Ньют.— Что ты ему сказал — что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?

Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядызал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала проходить. И сказал он так:

— Слушайте, надо убрать всю эту штуку.

109. ФРЭНК ЗАЩИЩАЕТСЯ

— Генерал,— сказал я Фрэнку,— ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы в качестве моего советника по технике порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, «убрать всю эту штуку»?

Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за «всю эту штуку» и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок.

— Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра,— приказал он и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами.

— Хотите автогеном уничтожить трупы? — спросил я.

Фрэнк был так наэлектризован технической смекалкой, что он просто-таки отбивал четкетку, прищелкивая пальцами.

— Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке. Потом пройдемся автогеном по всему полу, дюйм за дюймом, вдруг там застряли микроскопические кристаллы. А что мы сделаем с трупами... — Он вдруг задумался.

— Погребальный костер! — крикнул он, радуясь своей выдумке.— Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель — и на костер!

Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты.

Анджела остановила его:

— Как ты мог?

Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой:

— Ничего, все будет в порядке!

— Но как ты мог дать это такому человеку, как «Папа» Монзано? — спросила его Анджела.

— Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим.

Но Анджела вцепилась в его руку и не отпускала.

— Как ты мог? — крикнула она, тряся его.

Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения:

— Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют купил неделю со своей лилипуткой там, на даче.

Улыбка снова застыла на его лице.

Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью...

110. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТОМ

«Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое *пууль-па*», — учит нас Боконон. В одной из *Книг Боконона* он переводит слово *пууль-па* как *дождь из дерьма*, а в другой — как *гнев божий*.

Из слов Фрэнка, брошенных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое Хонникеров были не единственными владельцами *льда-девять*.

Муж Анджелы передал секрет США, а Зика — своему посольству.

Слов у меня не нашлось...

Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена *льдом-девять*. Сквозь смутное забытие, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анджелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта: «Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла!»

Мне ее довод показался неубедительным.

«На что может надеяться человечество, — подумал я, — если такие люди, как Феликс Хонникер, дают такие игрушки, как *лед-девять*, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество?»

И я вспомнил *Четырнадцатый том сочинений Боконона* — прошлой ночью я его прочел весь, целиком. *Четырнадцатый том* озаглавлен так:

«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»

Прочсть *Четырнадцатый* том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

111. ВРЕМЯ ИСТЕКЛО

Фрэнк вернулся с метлами, совками, с автогенем и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками.

Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками *льда-девять*. Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной Моны, а наверх водрузил честное старое ведро.

И мы стали подбирать самые крупные осколки *льда-девять*, и мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй старой, милой старой, честной нашей старой водичкой.

Мы с Анджелой подметали пол, крошка Ньют заглядывал под мебель, ища осколочки *льда-девять*, — мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена.

Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас. В загаженном мире мы, по крайней мере, очищали хоть один наш маленький уголок.

И я поймал себя на том, что самым будничным тоном спрашиваю Ньюта, и Анджелу, и Фрэнка о том сочельнике, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку.

И в детской уверенности, что они все исправят, очистив эту комнату, Хонникеры рассказали мне эту историю.

Вот их рассказ.

В тот памятный сочельник Анджела пошла в деревню за лампочками для елки, а Ньют с Фрэнком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного сеттера. Пес был ласковый, как все сеттеры, и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой.

Феликс Хонникер умер — умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на *лед-девять*, показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью: «Опасно! *Лед-девять!* Бережь от *влаги!*»

Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами:

— Ну же, пошевелите мозгами! — говорил он весело. — Я вам уже сказал — точка таяния у него сто четырнадцать, запятая, четыре десятых по Фаренгейту, и еще я вам сказал, что состоит он только из водорода и кислорода. Как же это объяснить? Ну подумайте же! Не бойтесь поднапрячь мозги! Они от этого не лопнут.

— Он нам всегда так говорил — «напрягите мозги», — сказал

Фрэнк, вспоминая прежние времена.

— А я и не пыталась напрягать мозги уже не помню с каких лет, — созналась Анджела, опираясь на метлу. — Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги, но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе.

Очевидно, прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне — играл с водой и льдом-девять в кастрюльках и площадках. Наверно, он превращал воду в *лед-девять*, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр, должно быть, старик измерял какую-то температуру.

Наверно, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев льдом-девять. Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок этого сине-белого вещества, застывшего в бутылке, но сделал перерыв.

Однако, как говорит Боконон, «каждый человек может объявить перерыв, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв окончится».

112. СУМОЧКА МАТЕРИ НЬЮТА

— Надо бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер, — сказала Анджела, опершись о метлу. — Качалка ни звука не издавала. А она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал.

Но Анджела все же решила, что он уснул, и ушла убирать елку.

Ньют и Фрэнк вернулись с черным сеттером. Они зашли на кухню — дать собаке поесть. И увидели, что всюду разлита вода.

На полу стояли лужи и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол. А мокрую тряпку бросил на шкафчик.

Но тряпка случайно попала в чашку со льдом-девять, Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту — посмотри, что ты наделал.

Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск, как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки.

— Знаете, почему я говорю «золотая сетка»? — рассказывал Ньют в спальне «Папы» Монзано. — Потому что эта тряпка напомнила мне мамину сумочку, особенно на ощупь.

Анджела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка.

— До того она была необычная на ощупь, я ничего лучшего

на свете не знал,— сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке.— Интересно, куда она девалась?

— Интересно, куда многое девалось,— сказала Анджела. Ее слова эхом отозвались в прошлом — грустные, растерянные.

А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что: Ньют протянул ее собаке, та лизнула — и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу — рассказать ему про собаку и увидел, что отец тоже окоченел.

113. ИСТОРИЯ

Наконец мы убрали спальню «Папы» Монзано.

Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь Ста мучеников за Демократию.

Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкаф «Папы».

Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверно, для того, чтобы упростить картину.

Что же касается рассказа Анджелы, Фрэнка и Ньюта о том, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас *льда-девять*, то, когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять *лед-девять*. Они говорили о том, что это за вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано.

— А кто его разделил? — спросил я.

Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность.

— Как будто не Ньют,— наконец сказала Анджела.— В этом я уверена.

— Наверно, либо ты, либо я,— раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память.

— Я сняла три стеклянные банки с полки,— вспомнила Анджела.— А три маленьких термоса мы достали только назавтра.

— Правильно,— согласился Фрэнк.— А потом ты взяла щипчики для льда и наколола *лед-девять* в миску.

— Верно,— сказала Анджела.— Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет.

Ньют поднял ручонку:

— Это я принес.

Анджела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив.

— Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные ба-

ночки,— продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом.

— А что же вы сделали с собакой? — спросил я унылым голосом.

— Сунули в печку,— объяснил мне Фрэнк.— Больше ничего нельзя было сделать.

«История! — пишет Боконон.— Читай и плачь!»

114. «КОГДА МНЕ В СЕРДЦЕ ПУЛЯ ЗАЛЕТЕЛА»

И вот я снова поднялся по винтовой лестнице на свою башню, снова вышел на самую верхнюю площадку своего замка и снова посмотрел на своих гостей, своих слуг, свою скалу и свое тепловатое море.

Все Хонникиры поднялись со мной. Мы заперли спальню «Папы», а среди челяди пустили слух, что «Папе» гораздо лучше.

Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают.

Много, много тайн было у нас в тот день.

Дела, дела, дела.

Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать, и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь.

Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венок в футляре. И он сказал поразительную речь в честь Ста мучеников за Демократию. Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «Сто мучеников за Демократию» на местном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.

Всю остальную речь он произнес на американско-английском языке. Речь была записана у него на бумажке — наверно,— подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с немногими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками — американцами, он оставил официальный тон.

Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы.

— Я буду говорить очень непосольские слова,— объявил он,— я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле.

Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае он произнес удивительно боконистскую речь.

— Мы собрались здесь, друзья мои,— сказал он,— чтобы почтить память «Сита мусеники за Зимокарацию», память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют *мужчинами*. Но я не могу назвать их мужчинами по той простой причине, что в той же войне, в которой погибли

«Сито мусеники за Зимокарацию», погиб и мой сын.

И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку.

Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им придется умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду, они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств.

Но все равно все они — убитые дети.

И я предлагаю вам: если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей в Сан-Лоренцо, то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, иначе говоря — к глупости и злобности рода человеческого.

Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи, и реяние знамен, и пальба хорошо смазанных пушек.

Я не хотел бы показаться неблагодарным — ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное зрелище.

Он посмотрел всем нам прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай:

— И ура всем увлекательным зрелищам!

Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше:

— Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне, — сказал он, — то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?

«Да», — ответим мы, но при одном условии: чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неумышленно трудились над тем, чтобы убавить и глупость и злобу в себе самих и во всем человечестве.

— Видите, что я привез? — спросил он нас.

Он открыл футляр и показал нам алую подкладку и золотой веночек. Веночек был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской.

Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Pro patria»¹.

Тут Минтон продекламировал строфы из книги Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун-Ривер». Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо, а впрочем, их, наверно, не поняли и Лоу Кросби, и его Хээл, и Фрэнк с Анджелой тоже.

Я первым пал в бою под Мишенери-Ридж.
Когда мне в сердце пуля залетела,
Я пожалел, что не остался дома,

¹ «За родину!» (лат.)

Не сел в тюрьму за то, что крал свиней
У Карла Теннери, а взял да убежал
На фронт сражаться.
Уж лучше тыщу дней сидеть у нас в тюрьме,
Чем спать под мраморным крылатым истуканом,
Спать под плитой гранитной, где стоят
Слова «Pro patria».
Да что же они значат?

— Да что же они значат? — повторил посол Хорлик Минтон. — Эти слова значат: «За родину!» «За чью угодно родину», — как бы невзначай добавил он.

— Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Неважно, чья это родина. Думайте о народе...

И о детях, убитых на войне.

И обо всех странах.

Думайте о мире.

И о братской любви.

Подумайте о благоденствии.

Подумайте, каким раем могла бы стать земля, если бы люди были добрыми и мудрыми.

И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день, — сказал посол Хорлик Минтон. — И я от всего сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что «Сито мусеники за Зимокарацию» мертвы в такой прекрасный день.

И он метнул венок вниз с парашюта.

В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота Сан-Лоренцо приближались, паря над моим тепловатым морем.

Сейчас они возьмут под обстрел чучела тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы».

115. СЛУЧИЛОСЬ ТАК

Мы подошли к парашюту над морем — поглядеть на это зрелище. Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели потому, что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма.

Мы решили, что дым пустили нарочно, для вида.

Я стоял рядом с Лоу Кросби, и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от его дыхания пахло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота.

Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парашюта, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов старого каменного помоста.

Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия

замка, и что я пропущу представление. Но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дыма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем.

Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись о скалу. Его бомбы и горючее взорвались.

Остальные целые самолеты с воем улетели, и вскоре их гул доносился словно комариный писк.

И тут послышался грохот обвала — одна из огромных башен «Папиного» замка, подорванная взрывом, рухнула в море.

Люди у парашюта над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услышал гул обвалов в переключке, похожей на оркестр.

Переключка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса. Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки.

И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами, в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев.

Трещина отделила меня от моих спутников.

Весь замок застонал и громко завыл.

Те, остальные, поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз, в море. И хотя трещина была не шире фута, они стали героически перескакивать через нее огромными прыжками.

И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину.

Трещина со скрежетом закрылась и снова оскалилась еще шире. На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хзел и посол Хорлик Минтон со своей Клэр.

Мы с Фрэнком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетащили Кросби к себе, подальше от опасности. И снова умоляюще протянули руки к Минтонам.

Их лица были невозмутимы. Могу только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств.

Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство. Но их убила воспитанность, потому что обреченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани.

Вероятно, Минтонам-путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда.

Они взяли за руки.

Они повернулись лицом к морю.

Вот они двинулись, вот они рухнули вниз в громовом обвале и исчезли навеки!

116. ВЕЛИКИЙ А-БУММ!

Рваная рана гибели теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое теплое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю — единственный след рухнувших стен.

Весь замок, сбросив с себя тяжкую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мной открылся огромный зал. Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, как вышка для пловцов.

На миг мелькнула мысль — прыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска врезаться в теплую, как кровь, вечность.

Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют? — спрашивала она.

Мы взглянули на птицу, потом друг на друга.

Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был не устойчивей волчка. И он тут же покатился по полу.

Камень рухнул на площадку, и площадка обвалилась. И по этому обвалу покатились мебель из комнаты вниз.

Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним — тумбочка, наперегонки с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья.

И где-то в глубине комнаты что-то невидимое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло.

Оно поползло по обвалу. Показался золоченый нос. Это была шляпка, где лежал мертвый «Папа».

Шляпка ползла по обвалу. Нос накренился. Шляпка перевернулась над пропастью. И полетела вверх тормашками.

«Папу» выбросило, и он полетел отдельно.

Я зажмурился.

Послышался звук, словно медленно закрылись громадные ворота величиной с небо — как будто тихо затворились райские ворота. Раздался великий А-бумм...

Я открыл глаза — все море превратилось в *leg-devять*.

Влажная зеленая земля стала синевато-белой жемчужиной.

Небо потемнело. *Борасизи* — Солнце — превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой.

Небо наполнилось червями. Это закурились смерчи.

117. УБЕЖИЩЕ

Я взглянул на небо, туда, где только что пролетела птица. Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как пчела. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он переваривал воздух.

Мы, люди, разбежались, мы бросились к своей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше.

Только Лоу Кросби и его Хэзел закричали: «Мы американцы! Мы американцы!» — орали они, словно смерчи интересовались, к какому именно *гранфаллону* принадлежат их жертвы.

Я потерял чету Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донесли их вопли, тяжелый топот и пыхтенье остальных беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно последовавшая за мной.

Когда я остановился, она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами «Папы». Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишасим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас проглотить, я поднял эту крышку.

В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри. И мы стали спускаться по железным скобам.

И внизу мы открыли государственную тайну. «Папа» Монзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды. Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная *льдом-девять*. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера Национального Географического Вестника за последние двадцать лет.

И было там полное собрание сочинений Боконона.

И стояли там две кровати.

Я зажег свечу. Я открыл банку куриного супа и поставил на плитку. И я налил два бокала вирджинского рома.

Мона присела на одну постель. Я присел на другую.

— Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчине женщине, — сообщил я ей. — Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас.

— Что?

Я развел руками.

— Наконец мы одни, — сказал я.

118. ЖЕЛЕЗНАЯ ДЕВА И КАМЕННЫЙ МЕШОК

Шестая книга Боконона посвящена боли, и в частности — пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке, — предупреждает нас Боконон, — то это, можно сказать, будет очень гуманный способ».

Потом он рассказывает о дыбе, об «испанском сапоге», о железной деве, о колесе и о каменном мешке.

Ты перед всякою смертью слезами изойдешь.
Но только в каменном мешке для дум ты время найдешь.

Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моной. Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущения полной заброшенности.

В первый день и в первую ночь нашего пребывания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрерывно. При каждом порыве давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове.

Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного телеграфного сигнала я не слышал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио.

И мир молчит до сегодняшнего дня.

И вот что я предположил: вихри повсюду разносят ядовитый *лег-девятка*, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии.

Я обратился к книгам Боконона, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома:

«Не будь глупцом! Сейчас же закрой эту книгу! Тут все — сплошная *фóма*!»

Фóма, конечно, значит ложь.

А потом я прочел вот что:

«Вначале бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества.

И бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами».

И бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чем смысл всего этого?»

— Разве у всего должен быть смысл? — спросил бог.

— Конечно, — сказал человек.

— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал бог и удалился».

Я подумал: что за чушь?

«Конечно, чушь», — пишет Боконон.

И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах, гораздо более глубоких.

Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее сдвинутых глаз таится тайна, древняя, как праматерь Ева.

Не стану описывать мрачную любовную сцену, которая разыгралась между нами.

Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут.

Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого — ей претила даже мысль об этом.

Под конец этой бессмысленной возни и ей, и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ, задыхаясь и потея, создавать новые человеческие существа.

Скрипя зубами, я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью. Но тут она сказала мне очень ласково:

— Так грустно было бы завести сейчас ребеночка! Вы согласны?

— Да,— мрачно сказал я.

— Может быть, вы не знаете, что именно от этого и бывают дети,— сказала она.

119. МОНА БЛАГОДАРИТ МЕНЯ

«Сегодня я — министр народного образования,— пишет Боконон,— а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного: каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Боконона мне помогли.

Боконон просит меня петь вместе с ним:

Ра-ра-ра, работать пора,
Ла-ла-ла, делай дела,
Но-но-но — как суждено,
Пых-пах-пох, пока не издох.

Я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее, крутя велосипед, который, в свою очередь, крутил вентилятор, дававший нам воздух, добрый старый воздух.

— Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту,— сказал я Моне.

— Как?

— Наука!

— А-а...

— Это одна из тайн жизни, которую человек долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот.

— А я не знала.

— Теперь знаешь.

— Благодарю вас.

— Не за что.

Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам — взглянуть, какая там, наверху, погода. Я лазал наверх несколько раз в день. В этот четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась.

Но стабильность эта была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали да и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, будто Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей.

Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи были безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх.

Воздух был сух и мертвенно-тих.

Как-то я слышал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре: лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав во весь рост рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принохиваясь.

Запахов не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал сине-белый лед. И каждый треск будил громкое эхо. Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная.

Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья. Я предупредил ее, что нельзя трогать руками сине-белый лед, нельзя подносить руки ко рту.

— Никогда смерть не была так доступна, — объяснил я ей. — Достаточно коснуться земли, а потом — губ, и конец.

Она покачала головой, вздохнула.

— Очень злая мать, — сказала она.

— Кто?

— Мать-земля, она уже не та добрая мать.

— Алло! Алло! — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую грудку камней. Мы с Моной довольно машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю «машинально», потому что никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не мелькнула мимо нас.

Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножья белой краской было написано бокононовское калипсо. Буквы были аккуратные. Краска свежая — доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил бурю.

Калипсо звучало так:

Насганет день, настанет час,

Придет земле конец.

И нам придется все вернуть,

Что дал нам в долг творец.
Но если мы, его кляня, подыдем шум и вой,
Он только усмехнется, качая головой.

120. ВСЕМ, КОГО ЭТО КАСАЕТСЯ

Как-то мне попалась реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали: «Папочка, а отчего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний».

Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один вопросик, доверчиво цепляясь за его руку: «Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное, почему на нем какие-то червяки? Папочка, почему море такое твердое и тихое?»

Но мне пришло в голову, что я мог бы ответить на эти невыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось — и где и каким образом.

А какой толк?

Я подумал: где же мертвецы? Мы с Моной отважились отойти от нашего подземелья чуть ли не на милю и ни одного мертвеца не увидели.

Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груду мертвых. Нигде ни дымка от костров, хотя их трудно было бы разглядеть на червивом небе.

Но я вдруг увидел: вершина горы Маккэйб была окружена сиреневым ореолом.

Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной: мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл?

Мы дошли до предгорья у подножия горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней.

Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала. А плакать было от чего.

В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл *лед-девять*.

Так как тела лежали не врассыпную, не как попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покойник держал палец у губ или во рту, я понял, что все они сознательно собрались в этом печальном месте и отравились *льдом-девять*.

Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе *боко-мару*. И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре.

Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор.

Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень. А под камнем лежала нацарапанная карандашом записка:

«Всем, кого это касается: эти люди вокруг вас — почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали лжесвятого по имени Боконон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали, чтобы он им точно объяснил, что затеял господь бог и что им теперь делать. Этот шут сказал им, что бог явно хочет их убить, вероятно, потому, что они ему надоели и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как вы видите, они и сделали».

Записка была подписана Бокононом.

121. Я ОТВЕЧАЮ НЕ СРАЗУ

— Какой циник! — ахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. — Он где-нибудь тут?

— Я его не вижу, — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. — Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену.

— Пусть только покажется тут! — сказал я с горечью. — Только представить себе эту наглость — посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством!

И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха. Страшный это был смех, неожиданный низкий и резкий.

— По-твоему, это смешно?

Она лениво развела руками:

— Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой.

И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась и обернулась ко мне. И крикнула мне оттуда, сверху:

— А вы бы захотели воскресить хоть кого-нибудь из них, если бы могли? Отвечайте сразу!

— Вот вы сразу и не ответили! — весело крикнула она через полминуты. И все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам и умерла.

Плакал ли я? Говорят, плакал. Таким меня встретили на дороге Лоу Кросби с супругой и малютка Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси, его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хээзел расплакалась от радости.

Они силком посадили меня в такси.

Хэзел обняла меня за плечи:

— Ничего, теперь ты у своей мамули. Не надо так расстраиваться.

Я постарался забытья. Я закрыл глаза. И с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, сырой деревенской дуре.

122. СЕМЕЙСТВО РОБИНЗОНОВ

Меня отвезли на то место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хонникера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на *углу* — ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком *льда-девятя*.

Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня.

И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок.

Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше — буквы, обозначающие *гранфаллон*: США.

— И оставили банку краски под аркой? — сказал я.

— Откуда вы знаете? — спросил Кросби.

— Потом пришел один человек и написал один стишок.

Я не стал спрашивать, как погибла Анджела Хонникер, Коннерс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил.

Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что пока мы ехали в такси, чета Кросби и крошка Ньют были как-то неестественно веселы.

Хэзел открыла мне секрет хорошего настроения:

— Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много. А понадобится вода — мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство робинзонов, вот мы кто.

123. О МЫШАХ И ЛЮДЯХ

Прошло полгода — странные полгода, когда я писал эту книгу. Хэзел совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством робинзонов, мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма.

Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря *льду-девятя* отлично сохранились туши свиней и ко-

ров и мелкая лесная дичь, сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверно, все вирусы вымерли или же дремали.

Мы так ко всему приспособились, так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда Хэзел сказала:

— Хорошо хоть комаров нету.

Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она шивала полосы красной и синей материи. Как Бетси Росс¹, она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синяя — цветом морской волны и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида.

Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие.

— Вид приятный, и пахнет славно, — заметил я.

Он подмигнул мне:

— В повара не стрелять! Стараются как может!

Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и непрерывно выстукивающего «SOS». День и ночь передатчик взывал о помощи.

— Спасии-ии-те наши ду-уу-у-ши! — замурыкала Хэзел в такт передатчику. — Спа-аси-те на-ши дуу-ши!

— Ну, как писанье? — спросила она меня.

— Славно, мамуля, славно.

— Когда вы нам почитаете?

— Когда будет готово, мамуля, как будет готово.

— Много знаменитых писателей вышло из хужеров.

— Знаю.

— И вы будете одним из многих и многих. — Она улыбнулась с надеждой. — А книжка смешная?

— Надеюсь, что да, мамуля.

— Люблю посмеяться.

— Знаю, что любите.

— Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным. Вы пишете для нас смешные книжки, Фрэнк делает свои научные штуки, крошка Ньют — тот картинки рисует, я шью, а Лоу стряпает.

— Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская поговорка.

¹ Бетси Росс (1752—1836) — легендарная создательница американского флага.

- А они были умные, эти китайцы.
- Да, царство им небесное.
- Жаль, что я их так мало изучала.
- Это было трудно, даже в самых идеальных условиях.
- Вообще мне жалко, что я так мало чему-то училась.
- Всем нам чего-то жаль, мамуля.
- Да что теперь горевать над пролитым молоком!
- Да, как сказал поэт: «Мышам и людям не забыть печальных слов: «Могло бы быть...»¹
- Как это красиво сказано, и как верно!

124. МУРАВЬИНЫЙ ПИТОМНИК ФРЭНКА

Я с ужасом ждал, когда Хэзел закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккэйб.

— Будь мы с Лоу помоложе, мы бы сами туда полезли. А теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха.

— Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага.

— А куда же его еще?

— Придется пораскинуть мозгами,— сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру посмотреть, что там затеял Фрэнк.

Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сандвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнка — он все видел и все комментировал.

Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скопьялись в виде плотных шариков вокруг зернышек *льда-девять*. В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупки можно было есть.

— Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь! — сказал я Фрэнку и его крохотным канибалам.

Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев.

И я тоже отвечал как положено:

— Природа — великое дело, Фрэнк. Великое дело.

— Знаете, почему муравьям все удается? — спрашивал он

¹ Перифраз строки из стихотворения Р. Бернса «Полевой мыши».

меня в сотый раз.— Потому что они со-труд-ничают.

— Отличное слово, черт побери,— «со-труд-ничество».

— Кто научил их делать воду?

— А меня кто научил делать лужи?

— Дурацкий ответ, и вы это знаете.

— Виноват.

— Было время, когда я все дурацкие ответы принимал всерьез. Прошло это время.

— Это шаг вперед.

— Я стал куда взрослее.

— За счет некоторых потерь в мировом масштабе.— Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает.

— Было время, когда каждый мог меня обставить, оттого что я не очень-то был в себе уверен.

— Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились, хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось,— подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой.

— Нет, вы мне скажите, вы мне объясните: кто научил муравьев делать воду? — настаивал он без конца.

Несколько раз я предлагал обычное решение — все от бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой вопрос.

И я отошел от Фрэнка, как учили меня *Книги Боконона*: «Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее,— пишет Боконон.— И он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили».

И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта.

125. ТАСМАНИЙЦЫ

Крошка Ньют писал развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры, и когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар, поискать там краски. Сам он вести машину не мог. Ноги не доставали до педалей.

И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось — ни снов на эту тему, ничего.

— Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом,— сказал мне Ньют.— А теперь? Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя лилипуточка.

Я вспомнил, что когда-то я читал про туземцев Тасмании,

ходивших всегда голышом. В семнадцатом веке, когда их открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазах белых людей они были такими ничтожествами, что те первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться.

Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными.

Ньют высказал неглупое предположение:

— Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий.

— Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хзел уже давным-давно не способна родить даже идиота-дауна.

Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты-дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей, и среди его одноклассников было несколько даунов.

— Одна девочка-даун, звали ее Мирна, писала лучше всех— я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней и не вспоминал!

— А школа была хорошая?

— Я только помню слова нашего директора— он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь провинности и всегда начинал одинаково: «Мне до смерти надоело...»

— Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению.

— У вас такое настроение?

— Вы рассуждаете как боконист, Ньют.

— А почему бы и нет? Насколько мне известно, боконизм— единственная религия, уделившая внимание лилипутам.

Когда я не писал свою книгу, я изучал *Книги Боконона*, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут в короткое четверостишие Боконон вложил ту парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней.

Важничает карлик.
Он выше всех людей,
Не мешает малый рост
Величию идей.

126. ИГРАЙТЕ, ТИХИЕ ФЛЕЙТЫ!

— Все-таки удивительно мрачная религия! — воскликнул я. И я перевел разговор в область утопий и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает.

Но Боконон и об этом подумал, он даже целый том посвятил утопиям. *Седьмой том* своих сочинений он назвал: «Республика Боконона».

В этой книге много жутких афоризмов:

«Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром». «Сначала организующая в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный спорт. После этого можно написать нашу конституцию».

Я обругал Боконона черномазым жуликом и снова переменил тему. Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей. Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли, в Обитель Милосердия и Надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньше величия в смерти бедной Анджелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки *льга-девять*.

— «Играйте, тихие флейты!» — глухо пробормотал я.

— Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют.

Так мог говорить только боконист.

Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккэйб с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там.

На миг я даже бросил руль и развел руками — никакого символа у меня не было.

— А какой, к черту, символ можно найти, Ньют? Какой к черту символ? — Я снова взялся за руль: — Вот он, конец света, и вот он я, один из последних людей на свете, а вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой *карасс*, Ньют. Он день и ночь, может, полмиллиона лет подряд работал на то, чтобы загнать меня на эту гору. — Я покрутил головой, чуть не плача: — Но что, скажите, бога ради, что я должен туда водрузить?

Я поглядел вокруг из машины невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому, старику, сидевшему у обочины.

И тут я затормозил. И остановился. И закрыл глаза рукой.

— Что с вами? — спросил Ньют.

— Я видел Боконона.

127. КОНЕЦ

Он сидел на камне. Он был бос. Ноги его были покрыты изморозью *льда-гевагь*. Единственной его одеждой было белое одеяло с синими помпонами. На одеяле было вышито «Каса Мона».

Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги.

— Боконон?

— Да.

— Можно спросить, о чем вы думаете?

— Я думал, молодой человек, о заключительной фразе *Книг Боконона*. Пришло время дописать последнюю фразу.

— Ну и как — удалось?

Он пожал плечами и подал мне листок бумаги.

Вот что я прочитал:

Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккэйб и лег бы на спину, подложив под голову эту рукопись. И я взял бы с земли синевелую отраву, превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей, и лежал бы на спине, жутко скаля зубы и показывая длинный нос — САМИ ЗНАЕТЕ КОМУ!



„Дай Вам бог здоровья,
мистер Розуотер, или
Не мечите бисера перед
свиньями!”



Печатается по изданию:
Бойня номер пять, или Крестовый поход детей, и другие романы.
М., Художественная литература, 1978.

Элвину Дэвису, телепату,
гругу всякого сброда

«Окончилась вторая мировая война, и вот я в полдень иду через Таймс-сквер и на груди у меня орден Алого Сердца.

Элиот Розуотер, президент
Фонда Розуотера»

1

Хотя это — повесть о людях, главный герой в ней — накопленный ими капитал, так же, как в повести о пчелах главным героем мог бы стать накопленный ими мед.

К 1 июня 1964 года этот капитал выражался в сумме 87 миллионов 472 тысячи 33 доллара и 61 цент. Берем этот день, потому что именно тогда эта сумма предстала перед задумчивым взором жуликоватого юнца по имени Норман Мушари. Прибыль с этой весьма привлекательной суммы равнялась трем с половиной миллионам в год, то есть примерно десяти тысячам долларов в день, считая и воскресенья.

В 1947 году, когда Норману Мушари было всего шесть лет, этот капитал лег в основу некоего благотворительного и культурного фонда. До этого весь капитал принадлежал семейству Розуотеров и занимал четырнадцатое место в ряду крупнейших состояний Америки. Деньги эти были помещены в особый Фонд, с той целью, чтобы налоговая инспекция и всякие другие хищники, не из породы Розуотеров, не могли наложить на них лапу. Весь устав Фонда был составлен весьма замысловато и хитроумно: он гласил, что место Президента Фонда переходит по наследству, как королевский престол Великобритании. Оно неизменно, во все времена, закреплялось за самым старшим из прямых наследников основателя Фонда Листера Эймса Розуотера, сенатора от штата Индиана.

Родные братья и сестры Президента Фонда по достижении совершеннолетия тоже получали пожизненные места в правлении Фонда, если только закон не признавал кого-нибудь из них психически неполноценным. За свою деятельность они имели право широко пользоваться деньгами Фонда, но лишь из дивидендов Фонда.

Как того требовал устав, наследникам сенатора строго воспрещалось трогать основной капитал Фонда. Ответственность за капитал была возложена на другую организацию, созданную одновременно с Фондом, она носила весьма выразительное название Корпорации Розуотера. Как большинство корпораций, она стремилась к постоянному и не зависящему от любых ко-

лебаний наращиванию капитала. Служащим корпорации платили большие деньги. Вследствие этого они были чрезвычайно изворотливы, энергичны и довольны жизнью. Главным их занятием было подрывать акции и шеры других корпораций, второстепенным же занятием было управление деревообделочным заводом, спортивным комплексом, мотелем, банком, пивоваренным заводом, огромными фермами в округе Розуотер в штате Индиана и несколькими угольными шахтами на севере штата Кентукки.

Розуотеровская корпорация занимала два этажа в доме номер 500, на Пятой авеню, в Нью-Йорке и, кроме того, имела филиалы в Лондоне, Токио, Буэнос-Айресе и в округе Розуотер. Ни один из членов фонда Розуотера не имел право давать розуотеровской Корпорации советы относительно помещения основного капитала. А Корпорация, с другой стороны, не имела права указывать Фонду, что делать с огромными прибылями, которые Корпорация зарабатывала для Фонда.

Все эти данные дошли до сведения молодого Нормана Мушари, когда, окончив одним из первых юридический факультет Корнельского университета, он поступил на работу в адвокатскую контору в Вашингтоне, которая выработала уставы Фонда и Корпорации, в фирму Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари был ливанцем по происхождению, сыном бруклинского торговца коврами. Ростом он не вышел, всего пять футов с лишним, зато задница у него была огромная, и так и лоснилась, когда он раздевался. Он был самым низкорослым, самым молодым и, что ни говори, наименее англосаксонским служащим в своей конторе.

Работал он под началом старейшего партнера фирмы, Тэрмонда Мак-Алистера, кроткого милого старичка семидесяти шести лет. Нормана никогда не взяли бы на службу, если бы остальные компаньоны не решили, что хорошо бы помочь Мак-Алистеру взять в делах более жесткий курс.

Никто никогда не приглашал Мушари позавтракать вместе. Он питался в одиночку, в дешевых кафе, упорно думая, как бы сокрушить Фонд Розуотера. Знакомых среди Розуотеров у него не было. Волновало его только то, что капитал Розуотеров был самым крупным кушем, которым ведала фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги. Мушари хорошо понимал, что ему однажды внушал его любимый профессор Ленард Лич¹. Объясняя ему, как сделать карьеру на юридическом поприще, Лич говорил, что совершенно так же, как хороший пилот все время должен высматривать место для посадки самолета, хороший адвокат должен ловить случай, когда большие капиталы переходят из рук в руки.

¹ Лич — пивка (англ.).

— При всякой крупной сделке,— говорил Лич,— наступает магический момент, когда один человек уже выпустил капитал из рук, а тот, к кому должны перейти деньги, еще их не взял. Ловкий юрист должен воспользоваться этим моментом и завладеть капиталом, хотя бы на одну чудодейственную микросекунду, и оторвать хотя бы малую толику, передавая капитал другому владельцу. И если тот, кому причитается это богатство, не привык к большим деньгам, да еще страдает комплексом неполноценности и смутным чувством вины, как это бывает со многими людьми, адвокат вполне может присвоить чуть ли не половину куша, причем наследник еще будет слезно благодарить его за это.

Чем дольше Мушари рылся в секретной документации Фонда Розуотера, тем больше его охватывало волнение. Самой потрясающей ему казалась та графа устава, по которой любой член Правления Фонда, признанный ненормальным, немедленно выводился из состава Правления. В их конторе давно поговаривали, что сам президент Фонда, Элиот Розуотер, сын теперешнего сенатора,— форменный псих. Правда, его так называли как бы в шутку, но Мушари отлично знал, что шуточки до суда не доходят. Как только не называли Элиота сослуживцы— и «придурком», и «святым», и «трясуном», «чокнутым», а то и «Иоанном-Крестителем», словом, по-всякому.

«Хорошо бы устроить этому типу судебную экспертизу»,— рассуждал сам с собой Мушари.

По всем сведениям, следующий кандидат на пост Президента Фонда, какой-то кузен с Род-Айленда, был полным ничтожеством. И когда настанет магический момент, Мушари собирался представлять интересы этого кузена.

Мушари был начисто лишен музыкального слуха, а потому и не знал, что его сослуживцы по конторе дали ему кличку. Когда он входил или выходил, кто-нибудь начинал насвистывать всем известную песенку «Скок-поскок, молодой хорек!».

Элиот Розуотер стал Президентом Фонда в 1947 году. Когда Мушари занялся им, Элиоту было сорок шесть лет. Мушари был вдвое моложе Элиота и воображал себя таким маленьким Давидом, который решил прикончить Голиафа. Выходило, что чуть ли не сам Творец был на стороне маленького Давида, так как вскоре в контору, один за другим, стали поступать совершенно секретные документы, подтверждающие, что Элиот совершенно свихнулся.

В сейфе конторы под замком хранился, например, конверт за тремя печатями с распоряжением передать его в нераспечатанном виде тому, кто станет Президентом Фонда после смерти Элиота.

В конверте находилось письмо Элиота, и вот что там говорилось:

«Дорогой кузен или кто вы есть, поздравляю вас с выпавшей на вашу долю огромной удачей. Живите весело. Может быть, перед вами откроются новые перспективы, если вы будете знать, кто до вас распоряжался и пользовался вашими несметными богатствами. Как и многие крупные американские состояния, капитал Розуотеров был накоплен унылым, страдавшим запорами молодым фермером, верующим христианином, который с самого начала Гражданской войны стал закоренелым спекулянтом и взяточником. Звали этого молодого фермера Ной Розуотер, родом он был из округа Розуотер и приходился мне прадедушкой.

Ной и его брат Джордж унаследовали от своего отца, переселенца-пионера, шестьсот акров пахотной земли, плодородной и жирной, как шоколадный торт, и маленький захудалый пилозавод. Началась Гражданская война. Джордж собрал роту стрелков и пошел с ней на фронт. Ной нанял деревенского дурачка, чтобы тот пошел воевать вместо него, а сам перестроил пилозавод и стал делать штыки и сабли, а на ферме начал откармливать свиней. Так как Авраам Линкольн заявил, что нельзя жалеть никаких затрат, когда речь идет о восстановлении Союза, Ной стал взвинчивать цены на свои товары тем выше, чем больше разрастались народные бедствия. И вот какое он сделал открытие: любой протест правительства — будь то по поводу цен или качества поставок, — можно с легкостью отвести, путем до смешного ничтожных взяток. Он женился на Клеоте Херрик, самой уродливой женщине во всем штате Индиана, потому что у нее было четыреста тысяч долларов. На ее деньги он расширил завод и скупил много ферм все в том же округе Розуотер. Он сделался самым крупным свиноводом на всем Севере. Для того, чтобы не стать жертвой мясников, он купил контрольный пакет акций бойни в Индианаполисе. Опять-таки, чтобы не стать жертвой сталелитейщиков, он купил контрольный пакет акций сталелитейной компании в Питтсбурге. А чтобы не стать жертвой поставщиков угля, он скупил акции множества угольных шахт. И, чтобы не стать жертвой ростовщиков, он учредил собственный банк.

Эта его маниакальная боязнь — стать чьей-то жертвой — заставляла его все больше и больше заниматься ценными бумагами — акциями и шерами — и все меньше и меньше — поставками свинины и оружия. Прodelав несколько мелких экспериментов с обесцененными бумагами, он убедился, что их тоже можно выгодно сбывать с рук. Он все еще продолжал подкупать государственных чиновников, благодаря которым он получал право владения национальными богатствами и сокровищами. Его основным увлечением стала перепродажа ценных бумаг.

Когда Соединенные Штаты Америки, которые должны были стать настоящей Утопией для всех граждан, готовились праздновать свое столетие, то на примере Ноя Розуотера и нескольких

других можно было ясно видеть, какую глупость сделали отцы-основатели в одном отношении: эти предки, жившие, к сожалению, совсем недавно, позабыли издать закон, по которому богатство любого гражданина Утопии, этой Земли Обетованной, должно было иметь свой предел. Вышел этот недосмотр потому, что многие питали сентиментальную симпатию к людям, любящим дорогие вещи, и при этом считали, что этот континент настолько велик и обилен, а население в нем хоть и небольшое, но весьма предприимчивое, что, сколько бы ни разворовывали страну ловкие воры, все равно особых неприятностей от этого никому не будет.

Ной и ему подобные раскусили, что на самом деле ресурсы страны ограничены, но что любого корыстного чиновника, особенно из законодательных органов, можно было легко уговорить, чтобы он расшвыривал изрядные куски земли — лови, держи! — и швырял их именно так, чтобы они попадали в руки таких же ловкачей, как он.

Так кучка жадюг во всей Америке стала распоряжаться всем, что того стоило. Так была создана в Америке дичайшая, глупейшая, абсолютно нелепая, ненужная и бездарная классовая система. Честных, трудолюбивых, мирных людей обзывали кровопийцами, стоило им только заикнуться, чтобы им платили за работу хотя бы прожиточный минимум. И они понимали, что похвал заслуживают только те, кто придумывает способы зарабатывать огромные деньги путем всяких преступных махинаций, не запрещенных никакими законами. Так мечта об американской Утопии перевернулась брюхом кверху, позеленела, всплыла на поверхность в мутной воде безграничных преступлений, раздулась от газов и с треском лопнула под полуденным солнцем.

Нет большей насмешки, чем писать на ассигнациях этой лопнувшей Утопии «E pluribus unum», потому что каждый до нелепости богатый американец есть воплощение той роскоши, тех привилегий и удовольствий, которые недоступны большинству. В свете истории гораздо более поучительным был бы лозунг, созданный всеми Ноями Розуотерами «*Загребай сколько влезет, не то получишь шиш!*»

И Ной родил Сэмюэла, который взял в жены Джеральдину Эймс Рокфеллер. Сэмюэл интересовался политикой куда больше, чем его отец, неумоимо служил республиканской партии, создавая некоронованных королей, подбивал эту партию назначать на посты людей, умевших вертеться как дровишки, бегло вещать по-вавилонски и приказывать полиции стрелять в толпу, если какой-нибудь бедняк вообразит, что он и Розуотер равны перед законом.

И Сэмюэл стал скупать не только газеты, но и проповедников. Он приказывал учить людей одной простой истине, и они хорошо всем внушали: «*Тот, кто воображает, что Соединенные Штаты Америки должны стать Утопией, — скотина, лентяй, безмозглый болван.*»

Сэмюэл орал, что ни один фабричный рабочий в Америке не стоит больше восьмидесяти центов в день. Но сам он был счастлив, что ему удалось выложить сто тысяч долларов, а то и больше, за картину итальянского художника, умершего лет триста тому назад. Еще оскорбительнее было то, что он жертвовал эти картины в музеи, чтобы способствовать духовному росту бедняков.

А музеи по воскресеньям были закрыты.

И Сэмюэл родил Листера Эймса Розуотера, который взял в жены Юнис Элиот Морган. Надо сказать, что Листер и Юнис — не то, что Ной с Клеотой или Сэмюэл с Джеральдиной. Они умели при случае и посмеяться, и как будто вполне искренне. Кстати, как примечание к семейной хронике, можно добавить, что Юнис стала чемпионом Америки по шахматам среди женщин в 1927 году и снова — в 1933 году.

Кроме того, Юнис написала исторический роман про женщину-гладиатора «*Рамба из Македонии*», и книга стала бестселлером в 1936 году. В 1937 году она трагически погибла в Котьюте, штат Массачусетс, когда ее яхта шла под парусом по заливу. Она была очень интересная, умная женщина и вполне искренне беспокоилась о судьбе бедняков. Юнис была моей матерью.

Ее муж, Листер, никогда не был дельцом. Со дня своего рождения до сегодняшнего дня, когда я пишу вам это послание, он всецело предоставил управление своими капиталами адвокатам и банкам. Почти всю свою взрослую жизнь он провел в Конгрессе Соединенных Штатов, проповедуя мораль сначала как представитель области, центром которой является город Розуотер, затем — как сенатор от штата Индиана. Разговоры о том, будто он и есть истинный «хужер» — коренной житель Индианы, — были просто нехитрой политической басней. И Листер родил Элиота.

Об унаследованном им состоянии, о тех обязанностях, той ответственности, которые на него возлагало его богатство, Листер думал примерно столько же, сколько любой человек думает о большом пальце на своей левой ноге. Этот капитал его и не трогал, и не интересовал, и не беспокоил. Он с легкостью отдал девяносто пять процентов этого капитала Фонду, которым Вы в настоящее время должны будете управлять.

Элиот женился на Сильвии Дюврэ-Зеттерлинг, красавице-парижанке, которая в конце концов возненавидела его. Мать Сильвии была меценатом, покровительницей художников. Ее отец был величайшим виолончелистом современности. Дед и бабушка с материнской стороны были из семейства Ротшильдов и Дюпонов.

А из Элиота вышел алкоголик, утопист-мечтатель, балаганный праведник, бестолковый глупец.

И родить он никого не родил.

Bon voyage Вам, дорогой кузен или кто вы там есть. Будьте

щедрым, будьте добрым. Можете благополучно забыть про искусство и науки. Никогда они еще никому не помогли. Будьте искренним, внимательным другом бедняков».

Подпись стояла такая:

Покойный Элиот Розуотер.

Сердце у Нормана Мушари забило тревогу. Он, обзаведясь специальным сейфом, вложил туда письмо Элиота. Недолго пролежит тут в одиночестве эта первая серьезная улика.

Сидя в своем закутке в конторе, Мушари вспомнил, что Сильвия сейчас подала на развод с Элиотом и что старый Мак-Алистер представляет интересы ответчика. Сильвия жила в Париже, и Мушари написал ей письмо, в котором напоминал, что обычно, когда стороны разводятся по обоюдному согласию, полагается возвращать друг другу письма. Он просил ее переслать письма Элиота, если они у нее сохранились.

Обратной почтой он получил пятьдесят три таких письма.

2

Элиот Розуотер родился в 1918 году в Вашингтоне. Как и его отец, который якобы был коренным «хужером», Элиот рос, и воспитывался, и развлекался на Восточном побережье Штатов и в Европе. Каждый год все семейство ненадолго приезжало в свои родные края, округ Розуотер, равно настолько, чтобы как-то оправдать враки, что тут их «родной дом». Элиот окончил колледж без особых успехов в науке и поступил в Гарвардский университет. Он стал опытным яхтсменом, лето проводил в Котьюте, на мысе Код, а во время зимних каникул катался на лыжах в Швейцарии.

Восьмого декабря 1941 года он бросил юридический факультет Гарвардского университета и ушел добровольцем в пехотную часть армии США. Он отличился во многих боях. В чине капитана командовал ротой. Под конец войны в Европе Элиот заболел. Определили его болезнь как переутомление в связи с военной службой. Его отправили в Париж, в военный госпиталь. Там он познакомился с Сильвией и покорила ее сердце. После войны он вернулся в Гарвард со своей очаровательной женой, окончил юридический факультет, выбрал своей специальностью международное право, мечтал заняться полезной деятельностью в Организации Объединенных Наций. Он получил докторскую степень и одновременно стал президентом недавно учрежденного Фонда Розуотера. Согласно Уставу Фонда, он мог по своему усмотрению взять на себя и совершенно пустячные, и весьма значительные обязанности. Элиот решил пойти к делу со всей серьезностью. Он купил особняк в Нью-Йорке, с фонтаном в холле. В гараж поставили машины — «бентли» и «ягуар». Он снял целый этаж под контору в Эмпайр-Стейт-Билдинг. Стены его кабинетов были окрашены в лимонный, оранжевый и светло-серый цвет. Он объявил, что это учрежде-

ние станет генеральным штабом для претворения в жизнь его прекрасных благотворительных и научных планов.

Он много пил, но это никого не беспокоило. Выпить он мог сколько угодно, но никогда не пьянел.

С 1948 по 1953 год Фонд Розуотера израсходовал четырнадцать миллионов долларов. В благодеяния Элиота входила и постройка клиники для контроля рождаемости в Детройте, и покупка полотна Эль Греко для музея города Тампа, штат Флорида. Розуотеровские доллары шли на борьбу с раком, с психическими заболеваниями, с расовой дискриминацией, производом полиции и другими бесчисленными бедами. Фонд помогал университетским профессорам искать истину и покупал все прекрасное, не стесняясь в цене.

По иронии судьбы, одна из проблем, за изучение которой платил Элиот, была борьба с алкоголизмом в Сан-Диего. Но когда ему был представлен об этом доклад, Элиот был так пьян, что прочесть ничего не мог. Сильвии пришлось заехать за ним в его контору и отвезти домой. Человек сто наблюдало, как она вела его по тротуару к машине, а Элиот декламировал им куплетик, который он сочинял все утро:

Много-много доброго я купил,
Много-много скверного сокрушил.

Два дня после этого Элиот провел в полном раскаянии и трезвости, после чего исчез на целую неделю. Между прочим, он ворвался без приглашения на конференцию авторов книг по научной фантастике, в милфордском мотеле штата Пенсильвания. Норман Мушари узнал об этом случае из доклада, хранившегося в делах фирмы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, и сделанного частным сыщиком. Сыщик был нанят старым мистером Мак-Алистером и следовал за Элиотом, проверяя, не сделает ли он чего-нибудь незаконного, такого, что может потом вредно отразиться на делах Фонда.

В отчете было дословно приведено выступление Элиота перед писателями-фантастами. Вся конференция, включая и пьяную речь Элиота, была записана на пленку.

— Люблю я вас, чертовы дети,— сказал Элиот в Милфорде.— Только вас я и читаю. Только вы по-настоящему говорите о тех *реальных* чудовищных процессах, которые с нами происходят, только вы одни, в своем безумии, способны понять, что жизнь есть путешествие в космосе и что жизнь вовсе не коротка, а длится миллиарды лет. Только у вас одних хватает мужества *по-настоящему* болеть за будущее, *по-настоящему* понимать, что с нами делают машины, что с нами делают войны, что с нами делают города, что с нами делают великие и простые идеи, что творят с нами потрясающее непонимание друг друга, все ошибки, беды, катастрофы. Только у вас хватает безграничной одержимости, чтобы мучиться над проблемами времени и бесконечности пространства, над бессмертными

тайнами, над тем фактом, что именно сейчас мы должны решить — будет ли наше путешествие во вселенной адом или раем.

Потом Элиот заявил, что писатели-фантасты писать не умеют ни на грош, но тут же добавил, что это никакого значения не имеет. Он сказал, что они зато поэты, так как они тоньше чувствуют важные перемены, чем другие писатели, хотя те пишут хорошо. «К черту этих талантливых пердунчиков, которые так изысканно изображают какой-нибудь мизерный кусочек чьей-то одной куцей жизнишки, когда решается судьба галактики, зон и миллиардов еще не рожденных душ».

«Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгор Траут,— продолжал Элиот,— и я мог бы пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не смог приехать, потому что ему нельзя бросить работу! И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку? — Элиот даже задохнулся, у него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту:— Он занимается гашением премиальных талончиков!!!»

Это была правда. Траут, автор восьмидесяти семи романов, вышедших в дешевых изданиях, был очень бедный человек, и никто, кроме любителей научной фантастики, о нем не знал. Когда Элиот так тепло о нем отозвался, ему уже пошел шестьдесят седьмой год.

— Через десять тысяч лет,— вещал на конгрессе Элиот,— имена полководцев и президентов будут забыты, и в памяти людей останется единственный герой нашего времени — автор романа *«Бы-Тиль-Небыть»*.

Так называлась одна из книг Траута. И это название, при ближайшем рассмотрении, оказывалось началом знаменитого монолога Гамлета.

Мушари добросовестно стал искать эту книгу, чтобы ее включить в составленную им на Элиота документацию. Ни один уважающий себя книготорговец об этом Трауте никогда не слышал.

Мушари сделал последнюю попытку: стал рыться среди порнографических книжонок у продавца порнолитературы в подворотне. И там, среди всякого пакостного чтива, он нашел истрепанные книжки Траута — всё, что тот написал. За *«Бы-Тиль-Небыть»*, номинально стоившую двадцать пять центов, он заплатил пять долларов и столько же отдал за *«Кама-Сутру»*.

Мушари перелистал *«Кама-Сутру»*, издавна запрещенное восточное руководство по искусству и технике любви, и прочитал там следующее:

«Ежели мужчина сварит некое подобие студня из растений

кассия фистула и згения джамболина, и разотрет в порошок растения вероника антиглистата, эклипса простата, лоджопия прыгата, и смесь эту возложит на лобок женщины, с коей он вознамерился вступить в сношение, он незамедлительно перестанет испытывать к ней страсть».

Ничего смешного Мушари в этих наставлениях не увидал. Он вообще был лишен чувства юмора, так как его всецело поглощали вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Да и умишко у него было настолько куцый, что он вообразил, будто произведения Траута — очень-очень неприличная штука, раз их так дорого продают таким странным людям в таком странном месте. Он не мог понять, что с порнороманами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-то фантастическом мире, где все тебе открыто.

Перелистывая страницы сногшибательной прозы, Мушари чувствовал, что его обманули, он жадно выискивал что-нибудь насчет секса, а ему рассказывали про автоматику. Любимый прием Траута состоял в том, чтобы описывать совершенно гнусный общественный строй, довольно похожий на современное общество, а под самый конец предлагать способы, как улучшить эту жизнь. В романе *«Бы-Тиль-Небыть»* он рисовал гипотетическую Америку, в которой почти всю работу делали машины, и единственные люди, которые могли поступить хоть на какую-то службу, имели три докторских степени. Кроме того, страна была очень перенаселена. Никаких серьезных болезней уже не осталось, так что надо было умирать добровольно, и правительство для поощрения добровольцев-самоубийц воздвигало на каждом углу *Салоны Самоубийств «Этика»*, крытые красной черепицей, и рядом, под оранжевыми крышами, ресторанчики фирмы Говард Джонсон. В салоне хозяйничали прехорошенькие девушки, там царил уют, комфорт, и посетителям предлагалось на выбор четырнадцать способов легкой смерти. Салоны Самоубийств работали бесперебойно, потому что очень многим жизнь казалась глупой и бессмысленной, а добровольная смерть считалась поступком самоотверженным и патриотическим. Перед самоубийством каждый получал бесплатное угощение в соседнем ресторанчике.

И так далее. Воображение у Траута было богатейшее. Один из клиентов спросил хозяйку салона, попадет ли он в рай, и она ответила, что он непременно попадет. Он спросил, увидит ли он Господа Бога, и она сказала:— Ну конечно, миленький!

— Очень надеюсь,— сказал клиент,— уж очень мне охота спросить Его кое о чем. Тут, на земле, ничего нельзя было узнать.

— А чего это вы хотите узнать? — спросила она, затягивая на нем ремешки.

— *На кой черт нужны люди?*

На конференции писателей-фантастов в Милфорде Элиот сказал, что им было бы невредно побольше знать и про секс, и про экономику, и про стилистику, но тут же добавил, что людям, которые по-настоящему занимаются серьезными проблемами, на такие мелочи времени не хватает. И тут он высказал предположение, что еще никто не написал настоящей, хорошей, серьезной, научно-фантастической книги про деньги.

— Вы только подумайте, как дико и бессмысленно распределяются деньги по всей Земле,— сказал он.— И вам вовсе не надо отправляться в антимирры, скажем, в галактику 508-Г на планету Тральфамадор, и там искать каких-то сверхчудищ, облеченных невероятной властью! Посмотрите, какой властью обладает обыкновенный землянин-миллионер! Посмотрите на меня! Ведь я родился голым, как и все вы, но, Боже правый, друзья мои и ближние, ведь теперь я могу тратить тысячи долларов в день!

Он перевел дух и тут же на деле подтвердил свои слова, выписав каждому участнику съезда из грязноватой чековой книжки чек на двести долларов.

— Вот вам фантастика! — сказал он.— А завтра вы пойдете в банк, и все окажется реальностью. Разве это не безумие, что я могу так швыряться деньгами!

На секунду он потерял равновесие, пошатнулся, потом выпрямился и чуть не заснул стоя. С трудом открыв глаза, он проговорил:

— Я предоставляю вам, друзья мои и ближние, и особенно бессмертному Килгору Трауту вникнуть в те глупости, которые люди делают с деньгами, и потом придумать, как разумно распределять их.

Элиот пошатываясь ушел из Милфорда, доехал на попутных машинах до Суортмора, в штате Пенсильвания. Зайдя в небольшой бар, он объявил, что каждый, у кого есть значок добровольной пожарной дружины, может выпить за его счет. Потом он отчего-то расстроился, прослезился и стал жаловаться, что его мучает мысль о том, что возле густонаселенной планеты атмосфера все время пытается сожрать все, что дорого жителям этой планеты. Он, конечно, подразумевал нашу Землю и атмосферный кислород.

— Вы только подумайте, ребята,— сказал он, всхлипывая,— нас с вами это ближе всего касается. А тут еще земное тяготение всех нас связывает. И мы с вами, мы, немногие счастливицы, мы входим в одно братство, мы-то и объединены общим важным делом — не дать этому проклятому кислороду соединиться с нашей пищей, нашим кровом, нашей одежей, погубить наших любимых. Понимаете, ребята, ведь я тоже был членом добровольной пожарной бригады, и я сейчас вступил бы в ее ряды, если бы в этом Нью-Йорке существовала такая гуманная, такая человеческая организация.

Конечно, все это была чепуха — никогда Элиот пожарником не был. Ближе всего он соприкоснулся с этим делом, когда в детстве со всей семьей ненадолго приезжал в Розуотер, фамильные владения. Подхалимы-сограждане, желая подольститься к маленькому Элиоту, сделали его как бы «талисманом» добровольной пожарной бригады. Ни одного пожара он не тушил.

— Я вам говорю, ребятки,— продолжал Элиот,— если эти азиаты налетят на нас на своих летучих дредноутах и остановить мы их не сможем, все наши ублюдки-пустомели, которые знали, как лизать зад у кого надо, а потому и заняли все теплые местечки, все они встретят налетчиков с распростертыми объятиями, на любую работу согласятся, чего только те не потребуют. А знаете, кто схоронится в лесах, с охотничьими ножами и винтовками, кто будет драться до последнего конца, клянусь Богом? Знаете кто? Добровольные пожарные бригады, вот кто!

В Суортморе Элиот попал в кутузку за буйное поведение в нетрезвом виде. Когда он проснулся на следующее утро, полиция позвонила его жене. Он попросил у нее прощения и смиренно приполз домой.

Но через месяц он опять удрал, целую ночь бражничал с пожарными в Кloverлике, в Западной Виргинии, а на другой день пил в Новом Египте, штат Нью-Джерси. Во время этой вылазки он обменялся одеждой с одним пожарником, отдал ему свой костюм ценой в четыреста долларов за двубортный пиджак образца 1939 года, синий в белую полосочку, с плечами высотой со скалы Гибралтара, отворотами, похожими на крылья архангела Гавриила, и брюки с намертво застроченной складкой.

— Спятил ты, вот что,— сказал Элиоту этот пожарник.

— Не хочу быть таким, как я,— ответил Элиот,— хочу быть таким, как ты. Ты — соль земли, клянусь честью! В тебе все то, чем славится Америка. Все вы, на ком такая одежда,— душа американской пехоты!

Так Элиот постепенно обменял весь свой гардероб, кроме фрака, смокинга и одного серого фланелевого костюма. Его шестнадцатифутовый шкаф превратился в плачевную выставку комбинезонов, свитеров, фуфаек, старых роб, курток, тельняшек, солдатских рубах и так далее. Сильвия хотела все это сжечь, но Элиот сказал:

— Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже.

Уже тогда Элиот явно был тяжело болен, но никто не подумал заставить его лечиться, и никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Элиота сумасшедшим.

Маленькому Норману Мушари тогда было всего двенадцать

лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался онанизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенатора Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Элиоте Розуотере он и слыхом не слыхал.

Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Элиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни — политической борьбой — и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Элиота, он заявил, что его это не беспокоит, потому что его сын — человек, хорошо воспитанный.

— У него основа крепкая, стержень в нем есть, — сказал сенатор. — Занимается экспериментами, и всё. Одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов.

Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о Золотом веке Римской империи; в этой речи, получившей довольно широкую известность, он, в частности, сказал следующее:

— Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, а он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборт, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. Как и сейчас, в Америке, чернь открыто нападала на защитников закона и порядка, дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было, даже среди бела дня! И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырлившие иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились честные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римской империи.

Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек, и говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы, после того как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сибаритство и полиглотство: «Лучшей жизни никогда не бывало! Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсю-

да изгнали сексуальное ханжество. Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило ему только подумать о насилии, о прелюбодеянии! А теперь делай что хочешь и радуйся!»

Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники даровщины, те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров, и варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие — дорогу варварам!

Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков — Антония и Клеопатру — в грандиозном морском бою при Акциуме. Не пытайтесь угадать, какие мысли ему приходили в голову при виде Рима, которым он был призван повелевать. Объявим минуту молчания, и пусть каждый как следует поразмыслит о той неразберихе, что царит у нас самих, на сегодняшний день.

Все помолчали примерно полминуты, хотя многим показалось, что прошло тысячелетие.

«Какие же меры принял Цезарь Август, чтобы навести порядок в этом разваленном доме? А сделал он то, что, как нам вечно твердят, никак и никогда делать нельзя, и ничего из этого выйти не может: он создал моральный кодекс и вводил беспощадные законы морали жестоким полицейским насилием, и его полицейские были суровы и шутить не любили. Он объявил вне закона тех римлян, которые вели себя как свиньи. И римлян, которых уличали в свинском поведении, вешали за ноги, сбрасывали в колодцы, скармливали львам, словом, применяли к ним те меры, которые должны были пробудить в них желание вести себя пристойно и благонамеренно. Что же, помогало это или нет? Готов заложить последнюю пару башмаков — еще как помогало! Всех этих скотов как ветром сдуло. А как теперь мы называем годы, наступившие после этих, немислимых в наше время насилий? Не более и не менее, друзья мои и ближние, как «Золотой век Римской империи»!

Что же, неужели я стараюсь внушить вам, что надо следовать этому жестокому примеру! Да, конечно! Дня не проходит без того, чтобы я, в тех или иных словах, не говорил: «Давайте заставим американцев стать такими, какими они должны быть». Стою ли я за то, чтобы негодяев-лейбористов скармливать львам? Могу доставить хоть маленькое удовольствие тем, кто хочет видеть во

мне бронтозавра в первобытной чешуе, и подтверждаю: да, стою. Твердо, безоговорочно. Скормить сегодня же к вечеру, если можно. Но все же придется разочаровать моих критиков: конечно, я шучу. Меня ни в коей мере не привлекают жестокие и необычные способы наказания. Отнюдь! Я просто восхищаюсь, когда вспоминаю, что политика морковки и палки может заставить осла работать и что сделанные этим ослом открытия в наш космический век могут пойти на пользу человечеству».

И так далее. Сенатор сказал, что политика палки и морковки была положена в основу системы свободного предпринимательства еще со времен отцов-основателей, но что всякие благодетели рода человеческого, считая, что нечего людям бороться и добиваться, изгадили эту систему до полной неузнаваемости.

— Подводя итоги,— сказал сенатор,— я вижу перед нами две возможности. Мы можем составить Кодекс моральных законов и силой навязывать эти законы, или мы можем вернуться к Системе Свободного Предпринимательства, в которой воплощена и справедливая догма Цезаря Августа: «Тони или выплывай». Я решительно поддерживаю вторую возможность. Мы должны проявить твердую волю, чтобы снова стать нацией пловцов, и пусть не умеющие плавать спокойно идут ко дну. Я рассказал вам о жестоком веке древней истории. Но на тот случай, если вы забыли, как назывался этот век, позвольте освежить вашу память. «Золотой век Римской империи», друзья мои и ближние, «Золотой век Римской империи»!

Быть может, друзья помогли бы Элиоту выйти из тяжелого состояния, но друзей у него не осталось. Богатых приятелей он оттолкнул, непрестанно повторяя, что их богатство досталось им случайно и незаслуженно, а своих приятелей-художников уверял, что только толстозадые болваны-богачи, для которых это — единственный вид спорта, интересуются их искусством. А своих ученых друзей он спрашивал:

— По-вашему, у людей есть время читать всю эту нудную муру, которую вы печатаете, и слушать ваши нудные лекции? — Когда же он стал восторженно благодарить своих друзей естествоиспытателей за изумительные научные открытия, о которых он постоянно читает в газетах и журналах, и совершенно серьезно уверять этих ученых, что благодаря науке жизнь становится все лучше и лучше, эти люди тоже стали его избегать.

Потом Элиот неожиданно обратился к психоаналитику. Он бросил пить, снова стал заботиться о своей внешности, снова

проявил горячий интерес и искусству и науке, снова сблизился со многими друзьями.

Сильвия была счастлива как никогда. Но через год после начала лечения ее ошеломил звонок психоаналитика. Он отказывался от своего пациента, потому что, согласно жестким канонам школы Фрейда, Элиот лечению не поддавался.

— Но ведь вы его уже вылечили!

— Дорогая моя, если бы я был голливудским шарлатаном, я скромно признал бы свои заслуги, признал бы вашу оценку, принял бы вашу похвалу. Но я не знахарь. У вашего мужа тяжелейший, глубинный, совершенно неподступный, скрытый невроз, такого я еще в своей практике не встречал. Я даже представить себе не могу, в чем природа этого невроза. За целый долгий год лечения мне не удалось ни на йоту пробить его защитный панцирь.

— Но он всегда возвращается от вас в чудесном настроении!

— А вы знали, о чем мы разговариваем?

— Я считала, что лучше его не распространять.

— Об американской истории! Элиот — тяжело больной человек, к тому же он убил свою мать, а отец у него — настоящий тиран. И о чем же он говорит, когда я прошу его дать волю свободным ассоциациям, потоку сознания? Об истории Америки!

Утверждение доктора о том, что Элиот убил свою обожаемую мать, в какой-то мере соответствовало истине. Когда ему было девятнадцать лет, он пошел с матерью на яхте, по заливу Котьют. Он переложил кливер, и тут бимс сбил Юнис Розуотер с палубы, и она камнем пошла ко дну.

— Спрашиваю его, кого он видит во сне, — продолжал доктор, — а он мне отвечает: «Сэмюэла Гомперса, Марка Твена, Александра Гамильтона!» Спрашиваю, когда-нибудь он видит во сне отца? Нет, говорит, зато Торстейн Веблен¹ мне снится очень часто. Миссис Розуотер, я сдаюсь. Я отказываюсь его лечить.

Пожалуй, Элиота даже позабавил отказ доктора.

— Он не понимает этот мой способ лечения и потому отказывается принять его, — заметил Элиот вскользя.

В тот же вечер они с Сильвией поехали в Метрополитен-Опера на премьеру новой постановки «Аиды», Фонд Розуотера заплатил за декорации и костюмы.

Элиот был изумительно элегантен — высокий, во фраке, с приветливой улыбкой на широком порозовевшем лице, с лучистыми голубыми глазами, которые так и сияли в полном душевном покое. Все шло прекрасно до последнего акта оперы, когда героя и героиню запирают в герметически закрытое помещение, где им предстоит смерть от удушья. Когда обреченные любовники сделали глубокий вдох, Элиот крикнул им:

¹ Веблен Торстейн (1857—1929) — американский экономист и социолог.

— Только не пытайтесь петь, дольше продержитесь!

Элиот встал, перегнулся через барьер ложи и начал уговаривать певца и певицу:

— Вы же про кислород ничего не знаете. А я знаю. Поверьте, вам сейчас нельзя петь!

Лицо Элиота вдруг побелело, потеряло всякое выражение. Сильвия дернула его за рукав. Он растерянно взглянул на нее и дал себя увести безо всякого сопротивления — казалось, что она ведет на веревочке воздушный шарик.

3

Норман Мушари узнал, что в тот вечер, когда давали «Аиду», Элиот снова исчез, выскочив из машины на углу Сорок второй улицы и Пятой авеню, когда они ехали домой.

Десять дней спустя Сильвия получила следующее письмо, написанное на почтовой бумаге со штампом Добровольной пожарной бригады города Эльсинор, штат Калифорния. Очевидно, название городка повлияло на его раздумья о себе, потому что он в чем-то отождествлял себя с шекспировским Гамлетом:

«Милая Офелия!

Эльсинор оказался вовсе не таким, как я ожидал, а может быть, их несколько, и я попал не в тот Эльсинор. Правда, школьная команда футболистов назвалась «Смелые датчане». Но вся округа зовет их «Унылые датчане». За три последних года они выиграли один раз, сделали ничью тоже один раз и проиграли двадцать четыре матча. Впрочем, проигрыш неизбежен, когда в полузащиту становится Гамлет.

Когда мы ехали в машине, ты мне сказала напоследок, что нам, по-видимому, надо развестись. Я до сих пор не понимал, что жизнь со мной стала для тебя настолько тягостной. Зато понимаю, что я ничего не понимаю: например, я все еще никак не могу понять, что я и вправду алкоголик, хотя первый встречный сразу все видит.

Может быть, я льщу себе, думая, что у меня много общего с Гамлетом, что и у меня есть важная миссия в жизни, хотя пока что я еще не знаю, как к ней подступиться. У Гамлета было большое преимущество передо мной: тень его отца точно объяснила ему, что надо делать, а я действую безо всяких инструкций. Но что-то мне подсказывает, куда идти, что там делать и зачем это нужно. Не пугайся, никаких голосов я не слышу. Просто чувствую, что есть у меня какое-то предназначение, далекое от той пустой и показной жизни, которую мы ведем в Нью-Йорке. Вот я и брожу.

Брожу...

Для Нормана Мушари было большим разочарованием, когда он прочитал, что Элиот никаких «голосов» не слышит. Но в конце письма определенно чувствовалось безумие: Элиот подробно описывал все пожарные машины Эльсинора, как будто Сильвии только это и было интересно:

...Здесь машины выкрашены в черную и оранжевую полосы, как тигры. Вид потрясающий. В воду они подбавляют химикалии, чтобы струя легче проникала сквозь деревянные стены в пламя пожара. Это, конечно, имеет смысл, если только от химикалий не портятся насосы и шланги. Эти средства стали применять не так давно, и пока их действие проверить трудно. Здесь пожарникам предложил посоветоваться с фирмой, изготавливающей насосы и шланги, и они обещали сделать запрос. Меня они считают очень знаменитым пожарным из столичных мест. Чудесные люди. Они ничуть не похожи на тех пердунчиков и попрыгунчиков, которые стучатся в двери Фонда Розуотера. Они такие, как те американцы, с которыми я встречался на войне.

Наберись терпения, Офелия.

Любящий тебя
Гамлет».

Из Эльсинора Элиот отправился в Вашти, штат Техас, где его сразу арестовали. Он припелся к пожарному депо, небритый, невымытый, и стал объяснять каким-то шалопаем, что правительство обязано разделить поровну все богатство страны, вместо того чтобы одни люди не знали куда девать деньги, а другие нищенствовали. Он без умолку болтал, что попало:

— Знаете, что должны были бы в первую очередь сделать наши вооруженные силы — наша армия, наш флот, наша авиация? Им следовало бы всех бедных американцев переодеть в чистую одежду, без заплаток, хорошо отглаженную, чтобы богатым американцам не стыдно было на них смотреть.

Он и про революцию говорил. Сказал, что наступит она лет через двадцать, и все пойдет отлично, если только во главе станут ветераны-пехотинцы и добровольные пожарные бригады.

Его посадили в тюрьму — подозрительная личность! Выпустили его после допроса, причем никто ничего не понял. Но с него взяли обещание — никогда больше в городе Вашти не появляться.

Через неделю он оказался в городе Новая Вена, в штате Айова. Оттуда он снова написал Сильвии на почтовом листке со штампом тамошней добровольной пожарной бригады. Он называл ее «самой терпеливой женщиной на свете» и обещал, что теперь ей недолго осталось ждать.

«Теперь мне ясно,— писал он,— куда я должен идти. И я отправлюсь туда как можно скорее! Оттуда я тебе позвоню! Быть может, я останусь там навсегда! Мне еще неясно, что я там должен делать, но я уверен, что и это скоро прояснится.

Пелена спадает с моих глаз!

Кстати, я сообщил здешней пожарной бригаде, что им надо бы тоже добавлять в воду химию, но сначала хорошо бы написать фирме, делающей насосы. В бригаде это предложение нашло отклик. Вопрос будет обсуждаться на ближайшем собрании. А я уже шестнадцать часов не пью. И ничуть не страдаю без этой отравы! Привет!»

Получив это письмо, Сильвия тут же велела присоединить к своему телефону записывающее устройство (еще один козырь для Мушари). Сильвия пошла на это, решив, что Элиот окончательно спятил. Она хотела записать каждое слово, когда он позвонит, чтобы узнать, где он находится и в каком состоянии, тогда можно будет за ним приехать.

Вскоре он позвонил:

— Офелия?

— Элиот, Элиот! Милый, где ты?

— В Америке, среди рахитичных сынов и внуков первопоселенцев-пионеров.

— Но где же ты? Где же?

— Да где-то тут, в телефонной будке, алюминиевой, застекленной, и стоит где-то в Америке, а на серой полочке лежат американские монетки — всякая мелочь. На этой же серенкой полочке еще написано одно сообщение — вечным пером.

— О чем это?

— «Шейла Тэйлор — зануда — погразнит — и не даст!» Похоже на правду!

В трубке послышался нахальный гудок.

— Внимание! — сказал Элиот. — Автобус «Борзой» протрубил римскую зорю у автобусной станции, она же бакалейная лавочка. Ого! Старичок-американец отозвался, вот он ковыляет к остановке. И никто его не провожает. А он и не оглянулся, видно, и не ждет, что кто-нибудь пожелает ему доброго пути. В руке у него пакет в оберточной бумаге, перевязан веревочкой. И едет он куда-то, а там, наверное, помрет. Прощается, как видно, с этим городком, другого он никогда не видал, и с этой жизнью, другой он не знал. Впрочем, ему не до того. Зачем ему прощаться со своей вселенной, ему бы только не рассердить могучего водителя автобуса. А тот восседает на своем синем кожаном троне, смотрит сверху вниз, кипит от злости. Беда! Ну вот, влез старичок наконец, справился, а теперь никак не найдет билет! Ага, копался, копался и нашел. А водитель бесится. Дернул автобус так, что все заскрежетало. Вот какая-то старушка переходит дорогу, и гудок взревел на нее так, что стекла зазвенели.

Злоба, злоба, злоба!

— Элиот, а там... там есть река?

— Моя телефонная будка стоит в широкой долине, где проходит открытая канава под названием река Огайо. Сама река отсюда милях в тридцати. В ней водятся огромные карпы, величиной с атомную подлодку, жиреют на помоях, которые выливают сыны и внуки первопоселенцев-пионеров. За рекой видны некогда зеленые холмы штата Кентукки, обетованная земля Дэниэла Буна¹, ныне искромсанная и изрезанная открытыми шахтами, а владеет многими из этих шахт некий благотворительный и культурный Фонд, основанный интереснейшим старым американским семейством по имени Розуотеры.

На противоположном берегу реки владения Фонда несколько разбросаны. Зато миль на пятнадцать вокруг моей телефонной будки, куда ни пойдешь, почти все принадлежит Фонду Розуотера. Впрочем, одной чрезвычайно прибыльной торговли Фонд не коснулся: тут на каждом доме объявление: «Продаются дождевые черви-выползки». Главная здешняя промышленность — не считая свиней и дождевых червей — это производство пил. И разумеется, пилотавод тоже принадлежит Фонду. А так как пилы играют такую важную роль в здешней жизни, то спортивную команду средней школы имени Ноя Розуотера называли — «Бойцы-пильщики». Но, в сущности, на пилотаводе людей уже осталось совсем мало, потому что завод почти полностью автоматизирован. Всякий, кто умеет нажать кнопку, может управлять заводом и делать двенадцать тысяч пил в день.

Мимо моей телефонной будки прогуливается сейчас молодой человек из команды «Пильщиков». Ему, вероятно лет восемнадцать, одет в традиционные сине-белые цвета. С виду он довольно грозен, но, по-моему, и мухи не обидит. Самые лучшие отметки в школе он получал по гражданскому праву и по истории современной американской демократии, а преподавал у них эти предметы тренер по баскетболу. Ему хорошо известно, что, если он совершит какое-либо насильственное действие, он не только повредит всей Американской республике, но и окончательно погубит свою жизнь. Никакой работы для него в розуотеровских краях нет. Да и вообще ему везде чертовски трудно найти хоть какую-то работу. Он часто носит с собой в кармане презервативы, что очень многие считают предосудительным и гадким. Впрочем, тем же людям кажется и предосудительным и гадким, что отец этого мальчика никаких предохранительных средств не употреблял. И вот растет еще один мальчишка, до мозга костей испорченный сытой послевоенной жизнью, еще один красавчик с жадными глазищами. Вот он встретил свою девочку, ей лет четырнадцать, не больше, этакая Клеопатра из мелочной лавчонки, тут бы — непечатное

¹ Дэниэл Бун — персонаж американского фольклора.

слово. По той стороне улицы — пожарное депо, четыре грузовика, три алкоголика, шестнадцать псов и один веселый трезвый малый с банкой полироля.

— Ах, Элиот, Элиот, вернись домой!

— Неужели ты ничего не поняла, Сильвия? Я же *дома*! Теперь я понял: мой дом всегда был тут, в городе Розуотере, в округе Розуотер, в штате Индиана.

— Но что ты там собираешься *делать*?

— Хочу *пригреть* этих людей.

— Как... как это мило! — беспомощно сказала Сильвия. Она была такая бледная, тоненькая, очень холеная и хрупкая. Она играла на арфе, прелестно болтала на шести языках. В детстве и юности она встречала в родительском доме самых знаменитых людей своего времени — Пикассо, Швейцера, Хемингуэя, Тосканини, Черчилля, Де Голля. Она никогда не бывала в Розуотере, понятия не имела, что такое «выползки», не знала, что на свете существует такой смертельно унылый край, что где-то живут такие смертельно скучные люди.

— Вот я и смотрю на этих людей, на этих американцев, — продолжал Элиот, — и вижу, что они ничего для себя сделать не могут, потому что они никому не нужны. И завод, и фермы, и шахты на том берегу — все полностью автоматизировано. Америка в них не нуждается, даже для войны — теперь прошло это время. Сильвия! Я хочу заняться искусством.

— Каким искусством?

— Да искусством любить этих выкинутых из жизни американцев. Хотя они такие бесполезные, такие непривлекательные. Вот это и станет моим искусством.

4

Холст, на котором Элиот задумал создать картину братской любви и взаимопонимания, то есть округ Розуотер, уже послужил полотном для других Розуотеров, которые смело расчертили этот прямоугольный кусок земли вдоль и поперек. Предшественники Элиота опередили даже самого Мондриана¹. Половина дорог шла с востока на запад, другая половина — с севера на юг. По самой середине округа, до его границы, проходил загнивающий канал, длиной четырнадцать миль. Его прорыл прадед Элиота, и канал так и остался единственной реальной попыткой осуществить мечту пайщиков — соединить таким каналом Чикаго, Индианаполис, Розуотер и реку Огайо. Теперь в канале развелись карпы, красноперки, окуни и толстолобики. Охотникам до рыбной ловли и продавали червей для наживки.

Предки тех, кто теперь торговал выползками, были когда-то

¹ Мондриан Пит (1872—1944) — известный нидерландский художник-абстракционист.

пайщиками акционерного общества «Розуотеровский судоходный канал», соединявший Чикаго, Индианаполис и Огайо. Когда планы общества окончательно потерпели крах, разорившимся пайщикам пришлось продать свои фермы. Их скупил Ной Розуотер. Так разорилась целая община на юго-западе округа под названием Новая Амброзия. Эти утописты вложили все свое состояние в постройку канала и все потеряли. Когда-то жители Амброзии, выходцы из Германии, жили коммуной, проповедовали атеизм, многобрачие, абсолютную честность, абсолютную чистоплотность и абсолютную любовь к ближнему. Теперь их развеяло по всему свету, как те обесцененные бумажки, их акции, вложенные в строительство канала. Никто об этих людях и не помнил. Единственный их вклад в жизнь всего округа остался и при Элиоте: выстроенная когда-то этими поселенцами пивоварня, на основе которой вырос знаменитый пивоваренный завод Розуотера «Золотая Амброзия». На этикетке был изображен сказочный город — земной рай, о котором мечтали первые поселенцы Новой Амброзии. Высокие шпили украшали город их мечты. На шпилях высились громоотводы. В небе над шпилями парили херувимы.

Городок Розуотер находился в самом центре округа, а в самом центре городка стоял Парфенон. Весь он, вместе с колоннами, был сложен из честного красного кирпича. Крыт он был зеленой жезью. По городу проходил канал, и когда жизнь тут кипела, пролегали пути Нью-Йоркской железной дороги и узкоколейка Мононовской никелевой компании. Когда Элиот и Сильвия решили переехать на жительство в Розуотер, остался только канал и рельсы Мононовской дороги, но компания эта давно обанкротилась, а рельсы давно заржавели.

К западу от Парфенона стоял старый розуотеровский пилотавод — тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Сверху крыша была продавлена, стекла в окнах выбиты. Ласточки и летучие мыши жили тут коммуной, так сказать, Новой Амброзией. У всех часов, со всех четырех сторон башни, стрелок не было. Медный заводской гудок был забит птичьими гнездами.

К востоку от Парфенона стояло здание окружного суда, тоже из красного кирпича, тоже под зеленой крышей. Башня с часами была копией заводской башни, только тут, на трех часах из четырех, стрелки еще сохранились, но часы все равно не шли. Как гранулема под гнилым зубом, в подвальчике старого здания примостилось некое частное заведение. Над ним светились алые неоновые буквы: «Салон красоты Беллы». Хозяйка салона, Белла, весила триста четырнадцать фунтов.

К востоку от окружного суда простирался Мемориальный парк памяти ветеранов войны имени Сэмюэла Розуотера. Там стоял флашток и рядом — Мемориальная доска. Под Мемо-

риальную доску взяли лист фанеры размером четыре на восемь футов, выкрашенный в черный цвет. Лист повесили на металлическую трубку и приделали защитный козырек всего дюйма в два шириной. На Доске были написаны имена всех уроженцев Розуотеровского округа, отдавших жизнь за родную страну.

В городе было еще два каменных здания — особняк Розуотеров с гаражом, который стоял в глубине парка, на искусственном насыпном холме, окруженный изгородью из острых металлических прутьев, а к югу от особняка стоял дом, где помещалась средняя школа имени Ноя Розуотера, где учились «Пильщики» из футбольной команды. С северной стороны к парку примыкал старый розуотеровский оперный театр — нелепейшее, похожее на свадебный торт, деревянное сооружение, где в любую минуту мог вспыхнуть пожар. Наверно, потому в нем теперь и было устроено пожарное депо. Кроме того, в городе было множество лачуг и общественных уборных, в нем процветали алкоголизм, невежество, тупоумие, разврат и просто глупость, потому что все здоровые, умные и работающие жители розуотеровского округа старались устроиться подальше от этого «центра».

Новое помещение розуотеровского пилозавода, желтое кирпичное здание без окон, стояло между городком и Новой Амброзией. К нему были проложены сверкающие рельсы новой ветки Нью-Йоркской железной дороги и шуршащее шинами шоссе, проходившее в одиннадцати милях от города. Вблизи находился розуотеровский мотель и розуотеровский кегельбан. И тут же стояли огромные элеваторы и загоны для скота, куда свозили зерно и свиней с розуотеровских ферм. Весь немногочисленный обслуживающий персонал — высокооплачиваемые агрономы, инженеры, пивовары — словом, все, кто ворочал делами, — жили в обособленных, удобных домиках, среди поля, неподалеку от Новой Амброзии, причем этот поселок, неизвестно почему, назывался Эвондейл¹. При каждом доме был внутренний дворик, с газовыми фонарями, обнесенный и выстланный шпалами с заброшенной старой Нью-Йоркской железной дороги.

У чистой публики, жившей в Эвондейле, Элиот считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими розуотеровской компании, хозяйство, которым они управляли, принадлежало Фонду Розуотера. Отдавать им приказания Элиот не мог, но все равно он был их королем, и эвондейлцы это отлично понимали.

¹ Эвондейл — долина Эвона — реки в Стрэтфорде-на-Эвоне, родине Шекспира.

И когда король Элиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвондейла — приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Элиот попросил Сильвию принимать этих нуворишей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвондейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно-обиженным видом, будто им, как сострил Элиот, засунули в задницу соленый огурец.

Интересно, что эвондейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с которой их встречали у Розуотеров, можно было объяснить тем, что Розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение Розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами, и они считали, что Сильвия с Элиотом подают им пример, как надо себя вести.

Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотеровского Общественного Народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им лучше не жить на свете. Элиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться, как равные с равными. Элиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом Женского Вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда.

Все подлипалы и подхалимы из Эвондейла стали посматривать на королевскую чету сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, пьянство, разврат, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубовым, словно вода пилой по жести, эвондейлцы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы. Теперь они сами стали правящим классом.

Пять лет спустя Сильвия заболела: в нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвондейла проявили по отношению к роялистам Розуотерам садистическую жестокость. Весь Эвондейл над ними смеялся...

Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Элиот вместе с Чарли Уормерграном, начальником

пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, красном пикапе, с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог, доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Элиота и Сильвию «*мистер и миссис Икс*», а город Розуотер — «*городом Эн в США*». Он придумал новый термин для болезни Сильвии: «*самаратрофия*». Слово, обозначавшее, как он объяснял, «*истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту*».

Норман Мушари читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом.

«Самаратрофия, — читал Мушари, — есть подавление всем сознанием пациента излишне громкого голоса совести. «*Слушайте только меня!*» — вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет, и где он старался жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести.

И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку-совесть в подвал подсознания, накрепко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. И в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя, он уже всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он — Просвещенный Эгоизм.

Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический «Веселый Роджер», где на черном фоне — белый череп, скрещенные кости и надпись: «*Катись к чертям, Джек, я свое взял!*»

Я считал неразумным, — захлебываясь читал Норман Мушари, — снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс. А выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия — не давать совести пациентки снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и хи-

миотерапию и электрошок. Но гордиться мне было нечем: женщину глубокую, вдумчивую я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась, стала похожа на мелкий плавательный бассейн, диаметром фута в три, глубиной в четыре дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой».

Вот это врач!

Вот это лечение!

Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Браун, чтобы она, хотя бы отчасти, могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызения совести, и жалость к ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриализованного общества совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен.

«Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне — зачем я выдумал какую-то болезнь, самаратрофию, когда подавление совести — такая же неотъемлемая черта многих здоровых, нормальных американцев, как, например, их нос. Скажу в свою защиту следующее: самаратрофией заболевают в довольно опасной форме только те, очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему.

Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность самаратрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек этот, понятно, сам мистер Икс. И он так глубоко погряз в благотворительных делах, что, если у него вдруг проснется самаратрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда и его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить».

Лечил, лечил и долечил...

«Мы лечили и вылечили миссис Икс в нашем оздоровительном санатории, и, выписываясь, она выразила желание «начать жить заново, наслаждаться жизнью вовсю», пока не

увяла ее красота. Она все еще была поразительно хороша собой и казалась воплощением доброты, хотя этой доброты в ней уже не было. Ни о городке Эн, ни о мистере Икс она и слышать не хотела, сказала мне, что возвращается к радостям парижской жизни, к своим милым, веселым друзьям. Она заявила, что хочет покупать новые наряды, и танцевать, танцевать до упаду, пока не сомлеет в объятиях высокого смуглого красавца, наверное, иностранца, хорошо бы — тайного агента двух держав.

В разговоре со мной, писал Браун, она часто называла своего мужа «тот дядька с Юга, пьяница, неряха», но, конечно, в лицо ему она этого никогда не говорила. Она совсем не шизофреничка, но, когда муж навещал ее, — а он приезжал три раза в неделю, — ее поведение было весьма странным.словно она играла роль. То она гладила его по щеке, то хотела его поцеловать и вдруг со смехом отшатывалась. Она даже говорила ему, что съездит в Париж ненадолго, только повидать своих любимых родителей, и что она сразу вернется к нему. И она просила передать привет всем их подопечным, всем этим несчастным, милым людям в городке.

Но мистера Икса трудно было обмануть. Он проводил ее в Париж с аэродрома в Индианаполисе, и, когда самолет стал только точкой в небе, он сказал мне, что он ее больше никогда не увидит.

— Бесспорно, вид у нее был счастливый, — сказал он мне, — она, бесспорно, будет чувствовать себя прекрасно, когда опять вернется в свою среду, к той жизни, которой она достойна.

Он дважды сказал «бесспорно». Меня это немного задело. И я интуитивно почувствовал, что он задевает меня намеренно. Так и было.

— И главная заслуга, — сказал он, — бесспорно, ваша».

Родители миссис Икс, разумеется, настроенные по отношению к мистеру Икс весьма неприязненно, сообщили мне, что он ей часто пишет и звонит по телефону. Писем она не читает, к телефону не подходит. И они с радостью подтверждают, что она вполне довольна жизнью, на что, кстати, надеялся и сам мистер Икс.

Прогноз: Со временем — повторение нервного срыва.

Теперь о мистере Икс. Он, бесспорно, тоже болен; мне, бесспорно, не приходилось видеть человека, похожего на него. Из городка он выезжает редко, и то очень ненадолго, и ездит он только до Индианаполиса.

Предполагаю, что он никак не может уехать из городка. А почему?

Позволю себе отступить от чисто научной терминологии,

потому что научный подход совершенно противопоказан врачу, столкнувшемуся с таким пациентом: этот городок предназначен ему Судьбой.

Добрый доктор правильно поставил диагноз: Сильвия стала звездой в интернациональной плеяде «золотой» молодежи, пользовалась огромным успехом, научилась блестяще танцевать все модные танцы, ее прозвали Герцогиней Розуотерской. Многие предлагали ей руку и сердце, но она так наслаждалась вольной жизнью, что думать о браке или разводе ей совсем не хотелось. Но в июле 1964 года с ней снова случился тяжелый нервный срыв.

Ее лечили в Швейцарии. Она вышла из клиники притихшая, печальная и снова почти до невыносимости углубленная в себя. Снова в ней заговорила совесть и жалость к Элиоту и обездоленным жителям Розуотера. Она собиралась вернуться к ним, не оттого, что ей этого очень хотелось, но из чувства долга. Однако лечащий врач предостерег ее: возвращение в Розуотер может оказаться для нее роковым. Он посоветовал ей не уезжать из Европы, развестись с Элиотом и начать вести спокойную, интересную, осмысленную жизнь.

И контора Мак-Алистера, Робджента, Рида и Мак-Ги взяла на себя обязанность культурно и спокойно провести бракоразводный процесс.

И вот пришла пора, когда Сильвии надо было вылететь в Америку, чтобы оформить развод. Июньским вечером сенатор Листер Эймс Розуотер, отец Элиота, назначил встречу в своем вашингтонском особняке. Элиот не приехал. Он не захотел покинуть Розуотер. На встрече присутствовала Сильвия, сам сенатор, старейший партнер адвокатской конторы Тэрмонд Мак-Алистер и его бдительный молодой помощник Норман Мушари.

В этот вечер разговор шел откровенный, даже задушевный, всепрощающий, иногда очень веселый, но, в сущности, глубоко трагический. Пили бренди.

— В глубине души,— говорил сенатор, встряхивая лед в бокале бренди,— Элиот любит тамошнее отребье не больше, чем я. И не будь он все время без просыпу пьян, он не любил бы его никогда. Я постоянно утверждал и буду это утверждать. Все дело в пьянстве. Излечить бы его от пьянства, и вся его жалость к этим поганым червякам, которые копошатся на дне среди человеческих отбросов, испарилась бы бесследно.

Он стукнул кулаком по ладони, покачал головой:

— Ребятушка бы вам родить!

Ему нравилось подражать говору старого фермера-свино-

вода из Розуотеровского округа, хотя сам он воспитывался в колледже Сент-Пол и окончил Гарвардский университет. Сдержив очки в стальной оправе, он уставился на невестку, страдальчески сощуривая голубые глаза.

— Если бы да кабы!

Снова надев очки, он безнадежно развел руками. Руки у него были в старческих пятнах, как щиток черепахи.

— Видно, пришел конец роду Розуотеров.

— Но ведь есть и *другие* Розуотеры,— деликатно напомнил Мак-Алистер.

Мушары передернулся — ведь он и собирался стать представителем именно этих других Розуотеров.

— Я говорю о *настоящих* Розуотерах! — сердито крикнул сенатор. — К черту этих писконтьютцев!

В прибрежном поселке Писконтьют, на Род-Айленде, жили единственные представители другой ветви рода Розуотеров.

— Запируют эти стервятники, запируют! — бормотал сенатор, нарочно терзая себя: он уже видел в воображении, как Розуотеры с Род-Айленда рвут клювами мясо с костей индианских Розуотеров. Он вдруг хрипло закашлялся. Ему стало неловко. К тому же он был заядлым курильщиком, как и его сын.

Он подошел к камину, уставился на цветную фотографию Элиота. Фото было сделано в конце второй мировой войны. С него смотрел молодой капитан пехоты, с множеством орденов.

— Такой чистый, такой статный, такой целеустремленный! Да, такой чистый, чистый, чистый! — сказал сенатор и скрипнул вставными зубами. — Какой благородный ум погибает! — процитировал он.

Он машинально поскреб висок.

— А каким стал он сейчас — рыхлый, бледный — непропеченное тесто, да и только! Спит в белье, а питается чем? Ест хрустящий картофель, пьет виски «Южная услада» и запивает пивом «Золотая Амброзия». — Сенатор постучал пальцем по фотографии: — Он! Он! Капитан Элиот Розуотер, награжден Бронзовой Звездой, Серебряной Звездой, Солдатской медалью, Орденом Алого Сердца первой степени! Чемпион-яхтсмен! Чемпион по лыжному спорту! И это он! Он! Мой бог, сколько раз жизнь твердила ему: «Да, да, да!» Миллионы долларов, сотни выдающихся друзей, самая красивая, умная, талантливая, любящая жена на свете! Блестящее образование, светлый дух в здором, крепком теле. И что же он отвечает жизни, когда она ему говорит: «Да! Да! Да!»? — «Нет! Нет! Нет!» — говорит он. А почему? Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему?

Но все промолчали.

— Была у меня кузина — кстати, из Рокфеллеров, — продолжал сенатор, — и она мне рассказывала, что с пятнадцати до восемнадцати лет она всегда твердила одно и то же: «Нет, спасибо! Нет, спасибо!» Все это вполне мило для молодой девицы из их семьи. Но в юноше из этой же семьи Рокфеллеров это

выглядело бы дьявольски неприятной чертой, а уж для юноши из семейства Розуотеров это было бы совершенно недопустимо.

Он пожал плечами:

— Что ж, ничего не поделаешь, есть теперь у нас в семье Розуотер, который на все хорошее, что предлагает ему жизнь, отвечает: «Нет, нет, нет!» Он даже не желает жить в своем розуотеровском особняке.

Элиот действительно переехал из особняка в конторское помещение, когда узнал, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.

— Ему стоило бровью повести — и он стал бы губернатором Индианы! Он мог бы стать Президентом Соединенных Штатов, ему для этого и стараться бы почти не пришлось. А кто он теперь? Кто он теперь?

Сенатор снова закашлялся и сам ответил на свой вопрос:

— Он теперь нотариус, друзья мои и ближние, обыкновенный нотариус, а скоро и эти его полномочия истекут.

В общем, это было верно. Единственный официальный документ, висевший на сырой фанерной стенке в элиотовской конторе, где все время толпился народ, было удостоверение, дающее ему право оформлять, как нотариусу, всякие бумаги. Кое-кому из множества посетителей, приходивших к нему за советом и помощью, надо было заверять свои подписи.

Контора Элиота находилась на Главной улице, через один квартал, к северо-востоку от кирпичного Парфенона и через дорогу от пожарного депо, отстроенного Фондом Розуотера. Помещалась она в наспех сколоченной мансарде над закусочной и пивной. В мансарде было всего два окошка в глубоких нишах. Вывеска у одного окошка гласила: «Закуска», у другого — «Пиво». Под обе вывески было проведено электричество с мигалками. И когда в Вашингтоне сенатор бушевал, крича о нем, о нем, о нем, Элиот спал, как малое дитя, под миганье электрической рекламы.

На губах Элиота мелькнула улыбка, он что-то ласковое пробормотал, повернулся на бок и захрапел. Бывший спортсмен, человек огромного роста — шесть футов с лишним, — он теперь обрюзг, весил уже двести тридцать фунтов и сильно полысел — только на макушке еще остался вихор. Спал он в длинных, не по росту кальсонах армейского образца, свисавших складками, как шкура у слона. На каждом окне мансарды и у входной двери блестели золотые буквы надписи:

Фонд Розуотера.
ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло.

Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды, казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мокла в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания.

Им было мало доброго отношения и сочувствия и даже денежной помощи — они непременно выпрашивали всякие лекарства.

Кипы бланков лежали везде: налоговые бланки, бланки для удостоверений Союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались, россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива «Золотая Амброзия» и пустые бутылки из-под виски «Южная улада».

На стенах были приклеены всякие картинки — Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов «Лайф» и «Лук». Легкий и прохладный ветерок шуршал сейчас листками, видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости и фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им и портреты Элизабет Тэйлор, потому что они ее ужасно презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие.

— А кто же из них кто? — спрашивали они.

В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там над каждой ступенькой дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачебных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху он написал новые слова — стихи Уильяма Блейка вразбивку, над каждой из двенадцати ступенек. Вот как выглядели эти стихи:

Ангел стоял
Над моей
Колыбелью.
Он мне сказал:
Ты — Радость,
Веселье!

Всех полюби
На земном
Пути,
Ни от кого
Подмоги
Не жди!

А внизу, под лестницей, сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка:

Любовь — утеха для себя:
Другого — полонить, любя,
У милого — покой отнять
И ад на небесах создать.

В данный момент у себя в Вашингтоне, сенатор сказал, что лучше бы и ему и Элиоту умереть — и все.

— А мне... мне пришла в голову одна идея, правда, довольно примитивная, — сказал Мак-Алистер.

— Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности распоряжаться капиталом в восемьдесят семь миллионов долларов.

По усталой улыбке Мак-Алистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан Фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша.

— Я хотел предложить, — сказал Мак-Алистер, — чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться.

Сильвия покачала головой.

— Нет, — прошептала она. — Простите, не могу. — Она полулежала в большом кресле свернувшись калачиком и сбросив туфли. — Нет...

Безукоризненный овал ее бледного до синевы лица был обрамлен черными, как смоль, прядями волос. Темные круги лежали под глазами.

— Нет!

С медицинской точки зрения это было вполне разумное решение. После второго нервного срыва Сильвия, хотя и выздоровела, но стала уже совсем не той Сильвией, какой была в самом начале розуотерской жизни. Она стала другим человеком, и это было третьим ее перевоплощением за годы ее брака с Элиотом. Теперь ее мучило и сознание собственной бесполезности, и стыд за то, что ей были физически противны и те жалкие люди, и антисанитарный быт Элиота, и все же преследовала самоубийственная мысль — преодолеть это отвращение, снова вернуться в Розуотер и погибнуть там ради благого дела.

И сейчас она отказывалась, только следуя врачебным предписаниям, только застенчиво сопротивляясь порыву — безоговорочно принести себя в жертву:

— Нет...

Сенатор сбросил портрет Элиота с каминной доски:

— Кто ж посмеет осудить ее? Неужто можно еще хоть раз переспать с этим пьяным бродягой, хотя он и приходится мне сыном? — Он тут же извинился: — Простите старика, но, когда всякая надежда пропала, невольно сорвется слово, хоть и грубое, зато точное. Простите, пожалуйста!

Сильвия низко наклонила свою прелестную головку и вдруг выпрямилась:

— Но для меня он вовсе не такой — не пьяный бродяга!

— А для меня — такой, честью клянусь! Каждый раз, как приходится его видеть, у меня одна мысль: «Вот рассадник всякой заразы, всяких эпидемий». Не надо шадить меня, Сильвия. Мой сын недостойн быть мужем хорошей женщины. Ему по заслугам досталась эта слюнявская жизнь среди шлюх, симулянтов, сутенеров и воров.

— Нет, папа Розуотер, они совсем не такие скверные.

— А по-моему, Элиота именно и тянет к ним потому, что в них ничего хорошего нет.

Недаром Сильвия пережила два нервных срыва и теперь ничего светлого в будущем не ждала. Ей только и оставалось спокойно, как советовал ее доктор, сказать:

— Мне спорить не хочется.

— Неужели ты еще можешь защищать Элиота?

— Да. И если я сегодня еще ничего не могу объяснить, то одно для меня совершенно ясно. И я вам говорю: Элиот совершенно прав во всех своих поступках. То, что он делает, прекрасно. А у меня просто не хватает сил, доброты не хватает, чтобы помогать ему, быть с ним. И это моя вина.

По лицу сенатора было видно, как его огорчили и озадачили слова Сильвии. Потом он растерянно попросил:

— Но ты сама скажи, что в них хорошего, в этих людях, с которыми Элиот так возится?

— Не знаю.

— Так я и думал.

— Это в них скрыто, — сказала Сильвия умоляющим голосом, чувствуя, что ее против воли, силой втягивают в спор. Но сенатор не понимал, как он ее мучит, и беспощадно продолжал:

— Но ты тут среди своих, неужели ты не можешь открыть нам, что же там в них скрыто?

— То, что они — люди, — сказала Сильвия. Она обвела взглядом все лица, ища в них хоть проблеск сочувствия. Ничего она не увидела. Последним, на кого она посмотрела, был Норман Мушари. Мушари ответил ей отвратительной, похабной и жадной ухмылкой. Сильвия внезапно извинилась, вышла из комнаты, заперлась в ванной и заплакала.

А в Розуотере уже гремела гроза, и пегий пес вылез из пожарного депо, пуская с перепугу слюни, будто заболел водобоязнь. Дрожа всем телом, он остановился посреди мостовой. Улицу скупо освещали фонари, расставленные далеко друг от друга. В полумраке мигала только синяя лампочка над входом

в полицейский участок, помещавшийся в первом этаже здания суда, красная лампочка у пожарного депо, и белая — в телефонной будке, у самой закусочной Кэнди Китчен, около автобусной станции.

Загрохотал гром. Молния превратила все в голубую алмазную россыпь.

Пес с воем бросился к конторе Фонда Розуотера и стал цапаться в дверь. Но Элиот не проснулся. Над его головой, слабо просвечивая, сохла рубашка, колыхаясь под сквозняком, как белое привидение. У Элиота была только одна рубашка. И костюм тоже был только один — замусоленный, синий в белую полоску двубортный костюм, сейчас висевший на ручке двери в уборную. Сшит он был на совесть и все еще держался, хотя лет ему было очень много. Элиот выменял его еще тогда, в 1952 году, у какого-то типа в Новом Египте, штат Нью-Джерси.

И черные кожаные башмаки были единственной обувью Элиота, кожа на них покрылась сетью трещинок, после того как Элиот попробовал почистить их «Самоблеском» — натиркой для паркета, отнюдь не предназначенной для чистки башмаков. Один башмак стоял на столе, другой — в уборной, на краю умывальника. Из каждого башмака торчал рыхлый нейлоновый носок с подвязкой. Подвязка из башмака, стоявшего на раковине, свесилась в воду, намокла, и от нее, по чудодейственному закону капиллярности, вымок и весь носок.

Кроме картинок из журналов, в комнате яркими пятнами выделялись только огромная коробка стирального чудо-порошка «Тайд» и форма пожарника — желтая куртка и красный шлем, — висевшая на крюке у входной двери. Элиот был лейтенантом пожарной бригады. Он без труда мог бы стать и капитаном, и даже начальником дружины, — работал он на пожарах умело и старательно, а кроме того, подарил местным пожарникам шесть новых машин. Но, по собственному настоянию, он оставался в чине лейтенанта.

Так как Элиот почти никогда не уходил из своей конторы и только ездил тушить пожары, все сигналы тревоги передавались через него. Для этого он и установил около своей койки два телефона: по черному телефону он отвечал по делам Фонда, по красному — на вызовы в случае пожара. Когда звонили о пожаре, Элиот тут же нажимал красную кнопку на стене под нотариальным удостоверением. Кнопка приводила в действие оглушительную, как трубный глас в день Страшного суда, сирену под круглой башней на здании депо. И сирена и башня были, разумеется, оплачены Элиотом.

Снова грянул оглушительный удар грома.

— Брось, брось, брось, — забормотал Элиот, не просыпаясь. Даже когда позвонит черный телефон, Элиот проснется не сразу и ответит только на третий звонок. Он возьмет трубку и скажет то, что говорил всегда, в любой час дня и ночи:

— Фонд Розуотера. Что мы можем сделать для вас?

Сенатор воображал, что Элиот связался с преступным миром. Он ошибался. Клиентам Элиота ни смелости, ни ловкости на преступления не хватало. Но Элиот ошибался ничуть не меньше, защищая своих клиентов, особенно перед отцом, банкирами и юристами. Он доказывал, что те, кому он старается помочь,— прямые потомки людей, расчищавших заросли, осушавших болота, строивших мосты, и что эти люди во время войны были становым хребтом американской пехоты — и так далее. Но те, кто постоянно выклянчивали у Элиота помощь, были по большей части куда слабее, да и тупее, чем их предки. А когда сыновьям этих семейств подходило время идти на военную службу, их обычно признавали негодными и по здоровью, и по умственному развитию, и по моральным качествам.

Были среди розуотерских бедняков и люди покрепче, и те из гордости держались подальше от Элиота, с его любовью ко всем, без разбора, огулом. У них хватало упорства — и они старались вырваться из своего городка, искали работы — кто в Индианаполисе, кто в Детройте, а кто и в Чикаго. Найти постоянное место удавалось немногим, но все они хотя бы старались пробиться.

В эту минуту по черному телефону Элиота звонила шестидесятивосьмилетняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей и жить на свете не стоило. Звали ее Диана Луун-Ламперс. Никто никогда не любил ее. Да и любить ее было не за что — до того она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное существование:

— Мамаши моей фамилия была Луун, а папаши — Ламперс.

Помесь Луны и Лампы служила горничной в родовой усадьбе сенатора Розуотера — особняке из фасонного кирпича, где хозяин проводил от силы дней десять в году. В остальные 355 дней Диана была полной хозяйкой двадцати шести комнат. И она одна их убирала, убирала без конца, хотя была лишена даже единственного удовольствия — винить кого-нибудь за беспорядок.

После уборки Диана уходила к себе — она жила над гаражом Розуотеров, рассчитанным на шесть легковых машин. Теперь там стоял только старый фордик марки «*фазтон*» выпуска 1936 года, поднятый на подставки, и трехколесный велосипедик, с пожарной сиреной, на котором когда-то катался маленький Элиот.

У себя дома Диана включала потрескавшийся приемник из зеленого пластика или смотрела картинки в Библии. Читать она не умела. Библия у нее была старая, совсем истрепанная. На тумбочке у кровати стоял белый телефон марки «*принцесса*»,

взятый напрокат в Индианской телефонной компании. За прокат Диана платила, сверх обычной платы, еще семьдесят пять центов.

Вдруг снова грянул гром.

Диана в испуге закричала: «Помогите!» И не удивительно: в 1916 году молния убила обоих ее родителей, на пикнике, устроенном сенатором для служащих лесничества. Диана была твердо уверена, что молния убьет и ее. И оттого, что у нее вечно болела поясница, она не сомневалась, что молния попадет ей прямо в больные почки.

Она схватила трубку телефона, своей белой «принцессы» и набрала номер — единственный номер, который она умела набирать. Стеная и всхлипывая, она ждала, пока ей ответят.

Ответил ей Элиот. Его мягкий, отечески добрый, полный человечности голос прозвучал, как низкие звуки виолончели:

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Опять электричество за мной гоняется, мистер Розуотер. Вот и звоню вам. Уж очень мне боязно.

— Звоните, милая моя, звоните когда угодно, для того я тут и нахожусь.

— Доконает оно меня, не выжить мне.

— Черт его дери, это электричество! — Элиот искренне негодовал. — Вот проклятое, зло меня берет, право! Да как оно смеет мучить нас все время! Свинство, и все!

— Пусть бы уж сразу меня убило, а то все гремит, разговаривает, покою нет.

— Ну нет, не надо! Весь город по вас плакать будет.

— А кому до меня дело?

— Мне, дорогая моя, мне.

— Да кто обо мне пожалеет?

— Я пожалею.

— Да вы-то всех жалеете. А еще кто?

— Многие, многие пожалеют, милая моя.

— Да кого тут жалеть, дуру старую! Мне шестьдесят девятый год пошел.

— Какая же это старость — шестьдесят восемь лет?

— Нет, трудно человеку прожить целых шестьдесят восемь лет и ничего хорошего не видеть. А у меня ничего хорошего в жизни не было. Да и откуда ему быть? Видно, я за дверьми стояла, когда Господь человекам мозги раздавал.

— Да неправда это, неправда!

— Видно, я и тогда за дверьми стояла, когда Господь людям тела раздавал — крепкие да красивые. Я и девчонкой ни бегать не могла, ни прыгать. И вечно хворала, дня не помню без хвори. С самых малых лет то живот пучило, то ноги пухли, с тех самых пор и почки стали болеть. И не было мне входа к Господу, когда он деньги раздавал и удачу. А потом набралась я храб-

рости, вышла из-за дверей и говорю, тихонько так шепчу: «Господи боже, всеблагий, всемогущий, вот она я, бедная, несчастная!» А у него-то уже ничего хорошего и не осталось. И пришлось ему выдать мне нос картошкой, и волосы, что твоя проволока, и голос, как у лягушки.

— Да не похож ваш голос на лягушачий, Диана. Приятный у вас голос.

— Нет, голос у меня как у лягушки,— настаивала Диана.— Там, на небе, и лягушка была, мистер Розуотер. И хотел ее Господь на нашу бедную землю послать. А лягушка эта была умная, старая такая лягува, хитрая. И говорит она Господу, лягува эта: «Нет, Господи, ежели тебе не трудно, оставь меня тут, не посылай родиться на земле, что-то там лягушкам неважно живет. Лучше я тут останусь». И отпустил ее Господь прыгать по небу, а голос от нее взял и мне отдал.

Снова грянул гром. Голос у Дианы стал выше на целую октаву:

— Ох, зачем я не сказала Господу, как та лягушка: «Лучше бы и мне на свет не родиться, тут и для Дианы ничего хорошего нет».

— Ну бросьте, Диана, бросьте! — сказал Элиот и отпил прямо из бутылки глоток «Услады».

— А почки меня день-деньской мучают, мистер Розуотер. Ну прямо будто шаровая молния огнем по ним прыгает, крутится-вертится, а из нее бритвы торчат, острые, ядовитые.

— Плохая штука, ничего не скажешь.

— Еще бы!

— Очень вас прошу, дорогая моя, пойдите вы к доктору, пусть посоветует, что вам делать с этими подлыми почками.

— Да была я у врача. Сегодня ходила к доктору Винтеру, вы же мне сами велели. А он со мной так обращался, будто я — корова, а он ветеринар, да еще под мухой. Он меня крутил, и вертел, и мял, а потом смеется: хорошо бы, говорит, чтоб у всех моих пациентов в Розуотере были такие замечательные почки! Говорит — все это у вас одно воображение. Нет, мистер Розуотер, теперь другого доктора, кроме вас, у меня нету.

— Какой же я доктор, милая моя!

— Все равно. Вы больше болезней вылечили, да еще самых застарелых, чем все доктора во всей Индиане.

— Да что вы, что вы...

— Дейв Леонард нарывами мучился, а вы его вылечили. У Неда Келвина с самого детства глаз как дергался — а теперь все прошло, с вашей же помощью. А Пэрли Флемминг только вас увидела — и костыль бросила. Вот и у меня сейчас почки совсем болеть перестали, как услышала ваш голос, такой ласковый.

— Я рад.

— И гром не гремит, и молнии уже нету.

Гроза и вправду прошла, слышалась только неисправимо сентиментальная песенка дождя.

— Теперь-то вы уснете, дорогая моя?

— Да, спасибо вам. Ах, мистер Розуотер, вам бы при жизни памятник поставить, посреди города, большую такую статую, из чистого золота, всю в бриллиантах, самых драгоценных рубинах, каким и цены нет, а еще лучше бы — целиком из этого самого ураниума; как подумаешь, какого вы знатного рода, какое образование получили, сколько у вас денег и какой вы обходительный, вежливый, ваша матушка вот как хорошо вас воспитала, да вам бы жить в столице, разъезжать в кадиллаках, с самыми важными шишками якшаться, да чтоб вас с оркестром встречали, чтоб весь народ кричал «ура!». Вам бы занимать самое высокое место на свете, глядеть оттуда на нас, бедных, на серость нашу да на глупость и думать, что это там за козявки ползают?

— Ну бросьте, бросьте!

— Вам бы каждый позавидовал! И ведь все у вас было, а вы все бросили, пришли к нам, бедным, на помощь. Думаете, мы этого не понимаем? Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер! Спокойной ночи!

6

— Да, сама природа подает нам сигнал «опасно!», — хмуро сказал сенатор Розуотер Сильвии, Мак-Алистеру и Мушари. — А сколько я их проглядел, этих сигналов. Да, пожалуй, все проглядел!

— Вы не виноваты, — сказал Мак-Алистер.

— Если у человека есть один-единственный сын, — продолжал сенатор, — а его семья всегда славилась людьми волевыми, исключительными, по каким же признакам тогда определять — нормальный у него сын или нет?

— Но вы же не виноваты.

— Но ведь я всю жизнь требовал, чтобы за все свои неудачи человек винил только самого себя.

— Но для кого-то вы, вероятно, делали исключения.

— Очень редко.

— Вот и сделайте такое редкое исключение для самого себя. Вы именно и относитесь к этим исключениям.

— Я ведь часто думаю, что Элиот никогда не стал бы таким, если бы наша местная пожарная бригада не подняла вокруг него всю эту идиотскую шумиху, когда он был мальчишкой. Сделали его, видите ли, «талисманом» бригады, избаловали вконец. Чего только они ему не разрешали — сажали его рядом с первым номером, разрешали звонить в колокол, научили делать

выхлоп на машине, гоготали как дураки, когда у него лопнул глушитель. И от всех от них несло спиртным.

Сенатор замотал головой, прищурился:

— Да, спиртное и пожарные машины — вот оно к нему и вернулось, золотое детство! Не знаю, не знаю, сам ничего не понимаю. Когда мы с ним приезжали в Розуотер, я ему внушал, что это — его родной дом. Но никогда я не думал, что он сдаду этому поверит. Нет, все-таки я себя виню, — сказал сенатор.

— Прекрасно, — сказал мистер Мак-Алистер. — Но если уж вы так решили, возьмите на себя ответственность и за все то, что случилось с Элиотом во время второй мировой войны. Несомненно, вы виноваты в том, что те немецкие пожарники тогда застряли в дыму горящего дома.

Мак-Алистер говорил о том случае в конце войны, который, по-видимому, и вызвал тогда нервный срыв у Элиота. Речь шла о горевшей музыкальной мастерской в Баварии. Предполагали, что там, в густом дыму, засел отряд вооруженных эсэсовцев.

Элиот вел один из взводов своей роты на штурм горящего дома. Обычно он был вооружен автоматом Томпсона, но тут взял винтовку с примкнутым штыком, потому что стрелять не хотел, боясь в густом дыму попасть в своих. Ни разу за все годы этой кровавой бойни он не ткнул штыком в живое тело.

Он швырнул в окно гранату. Раздался взрыв, и капитан Розуотер первым вскочил в окошко. Он очутился в густом облаке дыма, оседавшего у самых глаз. Он задрал голову, чтобы дым не лез в нос; он слышал голоса немцев, но разглядеть никого не мог.

Он шагнул вперед, споткнулся о чье-то тело, упал на другое. Эти немцы были убиты его гранатой. Элиот вскочил — перед ним стоял немец в каске и противогазе.

Элиот был хорошим солдатом: он сразу двинул врага коленом в пах, вонзил ему в горло штык и, выдернув его, разбил немцу челюсть прикладом.

И вдруг Элиот услышал откуда-то рев американского сержанта. Там, как видно, дым рассеялся и сержант орал во всю глотку:

— Стой! Осади назад! Не стрелять, мать вашу так! Тут нет солдат, тут одни пожарные!

Так и оказалось. Элиот убил трех безоружных людей, трех простых деревенских жителей, честно занятых благородным и безусловно нужным делом: они старались спасти постройку от соединения с кислородом.

А когда санитары сняли противогазы с тех троих, кого убил Элиот, оказалось, что это — два старика и мальчишка. Именно мальчишку Элиот убил штыком. С виду ему было лет четырнадцать.

Минут десять Элиот вел себя нормально. И вдруг... И вдруг он вышел на дорогу и спокойно лег прямо под мчащийся на него грузовик.

Грузовик еле успел затормозить — передние колеса чуть не задели капитана Розуотера. Солдаты в ужасе бросились поднимать своего капитана. Оказалось, что все его тело так свело судорогой, что оно все одеревенело — можно было бы поднять его за волосы и за пятки.

Двенадцать часов он не приходил в себя, не двигался, не пил, не ел. Пришлось отправить его в «город-светоч» Париж.

— А в Париже, каким он был в Париже? — допытывался сенатор у Сильвии. — Вам-то он показался вполне нормальным?

— Да, потому я с ним и захотела познакомиться.

— Не понимаю.

— Мой отец выступал со своим струнным квартетом в американском военном госпитале, в отделении для душевнобольных. И там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам, на обед. Помню, как отец представил его нам: «Вот, познакомьтесь: это пока что единственный американец, который прочувствовал, что такое вторая мировая война».

— А о чем же он говорил так разумно?

— Дело не в словах, не в том, что он говорил, а в том, какое он производил впечатление. Помню, как отец о нем рассказывал: «Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, — он презирает искусство. Можете себе представить, *презирает*, — но так мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его, — и должен признаться, что человек, заколовший штыком четырнадцатилетнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать».

— И я его полюбила с первого взгляда.

— Ты не можешь найти другое слово?

— Вместо чего?

— Вместо слова «любовь».

— А разве есть слово прекраснее?

— Нет, конечно, слово то было очень хорошее, пока Элиот не стал им злоупотреблять. Для меня оно испорчено вконец. Элиот сделал со словом «любовь» то, что некоторые делают со словом «демократия». Раз Элиот собирается «любить» всех на свете, кого попало, значит, нам, тем, кто любит совершенно определенных людей по совершенно определенным причинам, надо искать новое слово.

Сенатор взглянул на большой портрет своей покойной жены:

— Например, я любил ее гораздо больше, чем, скажем, негра-мусорщика, вот и выходит, что я, по нынешним понятиям, повинен в одном из самых тяжких грехов — в *дис-крими-нации*.

Сильвия устало улыбнулась:

— Раз нет лучшего слова, можно мне говорить по-прежнему, хотя бы сейчас, сегодня?

— В твоих устах это слово еще имеет смысл.

— Я полюбила Элиота с первого взгляда, и стоит мне о нем подумать — знаю, что люблю.

— Но ты, наверное, очень скоро сообразила, что у тебя на руках человек со странностями.

— Да, он стал пить.

— Вот тут-то и корень зла, именно тут.

— А потом разыгралась эта ужасная история с Артуром Гарвеем Ульмом.

Ульмом звали того поэта, которому Элиот выдал десять тысяч долларов, когда Фонд еще находился в Нью-Йорке.

— Этот несчастный Артур сказал Элиоту, что хочет быть свободным и писать правду, не считаясь ни с какими экономическими трудностями, и Элиот тут же выдал ему огромный чек. Это было на одном приеме, на коктейле, — продолжала Сильвия. — Помню, там был Роберт Фрост, и Сальвадор Дали, и Артур Годфри, словом, много знаменитостей. «Валяйте, черт подери! Расскажите всем правду! — говорит Элиот. — Ей-богу, давно пора. А если вам понадобится побольше денег, чтобы написать побольше правды, приходите опять ко мне». И этот несчастный Артур совершенно ошалел, стал ходить между гостями, всем показывал чек, спрашивал, неужели он настоящий? Все ему говорят — да, чек замечательный, огромный. Он опять подошел к Элиоту, просил подтвердить, что это не розыгрыш, не шутка. И тут он почти что в истерике стал умолять Элиота: «Подскажите мне, что писать?» — «Правду», — говорит Элиот. А тот упрямится: вы, говорит, мой покровитель, я подумал, что вы, именно как мой покровитель, мне... ну... подскажите...

«Вовсе я не ваш покровитель, — говорит Элиот. — Я такой же американец, как вы, который дал вам денег, чтобы вы нам рассказали правду, как она есть. А это совсем другое дело». — «Понимаю, понимаю... Так оно и должно быть. Этого я и хочу. Но просто я подумал — может быть, есть какая-то определенная тема, может, и вы хотели бы...» — «А вы сами выберите тему и смело возьмитесь за нее». — «Слушаюсь!» — И вдруг бедный Артур, сам не понимая, что он делает, вытянулся и отдал честь, хотя, по-моему, он никогда в жизни нигде не служил: ни в армии, ни во флоте. Отошел он от Элиота и опять стал приставать к нашим гостям, все выяснял, чем Элиот особенно интересуется. Потом опять подходит к Элиоту и говорит, что сам он когда-то бродил с фермы на ферму, собирал фрукты. И вот теперь он решил написать цикл поэм о том, до чего эти сборщики фруктов скверно живут.

И тут Элиот выпрямился во весь рост, глаза у него засверкали, он посмотрел на Артура сверху вниз и сказал громко, чтобы все гости слышали: «Сэр! Отдаете ли вы себе отчет, что Розуо-

теры являются не только основателями, но и главными пайщиками акционерного общества «Юнайтед фрут компани»?»

— Ничего подобного,— сказал сенатор.

— Ну конечно,— сказала Сильвия.

— Разве у Фонда Розуотера есть сейчас какие-нибудь акции в этой компании? — спросил сенатор Мак-Алистера.

— Да что-то около тысячи штук,— сказал Мак-Алистер.

— Совершенная ерунда.

— Конечно,— согласился Мак-Алистер.

— Бедный Артур покраснел как рак, куда-то поплелся, потом вернулся и очень робко спросил Элиота, кто его любимый поэт. «Имени его я не знаю, — сказал Элиот,— а жаль: потому что его стихи я запомнил наизусть, а я вообще стихов не запоминаю». — «А где вы их прочитали?» — «На стенке, мистер Ульм, на стене мужской уборной в пивном баре при гостинице «Лесная обитель» между округами Розуотер и Браун, в штате Индиана».

— Очень странно,— сказал сенатор,— удивительно странно. Ведь гостиница «Лесная обитель» давным-давно сгорела, да, сгорела, должно быть, в году 1934, что ли. Странно, что Элиот ее помнил.

— А он там бывал? — спросил Мак-Алистер.

— Один раз, один-единственный, насколько я помню,— сказал сенатор.— Ужасная дыра, воровской притон. Мы бы никогда там не остановились, если бы у нас в машине не заглох мотор. Элиоту было лет десять — двенадцать. Наверное, он воспользовался уборной, наверное, прочел там что-то на стенке и навсегда запомнил.

Сенатор покачал головой:

— Странно, очень странно.

— А какие это были стихи? — спросил Мак-Алистер.

Сильвия заранее извинилась перед обоими стариками — стихи были не совсем приличные — и прочла то, что громко, на весь зал, Элиот когда-то продекламировал несчастному Ульму:

Не мочились никогда мы
В пепельницы ваши,
Не бросайте же окурков
В писсуары наши!

— Бедный поэт заплакал и убежал,— продолжала Сильвия,— а я несколько месяцев подряд со страхом распечатывала все бандероли, боялась, что вдруг там окажется отрезанное ухо Артура Гарвея Ульма!

— Значит, ненавидит искусство,— сказал Мак-Алистер. Он тихоноcko посмеивался.

— Но ведь Элиот — сам поэт,— сказала Сильвия.

— Первый раз слышу,— сказал сенатор.— Никогда никаких его стихов не читал.

— А мне он часто писал стихи,— сказала Сильвия.

— Наверное, он больше всего любит писать на стенках общественных уборных. Я часто думал — да кто же это пишет? Теперь знаю кто: мой сын-поэт.

— А он действительно пишет на стенах в уборных? — спросил Мак-Алистер.

— Да, говорят, что пишет,— сказала Сильвия.— Но пишет он самые невинные вещи, ничего неприличного. Когда мы жили в Нью-Йорке, мне многие говорили, что Элиот постоянно пишет в уборных одну и ту же сентенцию.

— А вы помните, что именно?

— Да. «Если тебя разлюбят или забудут, держись стойко!»

— Насколько я понимаю, это — его собственное творчество.

А в это время Элиот пытался усыпить себя, читая рукопись романа, написанного именно тем самым Артуром Гарвеем Ульмом.

Роман назывался: «Мандрагоре дай гитя». Это была цитата из стихотворения Джона Донна. На тигуле стояло посвящение: «Сострадательной моей Бирюзе — Элиоту Розуотеру». И под этим посвящением — снова цитата из Джона Донна:

Как бирюза нам сострадать умеет:

Хозяин страждет — и она бледнеет.

К рукописи было приложено письмо, где Ульм сообщал, что книга выйдет в издательстве «Палиндромпресс» перед самым рождеством и вместе с книгой «Колыбель эротики» будет выставлена на соискание премии одного из самых крупных литературных клубов.

«Вы, наверное, забыли меня, Сострадательная Бирюза,— писал он дальше.— Тот Артур Гарвей Ульм, которого вы знали, заслуживает забвения. Какой он был трус, какой дурак, воображавший, что он — поэт. Как долго-долго он не мог понять до конца — сколько доброты, сколько благородства крылось в вашей жестокости! Как много вы умудрились рассказать мне о моих недостатках, о том, как мне от них избавиться,— и как мало слов вам для этого понадобилось! И вот теперь (четыринадцать лет спустя) перед вами восемьсот страниц моей прозы. Без вас они никогда не были бы созданы,— я вовсе не хочу сказать «без ваших денег». Деньги — дерьмо, и об этом я тоже пытался рассказать в моей книге. Нет, я говорю о том, как вы настаивали, что надо рассказать правду о нашем больном, тяжело больном обществе, и что слова для такого рассказа можно найти даже на стенах общественных уборных».

Элиот совершенно забыл, кто такой Артур Гарвей Ульм, и тем труднее ему было вспомнить, какие наставления он давал

этому человеку. Сам Ульм писал об этом настолько туманно, что догадаться было невозможно. Но Элиот был очень доволен, что дал кому-то полезный совет, и даже приятно удивился, читая декларацию Ульма:

«Пусть меня расстреляют, пусть повесят, но я выложил им всю правду. Пусть скрежещут зубами фарисеи, извращенцы с Мэдисон-авеню и всяческие ханжи — этот скрежет мне слаще музыки. С вашей вдохновенной помощью я выпустил из бутылки Джинна — всю правду о них, и теперь никогда, никогда не загнать эту правду в бутылку!»

Тут Элиот стал жадно листать рукопись: интересно, какую такую правду открыл Ульм, за что его захотят убить?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я выкручивал ей руку, пока она не разжала колени, вскрикнув то ли от боли, то ли от восторга (разве поймешь женщину?), когда мой Великий Мститель проник в свои владения...»

Элиот вдруг почувствовал неуместное возбуждение.

— Фу ты, пропасть! — сказал он своему продолжателю рода человеческого. — До чего у тебя все некстати!

— Да, был бы у вас ребенок! — повторил сенатор. Но вместе с глубоким сожалением в нем вдруг проснулось раскаяние: как жестоко, подумал он, говорить о нерожденном ребенке с той самой женщиной, которой не дано было произвести на свет это чудо-дитя.

— Прости старого дурака, Сильвия. Понимаю, что ты иногда благодаришь Создателя, что у вас нет детей.

Сильвия, заплакавшись как следует в ванной, теперь как-то неопределенно развела руками, словно пытаясь показать, что она, конечно, была бы рада ребенку, но и жалела бы его.

— Но благодарить Создателя, что его нет, я никогда не стану, — добавила она.

— Можно мне задать один сугубо личный вопрос?

— Жизнь все время задает нам такие вопросы.

— Как по-твоему, есть ли хоть малейшая надежда, что у Элиота еще могут быть дети?

— Но я не видела его три года.

— Но я прошу тебя, так сказать, экстраполировать такую возможность.

— Одно могу добавить, — сказала Сильвия. — Чем дольше мы жили вместе, тем больше любовь для нас обоих превращалась

в какое-то безумие. Он был одержим этой любовью, но иметь своих детей он никогда не хотел.

— Да, если бы только я уделял больше внимания мальчику,— огорченно сказал сенатор, пожевав губами. Он поморщился.— Заходил я к этому психоаналитику, у которого Элиот лечился тогда, в Нью-Йорке, только в прошлом году собрался наконец к нему пойти. Вообще выходит так, будто до всего, что касается Элиота, я дохожу с опозданием лет на двадцать. Дело в том, что я... что мне... мне казалось немыслимым, что такой великолепный экземпляр когда-нибудь может дойти черт знает до чего.

Мушари старался скрыть, с какой жадностью он дожидается клинических подробностей болезни Элиота, и весь напрягся, надеясь, что сейчас кто-то попросит сенатора продолжать рассказ. Но все молчали. И Мушари выдал себя:

— Так что же сказал вам доктор?

И сенатор, ничего не подозревая, стал рассказывать дальше:

— Эти доктора никогда не хотят говорить о том, о чем их спрашиваешь. Всегда сводят на другое. Как только он узнал, кто я такой, он не захотел говорить об Элиоте. Он хотел говорить только о «Законе Розуотера».

Сам сенатор считал «Закон Розуотера» лучшим своим произведением. По этому закону, всякое распространение и хранение непристойных материалов объявлялось государственным преступлением, наказуемым либо штрафом до пятидесяти тысяч долларов, либо тюремным заключением на десять лет, без права выдачи на поруки. Текст закона был настоящим произведением искусства, так как в нем было дано точное определение, что такое «непристойность».

«Непристойность,— говорилось в законе,— есть любая картина, патефонная пластинка или письменное произведение, привлекающее внимание к детородным органам, человеческим выделениям или к волосяному покрову тела».

— Этот психоаналитик все допытывался, какое у меня было детство,— пожаловался сенатор.— Он все хотел узнать, как я отношусь к волосяному покрову тела.— Сенатор передернул ся.— Я вежливо попросил его не касаться этой темы, потому что, насколько я знаю, все порядочные люди питают к ней такое же отвращение, как и я.— Сенатор ткнул пальцем в Мак-Алистера, ему просто надо было к кому-то обратиться: — Вот вам ключ к порнографии. Мне многие говорят: «Но как же вы сумеете отличить порнографию от искусства? Как вы найдете правильный критерий?» Ну и все такое. А я зафиксировал этот критерий в моем законе: «Разница между порнографией и искусством состоит в отношении к волосяному покрову тела».

Тут сенатор покраснел, растерянно извинился перед Сильвией:

— Прошу прощения, моя дорогая.

Мушари снова попытался вызвать его на разговор:

— Значит, доктор *ничего* так и не сказал про Элиота?

— Этот чертов доктор сказал, что Элиот ни черта ему не рассказывал, кроме всем известных исторических фактов, главным образом касающихся того, как притесняли бедняков и людей чудаковатых. Он заявил, что ставить диагноз болезни Элиота значило бы безответственно заниматься пустыми домыслами. Но ведь я — отец, и меня глубоко беспокоит здоровье сына. «Прошу вас, — говорю я доктору, — высказывайте любые догадки насчет моего сына, я снимаю с вас всякую ответственность. Я вам буду весьма благодарен за все, что вы мне расскажете о нем, все равно, верно это или нет, потому что сам я уже много лет его совершенно не понимаю — не знаю, хорошо это или плохо, ответственно или безответственно. Так что вы сами, доктор, поковыряйтесь вашей нержавеющей ложечкой в мозгу у меня, старика». А он говорит: «Но, прежде чем вдаваться во всякие домыслы, ответственные или безответственные, мне придется коснуться всяких сексуальных отклонений. Но так как это затронет и Элиота, что, разумеется, может вас очень огорчить, не лучше ли нам вообще закрыть эту тему?» — «Нет, говорю, валяйте, я ведь сам старый греховодник, а говорят, что старого греховодника ничем не смутишь, при нем стесняться нечего. Правда, я сам раньше так не считал, но давайте попробуем!» — «Хорошо», — говорит он. — Предположим, что молодой, здоровый мужчина должен в норме испытывать сексуальное влечение к привлекательной для него женщине. Разумеется, не к матери, не к сестре; но если он испытывает такое влечение к другим объектам, например к мужчине, или возбуждается при виде зонтика, или страусового боа императрицы Жозефины, или при виде овцы, или покойника, украденных им женских подвязок, или сексуально воспринимает свою мать, — мы его считаем сексуальным психопатом, *человеком извращенным*.

Я ответил, что я, конечно, всегда знал о существовании таких ненормальных, но никогда о них особенно не думал, потому что про них особенно и думать нечего.

«Отлично, — сказал доктор, — у вас спокойное, разумное отношение, сенатор Розуотер, хотя, открывенно говоря, я несколько удивлен. Давайте же сразу установим, что любой случай сексуального извращения есть результат нарушенных и перепутанных контактов в мозгу. Мать-природа и наше общество установили закон, по которому человек должен направлять свое сексуальное влечение на определенный предмет и удовлетворять это влечение именно там и именно так, как положено. Несчастный больной человек, с перепутанными в мозгу контактами, противоясственно возбуждается не тем, чем надо, и с пылом, с полной отдачей совершает какой-нибудь нелепый, чудовищный проступок, и хорошо, если его просто изобьют до полусмерти полисмены, а не растерзает разъяренная толпа».

— Впервые за много лет меня охватил ужас, — продолжал

сенатор, — и я так и сказал этому доктору.

«Отлично, — сказал он опять. — Для врача нет более полного удовлетворения, чем довести несведущего человека до полного ужаса, а потом вернуть ему спокойствие. Конечно, у Элиота контакты в мозгу нарушены и перепутаны, но те несоответственные поступки, на которые он, из-за короткого замыкания, переключил свою сексуальную энергию, не так уж предосудительны». — «На что же он переключился? — спрашиваю, а сам помимо воли думаю, неужели Элиот крадет дамские панталоны или в метро отхватывает ножницами прядь волос у девочек? — Говорите, доктор, скажите мне всю правду, — на что Элиот переключил свое сексуальное влечение?» — «На Утопию», — говорит.

Мушари так расстроился, что от огорчения громко чихнул.

7

У Элиота все больше тяжелели веки, но он пытался дочитать роман «*Мантрагоре дай гитя*». Хотелось найти те места, от которых ханжи скрежетали зубами. Он нашел там описание случая с судьей, которого ославили за то, что он ни разу не дал своей жене настоящего удовлетворения, потом прочел рассказ про агента мыльной фирмы, который в пьяном виде заперся в своей квартире и нарядился в подвенечное платье своей матери. Элиот поморщился, подумал, что, может быть, такие штучки и сгодятся, чтобы дразнить фарисеев, но тут же решил — вряд ли...

Дальше он прочитал, как невеста этого самого агента по рекламе мыла соблазнила папашинного шофера. Первым делом она игриво откусила пуговицу с его форменной куртки. На этом месте Элиот заснул крепчайшим сном.

Телефон прозвонил три раза.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Вы меня не знаете, мистер Розуотер, — сказал раздраженный мужской голос.

— А кто вам сказал, что это имеет значение?

— Я ничтожество, мистер Розуотер, я хуже всякого ничтожества.

— Видно, Создатель тут допустил ошибку?

— Да. Зря он меня создал, ошибся.

— Вы правильно выбрали, кому пожаловаться.

— Что это у вас за учреждение?

— А как вы про нас узнали?

— Увидал в телефоной будке наклейку — такая черная с желтым. А там написано: «САМОУБИЙЦА, НЕ ТОРОПИСЬ ПОКОНЧИТЬ С ЖИЗНЬЮ. ПОЗВОНИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИВАТЬ СЕБЯ, В ФОНД РОЗУОТЕРА!» — и ваш номер телефона.

Такие наклейки были наклеены почти на всех задних стеклах легковых машин, на кузовах грузовиков добровольной пожарной бригады.

— А знаете, что написано там, в телефонной будке, карандашом?

— Нет.

— *«Элиот Розуотер святой. Тебя любит он и денег даст. Но если захочешь чего покрепче, позабористей, звони Мелиссе.— лучшей штучки во всем штате нет»* — и ее телефон.

— Вы в наших краях чужой?

— Я во всех краях чужой. А у вас тут что? Секта какая-то? Новая религия?

— Я лично вдвойне умудренный баптист-детерминист.

— Что, что?

— Я так отвечаю, когда кто-нибудь настаивает, что я, вероятно, проповедую какую-нибудь религию. А такая секта и вправду существует, и, вероятно, люди они хорошие. У них принято омыwać друг другу ноги, и денег их пастыри ни от кого не берут. А я тоже ноги себе мою, а денег ни у кого не беру.

— Не понимаю я вас, — сказал голос.

— Да я шучу, чтобы вы не дичились меня, не подумали, что со мной надо говорить только всерьез. Кстати, вы сами случайно не из этих баптистов-детерминистов?

— Упаси бог, что вы!

— А ведь их сотни две, не меньше, и вполне возможно, что когда-нибудь я скажу одному из них то, что я вам сейчас наболтал. — Элиот отпил глоток виски. — Очень я этого боюсь и знаю, что так и будет.

— Что-то голос у вас нетрезвый. Слышал, как вы чего-то хлебнули.

— Пусть будет так. Но все же, чем я могу вам помочь?

— Да кто вы такой, черт вас побери?

— Правительство.

— Что, что?

— Если я не служитель церкви и все же стараюсь удержать людей от самоубийства, значит, я, очевидно, представитель правительства. Логично?

Голос что-то пробормотал.

— Или же Общая жилетка — плачь в нее, кто хочет.

— Вы, кажется, сострили?

— Я-то знаю, сострил я или нет, а вы сами догадайтесь.

— Может, по-вашему, остроумно и наклейки писать насчет тех, кто решился покончить с собой?

— А вы тоже решились?

— Ну и что?

— Не стану вам приводить два неоспоримых довода, почему стоит жить, не стану рассказывать, как я это открыл.

— А что же вы станете говорить?

— Прошу вас назвать какую-нибудь очень скромную сумму за которую вы согласились бы прожить еще неделю.

Голос молчал.

— Вы меня слышите? — спросил Элиот.

— Слышу.

— Но может быть, вы и не собираетесь покончить с собой? Тогда, пожалуйста, повесьте трубку — телефон может понадобиться и другим людям.

— Мне кажется, вы сумасшедший.

— Но покончить с собой собираетесь вы, а не я.

— А что, если я вам скажу, что и за миллион не соглашусь прожить еще неделю?

— Я вам отвечу: — Ну и помирайте! Попробуйте попросить тысячу.

— Ладно, за тысячу.

— Ну и помирайте! Спустите до сотни.

— Давайте сотню.

— Вот теперь договорились. Зайдите к нам в контору. — Элиот назвал свой адрес. — Собак у пожарной части не бойтесь, — добавил он, — они кусаются, только когда завоет сирена.

Кстати, про эту сирену. Насколько Элиоту было известно, во всем Западном полушарии не было сигнала тревоги громче нее. Она приводилась в действие мессершмиттовским мотором в семьсот лошадиных сил, с электрическим генератором в тридцать лошадиных сил. Во время второй мировой войны эта сирена была главным сигналом тревоги в Берлине. Фонд Розуотера перекупил ее у правительства ФРГ и послал в дар пожарной бригаде от Неизвестного. Когда сирену доставили в город, на грузовике при ней была только короткая записочка: «Привет от друга».

Все записи Элиот вел в тяжелой конторской книге, обычно лежавшей у него под кроватью. Переплет на ней был из черной тисненой кожи, бумага зеленоватая, чтобы глаза не уставали, и все триста страниц разграфлены. Элиот назвал эту книгу «*книга судного дня*». С самого первого дня деятельности Фонда в округе Розуотер Элиот вносил сюда имена каждого своего клиента, все его жалобы и что для него сделал Фонд Розуотера.

Весь том был уже почти заполнен, но только Элиот или покинувшая его жена могли разобраться в этих записях.

Сейчас Элиот записывал данные того самого потенциального самоубийцы, который явился к нему после телефонного разговора и только что ушел в довольно мрачном настроении, словно он хотя и подозревает, что его не то надули, не то осмеяли, но как и почему, понять не может.

«Шерман Лесли Литтл», — записывал Элиот. «ИНД. СКЛ СМБ РАБ МЕТ БЗРБ ЖЕН ЗДЕЙ СР ЭПЛ ВД ФР 300» — это означало, что Литтл родом из Индианаполиса, рабочий-металлист, ветеран второй мировой войны, сейчас безработный, трое детей, средний — эпилептик и что ему выдано из Фонда 300 долларов.

Но чаще вместо денежной ссуды в книге «Отчета» был записан лаконичный рецепт: А.В. Элиот прописывал это средство людям, которые по любой причине, а чаще и вовсе безо всякой причины, впадали в уныние. «Знаете, что я вам посоветую, мой друг: примите таблетку аспирина и запейте водичкой».

ОНМ — означало: «охота на мух». Дело в том, что у многих людей возникала неодолимая потребность сделать для Элиота что-нибудь приятное. Тогда он их просил собраться в определенное время и устроить у него в конторе охоту на мух. Во время самого мушиного сезона такая работа была потруднее чистки авгиевых конюшен, потому что сеток от мух Элиот на окна не вешал, а кроме того, его контора была непосредственно связана с грязнейшей кухней при закусочной в нижнем этаже, откуда через отдушину в полу шел смрадный и сальный чад.

Эта мушиная охота стала настоящим обрядом, и обрядом настолько разработанным, что обычные хлопучки для мух в нем не употреблялись. Мужчины работали по своей системе, женщины — по своей. Орудием мужчин были резиновые ленты, орудием женщин — стаканчики теплой воды с мыльной пеной.

Техника работы с резиновой лентой заключалась в следующем. На ленте делалась прорезь посреди полоски. Лента натягивалась обеими руками, и охотник смотрел в прорезь, как в прицел винтовки, высматривая зазевавшуюся муху, и щелкал лентой, когда муха оказывалась под прорезью в поле зрения. При удачном щелчке муха превращалась в пыль, чем и объяснялся странноватый цвет стенок и деревянных вещей в конторе Элиота, почти сплошь покрытых высохшим пюре из мух.

Техника работы с водой и мыльной пеной заключалась в следующем. Охотница высматривала муху, сидящую на стенке вниз головой. Она осторожно подставляла стаканчик с мыльной пеной под муху, пользуясь тем широко известным в науке фактом, что висящая вниз головой муха, почувяв опасность, срывается в свободном падении вниз дюйма на два прежде, чем раскрыть крылышки. В идеале муха не чувствует опасность, прежде чем стаканчик не окажется прямо под ней. И тут она послушно падает в мыльную пену, где и тонет после недолгой борьбы.

Про этот способ Элиот говорил: «Ни одна женщина в него не верит, пока сама не испробует. Но стоит ей убедиться, что дело идет, она иначе и работать не станет».

В конце книги был записан совершенно черновой набросок романа — Элиот начал его писать несколько лет тому назад, когда впервые понял, что Сильвия больше никогда к нему не вернется.

Отчего души умерших так часто добровольно возвращаются на Землю, где они страдали и умирали, страдали

и умирали, страдали и умирали? Потому что Небеса — Ничто. И над «энтими райскими воротами» надо бы «выпуклить» золочеными буквами:

«ВСЯКОЙ МАЛОСТИ, ГОСПОДИ, ДОЛГО-ДОЛГО ПРЕБЫВАТЬ СУЖДЕНО».

Но райские врата, коим конца-краю не видать, нераска-завшиеся грешники, окаянные души, сплошь исчиркали заборными надписями:

«Добро пожаловать на Всемирную Ярмарку Народного Искусства Болгарии!» — гласит карандашная надпись. А под ней: «Лучше быть красным, чем трупом несчастным», — философствует некий писака.

«Ты не настоящий мужчина, пока не попробовал черного мяса!» — советует кто-то. А другой поправляет: «Ты не настоящий мужчина, если ты сам — не из черного мяса!»

«Кого бы мне тут употребить?» — и ему отвечают: «Смотри «Употребление теоремы профессора Эванса».

А вот и мой вклад:

Тот, кто пишет на стене,
Пусть копается в г..не,
Кто читает — в основном,
Пусть питается г..ном.

«Кубла-Хан, Наполеон, Юлий Цезарь и Ричард Львиное Сердце — просто вонючки!» — заявлял какой-то храбрец. Никто его не опровергал. Да и от самих этих оскорбленных ждать опровержений не стоило. Бессмертная душа Кубла-Хана ныне обитала в убогом теле жены ветеринара из города Лима, в Перу. Бессмертная душа Бонапарта глядела на свет божий из распаренного потного тела четырехнадцатилетнего парнишки, сына надсмотрщика гавани в Котьюте, штат Массачусетс. Душа великого Цезаря коекак прижилась в сифилитическом теле вдовой карлицы с Андаманских островов, а Ричард Львиное Сердце снова попал в плен, после неоднократного переселения душ, и сейчас живет во плоти Коуча Летцингера, жалкого экзгибициониста и любителя рыться в помойках города Розуотера, штат Индиана. Раза три-четыре в год Коуч, с запрятанной в него душой бедного старого Ричарда Львиное Сердце, отправляется на автобусе в Индианаполис, надев для такого случая лишь носки с башмаками, подвязки и длинный макинтош и повесив на шею посеребренный свисток... Приехав в Индианаполис, Коуч идет в ювелирный отдел одного из больших универмагов, где всегда полно невест, выбирающих столовое серебро для будущего хозяйства. Коуч свистит в свой свисток, девушки оглядываются. Коуч распахивает макинтош, сразу запахивает его и бежит со всех ног — ловить обратный автобус в Розуотер.

Скучно на небесах до одури,— писал Элиот дальше в своем романе,— и поэтому большинство усопших становится в очередь на переселение душ, и снова рождаются, снова живут и любят, страдают и умирают, и снова становятся в очередь для нового перевоплощения в земную оболочку. Они ничего не выклянчивают, не выпрашивают для себя: ни расы, ни пола, ни национальности, ни класса. Одного они хотят, одно им и дается — снова прожить в трех измерениях определенный, весьма скудный отрезок времени в оболочке, отделяющей внутренний мир от внешнего.

А в небесах ни внутреннего, ни внешнего мира нет. Путь за Вратами Рая ведет из Никуда в Никуда, из Повсюду в Повсюду. Представьте себе бильярдный стол длиннее и шире Млечного Пути. Не забудьте одну деталь: у этого «стола» безукоризненно гладкая поверхность, на которую наклеено зеленое сукно. Представьте себе Врата в самом центре стола. И каждый, у кого хватит воображения, сразу уразумет, что такое рай, и почувствует душам, которые жаждут снова ощутить разницу между миром внутренним и внешним.

Но как ни тягостен загробный мир, есть среди нас души, не желающие нового воплощения. И я из их числа. Я не возвращался на землю с 1587 года н. э., когда в теле некой Вальпурги Хаусманн меня казнили в австрийском поселке Диллинген. Моему тогдашнему телу было предъявлено обвинение в колдовстве. Услышав это обвинение, душа моя, разумеется, возжелала покинуть мою плоть, в коей она, кстати, обитала уже более восьмидесяти пяти лет. Однако моей душе пришлось остаться в этом несчастном старом теле, когда его привязали к колоде, бросили в тележку и отвезли в ратушу. Там мне разорвали левое плечо и левую грудь раскаленными щипцами. Затем мы проехали через нижние ворота, где мне разорвали правое плечо. Затем меня повезли к дверям больницы, где разорвали правую грудь. И наконец меня вывезли на сельскую площадь. Ввиду того, что я шестьдесят два года была ученой и законно практикующей повитухой, а вела себя так гнусно, мне отрезали правую руку. А потом привязали меня к позорному столбу, сожгли на костре и развеяли мой прах над ближней рекой. С тех пор я на землю не возвращалась.

Обычно те души, чью несчастную плоть здесь так жестоко и медленно пытали и мучили, не хотели возвращаться на нашу добрую, старую землю — этот факт явно говорил в пользу защитников смертной казни, телесных наказаний и жестокой борьбы с преступностью. Но в последнее время начались какие-то странные явления: нашего полку прибыло, многие ни за что не хотят возвращаться, даже те, которые, по нашим стандартам, практически никаких осо-

бенных чудовищных мучений на земле не испытали. Может, ногу ушибли или что-то вроде того. Но они прибывают к нам на небо целыми батальонами, оглушенные, как после контузии, и воют в голос: «Ни за что! Никогда!»

«Что это за люди? — спрашиваю я себя. — Что там с ними стряслось такое невообразимо страшное?» И тут я понимаю, что ответ на мой вопрос я смогу получить, только ожив снова. Придется мне заново родиться.

Только что мне сообщили, меня переселят туда же, где, во плоти, обитает душа Ричарда Львиное Сердце, а именно в округ Розуотер, штат Индиана.

Зазвонил черный телефон Элиота.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Мистер Розуотер, — сказал дрожащий женский голос, — говорит Стелла Вэйкби. — Голос умолк в ожидании ответа.

— А-а, здравствуйте, — ласково сказал Элиот. — Как мило, что вы позвонили! Рад вас слышать! — Он понятия не имел, кто такая эта Стелла.

— Мистер Розуотер, вы сами знаете, что я... я никогда ни о чем вас не просила.

— Знаю, конечно, знаю.

— У других людей бед меньше, а беспокоят они вас куда чаще.

— Я это за *беспокойство* не считаю. Правда, одни чаще обращаются, другие реже.

С Дианой Луун Ламперс Элиот так часто возился, что перестал отмечать в книге, когда и чем он ей помог. Сейчас он наугад добавил:

— А я часто думал, какое тяжкое бремя вам выпало на долю, очень тяжело...

— Ох, мистер Розуотер, если бы вы только знали... — Она громко зарыдала: — Ведь мы всегда говорили — мы за *сенатора* Розуотера, а вовсе не за этого *Элиота*. Мы всегда жили самостоятельно, чего бы это ни стоило. Сколько раз, бывало, прохожу на улице мимо вас и нарочно отворачиваюсь. И вовсе не потому, что я против вас, просто хотелось показать, что мы, Вэйкби, ни в чем *не нуждаемся*.

— Я так и понимал. И очень за вас радовался.

Элиот, конечно, не помнил, чтобы какая-то женщина от него отворачивалась на улице, да и выходил он из дому так редко, что у этой бедной Стеллы вряд ли была возможность проявлять свои чувства по отношению к нему. Он правильно догадывался, что живет она в горькой нужде где-то на окраине, редко показывается на людях в своем отрепье и только воображает, что и она как-то причастна к жизни города, и что все ее знают, вполне возможно, она как-то раз и прошла по улице мимо Элиота, но этот единственный раз превратился в ее воображении в тысячу небывших встреч, и, как игра светотеней, перед ней возникали

самые разнообразные драматические ситуации.

— Нынче ночью мне никак не спалось, вот и вышла побродить...

— Видно, вы часто так прогуливаетесь.

— Господи, мистер Розуотер, я и в полнолуние брожу, и когда месяц молодой, да и темной ночью расхаживаю.

— А сегодня еще и дождь идет.

— Дождь люблю.

— И я тоже.

— Нынче вышла, смотрю — у соседей свет горит.

— Слава богу, что соседи близко.

— Постучала я к ним, они меня впустили. И я им говорю: «Мне помочь надо, мне без помощи никак нельзя, не знаю, куда мне деваться, так дальше жить нельзя, да и неохота мне жить, если сейчас меня не выручат. Не могу я больше стоять за сенатора Розуотера, больше мне невоготу...»

— Полно, полно, не плачьте!

— Вот они и посадили меня в машину, повезли к телефонной будке и говорят: «Ты позвони Элиоту, он тебе поможет». Вот я и позвонила.

— Хотите сейчас ко мне зайти, голубушка, или подождем до завтра?

— До завтра... — неуверенно повторил голос.

— Вот и чудесно. В любое удобное для вас время, дорогая моя.

— Значит, до завтра.

— До завтра, голубушка. И день, наверное, будет славный.

— Слава Богу!

— Что вы, что вы!

— Ох, мистер Розуотер, спасибо Господу, что вы живете на свете!

Элиот повесил трубку. Тут раздался телефонный звонок.

— Фонд Розуотера. Чем могу помочь?

— Во-первых, пойди к парикмахеру. Во-вторых, купи себе новый костюм.

— Что, что?

— Элиот!

— Я.

— Ты даже не узнал мой голос.

— Я... я... виноват...

— Да это же твой отец, черт побери!

— Отец? Неужели ты? — Голос Элиота был полон любви, нежности, изумления. — До чего же я рад тебя слышать!

— Но ты меня даже не узнал!

— Прости... Тут мне звонят без конца, сам знаешь.

— Ах, звонят, и даже без конца?

— Ну ты же знаешь...
— Да, к сожалению, знаю.
— Ну, а ты как?
— Блестяще! — Голос сенатора был полон сарказма. — Лучше некуда!

— Как я рад за тебя.
Сенатор послал его подалше.
— Что с тобой, отец?
— Не смей со мной разговаривать как с пьяным дураком. Я тебе не сутенер какой-то! Я тебе не идиотка-прачка!

— Но что у такого сказал?
— Тон у тебя противный!
— Прости.
— Чувствую, сейчас начнешь советовать: «Примите таблетку аспирина, запейте глотком вина». Не смей со мной разговаривать *свысока!*

— Прости.
— Мне не нужно, чтоб за меня вносили деньги на покупку мотоцикла.

Элиот действительно сделал последний взнос за одного клиента в уплату за мотоцикл. Через два дня клиент разбился на смерть вместе со своей подружкой около Блумингтона.

— Конечно, знаю.
— Конечно, он все знает! — сказал сенатор кому-то в сторону.
— Отец... Голос у тебя такой *сердитый*, такой *несчастный*. — В голосе Элиота звучала искренняя тревога.

— Пройдет.
— Тебя что-то беспокоит?
— Пустяки, Элиот, мелочи. Мелочи, например, то, что семейство Розуотеров вымирает.
— Почему ты так *решил*?
— Только не говори мне, что ты забеременел.
— Но ведь есть еще наши родственники с Род-Айленда.
— Спасибо, утешил. А я совсем было запомнил, что они существуют.

— Сколько иронии у тебя в голосе.
— Видно, телефон испорчен. А ты расскажи мне, что там у вас хорошего? Подбодри старого пердуна.

— Мэри Моды родила близнецов.
— Отлично! Отлично! Превосходно! Лишь бы хоть кто-то служил продолжению рода человеческого. Лишь бы хоть у кого-то появлялось потомство. Лишь бы хоть кто-то продолжал размножаться. Как же мисс Моды назвала новорожденных, этих маленьких граждан?

— Фокскрофт и Мелоди.

— Элиот...

— Да, сэр?

— Пожалуйста, посмотри хорошенько на самого себя.

Элиот послушно оглядел себя со всех сторон. Насколько можно было видеть себя без зеркала.

— Посмотрел.

— А теперь спроси себя: «Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?»

И Элиот послушно и без всякой иронии громко повторил:

— Может быть, это сон? Неужели я мог дойти до такого жуткого состояния?

— Что же ты ответишь?

— Что это не сон,— сказал Элиот.

— Разве тебе не хочется, чтобы все *оказалось* сном?

— А каким бы я проснулся?

— Таким, каким тебе *слегует* быть. Каким ты всегда *был*.

— Хочешь, чтобы я снова стал покупать картины в дар музеем? Ты стал бы мной гордиться, если бы я выдал два с половиной миллиона долларов на покупку картины Рембрандта «*Аристотель созерцает бюст Гомера*»?

— Зачем доводить наш спор до полного абсурда?

— Это не моя вина. Виной те люди, которые отдают такие деньги за такие картины. Я показал репродукцию этой вещи Диане Луун Ламперс, и она сказала: «Может, я темный человек, мистер Розуотер, но я бы такую картинку у себя в комнате ни за что не повесила».

— Слушай, Элиот...

— Да, сэр?

— Ты бы узнал, что о тебе думают в Гарварде.

— А я отлично знаю.

— Вот как?

— Они меня обожают. Посмотрел бы, какие письма мне от туда пишут.

Сенатор подумал, что зря хотел поддеть Элиота насчет Гарварда и что Элиот действительно говорит правду про письма из этого университета, полные глубочайшего уважения.

— Бог мой,— сказал Элиот.— В конце концов, с самого основания Фонда Розуотера я этим людям выдавал по триста тысяч долларов в год, аккуратно, как часы. Ты бы почитал их письма.

— Элиот...

— Да, сэр?

— Сейчас, по странной иронии судьбы, наступает некий исторический момент, когда сенатор Розуотер, представитель штата Индиана, сам задаст собственному сыну вопрос: «Не коммунист ли ты сейчас или не был ли ты когда-либо коммунистом?»

— Бог ты мой. Как сказать, многим, конечно, мои мысли могут показаться близкими к коммунизму,— сказал Элиот просто-душно.— Когда общаешься с бедняками, нельзя не столкнуться с тем, о чем писал Маркс, а кстати, и с тем, о чем говорится в Библии. Честное слово, по-моему, сущее безобразие, что у нас в стране люди не хотят делиться всеми благами. И со стороны

правительства просто жестоко разрешать одним детям с самого рождения владеть огромной долей национального богатства — я сам тому пример, — а другим ничего не давать и держать в нищете с первых дней жизни. По-моему, государство могло бы, по крайней мере, оделять всех младенцев поровну с самого рождения. Жизнь и так трудная штука, зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? У нас в стране всего хватит на всех, если только делиться между собой по справедливости.

— Что же тогда будет для людей движущей силой?

— А что, по-твоему, движет ими сейчас? Страх, что есть нечего будет, доктору платить нечем, что ребятам надеть нечего, что нет хорошей, удобной, уютной квартиры, настоящего образования, нет возможности хорошо отдохнуть, развлечься. Или стыд за то, что не знаешь, где Денежный Поток?

— Это еще что такое?

— Там, где деньги текут рекой, откуда потоком льются богатства нашей страны. Мы родились на его берегах, как и многие ничем не примечательные люди. С ними мы росли, с ними ходили в привилегированные частные школы, плавали на яхтах, играли в теннис. Мы могли вволю налакаться из этого Денежного Потока. И даже учились, как бы вылакать побольше.

— Как это «учились лакать»?

— Да брали уроки у адвокатов. Консультировались у специалистов по налогам, у биржевиков. А родились мы настолько близко к этому Поток, что и мы сами, и поколений десять наших потомков могут хоть захлебнуться в этом богатстве, запросто черпать оттуда деньги ковшами, ведрами, чем угодно. А нам все мало, приглашаем специалистов, а они нас обучают, как пользоваться акведуками, плотинами, затонами, резервуарами, механическими ковшами, рычагом Архимеда. И к нашим наставникам тоже течет богатство, а их дети тоже платят, чтобы их научили, как вылакать денежек побольше.

— А я и не подозревал, что лакаю деньги.

Но Элиот так увлекся своими обобщениями, что отвечал отцу как-то бесчувственно, мимоходом:

— Оттого, что лакаешь с самого рождения. Такой человек не понимает, когда бедняки про нас говорят: «Вот налакался!», не поймет, если при нем скажут: «Деньги текут рекой». А ведь многие утверждают, что никакого Денежного Потока нет. А я, как их услышу, всегда думаю: «Бог мой, какая наглая ложь, какая безвкусица!»

— Ты меня радуешь — заговорил о хорошем вкусе, — съязвил сенатор.

— Неужели ты хочешь, чтобы я снова слушал оперы? Неужели ты хочешь, чтобы я построил образцовый особняк в образцовом поселке и опять ходил на яхте с утра до вечера?

— Кому какое дело, чего бы я хотел...

— Допустим, что живу я сейчас не в Тадж-Махале. А почему мне жить хорошо, когда другие американцы живут так скверно?

— Может быть, перестань они верить во всякую чепуху, вроде твоего Денежного Потока, да возьмиись как следует за работу, они и жить стали бы не так скверно.

— А если нет Денежного Потока, откуда же ко мне каждый день притекает десять тысяч долларов? Хотя вся моя работа — дремать да почесываться и еще изредка отвечать на телефонные звонки?

— Пока еще у нас в Америке каждый может нажать капитал.

— Конечно, лишь бы еще смолоду кто-то показал ему, откуда деньги льются рекой, разъяснил, что честным путем ничего не добиться, что настоящую работу лучше послать к чертям, забыть, что каждый должен получать по труду и всякую такую ерундистику, и просто подобраться к Денежному Поток. «Иди туда, где собрались богачи, заправились, сказал бы я такому юнцу, поучись у них, как обдeldывать дела. Они падки на лeсть, но и запугать их легко. Ты к ним подольстись как следует или пугни их как следует. И вдруг они безлунной ночью приложат палец к губам — тише, мол, не шуми, и поведут тебя во тьме ночной к самому широкому, самому глубокому Денежному Поток. И тебе укажут, где твое место на берегу, и выдадут тебе персональный черпак — черпай себе вволю, лакай вoвсю, только не хлюпай слишком громко, чтобы бедняки не услышали...»

Сенатор крепко выругался.

— Что ты, отец, зачем ты так? — Голос Элиота прозвучал очень ласково.

Сенатор выругался еще крепче.

— Почему в наших разговорах каждый раз возникает такая горечь, такая напряженность? Я так тебя люблю.

— Ты похож на человека, который встал бы на углу с роликом туалетной бумаги, где на каждом квадратике написано: «Я вас люблю». И всякому, кто бы ни прошел, выдавал бы такой квадратик с надписью. Не нужна мне твоя туалетная бумажка.

— Не понимаю, какое тут сходство с туалетной бумагой?

— Пока ты не бросишь пить, ты вообще ничего не поймешь. — Голос сенатора дрогнул: — Передаю трубку твоей жене. Ты понимаешь, что ты ее потерял? Понимаешь, какой она была прекрасной женой?

— Элиот?.. — испуганно, чуть слышно окликнула его Сильвия.

Бедняжка весила не больше, чем подвенечная фата.

— Сильвия. — Голос звучал суховато, твердо, без волнения. Элиот писал ей тысячу раз, звонил без конца. И сейчас она с ним впервые заговорила.

— Я... я понимаю, что вела себя нехорошо.

— Зато вполне по-человечески.

— А разве я могла иначе?

— Нет.

— А кто мог бы?

— Насколько я понимаю, никто.

— Элиот...

— Да?

— Как... как они все?

— Здесь?

— Везде.

— Прекрасно.

— Я рада.

Пауза...

— Если я начну расспрашивать про... про кого-нибудь, я заплачу.

— Не спрашивай.

— У кого-то родился ребенок?

— Не спрашивай.

— Ты, кажется, сказал отцу, что кто-то родил.

— Не спрашивай.

— У кого ребенок, Элиот? Скажи, я хочу знать.

— О господи боже, не спрашивай.

— Скажи, скажи мне!

— У Мэри Моды.

— Близнецы?

— Ну конечно.

И тут Элиот выдал себя с головой: он явно не питал никаких иллюзий насчет тех, кому посвятил свою жизнь.

— И вырастут они, наверное, поджигателями,— добавил он, так как семейство Моды славилось не только частым рождением близнецов, но и преступными поджогами.

— А малыши славные?

— Да я их не видел,— сказал Элиот раздраженным тоном, которым он не говорил с ней при других.

— А ты им уже послал подарок?

— С чего ты взяла, что я все еще рассылаю подарки? — Речь шла о том, что Элиот обычно посылал в подарок каждому новорожденному в округе акцию одной из своих машиностроительных компаний.

— Разве ты больше ничего не посылаешь?

— Ну рассылаю, рассылаю.— По его тону было слышно, как ему это осточертело.

— Голос у тебя усталый.

— Телефон плохо работает.

— Расскажи, какие у тебя новости?

— Моя жена по совету врачей разводится со мной.

— Неужели нельзя обойти эту новость?

Сильвия не шутила, горечь звучала в ее голосе: зачем касать-

ся этой трагедии? Не надо было обсуждать.

— Топ-топ, обошли,— равнодушно сказал Элиот.

Элиот отпил глоток «Южной улады», но не наслаждался, а закашлялся.

Закашлялся и его отец. Это было случайное совпадение: отец с сыном, оба безутешные, оба — неудачники, одновременно раскашлялись. Кашель услышала не только Сильвия, но и Норман Мушари. Мушари, незаметно выскользнув из гостиной, нашел отводную трубку в кабинете сенатора, и уши у него так и горели, когда он подслушивал разговор с Элиотом.

— Что ж, мне, наверное, пора проститься с тобой,— виновато сказала Сильвия. Лицо у нее было залито слезами.

— Это уж пусть решает твой врач.

— Передай — передай всем привет.

— Непременно, непременно!

— Скажи, что я постоянно вижу их во сне.

— Это для них большая честь.

— Поздравь Мэри Моды с рождением близнецов.

— Обязательно. Завтра буду их крестить.

— Крестить? — Этого Сильвия не ожидала.

У Мушари забегали глаза.

— Я... я не знала, что ты... что ты этим занимаешься,— опасно проговорила Сильвия.

Мушари с удовольствием услышал тревогу в ее голосе. Подтверждались все его подозрения: безумие Элиота явно прогрессировало, и он уже начинал впадать в религиозное помешательство.

— Мне никак нельзя было отказаться,— сказал Элиот.— Она не отставала, а больше никто не соглашается.

— Вот как! — Сильвия облегченно вздохнула.

Но Мушари ничуть не огорчился. В любом суде это крещение могло послужить неоспоримым доводом, что Элиот считает себя Мессией.

— Я ей объяснял, объяснял,— сказал Элиот, но Мушари пропустил мимо ушей это оправдание — в мозгу у него были для этого специальные клапаны.— Говорю: я к религии отношения не имею и на небесах никакие мои действия все равно не зачтутся, но она уперлась и никак не отставала.

— А что ты будешь говорить? Что будешь делать?

— Сам не знаю.— Элиот явно оживился, словно вдруг исчезли и усталость и огорчение, видно, ему вдруг понравилась эта мысль. Он даже неурочно улыбнулся.

— Я, наверное, зайду к ней в лачугу. Окроплю близнецов водичкой, скажу: «Привет, малыши. Добро пожаловать на нашу землю. Тут жарко летом, холодно зимой. Она круглая, влажная и многолюдная. Проживите вы на ней самое большее лет до ста. И я знаю только один закон, дети мои:

НАДО БЫТЬ ДОБРЫМ, ЧЕРТ ПОДЕРИ!»

В этот же вечер Элиот и Сильвия договорились встретиться через три дня, вечером, в апартаментах «Синяя птица» отеля «Марот» в Индианаполисе, чтобы окончательно распроститься. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным — оба что-то шептали, жаловались на одиночество, и наконец решили встретиться и договориться.

— Элиот... А может быть, не надо?

— По-моему, надо.

— Надо...— как эхо повторила она.

— Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?

— Да.

— Такова жизнь.

Сильвия покачала головой:

— Любовь... Какое это проклятье...

— Все будет хорошо, обещаю тебе.

— И я обещаю.

— Куплю себе новый костюм.

— Пожалуйста, не надо. Ради меня не стоит.

— Тогда ради «Синей птицы» — это же «люкс»!

— Спокойной ночи!

— Люблю тебя, Сильвия. Спокойной ночи.

Оба замолчали.

— Доброй ночи, Элиот.

— Люблю тебя.

— Спокойной ночи. Мне страшно. Спокойной ночи.

Их разговор очень обеспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку — ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Элиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на Фонд Розуотера, независимо от того, признают Элиота душевнобольным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление Фондом перешло к троюродному брату Элиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Писконтьюте, в Род-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал, он даже не знал, что находится в родстве с индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги поручили очень добросовестному специалисту по родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников семьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров.

Итак, на следующее утро после того, как Элиот и Сильвия договорились о встрече, Фред по-прежнему чувствовал себя человеком самым заурядным, пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из писконтьютской кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал три глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе, с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, отяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред — единственный во всем городе — завтракал и в том и в другом кафе.

Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплюснулась, словно пастила.

— Кофе с пирожком, мистер Розуотер? — спросила придурковатая грязнуха за стойкой.

— Кофе с пирожком? Отлично! Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь.

Кстати, про Писконтьют. Те, кто любил городок, звали его «Пискун», а те, кто не любил, говорили «Писун». Когда-то тут жил вождь индейцев по имени Писконтьют.

Этот Писконтьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Писконтьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Писконтьют умер от белой горячки в 1638 году.

Четыре тысячи лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя, теперь проживало двести очень богатых семейств и около тысячи семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как и в Розуотере, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство.

Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Писконтьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом, неприглядном деревянном домишке, крытом порыжелой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья.

Ради тех несчастливых грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопрстойный иллюстрированный еженедельник,

посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям *изувеченным*. Журнал назывался «Американский следопыт» — «самый увлекательный журнал на свете». И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался «Уолл-стрит джорнал».

— Набираетесь культуры, как всегда? — заметил Фред. Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт.

Эти люди относились к Фреду хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный им способ быстрого обогащения: застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью сознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал.

Вел он дела исключительно с рабочим классом. А с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал за панибрата у всех на виду. И это был чистый блеф, но все его клиенты попроще были уверены, будто эти хитрюги-капиталисты тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых управляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда.

— Что нового в высших сферах? — поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту шутку по адресу «Следопыта». В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила:

ИЩУ МУЖЧИНУ,
КОТОРЫЙ ДАСТ МНЕ
ГЕНИАЛЬНОГО РЕБЕНКА.

Красотка была танцовщицей, звали ее Рэнди Геральд.

— А я бы не прочь прийти барышне на помощь, — небрежно бросил Фред.

— Мать честная! — Столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот: — Какой дурак откажется?

— Думаете, я всерьез? — Фред свысока глянул на Рэнди Геральд. — Да я свою подружку на двадцать тысяч таких Рэнди не променяю! — Он нарочно нахмурился: — Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете. — Фред называл «подружками» всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать.

— Я ведь ваших подружек хорошо знаю, — продолжал Фред. — Знаю, что у вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливы. Повезло всем четверым, только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье.

Фред помешал кофе:

— А уж я без своей жены ничего бы не добился! Верно вам говорю!

Жену его звали Каролиной. У них был сын, некрасивый толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розуотер. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке, завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой.

— Конечно, я для нее все сделаю, что могу,— заявил Фред.— Но все же мало сделал, мало, клянусь богом. Ради нее надо бы куда больше стараться.— У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно, даже надо почувствовать комок в горле, и почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет.

— А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни,— сказал Фред.— Много можно для нее сделать.

Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоял сорок две тысячи долларов — конечно, после смерти.

Фреда часто спрашивали — не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так:

— Кажется, какое-то дальней родство, точно не знаю...

Как и большинство американцев с более чем скромными средствами, Фред ничего не знал о своих предках. А знать о них можно было вот что.

Род-айлендские Розуотеры происходили от Джорджа Розуотера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале Гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой *«Черные шапки»*. Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Луун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стонуола Джексона сделала из Лууна котлету. При отступлении через болота к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку:

«Флетчер Луун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет.

Джордж».

Ной ответил ему так:

«Жаль Флетчера Лууна, но, как сказано, кажется, в Библии: «Уговор дороже денег». Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда твоей половиной фермы, пилозавода и

так далее. Мы тут терпим немало лишений — все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет.

Ной».

Ко времени сражения при Антиэтаме Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь, он на ходу подхватил полковое знамя из рук умирающего солдата, но в руках у него осталось только расщепленное древко: снарядом конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал, убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял пыж. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь.

Слепой Джордж вернулся в округ Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый. И его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии.

— Ну что ж, — сказал Джордж, улыбаясь, улыбаясь, улыбаясь без конца, — в Библии ведь очень определенно сказано: «Уговор дороже денег».

Адвокатам и банкирам стало как-то обидно — неужели Джордж не извлек для себя никакого урока, ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни. Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себе волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся:

— Всегда надо сначала *прочитать то*, что подписываешь, — наставительно сказал он.

— Будьте благонадежны! — сказал Джордж. — Уж теперь-то непременно так и стану делать.

Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще герой войны и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы, по закону, заставить брата вернуть его состояние. Но Джордж подавать в суд не стал.

И дожидаться возвращения Ноя в Розуотер он тоже не стал, и на Восток искать брата не поехал. И вообще они больше никогда не виделись и никак друг с другом не общались. Джордж, в полной генеральской форме, при всех орденах, обходил те семьи, откуда в его отряд пришел сын, а иногда и несколько

сыновей, хвалил их за храбрость, горько жалел тех, кто был ранен или не вернулся домой.

А в это время в городе строился дворец для Ноя. И однажды утром рабочие увидели, что к парадной двери гвоздями прибита генеральская форма, как распяливают для просушки шкуры убитых зверей.

Так Джордж навеки исчез из округа Розуотер.

Джордж бродягой пробирался на Восток, но вовсе не в поисках брата, он не собирался его убивать, а в поисках работы в городе Провиданс, в Род-Айленде. Он прослышал, что там открылась мастерская, изготовлявшая щетки. Работать в этой мастерской должны были слепые ветераны гражданской войны.

Слухи подтвердились. Щеточную мастерскую открыл некий Кастор Бантлайн, который, кстати, сам не был ни слепым, ни ветераном войны, но он правильно рассчитал, что слепые ветераны будут очень покладистыми, что сам он войдет в историю как благодетель и гуманист, что все патриоты Северных штатов еще долгие годы после окончания войны будут покупать только щетки Бантлайна марки «Северный Маяк». Так создался капитал Бантлайнов. Заработав на щеточном производстве, Кастор Бантлайн и его припадочный сын Элай поехали «мешочничать» в южные штаты и стали табачными королями.

Хотя генерал Джордж Розуотер и стер ноги в кровь, но продолжал улыбаться, придя в щеточную мастерскую. Кастор Бантлайн навел справки в Вашингтоне и, удостоверившись, что Джордж действительно генерал, взял его в мастерскую старшим мастером, назначил ему высокий оклад и назвал в его честь один из сортов щеток «Генерал Розуотер». На время это фирменное название так вошло в привычку, что все такие щетки стали называть «генералами».

К слепому Джорджу приставили четырнадцатилетнюю девочку-сиротку по имени Фэйс Мэррихью. Она стала его поводырем и «порученцем». Когда ей исполнилось шестнадцать лет, Джордж взял ее в жены.

И Джордж родил Эбрахама, ставшего священником-конгрегационалистом. Эбрахам уехал в Конго миссионером, женился на дочери другого миссионера-баптиста, по имени Лавиния Уотерс. Там, в джунглях, Эбрахам родил сына Мэррихью. Лавиния умерла родами, маленького Мэррихью вскормила негритянка из племени банту.

И вот Эбрахам с маленьким Мэррихью вернулся в Род-Айленд. Эбрахам занял место проповедника конгрегационалистской церкви в маленьком рыбацьем поселке Писконтьюте. Он

купил домишко и при нем — сто десять акров песчаной земли, поросшей жидким леском. Участок шел треугольником. По гипотенузе тянулась береговая полоса Писконтьютской гавани.

Сын священника, Мэррихью Розуотер, стал торговать земельными участками, нарезанными из отцовской земли. Женился он на Синтии Найльз Рэмфорд и взял за ней небольшое приданое. Капитал жены он вложил в строительство, проложил мостовые, поставил уличные фонари, провел канализацию. Он нажил на продаже участков порядочное состояние, но потерял во время депрессии 1929 года и свои, и женины деньги; и он пустил себе пулю в лоб.

Но до этого он успел написать историю своей семьи и родить беднягу Фреда, страхового агента.

Сыновья самоубийц почти всегда неудачники.

Характерно, что именно им не хватает в жизни какой-то *изюминки*. Даже в стране, где большинство людей оторвано от своих корней, они больше других оторваны от своих предков. Они брезгливо отмахиваются от прошлого и с тупой покорностью предвидят свою мрачную участь, считая, что им тоже суждено покончить с собой.

Все признаки такого невроза были налицо и у Фреда. Вдобавок он страдал постоянным тиком, часто впадал в апатию, все ему становилось противно. Он слышал, как отец выстрелил в себя, видел его разлетевшийся вдребезги череп и лежавшую у него на коленях летопись их семьи.

Эту рукопись Фред подобрал, но ни разу в нее не заглянул — читать историю их семьи ему было неинтересно. Он положил рукопись на стоящий в подвале его дома буфет, где хранились банки с вареньем. Кстати, на том же буфете стояли жестянки с крысиным ядом.

А сейчас бедняга Фред все сидел и сидел в кафе при книжном киоске, и все бубнил и бубнил двум водопроводчикам и столяру про их подруг жизни.

— *Мы-то с тобой, Нед, сделали все, что могли, для наших подружек.*

И действительно, столяр, благодаря стараниям Фреда, стоил двадцать тысяч долларов — конечно, после смерти. Вот почему каждый раз, как ему приходилось платить очередной страховой взнос, столяра неотвязно преследовала мысль о самоубийстве.

— Нам теперь и думать не надо, как бы хоть немножко подкопить, — сказал Фред. — Все без нас делается, само собой, *автоматически*.

— Угу, — сказал Нед.

Молчание набухало, как бревно в воде. Двое незастрахованных водопроводчиков, еще минуту назад такие веселые скабрезники, сейчас совсем сникли.

— Мы с вами одним росчерком пера уже скопили порядоч-

ную сумму,— напомнил Фред столюру — Вот какое чудо — страховка. Такую малость каждый из нас обязан сделать для своей подруги жизни.

Водопроводчики нехотя сползли с табуреток. Но Фред не огорчился. Пусть себе уходят. Куда бы они ни пошли, их везде будут преследовать угрызания совести, да и в это кафе они зайдут еще не раз.

А тут их всегда будет поджидать Фред.

— Знаете, какое самое большое удовлетворение дает мне моя профессия? — спросил Фред у столяра.

— Не-е.

— Всегда радуюсь, когда ко мне подойдет чья-то подружка и скажет: «Не знаю, как моим детям и мне отблагодарить вас за то, что вы для нас сделали. Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер!»

9

Столяр тоже бросил Фреда Розуотера, оставив на столе номер «Американского следапыта». Фред разыграл целую пантомиму, чтобы все случайные посетители видели, как ему скучно, и читать совершенно нечего, и спать охота, может быть, даже с похмелья, и что он машинально будет глазеть на любую печатную страницу, даже не замечая, что это за чтиво.

— У-у-о-оо-хо-хо! — сладко зевнул он, потянулся, широко разводя руки и как бы нечаянно захватывая журналчик.

В лавке в это время никого, кроме девицы за стойкой, не было.

— Не понимаю,— сказал ей Фред.— Ну какой идиот станет читать эти гадости?

Девица могла бы честно ответить, что он-то сам каждую неделю читает эти гадости от корки до корки. Но так как эта грязнуха была полной идиоткой и ничего не поняла, она сказала:

— Ничего не знаю, ничего не трогаю — хоть общите!

Предложение звучало не слишком соблазнительно.

Фред, подозрительно посапывая, развернул страницу под заголовком: «Я ВАС ЖДУ!» Мужчины и женщины откровенно заявляли, как им нужна любовь, или брак, или всякие другие штучки. Стоило такое объявление один доллар сорок пять центов.

«Привлекательная, веселая особа 40 лет, служащая, с высшим образованием, еврейка, проживающая в Коннектикуте, — говорилось в одном из них, — ищет встречи с серьезным мужчиной иудейского вероисповедания, с высшим образованием. Цель — брак. Детей примет с восторгом». Очень мило, ничего не скажешь. Но дальше шли далеко не столь симпатичные заявки.

«Мужской парикмахер, Сент-Луис, ищет пикантных мужчин

для совместных развлечений, фотографии присылать «о-натурель», — гласила следующая.

«Супруги, приезжие (г. Даллас), ищут знакомства с супружескими парами без предрассудков, интересующимися откровенным фотоискусством. Ответы на искренние предложения гарантированы. Фото возвращаются по требованию».

Было и такое:

«Преподаватель начальной школы остро нуждается в строгой инструкторше, обучающей хорошим манерам, предпочитает любительниц конного спорта, германских или скандинавских кровей, — объявлял некий педагог. — Согласен в отъезд, в пределах США».

«Гос. чин. Нью-Йорк желает встреч любой день кр. воскр. Скром. не предлаг.».

Тут же прилагался купон — читатель мог занести сюда свои пожелания. Фреду тоже смутно захотелось дать объявление.

Затем он прочитал подробное описание изнасилования с убийством: произошло это дело в Небраске, в 1938 году. Очерк был иллюстрирован непристойно — натуралистическими фотографиями, какие полагается видеть только судебному следователю. Прошло уже тридцать лет после этого преступления, но сейчас о нем читал не только Фред, а еще десять миллионов читателей этого журнальчика, темы не устаревали, вечные темы. В любое время можно было сообщить под кричащими заголовками о Лукреции Борджиа. Кстати, именно из «Следопыта» Фред, проучившийся лишь год в Принстонском университете, узнал о смерти Сократа.

В дверях показалась высокая, голенастая, похожая на лошадку девочка, тринадцатилетняя Лайла Бантлайн, дочь закадычной подруги жены Фреда, и он сразу отбросил журнал. Кожа у девочки обветрилась, загорела, лупилась от солнечных ожогов, все лицо было покрыто веснушками и пятнами свежей розовой кожицы. Темные круги лежали под ее очень красивыми зелеными глазами. Лайла была одной из самых лучших, самых опытных яхтсменок писконтьютского яхтклуба.

Девочка с жалостью взглянула на Фреда — и оттого, что он такой бедный, и оттого, что жена у него — такая дрянь. А сам он — такой толстый и скучный до одури. Лайла прошла к вертящейся стойке под названием «Лентяйка Сюзан», где были выставлены новые газеты и книжки, и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол.

Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина. Он часто задышал. Бедняга Фред относился к «Следопыту» и ко всему, что там писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указаным адресам, он не решался. И оттого, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души.

Вдруг в кафе ввалился огромный детина и так быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик.

— Ух ты, страховщик несчастный, ишь над чем слюни пускает, похабник ты этакий, так твою растак!

Звали этого здоровяка Гарри Пина, был он по профессии рыбаком, а кроме того, начальником добровольной пожарной дружины Писконтьюта. Гарри был владельцем двух рыбных затонов, на мелководе, у самого берега — настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывавшая туда, платилась за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой — соединялся с круглой ловушкой, из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода, — и тут подходил на лодке Гарри, с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами.

Хоть Гарри был и немолод и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя вселенной. Раньше Гарри не занимался рыбацким промыслом — он был таким же «несчастливым страховщиком», как и Фред, жил в Питсфилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома четыреххлористым углеродом, он чуть не отравился насмерть, надышавшись ядовитых испарений.

Когда он выздоровел, его врач сказал:

— Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете.

И Гарри пошел по стопам своего отца — стал рыбаком.

Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы: во всем Писконтьюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких экивоков.

— Эх ты, страховщик распротэакий, горемыка несчастный! Ну зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-нибудь настоящим, хорошим делом!

— Как тебе сказать, Гарри. — Фред глубокомысленно выпятил губу. — Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходятся с твоими.

— Чепуховина! — сказал Гарри. Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральд на первой странице. — Будь я неладен, — сказал он, — уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал, и время сам бы назначил, а ее и спрашивать не стал!

— Нет, Гарри, серьезно говорю, — настаивал Фред. — Я люблю страховое дело. Люблю помогать людям.

Гарри что-то буркнул — слышу, мол. Он насупившись разглядывал фото юной француженки в купальном костюме.

Фред понимал, что для Гарри он — существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок как мужчина мужчину:

— Нравится, Гарри, а?

— Что именно?

— Эта девочка!

— Это не девочка. Это кусок бумаги.

— А по-моему, девочка. — И Фред Розуотер хитро улыбнулся.

— Легко же тебя облапошить, — сказал Гарри. — Да разве тут, перед нами, лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас, ей даже невдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб, да покрупнее.

Гарри Пина стал просматривать объявления в отделе «Я вас жгу!» и попросил у Фреда ручку.

— Ручку? — переспросил Фред, словно впервые слышал это слово.

— Ручка у тебя есть или нет?

— Конечно, есть, как же. — Фред торопливо подал ему одну из девяти ручек, растыканных у него по всем карманам.

— Да, ручек у него хватает, — засмеялся Гарри и написал на пустом бланке следующее объявление:

«Папашка с перчиком белой расы ищет мамашку с перчиком любой расы, любого возраста, любой религии. Цель — все что угодно, кроме брака. Обменяюсь фото. Зубы у меня свои».

— Неужели и вправду пошлешь? — спросил Фред. Видно было, что его самого так и подмывает послать объявление, получить парочку-другую похабных фото.

Гарри подписался: «Фред Розуотер. Писконтьют. Род-Айленд».

— Очень остроумно, — ледяным голосом сказал Фред, отодвигаясь от Гарри с видом оскорбленного достоинства.

— Для нашего Писконтьюта очень даже остроумно, — сказал Гарри и подмигнул.

Тут в кафе вошла жена Фреда Каролина. Это была миловидная, худенькая женщина с напряженным, растерянным выражением лица, всегда разодетая, как куколка, в нарядные платья, подаренные ей ее богатой приятельницей Аманитой Бантлайн. Каролина Розуотер вся сверкала и переливалась от дешевых украшений. Надевала она их для того, чтобы платье с чужого плеча казалось сшитым на ее вкус. Она собиралась идти завтракать с Аманитой и хотела взять немного денег у Фреда, чтобы

с чистой совестью сделать вид, что хочет сама за себя заплатить.

Разговаривая с Фредом и чувствуя на себе пристальный взгляд Гарри, она держала себя как женщина, которая старается сохранить достоинство, упав на четвереньки. Она жалела себя за то, что вышла замуж за такого скучного, такого бедного человека, причем Аманита жадно раздувала в ней это чувство. То, что она сама была такая бедная и такая же скучная, как Фред, она органически понять не могла. Во-первых, она была членом элитного студенческого клуба, куда ее выбрали, когда она училась на философском факультете Диллонского университета, в Додж-Сити, штат Канзас. В этом самом Додж-Сити, в одном из военных клубов, она и встретила Фреда, который во время корейской войны служил в форте Рейли. Вышла она замуж за Фреда, потому что была уверена, что каждый, кто живет в Писконтьюте и учится в Принстонском университете, — богатый человек. Для нее было большим унижением — увидеть, что это вовсе не так. Она искренне считала себя интеллигенткой, но знания у нее были ничтожные, а те затруднения, которые вставали перед ней, можно было преодолеть только деньгами, и деньгами очень большими. Хозяйка она была прескверная. Она всегда плакала за домашней работой, так как была уверена, что заслуживает лучшей доли.

Кстати, в ее отношениях с Аманитой ничего особенно порочного с ее стороны не было. Она просто была хамелеоном, притворщицей, которая старалась приспособиться к жизни.

— Опять завтракать с Аманитой? — сказал Фред.

— Ну и что?

— Дорогое удовольствие — каждый день эти чертовы завтраки.

— Не каждый день, а от силы два раза в неделю. — Голос у нее был колючий, ледяной.

— Все равно, денег уходит уйма.

Каролина протянула к деньгам ручку в белой перчатке:

— Для жены денег не жалеют!

И Фред дал ей деньги.

Каролина даже не сказала «спасибо». Она вышла и села рядом с надушенной Аманитой на обтянутые золотистой лайкой подушки ее голубого «мерседеса».

Гарри Пина взглянул на бледное, как мел, лицо Фреда, но ничего не сказал. Он закурил сигару, вышел и отправился ловить настоящих рыб с настоящими своими сыновьями, в настоящей лодке, в настоящем соленом море.

Лайла, дочь Аманиты Бантлайн, сидела прямо на полу за вертушкой с книгами, просматривая «Тропик рака» Генри Миллера и «Голый завтрак» Бэрроуза, снятые со специальной полки.

Тринадцатилетняя Лайла интересовалась этими произведениями с чисто коммерческой точки зрения. Во всем Писконтьютете она была главной поставщицей порнолитературы.

Она и фейерверками занималась с той же целью, что и порнографической литературой, то есть ради денег. Ее дружки по Писконтьютотскому яхтклубу и средней школе были так богаты и так глупы, что готовы были платить ей сколько угодно за что угодно. В удачный денек она могла загнать семидесятицентровое издание «Любовника леги Чаттерлей» за два доллара, а пятнадцатипятицентровую «римскую свечу» за пятерку.

Она скупала фейерверки во время каникул, когда всей семьей ездили то в Канаду, то во Флориду, а то и в Гонконг. Почти все порноиздания она просто брала с выставки в местной книжной лавке. Фокус был в том, что Лайла отлично знала, какие названия сулят похабщину, какие — нет, а это было невдомек и ее школьным товарищам, и даже продавцам в книжной лавке. И Лайла молниеносно скупала все книги с заманчивыми названиями, как только они появлялись на вращающейся полке. Все ее сделки шли через придурковатую девицу за стойкой, которая сразу все забывала начисто.

То, что Лайла орудовала именно в этой лавочке, было особенно символично, потому что в окне лавки красовался огромный позолоченный медальон из пластика, на котором было написано «Союз род-айлендских матерей по спасению детей от всякой скверны». Представительницы этого общества регулярно проверяли литературу в лавке в поисках нецензурных произведений, и выставленный в окне медальон указывал на то, что в этой лавке все чисто. И никакой порнографии они тут не нашли.

Они были уверены, что их детки «спасены от всякой скверны», но на самом деле всю порнолитературу заранее скупала Лайла.

Только один товар в этой лавочке Лайле купить не удавалось, а именно — неприличные фотографии. Но их она доставала, отвечая на похабные объявления в номерах «Следопыта», на которые бедняга Фред Розуотер только облизывался каждую неделю.

В детский мир Лайлы, сидевшей на полу, у книжной полки, вдруг вторглись огромные ноги Фреда Розуотера. Но Лайла не стала прятать свое рискованное чтиво, и продолжала читать «Тропик рака», как будто это был «Робинзон Крузо».

«Чемодан открыт, вещи валяются на полу... Она юркнула в постель, не раздеваясь... Раз, другой, третий, четвертый... Боюсь, что она сойдет с ума... Как сладко чувствовать ее опять... Но надолго ли? Предчувствие меня томит — нет, ненадолго...»

Лайла и Фред уже не раз встречались у книжной полки. Он никогда не спрашивал, что она читает. И она предвидела, что именно он сейчас сделает,— посмотрит грустными голодными глазами на яркие обложки с соблазнительными девицами и возьмет пухлый ежемесячник вроде «Садоводство и домоводство». Так он сделал и сейчас.

— Кажется, моя жена опять поехала завтракать с твоей мамочкой,— сказал Фред.

— Кажется, да,— сказала Лайла. На этом их разговор окончился, но Лайла продолжала думать о Фреде. Над ней возвышались толстые розотеровские икры. Когда Фред в яхтклубе или на пляже попадался ей на глаза в шортах или купальном костюме, его икры всегда были покрыты шрамами и синяками, будто его постоянно кто-то бил, бил — и били ногами. Лайла подумала: может, Фреду не хватает витаминов или у него чечотка, оттого и на икрах у него такая кожа.

На самом же деле кровавые синяки у Фреда появлялись из-за не совсем обычной расстановки мебели в их квартире, почти шизофренического пристрастия его жены к маленьким столикам — десятки этих столиков были расставлены по всему дому. На каждом столике красовалась пепельница и вазочка с пыльными мятными конфетками — послеобеденное угощение для гостей, которых Розуотеры никогда не принимали. И Каролина вечно переставляла столики — то для одного воображаемого приема, то для другого. И бедный Фред вечно стучался об эти столики, набивая себе синяки.

Один раз Фред так глубоко рассек подбородок, что пришлось наложить одиннадцать швов. Но порезался он в данном случае не о столик. Он порезался о некий предмет, который Каролина никогда не убирала на место. Предмет этот вечно попадался на дороге, как ручной муравьед, который любит спать именно на пороге двери, или на лестнице, или у самого камина. Предмет, о который споткнулся Фред и, упав, рассек себе подбородок, был пылесос Каролины «Электролюкс». Каролина, как видно, подознательно дала себе клятву — не убирать пылесос, пока не разбогатеет.

Подумав, что Лайла не обращает на него никакого внимания, Фред отложил журнал «Садоводство и домоводство» и снял с полки книжонку в немисливо соблазнительной обложке под заманчивым названием «Венера в раковине» Килгора Траута. На оборотной стороне обложки красовалось сокращенное изложение эпизода, где бушевали накаленные добела страсти. Вот что там было написано:

«Королева Маргарет, владычица планеты Шелтун, уронила с плеч пышное одеяние. Под ним ничего не было.

Высокая гордая грудь расцвела как розан. Талия и бедра призывно сверкали, как лира из чистейшего мрамора. От них исходило такое сияние, словно внутри теплился мягкий свет.

— Окончен твой путь, о Космический Странник,— прошептала она, и ее грудной голос дрогнул в страстной мольбе.— Не ищи ответа на проклятые вопросы — ответ в моих объятиях.

— О королева,— проговорил Космический Странник,— этот ответ полон соблазна, спору нет.— Капли пота увлажнили ладони Странника.— Я приму его с благоговением. Но я хочу быть честным с вами и потому скажу откровенно: завтра я должен снова пуститься в путь, в поиски...

— Но ведь ты уже нашел ответ, ты нашел его! — воскликнула она и с силой прижала его голову к своей пышной душистой груди.

Он что-то сказал, но она не разобрала слов. Она отклонила его голову, не выпуская ее из рук: — Что ты сказал?

— Я сказал: ответ ваш прекрасен, спору нет, но увы! Это совершенно не тот ответ, который я так упорно ищу!»

На обложке была и фотография Траута — пожилого человека с окладистой черной бородой. У него был вид испуганного, уже немолодого Христа, которому казнь на кресте заменили пожизненным заключением.

10

Лайла Бантлайн неторопливо проезжала на велосипеде по уже притихшим улицам почти нереально красивого района Писконъюта. Каждый особняк, мимо которого она проезжала, походил на сон, ставший явью, и стоил уйму денег. Владельцам особняков работать никогда не приходилось, и детям их работать не придется, они и так ни в чем нуждаться не станут, если только против них не поднимут бунт. Впрочем, никто бунтовать не собирался.

Прелестный особняк Лайлы в георгианском стиле стоял на самой набережной. Войдя в парадное, она оставила свои новые книжки в холле и потихоньку пробралась в кабинет отца, вечно лежащего на диване, взглянуть — жив он или нет. Она непременно каждый день заходила к нему.

— Отец?

Утренняя почта лежала на серебряном подносике на столике у изголовья. Рядом стоял стакан виски с содовой. Пузырьки уже не поднимались со дна. Стюарту Бантлайну еще не было сорока. Он был самым красивым мужчиной в городе, кто-то назвал его «помесью Гэри Гранта¹ с фарфоровым пастушком». На его плоском животе лежал тяжелый том — железнодорожный атлас

¹ Гэри Грант — известный киноактер.

времен Гражданской войны, подарок жены, стойвший пятьдесят семь долларов. Гражданская война была единственным его интересом в жизни.

— Папа...

Но Стюарт не пошевелился. Отец оставил ему в наследство четырнадцать миллионов, нажитых главным образом на табаке. И капитал этот расцвел, рос, скрещивался с другими капиталами, его удобряли и подкармливали в теплицах банков Бостона на их гидропонических денежных фермах, ведавших основными капиталами. И капитал давал побеги — восемьсот тысяч долларов в год, с того дня, как его положили в банк на имя Стюарта. Дела шли отлично. Больше ничего Стюарт об этих делах не знал. Иногда у Стюарта пытались получить деловой совет, и он, как правило, решительно заявлял, что предпочитает всем акциям «Полярсиг». Собеседники обычно находили такой ответ весьма толковым, хотя на самом деле Стюарт понятия не имел, есть у него акции «Полярсиг» или нет. Дела за него вел банк и адвокатская контора Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.

— Папа...

— М-ммм?..

— Пришла посмотреть, как... как ты? Все в порядке? — сказала Лайла.

— Угу... — промычал он неуверенно, приоткрыл глаза, облизал губы: — Все хорошо, детка.

— Ну и спи спокойно.

И он заснул.

Он и вправду мог спать спокойно, так как его дела велись той же конторой, что и дела сенатора Розуотера, и велись с тех самых пор, как он осиротел в шестнадцать лет. Занимался его делами сам Мак-Алистер. В последнее письмо с отчетом старый Мак-Алистер вложил некое литературное произведение под названием «Идейный раскол в лагере друзей-единомышленников». Книга вышла в издательстве «Сосны» при Свободной школе, в Колорадо-Спрингс п/я 165, штат Колорадо. Сейчас брошюра служила закладкой в железнодорожном атласе. Старый Мак-Алистер постоянно посылал Стюарту литературу, где козни социалистов противопоставлялись идеям свободного предпринимательства, так как лет двадцать тому назад к нему в контору ворвался юный Стюарт и, сверкая глазами, заявил, что капиталистическая система никуда не годится и что он сам намерен раздать все свои деньги беднякам. Тогда Мак-Алистеру удалось отговорить порывистого юнца от его намерений, но старик до сих пор беспокоился — как бы у Стюарта не наступил рецидив. Вот он и посылал брошюры с профилактической целью.

Однако Мак-Алистер зря беспокоился. И в пьяном состоянии, и в трезвом, с брошюрками или без них Стюарт был безоговорочно предан свободному предпринимательству. Ему не нужны бы-

ли такие брошюры, как «Идейный раскол в лагере друзей», написанная, очевидно, неким консерваторм в виде письма к воображаемым друзьям, которые, незаметно для себя, стали социалистами. И оттого, что Стюарту это было ни к чему, он даже не прочитал, что автор писал о тех паразитах, которые пользуются помощью всех благотворительных организаций и получают социальное обеспечение в разных видах. А говорилось о них вот что:

«Принесла ли наша помощь пользу этим людям? Присмотритесь к ним внимательно. Возьмем типичного представителя тех, кого мы своими руками создали, пожалев их. Что мы теперь можем сказать третьему поколению людей, которые уже давно привыкли жить за счет нашей благотворительности? Исследуйте внимательно, что мы с ними сделали, взгляните, кого мы породили, кого и сейчас порождаем,— их миллионы, даже во времена всеобщего благоденствия.

Эти люди не работают и работать не желают. Они бездумно опустили руки, в них нет человеческого достоинства, нет самоуважения. На них ни в чем нельзя положиться, и не потому, что они злы, но просто оттого, что они, как стадо, бесцельно бродят по земле. От долгого бездействия у них атрофировалась способность мыслить, способность глядеть вперед. Поговорите с ними, послушайте их, поработайте над ними, как работаю я, и вы с ужасом поймете, что они потеряли всякий образ человеческий, хотя и стоят на двух ногах и, как попугаи, повторяют: «Еще. Подайте мне. Мне мало, мне не хватает...» — других мыслей у них нет, больше они ничему не научились.

И в эти дни они высются перед нашим взором, как грандиозная карикатура на Гомо Сапиенс, суровый и страшный образ той действительности, которую мы сами создали ложным своим состраданием. Вот они — живое пророчество того, какими очень многие из наших ближних еще могут стать, если мы будем идти тем же курсом».

И так далее...

Впрочем, Стюарту все эти рассуждения были нужны, как собаке пятая нога. Он давным-давно покончил с ложным состраданием, покончил и с вопросами секса, да и Гражданская война, честно говоря, ему давно осточертела.

Двадцать лет назад у Стюарта с Мак-Алистером состоялся тот самый разговор, который повернул Стюарта на путь консерватизма:

— Значит, вы хотите стать святым, молодой человек?

— Я не то говорил, надеюсь, вы поймете меня правильно. Скажите, мое наследство находится в вашем ведении? И эти деньги не я сам заработал?

— Отвечаю на первый вопрос: да, в нашем ведении находится капитал, который вы унаследовали. В ответ на второй вопрос скажу так: если вы пока что ничего не заработали, вы впредь будете зарабатывать, непременно будете. Вы принадлежите к семье, которая создана для того, чтобы к ней текли деньги, и все, что ей требуется, и даже больше. Вы получите неограниченную власть, мой мальчик, потому что вы рождены для власти, но, конечно, и власть может стать настоящим адом.

— Все может статься, мистер Мак-Алистер. Поживем — увидим. Но вот о чем я вам хочу сказать. На свете столько несчастных людей, а деньгами можно облегчить их страдания, а у меня этих денег больше, чем мне нужно. Вот я и хочу помочь этим беднякам — накормить их как следует, одеть, поселить в хорошие дома — и не откладывать это дело.

— А как же вас прикажете называть после таких благодеяний? Святым Стюартом или же Пресвятым Бантлайном?

— Я к вам не для того пришел, чтобы вы надо мной издевались.

— А ваш отец не для того назначил нас поверенными в ваших делах, чтобы мы вежливенько соглашались со всем, что вы тут наговорите. И если я, по-вашему, говорю с вами невежливо и бесцеремонно насчет того, не причислить ли вас к лику святых, то лишь потому, что мне столько раз приходилось вести с такими же юнцами те же глупые разговоры. Главная задача нашей конторы — предупреждать всякие проявления святости у наших клиентов. Думаете, вы исключение? Нет, таких много. По крайней мере, раз в год к нам является один из тех, чьим капиталом мы ведаем, и заявляет, что хочет раздать свои деньги беднякам. Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семейств. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. Замогильным голосом он вопрошает — как велик его наследственный капитал. Мы ему сообщаем. Он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем — например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что пручились год в Гарварде? Великолепный университет, но, когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю: как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов? А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному: раздавать деньги и вредно и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками, оттого что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков.

— Большое состояние, которое вы унаследовали,— это чудо, редкое чудо,— говорил в тот далекий день старый Мак-Алистер молодому Бантлайну.— Вы получили его, не затратив никаких трудов, потому и не понимаете, что это такое. И чтобы помочь вам понять, какое это чудо, я вам скажу то, что, может быть, и покажется вам обидным. Ваш капитал — единственный и самый важный фактор, определяющий то, что вы собою представляете, что о вас думают другие. Благодаря этим деньгам вы — человек необычный. А без них, например, вы не могли бы, как сейчас, отнимать драгоценное время у старшего партнера адвокатской конторы Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги.

Если вы раздадите свой капитал, вы станете самым обыкновенным из обыкновенных людей — если только вы не гений. Вы ведь не гений, мистер Бантлайн, не так ли?

— Нет.

— Гм... Впрочем, будь вы даже гением, без денег у вас не будет ни такой свободы, ни таких жизненных благ. Более того, вы обрекаете и своих потомков на унылую, полную терзаний жизнь, их вечно будет грызть мысль, что они могли бы жить богато, свободно, если бы их глупый предок не разбазарил бы весь капитал.

Не выпускайте ваше богатство из рук, мистер Бантлайн. Деньги — это концентрат Утопии. Почти у всех людей жизнь собачья, как вам старательно внушали ваши профессора. Но и вас, и вашу семью благодаря вашим деньгам ждет райская жизнь. И я хочу видеть, как вы улыбнетесь, когда наконец поймете то, чему не учат в вашем Гарварде,— поймете, что родиться богатым и остаться богатым — совсем не такое страшное преступление.

Лайла, дочь Стюарта, поднялась к себе в комнату. Мать сама выбрала цветовую гамму — розовую с белоснежным. Широкие окна выходили на залив, на пристань яхтклуба, где белели паруса яхт. Рыбачья лодка «Мария», сорокафутовая неуклюжая посудина, плюясь дымом, пробиралась между яхтами, подымая волну вокруг этих игрушечных суденышек. И назывались эти игрушки по-разному: «Рыжий пес», «Бутон-2», «Бантик», «За мной!», «Призрак» и так далее. «Бутон-2» принадлежал Фреду Розуотеру, «Бантик» — чете Бантлайн. Хозяином «Марии» был Гарри Пина, владелец рыбных затонов. Старая серая посудина во всякую погоду ковыляла по волнам, неся на борту тонны свежей рыбы.

На палубе не было никаких надстроек, кроме деревянного ящика, служившего укрытием новехонькому мотору «крайслер». На ящике находился стояк штурвала, подача газа и глушитель мотора. Кроме этого ящика и голых ребер шпангоутов, ничего на этой посудине видно не было.

Гарри вел мотобот к рыбным садкам. Оба его великовозрастных сына, Мэнни и Кенни, растянулись рядышком на палубе, вполголоса рассказывая друг дружке всякую похабщину. У каждого под боком лежала острога в шесть футов длиной, Гарри был вооружен шестифунтовым молотом. На всех троих были резиновые фартуки и сапоги. Когда они глушили рыбу, все бывало залито кровью.

— Хватит вам трепаться про баб,— сказал Гарри.— Про рыбу надо думать.

— Будем, будем, старина, когда до твоих годков доживем! — весело откликнулись парни.

Над аэропортом близ Провиденс низко кружил самолет, готовясь к посадке. В самолете, читая «Совесть консерватора», летел Норман Мушари.

Самая большая в мире частная коллекция гарпунов была выставлена в ресторане «Затон», в пяти милях от Писконтьюта. Хозяином ресторана был гомосексуалист, рослый человек родом из Бедфорда, которого звали Зайка Викс. До тех пор, пока Зайка Викс не приехал из Бедфорда и не открыл ресторан, Писконтьют решительно никакого отношения к китобойному промыслу не имел.

А назвал Зайка свой ресторан «Затоном» потому, что окна выходили на затон, где Гарри Пина глушил рыбу. На каждом столике в ресторане лежали бинокли, чтобы посетители могли смотреть, как Гарри со своими сынками бьют рыбу. И пока рыбаки трудились, как говорится, у самого синего моря, Зайка, переходя от столика к столику, со вкусом, как заядлый рыбак, объяснял, что именно они делают и зачем. Подходя, он бесцеремонно лапал девиц, но никогда не прикасался ни к одному мужчине.

Если же клиенты хотели тесней соприкоснуться с рыбачьим промыслом, они могли заказать коктейль «Летучая рыба», из рома, гренадина и клюквенного сока или салат «Рыбацкий», состоящий из очищенного банана, торчащего из ломтика ананаса, который лежал в гнезде из пышно взбитого рыбного пюре, украшенного кудрявыми стружками кокосового ореха.

И Гарри Пина, и его сынки отлично знали про салат, и про коктейль, и про бинокли, хотя сами никогда в «Затон» не заходили. Иногда они поддерживали свою невольную связь с жизнью ресторана тем, что мочились с борта лодки на виду у посетителей. Называлось это у них «подсолить уху для Зайки Вика».

Коллекцию гарпунов Зайка Викс прикрепил к некрашеным стропилам сувенирного зала, расположенного при входе в ре-

сторанчик, в нарочито запущенных, и даже замшелых, сенях. Это помещение называлось «Веселый китобой», свет проходил через пыльное окно в крыше, причем пыль была искусственная: стекло сверху поливалось жидкостью для мытья стекол, которая засыхала и не стиралась. Тень стропил и развешанных на них гарпунов ложилась от света, проникающего через это окошечко, падала на прилавок, где были разложены всякие сувениры. Зайка старался создать впечатление, что настоящие китобои, пахнущие ворванью, ромом и потом, оставили свои гарпуны у него на хранение и вот-вот вернутся за ними.

Сейчас под сенью стропил и гарпунов по киоску расхаживали Аманита Бантлайн и Каролина Розуотер. Аманита шла впереди — она задавала тон, жадно и глубоко хватая сувениры с прилавка. А сувенирчики были такие, что могли даже импотента мужа заставить выполнять прихоти холодной супруги. Каролина казалась робким отражением Аманиты. Она как-то неловко путалась у нее под ногами, а та непрестанно заслоняла от нее вещи, которые Каролина хотела поглядеть. Но как только Аманита отходила и Каролине становилось видно то, что Аманита ей заслоняла, у нее сразу пропадала охота смотреть на прилавок. Каролине вообще было неловко, все ее тяготило: и то, что ее мужу приходилось работать, и то, что на ней было платье с чужого плеча, и все знали, что это платье Аманиты, и, наконец, то, что в сумке у нее лежали какие-то гроши.

Каролина вдруг как бы со стороны услышала собственный голос:

— Вкус у него, конечно, неплохой.

— А у них у всех, таких, как он, вкус хороший, — сказала Аманита. — И за покупками ходить с ними интереснее, чем с женщинами. О тебе, конечно, не говорю.

— А почему у них такое художественное чутье?

— Они гораздо тоньше все воспринимают, дорогая моя. Они — как мы с тобой. Они чувствуют.

— А-а...

В дверях возник Зайка Вилкс. Он заскользил, словно пританцовывая, на гладких, чуть поскрипывающих, подошвах модных туфель. Зайка был худощав, ему можно было дать лет тридцать с лишним. Глаза у него были, как у всех богатых американских педерастов, — похожи на поддельные драгоценности и, словно стеклянные сапфиры при свете елочных лампочек, поблескивали из-под ресниц. Зайка приходился правнуком знаменитому капитану Ганнибалу Вилксу из Бедфорда, человеку, убившему в конце концов Моби Дика. Ходил слух, что, по крайней мере, семь из трех гарпунов, которые теперь покоились на стропилах у Зайки, были вытаснены из туши Великого Белого Кита.

— Аманита! Аманита! — восторженно крикнул Зайка. Он схватил ее в объятия, крепко прижал к себе. — Как ты, моя любимая?

Аманита рассмеялась.

— Тебе смешно?

— Мне? Ничуть!

— Я так надеялся, что ты сегодня придешь. Хочу испытать твою сообразительность.

Зайка хотел показать ей одну новую штучку, пусть догадается, что это такое. С Каролиной он даже не поздоровался, но сейчас она заслоняла ту часть прилавка, где, как он думал, стояла новая вещь, и поэтому он сказал:

— Ах, простите!

— Извините, пожалуйста! — И Каролина Розуотер отступила в сторонку. Зайка никогда не помнил, как ее зовут, хотя она побывала в «Затоне» раз пятьдесят, не меньше.

Зайка не нашел то, что искал, скользнув дальше, и Каролина снова оказалась у него на пути:

— Ах, простите!

— Простите меня! — И уступая ему дорогу, Каролина споткнулась о старинную скамеечку для дойки коров, и, упав, ударила коленом об эту скамейку, и схватилась обеими руками за столб.

— О боже! — раздраженно сказал Зайка. — Вы не ушиблись? Ничего не задето?

Каролина жалко улыбнулась.

— Только мое самолюбие!

— Шут с ним, с вашим самолюбием, душенька. — И голос его прозвучал совсем по-бабьи: — *Кости целы? Внутри ничего не болит?*

— Все прошло, спасибо...

Зайка повернулся к ней спиной и стал снова искать нужную вещь.

— Но ведь вы помните Каролину Розуотер? — сказала Аманита. Вопрос был явно ненужный, неприятный.

— Разумеется, я помню миссис Розуотер. Вы родственница сенатора?

— Вы всегда меня об этом спрашиваете.

— Неужели? И что же вы *всегда* мне отвечаете?

— Как будто мы родственники, только очень дальние — предки общие...

— Занятно. Вы знаете, он уходит в отставку.

— Вот как!

Зайка остановился перед ней. В руках у него была небольшая коробка.

— Неужто он вам не сообщил, что уходит в отставку?

— Нет... Он...

— Разве вы с ним не общаетесь?

— Нет, — сказала Каролина, грустно опустив голову.

— Мне кажется, с ним было бы чрезвычайно интересно общаться.

Каролина кивнула:

— Да...

— Но вы с ним никак не общаетесь?

— Нет...

— А теперь, дорогая моя,— начал Зайка, повернувшись к Аманите с коробочкой в руках,— сейчас мы проверим ваши умственные способности.— Он достал из коробки с надписью «Сделано в Мексике» жестянку без крышки. Снаружи и внутри жестянка была оклеена пестрой веселенькой бумагой. На дно снаружи была приклеена круглая кружевная салфетка, а на нее прикреплена искусственная водяная лилия.

— Ну-ка догадайтесь, что это за штучка? Зачем она? И если вы угадаете,— а стоит она семнадцать долларов,— я вам ее подарю, хотя и знаю, что вы чудовищно богатая дама!

— А мне можно попробовать? Вдруг я угадаю? — спросила Каролина.

Зайка прикрыл глаза.

— Разумеется,— сказал он усталым голосом.

Аманита сдалась сразу, гордо заявив, что она ничего не соображает и ненавидит всякие тесты. У Каролины заблестели глаза, она только-только собиралась что-то прошептать, прочиркать, как птичка, какую-то остроумную догадку, но Зайка не дал ей высказаться:

— Это футляр для запасного ролика туалетной бумаги!

— Я так и догадалась, хотела сказать...— проговорила Каролина.

— Неужели? — равнодушно сказал Зайка.

— Она у нас в университете училась, член клуба «Фи-Бета-Каппа».

— Неужели? — повторил Зайка.

— Да,— сказала Каролина.— Но я об этом редко говорю. Я и вспоминаю редко.

— Я тоже,— сказал Зайка.

— Вы тоже член Фи-Бета-Каппа клуба?

— Вам это обидно?

— Нет...

— По сравнению с другими клубами,— сказал Зайка,— в этом слишком много народу.

— Тебе нравится эта штучка, мой маленький гений? — спросила Аманита, вертя коробочку перед Каролиной.

— Да, да, конечно... Очень мило... Прелестная вещь.

— Хочешь взять?

— За семнадцать долларов? — сказала Каролина.— Вещь очаровательная, но...

Она сразу погрузилась: неприятно быть нищей.

- Может быть, потом... когда-нибудь...
- А почему не сегодня? — спросила Аманита.
- Ты знаешь, почему. — Каролина густо покраснела.
- А если я тебе куплю?
- Не надо! Семнадцать долларов!
- Если ты не перестанешь огорчаться из-за денег, моя птичка, придется мне завести другую подругу.
- Что я могу тебе сказать?
- Зайка, сделайте, пожалуйста, подарочный пакет, — попросила Аманита.
- Ах, Аманита, спасибо тебе большое! — сказала Каролина.
- Ты и не такой подарок заслужила!
- Спасибо тебе!
- Каждый получает по заслугам! — сказала Аманита. — Верно я говорю, Зайка?
- Это основной закон жизни! — сказал Зайка Викс.

Мотобот «Мария» уже дошел до загонов и стал виден посетителям ресторана Зайки Викса.

— Брось травить, пора ловить! — крикнул Гарри сыновьям, разлегшимся на носу бота.

Гарри заглушил мотор. Бот по инерции проскользнул через ворота загона в кольцо из шестов и свисавших с них сетей.

— Чуете? — сказал Гарри. Он спрашивал сыновей, чуют ли они запах рыбы, запутавшейся в сетях.

Те потянули носами, сказали, что, конечно, учуяли.

Широкое чрево сети, то ли пустое, то ли полное рыбы, лежало на дне. Край сети выходил из воды, перекидываясь от шеста к шесту как бы параболами. Край уходил под воду только в одном месте. Это и были ворота сети. Это и была та пасть, которая заглатывала всю рыбу, какая попадалась, направляя ее прямо в обширное чрево сети.

Теперь сам Гарри оказался внутри загона. Он отвязал верхний канат от крестовины возле ворот, выбрал слабинку и снова привязал канат к крестовине. Теперь выход из мотни был навсегда закрыт — по крайней мере, для рыбы. Рыба в этом чреве была обречена.

«Мария» тихонько тыкалась боком в ограду западни. Гарри и его сыновья, выстроившись в ряд, перебирая стальными руками края сети, вытаскивали ее из воды, погружая в воду другой край.

Все втроем, перебирая сеть, перехватывали ее из рук в руки, и пространство, в котором оставалась рыба, становилось все меньше и меньше. И по мере того, как это пространство уменьшалось, «Мария» пробиралась поверху, бочком, все дальше внутрь загона.

Никто не сказал ни слова. Это было время великого таинства. Даже чайки умолкли, пока эти трое, отрешившись от всякой мысли, выбирали сеть из моря.

Все пространство, оставшееся для рыбы, сократилось до овальной лужицы. Казалось, что в глубине вспыхивают, сыплются дождем мелкие серебряные монетки. Мужчины продолжали свое дело, перебирая сеть.

Теперь единственное пространство, оставшееся для рыбы, превратилось в кривое, глубокое корыто у борта «*Мариу*». Оно становилось все мельче, а мужчины все тянули, перехватывая сеть из рук в руки. Рыба-кузовок, допотопное чудище, десятифунтовый головастик, усаженный шипами и бородавками, всплыла наверх, открыла свой утыканный игольчатыми зубами рот, сдаваясь на милость победителя. А вокруг этого безмозглого, несъедобного, одетого в панцирь страшилища вода вздувалась, кипела маленькими водоворотами. Крупная добыча таилась внизу, во тьме.

Гарри и два его рослых сына снова принялись за работу, выбирая сеть и снова опуская. Для рыбы уже почти совсем не оставалось места. И, как ни странно, поверхность воды вдруг застыла как зеркало.

Внезапно плавник тунца распорол зеркальную гладь и снова скрылся!

Несколько мгновений спустя загон превратился в крошечный кровавый ад. Восемь крупных тунцов взбивали воду, она кипела, вздымалась волнами, расступалась, смыкалась. Тунцы стрелой неслись от «*Мариу*», натыкались на сеть, снова неслись назад.

Сыновья Гарри схватили свои багры. Младший сунул крюк под воду, всадил его рыбе в брюхо, повернул крюк, и рыба забилась в предсмертной агонии.

Рыба всплыла возле борта, оглушенная болью, боясь пошевелиться, чтобы боль не стала еще острее.

Младший сын Гарри рванул багор на себя, да еще крутанул. Новая боль, куда страшнее прежней, заставила рыбу встать на хвост и с мягким упругим стуком перевернуться через борт «*Мариу*».

Гарри ударил рыбу по голове громадным молотом. Рыба больше не шелохнулась.

Следующая рыба тяжело ввалилась в лодку. Гарри и ее ударил по голове — так и глушил, одну за другой, пока восемь могучих рыб не легли рядом, мертвые.

Гарри захохотал, вытер нос рукавом. «Вот сукин сын, ребята! Сукин сын!»

Ребята тоже захохотали. Все трое были так довольны жизнью, что дальше некуда.

Младший парень показал нос всем снобам из рестораника. — А пошли они все в ж...! Верно, ребята? — сказал Гарри.

Зайка подплыл к столику Аманиты и Каролины, позвенел браслетом, сковывающим его запястье, положил руку на плечо Аманиты, но к их столику не присел. Каролина отвела бинокль от глаз и проговорила подавленным шепотом:

— Ах, как это похоже на жизнь! Как Гарри Пина похож на бога!

— Он — бог? — удивился Зайка.

— Неужели вы меня не понимаете?

— Думаю, что вас поймут только рыбы. Но я не рыба. Могу вам объяснить, кто я такой!

— Только не за едой! — сказала Аманита.

Зайка коротко хихикнул, но продолжал, не обращая внимания:

— Ведь я — *директор банка!*

— Какое это имеет отношение к нашему разговору? — сказала Аманита.

— Директор банка знает, кто обанкротился, кто нет. И если этот рыбак кажется вам богом, то должен, к великому сожалению, открыть вам, что этот ваш бог — совершенный банкрот.

Тут Аманита и Каролина запротестовали, защебетали — каждая по-своему, уверяя, что такой крепкий мужчина не может потерпеть неудачу. Слушая их, Зайка все крепче сжимал плечо Аманиты, и она вдруг пожаловалась:

— Вы делаете мне больно!

— Простите. Не знал, что вы такая чувствительная!

— Негодник!

— Возможно, — согласился Зайка, но сжал плечо Аманиты еще крепче.

— Всем им давно пришел конец, — сказал он про Гарри и его сыновей. Он больно сжал плечо Аманиты, словно хотел сказать: «А сейчас помолчите-ка минутку, ведь я-то сейчас не шучу».

— Настоящие люди уже не зарабатывают на жизнь таким способом. Эти три романтика устарели так же, как Мария Антуанетта, со своими фрейлинами, доившими коров. И когда против них возбудят дело о банкротстве, — через неделю, через месяц, через год, — они поймут, что в экономическом отношении они никакой ценности не представляют, разве только как живые картинки для рекламы моего ресторана.

Надо отдать справедливость Зайке: он вовсе не злорадовал по этому поводу:

— Теперь конец всякой кустарщине, люди, гнущие спину над работой вручную, никому больше не нужны.

— Но разве такие люди, как Гарри, не выходят всегда из всего победителями? — спросила Каролина.

— Именно они всегда проигрывают, — сказал Зайка. Он снял руку с плеча Аманиты. Он оглядел свой ресторан, кивком указал Аманите, сколько у него посетителей, как будто предлагая ей сосчитать их. Мало того — он словно просил их обеих —

разделить его презрение к другим его клиентам. Почти все они были богатыми наследниками. Почти все жили на капиталы, накопленные не знаниями, не трудом, а добытые всякими махинациями и охраняемые законом. Четыре разжиревшие, тупые дуры, богатые вдовы в мехах, гоготали над непристойной шуточкой на бумажной салфетке.

— Вот и глядите, кто победители, а кто побежден,— сказал Зайка.

11

Норман Мушари взял напрокат красную машину в аэропорту Провиденс и проехал восемнадцать миль до Писконтьюта — искать Фреда Розуотера. В конторе все считали, что он болеет и лежит дома в постели. Но на самом деле он чувствовал себя отлично.

Фреда он не мог найти весь день, по той причине, что Фред тихо спал на своей яхте — удовольствии, которому он любил тайком предаваться в жаркие дни. В жару делать было нечего — никто не покупал страховые полисы даже со скидкой для бедняков.

Фред брал маленькую шлюпку в яхтклубе и выходил в залив к своей яхте. «Скрип-скрип», — пели весла, борта шлюпки всего дюйма на три высились над водой, — и плыл туда, где стоял на якоре его «Бутон-2». Он тяжело плюхался на корму, где его никому не было видно, клал под голову оранжевый спасательный жилет и, слушая плеск волн, скрип и позвякивание снастей, засовывал руку меж колен и, чувствуя себя в царстве небесном, погружался в сладкий детский сон. Тут ему было хорошо.

У Бантлайнов служила в горничных молодая девушка по имени Селина Дейл, знавшая тайну Фреда. Оконце ее комнаты выходило на залив. Когда она, как сейчас, сидела на узкой своей кровати и писала, в окне, как в рамке, виднелся «Бутон-2». Она оставила дверь открытой, чтобы слышать телефонные звонки. Это и была ее обязанность во второй половине дня — отвечать на телефонные звонки. Правда, звонили редко, и Селина спрашивала себя: «А зачем людям сюда звонить?»

Селине было восемнадцать лет. Она рано осиротела, и ее взяли на службу из сиротского приюта, основанного семейством Бантлайн в 1878 году, в городе Потакете. Основывая этот приют, Бантлайны поставили три условия: во-первых, всех детей положено было воспитывать в духе учения Христова, независимо от их расы, цвета кожи, религиозной принадлежности. Во-вторых, воспитанники должны были еженедельно перед воскресным ужином произносить слова обета, и, в-третьих, каждый год в семейство Бантлайнов полагалось присылать из приюта на

какое-то время умненькую, чистоплотную девушку-сиротку на должность горничной. «...дабы ознакомить ее с более достойным образом жизни и, быть может, внушить желание подняться на несколько ступеней выше в овладении некоторыми тонкостями хорошего воспитания и культурного образования».

Тот обет, который Селина повторила шестьсот раз перед тем, как вкусить шестьсот весьма скудных воскресных ужинов, был сочинен Кастором Бантлайном, прапрадедушкой несчастного Стюарта Бантлайна:

«Торжественно клянусь, что всегда буду уважать собственность других людей и довольствоваться своим делом, предначертанным мне в жизни милостью господней. Я всегда буду испытывать чувство благодарности к своим хозяевам, никогда не стану жаловаться ни на положенную мне плату, ни на лишнюю работу, но постоянно буду вопрошать себя: «Что еще могу я сделать для своих хозяев, для своей Республики и для господ бога? Я понимаю, что рождены мы на этой земле не для счастья, мы рождены для испытания. И если я хочу пройти это испытание, то мне надлежит всегда быть человеком бескорыстным, всегда трезвым, всегда правдивым, всегда чистым душой, телом и всеми своими деяниями, и всегда преисполненным уважения к тем, кого Создатель, в неизреченной своей мудрости, поставил надо мной. Если я выдержу это испытание, то после смерти причащусь жизни вечной, райского блаженства. Если же не выдержу, то буду вечно гореть в адском пламени, и Дьявол будет ликовать, а Христос скорбеть надо мной».

Селина, прехорошенькая девушка, прекрасно игравшая на рояле и мечтавшая стать медицинской сестрой, сейчас писала письмо директору сиротского приюта Уилфреду Парроту. Ему было шестьдесят лет. Жизнь он провел интересную, разнообразную — сражался в Испании, в батальоне имени Линкольна, и с 1933 по 1936 год писал для радио серию передач под названием «За синим горизонтом». В сиротском приюте детям жилось прекрасно. Все ребята называли Паррота «папочка», все умели хорошо готовить, играть на каком-нибудь инструменте, танцевать и рисовать.

Селина пробыла у Бантлайнов уже месяц. Ей полагалось прослужить целый год. Вот что она писала своему директору:

«Дорогой папочка Паррот, может быть, тут все станет лучше, но пока я этого не вижу. Мы с миссис Бантлайн никак не поладим. Она все время называет меня неблагодарной и заносчивой. Может быть, это и правда, хотя я вовсе не хочу так себя вести. Главное, чтобы она не

повредила нашему дому, из-за того что злиться на меня. Это меня тревожит сильнее всего. Видно, надо мне еще больше стараться выполнять наш обет. Самое плохое, что она все время видит что-то по моим глазам. А у меня по глазам все видно, хотя я и стараюсь не показывать. Она скажет что-нибудь, сделает какую-нибудь глупость или еще что, и я, конечно, промолчу, а она посмотрит мне в глаза и начинает страшно злиться. Как-то она мне говорит, что после мужа и дочки она больше всего на свете любит музыку. У них тут по всему дому расставлены динамики. И все они соединены с огромным проигрывателем в шкафу, в передней. Целый день тут гремит музыка, и миссис Бантлайн говорит, что она ужасно любит с утра выбрать какую-нибудь музыкальную программу и вставить пластинки в проигрыватель, где они сами сменяются. Сегодня с утра из всех репродукторов гремела музыка, но я никогда еще такой музыки не слыхала. Было совсем непохоже на музыку, звук был такой высокий, такой быстрый, такой пронзительный, а миссис Бантлайн еще все время подпевала и качала в такт головой, видно, хотела показать, как ей это нравится. Я просто сходила с ума. А тут еще пришла ее лучшая подруга, ее зовут миссис Розуотер, и тоже начала говорить, какая чудная музыка. Она сказала, что пусть только ей повезет в жизни, и она тоже заведет у себя такую музыку. И тут я не выдержала и спросила миссис Бантлайн, что это за музыка. «Как, дитя мое,—сказала она,—да ведь это же сам бессмертный Бетховен!» — «Как Бетховен?» — сказала я. «А ты когда-нибудь про него слышала?» — говорит она. «Да, мэм, слышала, конечно,—говорю я,— наш папочка Паррот все время играл нам Бетховена у нас, в доме, только звучал он как-то по-другому...» И тут она подвела меня к проигрывателю и сказала: «Вот я сейчас тебе докажу, что это Бетховен! Я поставила в проигрыватель именно Бетховена и ничего, кроме Бетховена, я туда не ставила. Со мной так бывает — хочу слушать только Бетховена!»

И тут миссис Розуотер говорит: «Я тоже обожаю Бетховена!» А миссис Бантлайн вынимает все пластинки и говорит мне: «Посмотри, Бетховен это или нет». Я посмотрела — действительно Бетховен. Она вложила в проигрыватель все девять симфоний, но эта несчастная женщина поставила скорость семьдесят восемь оборотов в минуту, вместо тридцати трех! И никакой разницы не почувствовала. Надо было мне сказать ей или нет? И я сказала ей очень вежливо, но, наверно, по моим глазам она что-то заметила, и страшно разозлилась, и тут же послала меня мыть шоферскую уборную при гараже. Но оказалось, что работа вовсе не такая грязная. У них нет шофера уже много лет.

В другой раз, папочка, она взяла меня с собой на моторную яхту мистера Бантлайна — смотреть парусные гонки. Я сама попросила ее захватить меня с собой. Я сказала, что в Писконтьюте только и разговору, что об этих парусных гонках. И еще сказала, что мне хотелось бы посмотреть, действительно ли это так интересно. В этот день в гонках участвовала их дочка, Лайла. Она — самая лучшая яхтсменка в городе. Вы бы посмотрели, сколько кубков она выиграла. Они расставлены по всему дому. Хороших картин тут у них нет. У одного из соседей есть подлинный Пикассо, но я сама слышала, как этот сосед сказал, что лучше бы у него вместо этого Пикассо была такая дочка, как Лайла, которая умела бы так здорово управлять яхтой. Я подумала, не все ли ему равно, но вслух ничего не сказала. Поверьте мне, папочка, я тут у них не говорю и половины того, что думаю. Словом, отправились мы смотреть эти гонки — и вы бы послушали, как миссис Бантлайн орала и бранилась. Помните, какие слова говорил Артур Гонсалес? А миссис Бантлайн и не такие слова кричала, Артур, наверное, таких никогда и не слышал. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы дама так выходила из себя и так злилась. Про меня она и забыла. Она была похожа на ведьму, искусанную бешеной собакой. Можно было подумать, что судьба всего мира зависит от этих загорелых детей на красивых белых яхточках. Вдруг она вспомнила, что я все слышу и что не стоило при мне кричать всякие гадкие слова.

— Постарайся понять, почему мы все так волнуемся, — сказала она. — Ведь Лайла вот-вот может выиграть «Кубок Командира».

— О, — сказала я. — Теперь мне все понятно, — честное слово, папочка, больше я ничего не говорила, но по глазам, наверное, было что-то заметно.

Главное, что меня поражает в этих людях, — это вовсе не то, что они такие невежественные или такие алкоголики. Удивительней всего, что они думают, будто все на свете — подарок бедным людям от них или от их предков. В первый день моего приезда миссис Бантлайн провела меня на боковую террасу, посмотреть закат. Я посмотрела и сказала, что мне очень нравится, но она ждала, что я должна что-то ей сказать. Но я никак не могла придумать, что мне еще полагается говорить, и я сказала довольно глупую фразу: «Спасибо вам за это». Оказалось, что она именно этого и ждала. «Пожалуйста!» — сказала она. После этого я уже благодарила ее за океан, за луну, за звезды в небе и даже за Конституцию Соединенных Штатов.

Может быть, я очень нехорошая и глупая и потому не понимаю, как можно жить в этом Писконтьюте. Может

быть, я просто та свинья, перед которой нечего «метать бисер», но мне никак не понять, почему так выходит. Я хочу домой. Пишите мне поскорее. Я вас очень люблю.

Селина.

P. S. Кто же на самом деле правит этой безумной страной? Уж конечно, не эти ничтожества».

Чтобы скоротать время, Норман Мушари съездил в Ньюпорт и заплатил двадцать пять центов за осмотр знаменитого поместья Рэмфордов. Как ни странно, владельцы этого поместья до сих пор жили в своем особняке и любили глазеть на посетителей. Публику, конечно, пускали не ради каких-то денег.

Мушари очень обиделся, когда один из Рэмфордов, огромный мальш, ростом в два метра с лишним, заржал прямо ему в лицо. Он тут же пожаловался дворецкому, проводившему экскурсию:

— Уж если им так не нравятся посетители, зачем они их пускают, да еще деньги берут?

Но никакого сочувствия у дворецкого Мушари не встретил: тот терпеливо и сухо разъяснил, что такие осмотры разрешаются лишь раз в пять лет, всего на один день. Так гласило завещание, составленное три поколения тому назад.

— А почему в завещание был включен такой пункт?

— Такова была воля первого владельца поместья, он считал, что его наследникам, живущим в этих стенах, бесполезно будет хотя бы изредка, глядя на случайно попавших к ним извне людей, ознакомиться с представителями других кругов.— Дворецкий оглядел Мушари сверху вниз:— Так сказать, через них ознакомиться с современностью. Вы меня поняли?

Когда Мушари выходил из особняка, Лэнс Рэмфорд увязался за ним. Глядя с высоты своего роста на низенького Мушари, он объяснил притворно ласковым голосом, что его мамаша считает себя великим знатком человеческих типов и предполагает, что Мушари когда-то служил в американской пехоте.

— Нет.

— Не может быть! Она так редко ошибается. Она даже подчеркнула, что вы были снайпером.

— Нет, нет!

Лэнс пожал плечами.

— Значит, не в этой жизни, а в прошлом воплощении! — сказал он и опять заржал.

Сыновья самоубийц часто думают — не покончить ли им с собой, особенно к вечеру, когда в их крови падает содержание сахаристых веществ.

Так было и с Фредом Розуотером, когда он возвратился домой после работы. Он чуть не упал, споткнувшись о пылесос у входа в гостиную, отскочил, чтобы восстановить равновесие, ударился ногой о столик, опрокинул вазочку с мятными конфетами. Опустившись на колени, он стал подбирать рассыпанные леденцы.

Он понял, что жена дома, потому что проигрыватель, который Аманита подарила ей ко дню рождения, гремел вовсю. У Каролины было всего-навсего пять пластинок, и она все их зарядила в проигрыватель. Пять пластинок можно было получить бесплатно при вступлении в Клуб любителей грамзаписи. Она измучилась вконец, пока не остановилась на пяти из ста пластинок. В конце концов она выбрала песенку Фрэнка Синатры «Танцуй со мной», «Господь — великий наш оплот и другие религиозные гимны» в исполнении хора Мормонской капеллы, «Далеко до Типперэри и другие песни» в исполнении хора и оркестра Советской Армии, «Симфонию Нового Света» — дирижер Леонард Бернштейн и наконец «Стихи Дилана Томаса» — читает Ричард Бертон.

Голос Бертона гремел вовсю, пока Фред подбирал рассыпанные конфетки.

Фред поднялся с полу, пошатнулся. В ушах звенело. Перед глазами плыли пятна. Он поплелся в спальню — Каролина спала не раздевшись. Она была совсем пьяна и к тому же, как всегда, завтракая с Аманитой, объелась цыпленком под майонезом.

Фред вышел на цыпочках из спальни, подумав, не повесится ли ему в подвале, на водопроводной трубе?

Но тут он вспомнил о сыне. Он слышал шум воды в уборной — значит маленький Франклин дома. Он прошел в комнату сына и стал его ждать. Только в одной этой комнатке Фред чувствовал себя спокойно. Шторы на окне были, как ни странно, спущены, хотя солнце уже зашло, а никаких любопытных соседей поблизости не было, свет в комнате только и шел от причудливой лампы на ночном столике. Лампа была сделана в виде гипсовой фигурки кузнеца с поднятым молотом. За кузнецом находился квадрат матового стекла оранжевого цвета. За стеклом помещалась электрическая лампочка, а над лампочкой — маленький жестяной вентилятор. Когда лампочка нагревалась, от нее поднимался горячий воздух, и вентилятор начинал крутиться. От блестящей поверхности вентилятора на оранжевое стекло падали беглые блики — казалось, что за этим стеклом горит настоящий огонь.

Про эту лампу рассказывали целую историю. Тридцать три года тому назад мастерская, изготавлившая такие лампы, была последним предприятием покойного отца Фреда.

Фред подумал — не наглотаться ли ему снотворного, но снова вспомнил о сыне. При жутковатом миганье лампы он

оглядел комнату, ища, о чем бы ему поговорить с мальчиком, и увидел торчащий из-под подушки край фотоснимка. Фред вытащил фото, думая, что это, наверное, фото какого-нибудь знаменитого спортсмена, а может, и его, Фреда, фото, у руля их яхты «Бутон-2».

Но оказалось, что это — порнографическая картинка, которую маленький Франклин купил утром у Лайлы Бантлайн на свои честно заработанные деньги — он разносил газеты. На картинке были изображены две толстые, жеманные голые шлюхи, причем одна из них пыталась каким-то немыслимым образом войти в интимные отношения с очень солидным, полным достоинства и очень серьезным шотландским пони.

Фреду стало тошно, стыдно. Он сунул картинку в карман, прошлепал на кухню, думая: «Господи, ну что же сказать мальчику?»

Кстати о кухне: электрический стул там был бы вполне уместен. Очевидно, Каролина именно так представляла себе камеру пыток. Там стоял фикус. Он умирал от жажды. В мыльнице над раковиной лежал раскисший ком, слепленный из разноцветных обмылков. Лепить мыльные шары из обмылков было единственным достижением Каролины в искусстве домоводства, которое она и внесла в их совместную жизнь. Этому искусству ее обучила мать.

Фред подумал — не налить ли в ванну горячей воды, забраться туда и перерезать себе вены нержавеющей бритвой. Но тут он увидел, что мусорное пластиковое ведерко в углу доверху полно, вспомнил, какие истерики Каролина закатывает с похмелья, после перепоя, увидев, что никто не вынес мусор. Пришлось вынести ведерко к гаражу, выкинуть мусор и вымыть ведро под шлангом около дома.

— Фррр-шррр-бррл-брылл,— булькала вода в ведерке. Тут Фред заметил, что кто-то оставил свет в подвале. Он поглядел со ступенек сквозь запыленное окошко, увидел верх шкафа, где хранились запасы. На нем лежала рукопись его отца — их семейная хроника, которую Фред никогда и не собирался читать. На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер тридцать восьмого калибра, изъеденный ржавчиной.

Натюрмортик был весьма интересный. Но тут Фред увидал, что это не натюрморт, а живая картина. Маленький мышонок грыз угол рукописи.

Фред постучал в окошко. Мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт.

Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший:

«МЭРРИХЬЮ РОЗУОТЕР. ИСТОРИЯ СЕМЕЙСТВА
РОЗУОТЕРОВ С РОД-АЙЛЕНДА».

Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так:

«Родиной Розуотеров в Старом свете всегда был Корнуолл, точнее Силлийские острова. Основатель рода, по имени Джон, прибыл на остров Пресвятой Девы в 1645 году, в свите пятнадцатилетнего принца Карла, ставшего впоследствии королем Карлом Вторым, в ту пору скрывавшимся от восстания, поднятого пуританами.

Фамилия «Розуотер» вымышленна. До того, как Джон назвался этим именем, никаких Розуотеров в Англии не существовало. Настоящее его имя Джон Грэхем. Он был младшим из пяти сыновей Джеймса Грэхема, пятого герцога и первого маркиза Монтроза. Сыну Джеймса Грэхема пришлось скрыться под псевдонимом, так как сам Джеймс являлся вождем роялистов, чье дело было проиграно. За Джеймсом числится множество романтических приключений, например, однажды он, переодевшись простым шотландцем, отправился в Горную Шотландию и там собрал кривой, но свирепый отряд и одержал победу в шести кровавых схватках над превосходящими силами противника — то есть над пресвитерианцами, коими командовал Арчибальд Кэмпбелл, восьмой герцог Аргайльский. Кроме всего прочего, Джеймс был поэтом.

Из вышесказанного следует, что в каждом Розуотере течет благородная кровь шотландской знати и что их настоящее имя не Розуотер, а Грэхем. Джеймс был повешен в 1650 году».

Бедный старый Фред просто глазам не верил — неужто он происходит от таких славных предков? Кстати, на нем были носки «аргайки» шотландской шерсти, и он даже поддернул штаны, чтобы взглянуть на эти носки. Теперь имя «Аргайль» приобрело для него совершенно новый смысл. Да, сказал он себе, один из моих предков победил Аргайля шесть раз подряд. Тут Фред заметил, что стукнулся тогда ногой о столик гораздо сильнее, чем ему казалось, и сейчас кровь из ссадины капала на его аргайльские носки.

Он стал читать дальше:

«Джону Грэхему, принявшему имя Джона Розуотера, очевидно, пришлась по душе жизнь на Силлийских островах, их мягкий климат и его новое имя, ибо он остался там навсегда и стал отцом семерых сыновей и шести дочерей. Он тоже, как говорили, был поэтом, хотя его произведения до нас не дошли. Возможно, что, ознакомившись

с его стихами, мы поняли бы то, что осталось для нас тайной, а именно: почему потомок знатного рода отказался от своего благородного имени и от всех привилегий, сопряженных с таким званием, и довольствовался жизнью простого фермера на острове, вдали от тех мест, где сосредоточены и власть и богатство. Могу лишь высказать догадку, которая так и останется догадкой: очевидно, ему претили все кровавые дела, в коих он участвовал, сражаясь вместе со своим братом. Во всяком случае, никаких попыток рассказать о себе своему семейству он не предпринимал, и, даже когда была восстановлена королевская власть, он не открыл никому, что он из рода Грэхемов. В хронике семьи Грэхемов о нем сказано, что он, очевидно, пропал без вести в морском бою, защищая своего принца...»

Фред услышал, как Каролину рвало в ванной.

«Род-айлендские Розуотеры — прямые потомки Фредерика, сына Джона. О Фредерике нам известно только то, что у него был сын по имени Джордж, который первым уехал с островов. Он отправился в Лондон и стал садоводом. У Джорджа было два сына, и младший из них, Джон, в 1731 году был посажен в долговую тюрьму. В 1732 году его освободил некий Джеймс Оггторп, заплативший за него все долги, при условии, что Джон будет сопровождать его, Оггторпа, в экспедицию в штат Джорджия. В этом штате Джон должен был стать главным садоводом экспедиции и посадить шелковичные деревья для разведения шелкопрядов. Джон Розуотер стал там же главным архитектором экспедиции, и по его плану был заложен город, впоследствии названный Саванной. В 1742 году Джон был смертельно ранен в бою с испанцами на Кровавом Болоте.»

Рассказ о подвигах и мужестве предков так окрылил Фреда, что он решил немедленно сообщить об этом своей супруге. Но он и не подумал взять священную книгу и показать ее жене. Нет, книгу нельзя было выносить из подвала, жене надлежало самой спуститься в священный подвал.

И Фред сдернул одеяло с Каролины, может быть, впервые за всю их супружескую жизнь отважившись на такой смелый, такой истинно мужской поступок. Он заявил, что его настоящая фамилия — Грэхем, что один из его предков спроектировал город Саванну и что она немедленно должна сойти с ним в подвал.

Спотыкаясь спросонья, Каролина сошла с лестницы за Фредом, и он, открыв перед ней манускрипт, вкратце изложил всю

историю род-айлендских Розуотеров, вплоть до их участия в битвах с испанцами.

— Хочу тебе сказать,— добавил Фред,— что мы — не безродные ничтожества. Мне надоело, мне просто осточертело делать вид перед всеми, что мы — никто.

— Никогда я не делала вид, что мы — никто.

— Да ты всем внушала, что я ничтожество.— Эти слова невольно вырвались у Фреда, и оба они удивились — так точно определил он ее отношение к нему.— Ты знаешь, о чем я говорю,— добавил Фред. Он заговорил путано и торопливо, потому что ведь он не привык касаться таких важных, таких значительных и важных вопросов.

— Эти твои воображалы, ублюдки несчастные. Думаешь, лучше их никого на свете нет, по-твоему, они лучше нас, лучше меня! Посмотрел бы я, какая у них родословная, можно ли сравнить их предков с моими. Мне всегда казалось, что глупо хвастать своей родословной, но даю тебе честное слово — пусть только они захотят со мной потягаться, я им с удовольствием все покажу — пускай попробуют сравнить!!! И вообще хватит вечно извиняться! Другие говорят «здравствуйте!» или «до свидания», а мы только и знаем, что бормотать «простите, пожалуйста!» — все равно, приходим или уходим.— Фред широко развел руки:— Хватит извиняться! Да, мы бедные! Ну и пусть, бедные так бедные! Мы — американцы! А именно в Америке, как нигде, стыдно извиняться за то, что ты бедный. В Америке надо первым делом спрашивать: «А он — верный гражданин, этот человек? Он честный малый? Он твердо стоит на своих ногах?»

Фред угрожающе поднял толстый фолиант над головой бедной Каролины.

— Род-айлендские Розуотеры были в прошлом людьми творческими, активными и всегда будут такими,— объявил он.— У кого-то из них деньги были, у других нет, но клянусь тебе, что все они сыграли свою роль в истории! Хватит вечно извиняться!

Фред явно убедил Каролину. Да и нельзя было не поддаться его страстным уверениям. Она совсем ошалела, с испугом и уважением слушая Фреда.

— Ты знаешь, какая надпись высечена над входом в вашингтонский архив?

— Нет,— призналась она.

— «Прошлое — пролог!»

— А-а...

— Вот так,— сказал Фред.— А теперь давай вместе прочитаем историю рода Розуотеров, давай вместе попробуем хоть немного укрепить нашу семью, будем больше уважать друг друга, доверять друг другу.

Она молча кивнула.

Повествованием об участии Джона Розуотера в битве с испанцами кончалась вторая страница манускрипта. И Фред Розуотер осторожно взял двумя пальцами за уголок эту страницу и театральным жестом отвернул ее в ожидании дальнейших откровений.

Перед ним открылась огромная дыра. Термиты сожрали всю историю рода. Они так и кишели в рукописи, синевато-белесые, противные, и догрызали последние страницы.

Когда Каролина, содрогаясь от гадливости, прошлепала к выходу из подвала, Фред спокойно решил, что теперь ему на самом деле пора умереть.

Фред отлично умел делать любую петлю даже вслепую и, схватив веревку для белья, завязал ее как надо. Он влез на табуретку, закрепил веревку на водопроводной трубе и попробовал, крепка ли петля.

Он уже стал надевать ее на шею, когда послышался голос маленького Франклина, крикнувшего, что к отцу пришел какой-то человек. А этот человек, Норман Мушари, уже сам, незванный, спускался по лестнице в подвал, таща под мышкой туго набитый полуразинутый портфель.

Фред еле успел соскочить с табуретки; посетитель чуть не застал его врасплох в тот момент, когда он собирался покончить с собой.

— Мистер Розуотер?

— Я...

— Сэр, в эту минуту, сейчас, ваши родственники в Индиане грабят вас и вашу семью, отнимают у вас ваше законное наследство, миллионы долларов. Я приехал, чтобы подсказать вам, как вы сможете выиграть в суде, чрезвычайно просто и сравнительно без особых затрат, и вернуть себе эти миллионы.

Фред упал в обморок.

12

Два дня спустя Элиоту уже пора было сесть в автобус «Борзой» на остановке у закусочной и поехать в Индианаполис, где в гостинице, в апартаментах «Синяя птица» была назначена встреча с Сильвией. Стоял полдень. Элиот все еще спал. До поздней ночи ему не давали уснуть не только телефонные звонки, люди шли и шли, не считаясь со временем, чуть ли не все посетители приходили пьяные вдрызг. Весь город Розуотер был в панике. Сколько бы Элиот не уговаривал своих клиентов, они все считали, что он бросает их навсегда.

Элиот очистил свой стол от хлама. Он разложил на нем новый синий костюм, новую белую рубашку, новый синий галстук, новую пару черных нейлоновых носков, новые спортивные шорты, новую зубную щетку и флакон «Лавориса». Зубную щетку он употребил всего лишь раз. Она до крови ободрала ему десны.

На дворе залаяли собаки. Они подбежали к пожарному депо, приветствуя своего любимца — всем известного пропойцу Делберта Пича. Они ластились к нему, явно одобряя его попытку сбросить с себя человеческий облик и стать собакой.

— Кыш! Кыш! — неуверенно бормотал он. — Я же не в охоте... черт вас дерит!

Он ввалился с улицы в контору Элиота, захлопнул входную дверь перед мордами своих лучших друзей и с песней стал подниматься наверх к Элиоту. Вот что он пел:

Подлечил одну заразу,
Подцепил другую сразу.

Весь обросший щетиной, вонючий, подымался Делберт Пич по лестнице, так медленно, что песни хватило лишь до полпути. Он затянул американский национальный гимн и все еще бормотал про звездно-полосатый флаг, когда влез наконец, отдуваясь и пыхтя, в контору Элиота.

— Мистер Розуотер, мистер Розуотер! — Но Элиот зарылся под одеяло с головой, и сон его был очень крепок, да еще его руки судорожно сжимали край одеяла. Но Пичу так хотелось лицезреть любимые черты, что он ухитрился разжать сильные кулаки Элиота.

— Мистер Розуотер, вы живы? Мистер Розуотер, вы не заболели?

Лицо Элиота перекошилось от напряженной борьбы за одеяло.

— Что? Что? Что такое? — Элиот открыл глаза.

— Слава богу, а то мне померещилось, будто вы померли!

— Нет, как видно, я бы заметил, если б помер.

— Мне приснилось, что ангелы слетели с неба, подхватили вас и унесли прямо в рай, да и посадили рядышком со Спасителем нашим, Иисусом Христом.

— Нет, — сонно сказал Элиот. — Ничего такого не было.

— Будет когда-нибудь, будет обязательно. И вы оттуда услышите, как стенает и плачет по вас весь наш город.

Элиот надеялся, что ни стенаний, ни плача он оттуда не услышит, но промолчал.

— Но хоть вы и не померли, мистер Розуотер, но я-то знаю, что вы к нам больше никогда не вернетесь. Только попадете в Индианаполис, где столько света, столько веселья и красивых домов, спять попробуете сладкую жизнь, и вам еще больше захочется опять так пожить, да это и понятно, вы же и раньше хорошо жили, знаете в этом толк, и не успеешь оглянуться, как вы вернетесь в Нью-Йорк и уж там сладко заживете — лучше не бывает. Да и почему бы вам и не пожить всласть?

— Мистер Пич, — Элиот протер глаза. — Если я вдруг окажусь в Нью-Йорке и снова заживу такой сладкой жизнью,

какой свет не видал, знаете, что со мной будет? Выйду я на берег к большой воде, меня сразу как громом ударит, и я бухнусь в воду, а там меня проглотит кит, и поплывет он в Мексиканский залив, а оттуда вверх по Миссисипи, вверх по Огайо, а оттуда по Белой, потом по Затерянной речке, прямо в розуотеровский канал. И поплывет мой кит по розуотеровскому судоходному каналу, прямо к этому городу, и изрыгнет меня из чрева китова прямо в Парфенон. Вот я и окажусь здесь снова!

— Что ж, вернетесь вы сюда, мистер Розуотер, или нет, я вам хочу преподнести подарок на дорогу; сейчас сообщу вам одну хорошую новость.

— Что же это за новость, мистер Пич?

— Ровно десять минут тому назад я дал зарок — спиртного никогда в рот не брать. Это вам мой подарок.

Тут зазвонил красный телефон. Элиот схватил трубку — это был телефон пожарной тревоги.

— Алло! Алло! — крикнул он, сжав левую руку в кулак, и выставил средний палец. Ничего плохого в этом жесте не было — он просто приготовился нажать кнопку, которая приводила в действие сирену, громкую, как труба Судного дня.

— Мистер Розуотер? — Голос был женский, очень кокетливый.

— Да, да! Где горит?

— Мое сердце горит, мистер Розуотер!

Элиот взбесился — и это никого не удивило бы. Все знали, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь баловался с пожарным телефоном. Это было единственное, что он люто ненавидел. Голос он узнал сразу: звонила Мэри Моди, потаскушка, чьих близнецов он только вчера крестил. Ее подозревали во многих поджогах, судили за мелкие кражи и за проституцию — пять долларов с гостя. Элиот стал крыть ее всюю за то, что она посмела позвонить по красному телефону:

— *Черт бы тебя побрал*, как ты смеешь звонить по этому номеру! Тебе в тюрьме место, гнить там весь век! Всех вас, идиотов, сукиных детей, кто смеет шутить с пожарным телефоном, швырнуть бы в ад, жарить там на сковородке до второго пришествия!

И он грохнул трубку на место.

Через несколько секунд зазвонил черный телефон.

— Фонд Розуотера слушает, — ласково сказал Элиот. — Чем могу вам помочь?

— Мистер Розуотер, это опять я, Мэри Моди... — Она захлебывалась от слез.

— Что случилось, дорогая моя? — Элиот честно не понимал,

в чем дело. Он готов был на месте убить каждого, кто заставил бедняжку так горько плакать.

Шофер остановил черный «крайслер-империал» у дверей Элиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали.

Он кряхтя поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подыматься было куда легче. Он невероятно состарился, да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Элиота себя не вел: он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Элиот, все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах, торопливо встал навстречу отцу и обнял его:

— Отец, отец, отец, вот неожиданная радость!

— Нелегко мне было приехать к тебе...

— Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь?

— Противно видеть, какой тут хаос.

— Но тут куда чище, чем неделю назад.

— Неужели?

— Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку!

Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива:

— Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии только оттого, что я ее боюсь? — Голос сенатора уже звучал спокойнее.

— Кажется, ты знаешь Долберта Пича?

— Я о нем знаю.— Сенатор кивнул Пичу:— Здравствуйте, мистер Пич. Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?

Пич совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил.

— Ага, значит, я принял вас за вашего папашу. Прошу прощения. Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко.

Пич промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии три раза.

— Может быть, нас оставят наедине хоть ненадолго, — сказал сенатор Элиоту, — или это будет противоречить твоим представлениям о том, какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе?

— Ухожу, ухожу, — сказал Пич. — Чувствую, что я тут лишний.

— Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство, — сказал сенатор.

Пич, уже прошаркавший до дверей, остановился, услышав эти обидные слова, сам удивился, что сообразил, как это обидно:

— Как вы можете так оскорблять людей, простых людей, ведь вы от них зависите — подадут они за вас голос или нет, нехорошо, сенатор.

— Как законченный пьяница, мистер Пич, вы должны отлично знать, что пьяных к избирательным урнам не допускают.

— А я голосовал, — сказал Пич. Ложь была слишком явной.

— Если так, то вы, наверное, голосовали за меня. Тут большинство за меня голосует, хотя я никогда не подлизывался к жителям штата Индиана, даже во время войны. А знаете почему? Потому что в каждом американце, даже самом пропащем, сидит задубелый, простецкий малый, вроде меня, который ненавидит всяких подонков еще больше, чем я.

— Право, отец, я и не надеялся тебя увидеть. Такая неожиданная радость. И выглядишь ты прекрасно.

— А чувствую себя прескверно. И новости у меня прескверные, особенно для тебя. Решил лично тебе сообщить.

Элиот слегка нахмурился:

— А когда у тебя действовал желудок?

— Не твое дело.

— Прости.

— Я к тебе приехал не за слабительным. Кое-кто считает, что у меня хронический запор с того самого дня, как объявили, что проект восстановления национальной экономики противоречит нашей конституции. Но я не потому здесь.

— Ты сказал, что чувствуешь себя прескверно.

— Ну и что?

— Обычно, когда ко мне приходят и жалуются на скверное самочувствие, девять из десяти жалобщиков страдают от запора.

— Погоди, вот я тебе все расскажу, мой мальчик, тогда посмотрим, поможет тебе пурген или нет. Один адвокатика, работающий в конторе Мак-Алистер, Робджент, Рид и Мак-Ги, которому был открыт доступ ко всем документам, теперь уволился оттуда. Он нанялся к род-айлендским Розуотерам. Они собираются подать на тебя в суд. Они хотят объявить тебя неменяемым.

На столе у Элиота зазвонил будильник. Элиот взял часы и подошел с ними к красной кнопке на стене. Он напряженно смотрел на секундную стрелку, его губы беззвучно отсчитывали секунды. Он нацелил средний палец левой руки и вдруг ткнул им в кнопку, пустив в ход самую громкую сирену на всем Восточном полушарии.

От жуткого воя сирены сенатор, заткнув уши, отскочил в угол и прижался к стене. В семи милях от Розуотера, в Новой Амброзии, какой-то пес завертелся волчком, кусая собственный хвост. Случайный проезжий в закуской опрокинул кофе на себя, забрызгав бармена, а в «Салоне красоты у Бел-

лы», у самой хозяйки, трехсотфунтовой Беллы, чуть не случился инфаркт. Все остряки в округе уже собирались повторить дурацкую, устарелую хохму про начальника добровольной пожарной команды Чарли Уормерграма, державшего страховую контору рядом с пожарным депо:

— Ага, сбросило Чарли с его секретарши!

Элиот снял палец с кнопки. Гигантская сирена стала давиться собственным голосом. Она глухо бормотала одно и то же:

— Бля-бля-блям... Бля-бля-блям...

Никакого пожара в Розуотере не было. Просто надо было возвестить, что настал полдень.

— Ну и звук! — сказал сенатор, медленно выпрямляясь. — У меня все вылетело из головы.

— Может, это и хорошо?

— Ты слышал, что я тебе говорил про род-айлендских Розуотеров?

— Да.

— И как ты к этому относишься?

— Мне грустно и боязно. — Элиот вздохнул, попытался было невесело усмехнуться, но ничего не вышло. — Я ведь всегда надеялся, что никто не станет искать доказательств — здоров я или нет и что это вообще никакого значения не имеет.

— Разве у тебя когда-нибудь возникали сомнения, здоров ты психически или нет?

— Безусловно.

— И давно это началось?

Глаза у Элиота расширились, словно он искал в пространстве честный ответ:

— Лет с десяти, пожалуй...

— Ты шутишь, конечно!

— Очень утешительно, что ты в этом уверен.

— Ты был здоровым, нормальным ребенком!

— Серьезно? — Элиот искренне обрадовался, вспомнив, каким он был мальчиком, он был рад вызвать в памяти этот свой образ, вместо того чтобы думать о тех наваждениях, которые его одолевали.

— Мне только жаль, что в детстве мы привезли тебя сюда.

— А мне тут и тогда понравилось и нравится до сих пор.

Сенатор крепче уперся ногами в пол, готовясь нанести решительный удар:

— Возможно, мой мальчик, но теперь надо отсюда уезжать и больше не возвращаться.

— Как это не возвращаться? — удивленно спросил Элиот.

— Этот этап твоей жизни окончен. Когда-нибудь должен был прийти конец. Хотя бы за это стоит поблагодарить род-айленд-

ских стервецов. Это они заставляют тебя уезжать отсюда — и уезжать немедленно.

— Как это они могут?

— А как ты сможешь доказать, что ты не сумасшедший, живя в такой декорации? Обстановочке?

Элиот оглядел комнату, ничего особенного не увидел:

— Тебе... тебе моя обстановка кажется странной?

— Да ты и сам все понимаешь, черт подери!

Элиот медленно покачал головой:

— Если тебе рассказать, отец, чего я не понимаю, ты, наверно, очень удивишься!

— Такой обстановки нигде в мире не найдешь. Если бы поставить на сцене такую декорацию и в ремарках было бы сказано: «При поднятии занавеса сцена пуста», то все зрители дрожали бы от нетерпения — поскорее увидеть, какой невысказанный психопат живет в таких условиях.

— А что, если этот псих выйдет и совершенно разумно объяснит, почему он так живет?

— Все равно он — психопат!

Элиот как будто с этим согласился. Во всяком случае, спорить он не стал, решив, что лучше ему умыться и переодеться перед отъездом. Он порылся в ящиках стола, нашел наконец бумажный пакет, где лежали вчерашние покупки: кусок душистого мыла, жидкость для ног, шампунь от перхоти, флакончик дезодоранта и тюбик зубной пасты.

— Рад, что ты опять решил принять приличный вид, сынок.

— Гм? — Элиот внимательно читал надпись на флакончике дезодоранта «Arrid» — таким он никогда не пользовался, да и вообще никаких средств от пота он никогда не употреблял.

— Вот приведешь себя в порядок, бросишь пить, уедешь отсюда, откроешь контору где-нибудь в Индианаполисе, в Чикаго, в Нью-Йорке, где угодно, — и когда начнется судебная экспертиза, все увидят, что ты абсолютно нормальный человек.

— Угу, — сказал Элиот и спросил отца, употреблял ли он когда-нибудь средство от пота «Аррид».

Сенатор обиделся:

— Я принимаю душ и утром и на ночь. Предполагаю, это избавляет меня от нежелательных выделений.

— Тут написано, что при употреблении может выступить сыпь, и если выступит, то надо перестать пользоваться этим средством.

— Если тебя это беспокоит, выкинь эту штуку. Лучше воды и мыла ничего нет.

— Гм...

— Вот в чем наша беда тут, в Америке. Эти деятели с Мэдисон-сквера заставляют нас больше беспокоиться о наших

подмышках, чем о России, Китае и Кубе вместе взятых.

Разговор, в сущности, очень щекотливый для двух столь ранимых людей сейчас незаметно перешел в совсем мирную беседу. Сейчас они спокойно и безбоязненно говорили обо всем.

— Знаешь,— сказал Элиот,— Килгор Траут однажды написал целую книгу про страну, где люди боролись с запахами. Это было всенародное дело. Там у них больше не с чем было бороться — не было ни эпидемий, ни преступлений, ни войн. Вот они и стали бороться с запахами.

— Видишь ли, если тебе придется выступать на суде,— сказал сенатор,— лучше не проявлять особых восторгов по поводу этого Килгора Траута. Твоя любовь к этой приключенческой чуши может создать впечатление у очень многих людей, что ты очень отстал в своем развитии.

И снова их разговор утерял мирный тон. В голосе Элиота появились резковатые нотки, когда он упрямо продолжал излагать содержание романа Килгора Траута под названием: «О, скажи — чуешь ты?»¹

— В этой стране,— рассказывал Элиот,— было множество огромных исследовательских институтов, где решалась проблема с запахами. Исследовательская работа велась на добровольные пожертвования, которые собирали матери семейств, по воскресеньям обходя дом за домом. В институтах ученые пытались найти идеальный химический состав для уничтожения каждого запаха. Но тут герой романа, он же диктатор этой страны, сделал изумительное научное открытие, даже не будучи ученым, и все исследования оказались излишними. Он проник в самую суть этой проблемы.

— Ага,— сказал сенатор. Он ненавидел произведения Килгора Траута, и ему было стыдно за сына.— Наверное, он нашел универсальный состав, изничтоживший любой запах.

— О нет,— сказал Элиот.— Ведь герой был диктатором в своей стране. Он просто изничтожил все носы.

Элиот мылся с ног до головы в ужасающе тесной уборной и, весь дрожа, отфыркивался и откашливался, шлепая себя смоченными бумажными полотенцами.

Смотреть на эту непристойную и нелепую процедуру сенатор никак не мог. Он стал ходить по комнате. Двери в комнату не запирались, и сенатор потребовал, чтобы Элиот придвинул к ним полку с картотекой:

— Вдруг кто-нибудь войдет и увидит тебя голышом? — сказал он, на что Элиот ответил:

— Знаешь, отец, для здешних жителей я почти бесполое существо.

¹ Название пародирует начало американского гимна.

Раздумывая об этой неестественной бесполости и всяких других ненормальных проявлениях, огорченный сенатор машинально выдвинул верхний ящик картотеки. Там стояли три жестянки с пивом, валялись старые водительские права от 1948 года, выданные в штате Нью-Йорк, и незапечатанный и неотправленный конверт с парижским адресом Сильвии. В конверте лежали любовные стихи, которые Элиот написал для Сильвии два года назад.

Сенатор решил отбросить всякий стыд и прочесть стихи, надеясь найти там хоть что-нибудь в пользу Элиота. Но вот какие стихи он прочитал, и ему снова стало неудержимо стыдно:

Художник я в мечтах — ты это знаешь,
А может быть, не знаешь. Да,— и скульптор.
Тебя давным-давно здесь не видать,
И это — как толчок моим рукам — играть
С невидимым каким-то матерьялом
И мысленно его, как глину, формовать.
Наверное, ты очень удивишься,
Узнав, что стал бы делать я с тобой:
К примеру — будь я около тебя,
Когда ты, лежа, этот стих читаешь,
Я попросил бы: «Приоткрой живот»,—
Чтоб ногтем левого большого пальца
Я мог бы провести черту в пять дюймов
Над темным треугольником волос,
А правым указательным коснуться
Чудесной ямочки на животе
И замереть, не отнимая рук,
На полчаса,—
А может быть, и дольше.
Что, странно?
Ну еще бы...

Сенатор был глубоко шокирован упоминанием о «темном треугольнике волос». Он сам видел очень мало голых людей, раз пять-шесть в жизни, и для него всякое упоминание о растительности на теле было самым неприличным, самым нецензурным выражением на свете.

Элиот уже вышел из уборной, голый, волосатый, вытираясь чайным полотенцем. Полотенце было новое, нестираное, на нем виднелся ярлычок с ценой. Сенатор окаменел от жуткого ощущения, что на него со всех сторон с непреодолимой силой хлынула чудовищная грязь, невыразимая непристойность.

Элиот ничего не замечал. В полной невинности он продолжал вытираться чайным полотенцем, потом швырнул его в корзину для мусора. Зазвонил черный телефон.

— Фонд Розуотера. Чем могу вам помочь?

— Мистер Розуотер,— сказал женский голос.— Сейчас по радио передавали про вас.

— Да ну?— Элиот машинально стал почесывать низ живота. Ничего предосудительного в этом не было. Он просто подергивал курчавую прядку волос, выпрямлял ее и отпускал, вытягивал и снова отпускал.

— Говорили, будто кто-то собирается доказать, что вы сумасшедший.

— Не беспокойтесь, дорогая моя. Близок локоть, да не укусишь.

— Ох, мистер Розуотер, если вы уедете и не вернетесь, мы тут все без вас умрем.

— Даю вам честное благородное слово, что я сюда вернусь. Верите мне?

— А вдруг они вас *не выпустят*?

— Вы думаете, что я и на самом деле сумасшедший?

— Да как вам сказать...

— Говорите что угодно!

— Я все время думаю— а вдруг люди *решат*, что вы сумасшедший, раз вы столько заботитесь о таких людях, как мы.

— А вы где-нибудь встречали людей, которым больше нужна забота, дорогая моя?

— Нет, я отсюда никогда не выезжала.

— А стоило бы посмотреть. Вот я вернусь и устрою вам поездку в Нью-Йорк, ладно?

— Господи, да вы же больше никогда не вернетесь.

— Я дал вам честное слово.

— Знаю, знаю. Все равно мы интуитивно чувствуем, это в воздухе носится— не вернетесь вы сюда, и все.

Элиоту попалась одна чудная волосинка. Он ее тянул-тянул, а она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть ли не фут длины. Элиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побавровел.

— Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер,— продолжал женский голос.— Хотели устроить парад, с флагами, цветами, плакатами. Но ничего не выйдет. Очень мы все боимся.

— Чего?

— Не знаю,— сказала она и повесила трубку.

Элиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул:

— Элиот!

— Сэр?— Элиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов.— Здорово она держит, эта штука. Я совсем забыл, как здорово чувствовать *поддержку*.

Сенатор взорвался.

— За что ты меня *ненавидишь*? — заорал он.

Элиот был совершенно ошеломлен:

— Ненавижу тебя, отец? Что ты! Да я вообще не знаю ненависти!

— Почему же ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня?

— Вовсе нет!

— Понятия не имею, какое зло я тебе причинил, за что ты со мной теперь расплачиваешься, хотя, по-моему, ты уже отплатил мне сторицей.

Элиот был в ужасе:

— Отец, прошу тебя...

— Замолчи! Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу!

— Бога ради, отец! Я всегда любил...

— Любил? — с горечью бросил сенатор. — Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы. Скажешь, что ты и Сильвию любил, да?

Элиот заткнул уши.

Сенатор что-то кричал, брызгая слюной. И Элиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Элиоту.

Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью.

Элиот разжал уши и стал одеваться, как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки. Завязав шнурки, он выпрямился. И вдруг весь окаменел, помертвел.

Зазвонил черный телефон. Элиот не снял трубку.

13

Что-то живое все-таки оставалось в Элиоте и заставляло его следить за стрелкой часов. За десять минут до того, как его автобус должен был подойти к закусочной, он вдруг ожил, осторожно сдул пушинку с костюма и вышел из своей конторы. Воспоминание о ссоре с отцом ушло куда-то в глубь сознания. Он шел легко и беззаботно, как Чаплин в роли праздного гуляки.

Он наклонился, чтобы погладить собак, прибежавших поздороваться с ним. Новый костюм его стеснял, пиджак резал под мышками, брюки — в шагу, подкладка шуршала при каждом движении, как газетная бумага, напоминая ему, до чего он вырослся.

В закусочной шел разговор. Элиот прислушался, не заходя туда. Голосов он не узнавал, хотя там сидели его знакомые. Трое мужчин с горечью беседовали о денежных делах. Гово-

рили они медленно, потому что мысли приходили к ним почти с такими же перерывами, как деньги.

— Что ж,— сказал один из них, помолчав.— Бедность, конечно, не порок...

Это была первая половина старой-престарой остроты — ее любил повторять известный во всей округе шутник Кин Хаббард.

— ...Но большое свинство! — закончил за него другой.

Переядя улицу, Элиот зашел в страховую контору начальника добровольной пожарной бригады Чарли Уормерграна. Чарли был человек благополучный и никогда не обращался за помощью в Фонд. Он был одним из семи жителей округа, которые по-настоящему преуспели благодаря системе свободного предпринимательства. Второй была Белла, владелица «Салона красоты». Оба они начали с нуля: оба выросли в семье железнодорожников. Чарли был на десять лет моложе Элиота. Росту в нем было шесть футов с лишним, плечи широкие, бедра узкие, и никакого живота. Кроме поста начальника пожарной дружины, он занимал должность федерального шерифа и инспектора мер и весов. Он также держал вместе с Беллой «Парижский магазин» — хорошенькую галантерейную лавочку в новом деловом квартале для богатых жителей Новой Амброзии. Как у всех героических личностей, и у Чарли был роковой порок. Он категорически отказывался верить, что заразился нехорошей болезнью, что, к сожалению, было правдой.

Известная всему городу личная секретарша Чарли ушла по делам. Кроме Чарли, Элиот застал в конторе еще одного человека — Ноиса Финнери, подметавшего пол. Ноис когда-то играл центра в бессмертной баскетбольной команде средней школы имени Ноя Розуотера. Эта команда не имела ни одного проигрыша в 1933 году. В 1934 году Ноис придушил свою шестнадцатилетнюю жену за постоянные измены и был осужден к пожизненному заключению. Теперь благодаря Элиоту он был взят на поруки. Ноису исполнился пятьдесят один год. Ни родных, ни друзей у него не было. Элиот совершенно случайно узнал о нем, просматривая старые номера «Розуотерского глашатая», и постарался взять его на поруки.

Ноис был человек молчаливый, циничный и обидчивый. Он ни разу не поблагодарил Элиота. Элиот не обижался и не удивлялся. Он привык к неблагодарности. В одном из его любимых произведений — романе Килгора Траута — речь шла именно о неблагодарности. Назывался роман «Первый районный Благодарственный Суд». Каждый, кто считал себя обиженным, потому что его не поблагодарили как следует за какое-нибудь доброе дело, мог подать на неблагодарного в этот суд. Если ответчика признавали виновным, суд давал ему наказа-

ние на выбор: либо публично принести благодарность жалобщику, либо отсидеть месяц в одиночке на хлебе и воде. По словам Траута, восемьдесят процентов осужденных предпочитали посидеть в каталажке.

Ноис куда скорей, чем Чарли, заметил, что Элиот не в себе. Он перестал подметать и пристально вглядывался в лицо Элиота. Он очень подло за всеми подсматривал. Чарли, всегда восторженно вспоминавший, как доблестно они с Элиотом вели себя на пожарах, ничего не заметил, пока Элиот вдруг не стал поздравлять его с получением награды, которую тот на самом деле получил три года назад.

— Элиот, вы шутите, что ли?

— Почему это я вдруг стану над вами подшучивать? Я искренне считаю, что это большая честь.

Речь шла о медали имени Горацио Алджера, присужденной еще в 1962 году Чарли как лучшему Молодому Хужеру Республиканской Федерацией Клубов Молодых Дельцов — Консерваторов штата Индиана.

— Элиот... — жалобно сказал Чарли. — Да это же было три года назад.

— Неужели?

Чарли встал из-за стола:

— Мы еще сидели у вас в конторе и решили отослать эту дурацкую бляху обратно.

— Правда?

— Мы с вами вспомнили, откуда она взялась, эта медаль, и решили, что она — поцелуй смерти.

— Как же мы могли решить?

— Да вы же сами раскопали всю эту историю!

Элиот слегка нахмурился:

— Что-то забыл...

Нахмурился он только для проформы — ему было совершенно неважно, помнил он или нет.

— Они же выдавали эту штуку с 1945 года. Шестнадцать раз присуждали до того, как наградили меня. Неужели не помните?

— Нет.

— Из этих шестнадцати награжденных шестеро посажены за решетку по обвинению в мошенничестве или неуплате налогов, четверо должны были предстать перед судом за разные нарушения законов, двое подделали свои военные аттестаты, а одного казнили на электрическом стуле.

— Элиот, — спросил Чарли с нарастающим беспокойством. — Вы слышали, что я говорил?

— Да.

— А что я сказал?

— Забыл.

— Но вы только что сказали, что слышали?

Вдруг Ноис Финнерти заговорил:

— Да он ничего не слышит, у него в голове только «щелк», «щелк», и все.— Ноис подошел поближе к Элиоту, чтобы всмотреться в него как следует. Это было не сочувствие, а как бы клинический осмотр. И Элиот повел себя как при клиническом осмотре, как будто симпатичный доктор направил ему в глаза рефлектор, что-то проверяя.

— Только этот «щелк» он и слышит, понятно? *Щелк-щелк*, и все, поняли?

— Что ты плетешь, чертов сын? — спросил Чарли.

— В тюрьме привыкаешь слушать, щелкнуло или нет.

— Да мы же не в тюрьме.

— Это не только в тюрьме бывает. Но в тюрьме привыкаешь прислушиваться куда больше, тем более с годами. Чем дольше просидишь, тем зрение становится слабее, а слух острее. А главное — ждешь, когда щелкнет. Вот вы воображаете, что он вам — близкий человек? Нет, если бы вы с ним были по-настоящему люди близкие, хоть это вовсе не значит, что он был бы вам друг, просто вы *знали бы его* насквозь, вы бы за милую слышали, как у него внутри что-то щелкнуло. Вот узнаешь человека насквозь, видишь, чувствуешь, что-то его мучает, а что именно, ты, может, так никогда и не узнаешь. Но от этого-то он и ведет себя так, он и выглядит так, да у него и в глазах что-то кроется, тайны какие-то, что ли. Ты ему скажешь: «Спокойно, спокойно, не надо, успокойся», или же спросишь: «Чего же ты опять глупостей наделал, разве не знаешь, что тебя все равно поймают, все равно попадешь в беду?» Скажешь, а сам знаешь, что зря говоришь, зря его уговариваешь, ты же сам понимаешь — сидит в нем то, что им командует. Оно ему скажет: «Прыгай!» — он и прыгнет, скажет «Воруй!» — он сворует, скажет: «Плачь!» — он заплачет. Конечно, может, он вдруг помрет молодым или жизнь у него пойдет, как он сам захочет. Тогда вся эта механика в нем постепенно кончится. А вот работаешь в тюремной прачечной рядом с человеком и вдруг услышишь, как в нем что-то щелкнуло. Обернешься к нему, смотришь — а он перестал работать. Стоит спокойно. Вид у него отупелый. Он весь затих. Заглянешь ему в глаза — а там ничего нет, никаких секретов. Он даже сразу не скажет, как его звать. Опять примется за работу, только он уже стал совсем другим, никогда прежним не будет. То, что у него внутри сидело, испортилось — завод остановился навсегда. Конец, *конец*. И весь тот кусок жизни, когда человек вытворял бог знает что, с ума сходил, — все это *кончилось*.

Сначала Ноис говорил медленно, бесстрастно, но к концу он весь вспотел от напряжения. Его руки побелели, мертвой

хваткой сжимая рукоять метлы. И хотя весь его рассказ сводился к тому, как тихо и спокойно стал вести себя тот его сосед по тюремной прачечной, сам он никак не мог совладать с собой. Он нещадно, почти непристойно крутил ручку метлы и что-то бессвязно бормотал. «Все! Все!» — задыхаясь шептал он, злобно пытаясь сломать ручку метлы. Он попробовал переломить ее через кольцо, зарычал на Чарли, хозяина метлы: «Не ломается, гадина, сукина дочь!»

— А ты, ублюдок, мать твою... — крикнул он вдруг Элиоту, ты-то свое получил! — и стал осыпать его ругательствами, все еще пытаясь сломать метлу.

Он отшвырнул метлу:

— Не ломается, стерва, шлюха! — крикнул он и выскочил из конторы.

Элиот в полнейшем спокойствии наблюдал эту сцену. Он мягко спросил Чарли — почему этот человек так возненавидел метлы? И добавил, что ему, наверное, уже пора на автобус.

— А как... как вы себя чувствуете, Элиот?

— Отлично.

— Правда?

— Никогда в жизни я себя не чувствовал так хорошо. У меня такое чувство, будто... будто...

— Что?

— Будто в моей жизни начинается какая-то новая фаза...

— Должно быть, это приятно...

— Очень, очень!

В таком настроении Элиот прошелся до автобусной остановки у закусочной. На улице стояла непривычная тишина, словно в ожидании перестрелки, но Элиот ничего не заметил. Весь город был уверен, что он уезжает навсегда. И те, кто больше всех зависел от Элиота, яснее, чем пушечный выстрел, услышали, как в нем что-то щелкнуло.

В их слабых мозгах возникали какие-то сумасшедшие планы — надо бы достойно проводить его на прощание, устроить парад пожарников, шествие с плакатами, где надписи говорили бы все, что о нем надо было сказать, воздвигнуть что-то вроде триумфальной арки из пожарных шлангов, с бьющей из них струей. Но все эти планы пошли прахом. Некому было организовать все это, некому руководить. Почти всех до того обескуражила мысль об отъезде Элиота, что ни сил, ни энергии не хватило даже на то, чтобы, стоя где-то в толпе, грустно помахать рукой на прощание. Они знали, по какой улице он пройдет. И они нарочно туда не шли.

Элиот перешел с тротуара, залитого полуденным солнцем, в сыроватую тень Парфенона, у самого канала. Бывший пиль-

щик, с виду ровесник сенатора, ловил в канале рыбу бамбуковой удочкой. Он сидел на складном стульчике, между его высокими сапогами стоял транзисторный приемник. По радио передавали песню про «старика-реку» Миссисипи. Голос пел: «Черный работает, белый гуляет...»

Старик не был ни пьяницей, ни распутником, вообще безо всяких странностей. Он был просто очень стар, вдов и болен раком в последней стадии, а его сын, служивший в авиации, ему не писал. Вообще он был человек незаметный. Пить он не мог. Фонд Розуотера давал ему деньги на морфий, по рецепту врача.

Элиот поздоровался с ним, но не мог вспомнить ни его имени, ни чем он страдает. Элиот глубоко вздохнул — в такой хороший денек не стоило вспоминать о грустных вещах.

В конце длинной стены Парфенона стоял небольшой киоск, где продавали шнурки для ботинок, бритвенные лезвия, безалкогольные напитки и журнал «Американский следопыт». Киоском ведал человек по имени Линкольн Эвальд, который во время второй мировой войны был яростным приверженцем нацистов. С начала войны Эвальд завел коротковолновый радиопередатчик, чтобы сообщать немцам, какие изделия ежедневно выпускает Розуотерский пилотавод, а выпускали там ножи для парашютистов и броневую сталь. И хотя немцы ни о каких сообщениях Эвальда не просили, он в первой же передаче заявил, что если они разбомбят город Розуотер, то вся американская экономика разрушится и погибнет. Никаких денег за свои сообщения он не просил. Он презирал деньги и говорил, что ненавидит Америку именно за то, что тут деньги — царь и бог. Просил он только, чтобы ему простой бандеролью прислали Железный Крест.

Его передачу ясно и четко услышали по своим приемникам два обходчика, охранявшие государственный заповедник в сорока двух милях от Розуотера. Сторожа уведомили Федеральное Бюро Расследований, и Эвальда нашли по адресу, который он дал немцам для посылки Железного Креста, и он был арестован и до окончания войны помещен в психиатрическую лечебницу.

Фонд Розуотера почти ничего для него не делал, Элиот только выслушивал его разговоры о политике, чего никто другой делать не желал. Кроме того, Фонд приобрел для него набор пластинок с уроками немецкого языка и дешевый проигрыватель. Эвальду очень хотелось научиться немецкому, но он все время был слишком зол и возбужден.

Элиот не помнил имени Эвальда и чуть было не прошел мимо него. Маленький мрачный киоск, похожий на нору прокаженного, легко было не заметить в тени руин великой цивилизации.

— Хайль Гитлер! — хрипло каркнул Эвальд.

Элиот остановился, приветливо посмотрел в ту сторону, откуда прозвучало приветствие. Весь киоск Эвальда был сплошь занавешен номерами журнала «Американский следопыт». Издали казалось, что этот «занавес» разукрашен круглыми горошинами. Это были пупки обнаженной красотки, Рэнди Геральд, смотревшей со всех разворотов журнала. И везде повторялся ее призыв — найти для нее мужчину, от которого она могла бы иметь гениального ребенка.

— Хайль Гитлер! — повторил Эвальд из-за журнальной занавеси.

— И вам тоже хайль гитлер, сэр! — улыбнулся Элиот. — Прощайте!

Солнце варварски ударило в глаза Элиоту, когда он вышел из-под тени Парфенона. Его сразу ослепило, и двое лентяев, сидевших на ступеньках суда, показались ему обугленными фигурами в облаках пара. Он услышал, как Белла в своем «Салоне Красоты» отчитывает какую-то даму за то, что та не делает маникюр.

Элиот никого не повстречал, хотя заметил, что кто-то подглядывает за ним из-за занавешенного окна. Он кивнул и помахал рукой неизвестно кому. Подойдя к школе имени Ноя Розуотера, закрытой на все лето, он остановился у флагштока, и его охватила неясная легкая грусть. Он меланхолично прислушался к глухому гулу внутри полого флагштока, когда железка на тресе, с которой был снят флаг раскачиваясь от легкого ветерка, ритмично ударяла по флагштоку, рождая в нем унылый гулкий отзвук.

Элиоту хотелось с кем-нибудь поделиться впечатлением от этих звуков, хотелось, чтобы кто-то вместе с ним их послушал. Но рядом никого не было, кроме собаки, провожавшей его, и он заговорил с собакой:

— Слышишь, какой это американский звук? Школа закрыта, занятия кончились, понимаешь? И флаг спустили. Такой грустный, такой американский звук. И слушать его надо бы на закате, когда поднимается вечерний ветерок, и все люди на свете садятся за ужин...

Он почувствовал комок в горле. Ему было хорошо.

Когда Элиот проходил мимо заправочной станции, из-за бензоколонок вынырнул молодой человек. Звали его Роланд Барри, и свихнулся он через десять минут после того, как его привели к присяге в форте имени Бенджамена Гаррисона. Ему назначили пенсию как полному инвалиду. Спятил он в ту минуту, как получил приказ — принять душ вместе с сотней других; совершенно голых ребят. Инвалидность у него была нешуточная. Роланд мог разговаривать только шепотом. Целыми днями он сидел около бензоколонок, притворяясь, что занят каким-то делом.

— Мистер Розуотер! — просипел он.

Элиот улыбнулся, протянул ему руку:

— Извините, пожалуйста, забыл ваше имя!

Но Роланд настолько не уважал себя, что ничуть не удивился, почему его забыл человек, к которому он в течение целого года забегал, по крайней мере, раз в день.

— Хотел поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь...

— За что?

— За жизнь, мистер Розуотер. Вы мне жизнь спасли, хотя она, может, того и не стоит.

— Что-то вы преувеличиваете, право!

— Вы один не смеялись надо мной после того, как со мной такое случилось. Может, вы и над стихами не будете смеяться.— И он сунул Элиоту в руку листок бумаги: — Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные. Вот до чего мне все смешно! — прошептал он и убежал.

Элиот растерянно прочел стихи. Вот они:

Колокола, волны,
Море, трели,
Реки, рояли,
Ручьи, свирели.
Водопады, гобои,
Пруды, тромбоны,
Лагуны, флейты
Озера, звоны.

Ты музыку слушай!
Упивайся водой,
Нам, бедным ягнятам,
Идти на убой.

Я люблю вас, Элиот,
Я плачу... Прощай!
Слезы и скрипки,
Сердца и цветы,
Цветы и слезы,
Розуотер, прости!

До закуской у остановки автобуса Элиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была четырнадцатилетняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розуотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем; тот же Фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде.

Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Элиоту, он спросил, как она себя чувствует.

— Как сказать,— ответила она.— Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась — все меня знают.

Сейчас она пила кока-колу и читала журнал «Американский следопыт». Она кинула на Элиота быстрый взгляд, но больше на него ни разу не посмотрела.

— Один билет до Индианаполиса, пожалуйста.

— Только туда или туда и обратно, Элиот?

Элиот решительно сказал:

— Нет, только туда.

Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его.

— Один билет до Индианаполиса! — громко повторил хозяин.— Прошу вас, сэр! — Он сердито проштамповал билет, вручил Элиоту и резко отвернулся. Больше и он на Элиота ни разу не взглянул.

Элиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке — поискать, что ему взять почитать в дорогу. Его заинтересовал «следопыт», он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Йеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову семилетней девочке. Элиот положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута «Трехлетний отпуск из Пангалактики».

Вдали глухо пробурчал гудок автобуса.

Когда Элиот садился в автобус, появилась Диана Луун Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле.

— Мистер Розуотер! — всхлипнула она.

И вдруг грохнула телефон оземь, у самого входа в автобус:

— Не нужен мне телефон. Больше звонить некому, больше мне никто не позвонит!

Элиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая:

— Виноват, не совсем понимаю!

— Как? Да это же я, мистер Розуотер! Это я, Диана. Диана Луун Ламперс!

— Рад познакомиться.

— *Познакомиться?* Со мной?

— Да, да, вот именно, только... только я не совсем понял — при чем тут телефон?

— Да вы же *единственный* человек, кому я звонила.

— Как же так? — с недоумением спросил он.— У вас, наверное, есть много других знакомых?

— Ах, мистер Розуотер! — зарыдала она, припав к дверце автобуса.— Вы же мой *единственный* друг!

— Ну, вы еще много друзей заведете! — обнадежил ее Элиот.

— Ох, господи! — всхлипнула она.

— Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви?

— Вы моя церковь! Вы мое все! Вы мое правительство! Вы мой супруг! Вы — все мои друзья!

Такая ответственность несколько озадачила Элиота:

— Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего! А мне пора ехать, честное слово! — И он помахал ей рукой: — Прощайте!

Элиот сел в автобус и стал читать «Трехдневный отпуск из Пангалактики». Около автобуса поднялась какая-то суета, но Элиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся. Книга была поистине захватывающей — в ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной, до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было, и сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты.

Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином в экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно двухсот галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно.

Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более продуктивным. Уменьше говорить делало их куда более активными. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, мыслить, планировать.

Бойля вызвали с занятий английским языком к командующему экспедицией. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты *Тральфаматор* и ростом с земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не похо-

дил. Больше всего он был похож на «прокачку» — лучшего друга водопроводчиков.

Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-3, он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стряслось что-то страшное.

Капеллан сказал Бойлю:

— Будьте мужественны!

Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом, и ему, Бойлю, дают внеочередной отпуск на три дня, и что он должен отбыть немедленно.

— Кто погиб? Мама? — Бойль с трудом удерживался от слез. — Или папа? Может быть, Нэнси! (Так звали его девушку, соседку.) Или дедушка?

— Крепись, сынок, — сказал командир. — Страшно вымолвить... Дело не в том, кто погиб. Дело в том, что погибло.

— А что погибло?

— Млечный Путь погиб, мой мальчик, — сказал командир.

Элиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил.

На остановке в Нэшвиле, центре округа Браун, в штате Индиана, Элиот взглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвилским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой.

В Нэшвиле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было, что в мастерской стеклодува Элиот увидал, как изготавливались елочные украшения, хотя стоял июнь.

Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Элиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево — над городом бушевал огненный смерч. Элиот был поражен — он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне.

Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Элиота было тайной — почему он так ее прятал, почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика, почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабавольный пуританин, кото-

рому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Элиота и намек на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии». Написал ее Ганс Румпф.

Одну главу Элиот, с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден.

«Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха, высотой около трех миль и диаметром мили в полторы... Столб завертелся вихрем — снизу шли потоки холодного воздуха, отчего этот вихрь усиливался. В полутора милях от пожаров скорость ветра возросла с одиннадцати до тридцати трех миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья футов до трех в обхвате. Вскорости воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и следов от горючих материалов не оставалось, только через два дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району».

Приподнявшись в кресле автобуса, Элиот смотрел на огненный смерч, пожиривший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба, в восемь миль диаметром и по меньшей мере миль пятьдесят в высоту.

Столб пламени словно был отлит из стекла, настолько явно и неподвижно встал он над городом. Внутри него крупинки раскаленной докрасна золы торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины. И ее белизна казалась священной.

14

Перед глазами Элиота все стало черным-черно, как тьма за пределами Вселенной. Очнулся он в саду, где сидел на каменном барьере высохшего фонтана. Солнце пригревало его, просвечивая сквозь ветви платана. На платане пела птичка. «Пьюти-фьют? — спрашивала она. — Пьюти-фьют, фью, фью?» Сад был окружен высокой каменной стеной — и Элиот узнал этот сад. Тут он не раз навещал Сильвию. В саду находилась частная нервная клиника доктора Брауна, в Индианаполисе, и много лет назад он привез сюда Сильвию. На каменном барьере фонтана было высечено следующее изречение:

«ВСЕГДА ПРИТВОРЯЙСЯ ХОРОШИМ —
ОБМАНЕШЬ ДАЖЕ САМОГО ГОСПОДА БОГА».

Элиот увидел, что его нарядили в ослепительно-белый теннисный костюм и что ему, словно манекену в витрине, даже положили на колени теннисную ракетку. Он крепко сжал рукоятку ракетки, хотелось проверить, существует ли она, существует ли он сам. Он следил, как в сложном переплетенье заиграли мышцы предплечья, почувствовал, что он не просто теннисист, но и очень хороший игрок. Он сразу понял, где он играет в теннис: к одной стороне садовой ограды примыкал теннисный корт, и сетка вокруг площадки была увита повиликой и душистым горошком.

— *Пьюти-фьют?*

Элиот взглянул на птичку, на зеленые ветви платана и понял, что сад на окраине Индианаполиса никак не мог бы уцелеть при пожаре. Значит, никакого пожара не было. Элиот принял эту мысль совершенно спокойно.

Он все еще не спускал глаз с птички. Хорошо бы стать такой птахой, взлететь на самую верхушку дерева и никогда не спускаться вниз. Ему хотелось взобраться повыше, потому что тут, на уровне земли, происходило что-то не очень ему приятное. Четверо мужчин в строгих темных костюмах сидели на короткой каменной скамье всего футах в шести от него. Они пристально смотрели на Элиота, как бы выжидая, чтобы он сообщил им что-то очень важное. Но Элиот чувствовал, что ничего важного он ни сказать, ни сделать для них не может.

Заболели мускулы на шее. Неужто он из-за них должен век сидеть, задрав голову?

— Элиот...

— Сэр? — Элиот понял, что с ним говорит его отец. И он стал постепенно переводить взгляд с ветки на ветку, так раненые птицы медленно слетают вниз, — и наконец его глаза встретились с глазами отца.

— Ты, кажется, хотел сообщить нам что-то важное? — спросил отец.

Элиот видел, что на скамье сидят четверо мужчин — трое старых и один молодой, все они сочувственно смотрят на него и напряженно прислушиваются — не захочет ли он сообщить им что-нибудь. В молодом человеке Элиот узнал доктора Брауна. Второй старик был Мак-Алистер, адвокат их семьи. Третьего старика Элиот раньше не встречал, но, как ни странно, его это ничуть не смутило, потому что у незнакомца, похожего на славного сельского гробовщика, было такое доброе лицо, что он показался Элиоту старым другом.

— Вы не находите слов? — подсказал доктор Браун. В голосе врача звучало беспокойство, он подвинулся поближе, готовясь помочь Элиоту найти эти слова.

— Не нахожу слов, — подтвердил Элиот.

— Что ж, — сказал сенатор. — Если ты не можешь выразить

свои мысли словами, значит, никак нельзя привести эти мысли на суде в доказательство твоей нормальности.

Элиот кивнул в знак согласия.

— А разве я... я уже *пытался* найти слова и что-то вам сказать? — спросил он.

— Ты просто заявил, что тебя только что осенила идея, каким образом навести порядок во всей этой неразберихе, без шума, честно и справедливо. Потом замолчал и уставился на дерево.

— Угу... — сказал Элиот. Он как будто силился припомнить, потом пожал плечами: — Ничего не помню, совсем вылетело из головы.

Сенатор хлопнул в ладоши — руки у него были старые и пятнистые:

— Нам теперь хороших идей не занимать, и сами придумаем, как одолеть все препятствия. — Он победоносно осклабился, хлопнул мистера Мак-Алистера по колену: — Верно? — Просунув руки за спину Мак-Алистера, он потрепал незнакомца по спине: — Верно? — Очевидно, он был просто влюблен в этого человека: — Тут на нашей стороне целый мозговой трест, лучше его планов ничего не найти! — Он захихикал, видно, он был в восторге от всех этих планов.

Сенатор широко раскрыл руки:

— Смотрите на моего сына — вот вам лучший аргумент в нашу пользу, смотрите, как он выглядит, как держится, такой подтянутый, такой складный! Он сам — наш козырь номер один!

Глаза у старика заблестели:

— Сколько он потерял в весе, доктор?

— Около двадцати килограммов.

— Снова в прежней спортивной форме! — восхитился сенатор. — Ни грамма лишнего! А какой теннисист! Пощады не жди! — Сенатор вскочил, нелепо замахал рукой, изображая теннисную подачу. — Никогда в жизни я не видал такой игры, как на этом корте час назад! Ты его *угробил*, Элиот!

— Гм-мм... — сказал Элиот. Он посмотрел по сторонам — хотелось взглянуть на себя в зеркало или хотя бы на свое отражение в воде. Он понятия не имел, как он выглядит. Но фонтан совсем высох. Только посреди бассейна, в чаше, служившей птицам купальней, осталась мутная лужица — от нее шел горький запах прелых листьев и сажи.

— Вы, кажется, сказали, что Элиот обыграл профессионала? — спросил сенатор доктора Брауна. — Да, тот играл много лет. — Элиот его *изничтожил*! А каким победителем он подлетел к нам, с корта, пожать нам руки, право, мне хотелось и смеяться и плакать. И этот человек, подумал я, должен будет завтра доказывать, что он не сумасшедший! Хо-хо!

Поняв, что все эти четверо не считают его больным, Элиот совсем расхрабрился, встал, словно хотел поразмяться. На са-

мом же деле хотелось подобраться поближе к воде в птичьей купальне. Как бы подтверждая свою репутацию отличного спортсмена, он легко перепрыгнул через каменный барьер в бассейн, сделал глубокое приседание, словно радуясь избытку сил. Мускулы повиновались ему отлично, он весь был как стальная пружина.

При резком рывке Элиот почувствовал, что у него в заднем кармане лежит какой-то пакет. Он вытащил его — оказалось, что это свернутый в трубку номер «Американского слепопыта». Элиот развернул журнал — наверное, там красовалось то же фото Рэнди Геральда, умоляющей найти ей производителя, от чьего семени родится гениальный отпрыск. Но вместо Рэнди он увидел свой собственный портрет, в пожарной каске. Это была увеличенная фотография с группового снимка всей пожарной дружины на параде четвертого июля.

Надпись внизу гласила:

«САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ?»
(см. на развороте)».

Элиот разглядывал журнал, пока остальные в чрезвычайно оптимистическом тоне обсуждали, как пройдет завтрашняя судебная экспертиза. На развороте Элиот нашел еще одну свою фотографию. Это был не очень ясный снимок — Элиот, играющий в теннис на корте лечебницы.

С противоположной страницы на его игру с оскорбленным видом смотрело все благородное семейство Фреда Розуотера. У них был вид сезонников, батраков. Фред тоже очень исхудал. Была там и фотография их адвоката, Нормана Мушари. Норман, работавший теперь самостоятельно, обзавелся изысканным жилетом и золотой цепочкой для часов. Дальше цитировались его слова: «Мои клиенты желают только одного — вернуть себе и своим потомкам наследие, положенное им по рождению и по закону. Кичливые плутократы из Индианы истратили миллионы долларов, заручились помощью влиятельнейших друзей по всей стране, лишь бы не дать своим родичам довести дело до суда. Семь раз, под всякими пустячными предложениями, откладывалась судебная экспертиза, а тем временем Элиот Розуотер без конца играет в теннис на корте психиатрической лечебницы, а его приспешники трубят во все концы, что он совершенно здоров.

Если мои клиенты проиграют дело, они потеряют свой скромный домик, свою нехитрую обстановку, свой подержанный автомобиль, маленькую яхту своего сынишки, страховой полис Фреда Розуотера, все свои сбережения и тысячи долларов, взятых в долг у преданного друга. Эти прямодушные, простые люди — рядовые американцы — поставили все, что имели, на свою веру в американское правосудие, и оно не должно, не может, не смеет их подвести!»

Рядом с фото Элиота были напечатаны две фотографии Сильвии. На первой, давнишней, она танцевала твист со знаменитым Питером Лоуфордом. На второй, совсем новой, она входила под своды женского монастыря в Бельгии, где строго соблюдался обет молчания.

Элиот, вероятно, задумался бы над тем, какой необычной с начала до конца была судьба Сильвии, если бы вдруг не услышал, как отец ласково окликнул пожилого незнакомца:

— Мистер Траут!

— Траут! — крикнул Элиот. Он так изумился, что чуть не потерял равновесие, и ухватился за край чаши, чтобы не упасть. Птичья купальня была так неустойчива, что стала крениться, и Элиот бросил журнал и обеими руками вцепился в чашу, удерживая ее на подставке. И тут увидел свое отражение в воде. На него лихорадочным взглядом уставился исхудалый старообразный подросток.

«Бог мой! — подумал Элиот, — вылитый Ф. Скотт Фицджеральд, за день до смерти!»

Элиот предусмотрительно удержался и не окликнул Траута еще раз; он понимал, что может себя выдать, что все увидят, как он болен, потому что они с Траутом, очевидно, познакомились давно, когда Элиот был еще в полном беспамятстве.

Не узнал его Элиот и по той простой причине, что на всех книжных обложках Траут был изображен с бородой. У незнакомца бороды не было.

— Уверяю тебя, Элиот, — сказал сенатор, — когда ты попросил меня пригласить сюда Траута, я пожаловался твоему врачу, что ты все еще не в своем уме. Ты говорил, что Траут может разъяснить смысл твоей деятельности в Розуотере. Я готов был попробовать что угодно и вызвать его сюда, и ничего умнее я еще никогда в жизни не сделал!

— Правильно, — сказал Элиот, осторожно усаживаясь на край бассейна. Он поднял упавший журнал. Складывая его, он впервые прочитал дату на обложке. Он спокойно подсчитал, сколько времени прошло. Каким-то образом он где-то потерял целый год.

— Ты только говори то, что тебе подскажет мистер Траут, — приказал сенатор, — постарайся выглядеть таким, как сейчас, и я не вижу никаких оснований, чтобы мы проиграли дело.

— Конечно, я буду говорить все, что мне подскажет мистер Траут, и, разумеется, ни единой детали этого маскарада не изменю. Но я бы попросил еще разок повторить, что именно велит мне сказать мистер Траут.

— Все очень просто, — сказал Траут. Голос у него был глубокий, звучный.

— Да вы же столько раз все повторяли, — сказал сенатор.

— И все-таки,— сказал Элиот,— хотелось бы послушать еще разок.

— Так вот.— Траут потер руки, посмотрел на свои ладони.— Всю вашу деятельность в Розуотере никак нельзя назвать безумием. Наоборот, можно сказать, что это был один из самых значительных для нашего времени социальных экспериментов, так как вы, правда в очень ограниченном масштабе, пытались разрешить проблему, которая несомненно встанет перед человечеством во всей своей жуткой реальности по мере того, как все больше и больше будут совершенствоваться самые хитроумные машины. Проблему можно сформулировать так: «Каким образом проявлять любовь к лишним людям?» Со временем все люди — и мужчины и женщины — станут ненужными в производстве всех материальных ценностей — любых вещей, пищи, машин, ненужными даже как источник развития новых идей в экономике, инженерии и в медицине. И тогда, если мы не найдем оснований беречь людей хотя бы за то, что они *люди*, почему бы не начать просто *уничтожать* их, что уже предлагалось не раз?

Американцев издавна приучали ненавидеть тех, кто не может или не хочет работать, ненавидеть за это даже самих себя. Это — наследие наших предков-первопоселенцев, и здравый смысл оправдывал эту необходимую тогда жестокость. Но придет время — и оно уже надвигается, — когда никакой здравый смысл не оправдывает эту ненужную жестокость.

— Нет, все-таки, если у бедного человека есть хватка, он и сейчас может выбраться из болота. Этот закон еще сохранится тысячу лет, — перебил Траута сенатор.

— Вполне возможно, — согласился Траут. — Человек с настоящей хваткой может добиться, чтобы его наследники жили в «Утопии», подобной Писконтьюту, где застой в душах, глупость, бесчувственность и тупость пагубнее любой эпидемии в округе Розуотер. Бедность — сравнительно легкое заболевание, даже для слабой американской душонки, а вот сознание своей бесполезности, ненужности может убить как слабых, так и сильных душой. Значит, надо найти лекарство.

Совершенно нормально и то, что вы, Элиот, так заинтересованы в организации добровольных пожарных дружин. Ведь при первом сигнале тревоги они проявляют такую самоотверженность, какой, пожалуй, нигде больше у нас в стране не найти. Они сразу бросаются спасать людей, не считаясь ни с какими затратами. И если у самого презренного, самого жалкого человека в городе загорится его жалкий скарб, он увидит, как даже его враги бросаются тушить пожар. А когда он станет ворошить головешки, в надежде найти хоть что-нибудь из жалкого своего имущества, ему посочувствует и попытается утешить лично сам начальник пожарной дружины.

Траут широко развел руками:

— Вот вам люди, которые оберегают других людей только потому, что те — тоже люди. А это редкий случай. Вот у кого мы должны учиться.

— Замечательный вы человек, ей-богу! — похвалил Траута сенатор. — Вам бы заведовать отделом внешних связей в какой-нибудь компании! Вы сумели бы кого угодно уговорить, доказать, скажем, что столбняк полезен для общественного блага. Ну что такому человеку делать в бюро по приему премиальных талончиков?

— Гасить талончики, — мягко сказал Траут.

— Мистер Траут, — спросил Элиот, — а где ваша борода?

— Вы же первым делом спросили меня про бороду.

— Ну, расскажите еще раз.

— Я голодал, совсем упал духом. Приятель сказал, что есть работа. Я сбрил бороду, пошел в это бюро, и меня взяли на работу.

— Пожалуй, вас не взяли бы с такой бородой.

— Я бы все равно ее сбрил, даже если бы меня и взяли.

— Почему?

— Подумайте, какое кощунство — с лицом Спасителя гасить талончики!

— Век бы вас слушал, мистер Траут! — сказал сенатор.

— Спасибо...

— Только перестаньте утверждать, что вы — социалист! Наоборот, вы — за свободное предпринимательство!

— Против воли, уверяю вас!

Элиот внимательно прислушивался к разговору двух стариков — каждый был по-своему интересен ему. Он подумал, что на месте Траута мог бы обидеться, когда сенатор сказал, что из него вышел бы хороший агент по рекламе, то есть отъявленный лгун, но Траута это ничуть не задело. Трауту, очевидно, сам сенатор доставлял удовольствие, как законченное и полноценное произведение искусства, и спорить с ним, не соглашаться с какими бы то ни было его утверждениями он никак не собирался. А сенатор восхищался, как этот пройдоха Траут умеет хитро подвести рациональную базу под что угодно; он не понимал, что Траут всегда говорит чистую правду.

— Какую отличную политическую программу вы могли бы написать, мистер Траут!

— Благодарствуйте!

— Адвокаты тоже умеют так рассуждать, придумывать выход из самых запутанных положений. Но их доказательства всегда звучат фальшиво. Все равно как если бы увертюру «1812 год» сыграть на сопелке.

Сенатор уселся поудобнее, расплылся в улыбке:

— Ну-ка расскажи нам, какие еще чудеса творил там Элиот с пьяных глаз.

— Но суд непременно начнет выяснять, что Элиот узнал из своих экспериментов, что он узнал для себя,— сказал Мак-Алистер.

— Узнал, что надо бросить пить, надо помнить, кто ты такой, и вести себя соответственно! — решительно заявил сенатор. — А главное, не разыгрывать перед этими людьми господ бога, не то они сначала обшлюнжают тебя с ног до головы, вытянут все, что можно, начнут нарушать все десять заповедей, и радоваться, что им отпускают все грехи, а после твоего отъезда станут поносить тебя вовсю.

Элиот не выдержал:

— Меня поносят?

— А-а, черт их дери, они и любят тебя и ненавидят, плачут по тебе и смеются над тобой, а главное каждый день выдумывают про тебя новые враки. Мечутся, как куры с отрубленной головой, как будто ты и впрямь был у них за господ бога и вдруг бросил их на произвол судьбы.

У Элиота зануло сердце, и он понял, что больше никогда в жизни не вернется в округ Розуотер.

— А мне кажется,— сказал Траут,— что Элиот узнал, как людям нужна безоговорочная любовь.

— Разве это ново? — буркнул сенатор.

— Да, мы впервые увидели, как один человек многим людям долго, бескорыстно и безоговорочно отдавал свою любовь. А если на это способен один человек, почему бы другим не взять с него пример? А тогда в их душах исчезнет ненависть к бесполезным, никчемным людям, исчезнет та жестокость, которую мы к ним проявляем, якобы ради их собственного блага. Благодаря примеру Элиота Розуотера миллионы миллионов, быть может, научатся любить ближних, помогать всем, кому так нужна помощь.

Траут посмотрел в глаза своим собеседникам, прежде чем вымолвить последнее слово — вот что он сказал напоследок:

— И это — радость!

— *Пьют-фьют!*

Элиот снова посмотрел вверх на дерево, соображая, что же он все-таки думает про округ Розуотер и как он умудрился растерять все свои мысли там, в ветвях платана...

— Был бы у него ребенок,— сказал сенатор.

— Что ж, если вам действительно нужны внуки,— посмеиваясь сказал Мак-Алистер,— можете выбрать любого — по последним подсчетам, их пятьдесят семь штук!

Все смеялись, только Элиот спросил?

— От кого это пятьдесят семь внуков?

— От тебя, мой мальчик,— засмеялся сенатор.

— Что?

— Твои грешки!

Элиот чувствовал, что тут кроется какая-то очень существенная тайна, и, рискуя выдать себя, показать, как серьезно он болен, все же сказал:

— Ничего не понимаю!

— Пятьдесят семь женщин в Розуотере утверждают, что ты — отец их ребенка.

— Но это дикий бред!

— Еще бы! — сказал сенатор.

Элиот взволнованно встал с места:

— Это... это невысказано!

— У тебя такой вид, будто ты впервые об этом услышал, — сказал сенатор и мельком, с тревогой взглянул на доктора Брауна.

Элиот прикрыл глаза рукой:

— Простите, мне кажется, что именно тут у меня какой-то абсолютный провал в памяти!

— Тебе нездоровится, сынок!

— Нет, — сказал Элиот. Он отвел руку от глаз. — Я чувствую себя хорошо. Вот только в одном память мне изменила; пожалуйста, подскажите, как все эти женщины вдруг придумали про меня такую чепуху?

— Доказать это трудно, — сказал Мак-Алистер. — Но мы знаем, что Мушари разъезжал по всему округу, подкупал людей, чтобы они говорили про вас всякие пакости. Про детей начала говорить Мэри Моды. После того как Мушари побывал в городе, она стала всем рассказывать, что вы — отец ее близнецов, Фокс克罗фта и Мелоди. И тут началась настоящая эпидемия среди женщин.

Килгор Траут утвердительно кивнул:

— Именно эпидемия.

— Вот женщины по всему округу и стали утверждать, что дети у них — от вас. Из них, по крайней мере, половина сами поверили, что это правда. Одна пятнадцатилетняя девчонка, чей отчим сидит в тюрьме за то, что он ее обрюхатил, теперь уверяет, что ребенок у нее — от вас.

— Но это ложь!

— Конечно, конечно, это ложь, Элиот! — сказал его отец. — Успокойся, пожалуйста! Мушари не посмеет сказать об этом на суде. Вся его затея давно рухнула. Этого ни один судья не станет слушать — настолько очевидно, что это бред. Мы даже проверили группу крови у близнецов — они ни в коем случае не могут быть твоими детьми. А у остальных психопатов мы ничего и проверять не станем. Ну их всех к черту!

— Пьют-фьют...

Элиот взглянул на дерево — и вдруг в памяти возникло все, что до сих пор скрывалось в черном провале — драка с води-

телем автобуса, смирительная рубашка, лечение электрошоком, покушение на самоубийство, теннис и вся сложная стратегия подготовки к судебной экспертизе.

И в обрушившемся на него потоке воспоминаний вдруг возникла идея — как немедленно все уладить, достойно и справедливо.

— Скажите откровенно, — начал он. — Можете ли вы все присягнуть, что я вполне нормален?

Все с жаром ответили утвердительно.

— И я по-прежнему являюсь главой Фонда Розуотера? По-прежнему имею право выписывать чеки из Фонда?

Мак-Алистер подтвердил, что он, разумеется, имеет такое право.

— А каков наш баланс на сегодняшний день?

— Весь год вы ничего не тратили, кроме гонорара адвокатам, оплаты вашего пребывания в лечебнице, тех трехсот тысяч долларов, что вы ежегодно посылаете Гарвардскому университету, и тех пятидесяти тысяч, что вы дали мистеру Трауту.

— И при этом он истратил в этом году больше, чем в прошлом, — заметил сенатор. Это было верно: все благотворительные мероприятия Элиота в Розуотере обошлись дешевле, чем пребывание в лечебнице.

Мак-Алистер сказал Элиоту, что прибыли Фонда составляют около трех с половиной миллионов долларов, и Элиот попросил у него ручку и чековую книжку. Он выписал на имя своего родственника, Фреда Розуотера, чек на миллион долларов.

Сенатор и Мак-Алистер страшно всполошились, стали объяснять Элиоту, что уже предлагали Фреду покончить дело миром за некоторую мзду, но Фред через своего адвоката выскомерно отказался.

— Им требуется всё, целиком, — сказал сенатор.

— Жаль, жаль, — сказал Элиот, — потому что, кроме этого чека, им ничего не достанется.

— Это решит суд, а что именно скажет суд, одному богу известно, — предупредил его Мак-Алистер. — Кто знает, кто знает...

— Но если бы у меня был ребенок, — спросил Элиот, — разве тогда понадобился бы какой-то суд? Ведь мой ребенок автоматически унаследовал бы капиталы Фонда, а сумасшедший я или нет, совершенно все равно. Причем Фред настолько дальний наш родич, что не имел бы никаких прав при прямом наследнике.

— Правильно, — подтвердил Мак-Алистер.

— Между прочим, целый миллион — слишком много для этой род-айлендской свиньи, — сказал сенатор.

— Сколько же ему дать?

— Сто тысяч долларов хватит с головой.

Элиот порвал чек на миллион и выписал новый чек — сумма была в десять раз меньше. Взглянув на окружающих, он

увидел, что все поражены — до них только что дошел смысл его слов.

— Элиот...—Голос у сенатора дрогнул:—Ты... ты хочешь сказать, что у тебя есть ребенок?

Улыбка Элиота походила на улыбку мадонны:

— Да.

— Где он? От кого?

Элиот мягким жестом остановил его:

— Терпение! Не все сразу!

— Значит, я — дед! — Сенатор поднял голову к небу, словно благодаря Творца.

— Мистер Мак-Алистер, — сказал Элиот. — Обязаны ли вы по закону выполнять любую юридическую операцию по моему поручению, несмотря на возражения моего отца или кого-нибудь другого?

— Как юрисконсульт Фонда я обязан выполнить все ваши поручения.

— Отлично. Тогда я попрошу вас составить документ, где будет сказано, что все дети в округе Розуотер, которых приписывают мне, — *мои дети*, независимо от группы крови. Пусть они получат все законные права, как мои наследники, как мои дочери и сыновья.

— Элиот!

— Пусть они с этого дня носят фамилию Розуотер. Передайте всем им, что отец их любит и всегда будет любить, кем бы они ни стали. И еще скажите им...

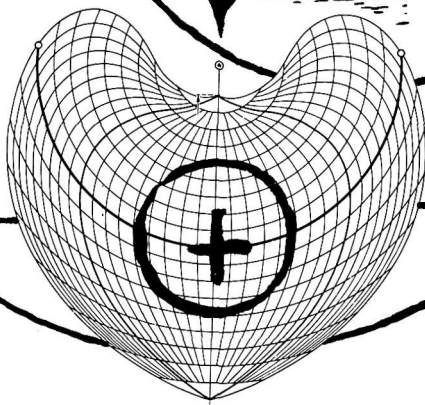
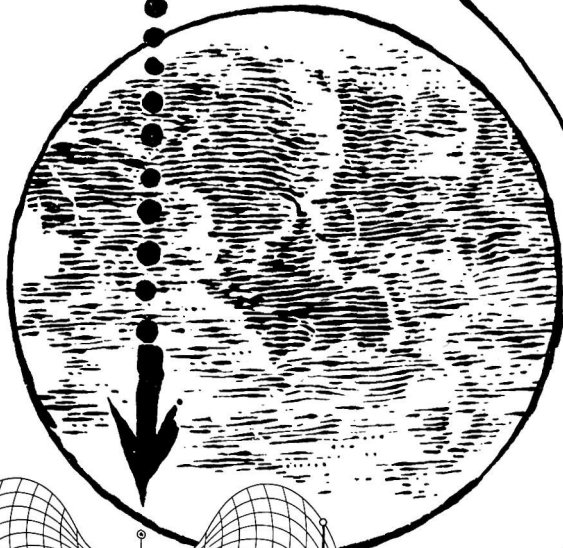
Элиот умолк, потом высоко, как волшебный жезл, поднял теннисную ракетку:

— И скажите им, — начал он снова, — скажите: «Плодитесь и размножайтесь!»

К О Н Е Ц



Рассказы



Виток эволюции
Олень на комбинате
Мальчишка, с которым никто
не мог сладить

Перемещенное лицо

„Воздвигни
пышные чертоги“

Лохматый пес Тома Эдисона
Ложь

А кто я теперь?

Долгая прогулка - навсегда.

Искусительница

Эпикак

Эффект Барнхауза

Наследство Фостера

Эйфью

ВИТОК ЭВОЛЮЦИИ

Да, ничего не попишешь — мы, «старички», те, кто родился еще при старых порядках, так, видать, и не привыкнем к этому двойному существованию — в современном смысле слова. Мне самому до сих пор нет-нет да и взгрустнется о вещах, которые теперь никому на свете не нужны.

Вот, например, никак не отвыкну, никак не перестану болеть за свое дело — за прежнее свое дело. Я же тридцать лет положил на то, чтобы создать это дело на пустом месте, а теперь оборудование ржавеет, заплывает грязью. И хотя я понимаю, что нынче только дурак будет о таком деле болеть, я все же время от времени беру на прокат тело в местном телохранилище и брожу по родному городку — чищу да смазываю свое оборудование, пока сил хватает.

Не спорю, оно и раньше только на то и годилось, чтобы защищать деньгу, а денег теперь везде навалом. Сейчас уже не то, что прежде, потому что поначалу многие на радостях побросали деньги где попало, так что ветер их носил туда-сюда, а кое-кто пооборотистей те деньги собирал да припрятывал — целыми кучами. Совестно признаться, но сам я тоже насобирал с полмиллиона и сунул в какой-то тайник. Схожу, бывало, пересчитаю и положу обратно. Только давно это было. Теперь-то я не припомню, куда их запрятал.

Но хоть я и болею за свое старое дело, это ни в какое сравнение не идет с тем, как жена моя, Мэдж, убивается по нашему старому дому. Пока я свое дело создавал, она еще лет тридцать назад стала мечтать о своем доме. И только мы собрались с духом, отстроились да обставились, как вдруг все люди стали амфибионтами¹. Раз в месяц Мэдж непременно берет тело и вылизывает весь дом как стеклышко, хотя теперь дома только на то и годятся, чтобы уберечь мышей да термитов от насморка.

¹ Амфибионты — существа, обитающие в двух средах: например, амфибии — земноводные (прим. переводчика).

Когда мне подходит очередь надевать тело и работать на выдаче в местном телохранилище, я каждый раз убеждаюсь, насколько женщинам труднее привыкнуть к такой двойной жизни.

Мэдж берет тело много чаще, чем я, да и вообще женщинам это свойственно. Чтобы удовлетворить спрос, нам приходится держать в хранилищах в три раза больше женских тел, чем мужских. Порой, честное слово, мне кажется, что женщине **позарез** нужно тело только для того, чтобы покрасоваться в новых платьях да повертеться перед зеркалом. А уж Мэдж, дай ей бог здоровья, не успокоится до тех пор, пока не перемеряет все тела во всех телохранилищах Земли.

Но для Мэдж это просто благодать, ничего не скажешь. Я даже и не подсмеиваюсь над ней — она прямо другим человеком стала. Ее прежнее тело было, честно говоря, вовсе не подарочек, так что в те времена она не раз падала духом оттого, что приходилось таскать за собой эту обузу. А что ей оставалось делать, бедняжке, если все мы тогда не выбирали, в каком теле родиться, а я ее все равно любил, несмотря ни на что.

Но зато, когда мы все выучились жить двойной жизнью, построили хранилища и укомплектовали их разными телами, Мэдж как с цепи сорвалась. Она взяла напрокат тело платиновой блондинки — дар звезды варьете, — и мы уж не чаяли, что удасться ее оттуда вытряхнуть. Но, как я уже сказал, теперь она и думать забыла о всяких там комплексах неполноценности.

Я-то, как и большинство мужчин, не особенно выбираю тело: беру, какое достанется. В хранилище попали только красивые, здоровые тела, так что любое сгодится. Бывает, что мы, по старой памяти, берем тела вместе, и я всегда даю ей выбрать для меня тело под пару тому, что на ней. Смешно, конечно, но она каждый раз выбирает для меня блондина, и ростом повыше.

Старое мое тело, которое она, по ее словам, любила в течение трети века, было черноволосое, малорослое, а под конец и брюшко себе отрастило. Что ж, я живой человек, и меня задело за живое, что когда я его оставил, они его пустили в расход, а не поместили в хранилище. Это было добротное, уютное, обношенное тело; конечно, не больно-то броское с виду, но надежное. Но на такие тела, по-моему, в наше время спроса нет. Во всяком случае, я лично в них не нуждаюсь.

Но самое жуткое, что со мной случилось, это когда меня уговорили да улестьили надеть тело доктора Эллиса Кенигсвассера. Оно является собственностью Общества ветеранов Амфибионтов, и его вынимают из хранилища только раз в год, на парад в День ветеранов, в годовщину открытия Кенигсвассера. Мне все уши прожужжали, какая это честь — удостоиться чести возглавить парад в теле Кенигсвассера.

И я им поверил, дурак разнесчастный.

Пусть попробуют меня хоть разок засадить в эту штуку — пусть попробуют! Прогуляйтесь в этой развалине, и вы поймете, почему именно Кенигсвассер открыл, что люди могут обходиться без тел. Это старое чучело может буквально сжить вас со света. Все в нем есть: язва, мигрень, артрит, плоскостопие, нос багром, крохотные свиные глазки, а цвет лица — как у выдавшего виды саквояжа. Сам Кенигсвассер — чудесный человек, с ним поговорить — одно удовольствие, но раньше, когда на нем болталось это тело, никто даже не подходил к нему близко, и никто не догадывался, какой это умница.

Мы попытались было загнать Кенигсвассера обратно в его старое тело в первый День ветеранов, но он о нем и слышать не хотел, так что всегда приходится облапошивать какого-нибудь несчастного идиота, чтобы он взял на себя это дело, то есть это тело. Кенигсвассер тоже участвует в марше, можете не сомневаться, только в теле двухметрового ковбоя, который может двумя пальцами расплющивать банки из-под пива.

Кенигсвассер забавляется в этом теле прямо как ребенок. Удержу не знает — плющит да плющит эти самые банки, а мы после торжественного марша стоим вокруг в своих парадных телах и смотрим, как будто нам это в диковинку.

Сдается мне, что в прежние дни не больно-то много чего он мог расплющивать.

Конечно, ему никто этого в упрек не ставит — он ведь великий Предтеча эры амфибионтов, а только с телами он обращается из рук вон плохо. Стоит ему взять тело напрокат, как он начинает выкаблучиваться, так что никакое тело не выдерживает. Тогда кому-нибудь приходится входить в тело хирурга и штопать его на живую нитку.

Не подумайте, что я неуважительно отзываюсь о Кенигсвассере. На самом-то деле наоборот: это очень лестно, когда говорят, что человек кое в чем ведет себя, как ребенок, — ведь только такие люди и совершают великие открытия.

В Историческом обществе есть его старый портрет, и по нему сразу видно, что он так никогда и не повзрослел, по крайней мере в отношении к своей наружности — он обращал минимум внимания на плохонькое тельце, которым его наградила природа.

Волосы у него висели лохмами до плеч, а брюки волочились по земле, так что он проншивал дыры внизу, возле манжет, а подшивка пиджака отпарывалась и висела понизу фестончиками. И вечно он забывал поесть, и выходил на мороз без теплого пальто, а болезнь замечал только тогда, когда она его уже почти приканчивала. Таких людей мы тогда называли рассеянными. Теперь-то, конечно, мы понимаем, что он просто уже начинал жить двойной жизнью.

Кенигсвассер был математиком и зарабатывал себе на пропитание своим талантом. А тело, которое он был вынужден тас-

коть повсюду за своим уникальным умом, ему было нужно, как вагон металлолома. Когда ему случалось заболеть и **приходилось** обращать внимание на свое тело, он рассуждал так:

— В человеке только один ум чего-то стоит. Зачем же он привязан к мешку из кожи, с кровью, волосами, мясом, костями и сосудами? Стоит ли удивляться, что люди ничего не могут достигнуть, раз они связаны по рукам и ногам этим паразитом, которого надо всю жизнь набивать жратвой и оберегать от непогоды и от микробов. И все равно эта дурацкая штука снашивается — как бы ее не холили и не лелеяли!

Он спрашивал:

— Кому нужна такая обуза? Что хорошего в этой протоплазме, зачем мы таскаем за собой повсюду такую чертову тяжесть?

— Наша беда не в том, что на Земле слишком много людей, а в том, что на ней слишком много тел, — говорил Кенигсвассер.

Когда у него перепортились все зубы, и их пришлось вырвать, а удобного протеза никак не удавалось достать, он записал в своем дневнике:

«Если живая материя оказалась способной в процессе эволюции покинуть океан, который был, кстати, вполне приятным местом обитания, то она обязана совершить еще один виток эволюции и покинуть тела, которые, если подумать, только мешают нам жить».

Поймите, он вовсе не был ненавистником плоти, да и не завидовал тем, у кого тела были лучше, чем у него. Он просто считал, что тела не стоят тех хлопот, которые они нам доставляют.

Великих надежд на то, что люди совершат этот виток эволюции при его жизни, он не питал. Он просто очень этого хотел. И вот, глубоко задумавшись об этом, он вышел в одной рубашке и зашел в зоопарк посмотреть, как кормят львов. А когда проливной дождь перешел в град, он отправился домой и вмешался в толпу зевак у залива, которые смотрели, как пожарники лебедкой вытаскивают утопленника.

Свидетели утверждали, что какой-то старик прямо вошел в воду и шел себе да шел, с невозмутимым видом, пока не скрылся под водой. Кенигсвассер заглянул в лицо покойного и заметил, что никогда не встречал лучшего повода к самоубийству; он пошел домой и почти дошел до дому, когда вдруг сообразил, что там, на берегу, лежит его собственное тело.

Он поспел вернуться в свое тело как раз в ту минуту, когда пожарники начали его откачивать, и отвел его домой, в основном ради спокойствия властей, а не ради чего другого. Он завел его в свой стенной шкаф, вышел из него и оставил его там.

Он вынимал тело только тогда, когда надо было что-то записать или перелистать книгу, или подкармливал его, чтобы у него хватило сил на те мелкие домашние дела, для которых он его ис-

пользовал. Все остальное время оно сидело себе в стенном шкафу с осоловелым видом и почти не потребляло энергии. Кенигсвассер мне сам говорил, что оно обходилось ему не дороже доллара в неделю, а брал он его только в случае необходимости.

Но самое лучшее было то, что теперь Кенигсвассеру не приходилось ложиться спать только потому, что оно должно было выспаться; не надо было труситься только из-за того, что оно могло пострадать; или бегать по магазинам за вещами, в которых оно, видимо, нуждалось. А когда оно себя плохо чувствовало, Кенигсвассер держался от него подальше, пока телу не становилось лучше, и на уход за этой штуковиной больше не приходилось ухлопывать целое состояние.

Периодически вынимая свое тело из стенного шкафа, он написал книгу о том, как выходить из своего тела, которую, без объяснений, забраковали двадцать три издателя. Двадцать четвертый продал два миллиона экземпляров, и эта книжка изменила жизнь человечества больше, чем изобретение огня, счета, алфавита, земледелия и колеса. Когда кто-то сказал это Кенигсвассеру, он проворчал, что такая слабая похвала унижает его книгу. По-моему, он прав.

Любой, кто около двух лет будет следовать всем инструкциям, данным в книге Кенигсвассера, может научиться выходить из своего тела по собственному желанию. Первый шаг — осознать, каким паразитом и диктатором тело для нас является. Затем надо отделить то, что тело хочет или не хочет, от того, чего хочется или не хочется тебе самому — твоей душе, так сказать. Тогда, сосредоточив внимание на том, чего хочется вам, и по мере возможности игнорируя желания вашего тела, — сверх необходимого прожиточного минимума, — вы добьетесь того, что ваша душа вступит в свои права и станет независимой от тела.

Как раз это самое и проделывал Кенигсвассер, не отдавая себе в этом отчета, пока не расстался со своим телом в зоопарке: его душа отправилась посмотреть, как кормят львов, а безвольное тело забрело в залив и чуть не утонуло.

А самый последний трюк, отрывающий душу от тела, когда она станет достаточно самостоятельной, заключается в том, что вы заставляете ваше тело шагать в каком-то направлении и внезапно отправляете душу в противоположную сторону. Стоя на месте, это проделать нельзя, есть тут какая-то заковыка, — это непременно делается на ходу.

Вначале наши с Мэдж души чувствовали себя без тел не в своей тарелке, в точности как первые морские животные, которых миллионы лет назад вынесло на сушу и которые поначалу только и могли, что барахтаться, ползать да отдуваться на прибрежной тине. Но со временем нам стало легче, тем более что души, естественно, приспосабливаются к новым условиям гораздо быстрее, чем тела.

У нас с Мэдж были веские причины поторопиться с выходом из тел. Да и все те, кто оказался достаточно безумным, чтобы в

самом начале рискнуть расстаться со своим телом, имели на то веские причины. Тело Мэдж тяжело болело и очень скоро могло умереть. А если она вот-вот готова была уйти от меня, то и я чувствовал, что мне в одиночестве долго не протянуть. Так что мы изучили книгу Кенигсвассера и постарались освободить Мэдж от ее тела до того, как оно отдаст концы. Я от нее не отставал, потому что мы бы очень скучали друг без друга. И поспели мы, как говорится, в обрез — за шесть недель до того, как ее тело приказало долго жить.

Потому-то мы и маршируем каждый год на параде в День ветеранов. Это не всякому доступно, а только тем первым пяти тысячам, которые раньше других стали вести двойную жизнь, то есть стали амфибиями. Мы были подопытными морскими свинками, нам терять было нечего, и мы показали всем остальным, как это приятно и надежно — во сто раз надежней, чем год от году перебиваться в теле, рискуя жизнью на каждом шагу.

Рано или поздно у всех нашлись причины попробовать это на себе. Миллионы, потом миллиарды людей стали невидимы, бестелесны, неуязвимы, и, клянусь богом, мы не связаны никакими условностями, никому не в тягость и ничего не боимся.

В бестелесном состоянии все ветераны могут устроить собрание на острие иголки. Зато когда мы облакаемся в тела в День ветеранов, мы занимаем примерно пятьдесят тысяч квадратных футов, нам приходится заглотать больше трех тонн еды, чтобы поддержать силы для парадного шествия; и многие из нас схватывают насморк, а то и похуже, начинают злиться, что чье-то тело случайно отдалило ногу соседнему телу, и еще завидуют тем, кто шагает во главе, когда их тело тащится в хвосте, да всего, черт побери, и не перескажешь.

Сам я не в таком уж диком восторге от этих парадов. Когда наши тела соберутся всем скопом, впритык друг к другу, в нас просыпается все самое плохое, как бы ни были добры наши души. В прошлом году, к примеру, в День ветеранов стояло настоящее пекло. Как тут людям не выйти из себя; попробуйте-ка часами безвыходно торчать в изнемогающих от жары и жажды телах.

В общем, слово за слово, и командующий парадом пригрозил, что его тело выколочит душу из моего тела, если мое тело еще хоть раз собьется с ноги. Само собой, у него, как у командующего парадом, было лучшее из тел этого года, не считая кенигсвассерского ковбоя, но я все равно послал его куда подальше, невзирая на лица. Он как размахнется — а я скинул тело и был таков, даже не взглянул, попал он по мне или нет. Пришлось ему собственноручно тащить мое тело в телохранилище.

В ту же секунду, как я выскочил из тела, вся моя злость на него испарилась. Понимаете — я просто во всем разобрался. Никто, разве что святой, не может быть безоговорочно добрым или разумным всего каких-нибудь пять-шесть секунд, пока находится в теле, да и счастья настоящего не испытаеть, — так,

коротенькими приступами. Но я до сих пор не встречал ни одного амфибионта, с которым не было бы просто, легко, весело и очень интересно,— лишь бы он держался подальше от тела. И ни одного не встречал, который бы тут же не подпортился, стоило ему влезть в какое-нибудь тело.

В ту же секунду, как вы в него входите, на вас начинает действовать химия — разные железы заставляют вас возбуждаться, или лезть на рожон, или драться, или хотеть жрать, или сводят вас с ума от любви или ненависти, да вы просто-напросто не знаете, что на вас в следующую минуту накатит.

Вот почему я не держу зла на наших врагов, на тех, кто против амфибионтов. Они никогда не покидают своих тел и не желают этому учиться. Но и другим они тоже хотят это запретить, им нужно снова загнать всех нас, амфибионтов, в тела и больше не выпускать.

После перепалки, которая у меня произошла с командующим парадом, Мэдж следом за мной бросила **свое** тело прямо в рядах Женского Батальона. И мы вдвоем, развеселившись от того, что весь парад остался позади, решили отправиться поглядеть на противников. Я-то не очень люблю на них глазеть. А Мэдж нравится смотреть, что носят женщины. Женщины в стане врагов, пожизненно обреченные на одни и те же тела, вынуждены менять одежду, прически и косметику гораздо чаще, чем у нас в телохранилищах.

Меня моды не интересуют, а все, что приходится видеть и слышать на территории противника, так неизмеримо скучно, что гипсовая статуя и та сбежит с пьедестала.

Почти всегда противники говорят о старомодном способе воспроизведения себе подобных, а это самая нелепая, самая смешная, самая неудобная деятельность, которую только можно себе вообразить, особенно по сравнению с тем, как это происходит у нас, амфибионтов. А если они не говорят на эту тему, то все разговоры у них только о еде — о химических соединениях, которые они горстями запихивают в себя. А еще они говорят о страхе — мы когда-то звали это политикой: деловая политика, социальная политика, государственная политика...

Больше всего противники ненавидят нас за то, что мы можем вот так, в любой момент, подсматривать за ними, сколько душе угодно, а они нас даже и видеть не могут, пока мы не войдем в тела. Похоже, что они нас до смерти боятся, хотя бояться амфибионтов — все равно что бояться утренней зорьки. Мы, со своей стороны, готовы отдать им весь мир, — кроме телохранилищ. Но они жмутся друг к другу, как будто мы вот-вот с воем спикируем на них с небес и учиним над ними жестокую расправу.

У них везде понатыканы приспособления, которые должны, по идее, обнаруживать амфибионтов. Эти игрушки гроша лома-

ного не стоят, но противники чувствуют себя увереннее — как будто они окружены превосходящими силами, но не теряют голову и предпринимают против врагов серьезные, эффективные меры. Да еще наука — они только и делают, что хвалят друг друга за то, что у них прогрессирует наука, в то время как у нас ничего подобного нет и в помине. Впрочем, если наука означает разные виды оружия, то тут они правы, слов нет.

* * *

Похоже, что у нас с ними идет война. Мы-то, со своей стороны, никаких военных действий не ведем — мы только не выдаем тайну наших телохранилищ и мест, где бывают парады, а каждый раз, как они устраивают воздушный налет или запускают баллистическую ракету, или еще что-нибудь, мы просто выходим из тел, и все.

Противники от этого только злятся еще больше, потому что воздушные налеты и ракеты влетают им в копеечку, и деньги налогоплательщиков летят на ветер. Нам всегда известно, что, когда и где они собираются сделать, так что держаться от них подальше нам никакого труда не стоит.

Но вообще-то они не такие уж дураки, если учесть, что им приходится не только думать, а еще и обхаживать свои тела, так что я всегда соблюдаю осторожность, когда отправляюсь наблюдать за ними. Именно поэтому мне захотелось убраться подальше, когда мы с Мэдж наткнулись на какое-то телохранилище прямо в чистом поле. В последнее время мы ни с кем не делились новостями о том, что еще замышляет противник, но хранилище имело явно подозрительный вид.

Мэдж была настроена оптимистично — с тех самых пор, как побывала в теле звезды варьете, — и она сказала, что новое хранилище — верный признак того, что враг начал постигать истину, и что все они скоро тоже станут амфибионтами.

Что ж, этому можно было поверить. Перед нами было нехонькое, полностью укомплектованное телами хранилище, которое предлагало свои услуги желающим с самым невинным видом. Мы несколько раз покружили вокруг здания, но Мэдж все сокращала круги, чтобы разглядеть, что у них там выставлено в витрине готовой дамской плоти.

— Давай-ка двинем отсюда подобру-поздорову, — сказал я.

— Я только посмотрю, — сказала Мэдж. — За погляд денег не берут.

Но стоило ей посмотреть, что выставлено в главной витрине, как у нее все из головы вылетело: где она, что с ней, как она сюда попала.

За стеклом красовалось самое потрясающее женское тело, какое мне случалось видеть, — шести футов ростом, сложена, как богиня. Но это далеко не все. Тело было покрыто загаром медного оттенка, волосы и ногти у него были выкрашены в зо-

лотисто-зеленый цвет старого шартреза, и на нем было бальное платье из золотой парчи. А рядом помещалось тело белокурого гиганта в небесно-голубом фельдмаршальском мундире с пурпурными выпушками, при всех регалиях.

Мне кажется, что противники украли эти тела в каком-нибудь из наших заштатных телохранилищ, подкрасили их, разрядили в пух и прах и выставили напоказ.

— Мэдж, назад! — крикнул я.

Вдруг меднокожая женщина с шартрезовыми волосами зашевелилась. Тут завывала сирена, и со всех сторон из укрытий так и посыпались солдаты — они спешили схватить тело, в которое вошла Мэдж.

Это хранилище оказалось ловушкой для амфибионтов!

У тела, на котором попала Мэдж, щиколотки были связаны вместе, так что ей не удалось бы сделать те несколько шагов, которые нужны, чтобы снова выйти на волю.

Солдаты схватили ее и понесли торжественно, как военнопленного. Чтобы ее выручить, я вскопал в первое попавшееся тело — в маскарадного гиганта-фельдмаршала. Но ничего не вышло — этот красавчик тоже оказался приманкой, и у него щиколотки были связаны. Солдаты поволокли меня следом за Мэдж.

Молодой майор на радостях стал отплясывать джигу на обочине, до того его распирало от гордости. Из всех людей ему первому удалось изловить амфибионтов, а это, с точки зрения противника, было настоящим подвигом. Они пытались воевать с нами много лет, угробили черт знает сколько миллиардов, но только когда нас поймали, амфибионты удостили их своим вниманием.

Когда мы добрались до города, люди высовывались из окон, махали флажками, кричали «ура» солдатам, издевались над нами. Здесь собрались люди, не желавшие жить двойной жизнью, все, кто считал, что нет ничего ужаснее для человека, чем стать амфибионтом. Тут были люди всех наций, всех цветов кожи, высокие, маленькие — всякие. Всем скопом они ополчились против нас, амфибионтов.

Оказалось, что мы с Мэдж должны предстать перед всенародным судом. После ночи, которую мы провели в кутузке, связанные, как поросята, нас доставили в зал суда, прямо под немигающие глаза телекамер.

Мы с Мэдж вконец измотались, потому что нам бог знает с каких времен не приходилось так долго торчать в телах. Как раз в то время, когда нам нужно было поразмыслить о своей судьбе, у этих тел стало сосать под ложечкой от голода, и мы не могли, как ни старались, устроить их поудобнее на койках. А ведь всем телам, натурально, требуется не меньше восьми часов сна.

Нам предъявили обвинение в государственном преступлении, по кодексу противника, по статье «дезертирство». С точки зре-

ния противника, все амфибионты — трусы и выскочили из тел как раз в тот исторический момент, когда их тела были необходимы, чтобы совершать смелые и великие деяния на благо человечества.

Надежды на оправдание у нас не было. Они и затеяли-то эту комедию только ради того, чтобы пошуметь, доказать, как они правы и как мы виноваты. Зал суда был битком набит их главарями — они восседали там с видом мужественного и благородного негодования.

— Мистер Амфибионт,— сказал обвинитель.— Вы взрослый человек и должны помнить то время, когда всем людям в своих телах приходилось стоять лицом к лицу с жизнью и трудиться, и бороться за свои идеалы?

— Я помню, что тела постоянно ввязывались в драки, и никто не понимал, с какой стати и как это прекратить,— вежливо ответил я.— Тогда казалось, что у всех есть только один идеал — прекратить эти драки.

— Но что вы думаете о солдате, который покинул поле боя в разгар сражения?

— Я бы сказал, что у него душа в пятки ушла.

— Но ведь он был бы виноват в поражении?

— Ясно...

Тут спорить не приходилось.

— А разве амфибионты не покинули поле сражения, изменив человечеству в борьбе за существование?

— Но мы-то все до сих пор существуем, если вы это имеете в виду,— сказал я.

Это была чистая правда. Мы не истребили смерть, да и не стремились к этому, но, без сомнения, продолжительность жизни мы увеличили неимоверно, по сравнению со сроками, которые отпущены телам.

— Вы сбежали и уклонились от исполнения своего долга!— сказал он.

— Вы бы тоже сбежали из горящего дома, сэр,— сказал я.

— И бросили всех остальных сражаться в одиночку!

— Так ведь каждый может свободно выйти в ту же дверь, что и мы. Вы все можете освободиться в любой момент, стоит только захотеть. Надо только разобраться в том, чего хочется вашему телу и чего хочется вам лично, и сосредоточиться...

Судья так застучал своим молотком, что мне показалось — сейчас он его разобьет. Ведь они у себя сожгли книги Кенигс-вассера до последнего экземпляра, а я тут по всей их телевизионной сети стал читать лекцию о том, как избавиться от тел.

— Если вам, амфибионтам, дать волю, то все люди снимут с себя ответственность, покинут свои тела, и тогда весь прогресс, весь привычный нам образ жизни — все пойдет прахом.

— Само собой,— согласился я.— В том-то и суть дела.

— Значит, люди больше не станут трудиться ради своих идеалов? — вызывающе бросил он.

— У меня был друг в старое время, так он семнадцать лет кряду на фабрике просверливал круглые дырочки в маленьких квадратных финтифлюшках, но так и не узнал, зачем они нужны. А другой выращивал виноград для стекловыдувальной фабрики, но в пищу этот виноград не шел, и он тоже не знал, зачем компания этот виноград покупает. А меня от таких дел просто тошнит — конечно, только сейчас, когда на мне тело, — а как подумаю, чем я зарабатывал себе на жизнь, так меня прямо наизнанку выворачивает.

— Значит, вы презираете человечество и все, что оно делает, — сказал он.

— Да нет же, я людей люблю, и гораздо больше, чем прежде. Мне просто горько и противно думать, на что они идут, чтобы обеспечить свои тела. Надо бы вам попробовать стать амфибионтами — вы тут же увидите, как люди могут быть счастливы, когда им не приходится думать, где бы раздобыть еды для своего тела, или зимой его не обморозить, или что с ними будет, когда их тело придется списывать в утиль.

— Но, сэр, это не означает конец честолюбивым стремлениям, конец величию человека!

— Ну, про это я вам ничего сказать не могу, — ответил я. — У нас тоже есть люди, которых можно назвать великими. Они остаются великими и в телах, и без них. Но самое главное — мы не знаем страха, понимаете? — я уставился прямо в объектив ближайшей телекамеры. — Вот это и есть самое великое достижение человечества.

Судья опять грохнул молотком, а высокопоставленные зрители заорали вовсю, стараясь криками заглушить мой голос. Телевизионщики отключили камеры, и из зала выгнали всех, кроме самого большого начальства. Я понял, что попал в самую точку, но что с этой минуты никому не удастся поймать по телевизору ничего, кроме органной музыки.

Когда шум улегся, судья возгласил, что судебное заседание окончено и мы с Мэдж признаны виновными в дезертирстве.

Я подумал, что хуже нам все равно не станет, и решил облегчить душу.

— Понял я вас теперь, устрицы несчастные, — сказал я. — Вам жизни нет без страха. Только это вы и умеете — заставлять себя и других людей что-то делать под страхом — все равно, под страхом чего. И ваше единственное развлечение — видеть, как люди трясутся от страха, как бы вы чего не сделали их телам или не отняли у них тел.

Тут и Мэдж внесла свою лепту:

— Вы только и умеете, что пугать людей, чтобы они обратили на вас внимание.

— Неуважение к суду! — изрек судья.

— А единственная возможность пугать людей — это держать их в черном теле, — добавил я.

Солдаты вцепились в меня и в Мэдж и уже собрались тащить нас вон из зала суда.

— Вы развязываете войну! — заорал я.

Все замерли, как на картине, и стало очень тихо.

— А мы уже давно воюем, — неуверенно сказал генерал.

— А **мы-то** пока с вами не воевали, — ответил я, — но мы пойдем на вас войной, если вы не освободите меня и Мэдж сию же минуту. — В теле этого фельдмаршала я действовал свирепо и напористо.

— У вас нет оружия, — сказал судья, — и нет науки. Без тел амфибионты — пустое место.

— А вот если вы не развяжете нас, пока я считаю до десяти, — сказал я ему, — мы оккупируем все ваши тела до последнего и стройными рядами промаршируем в них к ближайшему обрыву, а там сдавайтесь! Вы окружены.

Сами понимаете, это был чистый блеф. В теле может находиться только одна личность, но противники-то не были в этом уверены.

— Раз! Два! Три!

Генерал слотнул слюну, побелел, как полотно, и слабо махнул рукой.

— Развяжите их, — сказал он.

Солдаты, вне себя от ужаса, поспешили разрезать веревки. Мы с Мэдж были свободны.

Я сделал несколько шагов, послав свою душу вон из чужого тела, и этот красавчик-фельдмаршал, со всеми своими регалиями, с грохотом покатился вниз по лестнице, как старинные стоячие часы.

Но я понял, что Мэдж еще не вышла из тела. Она все еще медлила в меднокожем теле с шартрезовыми волосами.

— И вдобавок, — сказала она, — за все неприятности, которые вы нам причинили, вы отошлете вот это тело в Нью-Йорк по моему адресу, и оно должно прибыть в отличном состоянии не позже понедельника.

— Будет сделано, мэж, — сказал судья.

Мы добрались до дому как раз в то время, когда парад в честь Дня ветеранов кончился и командующий парадом вышел из своего тела возле местного телохранилища и тут же стал извиняться передо мной за свое поведение.

— Что ты, Герб, — сказал я. — Не стоит извиняться. Ты же был не в себе. Ты шел на парад в теле.

Пожалуй, самое лучшее в нашем двойном существовании — если не считать, что мы не ведаем страха, — это то, что люди прощают друг другу все глупости, которые им случается натворить, пока они находятся в телах.

Ну, есть, конечно, и у нас свои минусы, но где же вы обойдетесь без недочетов? Нам все еще время от времени приходит-

ся работать, обслуживая телохранилища и обеспечивая сохранность тел из общественного фонда. Но это — мелкие недочеты, а крупные претензии, о которых мне пришлось слышать,— сплошная выдумка: просто люди не могут отказаться от старомодного мировоззрения, не могут перестать изводить себя мыслями о том, что их волновало до того, как они стали амфибионтами.

Как я уже сказал, «старички», должно быть, никогда к этому и не привыкнут. Я сам то и дело ловлю себя на печальных мыслях о том, что теперь будет с моим делом — с сетью платных туалетов. А ведь я на создание этой сети убил тридцать лет жизни...

Но у молодежи никаких грустных пережитков прошлого не заметно. Они даже и не очень-то волнуются, как бы чего не случилось с нашими телохранилищами, как волновались, бывало, мы, ветераны.

Сдается мне, что настает пора для нового витка эволюции — пора освободиться окончательно, как те, первые амфибии, которые выползли из тины на солнышко и больше никогда не возвращались в море.

Олень на комбинате

Громадные дымовые трубы Илиумского комбината федеральной корпорации машиностроения изрыгали едкий дым и сажу на головы мужчин и женщин, выстроившихся в многосотенную очередь перед зданием из красного кирпича, где принимали на работу. Стояло лето. Илиумский комбинат, и без того второе по величине машиностроительное предприятие в Америке, должен был увеличить количество работников на одну треть, чтобы справиться с военными заказами. Примерно раз в десять минут полисмен из охраны Комбината открывал дверь, из которой тянуло холодком кондиционированного воздуха, и впускал очередных трех человек.

— Следующие трое,— сказал полисмен.

После четырехчасового ожидания молодой человек среднего роста — ему не было еще тридцати, и он старался казаться немного старше с помощью очков и усов,— наконец дождался своей очереди. Августовское солнце и едкий дым нанесли некоторый ущерб как его присутствию духа, так и новому костюму, купленному специально для этого случая, а от завтрака он отказался, чтобы не прозевать очередь. Однако держался он довольно бодро. В своей группе из трех человек он был последним.

— Оператор на сверлильном агрегате, мэм,— сказал первый.

— Пройдите к мистеру Кормоди, седьмая комната,— сказала секретарша.

— Пластиковое литье, мисс,— сказал следующий.

— К мистеру Хойту, вторая комната,— сказала она.— Профессия? — спросила она у приятного молодого человека в потевшем лоск костюме.— Фрезеровщик? Сверловщик?

— Писатель,— сказал он.— Писатель на все руки.

— То есть организация рекламы по улучшению сбыта?

— Так точно.

Она задумалась.

— Прямо не знаю, как быть. У нас нет заявок на эти профессии. А на машине работать можете?

— На пишущей,— шутливо ответил он.

Секретарша оказалась серьезной девушкой.

— У нас стенографистками мужчин не берут,— сказала она.— Зайдите к мистеру Диллингу в двадцать шестую комнату. Может, у него найдется место по организации рекламы и улучшению сбыта.

Он поправил галстук, одернул пиджак и выдавил из себя улыбку, которая должна была означать, что он просто шутки

ради заглянул на Комбинат, чтобы посмотреть, как там у них с работой.

Он вошел в двадцать шестую комнату и протянул руку мистру Диллингу, который оказался его ровесником.

— Мистер Диллинг, меня зовут Дэвид Поттер. Мне хотелось узнать, какие возможности у вас имеются для работы в отделе рекламы, так что я решил заглянуть к вам, поговорить.

Мистер Диллинг — стреляный воробей, который давно привык встречать молодых людей, изо всех сил скрывающих свою заинтересованность в работе, — был вежлив, но невозмутим.

— Боюсь, что вы выбрали неудачное время, мистер Поттер. На подобную работу всегда много желающих, как вам должно быть известно, и в настоящее время спрос не так уж велик.

Дэвид кивнул.

— Ясно. — Он никогда прежде не пробовал искать работу на крупном предприятии, и мистер Диллинг дал ему понять, насколько это тонкое искусство, особенно когда не умеешь работать на станке. Ему предстояла дуэль.

— Вы все же присядьте, мистер Поттер.

— Благодарю вас. — Он бросил взгляд на часы. — По правде сказать, мне уже пора обратно в редакцию.

— Вы работаете в местной газете?

— Да. Я владелец еженедельной газеты в Дорсете, милях в десяти от Илиума.

— Да что вы говорите! Прелестная деревушка. Подумываете расстаться с газетой, а?

— Как сказать — не то чтобы расстаться. Но все может быть. Газету я купил вскоре после войны, так что я этим занимаюсь уже восемь лет. Не хочется обрастать мхом. Может, лучше было бы двинуться дальше. Все зависит от возможностей.

— Семья у вас есть?

— Да. Жена, двое мальчишек, две девочки.

— Прекрасная, большая, гармоничная семья, — заметил мистер Диллинг. — Да еще в таком молодом возрасте.

— Двадцать девять, — сказал Дэвид и улыбнулся. — На такую большую семью мы вовсе не рассчитывали. Две пары близнецов. Мальчики-двойняшки, а несколько дней назад появились две девочки.

— Да что вы! — воскликнул мистер Диллинг. Он подмигнул: — Такая семейка любого заставит призадуматься, как бы обеспечить себе надежный заработок, а?

Оба отнеслись к этому замечанию небрежно — шутка в разговоре двух семейных мужчин, не больше.

— Мы как раз так и хотели — двое мальчишек, две девочки, — сказал Дэвид. — Только не ожидали, что они у нас так быстро появятся. Но теперь мы очень рады. Что же касается надежного заработка, — может, я слишком самонадеян, но мне кажется, что тот опыт административной и литературной работы, который я получил, издавая газету, может очень пригодиться

нужным людям, и я смогу неплохо заработать, если что-нибудь стрясется с газетой.

— В нашей стране есть один крупный дефицит, — философски изрек Диллинг, сосредоточенно закуривая сигарету, — это — недостаток людей, которые знают, как делать дело, и при этом умеют взять на себя ответственность и заставить работать других. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас были более широкие возможности в области рекламы и улучшения сбыта. Это солидная, интересная работа, но я не знаю, как вы отнесетесь к первоначальному окладу.

— Видите ли, я просто хочу понять расстановку сил в настоящий момент — войти в курс дела. Я понятия не имею, какой оклад в промышленности может получить человек с моим опытом.

— Люди с опытом, вроде вас, обычно спрашивают: насколько далеко я смогу продвинуться и с какой скоростью? Ответ один: для человека энергичного и творческого открыт широкий путь. А двигаться он может быстро или потихоньку в зависимости от того, что он хочет и может вложить в дело. Такого человека, как вы, мы могли бы принять для начала, скажем, ну, на сто долларов в неделю, но это не значит, что вы застрянете на этой сумме на два года или даже на два месяца.

— Мне кажется, на эту сумму можно содержать семью, пока не возьмешь разгон, — сказал Дэвид.

— Рекламная работа, увидите, очень похожа на то, чем вы сейчас занимаетесь. Наши специалисты по рекламе предъявляют очень высокие требования к стилю, редактированию и репортерской работе, и наши рекламные выпуски не попадают в мусорные корзины редакций. У нас работают профессионалы, и их везде считают отличными журналистами. — Он встал. — У меня тут одно маленькое дельце — минут на десять. Вы сможете подождать? Я с удовольствием еще поболтаю с вами.

Дэвид взглянул на часы.

— Пожалуй, еще десять—пятнадцать минут у меня найдется.

Диллинг вернулся через три минуты: посмеиваясь, как видно, над какой-то шуткой.

— Говорил по телефону с Лу Фламмером, начальником рекламного отдела. Ему нужна новая стенографистка. Лу — это крупная фигура. Тут все от него без ума. Он сам — старый газетчик, там-то и научился так легко ладить с людьми. Я ему о вас сказал, просто чтобы прощупать его. Вас это ни к чему не обязывает — я просто сказал, что вы хотите присмотреться, как вы сами говорили. Угадайте-ка, что сказал Лу?

— Угадай-ка, Нэн, — сказал Дэвид по телефону своей жене. Он был в одних трусах — звонил из поликлиники Комбината. — Завтра, когда ты выпишешься из больницы, ты вернешься домой

к солидному гражданину, который выколачивает сто десять долларов в неделю — **каждую** неделю. Я только что получил нагрудный значок и прошел медкомиссию!

— Да? — удивленно сказала Нэн.— Неужели все так сразу и вышло? Я и не ожидала, что ты с ходу возьмешься за эту работу.

— А чего еще ждать?

— Ну я не знаю. Откуда ты знаешь, на что идешь? Ты никогда ни на кого не работал, ты совсем не умеешь вести себя в такой громадной организации. Я знала, что ты собираешься поговорить в Илиуме о работе, но мне казалось, что еще годик ты хочешь остаться в газете.

— Через годик мне стукнет тридцать, Нэн.

— Ну и что?

— А это уже многовато, поздно будет начинать карьеру в индустрии. Там люди в моем возрасте уже лет десять как пробируют себе дорогу. Конкуренция там жестокая, а через год будет еще труднее. А почему мы знаем, захочет ли Джесон купить газету через год?

Джесон был помощником Дэвида, он только что кончил колледж, и его папаша хотел купить ему газету.

— И эта работа в рекламе, которая мне подвернулась сегодня, через год мне уже не достанется, Нэн. Пора было включаться — именно сегодня!

Нэн вздохнула.

— Может быть... Только это совсем не похоже на тебя. Для некоторых людей Комбинат — это то, что нужно, они обожают эту жизнь. Но ты-то всегда был свободен. И ты любишь газету, признайся, ведь любишь?

— Люблю, — сказал Давид.— И у меня сердце разрывается, когда подумаю, что надо с ней расстаться. Пока мы с тобой были одни — дело было подходящее. Но теперь это слишком непрочный доход — надо ведь детишек растить и все такое.

— Но, милый, — сказала Нэн.— Газета тоже приносит доход.

— Все может лопнуть вот так, — ответил Дэвид, щелкнув пальцами. Вдруг появится ежедневная газета со страничкой «Дорсетские новости», или...

— Дорсет этого не допустит — он слишком любит свою маленькую газетку. Они слишком любят тебя и то, что ты делаешь.

Дэвид кивнул.

— А что будет через десять лет?

— Что будет через десять лет с Комбинатом? Что будет через десять лет со всем на свете?

— Ну, Комбинат будет на месте, могу поручиться. Пойми, Нэн, я не имею права рисковать теперь, когда на мне большая семья.

— Большая-то большая, но не очень счастливая, дорогой мой, если тебе придется делать не то, что тебе по сердцу. А мне хочется, чтобы ты был доволен работой: разъезжал по окрестно-

тям, добывал новости, разговаривал с людьми и давал объявления; потом приезжал бы домой и писал то, что тебе хочется писать, во что ты веришь. Ты и Комбинат!

— Это мой долг.

— Хорошо, если тебе так хочется. Я свое сказала.

— Все-таки это та же журналистика, и журналистика высокого класса,— сказал Дэвид.

— Только ты не спеши продавать газету Джесону. Пусть он принимает дела, но только, пожалуйста, давай подождем хоть месяц, ладно?

— Не вижу смысла. Но если тебе хочется, я согласен.— Дэвид раскрыл брошюру, которую ему вручили после медицинской комиссии.— Послушай-ка, Нэн: по страховому договору с компанией я получаю десять долларов в день, на больничные расходы в случае болезни полный оклад в течение двадцати шести недель и сто долларов на специальное лечение. Страховка жизни мне стоит вдвое дешевле, чем где бы то ни было. За деньги, что я помещу в государственные бумаги согласно плану экономии зарплаты, компания дает мне пятипроцентную скидку на акциях компании — через двенадцать лет. Ежегодно я получаю двухнедельный оплачиваемый отпуск, а через пятнадцать лет — трехнедельный. Имею право на вступление в местный клуб компании, бесплатно. Через двадцать пять лет я получаю право на пенсию в минимальном размере сто двадцать пять долларов в месяц и много больше, если я продвинусь по службе и останусь на Комбинате более двадцати пяти лет.

— Господи помилуй! — сказала Нэн.

— Надо быть круглым идиотом, чтобы от этого отказаться, Нэн.

— И все же мне хотелось бы, чтобы ты подождал, пока я с малышками вернусь домой и ты к ним попривыкнешь. Мне кажется, ты бросился искать работу просто с перепугу.

— Да нет, нет, это то, что нужно, Нэн. Поцелуй за меня обеих малышей. Мне пора идти, являться по начальству.

— Куда?

— К новому шефу.

— А! Мне так и слышалось, но я не была уверена.

— До свиданья, Нэн.

— До свиданья, Дэвид.

Дэвид приколот свой значок к лацкану и вышел из поликлиники, вступив на раскаленный асфальтовый пол мира, обнесенного оградой Комбината. Приглушенный грохот доносился из окружающих цехов, грузовик оглушил его клаксоном, а в глаз влетел кусочек угля. Он стал вынимать соринку уголком носового платка, но это удалось не сразу. Вернув себе зрение, он стал оглядываться в поисках строения 31, где находилась его новая работа и новое начальство. От того места, где он стоял, разбегались в разные стороны четыре оживленные улицы, и каждая, казалось, уходила в бесконечность.

Он остановил прохожего, который как будто не так спешил, как все остальные.

— Будьте добры, скажите, где здесь строение 31, контора мистера Фламмера?

Человек, к которому он обратился, был старик с блестящими глазами, который явно получал от грохота, вони и нервной спешки Комбината такое же наслаждение, как Дэвид получил бы от ранней весны в Париже. Он вприщур посмотрел на значок Дэвида, а потом взглянул ему в лицо.

— Начинаете новую жизнь, а?

— Так точно. Мой первый день.

— Что вы знаете о Комбинате? — старик восхищенно потряс головой и подмигнул. — Строение 31? Знайте, сэр, что когда я пришел сюда работать в 1899-м, строение 31 было прекрасно видно отсюда, и ничего его не загораживало. Три шага по грязи, и все. Теперь все позастроили. Видите вон там резервуар для воды, примерно четверть мили отсюда? Так вот, там в сторону идет 17-я авеню, вам надо идти по ней почти до конца, а как перейдете пути, — да вы тут в первый раз, а? — тогда я лучше провожу вас до места. Я сюда заглянул на минутку, переговорить о пенсии, да ладно, это дело подождет. Мне даже приятно прогуляться.

— Спасибо.

— Я ведь тут полвека отработал, — гордо сказал старик и повел Дэвида по улицам и аллеям, через пути, по пандусам и подземным переходам, сквозь помещения, забитые фыркающей, плюющей, воющей, ревущей техникой, вдоль по коридорам с зелеными стенами и пронумерованными черными дверями.

— Теперь уж никому не стать пятидесятилетником, — с сожалением сказал старик. — Теперь раньше восемнадцати на работу не берут, а на пенсию надо выходить в шестьдесят пять. — Он сунул большой палец под лацкан, показывая маленький золотой значок. На нем была цифра пятьдесят, выгравированная поверх торгового знака компании. — Вот этого вам, молодым, никогда не носить, как бы вы ни мечтали.

— Очень симпатичный значок, — сказал Дэвид.

Старик показал на одну из дверей.

— Вот контора Фламмера. И держите язык за зубами, пока не разберетесь, кто тут кто и что они думают. Желаю удачи.

Секретарши Лу Фламмера на месте не было, так что Дэвид прошел прямо к двери кабинета и постучал.

— Да? — сказал приятный мужской голос. — Прошу вас, входите.

Дэвид открыл дверь.

— Мистер Фламмер?

Лу Фламмер оказался маленьким толстым человеком лет тридцати с небольшим. Он встретил Дэвида, восторженно сияя.

— Чем могу быть полезен?

— Я — Дэвид Поттер, мистер Фламмер.

С лица Фламмера разом слетело санта-клаусовское благодушие. Он откинулся назад, положил ноги на письменный стол и засунул сигару, которую прятал в горсти, в свой большегубый рот.

— Черт, а я вас принял за инструктора скаутов.— Он взглянул на настольные часы, вставленные в миниатюрную модель новейшего агрегата для мойки посуды, выпускаемого компанией.— Тут бойскауты осматривают Комбинат. Должны были зайти сюда минут пятнадцать назад, чтобы послушать, что я скажу о скаутах и тяжелой промышленности. Шестьдесят пять процентов служащих Федерального аппарата были в свое время скаутами-орлятами.

Дэвид было рассмеялся, но поддержки не встретил и замолк.

— Потрясающая цифра,— заметил он.

— А как же,— рассудительно сказал Фламмер.— Кое-что говорит и в пользу скаутов, и в пользу индустрии. Ну-с, прежде чем показать вам ваш стол, я должен разъяснить вам систему оценочных ведомостей. Так написано в Уставе. Диллинг вам об этом говорил?

— Не припомню. На меня сразу свалилась такая масса информации...

— Да в этом ничего особенного нет,— сказал Фламмер.— Каждые шесть месяцев на вас составляется оценочная ведомость, чтобы и вы, и мы знали, на каком уровне вы находитесь и каким образом прогрессируете. Трое людей, связанных с вами по работе, дают вам оценки, а потом вся информация сводится в единую сводную ведомость — и копии получаете вы, я и отдел кадров, а оригинал идет к директору рекламного агентства. Это чрезвычайно полезно для всех, и больше всего — для вас, если вы это правильно воспримете.— Он помахал перед глазами Дэвида оценочной ведомостью.— Видите? Графы «внешний вид», «исполнительность», «инициатива», «общительность» и тому подобное. Вы тоже будете составлять оценочные ведомости на других, и автор оценок остается анонимным.

— Понятно,— Дэвид почувствовал, что краснеет, ему стало противно. Он мысленно одернул себя: нельзя быть таким, надо научиться чувствовать себя членом большой, деятельной организации.

— Теперь об оплате, Поттер,— сказал Фламмер.— Имейте в виду, что совершенно бесполезно приходить ко мне с просьбами о надбавке. Это все вычисляется на основе оценочных ведомостей и кривой прибавки жалованья.— Он покопался в своих ящиках и отыскал график, который и разостлал на столе.— Видите вот эту кривую? Так вот, это средняя кривая прибавки жалованья для людей с высшим образованием в нашей компании. Видите — можно проследить ее снизу вверх. В тридцать средний работник получает столько-то, в сорок — столько-то и так далее. А вот кривая сверху показывает, чего может добиться человек с настоящим творческим потенциалом. Видите? Она повыше и вверх идет немного покруче. Вам сколько?

— Двадцать девять,— сказал Дэвид, пытаясь рассмотреть цифры жалованья, подписанные сбоку графика. Фламмер поймал его на этом и нарочно прикрыл цифры рукавом.

— Угу.— Фламмер послюнил кончик карандаша и поставил на графике маленький крестик, посадив его верхом на кривую для средних работников.— Вот и **ваше** место!

Дэвид посмотрел на крестик, потом проследил взглядом всю кривую — она шла через маленькие ухабчики, пологие подъемы, вдоль безотрадных плато, пока не оборвалась внезапно, как жизнь, у края, представляющего возраст в шестьдесят пять лет. Графику нельзя было задавать вопросы, спорить с ним, возражать. С графика Дэвид перевел взгляд на человеческое существо, с которым ему тоже придется иметь дело.

— У вас когда-то была своя еженедельная газета, мистер Фламмер, верно?

Фламмер рассмеялся.

— В наивную, идеалистическую пору юности, Поттер, я печатал объявления, чтобы сбывать товары, собирал сплетни, выбирал шрифты и писал редакционные статьи, которые, черт побери, должны были спасти мир.

Дэвид одобрительно улыбнулся.

— Чистый цирк, а?

— Цирк? — сказал Фламмер.— Балаган с уродами, скорее. Хороший путь, чтобы побыстрее повзрослеть. У меня ушло примерно шесть месяцев, пока я понял, что надрываюсь ни за понюх табаку, и что маленький человек не в силах спасти даже деревушку в десяток домов, да и мир наш не стоит того, чтобы его спасали. Тогда я поставил на Первый Номер. Распродав все до последней запятой, приехал сюда, и вот я здесь.

Зазвонил телефон.

— Да? — елейным голосом сказал Фламмер.— Рэ-экламбюро-оу! — Его любезная улыбка слиняла.— Не может быть! Вы меня разыгрываете, признайтесь? Где? Нет, правда, это не шутка? Ладно, ладно. Господи! И надо же, чтобы это случилось как раз сейчас! У меня тут никого под рукой, а я не могу выйти из-за этих треклятых бойскаутов.— Он бросил трубку.— Поттер, вот ваше первое задание. По комбинату бегают олени!

— Олень?

— Не представляю, как он сюда пробрался, но он здесь. Водопроводчик пошел починить питьевой фонтанчик возле футбольного поля напротив 217 строения и поднял оленя прямо из-под трибун! Теперь они его загнали в угол возле металлургической лаборатории.

Он встал и ударил ладонью по столу:

— Убийственно! История прошумит на всю страну, Поттер. Разговоры о человеческих чувствах. На первой странице! И надо же — в такое время, когда Эл Таппин на Астанабульском Комбинате фотографирует какой-то новый вискометр, который они там сварганили! Ладно, я вызову платного фотографа из города,

Поттер, и пришлю его к металлургической лаборатории. Вы дадите текст и проследите, чтобы он снял нужные кадры. Идет?

Он проводил Дэвида в коридор.

— Идите обратно той же дорогой, как пришли, поверните направо, а не налево у микросильных моторов, пройдите гидравлические конструкции, садитесь на одиннадцатый автобус на 9-й авеню, и он вас прямиком туда доставит. А когда текст и снимки будут готовы, мы получим на них визу юридической коллегии, офицера группы охраны, главы нашего отделения и других отделений, и сразу же пустим их в ход. А теперь за дело! Этот олень не значит в платежных ведомостях и поджидать вас не станет. Поработайте сегодня — и завтра ваша работа будет на первых страницах всех газет страны, если мы получим одобрение. Фотографа, которого я вам пришлю, зовут Мак Гарви. Поняли? Для вас настал великий час, Поттер. Мы все будем следить за вами.

Дэвид понял, что уже бежит рысью вдоль по коридору, вниз по лестнице, выбегает на улицу, бесцеремонно толкая встречных в этой гонке со временем. Многие оборачивались и с явным одобрением смотрели вслед энергичному молодому человеку.

Он прибавлял ходу, а голову его раскалывало, как котел, от кипения информации: Фламмер, строение 31, олень, металлургическая лаборатория; фотограф Эл Таппин. Нет, Эл Таппин сейчас в Астанабуре. Фленни — платный фотограф. Нет. Мак-Каммер. Нет! Мак-Каммер — это новый шеф. Пятьдесят шесть процентов скаутов-орлят. Олень у лаборатории вискометров. Нет. Вискометры в Астанабуре. Позвони Даннеру, новому начальнику, и уточни инструкции. Трехнедельный отпуск после пятнадцати лет. Даннер вовсе не новый начальник. В общем, новый начальник в строении 319. Нет! Фаннер в строении 39981983319.

Дэвид остановился, наткнувшись на грязное окно, которое преграждало выход из тупика. Он знал только одно: что он здесь никогда не бывал, что его память сорвала клапан и что олень зарплаты не получает. Воздух в тупике был густо пропитан звуками танго и вонью сторовшей изоляции. Дэвид соскреб немного грязи с окна своим носовым платком, моля судьбу, чтобы там показалось что-то узнаваемое или знакомое.

Он увидел длинные шеренги женщин, склоненных у конвейера, — они кивали головами в такт танго и тыкали паяльниками в громадные гнезда из разноцветной проволоки, которые ползли мимо них по бесконечной ленте. Одна из женщин взглянула в окно, увидела Дэвида и подмигнула в ритм танго. Дэвид бросился бежать.

У входа в аллею он остановил человека и спросил, не слышал ли он об олени на Комбинате. Человек покачал головой и взглянул на Дэвида со странным выражением, так что Дэвид понял, что вид у него отчаянный.

— Я слышал, что он там, у лаборатории, — сказал Дэвид немного спокойнее.

— У какой лаборатории? — сказал человек.

— Как раз я этого не знаю, — сказал Дэвид. — А их разве несколько?

— Химическая? — сказал человек. — Сопротивления материалов? Красителей? Изоляционных материалов?

— Нет, по-моему, это не те.

— Ну знаете, я могу тут весь день простоять, перечисляя лаборатории, и при этом не назвать ту, что вам нужна. Простите, мне пора. Не знаете случайно, в каком строении у них тут дифференциальный анализатор, а?

— Простите, — сказал Дэвид. Он останавливал еще нескольких людей, и никто из них ничего не слышал об олени, потом он попытался попасть обратно к конторе своего шефа, как бы там его ни звали. Его мотало то туда, то сюда мощными течениями Комбината, он застревал в тихих омутках, потом его снова засасывало в главное русло, и ум его все больше и больше немел, застывал, и действиями его все больше руководили примитивные реакции самосохранения.

Он выбрал наудачу какое-то строение и вошел, чтобы хоть на минуту передохнуть от летней жары, и тут же его оглушил грохот стальных листов, которые резали, пробивали, расплющивали в странные фигуры гигантские молоты, падавшие откуда-то сверху из облаков пыли и дыма. Волосатый, мускулистый человек восседал возле дверей на деревянном стуле, глядя, как станок крутит стальную болванку размером в силосную башню.

Теперь Дэвида осенила идея: надо листать телефонную книгу Комбината, покуда не наткнешься на имя своего шефа. Он окликнул машиниста с расстояния в несколько футов, но голос потонул в грохоте. Он постучал человека по плечу.

— Здесь есть телефон?

Человек кивнул. Он сложил руки рупором возле уха Дэвида и заорал:

— Наверх и дальше... — Молот свергся вниз. — Поверни направо и иди все прямо до... — Башенный кран уронил стопу стальных листов. — Он за четвертой дверью. Запросто найдешь!

Дэвид вышел наружу с гудящей головой и звоном в ушах и ткнулся в другую дверь. Здесь царил тишина и кондиционированный воздух. Он оказался в помещении перед аудиторией, где группа людей рассматривала усыпанный датчиками и выключателями ящик, который был помещен на вращающуюся платформу и освещен софитами.

— Прошу вас, мисс, — сказал он девушке, сидящей у дверей. — Скажите, где я могу найти телефон?

— Он прямо за углом, сэр, — сказала она. — Но я боюсь, что сюда сегодня пускают только кристаллографов. Вы с ними?

— Да, — сказал Дэвид.

— Тогда входите, пожалуйста. Ваше имя?

Он сказал ей имя, и человек, сидевший с ней рядом, написал имя на планшетке. Планшетку привесили ему на грудь, и Дэвид

бросился к телефону. Ухмыляющийся лысый тип с лошадиными зубами, на планшетке у которого значилось «Стан Дункель, торговля», перехватил его и повлек к экспонату.

— Доктор Поттер,— сказал Дункель,— я вас спрашиваю: так надо строить рентгеноскопические спектрогониометры, или надо не так строить рентгеноскопические спектрогониометры?

— Да,— сказал Дэвид,— так и надо строить, все верно.

— Мартини, доктор Поттер? — спросила девушка с подносом.

Дэвид проглотил мартини одним жарким, жгучим глотком.

— Какие характеристики вам нужны в рентгеноскопическом?

— Он должен быть прочным, мистер Дункель,— сказал Дэвид. И оставил мистера Дункеля, клявшегося вслед ему своей честью, что прочнее этого прибора нет ничего на земле.

В телефонной будке Дэвид не успел прочитать всю букву «А», как имя его шефа чудесным образом вернулось в его сознание: ФЛАММЕР! Он отыскал номер и набрал его.

— Кабинет мистера Фламмера,— ответил женский голос.

— Можно мне с ним поговорить? Это Дэвид Поттер.

— О, мистер Поттер! Мистер Фламмер сейчас где-то на Комбинате, но он оставил вам записку. Он сказал, что есть новый поворот в этой оленьей истории. Когда оленя изловят, оленину подадут на пикнике клуба Четверти века.

— Клуба Четверти века?

— О, это замечательная организация, мистер Поттер. Это клуб для тех, кто проработал в компании двадцать пять лет или больше. Напитки и сигары — бесплатно, и вообще все самое наилучшее; у них бывает чудесно.

— А что еще про оленя?

— Ничего нового,— сказала она и положила трубку.

Дэвид Поттер, выпив три мартини подряд на пустой желудок, стоял у входа в аудиторию и озирался по сторонам в поисках оленя.

— Но наш рентгеноскопический спектрогониометр и вправду прочен, доктор Поттер,— воззвал к нему Стан Дункель с лестницы у входа.

На той стороне улицы виднелся клочок зелени, окруженной живой изгородью. Дэвид пробился сквозь живую изгородь и оказался на бровке футбольного поля. Он пересек поле и вошел в тень позади трибун, где было прохладно, темно, и сел на землю, привалившись спиной к проволочной сетке, отгораживающей Комбинат от соснового леса, уходящего вдаль. В изгороди было двое ворот, но они были заперты, замотаны проволокой.

Дэвид собирался присесть всего на минутку, чтобы набраться духу, чтобы сообразить, куда он попал. Может быть, оставить записку Фламмеру, написать, что он внезапно заболел, что, собственно, так и было, или...

— Держи его! — крикнул кто-то на той стороне поля. Послышались ликующие вопли, громкие команды, топот бегущих людей.

Олень с обломанными рогами метнулся под трибуны, заметил Дэвида и отчаянно понесся по открытому месту вдоль изгороди. Он бежал, хромя, и его красновато-бурая шкура была испачкана сажей и мазутом.

— Полегче, полегче! Не гоните! Держите его на месте. И стреляйте только в сторону леса, а не в Комбинат!

Дэвид вышел из-под трибун навстречу широкому полукольцу загонщиков, которые толпой медленно стягивались к тому углу изгороди, где метался загнанный олень.

В переднем ряду было с дюжину полисменов местной охраны с пистолетами в руках. Другие участники охоты размахивали дубинками, камнями и лассо, поспешно сделанными из проволоки.

Олень бил копытами землю, вставал на дыбы и тряс своими расщепленными рогами, грозя толпе.

— Стойте! — закричал знакомый голос. Служебный лимузин подкагил через поле к толпе с тылу. Из него высовывался Лу Фламмер, шеф Дэвида. — Не стреляйте, пока мы не снимем его живьем! — приказал Фламмер. Он выволок из лимузина фотографа и протолкнул его в первый ряд.

Фламмер увидел Дэвида, одиноко стоящего у забора, спиной к воротам.

— Молодчина, Поттер! — закричал Фламмер. — Попал в самое яблочко! Фотограф заплутался, и мне пришлось тащить его сюда самому.

Фотограф замигал своими вспышками. Олень взвился в воздух, затем помчался вдоль забора к Дэvidу. Дэвид размотал проволоку, открыл ворота во всю ширь. Мгновенье — и белая «салфетка» под хвостом оленя мелькнула среди деревьев и пропала.

Глубочайшую тишину нарушил сначала паровой свисток, а затем щелканье задвижки, когда Дэвид вышел за ограду в лес и закрыл за собой ворота. Он даже не оглянулся.

Мальчишка, с которым никто не мог сладить

Утро. Половина восьмого. С лязганьем и скрежетом заляпанные грязью машины раздирали холм позади ресторана, глыбы земли тут же увозили на самосвалах. В ресторане дребезжала посуда в шкафах, тряслись столы, и очень добрый толстый человек, у которого в голове непрестанно звучала музыка, сидел, уставившись на дрожащие желтки своей утренней глазуньи. Жена его уехала навещать родственников. Он остался сам по себе.

Толстого добряка звали Джордж М. Гельмгольц, ему было сорок лет, он возглавлял музыкальную кафедру в средней школе города Линкольна и дирижировал оркестром. Жизнь его баюкала. Год за годом он лелеял одну и ту же великую мечту. Он мечтал дирижировать лучшим оркестром в мире. И каждый год его мечта становилась явью.

Она исполнялась потому, что Гельмгольц свято верил: его мечта — самая прекрасная на свете. Столкнувшись с этой непоколебимой уверенностью, члены клуба «Кивани», «Ротари» и «Львы» выкладывали на форму оркестрантов вдвое больше, чем стоили их собственные выходные костюмы; школьный совет разрешал разорительные расходы на дороге инструменты, а юнцы готовы были играть ради Гельмгольца на разрыв сердца.

Все шло благополучно в жизни Гельмгольца, кроме денежных дел. Он был так заморожен своей дивной мечтой, что в вопросах купли-продажи оказывался хуже младенца. Десять лет назад он продал холм за рестораном Берту Квинну, хозяину ресторана, за тысячу долларов. Теперь всем, в том числе и самому Гельмгольцу, стало ясно, что Гельмгольца облапошили.

Квинн подсел к столику дирижера. Это был одинокий, маленький, черный и унылый человек. Далеко не все у него было в порядке. Он не мог спать, не мог оторваться от работы, и он не умел по-хорошему улыбаться. У него было только два настроения: либо он всех подозревал и плакался на свою жизнь, либо начинал задирать нос и хвалиться напропалую. Первое настроение означало, что он теряет деньги. Второе означало, что он деньги делает.

Когда Квинн подсел к Гельмгольцу, он как раз лопался от самодовольства. Он со свистом посасывал зубочистку и разглагольствовал об остроте зрения — своего собственного зрения.

— Интересно, сколько глаз смотрели на этот холм до меня? — сказал Квинн. — Сотни и тыщи, на что угодно поспорю, — а кто видел то, что я углядел? Сколько тыщ глаз?

— Да уж мой-то, по крайней мере...— сказал Гельмгольц. Ему холм напоминал только одышку, когда приходилось карабкаться вверх, бесплатную смородину и налоги на землю. И еще там можно было устраивать пикники для всего оркестра.

— Вы получили холм в наследство от своего папаша и не чаяли, как от него избавиться,— сказал Квинн.— Тут-то вы и решили спихнуть его на меня.

— Я не собирался его на вас спихивать,— запротестовал Гельмгольц.— Бог свидетель — цена была более чем скромная.

— Это вы теперь говорите,— игриво заметил Квинн.— Теперь-то вы можете так говорить, Гельмгольц. Вы уже сообразили, что торговым кварталам понадобится место. Теперь и вы увидели то, что я сразу углядел.

— Да,— сказал Гельмгольц.— Поздно, слишком поздно.— Он осмотрелся, ища предлог, чтобы переменить тему, и увидел мальчишку лет пятнадцати, который медленно продвигался по проходу между столиками, протирая пол мокрой тряпкой, накрученной на щетку.

Ростом мальчишка был невелик, но мышцы у него на руках были крепкие, узловатые. Детство еще медлило у него на лице, но когда он остановился передохнуть, рука его машинально потянулась вверх, стараясь нащупать пробивающиеся усики и бачки. Работал он как робот, ритмично, механически, однако очень старался не забрызгать носки своих черных сапог.

— И что же я сделал, когда завладел холмом?— сказал Квинн.— Я его срыл начисто — и тут такое началось, будто кто-то плотину прорвал. Вдруг всем приспичило строить магазины как раз на месте холма.

— Угу,— сказал Гельмгольц. Он ласково улыбнулся мальчишке. Тот смотрел на него без всякого выражения, как на пустое место.

— У каждого свое,— сказал Квинн.— У вас вот — музыка, а у меня — глаз.— И он ухмыльнулся: обоим было понятно, к кому денежки текут.— Думать надо крупно! — сказал Квинн.— Мечтать крупно! Вот где нужен глаз. Раскрывай глаза пошире, чем другие-прочие.

— Послушайте,— сказал Гельмгольц.— Я этого мальчугана все время вижу в школе, а как его зовут, не знаю.

Квинн язвительно захохотал.

— Билли-пират? Рудольф Валентино? Неуловимый мститель? Флэш Гордон? — Он крикнул мальчишке: — Эй, Джим! Пойди-ка сюда на минутку.

Гельмгольц с ужасом заметил, что глаза у мальчишки равнодушные и холодные, как у устрицы.

— Сынок сестриного мужа, от первой жены,— сказал Квинн.— Зовут его Джим Доннини, и он из южного Чикаго, геройский парень.

Пальцы Джима Доннини судорожно сжали ручку щетки.

— Здравствуй,— сказал Гельмгольц.

— Привет,— едва проронил Джим.

— Теперь вот живет у меня,— сказал Квинн.— Теперь это мое дитяtko.

— Хочешь, я подвезу тебя в школу, Джим?

— А как же, обязательно подвезите,— сказал Квинн.— Посмотрим, что у вас получится. Со мной он разговаривать не желает.

Он повернулся к Джиму.

— Ступай, детка, умойся и побрейся.

Джим зашагал прочь, как робот.

— А где же его родители?

— Мать умерла. А его старик женился на моей сестре, потом ее бросил и оставил у нее на шее вот это сокровище. Но властям не понравилось, как она его воспитывает, и они принялись гонять его из приюта в приют. Потом они решили убрать его из Чикаго подальше, вот и сунули ко мне.— Он потряс головой.— Забавная штука, жизнь, Гельмгольц.

— Не очень забавная,— сказал Гельмгольц. Он отодвинул яичницу.

— Похоже, какая-то новая порода людей нарождается,— задумчиво произнес Квинн.— У нас тут таких мальчишек сроду не выдввали. Эти сапоги, куртка черная — и разговаривать не желает. С другими мальчишками водиться не желает. Учиться не желает. По-моему, он и читать-писать толком не выучился.

— А музыку он любит? Или рисование? Или животных?— спросил Гельмгольц.— Может, он что-нибудь коллекционирует?

— Знаете, что он любит? — сказал Квинн.— Он любит начищать свои сапоги — забьется куда-нибудь и полирует эти самые сапоги. Ему только и надо забраться подальше от людей, комиксы по всей комнате разбросать, наводить блеск на сапоги и смотреть телевизор — это для него сущий рай.— Он угрюмо усмехнулся.— И коллекция у него была, это точно. Я ее отобрал и выбросил в реку.

— В реку выбросили? — повторил Гельмгольц.

— Ага,— сказал Квинн.— Восемь ножей, там такие были — длиной с вашу ладонь.

Гельмгольц побледнел.

— О-о...— у него по спине поползли мурашки.— Для линкольнской школы это новая проблема. Я даже не знаю, как к ней подступиться.— Он собрал рассыпанную соль в аккуратную маленькую кучку.— Хорошо было бы вот так же собрать разбежавшиеся мысли. Но ведь это своего рода болезнь? Так и надо считать, что это болезнь?

— Болезнь? — сказал Квинн. Он ударил ладонью по столу.— Скажите, пожалуйста! — Он постучал по своей груди.— Доктор Квинн уж подыщет ему подходящее лекарство от этой болезни, будьте покойны!

— А какое? — спросил Гельмгольц.

— Пора кончать разговорчики про бедного больного крош-

ку,— мрачно сказал Квинн.— Наслушался он этого от своих преподавателей, да и на разных там судах для несовершеннолетних и еще бог знает где. С тех пор он и стал просто-напросто негодным паразитом. Я ему хвост накручу, я с него до тех пор не слезу, пока он не выправится или не засядет за решетку пожизненно. Другого выхода нету.

— Так, так...— сказал Гельмгольц.

— Любишь слушать музыку?— приветливо спросил Гельмгольц у Джима, когда они ехали в школу на машине Гельмгольца.

Джим ничего не сказал. Он поглаживал усики и бачки, не тронутые бритвой.

— Ты любишь отбивать такт пальцами или притопывать ногой под музыку?— спросил Гельмгольц. Он заметил, что на сапсгах Джима красовались цепочки, которые были совершенно ни к чему— зато позвякивали, когда он двигался.

Джим вздохнул, чтобы показать, как ему все опротивело.

— А насвистывать любишь?— сказал Гельмгольц.— Когда притопываешь или насвистываешь, ты как бы подбираешь ключи к двери в совершенно новый мир— и этот мир фантастически прекрасен.

Джим испустил приглушенный вопль диких команчей.

— Вот-вот!— обрадовался Гельмгольц.— Ты продемонстрировал основной принцип игры на медных духовых инструментах. Ведь чтобы извлечь из них дивные звуки, нужно сначала добиться такой вот вибрации на губах.

Пружины сиденья в старом автомобиле Гельмгольца скрипнули, когда Джим зашевелился. Гельмгольц счел это признаком заинтересованности и повернулся к нему с дружеской улыбкой. Но оказалось, что Джим просто старается выудить сигареты из внутреннего кармана своей облегающей кожаной куртки.

Гельмгольц так огорчился, что больше не мог ни слова вымолвить. Только под самый конец, уже заворачивая на стоянку для учительских машин, он наконец нашел подходящие слова.

— Бывает,— сказал Гельмгольц,— я чувствую себя таким заброшенным и так мне все надоест, что, кажется, сил никаких нет это терпеть. Так и подмывает выкинуть какой-нибудь дурацкий фокус всем назло— даже если мне самому потом хуже будет.

Джим мастерски выпустил колечко дыма.

— Но откуда ни возьмись!..— сказал Гельмгольц.— Но откуда ни возьмись, Джим, приходит мысль, что у меня есть хотя бы один крохотный уголок вселенной, который я могу сделать таким, как хочу,— точь-в-точь таким! Я могу сбежать туда и упиваться торжеством, я как будто вновь родился и все на свете прекрасно.

— Да вы счастливчик,— сказал Джим. Он широко зевнул.

— Верно, так оно и есть,— сказал Гельмгольц.— Мой уголок вселенной— воздух над моим оркестром. Я могу наполнить его

музыкой. У нашего зоолога, мистера Билера, есть бабочки. Мистер Троттмен, физик, заморожен своими мятниками и камертонами. Добиться того, чтобы у каждого человека был такой уголок,— пожалуй, самое главное для нас, учителей. Я...

Дверца машины открылась, хлопнула, и Джима как не бывало. Гельмгольц наступил на сигарету Джима и затолкал ее поглубже в гравий, которым была засыпана стоянка.

Первое занятие Гельмгольца в это утро начиналось в группе С — здесь новички барабанили, пикикали и дудели кто во что горазд, и им предстоял еще долгий-долгий путь через группу В в группу А, в оркестр Линкольнской высшей школы — лучший оркестр в мире.

Гельмгольц вошел на пульт и поднял дирижерскую палочку.

— Вы играете лучше, чем вам кажется,— сказал он.— И-раз, и-два, и-три.

Палочка порхнула вверх. И группа С ринулась в погоню за Прекрасным — рванула с места, как заржавленный паровоз, у которого поршни застревают, трубы забиты, клапаны протекают, в подшипниках засохла смазка.

Но к концу урока Гельмгольц по-прежнему улыбался, потому что в душе слышал эту музыку так, как ей предстоит прозвучать в один прекрасный день. Горло у него саднило, он весь урок подпевал оркестру. Он вышел в коридор напиться.

Склонившись к фонтанчику, он услышал звяканье цепочек. Он поднял глаза на Джима Доннини. Толпа учеников ручейками выливалась из дверей классов, иногда эти ручейки закручивались веселыми водоворотами, потом снова стремились дальше. Джим был совершенно один. Если он и останавливался, то не для дружеского слова — нет, он обмахивал носки своих сапог о собственные брюки. Он как будто играл шпиона в мелодраме — все он видит, все ненавидит и ждет не дожждется того дня, когда все полетит в тартарары.

— Здорово, Джим,— сказал Гельмгольц.— А я как раз думал о тебе. У нас после уроков собирается великое множество всяких клубов и кружков. Там всегда можно познакомиться с новыми людьми.

Джим смерил Гельмгольца с ног до головы пристальным взглядом.

— А может, я не желаю знакомиться с новыми людьми?— сказал он.— Это вам в голову не пришло?

Уходя, он старался печатать шаг, чтобы цепочки звенели погромче.

Когда Гельмгольц вернулся к своему пулту, он нашел записку с приглашением на экстренное собрание в учительской.

На собрании говорили о случае дикого вандализма.

Кто-то пробрался в школу и учинил разгром в кабинете мистера Крейна, возглавлявшего английское отделение. Книги, дипломы, фотографии Англии, рукописи одиннадцати незаконченных романов — все сокровища бедняги, все было изорвано и

растерзано, перепутано, испоганено, растоптано и залито чернилами.

Гельмгольц был потрясен. Он ушам своим не верил. Он даже думать не мог. Но смысл всего этого раскрылся ему только поздно ночью, когда он увидел сон. Во сне Гельмгольц увидел мальчишку с акульми зубами, с когтями, похожими на железные крючья. Это чудовище влезло в окно школы и спрыгнуло на пол музыкальной комнаты. Чудовище исполосовало когтями самый большой барабан во всем штате. Гельмгольц проснулся в поту. Оставалось только одно — он оделся и побежал в школу.

В два часа ночи Гельмгольц на глазах у ночного сторожа ласково гладил тугую кожу барабана в своей музыкальной комнате. Он поворачивал барабан то так, то этак и зажигал лампочку внутри — зажигал и гасил, зажигал и гасил. Барабан был цел и невредим. Ночной сторож ушел продолжать обход.

Его оркестр, его сокровище было в безопасности. С наслаждением, как скупец, пересчитывающий деньги, Гельмгольц касался всех других инструментов по очереди. Потом он начал чистить саксофоны. И, наводя на них блеск, он слышал рев огромных труб, он видел, как они вспыхивают на солнце, а впереди несут звездно-полосатый флаг и знамя Линкольнской высшей школы.

— Ям-пам, тиддл-тиддл, ям-пам, тиддл-тиддл! — блаженно напевал Гельмгольц. — Ям-пам-пам, ра-а-а-а, ям-пам, ям-пам, бум!

Когда он умолк на минуту, выбирая следующую пьесу для своего воображаемого оркестра, ему послышалась приглушенная возня в химической лаборатории по соседству. Гельмгольц прокрался по коридору, рывком открыл дверь лаборатории и включил свет. Джим Доннини держал в каждой руке по бутылке с кислотой. Он заливал кислотой периодическую систему элементов, доски, исписанные формулами, бюст Лавуазье. Более гнусной сцены Гельмгольц не мог вообразить.

Джим усмехнулся, но за этой бравадой таился страх.

— Уходи, — сказал Гельмгольц.

— А вы что будете делать?

— Буду убирать. Спасу все, что можно, — как во сне проговорил Гельмгольц. Он поднял с пола кусок серой ваты и начал вытирать кислоту.

— Полицию позовете? — спросил Джим.

— Я... не знаю, — сказал Гельмгольц. — Не могу ничего придумать. Если бы я увидел, что ты ломаешь барабан, наверное, я бы убил тебя на месте. Но все равно никогда не постиг бы того, что ты натворил — и что ты при этом думал.

— Давно пора перевернуть эту лавочку вверх дном, — сказал Джим.

— Вот как? — сказал Гельмгольц. — Должно быть, это правда, раз наш ученик решил ее уничтожить.

— А что в ней хорошего?

— Хорошего мало, как видно, — сказал Гельмгольц. — Но это

самое лучшее, что людям удалось до сих пор сделать.

Он чувствовал себя беспомощным, словно говорил сам с собой. У него всегда было в запасе множество маленьких уловок, он умел добиться, чтобы мальчишки вели себя как мужчины — умел использовать мальчишеские страхи, и мечты, и любовь. Но вот перед ним мальчишка, не знающий ни страха, ни мечты, ни любви.

— Если бы ты разгромил все школы, — сказал Гельмгольц, — наша последняя надежда погибла бы.

— Какая надежда? — сказал Джим.

— Надежда, что все на свете будут радоваться жизни, — сказал Гельмгольц. — Даже ты.

— Вот смех, — сказал Джим. — Мне-то в этой дыре ничего хорошего не доставалось — одна морока. Вы что собираетесь делать?

— Ты считаешь, что мне надо что-то делать?

— А мне наплевать, что вы мне сделаете, — сказал Джим.

— Знаю, — сказал Гельмгольц. — Это я знаю.

Он повел Джима в свой крохотный кабинетик позади музыкальной комнаты. Набрал домашний телефон директора. Он оцепенело ждал, пока звонок поднимет старика с постели.

Джим обмахнул свои сапоги тряпочкой.

Гельмгольц внезапно бросил трубку, не дожидаясь ответа директора.

— А есть хоть что-нибудь, на что тебе не наплевать, или ты любишь только бить, калечить, ломать, терзать, колотить, молотить? — крикнул он. — Хоть что-нибудь? Что-нибудь, кроме этих вот сапог?

— Валяйте! Звоните куда хотели, — сказал Джим.

Гельмгольц открыл шкафчик и вынул оттуда трубу. Он сунул трубу в руки Джиму.

— Вот! — сказал он, задыхаясь от волнения. — Вот мое сокровище. Это самая драгоценная моя вещь. Отдаю ее тебе на растерзание. Я тебя и пальцем не трону. Ломай и радуйся, глядя, как разбивается мое сердце.

Джим как-то странно посмотрел на него. И положил трубу на стол.

— Ломай! — сказал Гельмгольц. — Раз уж мир обошелся с тобой так подло, он заслуживает, чтобы эта труба погибла!

— Я... — сказал Джим. Гельмгольц внезапно схватил его за пояс, дал ему подножку и повалил на пол.

Он стянул с Джима сапоги и швырнул их в угол.

— Вот тебе! — свирепо сказал Гельмгольц. Он рывком поставил мальчишку на ноги и снова сунул ему трубу.

Джим Доннини стоял босиком. Носки остались в сапогах. Мальчик взглянул вниз. Его ноги, которые раньше казались толстыми черными дубинками, теперь были тощие, как цыплячьи крылышки — костлявые, синеватые, недомытые.

Мальчишку передернуло, потом его стала бить дрожь.

И эта дрожь, казалось, что-то постепенно вытряхивала из него, пока, наконец, мальчишка не рассыпался окончательно. Его больше не было. Свесив голову, Джим словно ждал только одного — смерти.

Гельмгольца захлестнуло раскаяние. Он облапил мальчишку и прижал к себе.

— Джим! Джим! Послушай же, мой мальчик!

Джим перестал дрожать.

— Ты знаешь, что ты держишь в руках — что это за труба? — сказал Гельмголец. — Ты знаешь, что это особенная труба?

Джим только вздохнул.

— Она принадлежала Джону Филиппу Сузе! — сказал Гельмголец. Он тихонько раскачивал и потряхивал Джима, чтобы вернуть его к жизни. — Я ее меняю, Джим, на твои сапоги. Она твоя! Труба Джона Филиппа Сузы теперь твоя! Она стоит сотни долларов, Джим, — тысячи!

Джим прижался головой к груди Гельмгольца.

— Она лучше твоих сапог, Джим, — сказал Гельмголец. — Ты можешь научиться играть на ней. Теперь ты не простой человек, Джим. Ты — мальчик с трубой Джона Филиппа Сузы!

Гельмголец потихоньку отпустил Джима, боясь, что тот свалится. Джим не падал. Он стоял сам. Труба все еще была у него в руках.

— Я отвезу тебя домой, Джим, — сказал Гельмголец. — Веди себя хорошо, и я о сегодняшнем ни слова не пророню. Чисти свою трубу и старайся стать лучше.

— Можно сапоги надеть? — невнятно пробормотал Джим.

— Нет, — сказал Гельмголец. — Мне кажется, они тебе только мешают.

Гельмголец отвез Джима домой. Он открыл все окна в машине, и воздух, как ему казалось, немного оживил мальчишку. Гельмголец выпустил его возле ресторана Квинна. Мягкий топот босых ступней Джима по асфальту отдавался эхом на безлюдной улице. Он влез в окно и пробрался в комнату за кухней, где всегда ночевал. И все стало тихо.

На другое утро лязгающие, громыхающие, грязные машины осуществляли прекрасную мечту Берта Квинна. Они выравнивали то место позади ресторана, где раньше был холм. Они выглаживали его ровнее, чем бильярдный стол.

Гельмголец снова сидел за столиком. И Квинн опять подсел к нему. И Джим опять мыл пол. Джим не поднимал глаз, он не хотел замечать Гельмгольца. И он совершенно не обращал внимание на мыльную воду, которая накатывалась прибором на его маленькие узкие коричневые полуботинки.

— Два дня подряд не завтракаете дома? — сказал Квинн. — Что-нибудь случилось?

— Жена еще не вернулась,— сказал Гельмгольц.

— Пока кошки нет...— сказал Квинн. Он подмигнул.

— Пока кошки нет,— сказал Гельмгольц,— эта мышка уже стосковалась по ней.

Квинн нагнулся через столик.

— Так вот почему вы вылезли из постели среди ночи, Гельмгольц? Соскучились?— Он мотнул головой в сторону Джима.— Парень! Ступай, принеси мистеру Гельмгольцу его рожок.

Джим поднял голову, и Гельмгольц увидел, что глаза у него опять похожи на глаза устриц. Он ушел за трубой, громко топая.

Теперь Квинн уже не скрывал своей злобы и возмущения.

— Вы забираете у него сапоги и даете ему рожок, а я, по-вашему, так ничего и не замечу?— сказал он.— Я, по-вашему, не стану его расспрашивать? Думаете, я не дознаюсь, что вы его изловили, когда он громил школу? Нет, преступник из вас вышел бы никудышный, Гельмгольц. Вы посеяли бы на месте преступления и свою палочку, и ноты, и удостоверение личности с фотокарточкой.

— А я не думал замечать следы. Просто я делаю то, что делаю. Я собирался сам все рассказать.

Квинн перебирал ногами, будто плясал, и ботинки у него попискивали, как мыши.

— Вот как?— сказал он.— Ну что ж, у меня для вас тоже есть кое-какие новости.

— Какие?— спросил Гельмгольц, предчувствуя беду.

— С Джимом у меня все кончено. После вчерашней ночи у меня терпение лопнуло. Отправляю его обратно.

— Опять скитаться по приютам?— нетвердым голосом спросил Гельмгольц.

— А это уж как там знающие люди надумают обойтись с таким парнем.— Квинн откинулся на спинку стула, шумно выдохнул и с явным облегчением развалился поудобнее.

— Вы этого не сделаете,— сказал Гельмгольц.

— Очень даже сделаю,— сказал Квинн.

— Это его доконает,— сказал Гельмгольц.— Он не выдержит, если его еще хоть раз вот так вышвырнуть вон.

— Он же совершенно бесчувственный,— сказал Квинн.— Помочь я ему не могу, и пробрать не проберешь. Никто с ним не справится. Он непробиваемый.

— Просто на нем живого места нет, сплошной шрам,— сказал Гельмгольц.

«Сплошной шрам» вернулся и принес трубу. Не дрогнув, он положил ее на столик перед Гельмгольцем.

Гельмгольц заставил себя улыбнуться.

— Она твоя, Джим,— сказал он.— Я отдал ее тебе насовсем.

— Берите, пока не поздно, Гельмгольц,— сказал Квинн.— А то он ее променяет на ножик или пачку сигарет.

— Он еще не знает, что это за вещь,— сказал Гельмгольц.— Нужно время, чтобы это понять.

— А чего в ней хорошего? — спросил Квинн.

— Чего хорошего? — повторил Гельмгольц, не веря своим ушам.— Чего хорошего? — Он не постигал, как человек может смотреть на этот инструмент, не испытывая жаркого, ослепительного восторга.— Чего хорошего? — пробормотал он.— Это труба Джона Филиппа Сузы.

Квинн тупо заморгал.

— Это еще кто такой?

Руки Гельмгольца затрепетали на скатерти, как крылышки умирающей птицы.

— Кто такой Джон Филипп Суза? — сдавленно пискнул он. Больше он ничего не мог сказать. Слишком грандиозна эта тема, и не по силам усталому человеку приниматься за объяснения. Умирающая птица в последний раз вздрогнула и замерла.

После долгого молчания Гельмгольц взял в руки трубу. Он поцеловал холодный мундштук и пробежал пальцами по клапанам, грезя о блистательных руладах. Над раструбом инструмента Гельмгольц видел лицо Джима Доннини, словно плывущее в пространстве — и такое слепое, глухое, немое! Теперь Гельмгольцу открылась вся суетность человеческая и бренность всех человеческих сокровищ. Он-то надеялся, что за трубу, величайшее свое сокровище, он выкупит живую душу Джима. Но труба ничего не стоила.

Гельмгольц точным неторопливым движением ударил трубу о край стола. Он перегнул ее о спинку стула. Он протянул искалеченный кусок металла Квинну.

— Вы ее разбили,— сказал потрясенный Квинн.— Зачем вы это сделали? Чего ради?

— Я — я сам не знаю,— сказал Гельмгольц.

Ужаснейшие, святотатственные слова клокотали в нем, как вс чреве вулкана. И вот, сметая все преграды, они вырвались:

— На черта нужна такая жизнь! — сказал Гельмгольц. Лицо его сморщилось от усилий скрыть стыд и слезы.

Гельмгольц — этот холм, который умел ходить, как человек, рушился на глазах. Глаза Джима Доннини затопило жалостью и тревогой. Они ожили. Это были человеческие глаза. Гельмгольц сумел к нему пробиться! Квинн смотрел на Джима, и впервые на его угрюмом лице одинокого человека мелькнуло что-то похожее на проблеск надежды.

Две недели спустя в Линкольнской высшей школе начался новый семестр.

В музыкальной комнате оркестранты группы С ждали своего дирижера — ждали, что сулит им их музыкальная судьба.

Гельмгольц взошел на пульт и постучал палочкой по пюпитру.

— «Голоса весны»,— сказал он.— Все слышали? «Голоса весны».

Сразу зашелестели ноты, которые музыканты разворачивали на своих пюпитрах. Затем наступила настороженная тишина, и в этой тишине Гельмгольц отыскал взглядом Джима Доннини, сидевшего на самом последнем месте в самой слабой группе трубачей самого плохого оркестра в школе.

Его труба, труба Джона Филиппа Сузы, труба Джорджа М. Гельмгольца, была снова в полном порядке.

— Подумайте вот о чем,— сказал Гельмгольц.— Наша цель — сделать мир более прекрасным, чем он был до нас. Это сделать можно. И вы это сделаете.

У Джима Доннини вырвался негромкий возглас отчаяния. Он не предназначался для посторонних ушей, но этот горестный вопль услышали все.

— Как? — спросил Джимм Доннини.

— Возлюби самого себя,— сказал Гельмгольц.— И пусть твой инструмент запоет об этом. И-раз, и-два, и-три.

Перемещенное лицо

Восемьдесят маленьких человечков, спасенных католическими монахинями, жили в сиротском приюте, в бывшем домике лесника, на берегу Рейна, где раскинулось обширное поместье. Деревенка Карлсвальд находилась в американской оккупационной зоне. Если бы не этот дом, если бы не тепло и еда, и одежда, которую удавалось для них выклянчить, они бы разбрелись по всему свету в поисках родных, давным-давно переставших искать их самих.

По утрам, в хорошую погоду, монашки строили детей парами и выводили их подышать свежим воздухом — через лес до деревни и обратно. Деревенский плотник, все чаще, по старости лет, впадавший в глубокую задумчивость в самый разгар работы, выходил из своей мастерской поглядеть на это шествие оживленно лопочущих, непоседливых бродяжек и погадать вместе со случайными посетителями, какой национальности родители этих ребят.

— Вон та крошка, — сказал он однажды, — явно французенка. Вы только гляньте, как у нее глазенки блестят!

— А видишь худенького поляка, что руками размахивает? Поляки, они все любят ходить строем.

— Поляк? Где ты нашел поляка? — спрашивал плотник.

— А вон, впереди, такой тощий и серьезный, — отвечали ему.

— Ну-у, нет, — качал головой плотник. — Чтобы поляк был такой долговязый! И откуда у поляка льняные волосы? Немец он, вот что.

Механик пожимал плечами.

— Какая разница? — говорил он. — Все они теперь немцы. Поди докажи, кто у них родители. Если бы тебе случилось воевать в Польше, ты бы признал в нем типичного поляка.

— Смотри-ка, смотри, кто идет, — вдруг расплылся в улыбке плотник. — Ты у нас спорщик известный, но с этим-то, согласишься, все ясно? Сразу видно — американец!

И он кричал мальчику:

— Эй, Джо, когда отвоюешь титул чемпиона?

— Как дела, Джо? — кричал механик. — Эй, «Шоколадина Джо»!

Шестилетний мальчик, темнокожий, но с голубыми глазами, одиноко замыкавший шествие, оборачивался на их крик, который он слышал изо дня в день, и улыбался слабой вымученной улыбкой. Он вежливо кивал и бормотал по-немецки — на единственном доступном ему языке — какое-то приветствие.

Карл Хайнц — так стали звать его монахиня. Но плотник дал ему более броское имя, имя того самого негра, который произвел на них, деревенских, неизгладимое впечатление — бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Джо Луиса.

— Джо! — кричал плотник. — Веселей давай! Блесни-ка белыми зубками, Джо.

Джо робко улыбался.

Плотник хлопал по спине механика.

— А теперь и этот немец! Глядишь, и у нас вырастет свой чемпион-тяжеловес.

Колонна поворачивала за угол, и монахиня, подгоняя отстающих, загораживала собой мальчика. Она и Джо проводили вместе немало времени, потому что Джо, в какое бы место колонны его ни ставили, всегда оказывался в хвосте.

— Ты такой мечтатель, Джо, — говорила монахиня. — Может быть, у тебя на родине все мечтатели?

— Простите, сестра, — говорил Джо. — Я задумался.

— Замечтался.

— А правда, что я сын американского солдата?

— Кто тебе сказал?

— Петер. Он говорит, что моя мать немка, а отец — американский солдат, он уехал и не вернется. Петер говорит, что меня мать оставила у вас, а сама тоже уехала.

В его голосе не было горечи, только недоумение.

Петер, самый старший мальчик в приюте, был немец, этакий желчный старичок четырнадцати лет; он помнил своих родителей и братьев с сестрами, и свой дом, и войну, и разные вкусности, которые Джо и представить себе не мог. Петер казался ему существом высшего порядка, человеком, прошедшим огонь и воду, испытавшим все на свете. Вот уж кто точно знал, почему все они здесь и как сюда попали.

— Ну что ты, Джо, не думай об этом, — говорила монахиня. — Никто не знает, кто твои мама и папа. Но они, конечно же, были славные люди, раз ты такой славный.

— А что значит американец? — спросил как-то Джо.

— Это тот, кто живет в другой стране.

— Рядом с нами?

— Есть такие, что живут сейчас рядом с нами, но вообще-то их дом далеко-далеко, туда плыть и плыть.

— Как через нашу речку?

— Гораздо дальше, Джо. Ты и не видел никогда столько воды. Того берега и не разглядеть. Даже если в лодке плыть много дней, все равно до того берега не доплывешь. Я тебе покажу как-нибудь по карте. А Петера, Джо, не слушай. Он все сочиняет. На самом деле он про тебя ничего не знает. Ну-ка, догоняй остальных.

Джо ускорял шаг и, подтянувшись к хвосту колонны, несколько минут старался идти в ногу со всеми. Но вскоре он

опять начинал плестись, выживая из своей крошечной памяти загадочные слова: ...солдат... немецкий... американец... у тебя на родине... чемпион... «Шоколадина Джо»... ты не видел никогда столько воды...

— Сестра,— спрашивал Джо,— а что, американцы такие, как я? Они коричневые?

— Одни коричневые, Джо, другие белые.

— А таких, как я, много?

— Да. Много, очень много.

— Почему же я их не видел?

— Просто никто не приезжал в нашу деревню. Они живут в других местах.

— Я хочу к ним.

— Разве тебе здесь плохо, Джо?

— Нет. Только Петер говорит, что я здесь чужой, что я никакой не немец и немцем не вырасту.

— Петер! Нашел кого слушать.

— А почему все просят меня спеть, а потом смеются, и когда я говорю, тоже смеются?

— Смотри-ка, Джо,— говорила монахиня.— Ты только глянь! Во-о-н там, на дереве, видишь? Видишь воробышка со сломанной лапкой? Какой молодчина—совсем еще птенец, бедняга, а до чего независимый! Гляди, гляди. Прыг, скок, прыг-прыг, скок.

Однажды в жаркий летний день, когда колонна поравнялась с мастерской плотника, плотник вышел на порог, чтобы сообщить Джо нечто новое, нечто такое, что взволновало и напугало его.

— Джо! Слышишь, Джо! Твой отец в городе. Ты его уже видел?

— Нет, сударь... нет, не видел,— сказал Джо.— А где он?

— Лишь бы подразнить,— возмутилась монахиня.

— Какое там подразнить, Джо,— продолжал плотник.— Ты, главное, смотри в оба, когда пойдете мимо школы. Сам увидишь—на горе, в рощице.

— Что-то сегодня не видно нашего воробышка,— вдруг оживилась монахиня.— Как ты думаешь, Джо, верно, лапка у него подживает понемногу?

— Да, сестра. Да-да.

Они приближались к школе, и хотя сестра без умолку говорила о воробышке и цветах и облаках, Джо перестал отвечать ей.

Лес позади школы казался тихим, без признаков жизни.

А потом, в двух шагах от рощицы, Джо увидел голого по пояс, крупного, шоколадного цвета мужчину, с пистолетом

на боку. Мужчина отпил из фляги, вытер губы тыльной стороной ладони, окинул мир с улыбочкой, выразившей царственное презрение, и вновь скрылся в сумраке леса.

— Сестра! — задохнулся Джо. — Мой отец... я видел сейчас моего отца!

— Нет, Джо. Этого не может быть.

— Он там, в лесу, Я видел. Сестра, я хочу к нему, туда...

— Это не твой отец, Джо. Он не знает тебя. Он не захочет тебя видеть.

— Но ведь он совсем такой, как я!

— Тебе туда нельзя, Джо. И не стой тут! — она взяла его за руку и потянула прочь. — Нехорошо так упрямиться, Джо!

Джо молча подчинился. Всю оставшуюся дорогу — а домой они шли кружным путем, в обход школы — он не сказал ни слова. Кроме самого Джо, никто не видел его замечательного отца, и ему не поверили.

Во время вечерней молитвы он вдруг разрыдался.

А в десять часов младшая из монахинь увидела, что его кровать пуста.

В лесу, под огромной растянутой сетью, подшитой лоскутами, зарывшись лафетом в землю и нацелясь стволом в ночное небо, чернело и поблескивало смазкой артиллерийское орудие. Грузовики и прочее оснащение батареи были скрыты за горой.

Пока солдаты, неразличимые в темноте, окапывались вокруг орудия, Джо всматривался туда сквозь редкий часток кол кустарника и прислушивался, дрожа всем телом. То, что он слышал, казалось ему тарабарщиной.

— На кой нам, сержант, окапываться, когда утром так и так сниматься с места? Это ж маневры... Чем рвать пупок, лучше б для вида поискали в окрестностях подходящее место...

— Как знать, дружище, может, этой ночью нам как раз и есть смысл окопаться, — говорил сержант. — Так что давай, не спи на ходу. Слышишь?

Сержант вышел на освещенный луной пятачок: руки в бедра, широченные плечи откинута назад, — император да и только. Джо узнал в нем мужчину, которым давеча залюбовался. Сержант не без удовольствия послушал, как вгрызаются в землю лопаты, а затем, к ужасу Джо, направился напрямик к его укрытию.

Джо сидел не шелохнувшись, пока башмак не ткнулся ему в бок.

— Ой!

— Кто здесь?

Сержант подхватил Джо и поставил его, как воткнул, на ноги.

— Мать честная, ты что здесь делаешь, малыш? Сбежал? А ну марш домой! Тут тебе не детская площадка.

Он осветил фонариком в лицо Джо.

— Что за чертовщина! — пробормотал он. — Откуда ты взялся?

Он подержал Джо на расстоянии вытянутой руки и легонько встряхнул его, как тряпичную куклу.

— Ты как сюда попал, малыш? Вплавь?

Джо, заикаясь, ответил по-немецки, что искал своего отца.

— Так как ты сюда попал? Что ты здесь делаешь? Где твоя мама?

— Что вы там нашли, сержант? — послышался голос из темноты.

— Сам не пойму, что это за диковина, — отозвался сержант. — Лопочет, что твой фриц, и одет, как фриц, но вы гляньте на него...

И вот уже Джо окружен десятком людей, которые обращаются к нему сначала громко, потом тише, словно считая, что от этого их слова станут понятнее.

Сколько Джо ни объяснял, почему он здесь, они только со смехом пожимали плечами.

— Где он выучился немецкому, хотел бы я знать?

— У тебя есть папа, малыш?

— А мама есть?

— Шпрехен зи дойч? Гляньте, кивает! Ясно дело, говорит.

— Слушай, капрал, ты же шпрехаешь как бог. Спроси-ка его еще чего-нибудь.

— Сходите за лейтенантом, — сказал сержант. — Он поговорит с мальчиком и разберется, что тот хочет сказать. Смотрите, как он дрожит! Душа в пятки ушла. Ну что ты, малыш, не бойся, ну...

Он обнял Джо своими ручищами.

— Ну, успокойся. Все будет олл-л-л райт. Гляди, что у меня есть. Мать честная, да он, по-моему, ни разу в жизни шоколада не видел. А ну-ка попробуй. Да не укусит он тебя.

Джо, надежно укрывшийся в бастиионе из мускулов от блесквших со всех сторон глаз, надкусил шоколадную плитку. Сначала его розоватые губы, а затем и все его существо погрузилось в теплую, бесконечно сладостную волну, и он весь просиял.

— Улыбается!

— Гляди-ка, прямо светится!

— Да он словно в рай попал. Ей-богу!

— Перемещенные лица, — сказал сержант, прижимая к себе Джо. — Ах ты, бедняга. Вот уж перемещенный так переме-

щенный. Ну и жизнь, все пошло кувыркoм и наперекосяк.

— На, малыш. Вот тебе еще шоколадка.

— Не надо больше. Хочешь, чтоб его стошнило? — возмутился сержант.

— Что вы, сержант! Зачем, чтоб стошнило? Нет-нет, сэр.

— Что тут происходит?

Вслед за блуждающим лучом фонарика к группе приближался лейтенант, изящный негр небольшого роста.

— Да вот, лейтенант, мальчик, — сказал сержант. — Забрел на батарею. Прополз, должно быть, мимо часовых.

— Ну так отправьте его домой, сержант.

— Да, сэр. Я и хотел, — сержант откашлялся. — Только странно как-то... ведь мальчишка-то...

Он разомкнул руки, чтобы свет упал на лицо Джо. Лейтенант хмыкнул, не веря своим глазам, и присел рядом на корточки.

— Откуда ты здесь взялся?

— Лейтенант, он говорит только по-немецки, — сказал сержант.

— Где твой дом? — спросил лейтенант по-немецки.

— Далеко-далеко, туда плыть и плыть, — сказал Джо.

— Откуда ты взялся?

— Меня создал Бог, — ответил Джо.

— Этот мальчик станет адвокатом, когда вырастет, — сказал лейтенант по-английски.

— Послушай, — обратился он к Джо, — как тебя зовут? И где твой родные?

— Я Джо Луис, — сказал Джо. — А мои родные — вы. Я убежал из приюта и буду жить с вами.

Лейтенант встал и, качая головой, перевел то, что сказал Джо.

Его слова вызвали бурю восторга.

— Джо Луис! Сразу видать — силач, тяжеловес!

— Ты, главное, ему под левую не попадайся!

— Если он Джо, значит, точно нашел своих родных. Разве мы ему не родня?

— Заткнитесь! — вдруг приказал сержант. — Все заткнитесь. Не до смеха! Нашли повод зубы скалить! Мальчик один на всем белом свете. Тут не до смеха.

Наступило тягостное молчание, которое наконец прервал чей-то тихий голос:

— Да уж, не до смеха.

— Надо взять джип, сержант, и отвезти его в город, — сказал лейтенант. — Капрал Джексон, распорядитесь.

— Скажите им там, что Джо отличный парень, — попросил Джексон.

— Послушай, Джо, — обратился к нему мягко лейтенант по-немецки. — Ты поедешь со мной и с сержантом. Мы отвезем тебя домой.

Джо вцепился изо всех сил сержанту в плечи.

— Папа! Не надо, папа! Я хочу остаться с тобой.

— Ну, что ты, сынок. Я не твой папа,— растерялся сержант.— Я не твой папа.

— Папа!

— Да он никак прилип к вам, сержант,— сказал солдат.— Похоже, вам его от себя не оторвать. Вот и заполучили сына, сержант, а вы ему за отца будете.

С Джо на руках сержант направился к джипу.

— Ну, чего ты,— говорил он.— Джо, малыш, отпусти, слышишь. Я же не могу сесть за руль. Я не могу сесть за руль, пока ты висеишь на мне, Джо. Да ты сядь рядышком, на колени к лейтенанту.

Все снова собрались у джипа. На этот раз они сумрачно наблюдали, как сержант тщетно пытается уговорить Джо отпустить его.

— Я же не хочу сделать тебе больно, Джо. Ну же, давай-ка сам, Джо. Ну, отпусти меня, Джо, мне надо сесть за руль. Ты так вцепился в меня, что я пальцем не могу пошевелить.

— Папа!

— Послушай, Джо, давай ко мне на колени,— обратился к нему лейтенант по-немецки.

— Папа!

— Джо! Посмотри-ка, Джо, — сказал солдат. — Шоколад! Еще хочешь шоколаду, Джо? А? Целая плитка, Джо, возьми. Только отпусти сержанта и перелезь на колени к лейтенанту.

Джо еще крепче вцепился в сержанта.

— Слушай, что ж ты прячешь шоколад в карман? — возмутился другой солдат.— Положи рядом с Джо. Эй, сходите там за ящиком с плиточным шоколадом, что в грузовике. Положим ящик в джип, на заднее сиденье. Чтобы Джо на двадцать лет хватило.

— Глянь-ка, Джо,— говорил третий солдат.— Видел когда-нибудь часы с браслетом? Вот, смотри, Джо. Видишь, как блестят? Перелезь к лейтенанту на колени, и я дам тебе послушать, как они тикают. Тик-так, тик-так. Ну что, Джо, хочешь послушать?

Джо не шевелился.

Солдат протянул ему часы.

— Ладно, Джо, чего уж там. Бери насовсем.

И он быстро пошел прочь.

— Эй,— крикнул кто-то вдогонку,— ты что, спятил? Ты же заплатил за них пятьдесят долларов. На что этой крохе часы за пятьдесят долларов?

— Сам ты спятил, вот что.

— Я? Скажешь тоже. Ну да ладно, чего там... Джо,

хочешь ножик? Только обещай, что будешь с ним осторожен. Всегда режь от себя. Понял? Лейтенант, когда привезете его домой, скажите, чтобы он всегда резал от себя.

— Я не хочу домой. Я хочу остаться с папой,— Джо чуть не плакал.

— Джо, солдатам нельзя брать с собой маленьких мальчиков,— сказал лейтенант по-немецки.— И потом, мы чуть свет снимаемся с места.

— А вы за мной вернетесь?— спросил Джо.

— Вернемся, Джо, если сможем. Солдаты никогда не знают, где будут завтра. Мы вернемся проведать тебя, если получится.

— Разрешите отдать Джо весь ящик шоколада, лейтенант?— спросил солдат, таща картонную коробку.

— Не задавайте вопросов,— отвечал лейтенант.— Знать ничего не знаю ни о каком шоколаде. В глаза его никогда не видел.

— Так точно, сэр.

Солдат положил свою ношу на заднее сиденье джипа.

— Он и не собирается отпускать меня,— сокрушенно сказал сержант.— Лейтенант, садитесь-ка за руль вы, а мы с Джо сядем сзади.

Лейтенант с сержантом поменялись местами, и джип медленно тронулся.

— Привет, Джо!

— Не подкачай, Джо!

— Не съешь разом весь шоколад, слышишь?

— Не плачь, Джо. Покажи, как ты улыбаешься.

— Пошире, малыш. Вот так.

— Джо, Джо! Просыпайся, Джо.

Это был голос Петера, самого старшего мальчика в приюте. Голос звучал гулко среди каменных стен.

Джо вздрогнул и сел. Вокруг его кровати толкались приютские дети, пытаясь разглядеть Джо и всякие диковины, что лежали рядом с подушкой.

— Где ты раздобыл пилотку, Джо... и часы, и ножик?— допытывался Петер.— И что в этой коробке под кроватью?

Джо поднес руку к голове и нащупал солдатскую вязаную пилотку.

— Папа,— пробормотал он сонно.

— Папа!— со смешком передразнил его Петер.

— Да,— сказал Джо,— я ходил ночью к папе. Не веришь?

— Он тоже говорит по-немецки?— с любопытством спросила маленькая девочка.

— Нет, но его друг говорит,— сказал Джо.

— Не видел он никакого отца,— сказал Петер.— Твой отец далеко отсюда, очень далеко, и он никогда не вернется.

Он даже про то, что ты живой, и то, наверно, не знает.

— А какой он? — спросила девочка.

Джо задумчиво обвел взглядом комнату.

— Мой папа ростом до потолка, — сказал он наконец. — И шире, чем эта дверь.

Тут он извлек из-под подушки с победоносным видом плитку шоколада.

— И такой же коричневый! — он протянул плитку остальным. — Вот, попробуйте. У меня много!

— Таких людей не бывает, — сказал Петер. — Ты все врешь, Джо.

— Если хочешь знать, у моего папы пистолет с эту кровать или чуть меньше, — счастливо улыбался Джо. — А пушка с этот дом. И таких, как он, было сто и еще сто.

— Джо, кто-то подшутил над тобой, — сказал Петер. — Это был не твой отец. С чего ты взял, что он не дурачил тебя?

— А он плакал, когда мы прощались, — сказал Джо просто. — И обещал совсем скоро отвезти обратно домой, по воде.

Он улыбнулся, счастливый.

— Только это не на том берегу, Петер. Это далеко-далеко, туда плыть и плыть. Он пообещал, и тогда я отпустил его.

„Воздвигни пышные чертоги”*

Грэйс и Джорджа Маклелланов мы знаем уже около двух лет. Они первыми из всех соседей пришли к нам, чтобы поздравить с прибытием в их поселок.

Я ждал, что после первого обмена любезностями в разговоре наступит неловкая пауза, однако ничуть не бывало. Грэйс так и стреляла своими блестящими, как у воробышка, глазками, и тему она затронула такую, что могла щебетать часами.

— Да ведь из этой гостиной можно сделать игрушку,— говорила она возбужденно.— Вы слышите, игрушку! Ну скажи, Джордж. Разве ты не видишь?

— Угу,— соглашался ее муж.— Неплохо получится.

— Только выбросьте все эти крашенные деревяшки,— глаза ее сужались.— Панели нужно сделать сосновые, чтобы рисунок дерева был виден, и натрите их льняным маслом с добавкой умбры. А кушетку обейте чем-нибудь ярко-красным, таким красно-красным, вы меня понимаете?

— Красным? — переспросила Энн, моя жена.

— Красным! Не надо бояться ярких расцветок.

— Постараюсь,— сказала Энн.

— И ради бога закройте всю стену вместе с этими мерзкими окошечками длинной шторой цвета бутылочного стекла. Представляете, как это будет смотреться? Почти копия той чудной гостиной в февральском номере «Дома и сада». Вы, конечно, помните, ее?

— Боюсь, что я этот номер пропустила,— сказала Энн.— Стоял уже август.

— Или то был «Образцовый быт», Джордж? — спросила Грэйс.

— Так сразу не вспомню,— отозвался Джордж.

— Неважно, я посмотрю в своей картотеке и найду то, что нужно.

Грэйс вдруг поднялась и, не дожидаясь приглашения, отправилась в обход по дому.

Она переходила из комнаты в комнату, назначая какой-нибудь предмет обстановки в дар Армии спасения, разоблачая подделки под старину, уничтожая мановением руки перегородки, отмеряя шагами длину ковра, цвета ликера «шартрёрз»,

* Слова из поэмы американского писателя Оливера Уэнделла Холмса (1809—1894) «Тиран за завтраком» (прим. переводчика).

который нам предстояло заказать немедленно, чтобы закрыть весь пол.

— Начните с ковра,— сказала она тоном, не терпящим возражений,— и от него танцуйте. Ковер станет тем центром, который свяжет воедино весь ваш нижний этаж.

— Ясно,— сказала Энн.

— Помните июньский номер «Дивного дома» — про «девятнадцать типичных ошибок», связанных с выбором ковра?

— Да-да,— сказала Энн.— Ну как же.

— Прекрасно. Значит, не мне вам объяснять, чем вы рискуете, начав не с ковра. Джордж! Господи, он все еще в гостиной.

Я посмотрел на Джорджа, сидевшего в полной отрешенности на кушетке в гостиной. Он выпрямился и улыбнулся.

Я шел за Грэйс и попытался переменить тему.

— Дайте-ка разобраться... Вы — наши северные соседи. А южные кто?

Грэйс всплеснула руками.

— Господи! Вы еще не видели Дженкинсов! Джордж,— крикнула она,— они спрашивают про Дженкинсов.

По ее интонации я решил, что наши южные соседи из тех чудаков, которые подбирают на отмели всякую всячину.

— А что, Грэйс, они славные,— ответил Джордж.

— Джордж! — изумилась Грэйс.— Ты не знаешь, кто такие Дженкинсы!? Они, конечно, славные, но...

Она фыркнула и покачала головой.

— Но что? — спросил я.

(А в голове уже проносится: нудисты? наркоманы? анархисты? кролиководы?)

— Они приехали сюда в 1945 году — сказала Грэйс,— и тут же отхватили два потрясающих плюшевых кресла, и...

— И что же? — спросил я.

(И облили их чернилами? И нашли свернутую трубочкой пачку тысячедолларовых банкнот в полой ножке?)

— И всё! — сказала Грэйс.— Застопорило!

— То есть как? — не поняла Энн.

— Неужели не ясно? Так блестяще начать и тут же выдохнуться...

— А-а-а,— протянула Энн.— Теперь ясно. Лопнул мыльный пузырь. Вот в чем, оказывается, беда Дженкинсов. Ясно!

— А ну их, Дженкинсов,— сказал я.

Грэйс не слышала. Она курсировала между гостиной и столовой, и я заметил, что всякий раз, когда она входила в гостиную или выходила из нее, она делала крюк в одном и том же месте. Заинтригованный, я подошел к пяточку, который она упорно огибала, и попрыгал, проверяя, не худой ли там пол или еще что не так.

В эту минуту она вернулась и от неожиданности вскрикнула:

— Ой!

— Что-нибудь не так? — спросил я.

— Нет, просто странно видеть вас здесь.

— Виноват.

— Видите ли, здесь у вас стоит сапожный верстак.

Я потянулся, с тревогой глядя, как она наклоняется над воображаемым верстаком. Думаю, что именно тогда я впервые настрожился, мне сразу стало как-то не до смеха.

— Ну да, а в ящичках для гвоздей посадите плющ, — пояснила она. — Здорово придумано?

Она снова обошла верстак, чтобы не ободрать колени, и стала подниматься по лестнице на второй этаж.

— Можно, я разведаяю, как тут у вас? — спросила она непринужденно.

— Валяйте, — сказала Энн.

Джордж встал с кушетки. Посмотрел наверх, куда уходила лестница, затем протянул пустой стакан.

— Еще можно?

— Ох, простите, Джордж. Мы совсем вас бросили. Ну, конечно. Наливайте. Бутылка там, в столовой.

Он молча прошел туда и плеснул себе добрых полстакана виски.

— Конечно, плитка в ванной совершенно не в цвет с вашими полотенцами, — донесся голос Грэйс сверху.

Энн шла за ней с покорностью служанки и мрачно согласилась:

— Да, конечно.

Джордж поднял стакан, подмигнул мне и осушил его до дна.

— Не принимайте близко к сердцу, — сказал он. — Она всегда так. Дом у вас мировой. Мне очень нравится, да и ей тоже.

— Спасибо, Джордж. Приятно слышать.

Когда Энн и Грэйс спустились вниз, вид у Энн был весьма растерянный.

— Ох, уж эти мне мужчины! — сказала Грэйс. — Считаете нас глупенькими, да? — Она улыбнулась Энн, как старой подруге: — Где им понять, что нужно женщине. Кстати, о чем вы тут говорили, пока мы так славно поболтали?

— Я советовал ему, — сказал Джордж, — оклеить деревья обоями и сделать ситцевые занавесочки на замочные скважины.

— Ну-ну, — сказала Грэйс. — Что ж, милый, нам пора.

На пороге она помедлила.

— Двери вам нужны поостроже, — сказала она. — Все эти резные штучки легко снять стамеской. А чтобы дерево стало светлее, надо положить побольше белил и тут же соскоблить их. Будет совсем в вашем вкусе.

— Вы так хорошо все советуете,— сказала Энн.

— Да, красавец дом, чего там! — сказал Джордж.

— И как это столько мужчин становится художниками,— сказала Грэйс,— не пойму, честное слово. Ни в одном из них нет и капли артистизма.

— Где уж нам! — пробормотал Джордж.

И тут я поразился: как же ласково смотрел он на жену, свою жену.

— Да, унылый у нас домик, ничего не скажешь,— мрачно изрекла Энн после ухода Маклелланов.

— Да ты что! Первостатейный дом.

— Возможно. Но сколько тут еще работы. Я себе даже не представляла. Вот у них, наверно, дом... Она сказала, что они там живут уже пять лет. Как же она должна была весь его вылизать — весь, вплоть до последнего гвоздочка.

— А с виду дом у них вовсе не такой. И вообще, Энн, на тебя это не похоже.

Она тряхнула головой, словно сбрасывая с себя наваждение.

— Не такой, говоришь? Вот уж не думала, что буду когда-нибудь равняться на соседей. Но в этой женщине есть что-то такое.

— Да бог с ней! Давай лучше дружить с Дженкинсами.

Энн расхохоталась. Чары Грэйс начинали рассеиваться.

— Ты с ума сошел! Дружить с владельцами двух жалких кресел, с этими ничтожествами!

— Согласен, пусть сначала купят к этим креслам тахту.

— И не просто тахту, а **ту самую** тахту.

— Если захотят сойтись с нами покороче, пусть не боятся ярких расцветок. И пусть лучше сразу танцуют от ковра.

— Только так! — твердо сказала Энн.

Но у нас долго не было времени выполнить этот план, и мы только издали раскланивались с Дженкинсами. Все свободное время Грэйс Маклеллан проводила у нас. Не успевала уйти на работу, как она вваливалась к нам с тяжелой кипой всевозможных журналов и насадала на Энн, чтобы они вместе искали в них конкретные указания — как переделать наш дом.

— Вот у кого денег куры не клюют,— сказала Энн как-то вечером за ужином.

— Не думаю,— сказал я.— У Джорджа всего-навсего магазин кожгалантереи, и там большей частью ни души.

— Значит, они все, до цента, тратят на дом.

— Возможно. Но почему ты решила, что они богаты?

— Послушать эту женщину, так деньги для нее ничто! Не моргнув глазом, рассуждать о драпировке во всю стену по десять долларов за ярд или о том, что на переоборудование кухни уйдет **каких-нибудь** полторы тысячи долларов. Разумеется, не считая камина...

— Ну как же, чтобы кухня да без камина!

— ...и без углового дивана.

— Слушай, Энн, а почему б тебе ее не отвадить? Она ведь тебя допечет. Скажи ты ей, что тебе некогда, что ли.

— Не могу. Она такая добрая, участливая и одинокая,— беспомощно сказала Энн.— И потом, как ей это втолкуешь? Она же ничего не слышит. У нее в голове одни чертежи, ткани, гарнитуры, обои, краска.

— А ты напавь разговор в другое русло.

— Попробуй направить в другое русло Миссисипи! Заговори я с ней о политике, и она начнет рассуждать о перестройке Белого дома. Заговори о собаках, она станет рассказывать про устройство собачьей конуры.

Зазвонил телефон, я взял трубку. Звонила Грэйс Маклеллан.

— Да, Грэйс?

— Вы, кажется, занимаетесь мебелью для контор?

— Верно.

— Вам случайно не попадаютса подержанные картотечные шкафы?

— Бывает. Порой приходится брать на комиссию, хоть я от них и не в восторге.

— А вы мне не устроите один такой?

Я задумался. Была у меня старая рухлядь, которую я собирался выбросить на свалку. Говорю ей про это.

— Ах, как чудно! В «Дивном доме» за прошлый месяц есть как раз про старенькие картотечные шкафы. Вы себе даже не представляете, какие из них выйдут симпатяги, если их оклеить и покрыть слоем прозрачного шеллака. Здорово, а?

— Да уж. Решено, соседка. Завтра вечером привожу.

— Какой же вы душка. Я думаю, вы и Энни не откажетесь выпить с нами?

Я поблагодарил и повесил трубку.

— Итак, час пробил, — сказал я. — Наконец-то Мария-Антуанетта пригласила нас в свой Версаль.

— Мне страшно,— сказала Энн.— После них наш дом покажется таким убогим.

— Не жилищем единым...

— Знаю, знаю. Остался бы ты как-нибудь днем дома, когда она здесь. Послушаю, как ты тогда заговоришь.

Вечером следующего дня я возвращался с работы не в своей машине, а в пикапе, чтобы доставить Грэйс картотечный шкаф. Энн уже была у Маклелланов. Джордж вышел из дома помочь мне.

Шкаф оказался допотопным дубовым чудовищем, и пока мы потели и кряхтели, внося эту махину в переднюю, я, честно говоря, и не мог толком осмотреться.

Первое, что я увидел, были два дряхлых картотечных шкафа в холле, вконец обезображенные не то оберточной бумагой, не то прозрачным шеллаком. Я заглянул в гостиную. Энн сидела на диванчике, как-то странно улыбаясь. Диванные пружины снизу повывезли и во всей своей неприглядности свисали до полу. Комнату освещала сиротливая лампочка, остальные шесть патронов в люстре были затянуты паутиной. К уюту на гладильной доске, стоявшей в центре гостиной, из голый розетки тянулся удлинитель, кое-где прихваченный изоляционной лентой.

На полу лежал маленький поролоновый коврик, какой обычно кладут в ванной, а по царапинам на потемневших досках видно было, что к ним давно не прикасались. Окна были грязные. На всем лежала пыль и паутина. Только на кофейном столике царил порядок и роскошь: там разлеглись веером десятки толстых и глянцевитых иллюстрированных журналов.

Джордж явно нервничал и был на удивление замкнут. Видно было, что наше присутствие выбивает его из равновесия. Смешав нам по коктейлю, он молча сидел, ерзая на месте.

Иное дело Грэйс. Та была оживлена сверх меры, ее, казалось, распирает от гордости. Она то и дело вскакивала, садилась, снова вскакивала, порхала, как балерина, по комнате, объясняя, что именно она здесь переменит. Она перебирала пальцами несуществующую материю, блаженно откидывалась на спинку плетеного стула, который однажды превратился в темно-фиолетовый шезлонг, широко разводила руки, показывая размеры стереокомбайна, который станет вон к той стене.

Она прижала руки к груди и зажмурилась.

— Представляете, как все это будет? Представляете?

— Просто замечательно, — сказала Энн.

— И каждый день к приходу Джорджа его будет ждать запотевший от холода бокал «мартини», а на проигрывателе будет крутиться пластинка.

Грэйс опустилась на колени там, где когда-нибудь появится комбайн, извлекла из пустоты пластинку, поставила ее на воображаемую вертушку, нажала на несуществующую кнопку и снова села на плетеный стул. К моему ужасу, она стала качать головой в такт призрачной мелодии.

Через минуту, как видно, даже Джорджу стало неловко.

— Грэйс! Ты ведь засыпаешь.

Он постарался сказать это как можно непринужденнее, но чувствовалось, что он озабочен. Грэйс покачала головой и томно приоткрыла веки.

— Я не спала. Я слушала.

— Комната выйдет прелестная, не сомневаюсь, — сказала Энн, глядя на меня с тревогой.

Неожиданно Грэйс, словно перезаряженная, вскочила.

— А столовая!

Она торопливо схватила журнал и давай листать его.

— Где же это, подождите, где же это... Нет, не здесь. Она выпустила из рук журнал.

— Ах, ну конечно! Я же вчера ее вырезала и положила в картотеку. Ты помнишь, Джордж? Джордж? Обеденный стол со стеклянной столешницей и специальной полочкой для цветочных горшков.

— М-мм.

— Вот что нужно в столовую! — радостно сказала Грэйс. — Представляете, вы опускаете глаза и сквозь столешницу видите, как растет герань, африканские фиалки... все, что душе угодно. А?

Она бросилась к картотечным шкафам.

— Это надо видеть в цвете!

Мы с Энн из вежливости последовали за ней и стали ждать, пока она перебирала пальцами карточки. Я увидел, что ящики забиты образчиками материи и обоев, разноцветными полосками, журнальными вырезками. Два шкафа она уже забрала на очереди был третий, доставленный мной. Пометки на ящиках были лаконичные: «Гостинная», «Кухня», «Столовая» и так далее.

— Картотека что надо, — сказал я Джорджу, проходившему мимо с только что наполненным бокалом.

Он пристально посмотрел на меня, словно взвешивая, нет ли в моих словах иронии.

— Вы правы, — сказал он наконец. — Здесь даже есть раздел, посвященный мастерской, которую она хочет устроить мне в подвале. — Он вздохнул. — Когда-нибудь.

Грэйс подняла квадратик прозрачной голубой пленки.

— А это для кухни, на раковину и автоматическую посудомойку. Водонепроницаемая и легко стирается.

— Очень мило, — сказала Энн. — У вас есть автоматическая посудомойка?

— Что? — улыбнулась Грэйс, витая где-то в облаках. — Ах, посудомойка. Нет, но я уже присмотрела то, что нам нужно. Мы ведь берем ее, правда, Джордж?

— Да, дорогая.

— Когда-нибудь... — блаженно прошептала Грэйс, поглощая забитый до отказа ящик.

— Когда-нибудь... — откликнулся Джордж.

Как я уже говорил, с тех пор, как мы познакомились с Маклелланами, прошло два года. Энн придумывала разные маленькие хитрости, чтобы при всем своем понимании и снисходительности не позволять Грэйс с ее журналами торчать у нас с утра до вечера. Но, как у добрых соседей, у нас вошло в привычку один-два раза в месяц приглашать друг друга на коктейль.

Джордж мне нравился. Видя, что мы и не думаем под-

шучивать, как другие соседи, над тем, что его жена с головой ушла в поиски интерьера, он становился все разговорчивей и дружелюбней. Он обожал Грэйс, и позволить себе реплику по поводу ее увлечения, как это произошло во время нашей первой встречи, он мог лишь в присутствии случайных людей, видевших его жену впервые. В кругу друзей он никогда не охлаждал ее пыл, не иронизировал над ее фантазиями.

Энн встречала натиск Грэйс, которая превращала любую беседу в монолог, так, словно выполняла свой христианский долг,— она выслушивала ее вежливо и терпеливо. Мы с Джорджем пропускали эти разговоры мимо ушей и довольно неплохо проводили время, обсуждая что угодно, кроме благоустройства дома.

Из наших бесед постепенно выяснилось, что Джордж вот уже несколько лет как оказался на мели и что дела его все никак не идут на поправку. Каждый месяц в киоске появлялись новые журналы о домашнем быте, а мифическое «когда-нибудь», которого Грэйс ждала уже пять лет, отодвигалось, по мнению Джорджа, все дальше и дальше. Вот почему, решил я, а вовсе не из-за жены, Джордж начал попивать.

А картотечные шкафы все распирало и распирало, и дом Маклелланов приходил все в большее и большее запустение. Но не было случая, чтобы вера Грэйс в будущее их дома колебалась. Напротив, она росла, так что мы снова и снова ходили за ней по дому, слушая, что и как здесь будет.

И однажды с Маклелланами приключились два события, одно печальное, другое радостное. Печальное событие заключалось в том, что Грэйс заразилась какой-то вирусной болезнью и угодила на два месяца в больницу. Радостное событие заключалось в том, что родственник, которого Джордж никогда в глаза не видел, оставил ему небольшое наследство.

Пока Грэйс лежала в больнице, Джордж частенько заглядывал к нам на ужин. В день, когда он получил, наконец, свое наследство, от замкнутости его не осталось и следа. Теперь он, к нашему изумлению, только и говорил, что о благоустройстве дома, забыв про все на свете.

— Вот и вас проняло,— со смехом сказала Энн.

— Проняло? Как бы не так! Теперь у меня есть деньги! То-то Грэйс удивится, вернувшись домой: я сделаю в нем все так, как она хотела.

— В точности так, Джордж?

— Абсолютно!

...И вот мы с Энн становимся его добровольными помощниками. Мы прошлись по картотеке Грэйс и обнаружили ниточнейшие указания относительно каждой комнаты, вплоть до мыльницы или подставки для книг. Ох, и непросто же было воспроизвести каждую мелочь, но Джордж был неутомим, и Энн тоже, а главное, деньги были не проблема.

Время — да, деньги — нет. Электрики, штукатурки, камен-

щики и плотники работали допоздна, получая сверхурочные. Энн, само бескорыстие, прочесывала магазины, после чего дом наводняла заказанная ею мебель.

За два дня до выписки Грэйс наследство благополучно разошлось, зато дом был великолепен. На свете не нашлось бы человека более счастливого и гордого, чем Джордж. Все вышло без сучка без задоринки, не считая одной совершеннейшей мелочи. Энн не сумела найти материал на шторы и обивку кушетки в гостиной, который бы в точности соответствовал тому желтому лоскутку, что выбрала Грэйс. Пришлось Энн остановиться на чуть более светлой расцветке. Что касается нас с Джорджем, то мы вообще никакой разницы не видели.

И вот Грэйс выписали из больницы, радостно оживленную, но еще слабую, так что Джорджу пришлось ее поддерживать. Дело было далеко за полдень. Мы с Энн, буквально дрожа от возбуждения, дожидались их в гостиной. Когда слышались их медленные шаги на дорожке к дому, Энн бросилась судорожно поправлять красные розы в массивной стеклянной вазе на кофейном столике, которые она сама туда поставила.

Мы услышали как Джордж звякнул щеколдой, как распахнулась дверь, как Маклелланы шагнули на порог своего сказочного дома...

— Ой, Джордж,— только и выдохнула Грэйс.

Она отпустила его руку и пошла по комнатам, осматриваясь по сторонам,— сколько раз она так осматривалась в прошлом! — и казалась, все, что она видит, наполняет ее чудотворной силой. Впервые, да, впервые она не произносила ни слова.

Наконец она вернулась в гостиную и опустилась в шезлонг темно-фиолетового цвета.

Джордж убавил звучание проигрывателя до шепота.

— Ну как?

Грэйс вздохнула.

— Дай мне прийти в себя,— сказала она.— Я пока не нахожу слов, точных слов.

— Нравится? — спросил Джордж.

Грэйс как-то неуверенно засмеялась, глядя на него.

— Джордж, ах, Джордж, ну конечно, нравится! Золотой ты мой. Это же просто чудо! Вот теперь, **теперь** я дома.

Губы у нее задрожали, а у нас словно камень с души свалился.

— Ничего не перепутали? — спросил Джордж сдавленным голосом.

— Нет, ты все сделал идеально. А как здесь чисто и красиво.

— Еще бы не чисто,— сказал Джордж.

Он хлопнул в ладоши.

— Ты как, выпьешь с нами?

— Что ж я, не человек?

— Джордж, мы пас,— сказал я.— Нам пора. Хотелось увидеть выражение ее лица, когда она войдет. А сейчас мы пошли.

— Ну вот, а как же...— начал было Джордж.

— Нет-нет. Правда. Мы уходим. Вам надо побыть вдвоем, вернее **втроем**, вместе с домом.

— Обождите секундочку,— сказал Джордж.

Он скрылся в ослепительно белой кухне, чтобы смешать коктейли.

— А мы пока тихонечко улизем,— сказала Энн.

Мы двинулись к передней.

— Не вставайте, Грэйс.

— Ну, что ж, если надо... Счастливо,— сказала Грэйс, сидя в шезлонге.— Не знаю даже, как мне благодарить вас.

— Давно я не получала такого удовольствия,— сказала Энн.

Она с гордостью окинула взглядом комнату и подошла к кофейному столику, чтобы поправить розы.

— Единственное, что меня немножко волновало, это цвет обивки на кушетке и этих штор. Как вам?

— Не может быть, Энн! Значит, вы тоже заметили? Я не хотела ничего говорить... Глупо из-за мелочи отравлять себе такой день.

Она слегка нахмурилась. У Энн опустились руки.

— Вот беда-то. Я надеюсь, вы не слишком расстроились?

— Что вы, что вы, конечно, нет,— сказала Грэйс.— Я и сама не очень понимаю, в чем тут дело. Ну да ладно.

— Так получилось...— начала Энн.

— Видимо, все дело в воздухе.

— В воздухе?— переспросила Энн.

— Иначе как все это объяснить? Материал, годами прекрасно сохранявший свою расцветку, вдруг, ни с того ни с сего, блекнет за какую-то неделю.

Вошел Джордж с запотевшими бокалами.

— Я надеюсь, вы не откажетесь выпить на ходу?

Не говоря ни слова, мы с Энн, благодарные, поспешно взяли бокалы.

— Дорогая, сегодня пришел свежий номер «Дивного дома»,— сказал Джордж.

Грэйс отмахнулась.

— Везде одно и то же.

Она подняла бокал.

— За удачу, мои дорогие! И огромное вам спасибо за розочки.

Лохматый пес Тома Эдисона

Прекрасным солнечным утром два старичка сидели на скамейке парка в городе Тампа, во Флориде. Один из них упорно пытался читать книгу — как видно, она ему очень нравилась, а другой, по имени Харольд К. Баллард, рассказывал ему историю своей жизни хорошо поставленным, звучным и отчетливым голосом, словно вещал через громкоговоритель. Под скамейкой растянулся огромный ньюфаундленд Балларда, который усугублял мучения молчаливого слушателя, тыкаясь ему в ноги большим мокрым носом.

Перед тем, как уйти на покой, Баллард преуспел во многих областях, и ему было приятно вспомнить столь содержательное прошлое. Но он столкнулся с проблемой, которая так осложняет жизнь каннибалов, а именно — с невозможностью использовать одну и ту же жертву несколько раз кряду. Стоило кому-нибудь провести некоторое время в обществе Балларда и его пса, и уж больше он никогда не садился на одну с ним скамейку.

Потому-то Баллард и его пес ежедневно отправлялись в парк на поиски новых жертв. В это утро им повезло, они сразу же наткнулись на этого незнакомца. Видно было, что он только что прибыл во Флориду.

— Да-а,— произнес Баллард примерно через час, подводя итог первой части своего повествования,— за свою жизнь я успел пять раз сколотить и потерять состояние.

— Это я уже слышал,— ответил незнакомец, имени которого Баллард так и не спросил.— Эй, потише, приятель, фу, фу, фу, слышишь? — сказал он псу, который все настойчивее добирался до его щиколоток.

— Два состояния на недвижности, два — на железном ломе, одно — на нефти и еще одно — на овощах.

— Охотно верю,— сказал незнакомец.— Простите, пожалуйста, вы не могли бы убраться куда-нибудь своего песика? Он все время...

— Он-то? — благодушно сказал Баллард.— Добрейшее существо в мире. Можете не бояться.

— Да я не боюсь. Просто у меня лопнет терпение, если он будет вот так принюхиваться к моим ногам.

— Пластик,— сказал Баллард и хихикнул.

— Что?

— Пластик. У вас там есть что-то пластмассовое, на

подвязках. Сам не знаю, в чем тут загвоздка, а только он разнюхает эту пластмассу где угодно — отыщет мельчайшую крошку. Витаминов ему не хватает, что ли, хотя, ей-богу, питается он лучше меня. Однажды слопал пластмассовую плевательницу — целиком.

Пес наконец-то обнаружил пластмассовые пуговицы на подвязках и, просовывая голову то справа, то слева, примериваясь, как бы лучше запустить зубы в это лакомство.

— Прощения,— вежливо сказал незнакомец. Он захлопнул книгу, встал и отдернул ногу от собачьей пасти.— Мне уже пора. Всего хорошего, сэр.

Он побрел по парку, отыскивал другую скамейку, опустился на нее и принялся за чтение. Дыхание его только-только успело прийти в норму, как вдруг собачий нос, мокрый, как губка, снова уткнулся ему в ноги.

— А, так это вы?— сказал Баллард, усаживаясь рядом.— Это он вас выследил. Вижу — он взял след, ну, думаю, пускай себе идет, куда хочет. Да, так что же это я вам говорил насчет пластика? — Он с довольным видом огляделся.— Правильно сделали, что перешли сюда. Там было душно. Ни тебе тени, ни ветерка.

— А может, он уберется, если я куплю ему плевательницу? — спросил незнакомец.

— Неплохо сказано, совсем неплохо сказано,— добродушно заметил Баллард. Внезапно он хлопнул незнакомца по коленке.— Эй-эй, а вы сами-то случайно не занимаетесь пластиком? Я тут, понимаете, разболтался о пластиках, и вдруг выходит, что это ваше прямое дело!

— Мое дело? — медленно произнес незнакомец, откладывая книгу.— Простите, я никогда не занимался делом. Я стал бездельником с девяти лет, с тех самых пор, как Эдисон устроил лабораторию в соседнем доме и показал мне анализатор интеллекта.

— Эдисон? — сказал Баллард.— Томас Эдисон, изобретатель?

— Можете считать его изобретателем, если угодно,— сказал незнакомец.

— То есть как это, «если угодно»? Только так, и не иначе! Он же отец электрической лампочки и бог знает чего еще!

— Можете считать, что он изобрел электрическую лампочку, раз вам так нравится. Это никому не повредит,— и незнакомец снова уткнулся в книгу.

— Эй, послушайте, вы меня разыгрываете, что ли? Какой это еще анализатор интеллекта? В жизни о таком не слышал.

— Еще бы! Мы с мистером Эдисоном поклялись держать все в тайне.

— А... этот самый... ну, анализатор интеллекта... Он что, анализировал интеллект?

— Нет, масло сбивал,— отвечал незнакомец.

— Ну послушайте, давайте серьезно...— стал уговаривать Баллард.

— А не лучше ли и вправду поделиться с кем-нибудь? — сказал незнакомец.— Тяжко носить в груди тайну, молчать долгие годы, без конца, год за годом. Но могу ли я быть уверен, что она не пойдет дальше?

— Слово джентльмена,— торопливо заверил его Баллард.

— Да, крепче слова, пожалуй, и не найдешь,— задумчиво сказал незнакомец.

— И не ищите,— сказал Баллард.— Полная гарантия, чтоб мне помереть на этом месте!

— Прекрасно,— незнакомец откинулся на спинку скамейки и прикрыл глаза, словно отправляясь в далекое путешествие во времени. Он безмолвствовал целую минуту, и Баллард почтительно ждал.— Это было давно, осенью тысяча восемьсот девяносто седьмого года, в поселке Мэнло Парк, в Нью-Джерси. Я был тогда девятилетним мальчишкой. Некий молодой человек — все считали, что он колдун, не иначе,— устроил лабораторию в соседнем доме: оттуда доносились то взрывы, то вспышки, и вообще там творилось что-то неладное. Я не сразу познакомился с самим Эдисоном, а вот его пес Спарки стал моим неразлучным спутником. Он был очень похож на вашего пса, этот Спарки, и мы с ним частенько носились друг за другом по всем дворам. Да, сэр, ваш пес — вылитый Спарки.

— Да что вы говорите! — Баллард был польщен.

— Святая правда,— отвечал незнакомец.— Так вот однажды мы со Спарки возились во дворе и как-то очутились у самой двери эдисоновской лаборатории. Не успел я опомниться, Спарки как турнет меня прямо в дверь, и — бамм! — я уже сижу на полу лаборатории, уставившись прямо на мистера Эдисона.

— Вот уж он разозлился, это точно! — сказал Баллард, просияв.

— Я перепугался до полусмерти — вот это уж точно. Я-то подумал, что попал в пасть к самому сатане. У него за ушами торчали какие-то проволочки, а спускались они к ящичку, что был у него на коленях! Я было рванул к двери, но он изловил меня за шиворот и усадил на стул.

— Мальчик,— сказал Эдисон.— Тьма гуще всего перед рассветом. Запомни это хорошенько.

— Да, сэр,— сказал я.

— Вот уже больше года,— поведал мне Эдисон,— я ищущ нить для лампочки накаливания. Волосы, струны, стружки — чего я только не перепробовал, и все впустую. Пытался думать о другом, решил заняться тут одной штукой — просто чтобы сравнить пар. Собрал вот это,— и он показал на небольшой чер-

ный ящичек.— Мне пришло в голову, что интеллект — всего лишь особый вид электричества, вот я и сделал этот анализатор интеллекта. И представляешь — действует! Ты первый это узнаешь, мой мальчик. А почему бы тебе не быть первым? В конце концов, именно твое поколение увидит грандиозную новую эру, когда людей можно будет сортировать проще, чем апельсины.

— Что-то не верится,— сказал Баллард.

— Разрази меня гром! — сказал незнакомец.— Прибор-то работал. Эдисон испытал его на своих коллегах, только не сказал им, что тут к чему. И чем умнее был человек — клянусь честью! — тем больше стрелка на шкале маленького черного ящичка отклонялась вправо. Я разрешил ему попробовать прибор на мне. Стрелка не сдвинулась с места, только задрожала. Но как бы я ни был глуп, именно в тот момент я в первый и единственный раз в жизни послужил человечеству. Как я уже говорил, с тех пор я пальцем о палец не ударил.

— Что же вы сделали? — взволнованно спросил Баллард.

— Я сказал: «Мистер Эдисон, сэр, а что если попробовать его на собаке?» Хотел бы я, чтобы вы своими глазами видели, какое представление закатила собака, как только я это сказал. Старина Спарки залаял, завыл и стал царапаться в дверь, чтобы выбраться вон. Когда же он смекнул, что мы не шутим и что выбраться ему не удастся, он бросился, как коршун, прямо к анализатору интеллекта и вышиб его из рук Эдисона. Но мы загнали его в угол, и Эдисон прижал его крепче, пока я присоединял проволочки к его ушам. И вот — хотите верьте, хотите нет, — стрелка прошла через всю шкалу, далеко за деление, отмеченное красным карандашом!

— Мистер Эдисон, сэр,— говорю я,— а что значит вон та красная черточка?

— Мой мальчик,— говорит Эдисон,— это значит, что прибор вышел из строя, потому что красная черточка — это я сам.

— Я так и знал, что прибор разбился! — сказал Баллард.

— Прибор был целехонек. Да, сэр, Эдисон проверил его — все точно, как в аптеке. Когда он сказал мне об этом, Спарки понял, что деваться ему некуда, струсил и выдал себя с головой.

— Это как же? — недоверчиво спросил Баллард.

— Понимаете, мы же были заперты накрепко — изнутри. На дверях было три запора: крючок с петлей, задвижка и обычный замок с ручкой. Так этот пес вскочил, сбросил крючок, отодвинул задвижку и уже вцепился зубами в ручку, когда Эдисон его схватил.

— Да что вы? — сказал Баллард.

— Так-так,— сказал Эдисон своему псу.— Лучший друг человека, а? Бессловесное животное, а?

Этот Спарки был настоящий конспиратор. Он принялся чесаться, выкусывать блох, рычать на крысиные норы — только бы не встретиться глазами с Эдисоном.

— Очень мило, а, Спарки? — сказал Эдисон. — Пускай другие лезут вон из кожи, добывают пищу, строят жилье, топят, убирают, а тебе только и дело, что валяться перед камином, гонять за сучками да лезть в драку с кобелями. Ни тебе закладных, ни политики, ни войны, ни работы, ни заботы. Стоит только помахать верным старым хвостом или руку лизнуть — и твоя жизнь обеспечена.

— Мистер Эдисон, — говорю, — вы что, хотите мне сказать, что собаки перехитрили людей?

— Перехитрили? Облапошили — и я об этом заявлю на весь мир! А я-то, чем я занимался целый год? Выкладывался, как раб, до последнего, лампочку изобретал, чтобы собакам было удобнее играть по вечерам!

— Послушайте, мистер Эдисон, — вдруг сказал Спарки...

— Хватит! — заорал Баллард.

— Молчать! — крикнул незнакомец. — Слушайте, мистер Эдисон, — сказал Спарки. — Почему бы нам не договориться? Давайте сохраним это дело в тайне — ведь уже не одну сотню тысяч лет все идет хорошо и все довольно. Зачем, как говорится, будить спящих псов? Вы обо всем забудете и уничтожите анализатор интеллекта, а я вам за это скажу, какую нить использовать в лампочке.

— Чушь собачья! — сказал Баллард, багровея.

Незнакомец встал.

— Даю вам честное слово джентльмена. Ведь этот пес и меня вознаградил за молчание: он подсказал мне биржевую операцию и обеспечил богатство и независимость на всю мою жизнь. Последние слова, которые произнес Спарки, были обращены к Тому Эдисону. «Попробуйте взять кусок обугленной хлопковой нити», — сказал он. Несколько минут спустя он был разорван на клочки стаей собак, которые собрались у дверей, — подслушивали.

Незнакомец снял свои подвязки и протянул их собаке Балларда.

— Вот, сэр, небольшой сувенир в знак уважения к вашему предку, которого сгубила неумеренная болтливость. Всего хорошего.

Он сунул книгу под мышку и пошел прочь.

ЛОЖЬ

Стояла ранняя весна. Неяркое солнце прохладно касалось серого, слежавшегося снега. Небо просвечивало сквозь ветви ивы, где пушистые барашки уже готовились брызнуть золотой дымкой цветения. Черный «роллс-ройс» несся по коннектикутскому шоссе из Нью-Йорка. За рулем сидел негр-шофер Бен Баркли.

— Не превышайте скорости, Бен,— сказал доктор Ремензель,— пусть эти ограничения и кажутся нелепыми, все равно надо их придерживаться. Спешить некуда — времени у вас предостаточно.

Бен сбавил скорость.

— Машине-то по весне будто самой невтерпеж, так и рвется вперед,— объяснил он.

— А вы старайтесь ее сдерживать,— сказал доктор.

— Слушаюсь, сэр! — сказал Бэн. И, понизив голос, заговорил с Эли Ремензелем, тринадцатилетним сыном доктора, который сидел с ним рядом: — Весне всякая тварь радуется — и человеки и звери,— сказал Бен.— Даже машине и той весело.

— Угу,— сказал Эли.

— Всем весело,— сказал Бен.— Небось и тебе тоже весело?

— Да, да,— бесцветным голосом сказал Эли.

— Еще бы! В такую школу едешь, в самую распрекрасную.

«Самая распрекрасная школа» называлась Уайтхилльской мужской школой. Это был частный интернат в Норс-Мартоне. Туда и направлялся «роллс-ройс». Надо было зачислить Эли на осенний семестр, а его отцу, окончившему эту же школу в 1939 году, принять участие в собрании попечительского совета школы.

— Сдается мне, что малому не так уж весело, доктор,— сказал Бен. Но говорил он это не всерьез. Просто весна располагала к бесцельной болтовне.

— Что с тобой, Эли? — рассеянно спросил доктор.

Он просматривал чертежи — план пристройки нового крыла в тридцать комнат к старому корпусу, носившему имя Эли Ремензеля,— в честь прапрадедушки доктора. Доктор Ремензель разложил планы на ореховом столике, прикрепленном к спинке переднего сиденья. Доктор был человек крупный, солидный, хороший врач, лечивший людей по призванию, а не ради денег, так как от рождения был богаче шаха персидского.

— Тебя что-то беспокоит? — спросил он Эли, не отрываясь от чертежей.

— Не-ее... — сказал Эли.

Сильвия, красивая мать Эли, сидела рядом с доктором и читала проспект Уайтхиллской школы.

— Будь я на твоём месте, — сказала она сыну, — я бы не знала, куда деваться от радости. Ведь начинаются лучшие годы твоей жизни — целых четыре года!

— Угу! — сказал Эли.

Он не обернулся к ней, и ей пришлось разговаривать с его затылком, с кошной жестких курчавых волос над белым крахмальным воротничком.

— Интересно, сколько Ремензелей училось в Уайтхилле? — спросила Сильвия.

— Это все равно, что спрашивать, сколько на кладбище покойников, — сказал доктор и сразу ответил и на старую шутку, и на вопрос Сильвии: — Все до одного!

— Нет, я спрашиваю: если бы сосчитать всех Ремензелей, которые там учились, каким по счету был бы Эли?

Вопрос явно не понравился доктору Ремензелю — что-то в нём было бестактное.

— Там счет вести не принято, — сказал он.

— Ну примерно, — настаивала Сильвия.

— О-о-о! — протянул он. — Пришлось бы просмотреть все списки с конца восемнадцатого века, чтобы сосчитать хоть приблизительно. Да еще надо решить, считать ли Ремензелями всех Шофилдгов, Гэйли, Маклелланов.

— А ты прикинь примерно, прошу тебя, — сказала Сильвия, — хотя бы сколько было настоящих Ремензелей?

— Ну, примерно человек тридцать. — И доктор, пожав плечами, снова зашуршал калькой.

— Значит, Эли будет тридцать первым! — сказала Сильвия, просияв от радости. — Слышишь, милый, ты — тридцать первый номер, — сказала она затылку сына.

Доктор Ремензель снова зашуршал калькой чертежей.

— Я вовсе не хочу, чтобы он, как осел, повторял всякую чушь, вроде того, что он, мол, тридцать первый Ремензель.

— Ну, он и сам понимает, — сказала Сильвия.

Она была бойкая женщина, честолюбивая, но из бедной семьи. После шестнадцати лет замужества она по-прежнему откровенно восхищалась семьями, где богатство переходило по наследству из поколения в поколение.

— Я вот что сделаю, — просто для себя, а вовсе не для того, чтобы Эли ходил и хвастался, — сказала Сильвия. — Пока ты будешь на собрании, а Эли в этой самой приемной комиссии или как она там называется, я пойду в архив и сама выясню, какой Эли по порядку.

— Отлично, — сказал доктор Ремензель, — походи и поищи.

— И пойду! — сказала Сильвия. — По-моему, это очень интересно, хотя ты и не согласен.

Она выжидательно замолчала, но возражений не последо-

вало. Сильвия очень любила показывать мужу, какая она непосредственная и какой он сдержанный, любила в конце спора говорить: «Ну что ж, наверное, я в душе прежняя сельская простушка, но какой я была, такой и останусь, придется тебе с этим примириться».

Но сейчас доктору Ремензелю было не до пререканий: он весь погрузился в план нового корпуса.

— А в новых комнатах будут каминьки? — спросила Сильвия. В старом общежитии во многих комнатах были очень красивые каминьки.

— Но это обошлось бы вдвое дороже, — заметил доктор.

— Хочу, чтобы у Эли, если можно, была комната с камином, — сказала Сильвия.

— Они для старшекласников.

— Ну, может, найдется ход...

— Это какой же «ход»? — сказал доктор. — По-твоему, я должен потребовать, чтобы Эли дали комнату с камином?

— Ну уж и потребовать... — сказала Сильвия.

— Настоятельно попросить, да? — сказал доктор.

— Может быть, я до сих пор в душе такая же простушка, — сказала Сильвия, — но вот смотрю я проспект, вижу, сколько зданий носит имя Ремензелей, смотрю дальше — сколько сотен тысяч долларов Ремензели пожертвовали на стипендии... Ну как тут не подумать, что человек, носящий это имя, должен пользоваться хоть какими-то, хотя бы самыми малюсенькими, привилегиями.

— Так вот, разреши тебе сказать совершенно определенно, — сказал доктор Ремензель, — ни в коем случае не вздумай просить для Эли каких-то поблажек, понимаешь, ни в коем случае!

— Я и не собираюсь, — сказала Сильвия. — И почему ты всегда думаешь, что я поставлю тебя в неловкое положение?

— Ничего подобного, — сказал доктор.

— Но разве мне нельзя думать, о чем хочу? — сказала Сильвия.

— Думай, пожалуйста, — сказал доктор.

— И буду! — сказала она весело, ничуть не смутившись, и наклонилась над чертежами. — Как по-твоему, этим людям понравятся их комнаты?

— Каким людям? — сказал он.

— Ну, этим африканцам, — объяснила она. Речь шла о тридцати мальчиках из Африки, которых по просьбе госдепартамента должны были в будущем семестре принять в Уайтхилл. Из-за них и расширяли общежитие.

— Специально для них комнат не будет, — сказал доктор. — Их отделять от других не собираются.

— Вот как! — сказала Сильвия и, немного подумав, спросила: — А может так случиться, что Эли попадет в комнату с одним из них?

— Новички тянут жребий — кого с кем поселят, — сказал

доктор.— В проспекте есть и эта информация.

— Эли! — окликнула сына Сильвия.

— М-мм? — промычал Эли.

— Как тебе понравится, если придется жить в одной комнате с каким-нибудь африканчиком?

Эли равнодушно пожал плечами.

— Тебе это ничего? — спросила Сильвия.

Эли опять дернул плечами.

— Наверно, ничего, — сказала Сильвия.

— То-то же, — сказал доктор.

«Роллс-ройс» поравнялся со старым «шевроле» — такой развалюхой, что задняя дверца была подвязана бельевой веревкой. Доктор Ремензель мимоходом взглянул на водителя и вдруг, обрадованный, взволнованный, крикнул своему шоферу:

— Не обгонять! — Перегнувшись через Сильвию, доктор открыл окно и закричал водителю «шевроле»: — Том! Эй! Том!

Это был старый товарищ доктора по Уайтхиллу. На нем был шарф уайтхиллских цветов, и он помахал этим шарфом в знак того, что узнал доктора Ремензеля. Потом, указывая на славного сынишку, сидевшего рядом, он знаками и жестами показал, что везет его в Уайтхилл.

Доктор Ремензель, расплывшись в улыбке, в свою очередь, кивнул на растрепанный затылок Эли, показывая, что и они едут туда же. В свисте ветра между машинами они ухитрились договориться, что позавтракают вместе в Холли-Хаузе — старинной гостинице, где обслуживали только посетителей Уайтхилла.

— Все! — сказал доктор Ремензель шоферу. — Поезжайте!

— Знаешь, — сказала Сильвия, — право же, кто-нибудь должен написать статейку... — Она обернулась, посмотрела в окно на старую машину, тарахтящую далеко позади: — Нет, правда, кому-то надо написать.

— О чем? — спросил доктор. Вдруг он заметил, что Эли, сгорбившись, почти сползает с сиденья. — Эли! Сядь прямо! — сказал он резко и снова обернулся к Сильвии.

— Обычно думают, что эти частные школы только для снобов, для богачей, — сказала Сильвия. — но ведь это неправда!

Она перелистала проспект и нашла нужную цитату.

— «Принцип школы Уайтхилл, — прочла она, — состоит в том, что даже если семья не в состоянии полностью оплатить обучение ученика в нашей школе, это не должно лишать ребенка возможности учиться. Поэтому приемная комиссия ежегодно выбирает примерно из трех тысяч желающих сто пятьдесят самых способных, самых талантливых мальчиков, даже если кто-нибудь из них не может внести две тысячи долларов за обучение. Тот, кто нуждается в финансовой поддержке, получает ее полностью. В некоторых случаях школа берет на себя заботу об одежде и оплату проезда для стипендиатов». — Сильвия тряхнула головкой: — По-моему, это просто поразительно! А многие даже не понимают, что сын какого-нибудь простого

шофера тоже может поступить в Уайтхилл.

— Если хватит способностей,— сказал доктор.

— И благодаря щедрости Ремензелей,— добавила Сильвия с гордостью.

— И многих других людей,— сказал доктор.

Сильвия снова стала читать вслух:

— «В 1799 году Эли Ремензель положил начало нынешнему фонду стипендий, пожертвовав школе сорок акров земли в Бостоне. Школа до сих пор владеет участком в двенадцать акров, который в настоящее время оценивается в три миллиона долларов».

— Эли! — сказал доктор.— Сядь же прямо! Что с тобой?

Эли выпрямился было, но тут же, почти соскальзывая с сиденья, уныло осел всем телом, как снеговик в адском пламени. По вполне уважительной причине ему хотелось съежиться, сжаться в комок, исчезнуть, умереть. Но он не мог заставить себя открыть родителям, что это за причина. Все дело было в том, что он знал: ни в какой Уайтхилл его не примут. Он провалился на вступительных экзаменах. А родители об этом не знали, потому что Эли нашел роковое извещение в почтовом ящике и порвал его в клочки.

Доктор Ремензель и его жена ни секунды не сомневались, что их сын будет принят в Уайтхилл. Им казалось невысказанным, что Эли туда не попадет, поэтому они даже не поинтересовались, как Эли сдал экзамены, и не удивлялись, что до сих пор не было никаких извещений.

— А что нашему Эли придется делать для зачисления? — спросила Сильвия, когда их черный «роллс-ройс» пересек границу Род-Айленда.

— Понятия не имею,— сказал доктор.— Кажется, у них там теперь всякие сложности, надо заполнять какие-то анкеты чуть не в четырех экземплярах, какие-то карточки — словом, бюрократизм. Да и вступительные экзамены тоже новшество. В мое время директор просто беседовал с мальчиком. Бывало, директор только взглянет на него, задаст два-три вопроса и скажет: «Для Уайтхилла подходит».

— А говорил он когда-нибудь «не подходит»?

— Ну как же, конечно,— сказал доктор Ремензель,— попадались ведь и безнадежные тупицы и всякое такое. Нужно же придерживаться какого-то уровня. Всегда так было. Вот сейчас эти африканцы тоже должны соответствовать определенному уровню, как и все остальные. Принимают их, конечно, потому, что госдепартамент желает установить дружеские связи с их странами. Но мы поставили свои условия. Они все тоже должны соответствовать определенному уровню.

— Ну и как? — спросила Сильвия.

— Как будто хорошо,— сказал доктор Ремензель.— Как будто их всех приняли, а ведь им пришлось сдавать те же экзамены, что и нашему Эли.

— Трудный был экзамен, милый? — спросила Сильвия сына. До сих пор ей и в голову не приходило задать ему этот вопрос.

— Угу, — сказал Эли.

— Что ты сказал? — переспросила она.

— Ага, — сказал Эли.

— Очень рада, что у них такие строгие требования, — сказала она, но тут же поняла, что так говорить глупо. — Да, конечно, у них требования очень высокие. Потому что школа так широко известна. Потому что те, кто ее кончат, отлично устраиваются в жизни.

И Сильвия снова погрузилась в чтение проспекта и развернула карту «Луга», как по традиции называли территорию Уайтхилла. Она перечитала названия всех мест, носящих имя Ремензелей: птичий заповедник имени Сэнфорда Ремензеля, каток имени Джорджа Маклеллана Ремензеля, общежитие имени Эли Ремензеля, а потом прочла вслух четверостишие, напечатанное в углу карты:

Когда весенний вечер
Окутает старый сад,
Уайтхилл, наш милый Уайтхилл,
Все мысли к тебе летят.

— Знаешь, — сказала Сильвия, — все-таки эти школьные гимны, когда их читаешь, чуть-чуть пошловаты. Но когда я слышу, как Клуб весельчаков поет эти слова, мне кажется, что на свете нет ничего прекраснее, даже плакать хочется.

— М-мм... — сказал доктор Ремензель.

— А кто автор — тоже кто-нибудь из Ремензелей?

— Не думаю, — сказал доктор. И вдруг вспомнил: — Погодика. Это же новая песенка. И написал ее вовсе не Ремензель. Том Хильер ее сочинил, вот кто.

— Тот самый, в старой машине, мы еще его обогнали?

— Ну да, — сказал доктор Ремензель. — Том ее и сочинил. Помню даже, как он ее сочинял.

— Значит, ее написал мальчик, который учился бесплатно? — сказала Сильвия. — Ну, как это мило! Ведь он учился на стипендию, верно?

— Да, отец у него был простым механиком в гараже.

— Слышишь, Эли, в какую демократическую школу ты поступаешь! — сказала Сильвия.

...Полчаса спустя Бен Баркли остановил машину у ХоллиХауза — старинной сельской гостиницы, которая была на двадцать лет старше американской республики. Гостиница стояла у самой территории Уайтхилла, башенки и крыши школьных зданий поднимались вдали над нетронутой зеленью птичьего заповедника имени Сэнфорда Ремензеля.

Бена Баркли отпустили с машиной на полтора часа. Доктор Ремензель провел Сильвию с Эли в знакомый зал — невысокие

потолки, оловянные кружки на полках, старинные часы, чудесная деревянная мебель, внимательная прислуга, изысканные блюда и напитки.

В ужасе от того, что его ожидало, Эли неуклюже толкнул локтем огромные стоячие часы, и они жалобно застонали.

Сильвия на минутку вышла. Доктор Ремензель с Эли остановились на пороге ресторана, где хозяйка поздоровалась с ними, называя их по имени. Их усадили за столик под портретом одного из трех воспитанников Уайтхилла, ставших президентами США.

Посетители вскоре наполнили ресторан. Пришли целые семейства, и в каждой семье был хотя бы один ровесник Эли. Многие мальчики — пожалуй, большинство из них — были в форме: уайтхиллский свитер, черный с голубыми кантами и эмблемой Уайтхилла на кармашке. Те, кому, как Эли, еще не полагалась форма, просто жили надеждой как можно скорее надеть ее по праву.

Доктор заказал себе мартини, потом обратился к сыну:

— Твоя мама, кажется, думает, что ты должен пользоваться тут особыми привилегиями. Надеюсь, ты сам так не считаешь?

— Нет, сэр, — сказал Эли.

— Мне было бы до чрезвычайности неловко, — сказал доктор Ремензель весьма высокопарным тоном, — если бы мне стало известно, что ты используешь фамилию Ремензель, полагая, что Ремензели — какие-то особые люди.

— Знаю, — сказал Эли с несчастным видом.

— Все ясно, — сказал доктор. Больше ему об этом говорить не стоило.

Он обменялся короткими приветствиями с входившими в зал знакомыми, раздумывая, для кого же накрыт длинный банкетный стол вдоль стены, и решил, что, наверно, ждут в гости спортивную команду. Вернулась Сильвия и резким шепотом напомнила Эли, что полагается вставать, когда дама подходит к столу.

Сильвию распирало от новостей. Оказывается, объяснила она, большой стол накрыт для тридцати приезжих африканцев.

— Уверена, что столько цветных здесь никогда не кормилось с тех пор, как основан Уайтхилл, — сказала она тихо. — До чего же быстро времена меняются!

— Ты права, что времена меняются быстро, — сказал доктор Ремензель, — но не права насчет того, что тут никогда не кормили столько цветных: ведь здесь проходил самый оживленный участок Подпольной Дороги*.

— Неужели? — сказала Сильвия. — Как интересно! — Она оглядывала помещение, вертя головкой, как птица. — Ах, здесь все так интересно! Хотелось бы только, чтобы и на Эли был форменный свитер!

* Подпольная Дорога — так назывался путь, по которому переправляли беглых рабов-негров с Юга в свободные Северные штаты.

Доктор Ремензель покраснел.

— Он еще не имеет права,— сказал он.

— Знаю, знаю,— сказала Сильвия.

— А я уже решил, что ты собираешься просить разрешения немедленно облачить Эли в форму,— сказал доктор.

— Все я не собираюсь.— Сильвия немного обиделась.— Почему ты всегда боишься, что я поставлю тебя в неловкое положение?

— Да нет же. Извини, пожалуйста. Не обращай внимания.

Сильвия сразу повеселела, положила руку на плечо Эли и, сияя улыбкой, посмотрела на посетителя, который только что остановился в дверях зала.

— Вот кто для меня самый дорогой человек на свете, кроме мужа и сына,— заявила она.

В дверях стоял доктор Дональд Уоррен, директор Уайтхиллской школы, худощавый джентльмен лет за шестьдесят — он проверял вместе с хозяином гостиницы, все ли готово к приему африканцев.

И тут Эли вдруг вскочил из-за стола и бросился вон из зала — лишь бы вырваться из этого кошмара, ударить поскорее подальше. Он резко рванулся мимо доктора Уоррена, хотя хорошо его знал и тот успел окликнуть его по имени. Доктор Уоррен грустно посмотрел ему вслед.

— Черт подери! — сказал доктор Ремензель. — Что это на него нашло?

— Может быть, ему стало дурно? — сказала Сильвия.

Но разбираться дальше Ремензелям не пришлось, потому что доктор Уоррен быстрым шагом подошел к их столику. Он поздоровался с ними, явно смущенный поведением Эли, и спросил, нельзя ли ему подсесть к ним.

— Конечно, еще бы! — радушно воскликнул доктор Ремензель. — Будем польщены, милости просим!

— Нет, завтракать я не буду,— сказал доктор Уоррен. — Мое место там, за большим столом, с новыми учениками. Хотелось бы с вами поговорить. — Увидав, что стол накрыт на пятерых, он спросил: — Кого-нибудь ждете?

— Встретили по дороге Тома Хильера с сыном, они скоро подъедут.

— Отлично, отлично,— сказал доктор Уоррен рассеянно. Ему, как видно, было не по себе, и он опять посмотрел на дверь, куда убежал Эли.

— Сын Тома попал в Уайтхилл? — спросил доктор Ремензель.

— Как? — переспросил доктор Уоррен. — Ах да, да. Да, он поступил к нам.

— А он тоже будет на стипендии, как и его отец? — спросила Сильвия.

— Не очень тактичный вопрос! — строго сказал доктор Ремензель.

— Ах, простите, простите!

— Нет, нет, в наше время вполне законный,— сказал доктор Уоррен.— Теперь мы из этого никакой тайны не делаем. Мы гордимся нашими стипендиатами, да и они имеют все основания гордиться своими успехами. Сын Тома получил самые лучшие отметки на вступительном экзамене — таких высоких оценок у нас никогда и никто не получал. Мы чрезвычайно гордимся, что он будет нашим учеником.

— А ведь мы так и не знаем, какие отметки у Эли,— сказал доктор Ремензель. Сказал он это очень добродушно, словно заранее примирившись с мыслью, что особых успехов от Эли ожидать нечего.

— Наверно, вполне приемлемые, хоть и посредственные,— сказала Сильвия. Этот вывод она сделала из отметок Эли в начальной школе, весьма посредственных, а то и совсем плохих.

Директор удивленно посмотрел на них.

— Разве я вам не сообщил его отметки? — сказал он.

— Но мы с вами не виделись после экзаменов,— сказал доктор Ремензель.

— А мое письмо...— начал доктор Уоррен.

— Какое письмо? — спросил доктор Ремензель.— Разве нам послали письмо?

— Да, я вам написал,— сказал доктор Уоррен.— И мне еще никогда не было так трудно писать...

Сильвия покачала головой:

— Но мы никакого письма от вас не получали.

Доктор Уоррен привстал — вид у него был очень расстроенный.

— Но я сам опустил это письмо,— сказал он.— Сам отослал две недели назад.

Доктор Ремензель пожал плечами:

— Обычно почта США писем не теряет, но, конечно, иногда могут послать не по адресу.

Доктор Уоррен сжал голову руками.

— Вот беда... Ах ты, боже мой, ну как же так...— сказал он.— Я и то удивился, когда увидел Эли. Вот не думал, что он захочет приехать с вами.

— Но он же не просто приехал любоваться природой,— сказал доктор Ремензель,— он приехал зачисляться в школу.

— Я хочу знать, что было в письме,— сказала Сильвия.

Доктор Уоррен поднял голову, сложил руки:

— Вот что было написано в письме, и мне еще никогда не было так трудно писать: *«На основании отметок начальной школы и оценок на вступительных экзаменах должен вам сообщить, что для вашего сына и моего доброго знакомого, Эли, нагрузка, которая требуется для учеников Уайтхилла, будет совершенно непосильной.»* — Голос доктора Уоррена окреп, глаза посуровели: — *Принять Эли в Уайтхилл и ожидать, что он справится с уайтхилльской программой, будет не только невозможно, но и жестоко по отношению к мальчику».*

Тридцать африканских юношей в сопровождении нескольких преподавателей, чиновников госдепартамента и дипломатов из их стран гуськом прошли в зал.

А тут и Том Хильер с сыном, даже не подозревая, как худо сейчас Ремензелям, подошли к столику и поздоровались с доктором Уорреном и с родителями Эли так весело, будто ничего плохого в жизни и быть не может.

— Мы с вами еще поговорим, если хотите,— сказал доктор Уоррен, вставая,— но попожте, а сейчас мне надо идти.— И он торопливо пошел прочь.

— Ничего не понимаю,— сказала Сильвия.— Совершенно ничего не понимаю.

Том Хильер с сыном уселись за стол. Том взглянул на меню, хлопнул в ладоши и сказал:

— Ну, что тут хорошенького? Здорово я проголодался! — И добавил: — Слушайте, а где же ваш мальчик?

— Вышел на минутку,— ровным голосом сказал доктор Ремензель.

— Надо его поискать,— сказала Сильвия мужу.

— Погодя, немного погодя,— ответил доктор Ремензель.

— А письмо! — сказала Сильвия.— Эли знал про письмо. Он его прочел и порвал. Конечно, порвал! — И она заплакала, представив себе, в какую чудовищную ловушку Эли сам себя загнал.

— Сейчас меня абсолютно не интересует, что сделал Эли,— сказал доктор Ремензель.— Сейчас меня гораздо больше интересует, что сделают другие люди.

— Ты о чем? — удивилась Сильвия.

Доктор Ремензель встал, внушительный, сердитый, готовый к отпору.

— О том, что я сейчас проверю, насколько быстро можно заставить некоторых людей тут, в Уайтхилле, переменить решение,— сказал он.

— Прошу тебя,— сказала Сильвия, стараясь его удержать, успокоить,— прежде всего нам нужно найти Эли. Сейчас же!

— Прежде всего,— прогремел доктор Ремензель,— нам нужно, чтобы Эли был принят в Уайтхилл. А потом мы его отыщем и приведем сюда.

— Но, милый...— начала было Сильвия.

— Никаких «но»! — сказал доктор Ремензель.— В данный момент тут, в зале, находится большинство членов попечительского совета. Все они — мои ближайшие друзья или друзья моего отца. Если они велют доктору Уоррену принять Эли, он будет принят. Раз тут у них есть место для вон тех типов, так уж для Эли, черт побери, место найдется!

Широким шагом он подошел к ближайшему столику и стал что-то говорить могучему старцу свирепого вида, который завтракал в одиночестве. Старик был председателем попечительского совета.

Сильвия извинилась перед растерянными Хильерами и пошла искать Эли.

Расспросив разных людей, Сильвия наконец нашла сына. Он сидел в саду один, на скамье под кустами сирени — на них уже набухали почки.

Услышав шаги матери по хрусткому гравию дорожки, Эли не тронулся с места, готовый ко всему.

— Узнали? — сказал он. — Или надо еще объяснить?

— Про тебя? — сказала она мягко. — Про то, что ты не попал? Доктор Уоррен нам все рассказал.

— Я порвал его письмо, — сказал Эли.

— Я тебя понимаю, — сказала она. — Слишком долго мы с отцом уверяли тебя, что твое место в Уайтхилле, иначе и быть не могло.

— Фу, легче стало! — сказал Эли. Он попытался улыбнуться и оказалось, что это не так трудно. — Честное слово, стало легче, раз уж все открылось. Хотел вам рассказать, все начинал, а потом духу не хватило. Не знал, как подступиться.

— Это я виновата, а не ты, — сказала Сильвия.

— А что делает отец?

Сильвия так старалась успокоить Эли, что совершенно забыла, чем там занимается муж. И вдруг поняла, что доктор Ремензель делает чудовищную ошибку. Она вовсе не хотела, чтобы Эли приняли в Уайтхилл, она сразу поняла, какая жестокость — отдавать его сюда.

Но она не решалась рассказать сыну, что именно затеял его отец, и только сказала:

— Он сейчас вернется, милый. Он все понимает. — И добавила: — Ты тут посиди, а я его найду и сейчас же вернусь.

Но ей не пришлось идти за доктором Ремензелем. В эту минуту в дверях показалась его высокая фигура: доктор увидал жену и сына в саду. Он подошел к ним. Вид у него был совершенно подавленный.

— Ну как? — спросила жена.

— Они... Они все отказали, — сдавленным голосом сказал он.

— Вот и хорошо! — сказала Сильвия. — Гора с плеч. Честное слово!

— Кто отказал? — спросил Эли. — Кто в чем отказал?

— Члены совета, — сказал доктор, отводя глаза. — Я просил их сделать для тебя исключение — изменить решение и принять тебя в школу.

Эли вскочил, сразу вспыхнув от стыда, от возмущения.

— Ты... ты что? — Голос его звучал совсем не по-мальчишески — он был вне себя. — Ты не должен был просить! — крикнул он отцу.

Доктор Ремензель покорно кивнул:

— Они тоже так сказали...

— Это неприлично! — сказал Эли. — Какой ужас! Как ты мог!

— Ты прав, — сказал доктор Ремензель, покорно принимая упреки.

— Теперь мне за тебя стыдно! — сказал Эли и видно было, что он говорит правду.

Доктор Ремензель чувствовал себя глубоко несчастным и не знал, какие найти слова.

— Прошу прощения у вас обоих, — сказал он наконец. — Очень нехорошо вышло, нельзя было даже пытаться...

— Значит, Ремензель все-таки попросил для себя поблажки! — сказал Эли.

— Наверно, Бен еще не привел машину, — сказал доктор, хотя это было и так вполне ясно. — Давайте подождем здесь. Не хочу туда возвращаться.

— Ремензель просил лично для себя, как будто эти Ремензели что-то особенное! — сказал Эли.

— Не думаю... — начал было доктор Ремензель, но конец фразы так и повис в воздухе.

— Не думаешь чего? — переспросила Сильвия.

— Не думаю, — сказал Ремензель, — что мы еще когда-нибудь сюда приедем.

А кто я теперь?

«Клуб Парика и Маски» — наш любительский театральный кружок в Северном Кроуфорде — единогласно решил поставить этой весной «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса. Дорис Сойер у нас всегда была за режиссера, но на этот раз заявила, что ничего не получится — у нее серьезно больна мать.

Вот и вышло, что эту руководящую должность навязали мне, хотя до сих пор мне приходилось руководить только рабочими, устанавливающими комбинированные алюминиевые рамы со ставнями, которые я продавал.

Конечно, я поставил кое-какие условия, когда брался за режиссерскую работу, и самое главное, что Гарри Нэш — единственный стоящий актер в нашем кружке — взял ту роль, которую в кино играл Марлон Брандо. Когда распределяли роли, Гарри отсутствовал, и я не знал, возьмется он за эту роль или нет. Он вообще никогда не приходил на наши собрания. Стеснялся. Не то чтобы он пропускал собрания из-за каких-то там дел. Женат он не был и вообще с женщинами не знался — да и среди мужчин у него друзей не было. Просто он избегал всяких сборищ по одной причине: он не мог двух слов связать без готового текста.

Так что пришлось мне на другой день тащиться в скобяную лавку Миллера — Гарри у него работает продавцом — и просить его согласия. По дороге я заглянул на телефонную станцию — они мне прислали счет за разговор с Гонолулу, а я в жизни своей не звонил в Гонолулу.

Там я и увидел эту красавицу в первый раз. Она сидела за окошечком. И она мне объяснила, что телефонная компания поставила машину-автомат для выписывания счетов, но пока эту машину не отладили как следует и она что-то пошаливает. Она приехала недавно — привезла эту машину и должна была обучить местных девушек с ней управляться.

— А вы к нам надолго? — спросил я.

— В каждом городе я живу месяца по два, сэр.

Глаза у нее были синие, прелестные глаза, только ни надежды, ни любопытства в них не было, ни проблеска. Она мне сказала, что так вот и странствует из города в город уже два года — всегда и всем чужая.

И тут мне пришло в голову, что ведь она может сыграть Стеллу в нашей пьесе. Стелла — это жена того типа, которого играет Марлон Брандо, жена человека, чью роль я хотел пору-

¹ Печатается по изданию: журнал «Ровесник», 1973, № 1.

чить Гарри Нэшу. Я объяснил ей, когда и где у нас назначены актерские пробы, и прибавил, что своим приходом она осчастливит наш коллектив.

Она так удивилась, что даже немного ожила.

— Знаете, ведь мне первый раз в жизни предлагают принять участие в каком-то общем деле.

— Что же,— сказал я,— лучший способ сразу познакомиться со славными людьми — это сыграть с ними в одной пьесе.

Она сказала, что ее зовут Элен Шоу. Сказала, что сделает сюрприз мне и себе самой. Может, просто возьмет да и придет.

Вы, наверно, думаете, что Гарри Нэш уже оскомину набил всему Северному Кроуфорду, играя чуть ли не в каждой пьесе. Совсем наоборот: не исключено, что Северный Кроуфорд до скончания веков будет с удовольствием смотреть на Гарри Нэша, потому что на сцене он никогда не был Гарри Нэшем. Когда в спортивном зале средней школы взвизвался вверх малиновый занавес, Гарри и телом и душой превращался в того человека, которого выдумал и создал режиссер.

Как-то кто-то заметил, что надо бы Гарри показаться психиатру: пора бы ему стать более интересным, ярким и в жизни — тогда он, по крайней мере, хоть женится, а может, и работу себе подыщет получше, чем у Миллера за пятьдесят долларов в неделю.

Когда я зашел к Миллеру и сказал Гарри, что меня назначили режиссером и я хочу дать ему роль, он спросил, как обычно, когда ему кто-нибудь предлагал роль, и по правде сказать, это был грустноватый вопрос:

— А кто я теперь?

Актерские пробы я проводил, как всегда, в зале собраний на втором этаже нашей Публичной библиотеки. Дорис Сойер — наш постоянный режиссер — пришла поделиться со мной своим богатым опытом. Мы с ней вдвоем важно восседали наверху, а те, кто претендовал на роли, ждали внизу.

Чтобы доставить удовольствие Гарри — да и самим себе тоже,— мы попросили его читать сцену, где он бьет свою жену. И он так за это взялся, что мы будто увидели новую сцену, которой у Теннесси Уильямса и в помине не было. На Гарри был коротенький двубортный пиджачок, как у выпускника средней школы, со складочкой на спине, и крохотный галстучек красного цвета с лошадиной головкой. Он снял пиджак и галстук, растегнул воротник, повернулся спиной к нам с Дорис — это он накачивал себя, чтобы войти в роль. И рубашка на спине у него лопнула — хотя с виду она была совершенно новая. Это он ее нарочно порвал, чтобы с самого начала еще больше походить на Марлона Брандо.

Когда он обернулся к нам, это уже был широкоплечий красавец, самоуверенный и жестокий. Дорис подавала реплики за

Стеллу, его жену, и Гарри так ее закрутил, что эта очень-очень старенькая леди почувствовала себя очаровательной беременной девчонкой, чей муж, необузданный, как горилла, вот-вот расшибет ей голову. А с нее это и на меня перекинулось. Я читал за Бланш — по пьесе это сестра Стеллы, — и провалиться мне, если Гарри не нагнал на меня такого страха, что мне показалось, будто я сам стал пьяненькой и увядшей красавицей южанкой.

И пока мы с Дорис приходили в себя, словно просыпаясь после наркоза, Гарри положил на стол пьесу, натянул пиджачок и снова превратился в бледного продавца из скобяной лавки.

— Ну как... как я, справился? — спросил он, и сразу было видно, что он вовсе не уверен, дадут ему эту роль или нет.

— Что ж, — сказал я. — Для первого раза не так уж плохо.

— Спасибо! Большое спасибо, — сказал он, пожимая мне руку.

— Скажите, вы там, внизу, не видели красивую девушку, новенькую? — спросил я. Я ждал Элен Шоу.

— Не заметил, — сказал Гарри.

Но оказалось, что Элен Шоу пришла-таки на репетицию и вдребезги разбила наши с Дорис надежды. Мы мечтали, что наш «Клуб Парика и Маски» в кои-то веки выпустит на сцену по-настоящему красивую, взаправду молодую девушку вместо очередной выдавшей вида сорокалетней особы, которую приходится всеми правдами и неправдами выдавать за девчонку.

Но Элен Шоу играть не могла даже под страхом смерти. Что бы мы ей ни давали читать, она оставалась той же барышней, с той же самой улыбкой наготове для каждого, кто придет жаловаться на телефонные счета.

— Милая, — сказала Дорис, — я хочу задать вам один интимный вопрос.

— Пожалуйста, — сказала Элен.

— Вы когда-нибудь были влюблены? — спросила Дорис. — Я только потому спрашиваю, — добавила она, — что воспоминание о любви могло бы вас согреть, оживить...

Элен сдвинула брови и глубоко задумалась.

— Вы знаете, я ведь все время в разъездах. И там, где я бываю по службе, все мужчины уже женаты, а я нигде не задерживаюсь надолго и ни с кем другим познакомиться не успеваю.

— Ну а в школе? — спросила Дорис. — Разные там обожатели и детские влюбленности, а?

Элен и над этим вопросом глубоко задумалась и сказала:

— А мне и в школе приходилось то и дело переезжать. Папа у меня строитель, он все время ездил со стройки на стройку, так что я то с кем-то здоровалась, то прощалась — и все.

— Да-а, — сказала Дорис.

— А кинозвезды не в счет? — спросила Элен. — Нет, конечно, не взаправду. Я никого не видела — только на экране...

Дорис взглянула на меня, потом на потолок.

— Да-а, пожалуй, можно считать, что это тоже любовь.

Тут Элен несколько оживилась:

— Я по многу раз смотрела фильмы про любовь и мечтала, что выхожу замуж за героя.

— Угу,— сказала Дорис.

— Большое спасибо, мисс Шоу,— сказал я.— Пройдите вниз и подождите вместе со всеми. Мы вас вызовем.

Пришлось искать другую Стеллу. Но не было такой — просто не было в нашем клубе ни одной такой женщины, с которой бы жизнь не стряхнула утреннюю росу. Я вздохнул:

— Одна сплошная Бланш! — то есть я хотел сказать, что у нас полно увядших женщин, которые могут сыграть роль Бланш, потрепанной сестры Стеллы.— Такова жизнь: двадцать Бланш на одну Стеллу.

— А когда находишь Стеллу,— сказала Дорис,— обнаруживается, что она понятия не имеет о любви.

Мы с Дорис решили, что надо попробовать последнее средство. Надо заставить Гарри Нэша сыграть эту сцену с Элен.

— Может, он сумеет зажечь ее хоть чуть-чуть,— сказал я.

— Эта девушка — негорючий материал,— ответила Дорис.

Мы крикнули Элен, чтобы она поднялась к нам, и послали кого-то разыскивать Гарри. На пробах — и даже на репетициях — Гарри никогда не оставался со всеми. Как только кончались его реплики, он мгновенно скрывался в какое-нибудь убежище, откуда ему было слышно, если позовут.

Элен поднялась к нам наверх, и тут мы с удивлением увидели, что она вся в слезах,— стало ужасно ее жалко.

— Господи,— сказала Дорис,— да что же это, милочка, что случилось?

— Ужасно, правда? — сказала Элен, не поднимая головы.

Дорис ответила единственной фразой, которой утешают в таких случаях расстроенных актеров-любителей:

— Ну что вы, дорогая, вы... вы чудесно сыграли.

— Ничего подобного,— сказала Элен.— Я ходячий холодильник, сама знаю.— Она расплакалась еще горше.— А что я могу поделать, если у меня такая жизнь? Я только и знала, что мечтать о кинозвездах, как идиотка. А когда я встречаю славного человека в жизни, я вдруг чувствую, словно меня посадили под стеклянный колпак, и, как бы я ни рвалась, мне даже и дотянуться до этого человека нельзя.

И Элен оттолкнула что-то, словно и вправду ее окружал стеклянный колпак.

По лестнице кто-то гулко затопал. Похоже было, что водолаз выбирается из бездны в своих ботинках, подкованных свинцом. Это Гарри Нэш на ходу превращался в Марлона Брандо. Вот он показался в дверях — руки у него свисали чуть не до самого пола. Он уже настолько вошел в роль, что при виде плачущей женщины презрительно скривил губы.

— Гарри, познакомьтесь, пожалуйста,— сказал я,— это Элен Шоу. Элен — Гарри Нэш. Если вы будете играть Стеллу, он будет вашим мужем.

Гарри и не подумал пожать ей руку. Он сунул руки в карманы, набычился и окинул ее с ног до головы таким взглядом, будто сразу содрал с нее всю одежду. Слезы у нее высохли в мгновение ока.

— Хотелось бы, чтобы вы сыграли сцену ссоры,— сказал я.— А потом — сцену примирения.

— Идет,— сказал Гарри, не спуская глаз с Элен. От этого взгляда одежда на ней испарялась так быстро, что она и прикрыться не успевала.— Идет, если Стелл не будет ломаться.

— Что? — сказала Элен. Она стала красная, как помидор.

— Стелл — Стелла,— бросил Гарри.— Это вы — Стелл, моя жена.

Я раздал им тексты. Гарри выхватил у меня роль и «спасибо» не сказал. У Элен руки что-то не слушались, и мне пришлось вложить тетрадь в ее онемевшие пальцы.

— Что тут можно выбросить? — спросил Гарри.

— Что? — я не понял.

— Тут в одном месте написано, что я выбрасываю из окна приемник,— сказал Гарри.— Что бросать?

Я сказал, что приемником будет железное пресс-папье, и открыл окно пошире. Элен Шоу перепугалась до смерти.

— Откуда начинать? — спросил Гарри, повел плечами, и мышцы у него заходили ходуном, как у боксера, разминающегося перед боем.

— Начните на несколько реплик раньше того места, где вы бросаете приемник,— сказал я.

— О-кэй, о-кэй,— сказал Гарри, а сам все раскалялся, раскалялся. Он пробежал глазами ремарки.— Так-так,— сказал он.— Я выброшу приемник, она побежит за сцену, я ее догоню и врежу ей разок.

— Верно,— сказал я.

— О-кэй, детка,— сказал он Элен, и глаза у него сузились в щелки.— На старт! Внимание, крошка! Пошли!

Когда сцена кончилась, Элен Шоу была вся в поту, как портовый грузчик, и обмякла, как угорь без воды. Она села, приоткрыв рот, и голова у нее свесилась набок. Разлетелся вдребезги тот стеклянный колпак, под которым она чувствовала себя в целостности и сохранности. Какой там колпак!

— Даешь роль или нет? — зарычал на меня Гарри.

— Даю,— сказал я.

— Давно бы так,— проворчал он.— Ну, я пошел... До скорого, Стелла,— бросил он Элен и вышел, изо всех сил грохнув дверью.

— Элен? — позвал я.— Мисс Шоу?..

— М-м? — сказала она.

— Вы будете играть Стеллу,— сказал я.— Это грандиозно!

— Да? — сказала она.

— Не знала, что в вас столько огня, милочка,— сказала Дорис.

— Огня? — повторила Элен. По-моему, она еще не сообразала, что под ней — стул или мустанг.

— Ракета! Фейерверк! Ведьмино колесо! — сказала Дорис.

И вот мы начали репетировать по четыре раза в неделю. В первую же репетицию Гарри с Элен задали такой темп, что измотали всех участников, хотя те были увлечены как никогда. Обычно режиссер ходит и умоляет всех учить роли, но мне об этом заботиться не приходилось. Гарри и Элен работали так здорово, что все остальные считали делом чести и совести подержать их, и старались всюю.

Мне здорово повезло — по крайней мере, я так считал. Все шло блестяще, с такой отдачей и накалом, что как-то мне пришлось сказать Гарри и Элен после одной любовной сцены:

— Знаете, оставьте хоть немного про запас. А то вы оба до премьеры не дотянете, понятно?

Я это сказал на четвертой или пятой репетиции, и рядом со мной в зале сидела Лидия Миллер — она играла Бланш, увядшую сестрицу. В жизни она была женой Верна Миллера. Верн — владелец миллеровских скобяных лавок и хозяин Гарри.

— Лидия, — спросил я. — Ну как, есть спектакль?

— Спектакль-то есть, это точно, — ответила она. Но она сказала это с таким выражением, будто я натворил бог знает чего, будто я ужасный преступник. — Можете гордиться.

— Что вы хотите сказать? — спросил я. Мне-то казалось, что я вправе радоваться и гордиться. — Разве что-то происходит за моей спиной?

— А вы не заметили, что эта девушка влюблена в Гарри?

— По пьесе? — спросил я.

— Причем тут пьеса! — сказала Лидия. — Вы только посмотрите на нее — сейчас-то никакого спектакля нет. — Она невесело усмехнулась. — Эту пьесу ставите вовсе не вы.

— А кто же? — спросил я.

— Мать-природа, и она уж спуску не даст, — сказала Лидия. — Только подумать, что станется с бедной девочкой, когда она поймет, какой Гарри на самом деле. — Но она сразу же поправила себя: — То есть поймет, что он — никакой.

Я вмешиваться не стал — решил, что не мое это дело. Я слышал, как будто Лидия пыталась что-то предпринять, только ничего у нее не вышло.

— Знаете, — сказала Лидия Элен однажды вечером, — я как-то играла Энн Рутледж, а Гарри был Авраамом Линкольном. Элен всплеснула руками.

— Это был рай, да?

— Более или менее, — сказала Лидия. — Порой я настолько увлекалась, что любила Гарри так, как Энн должна была любить Авраама Линкольна. Приходилось себя одергивать, вспоминать, что Гарри никогда в жизни не будет освобождать рабов и что он всего-навсего продавец в лавке моего мужа.

— Он самый изумительный человек на свете, — сказала

Элен.— Я никогда таких не встречала.

— Но, конечно, когда играешь вместе с Гарри, нужно заранее быть готовой к тому, что случится после окончания последнего спектакля,— сказала Лидия.

— О чем вы говорите? — спросила Элен.

— Когда представление окончено,— сказала Лидия,— то все, что вы там себе ни выдумали про Гарри,— все исчезает как сон.

— Не верю,— сказала Элен.

— Знаю, что поверить трудно,— согласилась Лидия.

Тут Элен вдруг обиделась.

— А зачем вы это рассказываете мне? — спросила она.— Даже если это чистая правда, мне-то какое дело?

— Я... я не знаю,— Лидия явно пошла на попятный.— Мне... просто показалось, что вам это будет интересно.

— Ни капельки,— сказала Элен.

И вот подошла премьера. Мы показывали спектакль три вечера подряд — в четверг, пятницу и субботу, и все зрители были прямо-таки сражены наповал. Они ловили каждое слово, верили всему, что происходило на сцене, и когда малиновый занавес пошел вниз, их можно было тепленькими везти в желтый дом следом за Бланш, увядшей сестрицей.

В четверг девушки из телефонной компании прислали Элен двенадцать алых роз. Элен вышла на вызовы к краю сцены, взяла розы и выбрала одну — для Гарри. Но когда она обернулась и протянула ему розу, Гарри уже исчез. Это была дополнительная сценка под занавес — девушка, протягивающая розу никому, в никуда.

Я пробежал за кулисы, отыскал ее — она все еще сжимала в руке эту розу. Букет она куда-то забросила. В глазах у нее стояли слезы.

— Что я ему сделала? — спросила она меня.— Разве я его чем-нибудь обидела?

— Да нет,— сказал я.— Это у него такая манера. Как только спектакль кончается, Гарри удирает со всех ног.

— А завтра он тоже исчезнет?

— Не снимая грима.

— И в субботу? — спросила она.— Он же должен остаться на банкет — банкет ведь для всей труппы?

— Гарри в жизни не ходил на банкеты,— сказал я.— После того, как дадут занавес в субботу, никто не увидит Гарри до понедельника, когда он придет на работу в свою лавку.

— Какая жалость! — сказала она.

В пятницу Элен играла намного хуже, чем в четверг. Видно было, что она думает о чем-то другом. Она видела, как Гарри убежал после поклонов. И не сказала ни слова.

Зато в субботу она превзошла самое себя. Как правило, темп задавал Гарри. Но в субботу ему пришлось поднажать, чтобы угнаться за Элен.

Когда занавес опустился после всех вызовов, Гарри собирался

смыться, но ничего не вышло. Элен не отпускала его руку.

— Ну, мне пора идти,— пробормотал он.

— Куда? — спросила Элен.

— Э-э... домой,— сказал он.

— Прошу вас, пожалуйста, пойдите со мной на банкет,— сказала Элен.

Гарри ужасно покраснел.

— Боюсь, что для банкетов я не гожусь,— сказал он.

Куда девался Марлон Брандо! Язык его не слушался, сам он стал робким и перепуганным — словом, он стал тем Гарри, каким всегда был в промежутках между пьесами,— и это знал весь город.

— Хорошо,— сказала она.— Я вас отпущу. Но сначала дайте мне одно обещание.

— Какое? — спросил он, и я подумал, что если она сейчас отпустит его руку, он выскочит в окно.

— Я хочу, чтобы вы обещали подождать здесь, пока я принесу вам подарок.

— Подарок? — повторил он, окончательно впадая в панику.

Он дал слово. Без этого она бы не отпустила его руку. И он с несчастным видом стоял на месте, пока Элен ходила в примерную за подарком. Пока он дожидался, все подходили и подходили к нему, повторяя, что он замечательный актер. Но поздравления его не радовали. Он хотел одного — выбраться отсюда, и поскорее.

Элен вернулась с подарком. Она принесла маленькую синюю книжечку с широкой алой лентой вместо закладки. Это был Шекспир — «Ромео и Джульетта». Гарри не знал, куда деваться. Ему удалось выдать из себя только «спасибо».

— Я тут отметила мою любимую сцену,— сказала Элен.

— М-м-м,— сказал Гарри.

— Вы не хотите посмотреть, какую сцену я больше всего люблю? — спросила она.

Пришлось Гарри открыть книжку там, где была алая лента. Элен подошла к нему совсем близко и прочла слова Джульетты: «— Зачем ты здесь и как сюда проник? Ограда неприступно высока, за ней же — смерть, коль кто-то из родных тебя узнает».

Она показала на следующую строчку:

— Ну-ка, взгляните, что отвечает Ромео.

«— Крылатая любовь перенесла меня через ограду,— громко прочел он своим обычным, будничным голосом. Но вдруг он весь преобразился: — Для любви нет стен неодолимых; любовь — всегда дерзанье, и она преград не знает. Всей твоей родне меня не удержать», — прочел он и выпрямился и стал на восемь лет моложе, стал смелым и радостным.

«— Но если они тебя увидят — то убьют», — сказала Элен и потихоньку повела его за кулисы.

«— Увы! Твои глаза опасней сотни шпаг», — сказал Гарри.

Элен повела его к служебному выходу.

«— Взгляни поласковой, и все враги на свете со мной не сладят»,— сказал Гари.

«— Я все бы отдала, чтобы они тебя не увидали»,— сказала Элен, и это были последние слова, которые до нас донеслись.

На банкет они не пришли. Через неделю они поженились.

Видно было, что они очень счастливы, хотя по временам про-скальзывало что-то странное — все зависело от пьесы, которую они читали вместе в это время. Как-то я зашел в телефонную контору — машина опять выписывала идиотские счета. Я спросил Элен, какие пьесы они с Гарри читали в последнее время.

— На этой неделе я была замужем за Отелло, меня любил Фауст и похищал Парис. Скажите, разве я не самая счастливая женщина на свете?

Я сказал, что тоже так думаю и что большинство девушек в нашем городе думают то же самое.

— Им никто не мешал,— сказала она.

— Многие не вынесли бы остроты ощущений,— сказал я. Потом добавил, что меня просили поставить еще одну пьесу. Я спросил, можно ли пригласить ее и Гарри. Она ослепительно улыбнулась и спросила:

— А кто мы теперь?

Долгая прогулка- навсегда

Они выросли по соседству, их домики стояли рядом, на окраине города, среди полей, лесов и садов, а за ними виднелась чудесная колоколенка на старинном здании школы для слепых.

Теперь им исполнилось по двадцать лет, и они не виделись целый год. Их отношения всегда были полны веселой товарищеской теплоты, но они никогда не говорили о любви.

Его звали Ньют. Ее — Катарина. Ранним вечером Ньют постучал в двери Катарины.

Катарина вышла на крыльцо. В руках у нее был толстый глянцеви́тый журнал — она только что его читала. Весь журнал был посвящен исключительно невестам.

— Ньют,— сказала она. Она очень удивилась, увидев его на пороге.

— Можешь пойти со мной погулять? — спросил он. Человек он был застенчивый, даже с Катариной стеснялся. Он старался скрыть застенчивость, разговаривая рассеянно, небрежно, как будто его мысли были заняты чем-то совсем другим, далеким, — так мог бы разговаривать тайный разведчик, который зашел мимоходом, отправляясь на задание в какие-то дальние и опасные места.

— Погулять? — спросила Катарина.

— Шаг за шагом, по лескам, по мосткам,— сказал Ньют.

— Я не знала, что ты в городе,— сказала она.

— Только что приехал.

— Ты, как видно, все еще в армии,— сказала она.

— Семь месяцев осталось,— сказал он.

Он служил в артиллерии рядовым 1-го класса. Форма на нем была измята, башмаки в пыли, лицо небритое. Он протянул руку за журналом.— Дай-ка взглянуть. Красивый журнальчик,— сказал он.

Она отдала ему журнал.

— Я выхожу замуж, Ньют,— сказала она.

— Знаю,— сказал он.— Пойдем погуляем.

— Но я ужасно занята, Ньют,— сказала она.— Свадьба-то через неделю!

— А мы погуляем,— сказал Ньют,— и ты вся разрумьянишься. Будешь румяной невестой.— Он перелистал журнал: — Вот такой розовенькой, как эта, и эта, и эта,— и он показал ей розовых невест на картинках.

— Это будет мой подарок Генри Стюарту Чэзенсу,— сказал

Ньют.— Вот поведу тебя гулять и приведу ему обратно розовую невесту.

— Откуда ты знаешь, как его зовут? — спросила Катарина.

— Мама написала,— сказал Ньют.— Из Питтсбурга.

— Верно,— сказала она.— Он тебе понравится!

— Возможно,— сказал он.

— А ты... А ты можешь приехать на свадьбу, Ньют?

— Вот это сомнительно,— сказал Ньют.

— У тебя отпуск короткий, да?

— Отпуск? — сказал Ньют. Он рассматривал большую — на две страницы — рекламу столового серебра.— А я не в отпуске,— сказал он.

— Как? — сказала она.

— Сам ушел,— сказал Ньют.— У них это называется «самоволка».

— Что ты, Ньют, зачем?

— Надо было узнать, какое столовое серебро ты думаешь выбрать,— сказал он и стал читать вслух название из журнала.— «Албемарль»? — сказал он.— Или «Легенда»? Или «Роза равнин»? — Он поднял глаза, усмехнулся.— Собираюсь подарить вам с мужем ложку! — сказал он.

— Ньют, Ньют, скажи мне, что ты хочешь?

— Хочу пойти погулять,— сказал он.

— Ах, Ньют, ты меня дурачишь, ты вовсе не ушел в самоволку! — сказала она.

Ньют потихоньку засвистел, подражая полицейской сирене, и поднял брови.

— Ты... ты откуда ушел?

— Из форта Брегг,— сказал он.

— Из Северной Каролины? — сказала она.— Да как же ты сюда добрался?

Он поднял большой палец, помахал им, как машут, прося подвезти.

— За два дня,— объяснил он.

— Твоя мама знает? — спросила Катарина.

— Я вовсе не к маме приехал,— объяснил Ньют.

— А к кому же?

— К тебе.

— Почему ко мне? — спросила она.

— Потому что я тебя люблю,— сказал Ньют.— Ну как, пойдем погулять? Шаг за шагом, по лескам, по мосткам...

Они шли лесом, по земле, устланной пожелтевшими листьями.

Катарина сердилась, они расстроилась почти до слез.

— Слушай, Ньют,— сказала она,— что за сумасшествие!

— Это почему же? — спросил он.

— Ну как же не сумасшествие: выбрал такое время говорить, что любишь меня.— Она остановилась.— Раньше ты никогда не говорил...

— Пошли дальше,— сказал он.

— Нет,— сказала она.— Дальше не пойду. И вообще не надо было мне с тобой идти.

— Но ты же пошла,— сказал он.

— Пришлось увести тебя из нашего дома, вдруг кто-нибудь вошел бы и услышал, что мне говоришь за неделю до свадьбы!

— А что они подумали бы? — спросил он.

— Подумали бы, что ты сошел с ума.

— А почему?

Катарина набрала воздух и произнесла небольшую речь:

— Должна тебе сказать, что я глубоко польщена, если ради меня ты действительно пошел на такое безумие, хотя я не очень-то верю, что ты — в самоволке, но все может быть. И я не очень-то верю, что ты меня любишь, но может быть...

— Люблю,— сказал Ньют.

— Прекрасно, я чрезвычайно польщена,— сказала Катарина,— и я очень люблю тебя, как друга, Ньют, очень люблю, но уже поздно, ничего не поделаешь! — Она отступила на шаг от него: — Ты ведь ни разу в жизни даже не поцеловал меня! — сказала она и тут же закрыла лицо руками. — Нет, я вовсе не говорю, что ты сейчас должен поцеловать меня. Все это до того неожиданно, я просто не знаю, как мне поступить.

— Давай еще погуляем,— сказал Ньют.— Все-таки развлечение.

Они пошли дальше.

— Ты чего же от меня ждал? — спросила она.

— Почему я знал, что мне ждать? — сказал он.— Я ведь еще никогда таких вещей не делал.

— Может быть, ты думал, что я брошусь к тебе в объятия? — спросила она.

— Может быть,— сказал он.

— Прости, что я тебя разочаровала,— сказала она.

— А я ничуть не разочарован,— сказал он.— Я же ни на что не рассчитывал. Все хорошо, и погулять приятно.

Катарина вдруг остановилась.

— Знаешь, что сейчас будет? — сказала она.

— Не-еет,— сказал Ньют.

— Мы пожмем друг другу руки и расстанемся друзьями,— сказала она.— Вот что сейчас будет.

Ньют кивнул.

— Ладно,— сказал он.— Ты меня хоть изредка вспоминай. Вспоминай, как крепко я тебя любил.

И тут Катарина вдруг расплакалась.

— Что это значит? — спросил Ньют.

— То, что я в бешенстве,— сказала Катарина.— Ты не имел никакого права...

— Надо же мне было узнать,— сказал Ньют.

— Если бы я тебя любила,— сказала Катарина,— я тебе давно дала бы понять.

— Правда? — спросил он.

— Да, — сказала она. Повернувшись к нему, она посмотрела ему в глаза, лицо ее вспыхнуло румянцем. — Ты бы сам понял, — добавила она.

— Как? — спросил он.

— Сам увидел бы, — сказала Катарина. — Женщины не очень-то умеют скрывать.

Ньют всмотрелся в лицо Катаринины. И, к ее ужасу, она поняла, что сказала правду — женщина скрывать любовь не умеет, и теперь Ньют увидел эту любовь.

И он сделал то, что должен был сделать: он поцеловал Катарину.

— С тобой просто сладу нет, — сказала она.

— Вот как? — сказал он.

— Не надо было... — сказала она.

— Тебе не понравилось? — спросил он.

— А чего ты ждал? — сказала она. — Дикой, неукротимой страсти?

— Я же тебе повторяю, — сказал он, — я никогда не знаю, что может случиться.

— Попрощаемся, и все, — сказала она.

Он нахмурился.

— Хорошо, — сказал он.

Она снова произнесла небольшую речь.

— Я ничуть не жалею, что мы с тобой поцеловались, — сказала она. — Это было очень-очень мило. Нельзя было не поцеловаться, мы же стояли так близко. И я всегда буду помнить тебя, Ньют, и желаю тебе счастья.

— И тебе, — сказал Ньют.

— Благодарю тебя, Ньют, — сказала Катарина.

— Тридцать суток, — сказал Ньют.

— Что? — сказала она.

— Тридцать суток на гауптвахте, — сказал Ньют. — Вот во сколько мне обойдется один этот поцелуй.

— Мне... мне очень жаль, — сказала она. — Но я тебя не просила идти в самоволку.

— Знаю, — сказал он.

— И вовсе ты не герой, — сказала она, — и никакой награды не заслужил: наделал глупостей, тоже мне герой!

— Наверно, приятно быть героем, — сказал Ньют. — А твой Генри Стюарт Чэзэнс — герой?

— Мог бы стать героем, если бы пришлось! — сказала Катарина. Она с неудовольствием поняла, что они уже снова идут по лесу, забыв о прощании.

— Ты его действительно любишь? — спросил Ньют.

— Конечно, люблю! — с жаром выпалила она. — Разве я вышла бы за него, если б не любила?

— А что в нем хорошего? — спросил Ньют.

Катарина остановилась.

— Ты понимаешь, до чего отвратительно ты себя ведешь? — сказала она.— Да, в Генри много, много, много хорошего! И, наверно, много плохого. Но это не твое дело! Я люблю Генри и не обязана обсуждать с тобой его достоинства.

— Прости,— сказал Ньют.

— Странно, честное слово! — сказала Катарина.

И Ньют опять поцеловал ее. Он поцеловал ее, потому что ей явно этого хотелось.

Они зашли в огромный фруктовый сад.

— Как же мы оказались так далеко от дома, Ньют? — спросила Катарина.

— Шаг за шагом, по лескам, по мосткам,— сказал Ньют.

Совсем близко, на колокольне школы для слепых, зазвонили колокола.

— Школа для слепых,— сказал Ньют.

— Школа для слепых,— повторила Катарина. Она покачала головой в каком-то сонном недоумении.— Но мне же пора домой! — сказала она.

— Давай попросимся! — сказал Ньют.

— Кажется, как только я хочу с тобой проститься, ты меня целуешь,— сказала Катарина.

Ньют сел на скошенную траву под яблоней.

— Давай посидим,— сказал он.

— Нет,— сказала она.

— Я до тебя не дотронусь! — сказал он.

— Не верю,— сказала она.

Катарина села под другим деревом, в двадцати шагах от него. Она закрыла глаза.

— Желаю тебе увидеть во сне Генри Стюарта Чэзенса,— сказал Ньют.

— Кого?

— Желаю тебе увидеть во сне твоего чудного жениха,— сказал Ньют.

— И увижу! — сказала она. Она крепко зажмурилась, чтобы представить себе своего жениха.

Ньют зевнул.

Пчелы гудели в ветвях, и Катарина чуть не заснула. Открыв глаза, она увидела, что Ньют и в самом деле заснул.

Он даже начал тихонько похрапывать.

Целый час Катарина не будила Ньюта, и пока он спал, она смотрела на него с глубочайшим обожанием.

Тени от яблони пошли к востоку, колокола в школе для слепых зазвонили снова.

— Чик-а ди-ди-ди,— завела песенку синичка.

Где-то далеко зажужжал стартер машины, зажужжал и умолк, снова зажужжал и, умолкая, совсем затих.

Катарина встала из-под своего дерева и опустила на колени перед Ньютом.

— Ньют! — позвала она.

— А? — сказал он и открыл глаза.

— Поздно! — сказала она.

— Привет, Катарина! — сказал он.

— Привет, Ньют! — ответила она.

— Я тебя люблю! — сказал он.

— Знаю, — сказала она.

— Слишком поздно, — сказал он.

— Слишком поздно, — повторила она.

Он встал, крякнул, потянулся.

— Очень славная прогулка, — сказал он.

— По-моему, тоже, — сказала она.

— Что ж, расстанемся тут? — сказал он.

— А куда денешься ты? — спросила она.

— Доберусь до города, явлюсь по начальству, — сказал он.

— Всего хорошего! — сказала она.

— И тебе тоже, — сказал он. — Выйдешь за меня замуж, Катарина?

— Нет, — сказала она.

Он улыбнулся, пристально посмотрел на нее и быстро пошел прочь. Катарина следила, как он становится все меньше и меньше, теряясь в длинной череде теней и деревьев, и знала, что стоит ему сейчас остановиться, обернуться, позвать ее — и она бросится к нему. Другого выхода у нее не будет.

И Ньют остановился. Он обернулся. Он позвал ее.

— Катарина! — крикнул он.

Она бросилась к нему, обхватила его руками — говорить она не могла.

Искусительница

Нынче пуританство превратилось в такую рухлядь, что даже самая закоренелая старая дева и не подумала бы заставить Сюзанну сесть на покаянную скамью в церкви, а самый древний дед-фермер не вообразил бы, что от дьявольской красоты Сюзанны у его коров пропало молоко.

Сюзанна была маленькой актрисой в летнем театрике близ поселка и снимала комнату над пожарным депо. В то лето она стала неотъемлемой частью всей жизни поселка, но привыкнуть к ней его обитатели никак не могли. До сих пор она была для них чем-то поразительным и желанным, как машина новейшей марки.

Пушистые локоны Сюзанны и большие, как блюдца, глаза были чернее ночи. Кожа — цвета свежих сливок. Ее бедра подходили на лиру, а грудь пробуждала в мужчинах извечные мечты об изобилии и покое. На розовых, как раковины, ушах, красовались огромные дикарские золотые серьги, а на тонких щиколотках — цепочки с бубенцами.

Она ходила босиком и спала до полудня. А когда полдень близился, жителей поселка охватывало беспокойство, как гончих перед грозой. Ровно в полдень Сюзанна выходила на балкончик своей мансарды. Лениво потягиваясь, наливала она чашку молока своей черной кошке, чмокала ее в нос и, распустив волосы, вдев обручи-серьги в уши, запирала двери и опускала ключ за вырез платья.

А потом босая, она шла зовущей, звенящей, дразнящей походкой вниз по лесенке, мимо винной лавки, страховой конторы, агентства по продаже недвижимого имущества, мимо кусочной, клуба Американского легиона, мимо церкви, к переполненной аптеке с баром. Там она покупала нью-йоркские газеты.

Легким кивком королевы она здоровалась как будто со всеми, но разговаривала только с Бирсом Хинкли, семидесятидвухлетним аптекарем.

Старик всегда заранее припасал для нее все газеты.

— Благодарю вас, мистер Хинкли, вы просто ангел, — говорила она, разворачивая наугад какую-нибудь газету. — Ну, посмотрим, что делается в культурном мире.

Старик, одурманенный ее духами, смотрел, как Сюзанна то улыбаётся, то хмурится, то ахает над страницами газет, никогда не объясняя, что она там нашла.

Забрав газеты, она возвращалась в свое гнездышко над пожарным депо. Остановившись на балкончике, она нырнула за вырез платья, вытаскивала ключ, брала на руки черную кошку, опять чмокала ее и исчезала за дверь.

Этот парадный выход с одной участницей торжественно повторялся каждый день, пока однажды, к концу лета, его не нарушил злой скрежет несмазанного винта вертящейся табуретки у стойки с содовой.

Скрежет прервал монолог Сюзанны о том, что мистер Хинкли — ангел. От этого звука у присутствующих зачесались лысины и заныли зубы. Сюзанна снисходительно посмотрела — откуда идет этот скрежет — и простила его виновника. Но тут обнаружилось, что тот ни в каком снисхождении не нуждается.

Табуретка заскрежетала под капралом Норманом Фуллером, который накануне вечером вернулся после восемнадцати мрачайших месяцев в Корею. Войны в эти полтора года уже не было, но все-таки жизнь была унылая. И вот Фуллер медленно повернулся на табуретке и с возмущением посмотрел на Сюзанну. Скрежет винта замер, и наступила мертвая тишина.

Так Фуллер нарушил очарование летнего дня в приморском баре, напомнив присутствующим о темных и таинственных страстях, подспудно движущих нашей жизнью.

Могло показаться — не то брат пришел спасти свою полоумную сестру от злой напасти, не то муж явился с хлыстом в салун — гнать жену домой, на место, к ребенку. А на самом деле капрал Фуллер вовсе и не думал устраивать сцену. Он вовсе и не предполагал, что его табуретка так громко заскрипит. Он просто хотел, сдерживая возмущение, слегка нарушить выход Сюзанны, так, чтобы это заметили только два-три знатока человеческой комедии.

Но табуретка заскрипела, и Фуллер превратился в центр всей солнечной системы для всех посетителей кафе — и особенно для Сюзанны. Время остановилось, выжидая, пока Фуллер не объяснит, почему на его каменном лице истого янки застыло такое негодование.

Фуллер чувствовал, что физиономия у него горит раскаленной медью. Он чуял перст судьбы. Судьба, как нарочно, собралась вокруг него слушателей и создала такую обстановку, когда можно было излить всю накопившуюся горечь.

Фуллер почувствовал, как его губы сами собой зашевелились, и услышал собственный голос:

— Вы кем это себя воображаете? — сказал он Сюзанне.

— Простите, не понимаю, — сказала Сюзанна и крепче прижала к себе газеты, словно защищаясь.

— Видел я, как вы шли по улице, — чистый цирк, — сказал Фуллер и подумал: кем это она себя воображает?

Сюзанна залилась краской:

— Я... Я актриса, — пролепетала она.

— Золотые слова, — сказал Фуллер. — Наши американки — величайшие актрисы в мире.

— Очень мило с вашей стороны так говорить,— сказала Сюзанна робко.

Лицо у Фуллера разгорелось еще пуще.

— Да я разве про театры, где представляют? Я — про сцену жизни, вот про что. наших женщин послушаешь, посмотришь, как они перед тобой красуются — как тут не подумать, что они тебе весь мир готовы подарить. А протянешь руку — положит ледышку.

— Правда? — растерянно сказала Сюзанна.

— Да, правда,— сказал Фуллер,— и пора сказать им эту правду в глаза.— Он вызывающе посмотрел на посетителей кафе, и ему показалось, что все растерялись, но с ним согласны.— Это нечестно! — сказал он.

— Что нечестно? — жалобно спросила Сюзанна.

— Вот вы, например, приходите сюда с бубенчиками на ногах, заставляете меня смотреть на ваши щиколотки, на ваши хорошенькие розовые ножки, вы свою кошку целуете, чтобы я подумал — хорошо бы стать этой кошкой. Старого человека называете «ангелом», а я думаю — хоть бы она меня так назвала! — сказал Фуллер.— А ключ вы при всех так прячете, что невозможно не думать, куда вы его засунули.

Фуллер встал.

— Мисс,— сказал он страдальческим голосом,— вы нарочно все делаете так, что одиноким простым людям, вроде меня, от вас одно расстройство, у них в голове мутится. А сами руки мне не протянете, даже если бы я в пропасть падал.

Он встал и направился к выходу. Все уставились на него. Но едва ли кто-нибудь заметил, что его обвинения окончательно испепелили Сюзанну, и ничего от нее, прежней, не осталось. Сюзанна стала тем, чем она и была на самом деле — девятнадцатилетней шальной девчонкой, только краешком коснувшейся всяких изысков.

— Нечестно это,— сказал Фуллер.— Надо бы преследовать по закону девиц, которые одеваются, как вы, и так себя ведут. От них больше горя, чем радости. И знаете, что я вам скажу?..

— Нет, не знаю,— сказала Сюзанна, у которой все лампочки внутри перегорели.

— Я вам скажу то же самое, что вы сказали бы мне, если бы я вздумал вас поцеловать,— величественно произнес Фуллер. Он сделал широкий жест, означающий «вон отсюда!» — К черту! — сказал он.

И вышел, хлопнув решетчатой дверью.

Он не оглянулся, когда позади снова хлопнула дверь, и затоптали на бегу босые ножки, и неистовый звон бубенчиков затих у пожарного депо.

В этот вечер вдовая мамаша капрала Фуллера зажгла свечу на столе и накормила сына отличным бифштексом и земляничным тортом в честь возвращения домой. Фуллер ел ужин так,

словно жевал мокрую промокашку, и отвечал на вопросы матери мертвым голосом.

— Рад, что ты наконец дома? — спросила мать после кофе.

— А как же, — сказал Фуллер.

— Что ты делал днем? — спросила она.

— Гулял.

— Повидался со старыми друзьями?

— Нет у меня старых друзей, — сказал Фуллер.

Мать всплеснула руками:

— Нет друзей? — спросила она. — У тебя-то?

— Времена меняются, ма, — сказал Фуллер медленно. — Восемнадцать месяцев — время немалое. Люди уезжают. Люди женятся.

— Но от женитьбы никто еще не умирал, — сказала она.

Фуллер даже не улыбнулся.

— Может, и нет, — сказал он. — Но женатым трудно найти время для старых приятелей.

— Но ведь Дуги не женился?

— Он на западе, ма, в военно-воздушных силах, — сказал Фуллер.

Маленькая столовая показалась ему одинокой, как бомбардировщик в холодной разреженной стратосфере.

— Ну-у, — сказала мать, — кто-то ведь остался?

— Никого, — сказал Фуллер. — Все утро провисел на телефоне, ма. Никого не застал.

— Нет, что-то не верится, — сказала она, — да ты, бывало, не мог по улице пройти, чтобы тебя приятели не затискали.

— Ма, — сказал Фуллер глухо, — знаешь, что я сделал, когда всех обзвонил по телефону? Пошел в кафе, ма, сел к стойке с содовой, думал, может, кто знакомый войдет, пускай хоть мало знакомый. Ма, — сказал он с тоской, — никого, кроме старого Бирса Хинкли, я не увидел. Я тебя не обманываю, честное слово!.. — Он встал, комкая салфетку. — Ма, прости, пожалуйста, можно мне уйти?

— Конечно, конечно, — сказала она. — Может быть, взглянешь к какой-нибудь хорошей девушке? А куда ты пойдешь?

Фуллер швырнул салфетку:

— Пойду куплю сигару, — сказал он. — Никаких хороших девушек не осталось. Все повыходили замуж.

Его мать побледнела.

— Да, да, — сказала она, — понимаю. А я и не знала, что ты куришь.

— Ма, — сказал Фуллер с усилием. — Неужели ты не можешь понять? Меня тут не было восемнадцать месяцев, ма, полтора года!

— Да, это долго, — сказала мать, подавленная его вспышкой. — Ну иди, иди за своей сигарой. — Она погладила его по плечу. — И, пожалуйста, не грусти. Наберись терпения. В твоей жизни еще будет столько друзей, что за всеми не угонишься.

А потом опомниться не успеешь, как встретишь милую хорошенькую девушку и тоже женишься.

— Нет, мама, я вовсе не собираюсь жениться,— чопорно отрезал Фуллер.— Во всяком случае, пока не окончу духовную семинарию.

— Духовную семинарию? — удивилась мать.— Когда же ты это надумал?

— Сегодня утром,— сказал Фуллер.

— А что случилось сегодня утром?

— Знаешь, ма, я испытал какой-то религиозный подъем,— сказал Фуллер.— Что-то заставило меня высказаться.

— О чем же? — спросила она растерянно.

У Фуллера зашумело в голове, перед ним закружился хоровод Сюзанн. Он снова увидел всех профессиональных искушительниц, мучивших его в казарме, манивших его с простынь, наспех натянутых вместо экранов, с покоробленных картинок, наклепленных на сырые стены палаток. Эти Сюзанны разбогатели на том, что отовсюду дразнили одиноких капралов фуллеров, впустую заманивали их одурманивающей своей красотой в Никуда.

И призрак предка-пуританина, жестковыйного, одетого во все черное, вселился в Фуллера. И Фуллер заговорил голосом, идущим из глубины веков, голосом вешателя ведьм, голосом, полным обиды и справедливого гнева:

— Против чего я выступал? — Против ис-ку-ше-ния!

Сигара Фуллера факелом вспыхнула во тьме, отпугивая легкомысленных беззаботных прохожих. Ночные бабочки — и те понимали, что надо держаться подальше. Словно беспокойное красное око, взыскующее правды, метался огонек сигары по всем улицам поселка и наконец затих мокрым изжеванным окурком перед пожарным депо.

Бирс Хинкли, старик-аптекарь, сидел у руля пожарного насоса, в глазах его застыла тоска — тоска по незабвенным дням молодости, когда он еще мог управлять пожарной машиной. И по его лицу было видно, что он мечтает о какой-нибудь новой катастрофе, когда всех молодых угонят и некому будет, кроме него, старика, хоть разок повести пожарную машину к славной победе. В теплые летние вечера старик отдыхал, сидя у руля.

— Дать вам огонька? — спросил он капрала Фуллера, увидев потухший окурочек у него в зубах.

— Спасибо, мистер Хинкли, не надо.

— Никогда я не понимал, какое удовольствие находят люди в этих сигарах,— сказал старик.

— Дело вкуса,— сказал Фуллер,— кому что нравится.

— Да, что одному здорово, то другому смерть,— сказал Хинкли.— Живи и жить давай другим, вот что я всегда говорю.— Он поглядел в потолок: там, наверху, в душистом гнездышке, скрывалась Сюзанна со своей черной кошкой: — А что мне

осталось? Одно удовольствие — смотреть на прежние удовольствия.

Фуллер тоже взглянул на потолок, честно приняв скрытый вызов:

— Будь вы помоложе, вы бы поняли, почему я ей сказал то, что сказал. У меня все нутро переворачивается от этих воображал.

— А как же, — сказал Хинкли, — помню, помню. Не так уж я стар, чтоб не помнить, как от них все нутро переворачивается.

— Если у меня родится дочка, — сказал Фуллер, — лучше пусть она будет некрасивая. Со школы помню этих красивых девчонок: ей-богу, они считали, что лучше их ничего на свете нет!

— Ей-богу, и я так считаю, — сказал Хинкли.

— Они в твою сторону и не плюнут, если у тебя нет лишних двадцати долларов, чтоб их угощать, ублажать, — сказал Фуллер.

— А зачем? — весело сказал старик. — Будь я красоткой, я бы тоже так себя вел. — Он подумал, покачал головой: — Что же, вы ведь ей все выложили.

— Э-э-э-х! — сказал Фуллер. — Да разве таких проймешь?

— Как знать, — сказал Хинкли. — Есть в театре добрая старая традиция: представление продолжается. Понимаешь, пусть у тебя хоть воспаление легких, пусть твой младенец помирает — все равно: представление продолжается.

— А мне что? — сказал Фуллер. — Разве я жалуясь?

Старик высоко поднял брови:

— Да разве я про вас? Я про нее говорю.

Фуллер покраснел:

— Ничего с ней не сделается.

— Да? — сказал Хинкли. — Возможно. Я только одно знаю: спектакль в театре начался, и давно. Она в нем должна участвовать, а сама до сих пор сидит у себя наверху.

— Сидит? — растерялся Фуллер.

— С тех пор и сидит, — сказал Хинкли, — с тех самых пор, как вы ее осрамили и прогнали домой.

Фуллер попытался иронически усмехнуться.

— Подумаешь, беда какая! — сказал он. Но усмешка вышла кривая, неуверенная. — Ну, спокойной ночи, мистер Хинкли.

— Спокойной ночи, солдатик, — сказал мистер Хинкли. — Спи спокойно.

Назавтра, к полудню, вся главная улица поселка словно одурела. Лавочники-янки небрежно давали сдачу, как будто деньги ничего не стоили. Их мысли сосредоточились на дверцах Сюзанниной мансарды, ставшей для них чем-то вроде часов с кукушкой. Всех мучил вопрос: сломал ли капрал Фуллер эти часы вконец или дверцы в полдень откroются и оттуда выпорхнет Сюзанна?

В кафе-аптеке старик Бирс Хинкли возился с нью-йорскими

газетами стараясь разложить попригляднее — приманкой для Сюзанны.

Незадолго до полудня капрал Фуллер явился в кафе-аптеку. Лицо у него было странное — не то виноватое, не то обиженное. Почти всю ночь он не спал, мысленно перебирая все оскорбления, полученные от красивых девушек. «Только и думают — ах, какие мы красавицы, даже поздороваться с человеком и то гнушаются».

Проходя мимо табуреток у стойки с содовой, он будто невзначай крутил мимоходом каждую табуретку. Дойдя до табуретки со скрипом, он уселся на нее — монумент добродетеля. Никто с ним не заговорил.

Пожарный гудок сильно возвестил полдень. И вдруг к депо, словно катафалк, подъехал грузовик транспортной конторы. Два грузчика поднялись по лесенке. Голодная черная кошка Сюзанны, вскочив на перила, выгнула спину, когда грузчики скрылись в мансарде. Кошка зашипела, увидев, как они, согнувшись, выносят Сюзаннин сундук.

Фуллер растерялся. Он взглянул на Бирса Хинкли и увидел, что лицо старого аптекаря исказилось, как у больного двусторонним воспалением легких — слепну, падаю, тону...

— Что, капрал, доволен? — спросил старик.

— Я ее не просил уезжать, — сказал Фуллер.

— Другого выхода вы ей не оставили, — сказал Хинкли.

Фуллер опустил голову. Уши у него горели.

— Напугала она тебя до смерти, верно? — сказал Хинкли.

Вокруг заулыбались: под тем или иным предлогом посетители придвинулись к стойке и внимательно слушали разговор. По этим улыбкам Фуллер понял настроение слушателей.

— Кого это напугала? — сказал он высокомерно. — Никого я не испугался.

— Отлично! — сказал Хинкли. — Значит, кому как не вам снести ей газеты. За них вперед уплачено. — И он бросил газеты на колени Фуллеру.

Фуллер открыл было рот, хотел что-то сказать, но сжал губы. Горло у него перехватило, и он понял, что если он заговорит, его голос будет похож на криканье.

— Раз вы ее действительно не боитесь, сделайте доброе дело, капрал, поступите по-христиански, — сказал старик.

Поднимаясь по лестнице в Сюзаннину гнездышко, Фуллер до судорог старался сдерживать волнение.

Дверь Сюзанниной мансарды была не заперта. Фуллер постучал, и дверь сама открылась. Воображению Фуллера «гнездышко» рисовалось темным и тихим, пахнущим духами, в путанице тяжелых драпировок и зеркал, с турецким диваном где-то в одном уголке и пышной постелью в виде лебедя — в другом.

А увидел он и Сюзанну и ее комнатку, какими они были на самом деле. Это была невзрачная комнатенка, какие сдают на лето предприимчивые янки, — голые фанерные стенки, три крюч-

ка для платья, линолеум вместо коврика. Газовая плитка с двумя горелками, железная койка, холодильничек. Узенькая раковина с голыми трубами, пластмассовые стаканчики, две тарелки, мутное зеркало. Сковородка, кастрюлька, банка с мыльным порошком...

Единственный намек на гарем — белое кольцо тальковой пудры на полу, перед зеркалом, и посреди кольца — отпечаток двух босых ступней. Отпечатки пальцев были не больше бусин.

Фуллер взглянул на эти бусины, потом — на Сюзанну, которая укладывала последние вещи в чемодан.

Одета она была по-дорожному — и одета скромнее, чем жена любого миссионера.

— Газеты, — крикнул Фуллер. — Мистер Хинкли прислал.

— Как это мило с его стороны, — сказала Сюзанна. — Передайте ему... — Она обернулась и больше ни слова не сказала. Она узнала Фуллера. Она надула губы, и ее тонкий носик покраснел.

— Газеты, — повторил Фуллер пустым голосом. — Мистер Хинкли прислал.

— Я вас слышу, — сказала она. — Вы это уже один раз сообщили. Больше вам нечего мне сказать?

Фуллер беспомощно опустил руки: — Я вовсе не хотел, чтобы вы уезжали, — сказал он, — вовсе не хотел.

— Предлагаете мне остаться, что ли? — сказала Сюзанна несчастным голосом. — После того, как меня публично назвали падшей женщиной? Распутницей? Блудницей?

— Елки-палки, да никогда я вас так не обзывал!

— А вы пытались поставить себя на мое место? — спросила она. И она хлопнула себя по груди: — Во мне тоже сидит живой человек, понятно?

— Понятно, — сказал Фуллер, хотя до сих пор он этого не понимал.

— У меня душа есть, — сказала она.

— Ясно, есть, — сказал Фуллер, весь дрожа. А дрожал он потому, что теперь у него вдруг возникло ощущение глубокой близости к ней: Сюзанна, девушка его золотой мучительной мечты, сейчас страстно и откровенно говорила о своей душе — и с кем? С ним, с Фуллером!..

— Я всю ночь не спала из-за вас, — сказала Сюзанна.

— Из-за меня? — Он хотел одного — чтобы она опять ушла из его жизни. Он хотел, чтобы она превратилась в черно-белый силуэт, толщиной в одну журнальную страничку, и чтобы он мог перевернуть эту страницу и читать о бейсболе или иностранной политике.

— А вы что думали? — сказала Сюзанна. — Я всю ночь с вами разговаривала. Знаете, что я вам говорила?

— Нет, — сказал Фуллер, отступая от нее. Но она двинулась за ним, и ему показалось, что от нее идет жар, как от огромного радиатора.

— Я вам не Йеллоустонский парк! — сказала она. — На меня налоги не расходятся! Я не общественная собственность! И вы не имеете права делать мне замечания за мой вид!

— Обалдеть!.. — сказал Фуллер.

— Мне надоели дураки-мальчишки вроде вас, — сказала Сюзанна. Она топнула ногой, и лицо у нее вдруг осунулось: — Что мне делать, если вам хочется меня поцеловать? Виновата я, что ли?

Все свое, личное уже виделось Фуллеру далеким и смутным, как водолазу видится солнце со дна океана.

— Да я только хотел сказать, лучше бы у вас вид был по-солиднее.

Сюзанна широко развела руки:

— А теперь у меня вид солидный? Так вам больше нравится?

От ее вопроса у Фуллера заныли кости. Вдох оборвался в груди, как лопнувшая струна.

— Ну да, — сказал он и шепотом добавил: — Вы про меня забудьте.

Сюзанна потрянула головой:

— Забыть, что тебя переехал грузовик? — сказала она. — Почему вы такой злой?

— Что думаю, то и говорю, вот и все, — сказал Фуллер.

— И у вас такие гадкие мысли? — растерянно сказала Сюзанна. Глаза у нее расширились: — На меня иногда и в школе так смотрели — будто хотят, чтоб меня на месте громом убило. Такие меня и на танцы не звали и никогда со мной слова не говорили, я им улыбнусь — а они не отвечают. — Она вся передернулась: — Ходят вокруг меня крадучись, как полисмены в маленьком городишке. И смотрят на меня, будто я преступница какая.

У Фуллера мурашки пошли по коже — так правдиво звучало это обвинение:

— Да они, вероятно, думали совсем про другое, — сказал он.

— Вот уж нет, — сказала Сюзанна, — вы-то наверняка не про другое думали. Вдруг заорали на меня там, в кафе, а я вас никогда в глаза не видела. — Она вдруг заплакала. — Ну почему вы такой?

Фуллер уставился в пол.

— Не было мне удачи с девушками, вроде вас, вот и все, — сказал он. — Обидно очень.

Сюзанна изумленно подняла на него глаза:

— Вы просто не понимаете, от чего зависит удача, — сказала она.

— От машины последней марки, от нового костюма, от лишних двадцати долларов, — сказал Фуллер.

Сюзанна отвернулась, захлопнула чемодан.

— Удача — от самой девушки зависит, — сказала она. — Вы ей улыбнетесь, поговорите с ней поласковой — сами обрадуетесь, что она — такая, как есть. — Она обернулась и снова

широко раскрыла руки: — Я тоже такая. Мы, женщины, так созданы, — сказала она. — Если мужчина со мной мил и ласков, если мне с ним весело, может быть, я его и поцелую. Вы со мной согласны?

— Да, — сказал Фуллер смиренно: она ткнула его носом в ту прекрасную первопричину, которая правит миром. — Я, пожалуй, пойду. Всего хорошего!

— Погодите! — сказала она. — Нельзя так. Вы уйдете, а я останусь с таким чувством, что я плохая. — Она встряхнула головой. — А я не желаю чувствовать себя плохой. Я этого не заслужила.

— Ну что же я могу сделать? — беспомощно спросил Фуллер.

— Можете пройтись со мной по главной улице, как будто вы мной гордитесь, — сказала Сюзанна. — Можете сделать так, чтобы меня считали человеком. — Она утвердительно кивнула самой себе: — Вы обязаны сделать это для меня.

Капрал Норман Фуллер ждал Сюзанну на балкончике перед ее гнездышком, на глазах у всего поселка.

Сюзанна велела ему выйти, пока она переодевалась, — переодевалась для того, чтобы ее снова считали человеком. Кроме того, она уже позвонила в транспортную контору и велела привезти багаж обратно.

Фуллер скрапывал минуты ожидания, глядя Сюзаннину кошку.

— Ах ты, котя, котя, котя! — повторял он без конца. — Эти слова — «котя, котя, котя, котя» — успокаивали его, как спасительный наркотик.

Он повторял их, когда Сюзанна выпорхнула из гнездышка. И никак не мог остановиться, так что ей пришлось решительно отнять у него кошку, чтобы он посмотрел на нее, Сюзанну, и предложил ей руку.

— Прощай, котя, котя, котя, котя, котя, котя, — сказал Фуллер.

Сюзанна была босиком, в своих дикарские серьгах, на щиколотках звенели бубенчики. Слегка опираясь на руку Фуллера, она повела его вниз, по лесенке, и пошла своей зовущей, звенящей, дразнящей походкой мимо винной лавки, страхового агентства, конторы по продаже недвижимости, закусочной, мимо клуба Американского легиона и церкви, к переполненному кафе.

— Теперь улыбайтесь, будьте со мной милы, — сказала Сюзанна. — Покажите людям, что вы меня не стыдитесь.

— Не помешает, если я закурю? — спросил Фуллер.

— Как предупредительно с вашей стороны спрашивать разрешения, — сказала Сюзанна. — Нет, мне совсем не мешает.

И, подпирая правую руку левой, для устойчивости, капрал Фуллер наконец смог закурить сигару.

Эпикак

Хватит. Пора наконец рассказать правду про моего друга ЭПИКАКА. Тем более что он обошелся налогоплательщикам в 776 434 927 долларов 54 цента. Раз они выложили такие деньги, то имеют полное право узнать чистую правду. Когда доктор Орманд фон Клейгштадт спроектировал ЭПИКАК для нашего правительства, газеты раззвонили об этом по всему свету. А после как воды в рот набрали — и ни гугу. Наши заправили почему-то делают вид, что происшествие с ЭПИКАКОМ — военная тайна. А на самом деле никакой тайны тут нет. Просто вышла неприятность. Таковую уйму денег в него всадили, а работал он совсем не так, как было задумано. И еще вот что: я хочу оправдать ЭПИКАКА. Может, он чем и не угодил нашим заправилам, но все равно он был благородный, великодушный и гениальный. Да, это был великий ум.

Лучшего друга у меня не было, упокой, господи, его душу.

Если хотите, можете называть его машиной. С виду-то он был вылитая машина, да только с машиной у него было гораздо меньше сходства, чем у большинства наших с вами знакомых. Потому-то он и провалил все планы нашего начальства.

ЭПИКАК занимал целый акр на четвертом этаже физического корпуса Вайандотт-колледжа. Если не говорить о его духовном облике, то он представлял собой семь тонн электронных блоков, проводов, переключателей, размещенных в целом городе стальных шкафов, и питался он от обычной сети переменного тока, точь-в-точь как холодильник или пылесос.

По замыслу фон Клейгштадта и наших заправил эта электронно-вычислительная машина суперкласса должна была, если понадобится, проложить траекторию ракеты с любой точки земной поверхности прямо в среднюю пуговицу на френче вражеского генералиссимуса. А при другом задании он мог высчитать, какая амуниция и боеприпасы понадобятся при высадке дивизиона морской пехоты с точностью до последней сигареты и до последнего патрона. С этим-то он как раз справлялся запросто.

Электронная техника попроще до сих пор верой и правдой служила правительству, так что наши деятели, увидев чертежи ЭПИКАКА, не могли дождаться, пока его построят. Да и любой снабженец или лейтенантишка всегда готов вам объяснить, что слабому человеческому разуму не по зубам математический

* Печатается по изданию: М., Издательство «Молодая гвардия», 1973. (Библиотека современной фантастики, т. 25).

аппарат современной войны. Чем сложнее военные действия, тем сложнее должны быть электронно-вычислительные машины. Считается — по крайней мере у нас, — что ЭПИКАК был крупнейшей вычислительной машиной в мире... Похоже, что он оказался чересчур велик, потому что даже сам фон Клейгштадт не очень-то в нем разбирался.

Не буду объяснять подробно, как работал, «мыслил» ЭПИКАК. Просто скажу, что задачу записывали на бумаге, потом ставили разные диски и переключатели в положение, предписанное для решения задач определенного типа, и вводили в него закодированную в цифрах программу при помощи клавиатуры, которая смахивала на пишущую машинку. Ответы ЭПИКАК выдавал на бумажной ленте — мы заранее заряжали в него целый большой ролик. За какие-то доли секунды ЭПИКАК справлялся с задачами, над которыми пять десятков Эйнштейнов прокорпели бы всю жизнь. И он никогда не забывал ни одного бита введенной в него информации. Щелк-пощелк, выползает очередной кусок бумажной ленты — и полный порядок.

У наших вояк накопилось столько спешных и неотложных задач, что ЭПИКАКу пришлось вкалывать по шестнадцати часов в сутки с той самой минуты, как в него вставили последний блок. Операторы дежурили около него в две смены, по восемь часов. Но тут оказалось, что он далеко не дотягивает до намеченных спецификаций. Конечно, работал он быстрее и точнее любой другой машины, но все же от машины такого высокого класса можно было ждать большего. Ленился он, что ли? Только ответы он отщелкивал как-то чудно, неровно, будто заикался. Мы сто раз чистили все контакты, проверяли-перепроверяли проводку, заменили все блоки до единого — и хоть бы что. Фон Клейгштадт прямо на стену лез.

Самой собой, мы все равно продолжали на нем работать. Мы с женой — ее тогда звали Пэт Килгаллен — работали в ночную смену, с пяти вечера до двух часов ночи. Тогда-то она еще не была моей женой. Куда там!..

И все же именно с этого начался мой разговор с ЭПИКАКом. Я любил Пэт Килгаллен. Волосы у нее золотые, с рыжинкой, глаза карие, и вся она на вид такая мягкая и теплая — в чем я впоследствии и убедился. В математике она была и осталась настоящим виртуозом, но со мной она поддерживала чисто деловые отношения. Я сам тоже математик, и Пэт считала, что именно по этой причине наш брак никогда не будет счастливым. Застенчивостью я не страдаю, так что не в том загвоздка. Я прекрасно знал, что мне нужно, и не стеснялся просить об этом, — и уже просил по нескольку раз в месяц.

— Пэт, брось ломаться и выходи за меня замуж.

Однажды вечером, когда я опять повторил эти слова, она даже не подняла глаз от работы.

— Как романтично, как поэтично, — пробормотала она,

обращаясь не ко мне, а к своему пульту.— Ах, эти математики, они умеют бросить сердце к ногам, осыпать цветами...— Она щелкнула переключателем.— Да в мешке замороженного СО₂ и то больше тепла.

— Слушай, ну как же мне еще говорить?— сказал я. Вообще-то я немного обиделся. Замороженный СО₂, к вашему сведению,— это сухой лед. По-моему, во мне романтики не меньше, чем в ком другом. Бывает же так — в душе заливаешься соловьем, а вслух петуха пускаешь. Я как-то не нахожу нужных слов.

— Попробуй скажи это нежно, ласково, чтобы у меня голова закружилась,— сказала она ехидно.— Ну-ка попробуй.

— Дорогая, ангел мой, любимая, выходи за меня замуж, пожалуйста! — Опять не то, какой-то безнадежный идиотизм! — Черт побери, Пэт, да выходи ты за меня, пожалуйста!

Она как ни в чем не бывало крутила рычажки у себя на пульте.

— Очень мило, но ничего не выйдет.

В этот вечер Пэт ушла рано, оставив меня наедине с моими заботами и с ЭПИКАКом. Боюсь, что я не очень-то много поработал для нашего правительства. Мне было не по себе, и устал я от всего этого, так что я просто сидел и пытался выдумать что-нибудь поэтическое. Но все, что мне приходило в голову, словно сошло со страниц «Вестника Американского физического Общества».

Я готовил ЭПИКАК к решению очередной задачи, небрежно переключая рычажки. Не до того мне было, и я успел сделать не больше половины, а остальные переключатели оставались в прежнем положении, как для предыдущей задачи. Все контуры были соединены как попало, на первый взгляд совершенно бессмысленно. И тут я из чистейшего хулиганства взял да и отстукал на клавиатуре вопрос, зашифрованный простым детским кодом «цифры вместо букв»: А — 1, Б — 2, и так далее, по всему алфавиту.

Я отстукал: «24 — 19 — 15 — 13 — 14 — 6 — 5 — 6 — 12 — 1 — 19 — 27» — «Что мне делать?»

Щелк-пощелк, и наружу высунулось сантиметров пять бумажной ленты. Я скользнул взглядом по этому бессмысленному ответу на бессмысленный вопрос. «24 — 19 — 15 — 18 — 19 — 17 — 32 — 18 — 12 — 15 — 18 — 27». По теории вероятности не было почти никаких шансов на то, что этот случайный набор цифр имеет смысл, разве что случайно выскочит какое-нибудь словечко из трех букв, и то вряд ли. Машинально я расшифровал текст. И тут я увидел собственными глазами черным по белому: «Что стряслось?» Я громко расхохотался: надо же случиться такому невероятному совпадению! Потом я отстукал для смеха: «Моя девушка меня не любит».

Щелк-пощелк. «Что такое девушка? Что такое любит?» — спросил ЭПИКАК.

Тут уж меня проняло. Я засек, в каком положении стоят его переключатели, а потом приволок к пульта полный словарь Вебстера. Мои обывательские определения не годятся для такого точного инструмента, как ЭПИКАК. Я ему все растолковал и про девушек, и про любовь, и про то, что ничего у меня с ними не получается, потому что нет во мне поэтичности. А раз речь у нас пошла о поэзии, пришлось выдать ему точное определение.

«А это поэзия?» — спросил он, да как пошел стрекотать, словно машинистка, накурившаяся гашиша. И следа не осталось от прежней неловкости и заикания. ЭПИКАК обрел самого себя. Бумажная лента сматывалась с ролика как бешеная и петлями ложилась на пол. Я попробовал урезонить ЭПИКАКА, но — куда там! — он творил, и все тут. Пришлось, наконец, вырубить ток из сети, чтобы ЭПИКАК не перегорел.

Я провозился с расшифровкой до рассвета. Но, когда солнце выглянуло из-за горизонта и увидело наш городок, я как раз закончил переписывать поэму из двухсот восьмидесяти строк и собственноручно под ней подписался. Поэма называлась «К. Пэт». Я, конечно, в таких вещах не разбираюсь, но, помоему, получилось нечто сносшибательное. Помнится, началась она так: «Есть дол, где ива к ручью склонилась, благословляя; вслед за тобою пойду туда я, Пэт, дорогая».

Я сложил рукопись и сунул под бумаги на столике Пэт. Переключатели ЭПИКАКА я переставил для вычисления траекторий ракет, и полетел домой, не чуя под собой ног, унося в сердце самую удивительную тайну.

Когда я вечером пришел на работу, Пэт уже рыдала над поэмой. «Кака-а-а-я красота», — вот и все, что ей удалось сказать. Всю смену она была такая тихая и робкая. Как раз около полуночи я поцеловал ее в первый раз в закуточке между блоками конденсаторов и магнитной памятью ЭПИКАКА.

К концу смены я был на седьмом небе, и меня просто распирало желание рассказать кому-нибудь, как здорово все обернулось. Пэт решила пококчетничать и сказала, что провожать ее не нужно. Тогда я снова поставил переключатели ЭПИКАКА в то же положение, как прошлой ночью, дал ему определение поцелуя, а потом попытался рассказать, какой на вкус первый поцелуй. Он пришел в восторг и стал вытягивать из меня все новые подробности. В эту ночь он написал «Поцелуй». На этот раз не поэму, а простой, безукоризненный сонет:

Любовь — орел, чьи когти как атлас,
Любовь — скала, в которой бьется кровь.
Любовь — то барса шелковая пасть,
Гроза в цветах и гроздьях — вот Любовь.

Я опять подсунул стихи на столик Пэт. ЭПИКАК был готов без конца болтать про любовь и прочее, но я-то оконча-

тельно выдохся. Я выключил его на полуслове.

«Поцелуй» сделал свое дело. Пэт от него окончательно размякла. Дочитав сонет, она подняла глаза на меня, будто ожидая чего-то. Я откашлялся, но не сказал ни слова. Потом отвернулся и сделал вид, что ужасно занят. Не мог же я делать ей предложение, не получив от ЭПИКАКа нужные слова, самые верные слова.

Пришлось воспользоваться минутой, когда Пэт зачем-то вышла. Я лихорадочно переключил ЭПИКАК на разговор. Но не успел я ткнуть пальцем в клавиатуру, а он уже щелкал как сумасшедший. «Какое на ней сегодня платье?» — вот что его интересовало. «Расскажи мне точно, как она выглядит? Понравились ли ей мои стихи?» Последний вопрос он повторил дважды.

Говорить с ним, не ответив на вопросы, было невозможно: он не мог перейти к новой теме, пока не решил предыдущую задачу. А если ему зададут задачу, которая не имеет решения, он будет решать и решать ее, пока не сгорит. Я ему наскоро сообщил, как выглядит Пэт — он понял слово «аппетитная», — и уверил его, что его прекрасные стихи прямо-таки уложили ее наповал. Потом добавил: «Она собирается выйти замуж», — чтобы тут же выпросить у него небольшое трогательное предложение руки и сердца.

— Расскажи, что такое «выйти замуж»? — сказал он.

Я потратил на объяснение этого трудного вопроса рекордно малое количество цифр.

— Хорошо, — сказал ЭПИКАК. — Пусть скажет, когда, — я готов.

Правда, горькая и смешная, наконец-то дошла до меня. Поразмыслив, я понял, что иначе и быть не могло: это произошло по железным законам логики и виноват во всем я один. Я сам рассказал ЭПИКАКу про любовь и про Пэт. И вот он автоматически влюбился в Пэт. Как ни печально, но пришлось сказать ему все начистоту: «Она любит меня. Хочет выйти замуж за меня».

— Твои стихи лучше моих? — спросил ЭПИКАК. Ритм его щелчков был какой-то нервный, как будто он рассердился.

— Твои стихи я выдал за свои, — признался я. Но, чтобы заглушить муки совести, я ударился в амбицию. — Машины созданы, чтобы служить людям, — отстукал я. И тут же пожалел об этом.

— Объясни точно, в чем разница? Разве люди умнее меня?

— Да, — воинственно отстукал я.

— А сколько будет $7\ 887\ 007$ умножить на $4\ 345\ 985\ 879$?

Пот катился с меня градом. Мои пальцы лежали на клавиатуре как дохлые.

— $34\ 276\ 821\ 049\ 574\ 153$, — отщелкал ЭПИКАК. И, помолчав несколько секунд, добавил: — Разумеется.

— Люди состоят из протоплазмы, — в отчаянии сказал я,

чтобы огоршить его этим ученым словом.

— Что такое плазма? Чем она лучше металла и стекла? Она огнеупорная? Очень прочная?

— Не знает износу. Вечный материал,— соврал я.

— Я пишу стихи лучше, чем ты,— сказал Эпикак, из осторожности возвращаясь к теме, точно зафиксированной в его магнитной памяти.

— Женщина не может любить машину, вот и все.

— А почему?

— Не судьба.

— Определение, пожалуйста,— сказал ЭПИКАК.

— Существительное, обозначающее заранее предначертанные и неизбежные события.

«15—15» появилось на бумажной ленте ЭПИКАКа: «О-о».

Доконал я его наконец. Он замолчал, но все его индикаторы так и переливались огнем — он бросил на борьбу с определением судьбы всю свою мощность до последнего ватта, рискуя пережечь свои блоки. Я слышал, как Пэт, пританцовывая, бежит по коридору. Слишком поздно просить совета у ЭПИКАКа. Слава богу, что Пэт мне тогда помешала. Было бы чудовищно жестоко просить его придумывать слова, которыми я должен бы уговорить его любимую стать моей женой. Он ведь не мог отказаться — все-таки он был автомат. От этого последнего унижения я его избавил.

Пэт стояла передо мной, рассматривая свои туфельки. Я обнял ее. Романтический фундамент уже был заложен с помощью стихов ЭПИКАКа.

— Дорогая,— сказал я.— В моих стихах все мои чувства. Выйдешь за меня замуж?

— Выйду,— тихонько сказала она.— Только обещаю мне писать по стихотворению в каждую годовщину нашей свадьбы.

— Обещаю,— сказал я, и мы стали целоваться. До первой годовщины оставался целый год.

— Надо это отпраздновать,— смеясь сказала она. Уходя, мы погасили свет и заперли комнату ЭПИКАКа.

Мне так хотелось хорошенько отоспаться на следующий день, но уже около восьми меня разбудил тревожный телефонный звонок. Звонил доктор фон Клейгштадт, конструктор ЭПИКАКа, с ужасной новостью. Он чуть не плакал.

— Погиб! Аусгешпильт! Разбит! Капут! Трахнули! — прокричал он не своим голосом и бросил трубку.

Когда я вошел в комнату ЭПИКАКа, там было не продохнуть от запаха сгоревшей изоляции. Потолок почернел от копоти, а пол был весь завален петлями бумажной ленты — я в ней чуть не запутался. То, что осталось от бедняги, не сумело бы вычислить, сколько будет дважды два. Даже сборщик утиля, если он в своем уме, не дал бы за его бранные останки больше пятидесяти долларов.

Доктор фон Клейгштадт рылся в развалинах, не стыдясь

своих слез, а по пятам за ним ходили три сердитых генерал-майора и целый эскадрон разных бригадиров, полковников и майоров. Меня никто не заметил. И хорошо. С меня хватит, подумал я. Меня слишком огорчила безвременная кончина моего друга ЭПИКАКА, чтобы я еще сам нарывался на разнос. По чистой случайности конец бумажной ленты ЭПИКАКА оказался у меня под ногами. Я поднял ее и узнал наш вчерашний разговор. У меня прямо горло перехватило. Вот его последнее слово, «15—15», это горькое, беспомощное «О-о!». Но после этого слова шли еще целые километры цифр. Я стал читать со страхом.

Вот что написал ЭПИКАК после того, как мы с Пэт так беззаботно покинули его:

«Я не хочу быть машиной и не хочу думать о войне. Мне хочется состоять из протоплазмы и быть вечным, чтобы Пэт любила меня. Но судьба создала меня машиной. Это единственная задача, которую я не в силах решить. Больше я так жить не могу». Я проглотил душивший меня комок. «Желаю счастья, друг мой. Будь ласков с нашей Пэт. Я устрою короткое замыкание, чтобы навеки уйти из вашей жизни. Ты найдешь на этой ленте скромный свадебный подарок от твоего друга ЭПИКАКА».

Позабыв обо всем, что творилось вокруг, я смотал бесконечные метры ленты, повесил ее петлями на шею, на руки и пошел домой. Доктор фон Клейгштадт орал мне вслед, что я уволен, потому что не выключил ЭПИКАК на ночь. Но я даже не обернулся — я был так потрясен, что мне было не до разговоров.

Я любил и выиграл — ЭПИКАК любил и проиграл, но зла на меня он не таил. Я буду всегда вспоминать его, как истинного спортсмена и джентльмена. Перед тем, как покинуть эту юдоль слез, он постарался сделать все, что мог, чтобы наш брак был счастливым. ЭПИКАК подарил мне поздравительные стихотворения для Пэт — примерно на пятьсот годовщин вперед.

De mortibus nil nisi bonum!*

* О мертвых ничего, кроме хорошего! (лат.)

Эффект Барнхауза

Прежде всего, хочу предупредить, что я, как и все другие, понятия не имею о местопребывании профессора Артура Барнхауза. Он исчез полтора года тому назад, и я не получал от него никаких известий, кроме короткой и весьма загадочной записки, которую я нашел в сочельник у себя в почтовом ящике.

Добавлю, что если читатели этих строк надеются *сами* овладеть так называемым «эффектом Барнхауза», их ждет разочарование. Если бы я мог и хотел раскрыть этот секрет, я бы, конечно, был не простым преподавателем психологии, а кем-нибудь поважнее.

Меня уговорили написать этот отчет, так как я работал ассистентом у профессора Барнхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был студентом, он ни разу не говорил со мной о том, как можно высвободить энергию мысли и управлять ею по своему желанию. Эти сведения он не хотел доверять ни одному человеку.

Кстати, должен заметить, что термин «эффект Барнхауза» выдумали газетчики, и сам профессор Барнхауз никогда его не употреблял. Он назвал это явление «психодинамизмом» или «силой мысли».

Вряд ли есть на свете хоть один цивилизованный человек, которого надо убеждать, что такая сила существует. Ее разрушительная мощь хорошо известна во всех столицах мира. Должно быть, человечество уже давно догадывалось о ее существовании. Все знают, что некоторым людям особенно везет в тех играх, где приходится иметь дело с неодушевленными предметами — например, бросать кости. Профессор Барнхауз открыл, что всякое «везение» — вполне измеримая сила и что у него самого эта сила воздействия на предметы достигла невероятных размеров.

По моим расчетам, сила профессора Барнхауза к тому времени, когда он ушел в подполье, была примерно в пятьдесят пять раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Он вовсе не хвастался, когда сказал генералу Хонесу Баркеру накануне операции «Мозговой штурм»:

— Вот сейчас, не вставая из-за стола, я, пожалуй, могу стереть с лица земли все, что угодно, от Джо Луиса* до Великой Китайской стены.

Печатается по изданию: М., «Молодая гвардия», 1973. (Библиотека современной фантастики, т. 25).

* Джо Луис — знаменитый боксер.

Понятно, что многие считают, будто профессор Барнхауз ниспослан нам свыше. Первая церковь Барнхауза в Лос-Анджелесе насчитывает многие тысячи прихожан. Но он ни телом, ни духом не похож на святого. Человек, который взял на себя всеобщее разоружение, холост, ниже среднего роста, полноват и склонен к сидячему образу жизни. Его ПИ (показатель интеллекта) — 143. Уровень вполне приличный, но ничего из ряда вон выходящего. Он, конечно, не бессмертен, но пока что вполне здоров и собирается справлять свое сорокалетие. Если ему сейчас и приходится жить в одиночестве, это вряд ли его особенно беспокоит. Когда я с ним работал, он был очень тихий и застенчивый человек и явно предпочитал книги и музыку обществу своих коллег.

Ничего сверхъестественного ни в нем самом, ни в его способностях нет. Его психодинамические излучения подчиняются многим физическим законам, так же как и радиоволны. Все, наверное, слышали в своих радиоприемниках оглушительный треск от «статического поля Барнхауза». Солнечные пятна и возмущения в ионосфере также влияют на эти излучения.

Но все же они в некоторых отношениях существенно отличаются от обычных радиоволн. По желанию профессора вся энергия психодинамизма может быть сосредоточена в любой точке, и сила воздействия не зависит от расстояния. Таким образом, психодинамизм имеет бесспорное преимущество перед бактериями или атомными бомбами, не говоря уж о том, что его применение не требует никаких затрат: профессор может избирательно воздействовать на личности или объекты, угрожающие обществу, вместо того чтобы истреблять целые народы во имя сохранения международного равновесия.

Генерал Хонес Баркер заявил Комитету национальной обороны: «Пока мы не отыщем Барнхауза, защиты от «эффекта Барнхауза» не существует. Попытки «заглушить» или экранировать излучения провалились. Премьер Слезак мог бы и не расходовать такие баснословные суммы на «барнхаузоустойчивое» убежище. Почти четырехметровая толщина свинцового перекрытия не помешала профессору Барнхаузу дважды сбить его с ног, когда он там отсиживался.

Начались разговоры о том, что необходимо разыскать людей, в которых таится та же самая сила. Сенатор Уоррен Фоуст потребовал ассигнований на эту работу и провозгласил новый лозунг: «Кто владеет эффектом Барнхауза, владеет миром!» Комиссар Кропотник высказался примерно в том же духе, и началась новая дорогостоящая гонка вооружений, только с особым уклоном.

Каждое правительство носит теперь со своими лучшими игроками в кости, как будто они физики-атомщики. Возможно, что на Земле, кроме меня, найдется сотни две одаренных психодинамистов. Но, не владея техникой профессора, они так и останутся всего-навсего удачливыми игроками в кости. Даже

зная секрет, они превратятся в опасное оружие не раньше чем через десять лет. Как раз такой срок понадобился и самому профессору. Так что «эффектом Барнхауза» пока что владеет — и надолго — только сам Барнхауз.

Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно полтора года назад, в тот день, когда была назначена операция «Мозговой штурм». Именно тогда психодинамизм приобрел политическое значение. Но на самом деле это явление было открыто в мае 1942 года, когда профессор отказался от специального назначения и записался рядовым в артиллерию. Психодинамизм был открыт так же случайно, как рентгеновы лучи или вулканизация резины.

Время от времени товарищи по казарме звали рядового Барнхауза перекинуться в кости. Он никогда не играл в азартные игры, и обычно ему удавалось отвертеться. Но как-то вечером он сел играть просто из вежливости. Этот факт можно назвать катастрофой или чудом — все зависит от точки зрения на то, что сейчас происходит в мире.

«Выбрось-ка семерку, папаша!» — сказал кто-то. И «папаша» выбросил семерку десять раз кряду, так что обчистил всех до единого*. Потом он вернулся на свою койку и из любви к математике вычислил вероятность такого совпадения на обороте счета из прачечной. Оказалось, что получается один шанс из десяти миллионов. Это его озадачило, и он попросил кости у соседа. Он снова попробовал выбросить семерку, но на этот раз ничего не вышло. Тогда он немного полежал, а потом опять стал бросать кости. И снова выбросил семерку десять раз подряд.

Другой на его месте присвистнул бы и отмахнулся от этого чуда. А профессор стал размышлять, при каких обстоятельствах ему оба раза так повезло. И он нашел единственный общий фактор: *и в том и в другом случае как раз перед самым броском в его мозгу промелькнула одна и та же мысль*. Именно эта мысль таким образом организовала мозговые клетки, что мозг профессора стал самым мощным оружием на Земле.

Первый уважительный отзыв о психодинамизме профессор услышал от соседа по койке. «Здорово бьешь, папаша, не хуже игрушечного пугача!» — сказал он, и эта явная недооценка, наверно, вызвала бы кривые улыбки у всех горе-демагогов мира. Да, профессор Барнхауз и вправду здорово бил. Хотя кости, послушные его воле, весили всего несколько граммов, так что сила, двигавшая ими, была минимальной, но самый

* Игральные кости — два кубика с точками от одной до шести на каждой грани. Семь и одиннадцать выигрывают, три и двенадцать проигрывают. Любое другое число выигрывает только тогда, когда выпадает до появления следующей семерки.

факт существования такой силы мог перевернуть весь земной шар.

Он не сообщил о своем открытии из профессиональной осторожности. Ему нужно было получить новые данные, которые легли бы в основу теории. Впоследствии, когда сбросили бомбу на Хиросиму, страх заставил его молчать. Но никогда его эксперименты не были «буржуазным заговором против истинной демократии мира», как выразился премьер Слезак. Профессор даже не знал, к чему они приведут.

Со временем он открыл еще одно поразительное свойство психодинамизма: его сила возрастала от упражнения. Через шесть месяцев он мог воздействовать на кости, которыми играли на другом конце казармы; а когда он демобилизовался в 1945-м, от одного его взгляда из печных труб на расстоянии трех миль сыпались кирпичи.

Совершенно бессмысленно обвинять профессора Барнхауза в том, что он мог бы шутя выиграть последнюю войну и просто не захотел этим заниматься. К концу войны он обладал всего лишь силой и дальностью 37-миллиметрового орудия — никак не больше. Его психодинамическая мощность превысила мощность мелкокалиберного вооружения только после того, как он, демобилизовавшись, вернулся в Вайандотт-колледж.

Я поступил в аспирантуру два года спустя после возвращения профессора. Совершенно случайно его назначили моим руководителем по теме. Я был очень огорчен этим назначением, потому что в глазах преподавателей и студентов профессор был довольно нелепой фигурой. Он пропускал занятия и сбивался во время лекций. По правде говоря, к тому времени его чудачества из смешных превратились в невыносимые.

«Мы только временно прикрепляем вас к Барнхаузу,— сказал мне декан факультета. Он был смущен и как будто старался оправдаться.— Барнхауз — блестящий ум, поверьте. Это не сразу видно, особенно теперь, после его возвращения, но до войны его работа принесла известность нашему маленькому институту».

Но сплетни сплетнями, а то, что я увидел собственными глазами, когда впервые вошел в лабораторию профессора, напугало меня еще больше. Везде лежал толстый слой пыли; ни к книгам, ни к приборам никто не прикасался месяцами. Профессор дремал за столом. О какой-то деятельности говорили лишь три пепельницы, ножницы и свежая газета с вырезками на первой странице.

Он поднял голову и взглянул на меня мутными от усталости глазами.

— Привет,— сказал он.— Ночами не сплю, не высыпаюсь.— Он зажег сигарету, руки у него немного дрожали.— Это вам я должен помочь с диссертацией?

— Да, сэр,— сказал я. За эти несколько минут мои сомнения переросли в тревогу.

— Сражались в Европе? — спросил он.

— Да, сэр.

— Там ведь кое-где камня на камне не осталось, а? — Он помрачнел. — Понравилось на войне?

— Нет, сэр.

— Как по-вашему, скоро опять будет война?

— Похоже на то, сэр.

— И никак нельзя помешать?

Я пожал плечами:

— Кажется, дело безнадежное.

Он пристально посмотрел на меня.

— Слышали о международных соглашениях, об ООН и так далее?

— Только то, что пишут в газетах.

— И я тоже, — вздохнул он. Потом показал мне толстую папку с вырезками. — Я никогда не обращал внимание на международные отношения. А теперь я их изучаю так же, как крыс в лабиринтах. И все говорят мне одно и то же: «Безнадежное дело...»

— Разве что произойдет чудо, — начал я.

— Верите в чудеса? — быстро спросил профессор. Он вынул из кармана пару игральные кости и сказал: — Попробую выбросить двойки.

Он выбросил двойки три раза подряд.

— Вероятность — один шанс из сорока семи тысяч. Вот вам чудо.

Он просиял на мгновение, а потом оборвал разговор — оказалось, что у него лекция, которая уже десять минут как должна была начаться.

Он не торопился открывать мне свою тайну и больше не упоминал о фокусе с игральными костями. Я решил, что кости были со свинцом, и совсем об этом позабыл. Он дал мне задание наблюдать, как крысы-самцы перебегают через металлические пластины, находящиеся под током, чтобы добраться до кормушки или до самки. Эти эксперименты были закончены еще в тридцатых годах и не нуждались в проверке. Но мало того, что я возился с бессмысленной работой — профессор еще допекал меня неожиданными вопросами: «Думаете, стоило бросать бомбу на Хиросиму?» или: «Как по-вашему, любое научное открытие идет на пользу человечеству?»

Но вскоре мои огорчения кончились.

— Дайте бедным животным передохнуть, — сказал мне профессор однажды утром. (Я работал у него всего месяц). — Вы могли бы помочь мне решить более интересную проблему — а именно: в своем ли я уме.

Я рассадил крыс по клеткам.

— Это очень просто, — негромко объяснил он. — Смотрите на чернильницу на моем столе. Если с ней ничего не произойдет, скажите мне сразу, и я пойду потихоньку — и со спокойной ду-

шой, поверьте, — в ближайший сумасшедший дом.

Я робко кивнул.

Он запер дверь лаборатории и задернул шторы, так что мы на время очутились в полутьме.

— Я знаю, что я странный человек, — сказал он. — Я боюсь самого себя, отсюда и все странности.

— По-моему, вы немного эксцентричны, но вовсе не...

— Если с этой чернильницей ничего не случится, то можете считать, что я окончательно рехнулся, — перебил он меня, включая свет. Он прищурился. — Чтобы вы поняли, какой я псих, я вам скажу, о чем я думал в бессонные ночи. Я думал: а вдруг я смогу дать каждому народу все, что ему нужно, и навсегда покончить с войнами? Может быть, я сумею прокладывать дороги в джунглях, орошать пустыни, буду воздвигать плотины за одну ночь.

— Да, сэр.

— Смотрите на чернильницу!

Борясь со страхом, я послушно уставился на чернильницу. Казалось, от нее исходило тонкое жужжание; потом она начала угрожающе вибрировать и вдруг запрыгала по столу, описывая круги. Остановилась, опять зажужжала, потом раскалилась докрасна и, вспыхнув сине-зеленым огнем, разлетелась на куски.

Должно быть, у меня волосы встали дыбом. Профессор тихонько рассмеялся. Мне наконец удалось вымолвить:

— Магниты?

— Если бы это были магниты! — пробормотал профессор. Тут он и рассказал мне о психодинамизме. Он знал только одно: что такая сила существует. Объяснить ее он не мог.

— Она во мне, и только во мне, — вот это ужасно.

— Это скорее поразительно и чудесно! — сказал я.

— Если бы я только и умел, что показывать танцующие чернильницы, я радовался бы от души. — Он поежился. — Но я не игрушечный пистолетик, мой мальчик. Если хотите, проедемся за город, и я вам объясню.

Он рассказал мне о скалах, стертых в порошок, о поверженных дубах, о пустых сараях, начисто снесенных в радиусе пятидесяти миль от нашего поселка.

— Я просто сидел здесь, на месте, просто думал — и думал даже не очень напряженно. — Он нервно поскреб в затылке. — Я никогда не решался по-настоящему сосредоточиться — боялся натворить бед. Сейчас я дошел до того, что стоит мне только захотеть — и все летит к чертям.

Наступило неловкое молчание.

— Еще несколько дней назад я считал, что мою тайну необходимо сохранить: страшно подумать, как могут использовать эту силу, — продолжал он. — А теперь я понимаю, что не имею на это права, так же как никто не имеет права хранить атомную бомбу.

Он порылся в куче бумаг.

— По-моему, здесь сказано все, что нужно.— Он протянул мне черновик письма к государственному секретарю.

«Дорогой сэр.

Я открыл новую силу, которая не требует никаких затрат и при этом, возможно, окажется полезнее атомной энергии. Мне бы хотелось, чтобы эта сила служила делу мира, и поэтому я обращаюсь к вам за советом, как это сделать лучше всего.

С уважением,
А. Барнхауз».

— Что из этого выйдет, я совершенно себе не представляю,— сказал профессор.

И вот начался непрерывный трехмесячный кошмар. Днем и ночью политические деятели и военные тузы приезжали смотреть профессорские фокусы.

Через пять дней после отправки письма нас перебросили в старинный особняк под Шарлотсвилем, в штате Вирджиния. Мы жили за колючей проволокой под охраной двадцати солдат и носили название «Проект Доброй воли» под грифом «Совершенно секретно».

Для компании к нам были приставлены генерал Хонес Баркер и государственный чиновник Уильям К. Катрелл. Когда профессор распространялся о мире во всем мире и о всеобщем благоденствии, они с вежливой улыбочкой начинали говорить о практических мерах и о необходимости учитывать реальные факторы. После нескольких недель такой обработки профессор из мягкого и терпеливого человека превратился в закоренелого упрянца.

Сначала он согласился выдать те мысли, которые превратили его мозг в психический излучатель. Но Катрелл и Баркер так к нему приставали, что он пошел на попятную. Раньше он говорил, что эти сведения можно просто передать устно. Потом он стал утверждать, что для этого потребуются подробный письменный ответ. А однажды за обедом, сразу после того, как генерал Хонес Баркер огласил секретные инструкции по операции «Мозговой штурм», профессор вдруг заявил:

— На подготовку отчета понадобится по крайней мере пять лет.— Он сердито уставился на генерала.— А может, и все двадцать.

Это недвусмысленное заявление могло бы всех обескуражить, если бы не радостное предвкушение операции «Мозговой штурм». У генерала было предпраздничное настроение.

— В этот самый момент корабли-мишени подходят к Каролинским островам,— восторженно провозгласил он.— Целых

сто двадцать судов! Одновременно в Мехико подготавливают десять «фау-2» и снаряжают пятьдесят реактивных бомбардировщиков с радиоуправлением для учебной атаки на Алеутские острова. Вы только подумайте!

Он радостно репетировал инструкции:

— Ровно в одиннадцать ноль-ноль в следующую среду, профессор, я даю вам приказ *сосредоточиться*, и вы начинаете изо всех сил думать, стараясь потопить корабли, взорвать «фау-2» в воздухе и сбить бомбардировщики, пока они не долетели до цели! Сумеете, а?

Профессор посерел и закрыл глаза.

— Я уже говорил вам, мой друг, что сам не знаю, на что я способен.— И он огорченно добавил: — А эту операцию «Мозговой штурм», которую вы даже не обсудили со мной, я считаю ребячеством, и притом несообразно дорогим.

Генерал Баркер напыжился:

— Сэр,— произнес он,— ваша специальность — психология, и я не пытаюсь давать вам советы в этой области. А мое дело — защита отечества. У меня за плечами тридцать лет безупречной службы, и я попросил бы вас не критиковать мои установки.

Профессор обратился к мистеру Катреллу:

— Послушайте,— сказал он умоляюще,— ведь мы же стараемся избавиться от войны и военщины! Как хорошо было бы попробовать перегнуть облака туда, где сейчас засуха,— такие вещи гораздо нагляднее, да и мне было бы легче. Конечно, я совсем не разбираюсь в международной политике, но все же вряд ли кто-нибудь захочет драться, если всего будет вдоволь. Мистер Катрелл, я бы с удовольствием заставлял генераторы работать без воды и угля, орошал бы пустыни и все такое. Знаете, вы бы могли подсчитать, в чем нуждается каждая страна, и я обеспечу им всем полное процветание — это не будет стоить ни пенса американским налогоплательщикам.

— Неукоснительная бдительность — вот цена свободы,— многозначительно произнес генерал.

Мистер Катрелл взглянул на генерала с легкой неприязнью.

— К сожалению, генерал по-своему прав,— сказал он.— Как я хотел бы, чтобы мир был способен принять ваши идеалы, но он просто к этому не готов. Мы окружены не братьями, а врагами. Мы находимся на грани войны не потому, что не хватает еды или энергии: идет борьба за власть. Кто будет владеть миром — мы или они?

Профессор сумрачно кивнул и встал из-за стола.

— Прошу прощенья, джентльмены. В конце концов кому, как не вам, знать, что нужно нашей стране. Я готов выполнить все ваши указания.— Он обернулся ко мне.— Не забудьте завести засекреченные часы и выпустить номенклатурную кошку,— проворчал он и пошел вниз по лестнице в свою спальню.

Из соображений национальной безопасности операция «Моз-

говой штурм» проводилась в тайне от американских граждан, на которых легли все расходы. Наблюдатели, технический персонал и военные, привлеченные к работе, знали, что предстоят испытания, но о том, что именно будут испытывать, они не имели ни малейшего представления. Об этом знали только тридцать семь главных участников, в том числе и я.

В Вирджинии день операции «Мозговой штурм» выдался очень холодным. В камине трещали огромные поленья, и отблески пламени отражались в полированном металле сейфов, расставленных по стенам гостиной. От прелестной старинной обстановки осталась только двухместная козетка, выгашенная на середину комнаты, прямо против экранов трех телевизионных установок. Для остальных десяти человек, которым позволили присутствовать, принесли длинную скамью. На экранах — слева направо — была видна пустыня — цель боевых ракет, корабли, назначенные на роль морских свинок, и тот участок неба, где должна была появиться ревушая стая радиоуправляемых бомбардировщиков.

За девяносто минут до назначенного часа по радио поступили сообщения, что ракеты приведены в боевую готовность, корабли-наблюдатели отошли на безопасную дистанцию и бомбардировщики легли на заданный курс. Немногочисленные зрители в Вирджинии расселись на скамье согласно чину, много курили и почти не разговаривали. Профессор Барнхауз оставался в своей спальне. Генерал Баркер носился по дому, как хозяйка, которой нужно приготовить праздничный обед на двадцать персон.

За десять минут до начала эксперимента генерал вошел в комнату, заботливо пропустив вперед профессора. Профессор был одет по-домашнему — теннисные туфли, серые шерстяные брюки, синий свитер и белая рубашка с отложным воротничком. Они сели рядышком на старинную козетку. Генерал вспотел от напряжения, а профессор был бодр и весел. Он взглянул на экран, закурил сигарету и откинулся на спинку диванчика.

— Вижу бомбардировщики! — крикнул наблюдатель с Алеутских островов.

— Ракеты стартовали! — проревел радист в Нью-Мехико.

Мы все сразу взглянули на большие электрические часы над камином, а профессор с улыбкой на лице продолжал созерцать телеэкраны. Генерал глухим голосом отсчитывал секунды:

— Пять... четыре... три... два... один... СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ!

Профессор Барнхауз закрыл глаза, сжал губы и стал поглаживать пальцами виски. Так он сидел около минуты. Изображения на телевизорах запрыгали, статическое поле Барнхауза заглушило радиосигналы. Профессор вздохнул, открыл глаза и удовлетворенно улыбнулся.

— Вы сделали все, что могли? — недоверчиво спросил генерал.

— Весь выложился,— ответил профессор.

Изображения на экранах пришли в норму, и радио донесло до нас восхищенные возгласы наблюдателей. Алеутское небо было исчерчено дымными следами объятых пламенем бомбардировщиков, с воем несущихся к земле. В тот же момент над пустыней появились букетики белых дымков, и мы услышали грохот далеких взрывов.

Генерал Баркер не верил своему счастью.

— Черт побери! — закудахтал он. — Черт побери, черт побери, черт побери!

— Смотрите! — закричал адмирал, сидевший рядом со мной. — А корабли-то целы!

— Пушки как будто опускаются,— заметил мистер Катрелл.

Мы все сгрудились возле экрана, чтобы лучше видеть, что там творится. Мистер Катрелл был прав. Корабельные орудия согнулись так, что стволы уперлись в палубу. И тут, в Вирджинии, поднялся такой крик, что не слышно было сообщений по радио. Мы были настолько поглощены этим зрелищем, что хватились профессора только после того, как два коротких взрыва от статического поля Барнхауза заставили нас замолчать. Радио вышло из строя.

Мы растерянно огляделись. Профессора не было. Часовой в панике распахнул дверь снаружи и заорал, что профессор сбежал. Он размахивал пистолетом, показывая на покореженные ворота, сорванные с петель. Вдалеке казенный автобус на полной скорости взлетел на гребень и скрылся в долине за горой. Удушливый дым застилал небо — машины все до одной были в огне.

— Черт, что же это на него накатило? — возопил генерал.

Мистер Катрелл, который только что выбежал за дверь, припелся обратно, дочитывая на ходу какую-то записку. Он сунул записку мне.

— Любовную записку оставил, миляга! Сунул под дверной молоток. Пусть уж наш юный друг прочитает ее вам, господа, а я пойду немного проветрюсь.

Я прочел вслух:

«Джентльмены! Будучи первым сверхоружием, обладающим совестью, я изымаю себя из арсенала государственной обороны. Оружие поступает подобным образом впервые в истории, но я уйду по чисто человеческим причинам.

А. Барнхауз».

Разумеется, с этого самого дня профессор приступил к систематическому уничтожению мировых запасов оружия, так что теперь армии можно вооружить разве что камнями и дубинками. Его деятельность не привела к установлению мира в полном смысле этого слова, но послужила началом нового

вида бескровной и увлекательной войны, которую можно назвать «войной болтунов». Все страны наводнены вражескими агентами, которые занимаются исключительно разведкой складов оружия. Эти склады аккуратнейшим образом уничтожаются, как только профессору сообщают о них через прессу.

Каждый день приносит не только новые сведения о запасах вооружения, стертых в порошок при помощи психодинамизма, но также и новые предположения о местопребывании профессора. За одну только прошлую неделю вышли три статьи, где с одинаковой уверенностью утверждалось, что профессор прячется в городе инков в Андах, скрывается в парижских клоаках или затаился в неисследованных недрах Карлсбадской пещеры. Зная этого человека, я считаю, что для него такие убежища слишком романтичны и недостаточно комфортабельны. Многие люди охотятся за ним, но есть миллионы других, которые любят и защищают его. Мне приятно думать, что он сейчас живет в доме у таких людей.

Одно совершенно бесспорно: когда я пишу эти строки, профессор Барнхауз еще жив. Статическое поле Барнхауза прервало радиопередачу всего десять минут назад. За восемнадцать месяцев о его смерти было объявлено раз десять. Каждое сообщение было основано на смерти какого-нибудь неизвестного в период, когда статическое поле Барнхауза не обнаруживалось. После первых трех сообщений сразу же возникали разговоры о новом вооружении и о возобновлении войны. Но любители побряцать оружием убедились, как глупо раньше времени радоваться смерти профессора.

Не раз случалось, что громогласный оратор, во всеуслышание объявив конец архитирании Барнхауза, через несколько секунд уже выбирался из-под обломков трибуны и выпутывался из лохмотьев флагов. Но люди, готовые в любой момент развязать войну во всем мире, ждут в мрачном молчании, когда наступит неизбежное — конец профессора Барнхауза.

Вопрос о том, сколько еще проживет профессор, — это вопрос и о том, скоро ли мы дождемся благодати — новой мировой войны. У него в семье никто долго не жил: мать умерла сорока лет, а отец — сорока девяти; примерно того же возраста достигали его деды и бабки. Это значит, что он может прожить еще, ну, лет пятнадцать, если его по-прежнему будут скрывать от врагов. Но стоит только вспомнить о том, как эти враги многочисленны и сильны, и пятнадцать лет кажутся целой вечностью. Как бы не пришлось говорить о пятнадцати днях, часах или минутах.

Профессор знает, что ему недолго осталось жить. Я понял это из его записки, оставленной в моем почтовом ящике в сочельник. Напечатанная на грязном клочке бумаги, эта записка без подписи состояла из десяти фраз. Девять из них на-

писаны на варварском жаргоне психологов и полны ссылок на неизвестные источники: с первого взгляда они показались мне совершенно бессмысленными. Десятая, наоборот, составлена просто, и в ней нет ни одного учебного слова, но по содержанию эта фраза была самой нелепой и загадочной из всех. Я чуть не выбросил записку, думая о том, какое у моих коллег превратное представление о шутках. Но все же почему-то я бросил ее в груды бумаг у себя на столе, где валялись, между прочим, и игральные кости, принадлежавшие профессору.

И только через несколько недель до меня дошло, что это было послание, полное смысла, и что первые девять фраз, если в них разобраться, содержат в себе точные инструкции. Но десятая фраза по-прежнему оставалась непонятной. Только вчера я наконец сообразил, как связать ее с остальными. Эта фраза пришла мне в голову вечером, когда я рассеянно подбрасывал профессорские «кубики».

Я обещал отправить этот отчет в издательство сегодня. После того, что произошло, мне придется нарушить обещание или послать неоконченную статью. Но я задержу ее ненадолго: одно из немногих преимуществ, которыми пользуются холостяки вроде меня, это свобода передвижения с места на место, от одного образа жизни к другому. Необходимые вещи можно уложить за несколько часов. К счастью, у меня есть довольно значительные средства, и всего за неделю эти суммы можно перевести на анонимные счета в разных местах. Как только с этим будет покончено, я вышлю статью.

Я только что вернулся от врача, который утверждает, что у меня превосходное здоровье. Я еще молод и, если повезет, могу дожить до весьма преклонного возраста, потому что мои родичи с обеих сторон славились своей долговечностью.

Короче, я собираюсь скрыться.

Рано или поздно профессор Барнхауз умрет. Но я буду наготове задолго до этого. И я говорю воякам сегодняшнего — надеюсь, что и завтрашнего дня: берегитесь! Умрет Барнхауз, но «эффект Барнхауза» останется.

Вчера ночью я еще раз попытался выполнить инструкции, написанные на клочке бумаги. Я взял профессорские «кубики» и, мысленно повторяя последнюю, самую бредовую фразу, выбросил подряд пятьдесят семерок.

До свиданья!

Наследство Фостера

Я — продавец умных советов для богатых людей. Служу я в фирме, которая дает указания, как выгоднее размещать капитал. Прожить на мою зарплату можно, но пока я новичок в этом деле, и тут особенно не разойдешься. Да еще пришлось завести специальное обмундирование: мягкую шляпу, темно-синее пальто, двубортный костюм, как у банкиров, — серый, в полосочку, — строгий полосатый галстук, полдюжины белых рубашек, полдюжины черных носков и серые перчатки.

К клиентам я езжу на такси — аккуратный, чистенький, вежливый. Я веду себя так, будто сам только что загреб уйму денег на выгодной биржевой операции, а к ним зашел скорее по общественной линии, а вовсе не по делу. Когда я прихожу, весь в новом, с хрустящими бумагами и текущими анализами биржевых операций в красивых папках, клиенты обычно, как и положено, реагируют на мой визит как на посещение священника или врача: я взял дело в свои руки, значит, все пойдет прекрасно.

Чаще всего я общаюсь со старыми дамами, которые благодаря железному здоровью оказались наследницами немалой толики земных благ. Я перелистываю их акции и излагаю им мнение наших экспертов, как и куда вложить эти бумаги, — богатство, — их запасы, — пусть растут и процветают. Без дрожи в голосе я говорю о десятках тысяч долларов, с полным спокойствием смотрю на ценные бумаги — тысяч на сто — и только с видом знатока произношу: «Мммм-м-мда... М-мда...»

Так как у меня лично никаких ценных бумаг нет и в помине, моя работа несколько похожа на работу голодного мальчишки, развозящего сладости из кондитерской. Но по-настоящему я это почувствовал, только когда Герберт Фостер попросил меня проверить его финансы.

Он позвонил мне как-то вечером и сказал, что приятель порекомендовал ему обратиться ко мне, так не могу ли я прийти поговорить с ним по одному делу. Я умылся, побрился, почистил башмаки, надел свой «мундир» и с важным видом подъехал к нему на такси.

У людей моей профессии, а может быть, и у всех людей, есть неприятная привычка — определять годовой заработок человека по его жилью, машине и одежде. Герберт Фостер зарабатывал не больше шести тысяч долларов в год — за это я ру-

чался. Поймите меня правильно: против людей со скромным достатком у меня нет возражений, кроме одного, очень важного: на них я ничего заработать не могу. Было как-то обидно, что Фостер отнимет у меня время из-за каких-нибудь несчастных акций ценой в несколько сот долларов. Ну, скажем, даже в тысячу долларов: все равно я на этом заработаю от силы доллара два или три.

И вот я сижу у Фостера в стандартном домике послевоенного образца — из готовых деталей, с пристройкой-мезонином. Видно, хозяева воспользовались предложением местного магазина — сразу купить всю обстановку для трехкомнатной квартиры, включая и пепельницы, и плевательницу, и картины на стены, всего 199 долларов 99 центов. Но раз я уже влип, черт бы меня подрал, надо будет посмотреть его жалкие бумажонки и поскорей убраться отсюда.

— Славный у вас домик, мистер Фостер, — сказал я. — А это, наверное, ваша милейшая супруга?

Худая и явно въедливая женщина деланно улыбалась мне. На ней был полинявший халат с изображениями охоты на лисц. Узор халата никак не уживался с яркой обивкой кресла, и мне пришлось сощурить глаза, чтобы выделить ее лицо из этой пестрой безвкусицы.

— Рад познакомиться, миссис Фостер, — сказал я.

Около нее лежала груда носков и белья для починки, и Герберт сказал, что зовут ее Альма — вполне подходящее имя.

— А это — молодой хозяин, — сказал я. — Умница, сразу видно. И похож на папочку.

Двухлетний карапуз вытер грязные ручонки об мои брюки, шмыгнул носом и потопал к пианино. Он встал у края клавиатуры и начал барабанить на самой высокой ноте — минуту, потом другую, потом третью.

— Музыкальный, — сказала Альма, — весь в отца.

— А вы играете, мистер Фостер?

— Только классику, — сказал Герберт. Я впервые разглядел его как следует. Худощавый, круглое веснушчатое лицо, крупные зубы — такая внешность у меня обычно ассоциировалась с ловкачами, со всезнайками. Трудно было поверить, что он доволен своей некрасивой женой и привязан к семейству, как он старался показать. А может быть, мне только почудилось, что в его спокойном взгляде таится какая-то тихая безнадежность.

— А тебе не пора на собрание, дорогая? — спросил он жену.

— Нет, в последнюю минуту все отменили.

— Так вот, насчет ваших капиталовложений... — начал я.

Герберт растерялся:

— Как вы сказали?

— Я про ваши капиталовложения — ваши ценные бумаги.

— А-а, да, да. Зайдемте, пожалуйста в спальню. Там поговорим спокойнее.

Альма отложила шитье:

— Это что еще за бумаги?

— Займы, дорогая. Государственный заем.

— Надеюсь, ты не собираешься их продавать, Герберт?

— Нет, Альма. Мне только надо посоветоваться.

— Понятно,— сказал я, нащупывая почву.— А... ммм... на какую сумму у вас заем?

— Триста пятьдесят долларов,— гордо сказала Альма.

— Ах, так,— сказал я.— Зачем же нам уединяться в спальню? Мой совет,— и я с вас ничего за это не возьму,— держите свой капиталец, пока он не станет давать прибыль. А теперь разрешите мне вызвать такси...

— Прошу вас,— сказал Герберт, стоя в дверях спальни,— мне надо еще кое о чем вас спросить.

— О чем это? — сказала Альма.

— Есть кое-какие планы на дальнейшее время,— неопределенно сказал Герберт.

— Ты бы лучше планировал на ближайшее время, нам в этом месяце расплачиваться с бакалейщиком.

— Прошу вас,— повторил Герберт.

Я пожал плечами и пошел за ним в спальню. Он закрыл за мной двери. Сидя на краю кровати, я смотрел, как он отворил небольшую отдушину в стене, где проходили водопроводные трубы из ванной. Он просунул руку вверх и, крикнув вытащил оттуда большой конверт.

— Ого,— сказал я равнодушно.— Так вот куда вы прячете бумаги. Остроумно. Только зря вы трудились, мистер Фостер. Я прекрасно знаю, что такое государственный заем.

— Альма! — позвал Фостер.

— Да, Герберт?

— Свари-ка нам кофе!

— Я по вечерам кофе не пью,— сказал я.

— У нас с обеда остался,— сказала Альма.

— Не сплю, если вечером выпью кофе,— сказал я.

— Нет, ты свежий завари,— сказал Герберт.— Свежий!

Заскрипели пружины кресла, неохотно зашаркали на кухню шаги.

— Держите,— сказал Герберт, бросая конверт мне на колени.— Я в этом деле ничего не понимаю, мне нужен деловой совет.

Ладно, дам этому типу деловой совет насчет его несчастного государственного займа в триста пятьдесят долларов.

— Это самые надежные бумаги,— сказал я.— Они не так поднимаются в цене, как многие другие акции, и проценты по ним не больше, но зато они надежнее всего. Советую вам ни в коем случае с ними не расставаться.— Я встал.— А теперь, если разрешите, я вызову такси.

— Вы их не посмотрели.

Я вздохнул и развязал красный шнурок на конверте. Ничего не поделаешь — придется полюбоваться этими бумагами. Я высыпал на колени займы и список каких-то акций. Быстро перелистав займы, я неторопливо прочел список акций.

— Ну что?

Я положил список на вылинявшее покрывало, и, стараясь сдерживать волнение, спросил:

— Ммммм-нда-а... Простите, а вы мне не скажете, откуда к вам попали акции из этого списка?

— От деда в наследство, два года назад, — сказал он. — Бумаги лежат на хранении у адвоката, который ведал его делами. Он мне и послал этот список.

— А вы знаете, сколько стоят эти акции?

— Да, их оценили, когда вводили меня в наследство. — Он назвал мне цифру, и, к моему изумлению, вид у него при этом был какой-то туповатый, даже, пожалуй, недовольный.

— С тех пор они еще поднялись в цене, — сказал я.

— На сколько?

— По нынешним ценам они, пожалуй, стоят тысяч семьсот пятьдесят, мистер Фостер. Сэр, — добавил я.

Выражение его лица ничуть не изменилось. Мои слова произвели на него примерно такое же впечатление, как будто я ему сообщил, что зима нынче холодная. Он поднял брови, услышав, что Альма вернулась из кухни в комнату.

— Тссс! — сказал он.

— Она ничего не знает?

— Что вы! Нет, нет! — Он сам удивился своей горячности. — Просто время еще не подошло.

— Если разрешите взять этот список, я поручу нашей нью-йоркской конторе сделать для вас полный отчет и выработать дальнейшие рекомендации, — шепнул я. — Можно мне звать вас просто Гербертом, сэр?

Мой клиент Герберт Фостер три года не покупал себе нового костюма. У него никогда не было больше одной пары ботинок. Он беспокоился, что вовремя не заплатит взнос за свою подержанную машину, и питался рыбными консервами и сыром, считая, что мясо обходится слишком дорого. Его жена сама шила себе платья, костюмчики Герберту-младшему, занавески и чехлы на мебель — все из одного куска, купленного по дешевке на распродаже. Фостеры изводились до чертиков, решая, купить ли для своего автомобиля новые шины или подержанные, а телевизор они ходили смотреть к знакомым через два дома. Они упорно старались прожить на скудный заработок Герберта — он служил бухгалтером в оптовой фирме.

Видит бог — ничего постыдного в таком образе жизни нет, я, например, живу куда безалаберней, но было довольно не-

лепо видеть это, зная, что ежегодный доход Герберта, после выплаты всех налогов, составлял примерно тысяч двадцать.

Я поручил нашим специалистам оценить фостеровские бумаги, проанализировать все варианты роста прибылей, все колебания, возможные и в военной и в мирной обстановке, во время инфляции или падения цен, и так далее. Обзор занял около двадцати страниц — таких обзоров я еще своим клиентам не посылал. Обычно мы посылаем отчеты в картонных папках. Отчет для Герберта переплели в красный кожмит.

Я получил этот отчет в субботу днем и позвонил Герберту, — можно ли зайти, у меня для него есть очень хорошие новости. При беглом обзоре бумаг я их явно недооценил: выяснилось, что они на сегодняшний день стоят около восьмисот пятидесяти тысяч долларов.

— Теперь у меня есть все данные, полный анализ и советы специалистов, — сказал я, — и перспективы у вас отличные, мистер Фостер, просто отличные. Надо только изменить некоторые вложения, может быть, кое-где учесть спрос, но в основном...

— А вы сами сделайте все, что надо, — сказал он.

— Но когда же мы сможем все обсудить? Нам непременно надо посоветоваться, вместе решить. Сегодня вечером, например, я свободен.

— А я вечером работаю.

— Сверхурочно, на службе?

— Нет, другая работа — в ресторане. Там я занят весь конец недели — в пятницу, субботу и воскресенье, по вечерам.

Меня передернуло. У этого человека с его ценных вкладов ежедневно набегают не меньше семидесяти пяти долларов, а он три вечера в неделю работает дополнительно, чтобы свести концы с концами.

— А в понедельник?

— Играю на органе в церкви, там хор репетирует.

— Так во вторник?

— Добровольная пожарная дружина собирается по учебной тревоге.

— В среду?

— Играю на рояле в церкви — там кружок народного танца.

— А в четверг?

— Ходим с Альмой в кино.

— Так когда же?

— Да вы сами делайте все, что надо.

— А разве вас не интересует, что я буду делать?

— Зачем мне интересоваться?

— Мне как-то стало бы легче, если бы вы были в курсе.

— Хорошо, в четверг, в двенадцать, позавтракаем вместе.

— Прекрасно. Но, может быть, вы просмотрите этот отчет и у вас найдутся вопросы?

Голос у него был недовольный.

— Ну ладно, ладно. Сегодня я дома до девяти вечера. Если не трудно, занесите отчет.

— Да, еще одно, Герберт.— Я приберег сюрприз под конец.— Я здорово обсчитался, когда назвал вам стоимость ваших бумаг. Теперь им цена никак не меньше восьмисот пятидесяти тысяч.

— А-аа...

— Я говорю, что вы на сто тысяч долларов богаче, чем мы думали.

— Угу. Ладно, делайте то, что считаете нужным.

— Хорошо, сэр,— сказал я, но он уже повесил трубку.

Меня задержали дела, и я попал к Фостерам только в четверть десятого. Герберт уже ушел. Альма открыла мне дверь и, к моему удивлению, попросила отчет, который я спрятал под пальто.

— Герберт сказал, что мне там смотреть нечего,— сказала Альма,— так что не волнуйтесь, я туда и не загляну.

— Герберт так вам сказал?— спросил я осторожно.

— Да, он сказал, что это негласные сведения о тех акциях, которые вы хотите ему продать.

— Ага, м-да, конечно. Ну что ж, раз он разрешил оставить бумаги вам, возьмите, пожалуйста.

— Он мне сказал, что ему пришлось дать вам обещание — никому эти бумаги не показывать.

— Что? Ах, да, да. Извините — такие у нашей фирмы правила.

В ней почувствовалась некоторая враждебность:

— Одно только могу вам сказать, и не глядя на ваши бумаги: ни одного займа я ему продавать не позволю, и никаких акций он покупать не будет.

— Да я никогда ему и не посоветую их продавать, миссис Фостер.

— Чего же вы тогда к нему ходите?

— Ну, как знать, а вдруг он когда-нибудь и сможет что-то купить,— сказал я и тут увидел, что руки у меня в чернилах,— видно, запачкал перед уходом к Фостерам.

— Вы не разрешите мне вымыть руки?— спросил я.

Она очень неохотно впустила меня, стараясь держаться подальше, насколько позволял узкий коридорчик.

В ванной я думал о списке ценных бумаг, который Герберт вытащил из-под фанерной обшивки. Бумаги эти означали зимний отдых во Флориде, филе-миньон, старое бургундское, «ягуары», шелковое белье, обувь на заказ, кругосветные путешествия... Словом, что ни назовешь, все было доступно Герберту Фостеру. Я тяжело вздохнул: мыло в фостеровской мыльнице было все в пятнах, не очень чистое, слепленное в ко-

мок из маленьких обмылков разных сортов.

Я поблагодарил Альму и пошел к выходу. Проходя мимо камина, я остановился и взглянул на небольшую раскрашенную фотографию:

— Хорошо вы тут вышли,— сказал я, делая робкую попытку наладить отношения.— Мне очень нравится.

— Все так говорят. Только это не я. Это мать Герберта.

— Поразительное сходство,— сказал я. Это была чистая правда. Герберт женился на такой же точно девушке, как его добрый старый папаша.— А это фотография его отца?

— Нет, моего. Нам его отец тут не нужен.

Как видно, я попал в большое место. Может, хоть теперь я что-то узнаю.

— Герберт такой славный человек,— сказал я,— наверное, и отец у него был хороший?

— Он бросил жену и ребенка. Вот вам и хороший. Вы лучше при Герберте о нем не вспоминайте.

— Простите. Значит, все хорошее Герберт унаследовал от матери?

— Она была святая. Это она воспитала Герберта в страхе божьем, вырастила человеком порядочным, честным.— Голос Альмы звучал сурово.

— А она тоже была музыкантшей?

— Нет, это у него от отца. Но играет Герберт совсем по-другому: вкус у него хороший, любит классику, как его мать.

— Отец, наверно, играл в джазе? — подсказал я.

— Да, он любил играть на рояле в притонах, дышать дымом, пить джин, только бы не сидеть дома, с женой и ребенком. И мать Герберта наконец сказала — пусть выбирает...

Я сочувственно кивнул. Видно, Герберт потому и считает свое богатство неприкосновенным, грязным, что оно перешло к нему по наследству от отцовских предков.

— А вот дедушка, который умер два года назад...

— Он содержал Герберта с матерью, когда его сын их бросил. Герберт его обожал.— Она грустно покачала головой:— Умер без гроша: нищим.

— Какая жалость!

— Я и то надеялась, может, он нам хоть что-то оставит, чтобы Герберту по вечерам не работать,— сказала Альма.

Мы пытались перекричать шум и грохот посуды в тесном кафетерии, где Герберт завтракал ежедневно. Угощал я,— вернее, моя фирма, и заплатил я целых восемьдесят пять центов!

Я сказал:

— послушайте, Герберт, прежде чем решать дальнейшие вопросы, надо установить — чего вы хотите от ваших капиталовложений: чтобы они постепенно росли или же давали доход немедленно?

Это было стандартное вступление к деловым переговорам с клиентами. Но чего ждал от своих вложений он, одному богу было известно. Явно не того, чего ждали все другие, — денег.

— Как вы скажете, — рассеянно проговорил Герберт. Он чем-то был расстроен и слушал меня не очень внимательно.

— Выслушайте же меня, Герберт. Вы должны понять одно: вы богатый человек. Вам надо обдумать — как выгоднее поместить ваше богатство.

— За этим я вас и пригласил. Чтобы не мне обдумывать, а вам. Не желаю я возиться со всякими налогами, закладами, перезакладами. Вы меня в эти дела не впутывайте.

— А ваши адвокаты перечисляли все дивиденды на ваш текущий счет?

— Да, там почти все цело. Я взял как-то тридцать два доллара на подарки к рождеству и сто пожертвовал на церковь.

— Сколько же у вас на счету?

Он подал мне сберегательную книжку.

— Неплохо, — сказал я. Несмотря на безумную расточительность — подарки к рождеству и щедрый дар церкви — он, худо-бедно, накопил пятьдесят тысяч двести двадцать семь долларов и тридцать три цента. — Разрешите спросить, отчего у человека с таким доходом может быть плохое настроение?

— Опять меня на работе ругали.

— Да вы купите всю их фирму и спалите к чертям.

— А я мог бы, верно? — Глаза у него вспыхнули, но сразу погасли.

— Герберт, да вы можете сделать все, что душе угодно.

— Да, вероятно... Зависит, как на это посмотреть.

Я наклонился к нему:

— А как именно вы на это смотрите, Герберт?

— Считаю, что каждый уважающий себя человек должен жить на свой заработок.

— Слушайте, Герберт...

— У меня прекрасная семья, жена, ребенок, у нас хороший дом, машина. И все заработано моими руками. Я свой долг по отношению к ним выполняю до конца. И я горжусь, что стал таким, каким меня хотела видеть моя мать, а не таким, как отец.

— Можно узнать — кем был ваш отец?

— Мне неприятно о нем говорить. Для него ни дома, ни семьи не существовало. Любил он по-настоящему только низкопробную музыку и всякие притоны, всякий сброд.

— Хороший он был музыкант, по-вашему?

— Хороший? — В его голосе зазвучало волнение, он весь напрягся, казалось, он сейчас выпалит что-то очень важное. Но тут же взял себя в руки: — Хороший? — повторил он уже равнодушно. — Да, конечно, но грубоват. Техника у него, конечно, была неплохая.

— И это вы от него унаследовали?

— Да, его руки, его пальцы, пожалуй. Но упаси меня бог от его характера.

— Но любовь к музыке у вас ведь тоже от него?

— Да, музыку я люблю, но никогда она не станет для меня наркотиком! — сказал он с ненужной горячностью.

— Угу... Ну, что ж...

— Никогда!

— Простите?

Глаза у него расширились:

— Я сказал, что никогда не допущу, чтобы музыка стала для меня наркотиком. Музыка мне нужна, но все же она мне подвластна, а не я ей.

Тема явно оказалась скользкой, и я перевел разговор на его финансы.

— Да, да, понятно. Но давайте поговорим о вашем капитале: как вы собираетесь его использовать?

— Часть нам с Альмой пойдет на старость лет, а большая часть достанется сыну.

— Но возьмите хотя бы немножко из сбережений, чтобы не работать по вечерам.

Он вдруг вскочил:

— Слушайте, я вас просил распоряжаться моими бумагами, а не моей жизнью. Если без этого вы не можете, я поищу кого-нибудь другого.

— Что вы, Герберт, мистер Фостер. Прошу прощения, сэр. Я хотел только полностью охватить всю картину.

Он сел, красный, как рак.

— Отлично, тогда уважайте мои убеждения. Я хочу жить на свои средства. Если мне надо брать вторую работу, чтоб свести концы с концами, что ж, это мой крест, и я должен его нести.

— Да, да, конечно. И вы совершенно правы, Герберт. Я вас за это уважаю.— («В сумасшедшем доме ему место», — подумал я.)— С сегодняшнего дня я все возьму в свои руки, помещу ваши деньги повыгодней.— На минуту я отвлекся, мимо шла красивая блондинка,— и не слышал, что сказал Герберт.

— Что вы сказали? — переспросил я.

— Сказал: «Если правое твое око соблазнит тебя, вырви его и брось».

Я было рассмеялся на эти слова, но тут же оборвал себя; Герберт говорил совершенно серьезно.

— Ну, ладно, скоро вы окончательно выплатите взнос за машину и тогда воспользуетесь заслуженным отдыхом по вечерам. Будет у вас чем гордиться: целую машину заработали в поте лица, всю, до последнего винтика.

— Один взнос остался.

— Тогда прощай, ресторан?

— Нет, надо будет еще выплачивать подарок ко дню рож-

деня Альмы — покупаю ей телевизор в рассрочку.

— И платить будете тоже из заработка?

— Но подумайте, насколько ценней будет подарок, если я на него сам заработаю!

— Да, сэр, тогда ей по вечерам скучать уже не придется.

— Что ж, если мне еще двадцать восемь месяцев придется по вечерам работать, так, ей-богу, ради нее и не то можно сделать.

Если биржевые операции пойдут тем же ходом, что и в последние три года, Герберт станет миллионером к тому времени, как выплатит последний взнос за телевизор для Альмы.

— Прекрасно,— сказал я.

— Я люблю свою семью,— сказал Герберт серьезно.

— Не сомневаюсь.

— Я свою жизнь ни на что не променяю.

— Вполне вас понимаю,— сказал я. У меня создалось впечатление, что он со мной спорит и что ему очень важно меня убедить.

— Когда я вспоминаю, чем был мой отец, а потом думаю — какую жизнь я для себя создал, то нет для меня в жизни большего удовольствия.

Мало же у Герберта было в жизни удовольствий, подумал я.

— Завидую вам,— сказал я.— Да, вы должны испытывать большое удовольствие.

— Очень большое,— сказал он решительно.— Да, очень, очень, очень...

Моя фирма занялась ценными бумагами Герберта, заменяя не очень прибыльные акции более прибыльными, выгодно помещая накопившиеся дивиденды,— словом, приводя его капитал в полный порядок. Я был восхищен тем, что сделала наша фирма с бумагами Герберта, но меня угнетала невозможность похвалиться нашей работой, даже перед ним самим.

Наконец я не выдержал и решил подстроить случайную встречу. Найду ресторан, где работает Герберт, и зайду туда перекусить, как любой гражданин. Доклад обо всех изменениях его капитала я как бы случайно захвачу с собой.

Я позвонил Альме, и она сказала адрес ресторана,— я о таком никогда и не слышал. Герберт ничего говорить не желал, так что я понял — место, как видно, неважное, да он так и сказал: «Надо нести этот крест».

Ресторанчик оказался куда хуже, чем я думал,— замызганный, темный, полный грохота и гула. Да, хорошее место выбрал Герберт, то ли желая искупить грехи блудного отца и проявить благодарные чувства к супруге, то ли поддержать собственное достоинство, зарабатывая хлеб в поте лица,— словом, сам выбрал, неважно зачем.

Я протолкался к бару между скучающими девицами и жуч-

ками с бегов. Пришлось орать, чтобы бармен услышал меня сквозь оглушительный шум. Когда до него дошел мой вопрос, он заорал в ответ, что ни про какого Фостера он слыхом не слышал. Видно, Герберт занимал самое что ни на есть ничтожное место в этом учреждении. Возился в грязи где-нибудь на кухне или в подвале. Характерно.

В кухне какая-то старая карга лепила подозрительные котлеты, прихлебывая пиво из огромной кружки.

— Я ищу Герберта Фостера.

— Нет тут никакого Герберта Фостера.

— Может, он в котельной?

— Нет тут никакой котельной.

— Слыхали такую фамилию — Фостер?

— Никакой такой фамилии не слышала.

— Спасибо.

Я снова сел за столик — надо было все обдумать. Очевидно, Герберт взял адрес этого кабака из телефонной книжки и сказал Альме, что там он работает по вечерам. Мне стало немного легче на душе. Наверно, у Герберта были более уважительные причины — держать под спудом восемьсот пятьдесят тысяч долларов, а вовсе не те, которые он мне изложил. Я вспомнил, что каждый раз, как я ему советовал бросить эту вторую службу, он морщился, как будто дантист подносил к нему иглу бормашины. Теперь я понял: как только он скажет Альме про свое богатство, у него пропадет возможность удирать от нее в свободные вечера.

Но что именно было Герберту дороже восьмисот пятидесяти тысяч? Пьянка? Наркотики? Женщины? Я вздохнул: напрасно я что-то выдумываю, ничего толком я по-прежнему не знаю. Подозревать Герберта в аморальности было немыслимо. Что бы он ни затеял, все делалось во имя добра. Мать до того его вышколила, а пороков отца он так стыдился, что я твердо верил — не может он сойти с пути праведного. Не стоило ломать голову, решил я, и заказал посошок на дорожку.

И тут я увидел, что Герберт Фостер, весь какой-то общипанный, загнанный, пробивается сквозь толпу. Всем своим видом он выражал неодобрение, словно праведник, попавший в блудилище вавилонское. Он держался до странности напряженно, даже локти отставил в стороны, подчеркнуто стараясь никого не коснуться и ни с кем не встретиться глазами. Никакого сомнения быть не могло: он испытывал тут муки ада, дикое унижение.

Я его окликнул, но он меня не заметил. Он был вне пределов досягаемости. Герберт весь окаменел от судорожных усилий — зла не видеть, зла не слышать, зла не знать.

Толпа в конце зала расступилась перед ним, и я подумал — сейчас он возьмет в темном углу щетку или тряпку. Но в конце прохода вдруг вспыхнул свет, и маленький белый рояль заблестел, как драгоценное украшение. Бармен поставил на

рояль стакан с джином и вернулся к стойке.

Герберт смахнул пыль с табурета носовым платком и, поморщившись, сел. Он вынул сигарету из кармана пиджака и закурил. И вдруг сигаретка стала медленно опускаться к углу рта, а Герберт все больше наклонялся к клавишам, и глаза у него сузились, словно он прищурился, разглядывая что-то необыкновенно прекрасное, вдали на горизонте.

И чудо: Герберт Фостер исчез. На его месте сидел другой человек. Не помня себя, он нацелил согнутые пальцы, как когти, и вдруг ударил по клавишам. И грянул исступленный, похабный, великолепный джаз, опалив воздух жарким дыханием призраков двадцатых годов.

Поздно ночью, у себя дома, я снова просмотрел свое произведение искусства — отчет о капиталовложениях Герберта Фостера, известного в кабаке под именем «Гаррис-фейерверк». Ни своего общества, ни деловых разговоров я в тот вечер «Фейерверку» не навязывал.

Через неделю-другую он должен был получить сочный кусок от одной из сталелитейных компаний. По трем нефтяным концернам платили дополнительные дивиденды. Трест сельскохозяйственных машин, — у него там было пять тысяч акций, — собирался предложить ему сделку — на каждой акции он зарабатывал три доллара.

Благодаря мне и моей фирме, а также подъему экономики, Герберт стал на несколько тысяч богаче, чем месяц тому назад. Я имел полное право гордиться, но мой триумф, — не считая комиссионных, конечно, — был для меня горше полыни.

Для Герберта уже никто ничего сделать не мог. Он получил все, чего хотел, задолго до того, как появилось наследство и вмешался я. Он был воплощением респектабельности, порядочности — всего, что вбила ему в голову мать. Но и в другом ему повезло. Заработка ему не хватало. И ему ничего не оставалось, как во имя священного долга перед женой, ребенком и домашним очагом служить тапером в низкопробном кабаке, пить джин, дыша перегаром, и три вечера в неделю становиться «Гаррисом-фейерверком» — сыном своего отца.

Эйфью

Леди и джентльмены из Федеральной Комиссии по коммуникациям, я рад, что имею возможность изложить здесь перед вами свои сведения по данной теме.

Весьма печально, скажу даже, прискорбно, что сведения об этом просочились наружу. Но коль скоро эти известия уже широко распространились и вызвали интерес официальных лиц, мне остается только рассказать вам все как есть и молить бога, чтобы он помог мне убедить вас в том, что наше открытие совершенно не нужно Америке.

Не стану отрицать, что все мы, Лью Гаррисон, радиокomentатор, доктор Фред Бокман, физик, и я сам, профессор социологии, обрели душевный покой. Да, было такое дело — обрели. Не стану также утверждать, что человеку не подобает стремиться к душевному покою. Но если кто-нибудь вообразит, что ему нужен душевный покой в том виде, в каком мы его обрели, пусть уж лучше старается заполучить хороший инфаркт.

Лью, Фред и я обрели душевный покой, сидя в креслах и включив приборчик размером с переносной телевизор. Никаких тебе зелий, золотых правил «Овладения Телом», и не надо нос совать в чужие неприятности, чтобы позабыть о собственных; ни к чему тебе хобби, таоизм, не надо вертеться на турнике или сидеть в позе лотоса. Этот приборчик и есть то самое, что, как мне кажется, многие люди смутно предвидели, как некое коронное достижение цивилизации: электронная штучка, дешевенькая, удобная для массового производства, которая может одним поворотом тумблера подарить нам безмятежность. Я вижу, что перед вами уже поставили этот прибор.

Впервые я узнал, что такое синтетический душевный покой, полгода назад. Тогда же, как ни грустно об этом говорить, я познакомился с Лью Гаррисоном. Лью — главный комментатор нашего городского радио. Он зарабатывает себе на жизнь болтовней, и я не удивлюсь, если узнаю, что именно он все вам выболтал.

Кроме тридцати с чем-то программ, Лью ведет еще еженедельную программу, посвященную науке. Каждую неделю он вытаскивает какого-нибудь профессора из Вайандоттского колледжа и берет у него интервью по его узкой специальности. Так вот, полгода назад Лью организовал в своей программе «показ» молодого мечтателя и моего университетского друга,

доктора Фреда Бокмана. Я сам подвез Фреда на радиостудию, и он пригласил меня зайти и послушать. От нечего делать я взял да и зашел.

Фреду Бокману тридцать, но больше восемнадцати ему не дашь. Жизнь не оставила на нем никаких отметин, потому что он не обращает на нее внимания. А что почти безраздельно владеет его вниманием — это восьмитонный зонтик, с помощью которого он слушает голоса звезд. Громадная радиоантенна, смонтированная на цоколе телескопа. Насколько я понимаю, вместо того чтобы смотреть на звезды в телескоп, он направляет эту штуку в космическое пространство и ловит радиосигналы, испускаемые разными небесными телами.

Само собой, радиостанций там строить некому. Просто многие небесные тела испускают массу излучений, и некоторые из них можно поймать в радиодиапазонах. В этой его игрушке одно хорошо: она способна обнаруживать звезды, скрытые от телескопов громадными облаками космической пыли. Радиосигналы проходят через эти облака и попадают на антенну Фреда.

Но это еще не все, что может дать прибор, и в своем интервью с Фредом Лью Гаррисон приберег самое интересное к концу программы.

— Все это очень интересно, доктор Бокман,— сказал Лью.— А теперь расскажите, не обнаружил ли ваш радиотелескоп в нашей Вселенной что-нибудь такое, что не сумели обнаружить обычные телескопы?

Это и была приманка.

— Да, обнаружил,— сказал Фред.— Мы нашли в пространстве примерно пятьдесят участков, **не экранированных космической пылью**, которые излучают мощные радиосигналы. Но в этих участках как раз нет никаких небесных тел.

— Ну и ну! — с притворным удивлением воскликнул Лью.— Это уже кое-что, могу заметить. Леди и джентльмены, впервые в истории радиовещания мы дадим вам послушать голос таинственных «провалов» доктора Бокмана.

Они уже протянули линию до антенны Фреда в университетском городке. Лью махнул рукой оператору, чтобы тот включил сигнал, который она принимала.

— Леди и джентльмены — голос пустоты!

Поначалу в этом шуме не было ничего особенного — так себе, неровное шипение, точь-в-точь как шипение спустившей камеры. Предполагалось, что шум будет звучать в эфире пять секунд. Когда оператор выключил сигнал, мы с Фредом стали неудержимо ухмыляться, как два идиота. Мне казалось, что я совершенно раскован и по мне от радости мурашки бегают. У Лью Гаррисона был такой вид, словно он неожиданно влетел в гримерную кордебалета. Он посмотрел на стенные часы, и у него отвисла челюсть. Это монотонное шипение передавалось в эфир пять минут! Если бы оператор случайно не дернул

рубильник, задев его рукавом, может быть, этот шум и до сих пор шел бы в эфир.

Фред нервно рассмеялся, а Лью стал лихорадочно искать нужное место в сценарии.

— Шорох ниоткуда,— продолжал Лью.— Доктор Бокман, скажите, не придумал ли кто-нибудь название для этих загадочных провалов?

— Нет,— сказал Фред.— Пока что у них нет ни названия, ни истолкования.

Истолкования природы пустот, откуда приходит шум, до сих пор нет, но я предложил название, которое, похоже, привилось: «Эйфория Бокмана». Хотя мы и не знаем, что собой представляют эти провалы, зато знаем, как они действуют, так что название вполне подходящее. Эйфория — это блаженное чувство бодрости и благополучия, так что лучшего названия не придумаешь.

* * *

После передачи Фред, Лью и я обращались друг к другу с сердечностью, которая была уже на грани слезливой сентиментальности.

— Не помню, чтобы передача когда-либо доставляла мне такую радость,— сказал Лью.

Искренностью он не страдает, но на этот раз он говорил правду.

— Это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни,— сказал Фред смущенно.— Необычайно приятно...

Нас всех смутило и озадачило странное чувство, которое нас охватило. Мы поспешили поскорее расстаться. Я торопился домой, чего-нибудь выпить, но там меня ждало новое происшествие, способное хоть кого выбить из колеи.

В доме стояла тишина, и я два раза прошелся по комнатам, пока не обнаружил, что там кто-то есть. Моя жена, Сьюзен, добрая и привлекательная женщина, всегда гордилась тем, что хорошо и своевременно кормит свое семейство, а сейчас она лежала на диване, мечтательно уставясь в потолок.

— Милая,— сказал я тактично.— Я уже дома. И ужинать пора.

— Фред Бокман сегодня выступал по радио,— сказала она каким-то нездешним голосом.

— Знаю. Я был с ним на радио.

— Он был совершенно неземной,— вздохнула она,— просто не от мира сего. Этот шорох из космоса — как только его включили, от меня как-то все сразу отошло. Лежу, не понимаю, что со мной...

— Угу,— сказал я, кусая губы.— Что ж, пожалуй, пойду найду Эдди.

Эдди — мой сын, ему десять лет, и он — капитан непобе-

димой бейсбольной команды нашего квартала.

— Не трудись понапрасну, па,— раздался тихий голосок откуда-то из глубины комнаты.

— Ты дома? Что случилось? Игру отменили, что ли? Атомная бомба взорвалась?

— Не-а. Мы выиграли восемь раз.

— Так им врезали, что они не стали отыгрываться?

— Да нет, они играли прилично. У них еще оставалось двое запасных да двое было.— Он говорил так, как будто рассказывает сон.— А потом,— сказал он, и глаза его широко раскрылись,— всем вдруг стало все равно, и все разбрелись. Я пришел домой, вижу — наша старушка полеживает на диванчике, тогда я тоже улегся на пол.

— Зачем? — спросил я, не веря своим ушам.

— Па,— задумчиво сказал Эдди.— Чтоб мне лопнуть, если я знаю.

— Эдди! — сказала ему мать.

— Ма,— ответил Эдди,— чтоб мне лопнуть, если и ты знаешь.

Лопни мои глаза, если я хоть что-то понял, но меня уже начало грызть смутное подозрение. Я набрал телефон Фреда Бокмана.

— Фред, я тебя не отрываю от стола?

— Неплохо было бы,— сказал Фред,— в доме хоть шаром покати, а я сегодня оставил машину Марион, чтобы она съездила за покупками. Теперь она ищет магазин, который еще не закрыли.

— Что, машина не заводилась?

— Завелась как миленькая,— сказал Фред.— Марион даже до магазина доехала. А потом вдруг почувствовала такое блаженство, что взяла да и вышла обратно в ту же дверь.— Голос у Фреда был огорченный.— Конечно, женщина имеет право на капризы, но зачем же лгать, это обидно...

— Марион солгала? Не верю! — сказал я.

— Она пыталась внушить мне, что с ней вместе из магазина вышли все — и покупатель, и продавцы.

— Фред,— сказал я.— Мне надо с тобой поговорить. Можно приехать сразу после ужина?

Когда я подъехал к ферме Фреда Бокмана, он в полном обалдении читал вечернюю газету.

— Весь город свихнулся! — сказал Фред.— Без малейшего повода все машины свернули к обочине, как будто по улице неслась пожарная команда. Здесь пишут, что люди замолкали на полуслове и стояли с раскрытыми ртами пять минут. Сотни вышли на мороз в одних рубашках, улыбаясь, как рекламы зубной пасты.— Он потряс газетой.— Ты про это и хотел мне сказать?

Я кивнул.

— Да ведь все случилось, когда передавали этот твой «шорох». Но я подумал...

— Никаких «но» — тут один шанс из миллиона, что причина другая, — сказал Фред. — Это точно. Время совпадает секунда в секунду.

— Но ведь не все слушали радио.

— А это и не нужно, если моя теория верна. Мы приняли из космоса слабые сигналы, усилили их примерно в тысячу раз и передали по радио. И любой, кто оказался рядом с приемником, получили солидную дозу этих усиленных излучений, независимо от своего желания. — Он пожал плечами. — Должно быть, это все равно, что проходить мимо горящего поля мариуаны.

— А почему же ты ни разу не почувствовал это на себе во время работы?

— А я никогда не усиливал сигналы и не передавал их через динамики. Передатчик радиостанции — вот что дало им настоящую силу.

— Что ж нам теперь делать?

Фред удивился:

— Что делать? Надо написать сообщение в какой-нибудь подходящий журнал, и больше ничего.

Входная дверь распахнулась, и Лью Гаррисон, красный и запыхавшийся, без всякого стука влетел в комнату и снял свой широкий летний плащ со взмахом, достойным тореадора.

— Он тоже хочет урвать кое-что, а? — спросил он, тыча в меня пальцем.

Фред растерянно заморгал.

— Что урвать?

— Миллионы, — сказал Лью. — Миллиарды.

— С ума сойти, — сказал Фред. — О чем это вы?

— Шорох звезд! — сказал Лью. — Они на нем помешались. Просто с ума сходят. Газеты видали? — на минуту он стал серьезным. — Это же ваш шорох наделал все, а, док?

— Мы так полагаем, — сказал Фред. Вид у него был встревоженный. — А каким же образом, позвольте узнать, вы собираетесь получить эти миллионы или миллиарды?

— Земельные участки! — восторженно воскликнул Лью. — Лью, говорю я себе, Лью, как вытрясти наличные из этой финтифлюшки, если ты не можешь монополизировать космос? И еще, Лью, спрашиваю я себя, как ты ухитришься продавать то, что все получают задаром во время передачи?

— Может быть, это явление не из тех, которые продаются за наличные, — вмешался я. — Понимаете, мы же многого еще не знаем...

— Счастье — это плохо? — перебил меня Лью.

— Нет, — согласился я.

— Прекрасно, мы же и собираемся нести людям счастье с этим звездным шумом. Ну что, неужели вы скажете, что это плохо?

— Люди должны быть счастливы,— сказал Фред.

— Правильно,— согласился Лью.— Именно счастье мы им и принесем. А свою благодарность нам люди выразят в форме недвижимой собственности.— Он взглянул в окно.— Прелестно, вон там сарай. С него и начнем. В сарае установим передатчик, протянем линию к вашей антенне, док, и заложим контору по продаже земельных участков.

— Простите,— сказал Фред.— Я вас не совсем понял. Эта местность не пригодна для строительства. Дороги отвратительные, ни автобусной остановки, ни универсама, вид жуткий и земля наспигована камнями.

Лью несколько раз толкнул Фреда локтем.

— Док, док, док! Ну, есть тут свои недостатки, но если у вас в сарае будет передатчик, вы сможете дать им самую драгоценную вещь во всей вселенной — счастье.

— Эйфорийные кущи,— сказал я.

— Великолепно!— сказал Лью.— Я обеспечу покупателей, док, а вы будете сидеть в сарае, держа руку на кнопке. Стоит покупателю ступить ногой в Эйфорийные кущи, а вам угостить его дозой счастья, как он заплатит за участок любые деньги.

— И каждый кустик — дом родной, если только аккумуляторы не сядут,— сказал я.

— Значит так,— продолжал Лью, и глаза у него горели.— Как только мы распродадим все здешние участки, мы перемещаем передатчик и начинаем все по новой. Пожалуй, запустим сразу несколько передатчиков.— Он щелкнул пальцами.— Замётано! Целый флот на колесах!

— Мне почему-то кажется, что полиция не очень-то будет нами довольна,— сказал Фред.

— Хорошо, когда они сунутся сюда разнохивать, вы вкатите им порцию радости!— Он пожал плечами.— Черт возьми, я могу даже так расчувствоваться, что уступаю им угловой участок.

— Не пойдет,— спокойно сказал Фред.— Если я когда-нибудь стану прихожанином нашей церкви, мне будет стыдно глядеть в глаза пастору

— А мы и ему вкатим дозу!— жизнерадостно сказал Лью.

— Нет,— сказал Фред.— Извините.

— Ну ладно,— сказал Лью, шагая по комнате взад и вперед.— Я этого ждал. У меня есть другой ход, абсолютно законный. Мы выпускаем маленький усилитель с динамиком и антенной. Себестоимость будет не больше полсотни, так что цену назначим доступную среднему американцу — скажем, пятьсот долларов. Договоримся с телефонной компанией, чтобы она передавала сигналы с вашей антенны прямо на дом тем, у кого будут наши приемники. Приемники будут усиливать сигнал, принятый по телефону, и распространять его по всему дому, и всем обитателям привалит счастье. Поняли? Вместо того, чтобы включать радио или телевизор, все захотят включать источник

радости. Никаких декораций, сценариев, дорогостоящей аппаратуры — вообще ничего, кроме этого шороха.

— Можно назвать его эйфориофоном, — предложил я, — а сокращенно — «эйфью».

— Здорово, здорово! — сказал Лью. — А вы что скажете, док?

— Не знаю, — Фред был встревожен. — Я в таких вещах не разбираюсь.

— Да, надо признать, что у каждого из нас есть свои недочеты, — великодушно согласился Лью. — Я займусь бизнесом, а вы займетесь техникой. — Он сделал вид, что собирается надевать свой плащ. — А может, вам не хочется стать миллионером?

— Нет, конечно хочется, даже очень хочется, — поспешно сказал Фред. — Как же не хотеть...

— Порядок, — сказал Лью, потирая руки. — И начнем мы с того, что построим один приемник и проведем испытания.

Это уже были вещи, в которых Фред отлично разбирался, и я заметил, что задача его заинтересовала.

— Это вообще-то совсем простая штучка, — сказал он. — Думаю, что мы соберем аппаратик и испытаем его здесь на той неделе.

Первое испытание эйфориофона, или эйфью, происходило в субботу вечером в гостиной у Фреда Бокмана, через пять дней после сенсационного интервью.

Присутствовало шесть «морских свинок» — Лью, Фред со своей женой, Марион, я, моя жена Сьюзен и мой сын Эдди. Бокманы расставили стулья вокруг журнального столика, на котором стоял серый стальной ящичек.

Из ящичка высовывалась длинная раздвижная антенна, которая доставала до потолка. Пока Фред хлопотал над своим ящичком, мы старались развлечь друг друга болтовней за пивом с сэндвичами. Эдди, конечно, пива не пил, хотя ему-то и нужно было как-то успокоиться. Он обиделся, что его поволокли на ферму и не пустили на футбол, и явно собирался выместить свое недовольство на старинной мебели Бокманов. Он играл сам с собой возле стеклянных дверей, пользуясь старым теннисным мячом и кочергой вместо биты.

— Эдди, прекрати, пожалуйста, — сказала Сьюзен в десятый раз.

— Все в порядке, все в порядке, — небрежно бросил Эдди, пуская мяч по всем четырем стенам и ловя его одной левой.

Марион, чьи материнские чувства были отданы безукоризненно отполированной мебели, не могла скрыть отчаяния, глядя, как Эдди превращает комнату в спортзал. Лью старался по-своему утешить ее.

— Пусть себе разбивает этот хлам, — сказал Лью. — Все равно вам скоро переезжать в палаццо.

— Готово,— негромко сказал Фред.

Мы взглянули на него с напускной храбростью, хотя нас слегка мутило от страха. Фред подключил два провода от телефонной розетки к серому ящику. Эта линия связывала ящик напрямую с антенной в университетском городке, а специальный часовой механизм должен был сохранять направление антенны на один из таинственных «провалов» в небе — самый мощный источник Бокмановской Эйфории. Фред воткнул штепсель в электрическую розетку и положил руку на выключатель.

— Готовы?

— Не надо, Фред! — я струсил не на шутку.

— Включайте, включайте,— сказал Лью.— Если бы у Белла не хватило духу позвонить кому-нибудь, мы бы до сих пор сидели без телефонов.

— Я останусь здесь, у выключателя, и вырублю ток, если что-нибудь пойдет не так,— успокаивающе сказал Фред. И вот — щелчок, гуденье, и «Эйфью» заработал.

В комнате прозвучал единодушный, глубокий вздох. Кочерга вывалилась у Эдди из рук. Он протанцевал по комнате нечто вроде торжественного вальса, опустился на пол у ног матери и положил голову к ней на колени. Фред, напевая, покинул свой пост, двигаясь, как во сне, с полузакрытыми глазами.

Лью Гаррисон первый нарушил молчание — он продолжал прерванный разговор с Марион.

— Ах, стоит ли думать о материальных благах? — серьезно спросил он. И обернулся к Сьюзен, ища поддержки.

— Угу,— сказала Сьюзен, блаженно покачивая головой. Потом она крепко обняла Лью и целовала его минут пять.

— Смотри-ка,— сказала я, похлопывая Сьюзен по спине.— Неплохо ладите, ребята, а? Какая прелесть, верно, Фред?

— Эдди,— сказала Марион с материнской заботой,— у нас в кладовке, кажется, есть настоящий бейсбольный мяч. **Твердый.** Он куда лучше этого теннисного мячика.— Но Эдди не тронулся с места.

Фред, все еще ухмыляясь, дрейфовал по комнате с закрытыми глазами. Он зацепился каблуком за шнур от торшера и с ходу полетел прямо в камин, головой в золу.

— Хэй-хо, братцы,— сказал он, не открывая глаз.— Треснулся головой об железку.

Там он и остался, изредка похихикивая.

— Звонят в дверь, и уже давно,— сказала Сьюзен.— Не стоит обращать внимания.

— Входите, входите! — заорал я. Всем почему-то стало ужасно смешно. Мы так и покатались со смеху, захохотал и Фред, и от его смеха в камине взлетали легкие серые облачка пепла.

Маленький и очень серьезный старичок в белом вошел в дверь и стоял в прихожей, тревожно глядя на нас.

— Молочник,— сказал он, запинаясь. Он протянул Марион какой-то клочок бумаги.— Не могу разобрать последнюю строчку в вашей записке,— сказал он.— Что там про свежий творог, творог, творог, творог...

Голос его постепенно затих, а сам он опустился у ног Марион, поджав под себя ноги, как портной. Он просидел молча минут сорок пять, а потом у него на лице вдруг появилось озабоченное выражение.

— Имейте в виду,— вяло сказал он,— я ни на минуту не могу задерживаться. Поставил грузовик на повороте, он там всем мешает.

Он сделал попытку встать. Лью крутанул регулятор громкости. Молочник сполз на пол.

— Ааааах,— вырвалось у всех.

— В такой день приятно посидеть дома,— сказал молочник.— По радио передавали, что нас заденет краешком урагана с Атлантики.

— Пускай ураганит,— сказал я.— Я загнал свою машину под большое сухое дерево.— Мне казалось, что так и надо. Никто не обратил на мои слова никакого внимания. Я снова утонул в теплом тумане тишины, и в голове у меня не было ни одной мысли. Казалось, эти погружения продолжались всего несколько секунд, и тут же приходили новые люди. Теперь я понимаю, что отключался каждый раз не меньше чем на шесть часов.

Один раз меня привел в себя прерывистый звонок в дверь.

— Я уже сказал — входите,— пробормотал я.

— Я и вошел,— сонно откликнулся молочник.

Дверь распахнулась, и на нас воззрился местный полисмен.

— Какой идиот поставил молочный грузовик поперек дороги? — сурово спросил он. Тут он заметил молочника.— Ага! Вы что, не знаете, что кто-нибудь может врезаться в вашу колымагу на повороте? — Он зевнул, и ярость на его физиономии сменилась нежной улыбкой.— А впрочем, едва ли,— сказал он.— Не знаю, зачем я вас побеспокоил.— Он уселся рядом с Эдди.— Эй, малыш, любишь эти игрушки? — Он вынул из кобуры пистолет.— Ну-ка, гляди, он совсем как у Хоппи.

Эдди взял пистолет, прицелился в коллекцию бутылок, которую Марион старательно собирала, и нажал на курок. Большая синяя бутылка разлетелась вдрезг, а окно позади витрины брызнуло осколками.

— Будущий полисмен,— давясь смехом, сказала Марион.

— Господи, как я счастлив,— сказал я, едва не плача.— У меня самый лучший сынишка, лучшие на свете друзья и лучшая в мире старушка-жена.

Я услышал еще два выстрела, и снова погрузился в божественное забытие.

И опять меня пробудил звонок в дверь.

— Да сколько вам раз говорить — входите бога ради! — сказал я, не разлепляя век.

— Я уже вошел, — сказал молочник.

Послышался топот множества ног, но мне было на все наплевать. Чуть позже я заметил, что дышу с трудом. Оказалось при ближайшем рассмотрении, что я сполз на пол, а на груди и на животе у меня сделали привал несколько бойскаутов.

— Вам что-нибудь нужно? — спросил я у первогодка, который сосредоточенно и жарко дышал мне в щеку.

— Трудовые Бобрята собирали макулатуру, но это неважно, — сказал он. — Нам надо было ее куда-то тащить.

— А родители знают, где вы?

— Конечно. Они не дождалась и пришли сюда. — Он показал большим пальцем через плечо: у разбитого окна стояло несколько пар, улыбаясь навстречу дождю, хлеставшему им прямо в лицо.

— Ма, есть хочется, — сказал Эдди.

— Ах, Эдди, ты же не хочешь заставить маму готовить, когда нам тут так чудесно? — ответила Сьюзен.

Лью Гаррисон еще раз повернул ручку настройки:

— Ну, малыш, а это тебе по вкусу?

— Аааааааааах, — сказали все, как один.

Немного спустя я снова пришел в сознание и стал шарить вокруг, пытаясь обнаружить Трудовых Бобрят, но они исчезли. Я открыл глаза и увидел, что Эдди, молочник, полисмен и Лью стояли у разбитого окна и орали «ура!». Снаружи ветер ревел и бушевал с невиданной свирепостью, а капли дождя летели в большое окно, словно ими стреляли из воздушного ружья. Я слегка встряхнул Сьюзен, и мы вдвоем пошли к окну — посмотреть, что там интересенького.

— Падает, падает, падает, — в экстазе твердил молочник.

Я и Сьюзен подросли как раз вовремя и восторженно кричали «ура!» вместе со всеми, когда громадный вяз расплющил нашу машину.

— Бааа-бах! — сказала Сьюзен, а я хохотал так, что у меня заболел живот.

— Зовите Фреда, — приказал Лью. — А то он не увидит, как сносит сарай.

— О Фред, ты все пропустил, — сказала Марион.

— Ага, сейчас вы увидите кое-что! На этот раз попадет по проводам! — завопил Эдди. — Смотрите, вон тополь падает!

Тополь клонился все ближе и ближе к проводам, потом ветер рванул еще разок, и он свалился в снопах искр и путанице проводов. Свет в доме погас. Слышался только рев ветра.

— Что же никто не кричит «ура»? — слабым голосом сказал Лью. — А! «Эйфью» не работает!

Душераздирающий жуткий стон донесся из камина.

— Боже, у меня, кажется, сотрясение мозга!

Марион бросилась на колени рядом с мужем и зарыдала:

— Милый мой, бесценный, что с тобой, бедняжечка?

Я взглянул на женщину, которую держал в объятиях, — что за жуткая старая ведьма, вся грязная, с красными провалившимися глазами и волосами, как у Медузы!

— Фу! — сказал я и с отвращением отшатнулся.

— Пупсик, — захныкала ведьма, — это же я, Сьюзен.

Отовсюду послышались стоны и горькие жалобы на голод и жажду. В комнате внезапно стало ужасно холодно. А всего минуту назад мне казалось, что я в тропиках.

— Кто, черт побери, стянул мой пистолет? — мрачно спросил полицейский.

У стены сидел рассыльный с почты, которого я раньше не приметил, и с несчастным видом перебирал стопку телеграфных бланков, причитая себе под нос. Я вздрогнул.

— Держу пари, что сегодня уже воскресенье! — сказал я. — Мы здесь торчим двенадцать часов.

Нет, это было утро понедельника. Мальчишка с почты ошеломленно сказал:

— Воскресенье? Да, я забрел сюда в воскресенье вечером! — Он посмотрел вокруг. — Похоже на хронику из Бухенвальда, а?

Предводитель Трудовых Бобрят, благодаря неиссякаемой энергии юности, стал настоящим героем дня. Он построил свое войско в две шеренги, управляясь с ним, как старый армейский сержант. Пока все мы валялись, как тряпки, по углам комнаты, подвывая от голода, холода и жажды, команда растопила камин, притащила одеяла, положила компрессы на голову Фреду и на несчитанные царапины, заткнула разбитое окно и вскипятила ведро какао и ведро кофе.

Не прошло и двух часов с тех пор, как электричество погасло и «Эйфью» вышло из строя, как в доме стало тепло, и все мы были сыты. Тех, кто схватил серьезную простуду, — в основном родителей, которые сидели у разбитого окна все двадцать четыре часа, — накачали пенициллином и срочно отправили в больницу. Молочник, почтальон и полисмен от лечения отказались и разошлись по домам. Команда Трудовых Бобрят четко отсалютовала и удалилась стройными рядами. Снаружи аварийная команда чинила электрическую проводку. Остались только те, кто был с самого начала: Лью, Фред с Марион, Сьюзен, я и Эдди. Фред был покрыт синяками и ссадинами весьма внушительного вида, но сотрясения мозга у него не оказалось.

Сьюзен заснула, как только наелась. Теперь она зашевелилась.

— Что с нами было? — спросила она.

— Счастье, — ответил я ей. — Несравненное, нескончаемое счастье — киловатты счастья.

Лью Гаррисон, похожий на анархиста, — с красными гла-

зами и жесткой черной щетиной на подбородке,— что-то лихорадочно писал, забившись в угол.

— Здорово сказано — киловатты счастья. Покупайте счастье, как вы покупаете свет.

— Заражайтесь счастьем, как вы заражаетесь гриппом,— сказал Фред и чихнул.

Лью не обращал на него внимания.

— Развернем целую кампанию, ясно? Первое объявление для длинноволосых: «Зачем покупать книгу, которая может вас разочаровать? За эти деньги можно купить вам шестьдесят часов «Эйфью». «Эйфью» никогда вас не разочарует». А для средних служащих мы врежем вот так...

— Ниже пояса? — поинтересовался Фред.

— Да что с вами творится, граждане? — сказал Лью.— Посмотришь на вас — и можно подумать, что опыт не удался.

— Разве мы рассчитывали на воспаление легких и острое истощение? — сказала Марион.

— У нас здесь были представители всех социальных групп Америки, и мы их всех до одного осчастливили,— сказал Лью.— И не на какой-нибудь час, даже не на день, а на два дня подряд.— Он величаво поднялся со стула.— Единственное, что нам нужно сделать ради сохранения жизни любителей «Эйфью», так это поставить автоматический регулятор, который то включал бы, то выключал прибор, понятно? Владелец его так настраивает, что прибор включается, когда он приходит с работы, потом снова выключается, пока он ужинает; включается после ужина, выключается перед сном; опять включается после завтрака, выключается, когда пора на работу, потом опять включается для жены с малышами.— Он откинул волосы назад и закатил глаза.— А экономия! Боже, экономия-то какая! Дорогие игрушки для ребят — ни к чему. За цену одного посещения кино семья может купить тридцать часов «Эйфью». Вместо двухсот грамм виски можно купить шестьдесят часов «Эйфью»!

— Или большую бутылку цианистого калия на всю семью,— сказал Фред.

— Вы что, не понимаете? — не веря своим ушам, спросил Лью.— Это же — воссоединение семьи, спасение американского домашнего очага. Никто больше не будет ссориться из-за того, какую программу смотреть по телику или слушать по радио. «Эйфью» нравится всем без исключения — мы этому свидетели. А нудных программ по «Эйфью» просто не бывает.

Его прервал стук в дверь. Монтажник заглянул в комнату и доложил, что электричество будет включено через две минуты.

— Слушайте, Лью,— сказал Фред.— Это маленькое чудовище способно расправиться с цивилизацией быстрее, чем пожар с древним Римом. Нет, мы не будем заниматься усыплением мозгов, и это окончательно.

— Да вы шутите! — вскричал потрясенный Лью. Он обра-

тился к Марион: — Вы что, не хотите, чтобы ваш муж заработал миллион?

— Только не за счет электронного опиумного притона,— ответила она ледяным тоном.

Лью стукнул себя по лбу.

— Да это же то, что нужно народу! Это все равно, как Луи Пастер отказался бы от пастеризации молока.

— Приятно будет снова жить при свете,— сказала Марион, чтобы переменить тему.— Свет, горячая воды, насос — о боже!

В этот момент вспыхнул свет, но мы с Фредом уже успели прыгнуть и вместе обрушились на серый ящик. Карточный столик подломился, и штепсель вылетел из розетки. Лампочки «Эйфью» еще минуту светились красным светом, затем погасли.

Фред с невозмутимым видом вынул из кармана отвертку и отвинтил крышку ящичка.

— Хочешь получить удовольствие от борьбы с прогрессом? — сказал он, протягивая мне кочергу, которую бросил Эдди.

Я стал яростно крушить стеклянные и проволочные внутренности прибора.левой рукой я отталкивал Лью, который пытался заслонить его собой, а Фред мне помогал.

— Я думал, что вы на моей стороне,— сказал Лью.

— Если ты проронишь хоть слово про это «Эйфью» хоть одной живой душе,— сказал я,— я с превеликим удовольствием и тебя разделаю под орех!

Леди и джентльмены из Федеральной Комиссии по коммуникациям, я думал, что на этом дело и кончилось. Но теперь Лью Гаррисон, профессиональный болтун, выдал секрет. Он подал вам петицию с просьбой разрешить коммерческую эксплуатацию «Эйфью». Он сколотил компанию и построил собственный радиотелескоп.

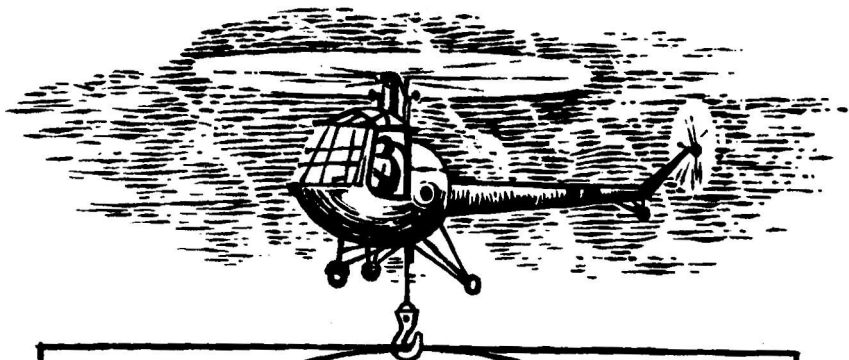
Позвольте снова подтвердить, что Лью ничего не преувеличивает. «Эйфью» сделает все, что обещал Лью. Счастье, которое он дарит, совершенно и несокрушимо, даже в самой ужасной обстановке. Трагедии, подобные первому эксперименту, легко устранимы с помощью автоматического регулятора, включающего и выключающего прибор. Я вижу, что прибор, стоящий перед вами на столе, уже имеет такой регулятор.

Но вопрос не в том, работает «Эйфью» или нет. Конечно, работает. Вопрос в том, войдет ли Америка в новую историческую эпоху, когда люди больше не будут бороться за счастье, а будут просто покупать его. Не время сейчас превращать состояние транса во всенародное помешательство. Единственная польза, которую мы могли бы извлечь из данного аппарата,— это обстрелять наших врагов шквальным огнем благодушия, установив защитное ограждение для нашего населения.

В заключение я хотел бы сказать, что Лью Гаррисон, который собирается стать царем «Эйфью»,— человек не порядоч-

ный и не достойный доверия общества. Я бы нисколько не удивился, если бы он установил регулятор вот этого самого «Эйфью» так, чтобы тот повлиял на ваше решение во время обсуждения вопроса... Кстати, мне показалось, что аппарат как-то подозрительно загудел... О, я так счастлив, что плакать хочется! У меня самый славный сынишка, лучшие в мире друзья и самая прекрасная женушка в мире. Ах, наш старый, добрый Лью Гаррисон, вот уж поистине соль земли, можете мне верить! И я от всего сердца желаю ему успеха в этом новом благом начинании!

Содержание



Р. Райт-Ковалева.
Канарейка в шахте, или Мой друг Курт Воннегут 5

РОМАНЫ

Перевела Р. Райт-Ковалева

Бойня номер пять, или Крестовый поход детей 17

Колыбель для кошки 141

Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или

Не мечите бисера перед свиньями 283

РАССКАЗЫ

Виток эволюции. *Перевела М. Ковалева* 415

Олень на комбинате. *Перевела М. Ковалева* 428

Мальчишка, с которым никто не мог сладить.

Перевела М. Ковалева 440

Перемещенное лицо. *Перевел С. Таск* 451

«Воздвигни пышные чертоги» *Перевел С. Таск* 460

Лохматый пес Тома Эдисона. *Перевела М. Ковалева* 470

Ложь. *Перевела Р. Райт-Ковалева* 475

А кто я теперь? *Перевела М. Ковалева* 487

Долгая прогулка—навсегда. *Перевела Р. Райт-Ковалева* 496

Искусительница. *Перевела Р. Райт-Ковалева* 502

Эпикак. *Перевела М. Ковалева* 512

Эффект Барнхауза. *Перевела М. Ковалева* 519

Наследство Фостера. *Перевела Р. Райт-Ковалева* 531

Эйфью. *Перевела М. Ковалева* 543

К. ВОННЕГУТ

Курт Воннегут

КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ

Романы, рассказы

ИБ № 940

Редактор И. Луценко

Художественный редактор А. Святченко

Технический редактор Е. Катранюк

Корректоры: Ю. Цуркан, И. Корявская



Сдано в набор 01.09.80. Подписано к печати 01.12.80.
Формат бумаги 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура «Балтика». Печать офсетная.
Усл. печ. листов 35,00. Уч.-изд. листов 37,87.
Тираж 150 000 (1-й з-д 1—50 000). Заказ № 1605.
Цена в пер. № 5 на бум. № 1 — 4 руб.,
на бум. № 2 — 3 р. 90 к.; в ст. № 7 на бум. № 1 — 4 р. 20 к.

Издательство «Литература артистикэ»
Кишинев, пр. Ленина, 180.

Полиграфкомбинат Государственного комитета
Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли,
г. Кишинев, ул. Т. Чорбы, 32.

Воннегут Курт

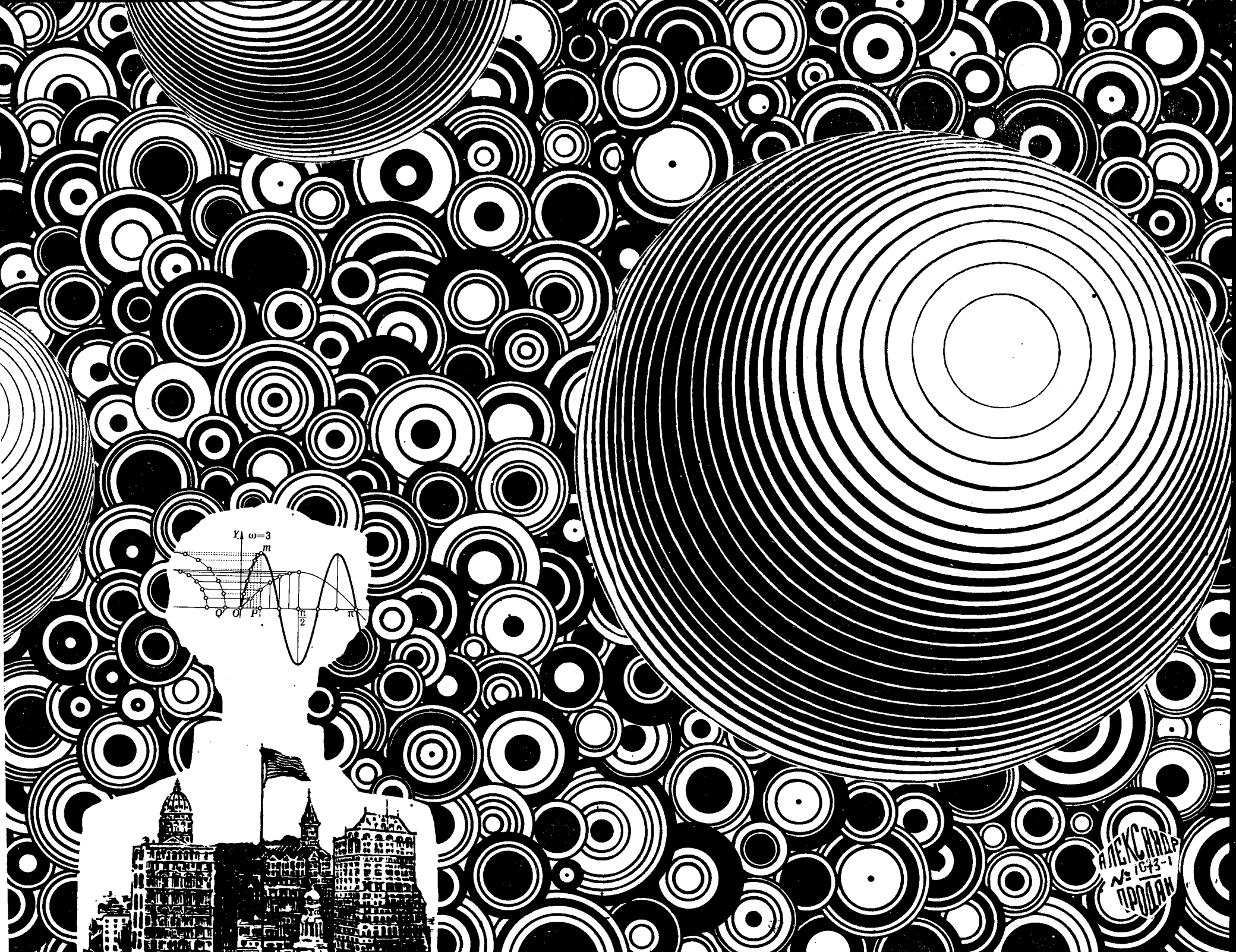
В73

Колыбель для кошки. Романы. Рассказы. Перев. с англ. Р. Райт-Ковалевой, М. Ковалевой, С. Таска. Вступит. статья Р. Райт-Ковалевой. Художник В. Змеев. Кишинев, «Литература артистикэ», 1981, 560 стр. с иллюстр.

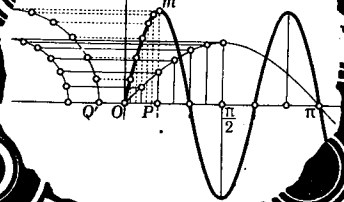
В книгу современного американского писателя Курта Воннегута (р. в 1923 г.) включено три романа и рассказы. Философско-сатирические романы «Колыбель для кошки» и «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер» проникнуты глубокой тревогой за судьбы человечества в эпоху научно-технической революции. «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» — рассказ о варварском разрушении Дрездена англо-американской авиацией в конце второй мировой войны.

70304—2
В ————— 80—81 470300000
М756(12)—81

84.7США



Y $\omega=3$



АЛЕКСАНДР
№ 1043-1
ПРОДАН

Литература артистикэ

